

3

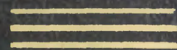
Александр ГОВОРОВ

собрание
сочинений

ТОМ 3



Александр
ГОВОРОВ



3



Александр
ГОВОРОВ



Александр





Александр ГОВОРОВ

собрание
сочинений
в четырех томах



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1993

Александр ГОВОРОВ

ТОМ 3



СМИРДИН И СЫН

исторический роман



ФЛОРЕАЛЬ

исторический роман



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1993

ББК 84Р7
Г57

Художник В. БРАГИНСКИЙ

Г 4702010201-176 Подписное
А30(03)-93

ISBN 5-85255-422-7 (т.3)

ISBN 5-85255-245-3

© Издательский центр «ТЕРРА», 1993



СМИРДИН И СЫН

Исторический роман

Глава первая

ДИТЯ НИКОЛЬСКИХ ТУПИЧКОВ

1

Знаешь ли ты, любезный мой читатель, закоулки и тайные местечки московского Китай-города? Того самого знаменитого Китай-города, что высится своими древними твердынями и земляными раскатами по обрывистым берегам речки Неглинки? Где в невообразимой суете лавок и толкучек сплелись дух коммерции европейской и седмглавый змий торгового Востока? Нет, любезный мой читатель, даже при всем желании тебе потрафить скажу прямо — ты не знаешь всех укромных уголков славного города сего!

А вот посуди сам: ежели карета твоя либо возок, нырнув в ухаб, непременно обретающийся в воротах любой из китайгородских и даже кремлевских башен, вынырнет с обратной стороны, дабы тут же завернуть налево или направо, куда необходимо, а вместо того упрется в глухой забор или стенку? Особливо же, если в календаре генварь, в природе самая свирепая вьюга, опускается ночь, прохожие спешат укрыться, куда кому определила его Фортуна, а полиция тоже скрылась от непогоды и совершенно не у кого спросить дорогу.

— Эй, сударь! — окликает твой кучер какую-то тень на паперти церквушки. — Откуда бы здесь нам захватить в Никольский тупик?

Сударь, оказавшийся церковным пономарем, замкнувшим двери после вечерней службы, рукавом лисьего кафтана показывает в неопределенность, а сам, подобно всем прочим, спешит укрыться к своей пономарихе.

Пока твой возница скребет в затылке, по русскому обычаю ускоряя вращение мозгов, какой-то другой санный экипаж, более мощный, нежели твой, преодолев все тот же роковой ухаб, зацепляется полозом за твои сани. И ты, любезный мой читатель, со своим имуществом,

пассажирами, слугами, моськами и всей утробой твоего возка, пошатнувшись, чуть не вываливаешься в снег.

В морозной тьме сквозь секущий полет вьюги происходит выразительный диалог кучеров. Лишь присутствие господ в сцепившихся экипажах удерживает возниц от крайних выражений. При оглушительном хлопанье бичей, визге полозьев, лошадином храпе оба экипажа разъезжаются каждый в свою сторону.

— Эй ты, рожа! — кричит твой совершенно отчаявшийся кучер прохожему, вдруг вынырнувшему из-за заколоченного ларька или амбарчика. — Как тут, шлеп твою потылицу, заехать нам в Никольский тупик?

— Я не рожа, — с достоинством отвечает путник, чьи борода, и усы, и ресницы заросли снегом, словно у сказочного Берендея. — Я московский второй гильдии купец Ильин.

Тут уж настает черед тебе, любезный мой читатель, в своем возке спохватиться и высунуться для вопросов.

— Что? Ильин? Петр Александров сын? Книготорговец? Ну да, ну да, тебя-то мне, почтеннейший, и надо!

И через каких-нибудь четверть часа твой возок оказывается хитроумно скатившимся по хорошо накатанному переулку, твои лошади мирно жующими овес из гостеприимной торбы, а ты сам, выпряженный из мехового армячка и телогреи, пьющим чай у самовара в компании столь любезно встретившего тебя г. Ильина.

Теперь откроем тебе, что ты уж и не просто любезный наш читатель, а сразу два путника, которые ехали в описанном нами возке. Старший из них, г. Глазунов Матвей Петрович, также московский второй гильдии купец, с лицом рыхлым и рябоватым, сосредоточенно дует в блюдце, сообразно новой купецкой причуде — пить чай заморский вместо отечественного отвара или кваса.

— Желаю отрекомендовать, мой брат Иван Петров! — Старший Глазунов тычет своего спутника в бок. Старческий рот его лишен зубов, он шамкает, понять его затруднительно, и он сердится: — Ай неладно говорю? Рекомендовать, говорю, желаю... Мой брат, который из Санкт-Петербурга... Да ты что, Ильин? Ты что мельтешишь, не слушаешь? Мы что тебе — ай не ко двору?

Ильин и правда мается, на месте не сидит, гостям почтенным уважения оказывает недостаточно.

— Простите, Христа ради, — взмаливается он. — Сестра у меня рождает. Я как раз к ней и шел, когда с вами

повстречался. Стряпушка от ней прибежала, сказывала — вот-вот...

— Сестра твоя, она чья же женка? — осведомляется Матвей Глазунов, который как гильдейский староста считает себя обязанным знать всех.

— Филька у нее муж, — стенает Ильин. — Филька Смирдин.

— Полотнящик, что ли? — Глазунов ритуально дует в свое чайное блюдце.

— Он, благодетель, он! Неприлично бы про зятя своего такое говорить, да снова у него загул!

Напившись, Глазуновы поднимаются из-за стола с пыхтящим самоваром, кланяются хозяйке, которая ради них надела расшитую бисером кикю, крестятся на образа в переднем углу.

— А я было ехал, Ильин, — шамкает Глазунов, продевая руки в рукава телогреи, услужливо поданной хозяином, — требовать с тебя толсок... тьфу — должок! — проговаривает он. — Помнишь, со времен сюмы... Тьфу — чумы. То есть с семьдесят какого же это? С семьдесят второго года!

— Милостивец! — впадает в отчаяние Ильин, борода его становится дыбом. — Нету у меня денег! Ведь и мои книги, как твои, под арестом лежат после того фармазона взятия в крепость!

— Какой же это, прости господи, фармазон?

— Да Новиков, Новиков, нешто не знаешь?

При упоминании фармазона оба Глазунова шикают и боязливо оглядываются. Хозяйка же Ильина, заробев, роняет глиняную кружку, которая разбивается вдрезг.

Впрочем, младший Глазунов быстро овладевает собой и даже берет того фармазона под защиту:

— Какова судьба человеческая! Пока был в силе человек, так все и увивались — Николай Иванович, Николай Иванович, господин-де Новиков! Как попал в немилость — сплошной фармазон.

Петербургский этот брат Глазунов — сразу видно — столичная штучка. Рот у него сжат презрительно, воротник стоячий, галстук платочком — ни дать ни взять парижский якобинец. Прохаживается по ильинской горнице, поглядывает на небогатое его житье, на расшвыранные везде фолианты — неременный признак профессии книгопродавца.

— Так где же те книги фармазоны заперты? —

спрашивает старший Глазунов и повторяет для внятности: — Книги те, говорю, где заключены, арестованные? Ведь среди них и наш товар.

— Тут, тут они, кормилец, — указывает Ильин куда-то сквозь потемневшие бревна стены. — На Никольской, в старой лавке Кольчугина Аникиты. Которая в два раствора — на Троицкую церковь и к Проломным воротам. Заперты они там и губернаторской властью припечатаны крепко.

— М-да! — задумался старший, приготавливаясь надеть шапку.

— Вот тебе и м-да! — перекинул его брат. — Что вы тут, московские, оцепенели, как помороженные тараканы? Лежит товар, почитай, на двести тысяч и ведь стареет. Кто его потом станет покупать?

— Да как же оттуда его взять, родимый? — всплеснул руками Ильин. — На нем губернаторская дуля ровно кайнова печать!

— А мы, петербургские, через верного человека к самой матушке дойдем. Поклонимся, мол, не прогневайся, государыня наша! Господин сей Новиков рода барского, тебе, монархине, судить — печатал он крамолу или не печатал. А мы, мол, люди неученые, торговые, ты нам товар тот арестованный отдай. Не все ж там книги фармазонские да вольтерьянские, есть же чем и торгануть!

Вьюга за окошками утихла, слышалось, как сытые кони на мостовой стучают копытами, звенят уздой. И еще слышно было с улицы тоненький-претоненький голосочек, который кричал безостановочно, приближаясь откуда-то издали.

— Вчерась осматривал я эту хибару Аникитину, в коей арестованные книги, — сказал петербургский Глазунов, напяливая тулуп. — Я бы это место торговое целиком купил, тысяча даже двадцать за него не пожалел. Золотое место и улица книжная ведь! Тут тебе и типография, и торговля, и напрочет книги можно давать.

— Хо-хо! — указал на него старший брат. — Гляньте на него, каков Буонапартый! Почитай, весь книжный Петербург скупил, теперь покушается на Москву... Невского проспекта ему мало!

А Ильин и его жена в бисерном кокошнике, повернув головы, глядели на обмерзшую дверь, которая медленно открывалась. Дверь с улицы открывалась, и в ней показывалась баба молодая, растрепанная, в свисающем платке.

И еще слышался из той открывающейся двери жалкий, тонюсенький крик. И было теперь понятно, что это кричит младенец у бабы на руках.

— А почему бы и нет? — не обращая внимания, подбоченился Глазунов, похожий на французского монтаньяра. — Книги раскупаются ходко, что русские, что из-за рубежа. Чем тебе не Фортуна — стану владыкою книжной торговли!

Его брат хохотал, тряс щеками, нахлобучивая трех. Ильин же с хозяйкой кинулись навстречу женщине, у которой выпадал из рук вопящий, голосящий, развертывающийся кулек.

— Ох! — сказала женщина, садясь прямо на пол. — Вот, мальчика родила. Повитуха отговаривала, а я все же к вам пришла. Филюшки-то моего все нет и нет...

Глазуновы поздравили Ильина с новорожденным племянником и ретировались к своим саням.

Ильин же, согнав с лица гильдейскую учтивость, сурово осмотрел голенького крикуна, которого обливали напротив пышущей жаром печи. Затем взял календарь и принялся его листать.

Было 21 января одна тысяча семьсот девяносто пятого года, четверг. Был день преподобного Максима Исповедника, мучеников Неофита, Кандида, Акилы, Агнии-девы.

— Наречем мы сего младенца, — сумрачно рассуждал Ильин. — Раз тятка его в загуле, отыщется невесть когда... Негоже христианскому младенцу без имени пребывать. Наречем во имя деда, а моего покойного батюшки, Александром наречем... Трудявый ся тот был человек!

Ильин поправил лампадку в красном углу, помолился и вновь осмотрел младенца, которого успели и перепеленать, и накормить, и успокоить. И добрая улыбка озарила лицо никольского книгопродавца Ильина, замученного долгами и поборами, полицией и своим братом торгашом. И он весь просиял, указывая жене и сестре на только что родившегося человека:

— Александр Филиппович Смирдин!

И никому, любезный мой читатель, было тут невдомек, что отнюдь не какой-нибудь гордец и богач Глазунов, а именно этот крикун в пеленках и станет когда-то тем, кого будут называть, хотя бы и в переносном смысле, владыкою российской книжной торговли.

Около полуночи вьюга утихла, улеглась. Взошла луна,

медленно пробиралась среди кудрявых белых облачков. Город спал в ночи, огромный, как пучина, с кирпичными пузатыми башнями, пушками на боевых раскатах, заиндевевшими резными наличниками черных окон, причудливыми куполами и луковками сорока сороков церквей. Мирно почивал пономарь у пономарихи, книгопродавец Матвей Глазунов — у своей старухи, спали обыватели в домовладениях, полицейские в будках, кандальники в земских подвалах.

И во всем этом призрачном, фиолетовом от луны и заваленном сугробами мире светилось лишь одно окошко в приземистой лавке Ильина. Там начинал свой жизненный путь еще ничего не смысливший в жизни мальчик — гражданин вселенной, новый русский человек.

2

Теперь, о снисходительный мой читатель, последуем-ка мы с тобою вслед за другим санным экипажем, который — помнишь? — чуть не опрокинул возок г. Глазуновых в ухабе Никольских Проломных ворот. Это был даже и не просто экипаж, а целая карета, и с гербами на боках. Он как буря завернул и пронесся по Большому Черкасскому переулку, просквозив мимо палат царских родичей Стрешневых и Лыковых, подлетел к усадьбе князей Скарятинских, что скромно притулилась у монастырского подворья, и как вкопанный остановился, показав, на что способны русские ямщики.

Здесь приезжих ждали. Несмотря на вьюгу и темь, в раскрытых настежь воротах стояла с фонарями толпа дворовых. Накануне из княжеской подмосковной, которая одновременно была и последней ямской станцией до Москвы, на запаренной лошади прискакал фореитор, сообщил — едет! Долгожданный сын, молодой барич, наконец-то едет из Парижа!

Заслышав звон колокольца, старый князь не выдержал, растолкал слуг, выбежал на крыльцо, княгиня за ним, пытаясь на ходу набросить на него шубейку. За нею сквозь несущиеся рои белых мух поскакали по обледелым ступенькам домочадцы, приживалки, няньки, шутихи, разные дровосеки и повара... Семейство было старозаветным, истинно московским, дворовые почитались у них как члены семьи.

Князь кинулся обнимать первого, кого извлекли из ка-

реты. Под дорожным тулупом ощущались иноземные одежды, пахло амброю невообразимой. Князь чувствовал, что целует кого-то не того, но уж не мог удержаться от радостных слез.

Наконец вся толпа прибывших и встречающих поднялась в дом, в теплые сени, озаренные множеством канделябров.

Когда приезжих раскутали и извлекли на свет божий из дорожных мехов, оказалось, что их двое — и оба одинаковы, словно близнецы. На каждом были умопомрачительно полосатые панталонцы, столь же полосатый и длиннохвостый фрак, пуговицы из драконьей кожи, а на цепочках висело по двойному лорнету. Кто же из них князь?

Рука княжеского священника о. Парфена, готовая благословить, остановилась с крестом, а пораженные князь и княгиня замерли, поддерживая друг друга.

Первой опомнилась княгинина постельничая Малаша, девица громогласная и решительная во всех обстоятельствах.

— Ой! — сказала она. — Вот этот из них — Митяй, княжичев камердинер. Уж его-то я и ночью в погребе узнаю!

— Не п-авда ли, любовь-езный бать-юшка и ми-ая м-атушка, — страшно картавя, сказал другой приезжий, — мы с ним похожи? Па-оль доннер, в Па-иже все так и го-воили!

Тут княжеская чета наконец опознала своего сына и кинулась его обнимать.

А камердинер Митяй, несмотря на все сходство с молодым барином, был препровожден в людскую, где оказался в центре внимания дворни.

Во-первых, он тут же дал понять, что зовут его теперь отнюдь не какой-нибудь Митька, а Матье. Во-вторых, он вообще станет теперь разговаривать только по-французски. И в доказательство своего намерения, прежде чем приступить к еде и питью, застрекотал почужеземному, невообразимо гундося.

— Вот-вот, — сказала Малаша, хищно взирая на новоявленного Матье. — У нас в Горбулихе одна тоже объявился попович, забыл, говорит, по-русски начисто, пока в бурсе обучался. Однажды по нечаянности наступил на грабли, те его по лбу ручкой — хват! Так он сразу и вспомнил: ух, говорит, проклятые, кто их по полу разбросал!

— Ну, а как там, как там, в Париже? — спрашивал старший повар Иннокентий Кузьмич, пододвигая приезжему лакомые блюда. Иннокентий Кузьмич когда-то сопровождал старого князя в суворовских походах, поэтому среди дворовых слыл аристократом. — Как там теперь в Париже?

— Да что в Париже! — Матье копался пальцами в блюде вкусных сочников с подливой. — Покуда там господа друг другу бошки отсекали, слуги их именья приобретали... Я знал одного бывшего камердинера, он купил замок своего же леконта, а женка его, такая же лупоглазая, как вот эта наша Малашка, стала мадам ляконтесс!

— Ой! — вновь произнесла Малаша, приложив руку к тому месту, где у нее под корсетом было сердце. — Пуркуа па, мсье Матье?

Слуги возбужденно заговорили, иногда поглядывая на потолок, где наверху шла трапеза господ.

— Пойдите, пойдите! — отвел всех рукою Иннокентий Кузьмич. — Скажи, Митрий, правда ли там тиранов этих, монтаньяров всех переказнили и собираются вернуть законного короля?

Но тут послышались голоса на внутренней лестнице, где были расставлены служащие у господ, чтобы быстрее доставлять требуемые яства и пития. Оказалось — господа зовут баричева камердинера к себе наверх. Пришлось срочно вытирать приезжему пальцы и отряхивать крошки с шелкового жабо.

— Да, да! — горячо говорил наверху молодой князь Скарятинский, стоя и размахивая вилкой. Отец его, мать, священник и вся родня за столом слушали и смотрели на него как зачарованные лягушки. — Да! Теперь везде будет свобода, равенство и братство! Не верьте разговорам, что ежели Неподкупный погиб на гильотине, то и революция окончилась. Армия санкюлотов громит австрийцев, одержав решительные победы. Она повернет на Париж — и тогда еще посмотрим, кто кого!

Увидев вошедшего Митяя, молодой князь указал на него:

— Великий Жан-Жак учил, что перестраивать мир надо начинать с себя. Так и я отныне решил поступать. Вот с этим наивным дитятей природы мы, как братья, жили в Париже, теперь будем, как братья, жить с ним и в Москве.

Старый князь, предчувствуя нечто совершенно неприличное, сжал в полосу старческие губы, из-за его плеч княгиня умоляюще поднимала руки.

— Садись рядом с нами за стол! — предложил камердинеру молодой князь. — Ассееву, мон фрер каде, — садись, наш младший брат! Наступают иные времена, пусть знают все — будем жить счастливо и по-братски!

И Митька, он же Матье, бесцеремонно уселся на бархатный стульчик рядом с барином, взял вилку и ловко ею орудовал, будто где-нибудь на террасе в Пале-Рояле. А лягушки за княжеским столом все продолжали на них смотреть не мигая, и юный князь, картавя и пришепетывая, читал какие-то восторженные вирши. Старый же барин за его спиною шептал своей княгинюшке, что пора, мол, пора младому отроку пристраиваться к делу и женить его пора, женить!

Наконец молодой князь, уставший от тряской дороги и от восторгов отчего дома, а также перегрузясь плодами московской кухни, опустил в кресло, и глаза его слиплись сами собой. Тогда сквозь невнятный сон зачарованные существа обступили его со всех сторон, бережно подняли и понесли в опочивальню.

За княжеским столом остался один Матье в невообразимо полосатом фраке. Он откупоривал то одну бутылочку, то другую, пока старший повар Иннокентий Кузьмич бестрепетной рукою не взял его за шиворот и не отвел в людскую на попечение заботливой Малаши.

3

С той зимней ночи прошел год и более прошло. И настал праздник — Пасха, светлое Христово воскресенье. Вся природа умылась, словно к весне, купы деревьев, сады и рощи затянуло зеленой дымкой, солнце везде так и играло.

Радостно было и на душе Аглаи Смирдиной: ее возлюбленный Филя встречал великий праздник дома, в своей маленькой семье. Был он, Филипп Смирдин, полотнящик, что на языке торгового города значит, что ходил он по деревням и скупал домотканые изделия — дерюжку и холстину, льняное полотно. Хозяйственные мужики ткани свои предпочитали возить на ярмарку самолично, там и с купцами поторгуются. А ходебщик Филя разрушал всю их хозяйственную систему. Бабам, девкам ленты по-

кажет, сережки посулит — они ему тайком за околицу холсты свои и вынесут. Мужичков же иных, слабых, Филя вином соблазнял, для сего всегда наготове штоф-другой имел. По этой причине крепко доставалось ему от сельских хозяев — и бивали, и грозились, и даже капкан на него ставили, как на серого волка!

— Ох, уморит меня такая жизнь! — жаловался Филипп, но бросать ее не собирался. — Азарт, азарт! — говаривал он. — Для Смирдина главное — азарт.

Кроткая Аглая неделями ждала мужа, пока он странствовал по сельским околицам, где-нибудь возле Волоколамска либо Серпухова. Не роптала, ежели избитый приходил, ограбленный, в доску пьяный. Знать, такая уж судьба.

А тут ей вдруг такой подарок. Солнце жарит, на Никольской шум людской, праздник катит, словно нарядная колесница. И сам Филя тут, Филя! Сходил в низочек в торговую баню, выпарился и сидит теперь в чистой рубашке за ее, Аглаиным, пасхальным столом.

Кривая стряпуха Антонидка подает блюда, хотя пользы от нее мало, но должен же быть в доме у настоящего хозяина хотя бы один слуга?

На коленях у Филиппа сидит годовалый Сашенька, такой же розовый и выпаренный и тоже в чистой рубашечке. Он уже бегаёт вовсю и умеет говорить — «тятя», «дай», «дуреха» (это он про Антонидку).

Отошла праздничная обедня, и начался колокольный трезвон. Сперва, конечно, кремлевские колокола забухали, забренчали, там мастера известные, их из-за границы приезжают слушать. Потом и Китай-город раздражается своими звонами. Купеческий сей посад и Кремлю не уступит — китайгородские жители за большие деньги содержат у себя отменных звонарей. В конечном счете гремит медью колокольной вся православная Москва.

Филя, качая сына на колене, принимается передразнивать голоса московских колоколен:

— Никитишна, пеки блин! Никитишна, пеки блин! (Это про Никитскую церковь за Неглинкой.) Дров нет, дров нет! (Такой уж громовой удар у этой Никитишны, грохает, как пушка.) Монах убег, монах убег! (А это колокола с переборами Заиконоспасского монастыря, при их литье, знать, в плавку было брошено много серебра.) Поймаем, приведем! Поймаем, приведем! (А это пудовики Греческого монастыря.) Бам-бам, бам-бам!

Сашенька веселится на отцовском колене, а Антонидка напротив сидит, от изумления разинув рот. Туда ей Филя и сует свой указательный палец, чтоб не зевала. Антонидка поперхивается, а Аглая от полноты счастья сама смеется, словно звонкий колоколец.

И вдруг сердце ее словно обрывается и летит в холод и тоску. Она видит, что Филя отвлекся от них и с напряженным вниманием смотрит вниз, за окно.

Там в проулке стоит цыган Бурукай, китайгородский забулдыжка, и делает ему призывные знаки. Сколько раз этот цыган уводил из дому ее Филю и всегда бедой какой-нибудь кончалось! А теперь еще рядом с Бурукаем стоит какой-то другой проходимец, в донельзя потрепанной странной одежде — полосатой и с длинными хвостами, как у какого-нибудь дрозда.

Короче говоря, любезный мой читатель, Филя покидает плачущую жену, и сына, и свою стряпуху, выбирается в проулок между церковью и торговыми амбарами, который зовется Межеумок, наверное, за кривизну свою и никчемность.

— Слыхал? — сообщает ему в Межеумке цыган. — Греческие отцы из Афона прибывают сегодня.

— Ну и что, греческие отцы? — нарочито равнодушно, как бывалый торговец, отвечает Филя.

Тот, другой, в полосатой одежде, раскрывает табакерку. угощает, знакомства ради, понюшкой табаку.

— Как что, отцы? — шуруется на солнце Бурукай. — У афонских всегда есть чем поживиться.

— Матъе, — тем временем представляется полосатый. — Человек князя Скарятинского.

— Временно в отставке, — дополняет его Бурукай, засовывая табачок в свой длинный нос. — За непристойный вид. Пока молодой князь его женится, велено ему быть с глаз долой. А нам он пригодится — в Парижах живал, языки знает.

— Сильвупле! — учтиво кланяется полосатый, растопыривая драные фалды сюртука.

Тут подходит и четвертый — верзила в подряснике и скуфейке, зовется по-монастырскому — Мироний, судя по тощему брюху и разбитым сапогам — бурсак. Мироний сообщает, что афонские старцы уже прибыли. Только что малороссийские чумаки на своих фурах доставили их в Греческий монастырь.

Колокола раскачиваются, колотят на всю вселенную,

солнце, хотя уж и вечернее, продолжает жарить. В Межеумке, в окошке одиноком, горько заливается покинутая Аглая, а наши четверо искателей приключений устремляются по недавно вымощенной булыжником Никольской улице к Греческому монастырю. Там благочестивые люди тесно окружили прибывших старцев. У одних просят благословения, у других выменивают кипарисовую веточку или иконку, к третьим просто присматриваются, не привезли ли они на продажу что-нибудь противу указного дозволения.

Цыган с Филей и бурсаком тоже похаживают вокруг, приглядываются, прислушиваются. Полосатого же Матые, за излишне бросающийся в глаза вид, оставляют до времени на задворках Овощного ряда.

Они быстро находят то, что им нужно. Оно, искомое, само выходит на них. Это низкорослый усатый грек в расшитой крестиком хохлацкой свитке. Глаза у него черные, пронзительные, рачьи — так и шмыгают по сторонам.

Грек и Бурукай словно бы обнюхивают друг друга, после чего грек выразительно цокает языком и показывает большим пальцем вверх.

— Спроси у него, спроси,— велит бурсаку цыган.— Привез ли книгу какую. Хорошо бы, как в прошлый раз,— обращается он к Филе.— Изрядно тогда нажились.

— Библиос, библиос...— твердит Мироний греку, для выразительности описывая в воздухе образ книги: растопыривает невидимую обложку, якобы перелистывает страницы.

— Э!— сердится Бурукай на Мирония.— Ты что же, по-гречески не можешь объяснить? Чему вас там, в академии, учат?— И принимается говорить по-гречески сам:— Ипосинклити деспоти, мини, лири, вири, деньги наши, мегалептон, книги ваши...

— Книга есть,— вдруг совершенно ясно по-русски отвечает грек, блеснув глазками.— Осень редкая книга, ромеос, византинос... Однако боярин нужен.

— Зачем тебе боярин?— горячится Бурукай.— Разве мы тут тебе не бояре? Раз боярин, два боярин, три боярин,— тыкает он в себя, Филю, Мирония.

— Боярин нужен,— повторяет грек, критически осматривая их костюмы.

— Его, видать, уже надували,— говорит Бурукай Филе на ухо.— Потому и хочет только богатого покупателя.

Боярин будет! — заверяет он грека. — А ты нас подождешь?

Грек в свою очередь божится, что подождет, даже крестится на купола, что и в трапезную не пойдет. На всякий случай цыган оставляет при нем Мирония.

Тут-то, оказывается, и необходим Матье, княжеский человек! Вместе с ним приятели отправляются на усадьбу в Большой Черкасский переулочок. Скарятинские всей фамилией отбыли к себе в подмосковную, готовят к свадьбе сына. Княжеский двор пуст, только карета с пышными гербами стоит посередине под навесом.

Она-то им и нужна! На Филины деньги (деньги есть только у Фили, он исполняет роль банкира во всей этой компании) покупается четверть зелена вина и ставится княжеским конюхам да кучерам.

Через полчаса запряженная четверкой лошадей карета князей Скарятинских под клики кучера и цыгана Бурукая, сгоняющих с пути прохожих, приближается к Греческому монастырю. Бурукай соскакивает с облучка, находит в толпе старцев своего грека под охраной Мирония, и начинается торг.

Грека с бережением возводят на ступеньку и препровождают в карету, где в полутьме некто непрерывно говорит по-французски и смотрит в двойной лорнет.

— Боярин! — указывает Бурукай, вкладывая в это слово всю меру почтительности, на которую способен.

Тогда грек, не переставая недоверчиво поблескивать глазками, извлекает не то из-за пазухи, не то из штанов сверток и долго распеленывает его.

Да, это книга. Это слегка обгорелая («жареная» — на языке николевских перекупщиков), в деревянных досках, хоть и не на пергамене, но на очень плотной старой бумаге книга. Ровные ряды букв плотно сомкнуты, как фаланги воителей, а пышные инициалы словно древние кесари или архистратиги впереди войска.

— Эузпикон апостоликос! — гордо объявляет грек. — Переписана во обители Влахернской при Мануиле Палеологе Великом.

Цыган дергает за рукав бурсака Мирония: смотри, мол, не зевай, ты же у нас ученый человек! Но тот только бормочет вокабулы — палеос, агиос, киновиос — и щупает шершавую бумагу, насколько это позволяет ему грек. А мосье Матье, войдя в роль, так и стрекочет по-

французски, крутит на шнурке лорнетом и делает ручкой то направо, то налево.

Грек заламывает цену — пятьдесят рублей. Долго торгуются, так долго, что темпераментный Бурукай дважды выбегает из кареты пить квас. Наконец сторговываются за двадцать семь рублей с четвертаком. Банкир Филя лезет за мошной — отсчитывать деньги. И тут из яркого солнечного вечера, из-за раскрытой двери кареты раздается пронзительный женский крик:

— Филя! Не давай им денег, они тебя обманут!

Это Аглая с Сашенькой на руках. Она проследила их до Греческого монастыря и теперь стоит плачет, держась за огромное колесо княжеской кареты. За нею и Антонидка, несет Сашенькино одеяльце.

Операция чуть не расстраивается. Филипп с гневом прогоняет жену, грек цокает языком и закатывает глаза.

Впрочем, получив условленные двадцать семь целковых с четвертаком, грек без какого-либо спора отдает книгу и в виде придачи шелковую пелену для ее завертки. Выскочив из кареты и напоследок блеснув дьявольскими зрачками, грек теряется в толпе старцев в дебрях Греческого монастыря.

Теперь на Красную площадь, теперь к Спасским воротам, где, пока светло, идет торг всякой диковинной книжностью.

— Не менее сотни получим, — на бегу говорит Бурукай, стараясь запеленать чудесную книгу.

Его компаньоны поспевают за ним, не решаясь проронить ни единого слова. Сотня же — это целое состояние, за сотню можно и пахотного мерина купить.

4

Там, у самых у Кремлевских ворот на крестце, то есть на мостике через оборонительный ров, издревле стоят палатки разные и шкафчики, в коих книги разные продаются, и персоны, и календари. Вокруг толчется люд лубочный — картинками торгуют про то, как мыши кота погребали, и как мужик с козой бодался, и вот каков Иван Пятаков, сел на конь и поехал в огонь!

Бурукай ведет своих компаньонов мимо всех этих книжных торговых соблазнов. Расталкивая гуляк, стремятся они к бревенчатому зданию об один этаж, которое приутилось близ Казанского собора, который еще зовется —

Василий Блаженный. Солнце зашло уже за Кремль, и массивная густая тень Спасской башни покрыла все торговые на крестце. В бревенчатой же избушке возле Василия Блаженного загорелись светом все окошки.

— Что-то, однако, здесь неладно,— бормочет цыган, приближаясь.— Кареты у крыльца, слуги... не в час, видно, попали!

Держа сверток с книгой, цыган и его компания нерешительно останавливаются у высокого крыльца, мнутя. Выходит сиделец, распахнув за собою ярко освещенную дверь, и выливает лохань с помоями прямо с крыльца.

— В лавке ли его степенство, Игнатий Ферапонтович?— осведомляется Бурукай, почтительно, несмотря на то, что часть брызг от лохани попала и на его кафтан.

— Они у себя,— отвечает сиделец.— Но у них ученые-с — сенатор господин Обрезков и их сиятельство граф Мусин-Пушкин Алексей Иванович.

— Вот чума!— говорит цыган и чешет себя в затылке.— Теперь простоим здесь до скончания века. А не скажешь ли ты, любезнейший,— обращается он к сидельцу,— мы люди торговые, сам понимаешь, не по пустяшному делу, долго ли они там? При сделке ведь и тебе перепадет кое-что, а?

Сиделец предлагает показать их товар, но Бурукай, обведя рукою товарищей, будто они всему виной, твердит: «К самому Игнатию Ферапонтовичу».

— Тогда вам долго придется ждать,— отворачивается от них сиделец.— Там случай-то какой? Его сиятельство граф Мусин-Пушкин, как известно, обрел в монастыре Ярославском чудесный список песни ироической о походе князя Игоря двенадцатого века. Теперь по желанию государыни со списка того каллиграфы митрополичьей ризницы содеяли точную копию, и даже полууставным письмом. Для того и сам господин сенатор Обрезков прибыли из Петербурга-с. Теперь же готовую копию ту они принесли господину Ферапонтову, чтобы сверил с другими манускриптами, которых в его лавке полно. Вы же знаете, ежели к нему пришли, что у него книжные сокровища, коих не имела Азия и Европа.

Нечего делать. Компаньоны раскрывают табакерки, угощают друг друга. Становится холодно, Филя, ушедший от своей Аглаи по-легкому, дрожит в полотняной рубашке, трясется и француз Матье. Видно, как полицейские

прогоняют от Кремлевских ворот всевозможных торгующих и тяжелые их створы закрываются на ночь.

Наконец ученые господа появляются на крыльце. В освещенном квадрате двери их тени, натягивающие перчатки, словно два вырезных силуэта, которые как раз в ту пору вошли в моду как в барских гостиных, так и в модных лавках на Кузнецком мосту.

— Да, да, несомненно, — говорит сенатор, держась за поручень, чтобы не упасть на ступеньках. — Но ведь и вы, дражайший мой Алексей Иванович, должны признать, что много есть сомнений в подлинности вашего «Слова». Вот и Скоттийские песни древнего Оссиана оказались же сочинены магистром Макферсоном!

Граф Мусин-Пушкин что-то бурно возражает ему по-французски. Но вот книголюбы рассаживаются в кареты, кучера разбирают поводья, лакеи вскакивают на запятки, высокие колеса экипажей приходят в движение. Вышедший на крыльцо хозяин долго кланяется им вслед, пока сиделец не докладывает, что пришли охотники продать книгу, но за поздним часом, может быть, велеть им прийти завтра?

— Нет, зачем же откладывать? — говорит Ферапонтов. — Пусть взойдут.

Игнатий Ферапонтович Ферапонтов, калужский мещанин, сидит, закутав старые больные ноги в собачий мех, среди своих книжных богатств. Вошедшие гуськом цыган Бурукай, а за ним Филя, бурсак и Матье, княжеский человек, с неким даже испугом взирают на толстенные фолианты, на громоздящиеся в шкафах тома с церковной позолотой.

Сам Игнатий Ферапонтович напоминает былинного Микулу Селяниновича: седоватые борода и усы и локоны с висков ниспадают с него, будто горные потоки. Он сам словно степной курган или даже гора, и в этой неподвижности только острые щелки глаз за завесой волос свидетельствуют, что мысль его всегда жива.

— Принеси еще свеч, — велит он сидельцу, пока Бурукай распеленывает книгу. — Или даже масляную лампу зажги.

Но как только книга распеленута, Ферапонтов машет на нее обеими руками.

— Никак не старше ста лет! — заявляет он. — Гляньте, добродей, у нее доски скреплены кожаной дратвой, если бы подлинная древность, было бы вервие из конопли...



— Позволь, ваше степенство,— говорит обескураженный цыган.— Ты же ее даже и в руки не взял. Это же диковинная вещь, доставлена нам от самых от греков!

Он толкает локтем Мирония, и тот подтверждает:

— Деяния апостольские, царствования Мануила Палеолога...

Тут Игнатий Ферапонтович начинает смеяться, каждая прядка его ниспадающей бороды и усов трясется от смеха, он вынимает чистый плат из-за пазухи и уголком его вытирает слезящиеся глаза.

— Позволь испытать сию книгу?— спрашивает он цыгана.

— Пожалуй. Для того и принесли.

Игнатий Ферапонтович, послунявя кончик своего платка, трет им по одной из строчек книги — и ровный ряд букв, похожий на шеренгу византийских воинов, смывается, исчезает.

— Нарисовано акварелью,— говорит Ферапонтов.— Водяная такая краска, знаешь?

Затем он, схватив книгу без всякого почтения, перелистывает ее перед масляной лампой, всматриваясь на просвет в ее страницы.

— Вот! — показывает он, найдя, что искал.— Раз ты торгуешь книгами, должен же ты знать, что такое филигрань? Гляди внимательно на просвет... Видишь, на бумаге водяной знак и вензель — большая буква «Е» и две палочки снизу — «Екатерина Вторая». Эта бумага изготовлена в царствование всепресветлейшей нашей государыни Екатерины Алексеевны, она не старше тридцати лет, и Мануил Палеолог здесь ни при чем!

Глядя в напряженные лица компаньонов, он осведомляется, не у афонских ли старцев куплено это сокровище, и, узнав, что да, грустно качает головой и, раскрыв табакерочку, заправляется понюшкой.

— Поделки сии киевские бурсаки изготовляют на рынок... Там такие подражатели есть, такие мастера! По десять рублей торгуют на могилянском базаре, и многие простаки оказываются обмануты.

— Десять рублей дашь? — придвигается к нему цыган, свирепо дыша горбатым носом.

— Эй ты, черный! — предупреждает его от входа сиделец.— Кремлевская-то стража отсюда не дале сорока сажень!

— Да я что! — горестно бьет себя в грудь Бурукай.—

Разве я что! Ну, три рубля дашь? — заискивающе просит он Ферапонтова.

— Как три рубля? — вопит Филя, словно проснувшись. — Кто же мне мои двадцать семь целковых возвратит и один четвертак?

Но поскольку на крыльце слышится топот полицейских сапог, они предпочитают выскочить наружу, еле успев захватить пресловутую книгу и прилегающую к ней шелковую пелену.

Некоторое время они стоят вчетвером посреди ночной площади, слушая шум и крик из государева питейного дома, который здесь по указу не закрывается до утра.

— Эх, братцы! — заявляет отчаянно Филя и швыряет шапчонкою оземь. — Неужто ж мы ничем не зальем такую конфузю? Ну-ка, все за мной, я угощаю!

Наутро к великому утешению Аглаи Смирдиной в ее тесную горенку во глубине никольского Межеумка слободские сторожа доставляют совершенно растерзанного и беспамятного Филю. Она плачет над ним и купает его, как будто это и не здоровый мужик, а малолетний Сашенька. Затем она укладывает мужа отсыпаться, а сама ходит на цыпочках.

Утром Филя требует подать ему зеркальце и подробно осматривает красующийся у него под глазом синяк — этакую лиловую сливу, не то даже смокву. Жена и Антонидка ревут ревмя, а Филипп хвастается перед ними и перед соседками, пришедшими его навестить:

— Во, каков синячище! Сам обер-полицмейстер князь Жевахов изволил присадить — силен мужик драться!

5

А время катилось, любезный мой читатель, несло как пущенное с горы колесо. Петербургский брат Глазуннов исполнил свое обещание: через доверенное лицо, кофишенка самой императрицы, книготорговые люди вошли с прошением на высочайшее имя. Матушка Екатерина была уже сыра, слаба, ко всему равнодушна, кроме красавцев юных графов Зубовых. Она изволила резолюцию наложить, и арестованные книги были наконец возвращены владельцам.

По всей линии Никольской улицы вновь открылись книжные лавки — и Академическая, и семь лавок под арками Заиконоспасского монастыря, где духовная акаде-

мия. Открылся и Аникита Кольчугин, патриарх никольских книжников. Вот был ведь Николай Иванович Новиков, зовомый теперь и фармазон, и чуть ли не кознодей, отнюдь не единственным из московских типографщиков, а как книги его заарестовали, так оказалось, что книгопродавцам и жить стало не с чего!

По книжным рядам пошли разговоры — Аникита, мол, Кольчугин сына своего отделил, Григория. Дал ему палатку близ проломных китайгородских ворот, а тот и не стал духовной да церковной книжностью торговать, как принято было в Никольских рядах, накупил в университете учебников, вертоградов разных стихотворных, съездил в Петербург к младшему Глазунову, взял у него на комиссию романов страшных про нечистую силу — и покупатель к нему валом повалил.

— Сынок-то мой того... — говорил старый Аникита Кольчугин где-нибудь в трактире книготорговым приятелям за рюмочкой глинтвейна. — Старой книгой не торгует, за гражданскую принялся! — И в доказательство повреждения сыновнего ума Аникита приставлял палец к собственному виску.

Но еще более поразил молодой Григорий Кольчугин никольскую публику тем, что в своей лавочке выставил и французские книги! Известно, что Москва есть город закоренелых традиций и обычаев. По одной из замшелых традиций русские книги в Москве продавались на Никольской улице, а французские — на Кузнецком мосту.

Здесь, любознательный и терпеливый мой читатель, надо тебе объяснить, что в те далекие времена под французскими понимались книги на любом языке, кроме русского и славянского, хотя бы они и были напечатаны в пределах Российской Империи.

Далек был, ох далек тогдашний Кузнецкий мост от Китай-города и его главной артерии — Никольской улицы.

Зимой, бывало, на Святки, когда никто из православных не трудится, не служит, а всяк празднует в меру своего разума и материального состояния, какой бы ни был жестокий мороз или, наоборот, какая бы ни была сопливая оттепель, народище устремлялся на гребень Китайгородской стены, потому что начиналось главное развлечение святочной недели — кулачные бои между русскими и французами с Кузнецкого моста.

В те времена речка Неглинка, мирно протекавшая под

китайгородскими бастионами, не доходя до Кремля, запруживалась плотиною, которая именовалась также Воскресенский мост, и представляла собой обширное озеро. Теплой порой тут было царство прачек, портомоек всяческих, рыболовов, водовозов — зимой же белым паром веяли ряды торговых бань, а посреди расчищенной от снега запруды мальчишки стробывали на коньках.

Тут, на льду запруженной Неглинки, и устраивались сии кулачные ристалища! С высоты китайгородских стен народ всматривался в мглу противоположного берега, где со стороны Кузнецкого моста меж толстенных колонн Петровского императорского театра на ступеньках располагалась столь же нетерпеливая толпа тамошних любителей кулачного боя.

— Гляньте, гляньте! — указывали друг другу с Китайгородской стены. — Это кто ж там, на Петровке, в казенной карете подъехал? Неужто ж это сам генерал-губернатор князь Прозоровский?

Меж тем обе шеренги мастеров драки долго подбадривали себя воинственными кликами вроде «Раскоси ему ля морду!», или «Батай его промеж ушей!», или уж «Чего уставился, антихристова харя!» и наконец сходились друг на друга.

— Ой-ой! — подчас стонали с вершины Китайгородской стены. — Опять эти наглые французишки наших, николевских, бьют!

Действительно, частенько московские французы побивали николевских русаков, и отнюдь не потому, что такая боевая нация были эти французы, а потому, что в лавках на Кузнецком мосту сиживали не обозначенные на вывесках господ Рисс и Соссет, или Готье, наследник Тастевена, или какой-нибудь Курвенир де Лявентюр, а те же московские Ваньки, Прошки и Никишки, только причесанные, напудренные и обученные, как заправские парижане.

— Бей фганцюзюфф! — надсаживался вместе со всеми на Китайгородской стене молодой князь Скарятинский, который после семи лет обучения в Париже уж не мог и слова молвить, не грассируя, но зато слыл отчаянным патриотом и записным любителем ледяных боев. — Бей фганцюзюфф!

А тут как раз в разгар кулачного патриотизма Григорий Кольчугин на Никольской улице взялся торговать иностранной книгой! Да и как ему было не заниматься этим — в детстве его папаша Аникита Никифорыч, несмо-

тря на весь свой старозаветный закал, отдал сына ученому сенатору Обрезкову, дабы воспитывался он для компании с его детьми. И деткам того Обрезкова было бы не скучно, и стало бы кого сечь, ежели настанет такая потребность в процессе воспитания. Григорий Кольчугин съездил с обрезковскими птенцами и в Париж. Возвратился, правда, в российской скромной одежде, а не в полосатом сюртуке «Энкруайябль», но по-французски читал бегло. Когда женился, он и сына своего малолетнего стал французскому языку обучать, словно он барчук какой.

— Бонсуар! — однажды приветствовал Кольчугина молодой князь Скарятинский, проходя мимо его лавки. — Не ведаете ли, мсье, что это в кремлевских церквях звон такой заунывный? Сегодня же не великий пост.

Был промозглый ноябрьский вечер. Несмотря на мелкую противную холодную изморось, владельцы лавок и мастерских стояли в дверях своих заведений, вслушиваясь в непривычный звон.

— Государыня Екатерина Алексеевна в Санкт-Петербурге изволили в бозе почитать, — по-демократически, то есть без титулования и на русском языке, отвечал князю молодой Кольчугин.

Князь остановился, несмотря на секущий дождь, сдернул свой треух. Екатерина Вторая, именуемая также Великой Благодатной Матерью Отечества, царствовавшая тридцать пять лет подряд, что было столь редко для России осмнадцатого столетия, изволила в бозе почитать! Сколько надежд было связано с нею за эти тридцать пять лет, сколько разочарований — и вот век ее ушел!

Колокола сорока сороков московских звонниц и колоколен раскачивались, издавая густой и меланхоличный звон, а люди молча стояли без шапок под серым морозящим небом и думали — что же теперь?

А недели через три на уже засыпанном снегом Никольском крестце появился высокий и худощавый господин в шинели до пят и со взбитыми пуфами на рукавах. Лицо его было бледным, как бумага, будто он протомился много лет где-нибудь под землей. Это было весьма недалеко от истины, потому что господин сей провел четыре года в Шлиссельбургской крепости, и вступивший на престол новый государь Павел Петрович велел его освободить.

На Никольской, как и на любой торговой улице, новость распространяется не только быстрее семафорного телеграфа, но летит подчас и впереди самого события. Как

только господин в долгополой шинели вступил на булыжную мостовую Никольской, она, обычно кипящая всяким людом, дельным и бездельным, немедленно опустела. Те же самые владельцы, кои любили стоять у дверей своих заведений в чаянии какой-нибудь новости, на сей раз попрятались во глубине чуланов и закровов. Оттуда выглядывали, шепча приказчикам:

— Вон он, вон он! Сам фармазон! Знать, выпустили бедолагу!

А бедолага Новиков быстрым шагом в развевающейся шинели шел по Никольской в сопровождении своего бывшего главного клеветы — приказчика москательного ряда Алимния Иванова сына Панина. Панин не без робости вслушивался в разговоры бывшего шлессельбургского узника, которые он вел на ходу.

— После освобождения моего и прибытия ко отчету дому изволил меня новый император вновь пригласить в Петербург. И говорит он мне: «Ты,—говорит,—страдал, Новиков, и я страдал от несправедливого царствования моей покойной матушки...» Но я ему прямо отвечал: «Ваше императорское величество, пока нету в стране твердых законов, кои делают само появление любой несправедливости невозможным...»

Тут на пути их попался раствор книжной лавки Аникиты Кольчугина. Новиков спустился туда по трем выщербленным ступеням и снял шапку, потому что подобает снимать головной убор, когдаходишь в помещение, где обретаются книги.

Аникита Кольчугин, мужчина еще не в преклонных годах, но склонный к старообразию и полноте, покоился там на кушетке напротив огромной кучи книг. Книги были навалены еще со времен высвобождения их из-под ареста, и Аникита, по простоте русской души, лежал, размышляя, что хорошо бы эти книги как-нибудь разобрать и расставить по полкам.

Завидев входящего Новикова, он прослезился:

— Батюшка Николай Иванович! Вот и вы!

Но сам, между прочим, и не шевельнулся с места, чтобы встать и приветствовать столь высокого барина, которым все же был Новиков.

Новиков сказал:

— Читал я протокол твоего допроса, Аникита, по моему делу, читал. Прямо скажу — ты ответственал как честный гражданин и верный товарищ, благодарю. Мо-

жешь быть уверен — Новиков до последнего своего часа этой твоей доблести не забудет!

Аникита еще раз прослезился, крестясь, но с кушетки своей так и не встал.

— Что ж ты все лежишь? — не вытерпел Новиков. — Не зябко ли тебе, ведь не топишь. Да и охотник какой до купли книг придет, а ты лежишь?

— Степка, Степка! — стал кликать своего сидельца Кольчугин. — Запропастился, сукин сын, послал его за бутылкой горячительного, так все утро, стервец, слоняется! А покупателю мы, благодетель наш, Николай Иванович, покупателю мы укажем, где какая книга лежит, я их все наперечет знаю.

— И чему я тебя учил! — сокрушенно сказал Новиков. Но, поскольку всю жизнь занимался самоусовершенствованием и приучил себя снисходительно относиться к слабостям людей, он пожал плечами и вышел на свежий воздух.

На другой стороне улицы, у Овощного ряда, были на веревочках вывешены образцы продаваемых картинок. Новиков, ныряя под них и обходя шкафчики с выставленными книгами, говорил не отступавшему ни на шаг Панину:

— Ничто, ничто, Алимпий Иванович, не изменилось здесь в Никольских рядах! Ни в книжной торговле ничто не изменилось! Стоило ли ж тогда столько лет потратить, сколько сил, Алимпий Иванович, а? Государь намедни обещал мне возратить деньгами все, что я несправедливо потерял при моем гонении. Я и думал, когда обратно в Москву скакал: завести, что ли, вновь типографию, чтобы печатать «Утренний свет», или «Совершенствование духа», или «Детское чтение для сердца и разума»?

В этот момент из полуподвальной лавки в стене Заиконоспасского монастыря высунулась курносая рожица мальчишки, который, вероятно, принял Новикова по его петербургской шинели за знатного покупателя.

— А вот пожалуйста к нам! — пронзительно закричал курносый. — Здесь, здесь-с, только у нас лучшие книги-с! Гадание по картам с приложением оракула, каждому его судьбу предсказывает с гарантией точной!

Как-то раз в преддверии весны молодой князь Скарятинский зашел в лавку к Григорию Кольчугину спросить парижских новинок — мадам Ратклиф или Шатобриана, тому как раз из Риги ящик книг доставили. Князь был одет в голубой колет с серебряными шнурами и витыми погончиками. В силу своего демократизма и влечения ко всему галльскому князь разговаривал с младшим Кольчугиным всегда по-французски и не чинясь.

Пользуясь этим, Григорий Кольчугин и спросил у князя, что это означает на нем вдруг военный мундир. Ведь еще недавно вроде бы князь женился на богатой наследнице купеческого рода Плавильщиковых, вся Москва шумела об этом. Потом, по слухам, родил дочку и, как счастливый молодожен, обитал у себя в подмосковной.

— Женильба, — князь покрутил лорнетом, — это совсем не то, что необходимо цивилизованному человеку. Тем более в наши дни, когда вся Европа пришла в движение. Да и знаете ли, мон шер, эти купеческие невесты...

Тут князь спохватился, что сам-то откровенничает как раз с выходцем из купеческого сословия, да и вообще негоже джентльмену пенять на собственную жену. Поэтому, отобрав для покупки томик «Шильонского узника» и комплект парижского «Журналь де мод», он переключил внимание на своего человека, то есть на камердинера Матье.

Матье был обмундирован точно как барин — в голубом колете с серебряными галунами, только без погончиков. Он стоял, придерживаясь за прилавок, потому что с утра ему удалось обмануть бдительность княгининой Малаши и в барском буфете опорожнить лишнюю чарочку перцовой.

— Вы опять не в себе, — строго сказал ему барин по-французски. — А вы только позавчера давали слово. Поразительно, — обратился князь к Григорию. — Как эти люди не ценят отношений равенства и братства.

Но тут он вновь спохватился, что на равенство и братство может ведь претендовать и Кольчугин, поэтому сказал своему человеку кратко:

— Подите прочь, чтобы я вас не видел.

Матье, поспешая исполнить приказание господина, на улице видит картину, приятную во всех отношениях. На-

против Аникитиной лавки стоит не кто иной, как цыган Бурукай долгоносый, а рядом с ним бурсак Мироний с косяцей, убранный в чехольчик, и полотнящик Филипп Смирдин с вечным синяком под глазом. И цыган Бурукай делает ему, княжескому человеку, призывный знак пальцем.

А у раствора той лавки старого Аникиты стоит чей-то богатый рыдван и какие-то посланцы, наверное из рядов, поминутно в кольчугинскую лавку вбегают и выбегают.

— Есть дельце! — говорит Бурукай на ухо подошедшему Матье и зажмуривается, словно кот, чтобы выразить, сколь выгодно это дельце.

Там, в лавке Аникиты, рядом с хозяйской кушеткой, сидит на услужливо поданном кресле купчина Селижаров, тучный и с одышкой. Через лупу он рассматривает рукописный «Служебник», который держит перед ним покоящийся на локте Аникита.

— Так... — наводит свою лупу Селижаров. — Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие. Письмо заволжское, кержацкое, полуустав с засечкой... Уф-ф!

В это время в лавку опрометью вбегает приказчик из ссыпных лабазов.

— Овес, овес яровой! — сипло сообщает он на ухо Селижарову. — По полгривенника пуд, брать ли?

Селижаров неохотно отрывается от дивной рукописи. Мигает осовелыми глазками, будто возвращаясь с небес.

— А кто торгует тем овсом? — переспрашивает он. — В смысле из какой губернии? Из Пензенской? Погодите пока ценить, оттуда овес яровой только начал поступать, еще будет дешеветь.

Приказчик уносится прочь, а Кольчугин и купчина вновь склоняются к кержацкому произведению.

— Гляди, гляди! — указывает лупой Селижаров. — Уф-ф! На закраине страницы, гляди! Противу беса заклинание — чур, мол, тьфу, мол, спаси, мол, Христос... Ох-хо-хо! Это непременно в Уводненском скиту написано, там один есть такой переписчик, чудило! Я их всех наперечет знаю, — самодовольно сообщает он. — На всей Москве нет другого знатока старообрядческих писем, как я, купец Селижаров! Уф-ф!

Аникита, напротив него, усмехается, меняет позу, чтобы расправить затекший локоть, но не перечит. И они вновь обращаются к лупе.

Тут в лавку как буря врывается сиделец из Обжорного ряда.

— Корней Корнеич! — теревит он Селижарова.— Да Корней же Корнеич!

Но тот даже не оборачивается, и сидельцу приходится тыкать его под жирную лопатку.

— Нучего, чего? — недовольно оборачивается купец.— Сатана ты, уф-ф!

— Корней Корнеич, то давешнее пшено-то с червячком, как вы и говорили!

— Вот! — назидательно поднимает лупу Селижаров.— Надо слушать умных-то людей. Беги тотчас к Ваньке Расторопову, пусть сдаст пшено в интендантскую часть, в войсках съедят все!

Так они до вечера проводят время с Аникитой, но брат «Службеник» за предложенную цену — сто рублей — купец отказывается.

— Я, — говорит, — еще подожду, да еще потерплю. А ты цену-то, брат Аникита, и сбавишь. Таких знатоков книги, как я, ты едва ли где сыщешь.

Пыхтя и отдуваясь, будто тесто, вываленное из квашни, он выбирается по ступенькам в синеву надвигающегося вечера и усаживается в свой рыдван. Кучер уже цоклет, позванивая уздечкой, но тут в рыдван вскакивает еще кто-то в надвинутом на глаза колпаке и, поискав, где бы скрыться, залезает под сиденье, под самые полы необъятного купеческого армяка.

Селижаров говорит свое «Уф-ф!», но не успевает предпринять и какой-нибудь меры, как с другой стороны в его рыдван всовывается лицо какой-то духовной персоны с косицей и бородкой клинышком.

— Никто тут к вам не вбегал? — запыхавшись, осведомляется он.— Никто у вас не прятался?

Купчина, как человек хитрый, торговый, предпочитает на всякий случай отмолчаться: я, мол, не я и лошадь не моя. В свидетели попасть какие-нибудь тоже не сладкая каша, одних отступных наплатишься!

— Вот досада! — говорит персона с косицей.— Только что в книжной казне Заиконоспасского монастыря украли манускрипт «Деяния апостольские», переписано византийским маюскулом при Мануиле Восьмом Палеологе. Боже мой милостивый! Игумен теперь меня в Соловки загонит!

С другой стороны рыдвана всовывается лицо какого-то военного в голубом мундире с серебряными галунами.

— Ну, разобрались?— спрашивает он, по-господски картавя.— Ке дьябль! Не нашелся злоумышленник? Караул уже тут все обшарил.

Монастырский казнохранитель с косицей громко плачет и даже бьет себя по темени:

— Быть мне, горемычному, на Соловецких тех островах!

В окно рыдвана всовывается еще чья-то круглая рожа с застарелыми синяками, за ней какие-то людишки... Селижаров решает, что лучше всего отъехать, а там уж дознаваться самому.

— Нету у меня никого!— кричит он, даже замахивается костылем, а кучеру своему приказывает: — Погоняй, чего встал, дурень?

Проходит еще час, ночь окончательно завладевает Китай-городом, сторожа меж рядами бьют в колотушки, начинают запевать первые петухи. Бурсак Мироний, Матье, княжеский человек, а с ними и неугомонный Филя Смирдин напряженно ждут под навесом Москательного ряда, где цыган Бурукай числится ночным сторожем.

А вот он и сам, Бурукай. Идет, не может сдержать ликования, бахилы чуть не сваливаются от приплясывания. Компаньоны устремляются к нему:

— Ну?

— Пятьсот рублей дал купчина.

— Врешь!— разом вскрикивают компаньоны.

— Да вот они, хоть пересчитайте.

— Что ж он, дурак?

— Это уж мне неизвестно.

— Как же будем делить?

— Мои все деньги!— вдруг истерично вскрикивает Филя Смирдин.— Я в книжку вашу фальшивую сколько их вложил! Одних подношений сколько куплено, сколько вина!

— Хасиям сакерлопе!— по-цыгански раздражается Бурукай.— Чур, делить по-братски, как уговаривались сначала. А не то бы я взял купчиныны пятьсот да и задал бы от вас тягу! Все едино придется теперь прятать концы где-то...

И тут Филя Смирдин выхватывает у него всю пачку ассигнаций и бежит что было сил по безлюдной Никольской к своему Межеумку. За ним кидаются бывшие компань-

оны, несутся молча, чтобы не привлекать внимания властей. Из боковых щелей и закоулков наперерез выносятся какие-то тени, это всяческие бродяжки, которые нюхом чувствуют, что свершается нечто. Кто-то успевает дать подножку Филе, и тот падает во тьму, куда не достигает свет уличного фонаря. Туда валится множество народа, там шевелится куча тел, слышится визг и матерщина, потом крик чей-то истошный, голос, исполненный смертной тоски.

Наутро полиция в проходе меж рядов кафтаных и сундушных обнаруживает распластанное тело. Оно так истерзано и побито, что долго не удается определить, кто это. Потом сбежавшиеся из рядов бабы говорят: «Да это Смирдин Филька, вон у него след от синяка, которым его о запрошлом годе сам полициант удостоил!»

И все торговки из рядов, и портомойницы с Неглинной, и зарядьевские шлюшки плачут навзрыд и жалеют: «Бедная, бедная Аглая, бедный Сашенька, сынок ее!»

7

Приходилось ли тебе когда, дражайший мой читатель, вспоминать начало твоей жизни, самые первые, самые нежные ростки ее и зеленые побегии? Наверно, думаю, приходилось, и не раз, на протяжении твоей жизни, краткой ли еще или уже многотрудной. Уверен, снисходительный мой читатель, что в памяти твоей из непроницаемой мглы времен вырисовывались при этом отнюдь не восшествия или падения царей, не народные ликования или скорби, не батальные победы или выдающиеся подъемы отечественного духа, а какая-нибудь ерунда, эпизодик, для истории вообще пустяк — прогулка в утреннем лесу, приезд откуда-нибудь родного батюшки, лупоглазая кукла, подаренная щедрой тетенькой или бабушкой, даже не сам этот эпизодик, а его отрывочные частицы, черты — какие-то физиогномии, ясно, что родные, но совершенно безымянные, или, наоборот, имена хорошо памятные, но без какого-нибудь смысла.

Могу, например, побиться об заклад, друг мой читатель, что тебе припомнилось, как тебя когда-то купали в ванночке, а ты, еще не ходячий и совершенно бессловесный, лил слезы в три ручья и орал на весь свет, заявляя свой протест и негодование. Потом пройдет много лет, и ты, уже взрослый, расскажешь об этом воспоминании

своей матушке, а она категорически его отвергнет, заявив, что, наоборот, будучи крохой, ты ужасно любил купаться, никогда при этом не плакал, ждал купанья с большим нетерпением.

Или, словно во сне, видятся тебе какие-то девочки, совсем взрослые, по сравнению с тобой, их косички убраны в пышные банты, как у царевен, они поддерживают тебя под руки, учат говорить, и все это происходит в углу двора или даже на пустыре за помойным ящиком, извини меня, читатель, за прозаическую деталь, у какой-то бревенчатой стены. Дивный воздух предвечерний напоен неземным ароматом — вероятно, цветет сирень, а в бревенчатую стену то и дело ударяются какие-то предметы, тяжелые, словно пули, а девочки тебе назидательно говорят: «Это майские жуки, мы сейчас наберем их целый коробок!»

А вот ты уже большой, на тебе бархатные панталончики до колен, которые по модной картинке сшила тебе твоя трудолюбивая матушка. Но ты не успел в них покрасоваться, потому что завистливый сверстник из соседнего переулка злобно ударил тебя в спину и ты упал на кучу битого кирпича, порвав панталончики и до крови рассадив обе коленки! И ты стыдишься плакать, и больно тебе невыносимо, и ты страшишься гнева своей матушки. Сжимая кулаки от ненависти и жажды мщения, ты шепчешь: «Фьянцуз, Фьянцуз!» — потому что таково уличное прозвище твоего завистника, а иных, более жестоких и оскорбительных мужских слов ты еще не знаешь.

«Француз» — на Никольском крестце это было уличное прозвище Семки, сына иностранца Кольчугина, которого отец учил французскому языку и который, не в пример своему всегда воспитанному и деликатному отцу, слыл первым забиякой. Тупичок Межеумок, где обитали Смирдины, огибал притвор церкви Живоначальная Троицы и утыкался прямо в оборотную сторону Китайгородской стены. Стена эта здесь, не служа уже лет двести военной обороне, довольно обветшала, многие ее кирпичи вывалились, зубцы обрушились, вся она была обстроена нелепыми чердаками и полушкафчиками, лестничками и переходцами и увешана пудовыми замками на всевозможных кладовых. Его сиятельство князь Прозоровский, московский генерал-губернатор, взирая на сии китайгородские фортификации, не раз грозился разобрать их на кирпич и построить что-нибудь выдающееся или об-

щеполезное. Ведь построен же был из кирпича Арбатских ворот Пашков дом напротив кремлевских башен, построен был на Солянке и огромнейший Воспитательный дом из разобранных Яузских ворот.

Но возвратимся к нашему сопернику по кличке Француз, который держал в состоянии террора все мальчишеское население не только Межеумка, но и всея Малыя, Средняя и Большая Никольские тупички.

— Становись во фронт! — командовал оный Семка Кольчугин, гордясь еще и тем, что нос был у него курносый, как у самого императора. — Носки равняй! Равняй, скотина, слышал, что тебе говорят? — напускался он на какого-нибудь клопа Тишку Разувахина. — А не то у меня в Сибирь шагом марш!

Возле него — Никитка Лагутин, причесанный на пробор и одетый в модный полукафтанец. Он здесь фаворит, потому что бабушка у него не простая торговка, а титулярная советница и есть у него барабанец, купленный в рядах, и он старательно в него бьет. Мальчишки же вышагивают, держа равнение на гордеца Семку.

Однажды Сашеньке Смирдину смерть как надоели эти Семкины фронтные забавы и он, одолев робость, вышел из строя. Семка заорал на него, но Сашенька не послушался и ощутил в себе новое качество — он был смелым! Независимым шагом и даже не обернувшись дошел он до зарослей бурьяна возле Китайгородской стены.

Там был свой мир под лопушищами, огромными, как тележные колеса. Солнце сквозь них лилось сюда как зеленый водопад, наполненный стрекотом кузнечиков, скоком блошек, летаньем всякой насекомой мишуры. Крапива жгучей стеной стояла на охране этого лопушиного царства, и сам Француз со всем своим воинством не мог бы сюда проникнуть. Приходилось остерегаться лишь бодучих коз, которые паслись здесь на привязях.

И наш Сашенька, угнездясь под кустом бузины, раскапывал свой тайничок и извлекал сокровища. Главным из сокровищ была у него папочка с картинками, которая вывалилась однажды из-за гнилой доски какого-то книготоргового чулана. Что это были за картинки! На одной из них толпы одетых по-иноземному людей шли с пиками на приступ высоченных башен. На другой — толстый старичина, с полумесяцем на умотанной в полотенце голове, пировал в компании совершенно одинаковых женщин. На третьей — бодрый генерал, в паричке с буклями, скакал по

отвесной скале, а кругом громоздились умопомрачительные горы.

Если бы Сашенька умел читать, он узнал бы, что это взятие Бастилии французами, возмущившимися против своего короля, что это турецкий султан со своими одалисками, что это князь Суворов Италийский переходит с гренадерами Сен-Готардский перевал. Но букв он еще не изучал, а мать его Аглая и наставница кривая Антонидка сами были неграмотны.

Зимой главным занятием было катание на санях. Салазки подарил ему щедрый дядюшка Ильин, и Сашенька выходил с ними на гребень Китайгородской стены. Отсюда саночный спуск был укатан в две стороны. Малый скат был устроен в сторону Межеумка, там гурьбой катились ребята, бабы и девки летели с визгом, утыкаясь в каменный бок Живоначальная Троицы и поднимая там клубы серебристого снега. На другую же сторону Китайгородской стены скат был огромен — через всю обледеневшую Неглинку, через запруду к далекому Петровскому театру. Только взглянуть отсюда — сердце заходится от страха! Катались здесь солдаты и завсегдатаи окрестных кабаков. Иногда подгулявшие приказчики вывозили на стену извозчицьи дровни и, насажав туда девиц, с гоготом и разудалым свистом летели через ледяное пространство, чтобы опрокинуться у ступеней Петровского театра.

Глядел раз Сашенька со своими салазками с этой вершины, как мимо прошагал Семка Француз, неся под мышкой расписные санки стоимостью в целый алтын. Издвательноски показав язык нерешительному Смирдину, гордый отпрыск Кольчугиных швырнул на лед свои алтынные санки и, пав на них, словно казак в боевое седло, ринулся вниз.

Но, видимо, не рассчитал или силенок не хватило править на таком бешеном ходу. Расписные его сани ударились в обледенелое бревно на краю ската, и Сашенька увидел, что недруг его лежит, запорошенный снегом, силится встать. Забыв о своих салазках, Сашенька присел на корточки и покатился на них к лежащему Французу, придерживаясь за бревенчатый край ската. Подобравшись к Семке, он помог ему встать, почистил варежкой, вывел, хромавшего, на боковой проход к торговым баням.

— Батяня, пожалуй, прибьет, — сказал Семка, ковыляя при помощи Сашеньки, и принялся, оправдывая свое

прозвище, ругаться по-французски: — Ах, мерси его в сопатку, разлюли его мадам!

Уже совсем стемнело, когда они добрели к черному ходу кольчугинской усадьбы. Подергав калитку, Семка сумел ее отворить, не прибегая к дверной колотушке. Он шагнул туда из-под Сашенькиной руки, затем повернулся и оттолкнул его в грудь.

— У нас не подают,— сказал он и захлопнул перед ним калитку.

Сашенька остался ошеломленным. Он же пришел не за подаванием! И это был его первый жизненный урок.

А потом настало время вести Сашеньку к святому причастию. Весь великий пост он выслушивал от матери с Антонидкой и подоспевшего к ним на помощь дядюшки, как надо себя вести благонравному отроку, даже репетировал исповедь, в которой главным было признание его в том, что тайком от Антонидки он прикладывался к семейной сахарнице. В канун Пасхи Смирдин-младший был выкупан, напомажен, прилизан и приготовлен ко введению во храм.

Прежде чем спуститься на крыльцо, чтобы идти в церковь, Аглая, сама расфрантившись, как могла,— для нее, теперь вдовы и прачки, это означало накрахмаленное до хруста холстинковое платье и гарусный платок с узлом на груди,— поправила лампадку красными от постоянной стирки руками, взяла ключи за божницей и поглядела в окно.

Там ликовала ранняя весна, дымчатые от набухших почек ветви тополей и верб над еще не вскрывшейся Неглинной словно хороводились в танце. А ей казалось, что это пляшет ее подвыпивший Филя, воздев руки над головой, и слезы сами собой выкатывались на нарумяненные щеки. Было жалко Филю, жалко себя, такую еще молодую, было жалко осиротевшего сына!

В церкви было полно народа. Аглая протиснулась внутрь, чтобы приложиться к образам и поставить свечу за упокой раба божьего Филиппа, а Сашеньку оставила у входа под присмотром Антонидки. Тут уж собирались дети к причастию — надушенный маменькин сынок Никитка Лагутин, малолетний Тишка Разувахин и даже сам Семка Кольчугин, который снизошел до того, что по-свойски подмигнул Сашеньке.

Между тем вышел дьякон, отец Анфил, которого боялись больше, чем церковного батюшку. Узкоплечий

и длинношейей, был он похож на кочергу, а с залысиной лоб и стеклянные его глаза наводили робость. Отец Анфил распорядился до поры держать детей, подготовленных к причастию, на паперти. Их вывели и поставили за спинами нищих и каких-то богомолок, одетых в черное.

Скрипя, подкатила карета. «Скарятинские, Скарятинские!» — пошел разговор. Старухи двинулись к карете целовать княжеские ручки. Воспользовавшись этой суетой, неугомонный Семка стукнул Сашеньку в плечо, но тот стерпел, не отозвался. Тут прибыло еще какое-то семейство, за ним еще целая фамилия, на мальчишек шипели, оттесняя их назад. И вдруг рядом с ними открылось существо, не виданное ими до тех пор.

Это была девочка в розовых панталончиках, кокетливо выглядывавших из-под высоко подпоясанного платяца. Волосы были взбиты и спускались буклями на грудь, где перекрещивался модный тогда у всех гарусный платок. Личико ее было заметно неправильным — одна щека круглее другой, но держала губки она куриной гузкой, а глаза потупленными, как того требовали правила хорошего тона. От природы же ротик ее поминутно раскрывался для улыбки, а в узких черных глазах то и дело вспыхивали огоньки.

Грубый Семка, желая показать себя, дернул девочку за завитую буклю. Это ему показалось недостаточным, и он дернул еще раз. Девочка удивленно раскрыла глаза и вдруг, размахнувшись, отпустила Семке оплеуху. Поскольку Семка мог натворить тут что угодно, Сашенька загородил собою девочку, а Семка вошел в азарт, и пришлось Сашеньке заехать ему кулаком в живот. Семка попытлся, наткнулся на старух и упал им под ноги. Поднялся страшный ропот, и неизвестно, что бы еще произошло, как из церкви выбежали домочадцы князей Скарятинских и с клохтаньем «Княжна, княжна!» устремились к девочке, а та молча взирала на поверженного Кольчугина.

Отыскалась и кривая Антонидка; плача и причитая, схватила Сашеньку, будто он тут и есть главный Стенька Разин. Толпа расступилась перед старой барыней, княгиней Скарятинской. Та о чем-то быстро заговорила по-французски с девочкой, затем обернулась к Сашеньке и сказала ему по-русски:

— А ты, оказывается, рыцарь!

Тут вышел на паперть грозный дьякон отец Анфил.

С высоты своего величия нагнулся к Сашеньке, взял за подбородок и постучал согнутым пальцем в лоб:

— Это чей же такой? Смирдин? Уж не сын ли покойного полотнянщика? Пора, пора тебе, Смирдин, братья и за Псалтырь.

8

А жилось все туже. Цены на китайгородских торжниках скакали, словно борзые. Еще вроде бы вчера пироги с требушкой — основная пища торгового люда — стоили по грошу с денежкой или по полторы копейки пара. Теперь и по копейке не сторгуешь — знай подтягивай животы!

Вдовица Аглаюшка стала прачкою в низу, то есть на мостках у Неглинки. Образцово научилась стирать, рук своих не жалела. Давно ли была балованной дочушкой у благонравных родителей, теперь сама добытчица, единственная кормилица. И давали ей заказы даже такие привереды, как князя Скарятинские, которые, несмотря на обилие собственной крепостной челяди, коей они счета не помнили, на постирушку приглашали вольных. А попадались еще чудорашнее — один из Голицыных, например, белье свое для стирки посылал в Париж (это правда!)...

Однако и княжеская стирка кормила все ненадежнее, стояли голод и недород. Нанялась и кривая Антонидка к какой-то торговке в Кусошный ряд чадо ее грудное нянчить. Сашеньку же, чтоб не оставался дома один, определили к дядюшке Ильину в лавку. Глядишь, что-нибудь подсобит, подаст какую-нибудь малость.

Дядюшка Ильин ворчал с утра до самой ночи:

— Что за покупатель пошел! Фортификация, риторика — нет у него спроса. Вольтера там либо Лафонтена, за коими прежде толпились, — и не показывай. Русские сочинения — Эмин, Сумароков — с приплатою не возьмут. Подай им анекдоты про дамский пол или правила светского обхождения. Романов, романов ходят любезных, от которых ночью не спится!

В общем, и с книжной торговлишкой дела шли туговато. Дядюшка сердился и срывал злость на Сашеньке:

— Ну-ка, Смирдин, взял бы ты веник, подмел бы у порога!

Хозяйка его, смахивая передником сердобольную слезу, пыталась Сашеньку защитить:

— Куда ему веник-то, чуешь? Он же малец!

— Свиньи чуют! — еще более взбудораживался Ильин. — Как ты смеешь, баба, такое говорить? Я тебе не скотина, я боговенчаный тебе муж. А ты слышала, в Петербурге? — переходил он на шепот, хорошенечко оглянувшись по сторонам. — Ты слышала, в Питере? Там книг иноземных совсем привозить запрещено. Приказчик от Глазуновых туда ездил, так он сказывает — скоро книгопечатание совсем запретят. Итак, мол, писать да тискать много лишнего стали. Вот тогда, родимая, будешь чутья, как по миру пойдешь!

Зажигал масляную лампу, чтобы читать в полутемной лавке, и шелестел «Московскими ведомостями», искал объявлений, не продается ли чего... Купить бы что за грош, продать бы за полтину!

— «Опи... описание... ца... царских свадеб, — читал он, запинаясь и придерживая очки, — с при... примечаниями» — эх, какая закавыка! В котором году который царь воцарился, на скольких женат был супругах, много ли имел детей...

Заглянув под прилавок, где Сашенька, ради детской своей забавы, катал какую-то шпульку, дядюшка вздыхал:

— Этой бы книжечки нам с тобой, Смирдин, дюжин бы пять, мы бы с тобой торганули! Однако читаем далее — «...в переплете двадцать пять копеек, без переплета — двадцать. Кто же станет брать оптом — тому уступка». Слышь, Антиповна! — кричит он жене, которая на антресолях мотает пряжу. — Уступку обещают!

Жена поддакивает, и дядюшка, подсунув газету к самой лампе, продолжает:

— «Продается же сия знаменитая книга в доме госпожи Эйлер, что на Моховой улице, напротив Михайловской церкви. Торгует же ее квартирующий там Комаров Матвей, житель города Москвы. Да еще самая малая собачка, которая меньше четырех вершков, продается там же...» Глянь, Антиповна, смех! Там и собачка продается! Хотя оная собачка мне и ни к чему.

На следующее утро дядюшка Ильин, воспользовавшись свежей и теплой погодой, направляется на поиски Комарова, торгующего книгой. С ним и маленький Сашенька, которому любопытно повидать собачку росту четырех вершков.

Дядюшка крестится на все кремлевские купола, и они переходят Неглинку через Воскресенский мост, который

одновременно и плотина — целый водопад низвергается, сотрясая мост и приводя в действие чеканы Монетного двора. Прямо на мосту высятся разные лавки и мастерские, толпятся разносчики, которых полиция гонит с Красной площади. Тут рынок детских всяких забав и игрушек — свистульки, пищалки, мельнички, чертики на дергалках.

— А вот конище гнедой, кормить не надо едой! — выкрикивает мужик в шапке конусом и прямо в нос тычет коня — глиняного, расписного, удалого.

Сашенька глаз с того коня не сводит, но дядюшка дергает его и уводит подальше от соблазнов.

Они взбираются по глинистому берегу Неглинки к новому университету, который со всеми своими колоннами и куполами недавно выстроен напротив Кремля. Там они разыскивают Матвея Комарова.

Житель города Москвы оказывается представительным стариком в бархатной ливрее и нитяных чулках до колен, живущим на задворках какой-то барской усадьбы. Собачку, тоже старую и толстенную, он держит на руках. Собачка мигает подслеповатыми глазками и сначала злобно лает тоненьким голоском, но потом, смилостившись, она позволяет Сашеньке ее погладить и даже удостоивает его лизнуть маленьким быстрым язычком. Хозяин спускает ее с рук побегать по травке.

Матвей Комаров быстро находит общий язык с книгопродавцем Ильиным. Битый час они толкуют о похождениях великого сыщика Ваньки Каина и о том, как казнили французского преступника Картуша, которого после казни на все косточки разобрали, и каждая косточка его была у палача куплена для науки за большие деньги...

Сашенька сначала с ужасом вслушивается в их разговоры, но потом отвлекается на другое. За углом барского дома большие упитанные гуси, приковыляв к корыту, принимаются, задрав клювы, глотать моченый горох. Причем шипят и на Сашеньку, и на маленькую собачку, которая никак им не мешает, а лежит себе калачиком на солнце.

Когда гуси окончательно допекают бедную собачку, Сашенька берет хворостину и пытается их прогнать. Боже, какой тут поднимается гвалт, шипение, хлопанье крыльями, гусиное негодование!

— Смирдин! — учит дядюшка. — Ты что, вошел в чужой двор, свои порядки тут заводишь?

И они выходят втроем с Комаровым на улицу, потому что, оказывается, торгуемых книг у него здесь нету, они хранятся в типографии, на том самом с плотиной Воскресенском мосту. Собачку же хозяин запирает в доме.

— Купите собачку! — предлагает Комаров, пока они идут по бережку вдоль университета. — Это моего покойного еще барина собачка, который мне вольную дал. Я к ней привык, бывало, и купывал ее я, и расчесывал ее я, при барине-то. Куда ж я ее теперь — на живодерню? Купи собачку, мальчик! — обращается он к Сашеньке.

Сашеньке очень хочется собачку, он бы тоже ее и купал и расчесывал. Но дядюшка Ильин молчит как могила, и Комаров переходит на другое:

— Я бы желал и сам в дом господский наняться в услужение, не слыхали ли где? Или хотя бы к знаменитому некоему купцу для исправления письменных дел или какой другой благородной должности...

Комаров останавливается, задержав какого-то знакомого прохожего и спросив у него понюшку табаку. Прохожий щелкает перед ним табакерочкой, и Комаров, насытившись вволю, сообщает доверительно Ильину:

— Писателем, конечно, дело знатное слыть. Однако тут трудов нужно, хлопот всяких. Я же человек в летах, живя за бариним, к холе привык, к обхождению... Мне бы службу какую почтенную — не знаете ли?

Но Ильин не знает, и они входят в типографию, где среди станов и верстаков, огромных, как допотопные чудища, они вершат свою сделку.

Тут Сашенька наблюдает печатание книги, которое он видит впервые. На дубовом столе под огромной рамой, по которой двигается печатный пресс, лежит доска, составленная из множества мелких буковок и значков. Бородатый печатник в кожаном фартуке сначала эту доску сильно скоблит ножом, вычищает. Затем, схватив черную подушку, сочащуюся краской, с такой же силой бьет ею по той же доске. Другой рабочий с деликатными усиками и отмытыми дочиста руками укладывает на доску с буковками большой бумажный лист.

— Гаврило! — свирепо кричит бородатый печатник. — Куда тебя черт занес? Дергай же куку!

Из-за штабеля готовых книг опростетью выскакивает мальчишка. Сашеньке показалось, что не более ростом его самого, и принимается тянуть книзу куку — длинную рукоять станка. Так как станок поддается очень неохотно,

мальчик Гаврило всем своим телом повисает на рукояти. Тогда станок со скрипом повинуется и накрывает своим прессом все — и доску с буквами, намазанную краской, и чистый лист бумаги, и войлок, положенный на него печатником.

Сашенька смотрит на все это, как на некое священнодействие.

— Закрой чердак! — говорит ему нелюбезно дядюшка, кладя ладонь на его раскрытый рот.

Сделка свершилась. Комаров пересчитывает четвертаки и полтинники и сыпает их в свой кисет. Дядюшка, перевязав купленные книги в два тюка, перекидывает их себе через плечо. Все выходят на щедро залитый солнцем, шумящий водою и торговлей Воскресенский мост.

Довольный сделкой, Матвей Комаров улыбается во все свое холеное бритое лицо. Купив для собачки ветчины, заворачивает ее в бумажку. На него наскакивает разносчик с криком: «А вот конь дивен, цена ему полгривен!» — и Комаров покупает глиняного расписного гривастого скакуна с выгнутой шеей. Полюбовавшись им, дарит его Сашенька.

— Премия, премия! — машет он Ильину, который протестует против такой щедрости. И уходит к университету, к своей собачке, продолжая иногда оборачиваться и кивать Сашеньке и его чудесному коню.

Дядюшка Ильин, согнувшись под тяжестью тюков с книгами, за ним Сашенька с расписным конем добираются наконец до Китайгородской стены и пробираются вдоль нее в Пролом. Но прежде чем войти в Межеумок, дядюшка оглядывается и, убедившись, что комаровской бархатной ливреи уже далеко не видать, вырывает вдруг из Сашенькиных рук его драгоценного скакуна и со всего размаха кидает в Неглинку. Конь, падая, разбивается на множество кусков, которые тонут под мостками, где прачки остервенело бьют вальками белье, может быть, среди них и Смирдина Аглая.

А Сашенька стоит оцепенелый, пока не соображает, что надо ведь идти, и бежит что было сил за уходящим по переулку дядюшкой.

Диакон в русской православной церкви не чин и не иерархическое звание. Это служитель, может быть и из псаломщиков, которому поручают различные мирские де-

ла — благотворительность, промыслы, а то, глядишь, и воспитание детей. Диаконы нет-нет да и мелькнут в истории российской: здесь они кого-нибудь поучают, там резонерствуют, а глядишь — и бунт какой-нибудь возглавят. «Обучался грамоте у сельского дьячка...» — то и дело читаем мы в биографии какого-нибудь очередного самородка.

И был ведь таинственный диакон церкви Николы Голстунского в Кремле, который неведь откуда к нам занес искусство книгопечатания, что позволяет нам теперь, читатель мой, сидеть вот так запросто и беседовать, не зная себе ни времени, ни расстояния. И звали этого чудесника Иван Федоров сын Москвитин.

И другой диакон был его современник, а вернее, не был он и в сани диакона, потому что был расстрига, и о нем вообще ничего достоверно не известно, осталась лишь бледная тень его имени — Григорий Отрепьев, галицкий сын боярский... Но именно он приучил наш народ к яростному кличу — самозванец! Именно благодаря ему до самых последних времен нет-нет да и вспыхнет тот кошмар, о котором сказал поэт: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»

Но тот диакон, о котором у нас с тобой, читатель, пойдет здесь речь, ни открытий мировых не делал, ни устоев общественных не потрясал. Хотя, с точки зрения своего круга, то есть Никольского крестца, был он личностью не менее значительной и даже великой. И это был Анфил, диакон церкви Живоначальных Троицы, что в Никольском тупике, напротив Проломных ворот Китай-города.

И вот сквозь мглу времен мы видим, как тот отец Анфил принимает у вдовицы Смирдиной Аглаи, наряженной в свое холстинковое крахмальное платье, ее сокровище — сына Сашеньку и ведет его учиться грамоте.

И, войдя за диаконом в опустевшую после службы церковь Живоначальных Троицы, увидел Сашенька Смирдин таких же, как и он, отроков за аналойчиками, сиречь за пюпитрами. Перед каждым из мальчиков лежала раскрытая книга, все они были ему знакомцы и были сугубо серьезны. Даже вечный проказник Семка Француз не попытался соорудить ему гримасы.

— Кольчугин! — сказал отец Анфил, выкатывая свои рачьи глаза. — Подвинься-ка, Смирдин встанет рядом с тобой. Итак, с богом! Это какая буква?

— Како! — хором ответили учащиеся, а самый малень-

кий, Тишка Разувахин, замешкался и добавил тоненько: «Како...» — за что получил от диакона указкой по затылку.

— А это какая? — еще грознее спросил диакон.

— Наш! — еще дружнее ответили мальчики.

— А вот это?

— Иже!

— А это?

— Глаголь!

— И вот это?

— Аз!

— А все вместе?

— Како-наш-иже-глаголь-аз! Книга!

Диакон торжествующе повернулся к новичку Сашеньке, как бы желая продемонстрировать — вот как, мол, у нас! Отроки облегченно задвигались, зашептались.

Затем учитель занялся опросом вчерашних уроков, а Сашенька принялся с любопытством оглядываться. Стояли они в боковом притворе церкви, среди снятых временно для чистки или ремонта образов и подсвечников. В полутьме в углу помещалось нечто похожее на ржаной сноп, а в глубине церкви мерцали синие и красные огоньки лампад.

Сашенька посмотрел вверх, и в необозримой, как ему показалось, высоте, под самым куполом, куда сходились по стенам ряды благодных угодников и святых, где воздух, лиловатый от курений, был пронизан светом из верхних окошек, он увидел рай, царство божие, о котором ему шептала когда-то, укладывая спать, кривая Антонидка.

— Олександр! — донесся до него голос диакона Анфила с легким ударением на «о». — Олександр!

Он не сразу понял, что это относится к нему, что это он теперь Александр. Диакон стучал по своему аналою уже не указкой, а камертоном, потому что начинался урок пения. Сашенька встрепенулся и стал смотреть на вышедшего на середину мальчика. Это был тот самый Гаврило, которого он видел в типографии нажимавшим на куку. Отец его был тот бородатый печатник, который набивал краску («батыр») на печатный набор. Поэтому мальчика Гаврила звали здесь Батыршиковым. Несмотря на малый рост, был он старше всех, а голос имел дивный, и потому диакон его отличал.

— Начнем, Батыршиков! — сказал ему диакон и, взяв камертоном звук, спросил у мальчиков: — Что за нота?

— Фа-диез! — ответили ученые хористы.

И хор запел:

«Благослови, бог, те леса и кущи те, что землю нашу...»

«..Покрыва-ают!» — закончил фразу Гаврило Батырщиков, и его звонкий дискант вознесся прямо под гулкий купол, где только что, как казалось Сашеньке, и был самый истинный рай.

«Благослови и те кусты и дерева, из коих кущи эти состоя-а-ат!» — продолжал хор.

«И те лозы, и те лозы, что из деревьев тех выреза-ают...» — еще более звонко пел Гаврило, а Сашенька вдруг со страхом понял, что то, что он принимал за ржаной сноп в углу, был не сноп, а изрядный пук розог.

И хор пел, стараясь изо всей силы:

«И розги те, и розги те, что всем нам знания да-ют!»

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ ПЕРВОЙ

Подлинный перечень книг, продававшихся на Никольской улице у Кольчугина в книжной лавке в 1799 году.

1. Азбучные игрушки, разные азбуки, Детские Наставники, Драгоценные и Бесценные подарки детям, содержащие в себе полное собрание многообразных предметов, касающихся до образования и воспитания юношества, также краткое понятие о разных науках и художествах, как-то: О Мафиматике, Философии, Космографии, Статистике, Навигации, Коммерции, Медицине, Истории вообще, Истории Российской, Грамматике Российской, Риторике, Поэзии, Мифологии, Архитектуре, Живописи, Скульптуре и Музыке — с присовокуплением описания семи чудес света, способа приготавливать чернила и т. п.

2. Старинные русские сказки о Бове Королевиче и о Прекрасной королевне Милитрисе Кирбитьевне, о Иванушке Дурачке, о некоем купце и его прикашике и пр. и пр. с картинками лубочной гравировки.

3. Романы славнейшей английской писательницы г-жи Радклиф и прочих новейших сочинителей с ужаснейшими заглавиями, в числе их: Гробница чести, Ожившие мертвецы, Пещера смерти, Заклятое подземелье, Кровавые раз-

бойники, Колокола аббатств, Таинства каменной башни и т. п.

4. Романы российских писателей, как-то: Непостоянная фортуна, или Похождения Мираманда, Бессчастный Флоридор, Несчастливый Никанор, или Приключения российского дворянина Н....., Эмилия, или Следствие безрассудной любви, Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества (сочинения российского Теньера 1-го), Российская Памела, Русский Жиль-Блаз (сочинения российского Теньера 2-го) и пр. и пр. Под именем сим—Теньер—скрывается славный русский сочинитель г-н Измайлов.

5. Истории: История о Евдоне и Берфе и о славном французском разбойнике Барбароссе; История славного вора и сыщика Ваньки Каина и товарища его Картуша; Повесть о Наполеоне Бонапарте и пр.

6. Разные забавные и назидательные сочинения, как-то: Не любо—не слушай, а лгать не мешай; Феатр чрезвычайных происшествий, или Анекдоты о разных шутках и мошенниках и проч.

7. Разные гадательные сочинения, к пользе и увеселению служащие, например: Сорок таинств природы, или Открытие чрезвычайных и удивительных фокусов; Сонник полный и подробный с истолкованием и объяснением каждого сна; Оракул; Астролог; Наука гадать на картах и т. п.

8. Новейшие полные или избранные Песенники, Российские Эраты и пр.

9. Собрание драматических сочинений: Трагедий, Комедий, Драм и Опер, из которых ни одна пиеса еще не была ни на одном театре представлена.

10. Смесь, как-то: разные мелкие стихотворения, напечатанные особо,—Письма к друзьям, Панегирики благодетелям, календари, адресные книги и проч. и проч.

Все сие вышеперечисленное в полном наборе по всякий день недели от открытия даже до самого закрытия торговли в продаже бывает; учащимся и господам купцам, берущим более 10 экземпляров, дается в цене уступка.

Глава вторая

НАШЕСТВИЕ ДВУНАДЕСЯТИ ЯЗЫКОВ

1

Бывает так: апрельский или майский радостный день начинается солнцем, чистым небом, разноголосым щебетанием птиц. И люди спешат участвовать в этом празднике жизни, в этой солнечной суете. Разносчики вытаскивают свои лотки, извозчики понукают своих кляч, толпы торговков гонятся за толпами покупательниц... И вдруг, где-то к полудню, в стороне Москвы-реки из-за золотых луковиц Богоявленского собора выдвигается сизая мрачная туча. Сначала кажется, что она пройдет стороной, потому что в горячем воздухе нет ни дуновенья ветерка. Но вот туча набухает, ее края становятся черными в обрамлении белых завитков. Все сразу темнеет, делается однотонным — черепица крыш, пестрые юбки торговков, товары, коробка, зонтики, гусарские шапки. А надвигающаяся туча урчит из-за Замоскворечья.

— Ох, Александр! — стонет дядюшка Ильин, держась за поясницу. — Говорил я тебе давесь — возьми топор, поправь порог, опять же лавку зальет. Ох, все косточки разломило, сил нет!

И дядюшка по скрипучей лестнице взбирается на антресоли, где с прошлого года, после кончины своей хозяйки Антиповны, он бедует один.

А Смирдин, отыскав топорик среди прибывших книг, которые разобрать все недосуг, берет доску и, отделив от нее щепу, принимается надставлять гнилой порожек. Лавка Ильина, как известно, расположена на три ступеньки ниже мостовой, но позвать из рядов плотника у дядюшки то руки не доходят, то денег нет.

Тем временем гром грохочет прямо над головой, небо раскалывается словно при светопреставлении. По Межеумку несутся чьи-то шляпы, корзинки; опрометью бегут барыни, придерживая юбки; скачут козы, сорвавшиеся с привязи... Вздвигается пылевой вихрь, и вот он, дождь, — сплошной, как падающее стекло, теплый, торжествующий, как триумф весны!

Александр замечтался, сидя с топориком у своего порога, как вдруг над ним мелькнула тень, кто-то избежал на порог и спустился в лавку, отряхивая с себя воду.



Это была женщина, вернее, девушка, барышня. Мокрое платье, подпоясанное лентой под грудь, облегалo стройную фигуру, шляпка розанчиком сбилась набок, капли дождя стекали и по завиткам волос, спускавшимся на грудь. Сошел в лавку и Смирдин.

— Ах, сударь! — сказала она жалобно, но с некоторым повелительным оттенком. — Нет ли у вас здесь где обсушиться, привести себя в порядок?

Что-то знакомое показалось Смирдину в ее неправильном овале лица и узком разрезе глаз, где зрачки мерцали, словно далекие огоньки. Он только что собирался ответить, что нет, что в их маленькой лавке только и есть антресоли, на которых как раз сейчас спит хозяин, как в лавку из-за пелены дождя заскочил еще некто.

На сей раз это был мужчина во фраке, довольно поношенном, но с парижской претензией, в нем без труда можно было угадать слугу, привыкшего донашивать господские вещи.

— Матье! — с гневом обратилась к нему барышня и стала его отчитывать по-французски.

А тот по-французски же оправдывался, причем даже и без перевода можно было понять, что он всего-навсего куда-то забегал горло промочить.

В конце концов Смирдин догадался барышню направить за штабель книг, где она могла бы поправить свои туалеты, а он и французистый ее слуга поднялись ко входу и встали на пороге, глядя на неутихающий дождь, ревущее небо и на весь этот весенний тарарам в природе.

И тут Смирдин заметил, что слуга этот как-то странно приглядывается к нему, даже будто отодвигается от него. Слуга осведомился, не угостит ли его господин книгопродавец табачком, и, узнав, что тот не нюхает и не курит, пожевал ртом, в котором сильно недоставало зубов, и неожиданно спросил:

— А ты случайно будешь не Смирдин?

— Смирдин.

— Филипп? — чуть не закричал слуга, всплеснув руками.

— Нет, Александр, — ответил тот, тоже настороженно всматриваясь в незнакомца. Мать ему кое-что рассказывала о жизни и смерти отца. — А Филипп был мой отец.

— Да, да! — воскликнул слуга и взялся за седую голову. — Как же я мог позабыть? Ведь столько же лет прошло! Какой тебе теперь год, юноша?

— Семнадцать... — ответил Смирдин.

Буря постепенно утихала, по Межеумку мчались струи воды, неся всякий мусор. Крупные пузыри скакали по лужам и лопались под дождем.

— Ливень кончается, — весело сказала барышня, поднявшись по ступенькам, и обдала Смирдина острым прищуром своих черных глаз. — А я и не знала, что совсем близ нашего дома есть книжная лавка. И не надо к Глазуновым ходить, к Кольчугиным, это такие чванливые господа. А я княжна Скарятинская, саве ву коннетр сет шоз ля?

Александр шаркнул ножкой, как было принято в рядах по отношению к знатым покупательницам. Княжна как-то печально улыбнулась, и Смирдину стало стыдно, он понял, что сделал что-то не то.

— Вы не знаете по-французски? — вдруг спросила она. — Надобно знать, теперь это нужно каждому образованному человеку. Послушай, Матье, — обратилась она к слуге. — Вот тебе мой приказ, каждый день приходит на час к господину... Как фамилия ваша? К господину Смирдину и учить его по-французски.

Княжна выглянула на улицу.

— Дождь кончился! — весело закричала она и, раскрыв зонтик, выбежала наружу, перепрыгивая с камушка на камушек мостовой.

Ее слуга Матье выскочил было за нею, но тотчас вдруг вернулся и забормотал в лицо Смирдину, обдавая его винным духом:

— Только не я, только не я... Когда отец твой, тогда... Я убежал тогда сразу... Я после лишь узнал...

Он наконец удалился, дождь перестал, и Александр пошел на антресоли, потому что наступал вечер, надо было будить дядюшку, идти в трактир ужинать, заканчивать торговлю.

Но прежде чем будить хозяина, он долго всматривался в туманное от старости зеркало на антресолях. И виделся там ему ничем не примечательный юноша, типичный сиделец из рядов — с напомаженной гладкой прической, розовыми ушами, в суконном полуармячке. И, вздохнув, он принялся расталкивать Ильина.

2

— Надобен сюртук, парбле! Сюртук надобен! — вскричал со смехом молодой человек в синем студенче-

ском фраке, обращаясь к тем, кто с ним обедал в Коммерц-ресторации у самого углового окна, выходявшего на Старую площадь. Это был все тот же Семен Кольчугин, которого мы с тобою, читатель, знали под кличкой Француз. Он и в этом не переменялся, все так же любил ввернуть французское «бонмо», хотя превратился в стройного кавалера с усиками.

— Полно тебе! — пытался уговорить его Смирдин. — Тебе только скажи что-нибудь по секрету!

— Да, да! — не унимался Семен. По случаю своего перехода на второй курс по факультету права он приказал раскрыть бутылочку игристого и находился в приятном возбуждении. — Да, да! И ты знаешь, Батырщиков, зачем ему сюртук? Он приглашен на журфикс к княжне Скарятинской!

— Вот те ну! — сказал Гаврило Батырщиков, отец которого выкупился из крепостных, завел собственную типографию, и теперь мы встречаем его сына уже не чумазым подмастерьем, а набалованным парнем с кудрявой рыжей головой и столь же рыжими усами. — Княжна устраивает журфиксы? Уж не хочет ли она прослыть мадам де Сталь, хозяйкою литературного салона?

— Ты угадал, дружище Батырщиков! — вскричал Кольчугин, отхлебнув из бокала. — И в нашем скромнике Александре она, видимо, распознала некий талант... Веле-ла обучать его французскому языку!

— Да будет тебе, будет! — повторил Смирдин, а сам в простеночное зеркало с огорчением наблюдал, какой он неказистый по сравнению с этими молодцами, весь суту-лый, угловатый, и уши растопырены, от неловкости, что ли...

— Теперь, где же мы возьмем ему сюртук? — продолжал резвиться Семен. — Фраки есть, фрак есть у каждого, но княжна сия, по непостижимому капризу, желает журфикс проводить в сюртуках... Я же свой сюртук одолжить не могу, потому что сам приглашен туда же.

— А правда ли, Скарятинские продают свою библиотеку? — перевел разговор тактичный Батырщиков. — У нас на Воскресенском мосту все книжные сороки только об этом и судачат. Во время войны, говорят, их дед вывез из Пруссии много книг.

Семен, который, как истый Кольчугин, считал себя всезнайкой, пояснил в подробностях, что старый князь Скарятинский, бывший некогда адъютантом у самого Ру-

мянцева-Задунайского, действительно имел очень большую библиотеку, она хранилась в его подмосковном имении. Однако после его смерти, особенно же после смерти его невестки, которая была урожденной купчихой Плавильщиковой, в их денежных делах обнаружилось много прорех, и старая княжна решила продать подмосковную... Книги стали понемногу свозить в московский дом, как вдруг получилось известие, что молодой князь, отец княжны Аннеты, в Петербурге проиграл очень большую сумму денег. Княгиня-бабушка долг, конечно, погасила, заняв у разных добродеев, но выхода, видимо, нет, так как она ищет надежного книгопродавца.

— Не затем ли она вас и приглашает на свои журфиксы? — рассмеялся Батырщиков, который безуспешно пытался ладонью пригладить рыжие кудри в своей шевелюре. — Вы же оба дети книгопродавцев. С каких это пор князья стали к себе на вечера звать мещан или хотя бы даже купцов?

Кольчугин обиделся:

— Разве ты не знаешь, что студент приравнивается к чиновнику тринадцатого класса, а это равносильно личному дворянству? Кстати, в Петербурге на литературных вечерах собираются невзирая на сословия или ранги...

— Ты бы еще в пример привел императора французов, у которого маршалы — сыновья трактирщиков и мясников.

В этот момент к их столу приблизился хозяин ресторации г-н Фрейшютц, который с салфеткой через локоть расхаживал, наблюдая за обслуживанием. Коммерц-ресторация его была в своем роде революционной для тогдашнего Китай-города. Вместо оголтелых половых в длинных фартуках, как в китайгородских трактирах, у него блюда подавали чинные немки в кружевных наколках, свечи не чадили, пьяные не орали, а по вечерам наигрывал даже механический орган.

Читатель! Запомни эту фигуру: г-н Фрейшютц с полотенцем через локоть, предупредительно склонившийся к своим клиентам. Видимо, прочно врежется в воображение юного Смирдина эта фигура, ибо спустя двадцать лет именно в такой позе он изобразит себя служителем русской литературы.

Итак, Фрейшютц склонился к Семке Французу, которого он считал самым солидным из всей этой компании, и сообщил:

— Вас там какой-то молодой господин спрашивает, велел доложить, что из Курска.

— Да, да! — спохватился Кольчугин. — Как же я забыл! Это господин Полевой, он приехал поступать в университет, дозвоьте, мез ами, мои друзья, я вам его представлю.

Господин Полевой был приведен в Коммерц-ресторацию и оказался добрым молодцем, с мягким русским очкастым лицом, в котором, однако, просвечивало нечто таежное, какая-то азиатчинка.

Дело быстро объяснилось. Николай Полевой был очень словоохотлив и любезен. Он за бокалом шампанского поведал, что отец его — купец из Иркутска. («А, — подумал Смирдин, — вот почему азиатчинка! Наверное, какая-нибудь из его бабушек была тунгузка!») А теперь он строил завод в Курске, и у него, Николая, есть еще младший брат Ксенофонт, но он еще учится дома.

— Стало быть, вы приехали завоевывать Москву? — не без остроты спросил Гаврило Батырщиков.

Семен Кольчугин замахал на него руками, сказал, что негостеприимно так относиться к человеку, приехавшему с жадной знаний... Кроме того, завоевания Москвы окончились в позапрошлом веке. Москва сама завоевывает людей широтой души, обилием знаний и всех, припавших к ее щедротам, делает москвичами.

— А папаша мой, — неожиданно сказал Батырщиков, — приехал из Варшавы, где закупал бумагу. Рассказывает, французских войск там видимо-невидимо. Сведущие люди говорят, что полными составами дивизий и полков, с артиллерией и снаряжными парками... Мало того, Наполеон нагнал туда армии и из Италии и Вюртемберга.

— Об этом все знают, — сказал сумрачно Кольчугин. — Да не велено говорить.

— Что же это, война? — растерянно спросил гость из Курска, оглядывая всех светлыми глазами из-за очков.

Г-н Фрейшютц, подойдя к угловому окну, раскрыл его настежь, так как в ресторации было душно. На Старой площади у облупившейся древней Китайгородской стены гуляли приказчики, слышалось треньканье балалайки и цокот каблуков, отбивавших чечетку. Был мирный безветренный вечер конца лета, со свистом носились ласточки, предвещаая назавтра грозу.

— Месье, медам! — Княжна приглашала собравшихся взмахами перламутрового веера. — Поручик Глинка был настолько любезен, что согласился прочесть свое новое стихотворение... Эйе ля бонте, шер месье Глинка!

— Вседневно муки умножая... — загробным голосом начал Глинка, вытирая платком вспотевший от вдохновения лоб, — всечасно прелестями маня, не льсти напрасно, дорогая, своей любовью меня...

Смирдин стоял за колонной, стараясь не очень показываться на виду. Сюртук кофейного цвета, который все-таки добыла ему у какого-то закладчика любвеобильная матушка Аглая, был хоть и сравнительно нов, но великоват для худощавого Александра, и тот, еще более сторбившись в этом сюртуке, страдал от своей мнительности.

Как раз у этой колонны ротмистр польских улан Зралко-Забокжецкий в роскошной униформе с шнурами и кистями, поминутно расправляя столь же роскошные усы, злословил с г-н Муриновым, невзрачным на вид, но очень литературным юношей, чиновником сенатской коллегии. Поводом для их остроумия был состав приглашенных.

— А Глинка-то, Глинка! — с сатанинским сарказмом вещал Муринов. — В Петербурге он со своими стишками словно бледная тень среди Карамзиных или каких-нибудь там Жуковских. Для московских же наших ценителей он и за гения сойдет!

Роскошный ротмистр в знак согласия похохатывал и сам то и дело изъяслял что-нибудь колкое относительно слишком меланхоличных юношей, слишком восторженных дев, слишком замшелых старцев. Они говорили по-французски, на том академическом лексиконе, который был занесен в Россию эмигрантами, выметенными революцией, сильно вычистившей там и язык, который теперь стал принят в обиходе российских усадеб. Смирдин в свое время недаром подчинился желанию княжны и стал принимать уроки у ее офранцуженного слуги, уделяя ему по пятиалтынному за урок из своих скромных средств. Теперь смысл чужестранных слов в быстрой и небрежной речи русских баричей, с малолетства к ней приученных, все более становился ему понятен. Кроме того, ему хотелось скрыться от всего зала под сенью уланского великолепия.

Мимо продефилировали Семен Кольчугин и его гость из Курска, который так и сверкал очками, желая все уви-

деть и всех запомнить. На обоих были почти одинаковые сюртуки цветом барежевые в искру: у Кольчугина в синюю, а у г-на Полевого в красную. Из чего можно было заключить, что запасной сюртук у лучшего друга, Семки Француза, все-таки был, но предназначался другому.

Проходя мимо накручивающего ус Зралко-Забокжецкого, Семен Кольчугин учтиво ему поклонился. Бравый ротмистр покупателем был плохим — предпочитал деньги тратить на искристое, но зато уж если в какую книжную лавку взойдет — непременно все альманахи и пиесы перелистает и всех сочинителей разберит. Вслед за Кольчугиным поклонился и г-н Полевой.

В ответ на их поклон сенатский юноша Муринов еле наклонил уже начавшую лысеть голову, а уланский ротмистр даже не моргнул, будто перед ним было пустое место.

— Нынче в гостиных, — сказал он вслед удалявшимся Кольчугину и его гостю, — пошли в ход всякие закладчики, заводчики. От каждого за версту аршином воняет, зато — тузы! И сюртуки у них не в Столешниковом шиты, а прямо с берегов Темзы привезены.

У Смирдина за колонной екнуло сердце: а что будет, когда сиятельный ротмистр узнает, что рядом с ним стоит даже не купец!

На его счастье, внимание Зралко-Забокжецкого отвлеклось на суетливо продвигавшегося молодого человека, осмелившегося быть не в обязательном сюртуке, а в прозаическом служебном вицмундире. Такая вольность была тут же трактована г-ном Муриновым:

— Поговаривают, что краснощекий этот селадон, то есть Евгений Обрезков, на днях будет помолвлен с нашей княжной.

— Ну! — удивился ротмистр. — Что она в нем нашла? Ни одной буквы не выговорит правильно: вместо «ш» говорит «ф», а уж про «л» и «р» я и не говорю.

— Богат, богат! — развел руками Муринов. — А Скарятинские хоть и рюриковичи, но — увы! Да и злодейский ломбер или вист то и дело разоряют...

— Дорогие друзья! — завидя их, воскликнул жизнерадостный Обрезков (словно оправдывая характеристику ротмистра, он произнес так: «Довогие дузья!»). — Посмотрите, какую я покупочку только что свершил. Никто, как вы, ее не сможет оценить. (А это у него получилось как «не смовет овенить».)

И он кивнул шедшему следом слуге, а тот достал из портфельчика и начал разматывать какой-то необыкновенно старый и пропахший плесенью сверток. Евгений же Обрезков принял рассказывать, что на днях скончался купец-коллекционер Селижаров, тот самый, что наживался на перепродаже овса, все, у кого в Москве были лошади, его отлично знали. Так наследники Селижарова стали распродавать его библиотеку, что там за манускрипты!

Когда размотали, наконец, длиннейшие пелены, в них действительно оказался манускрипт — книга византийского письма. Ровные ряды затейливых строчек выстроились как легионеры, а заглавные буквы были подобны царям или жар-птицам.

— Каково? — горделиво спросил Обрезков. — Хоть и не харатейная, то есть не на пергамене, но бумага тоже очень старая. Покойный Селижаров говорил, что времен Мануила Палеолога рукопись, причем где-то краденная. Отгадайте, друзья, сколько я за нее отвалил?

— Ну, мы не знатоки! — сказал ротмистр. — А вот мы лучше спросим господина книгопродавца... — И он повернулся к совершенно обмершему при этих словах Смирдину. Оказывается, бравый улан отлично знал, кто он!

Но тут, на его счастье, в разговор вмешалась княжна.

— Господин Обрезков! — сказала она безапелляционным тоном. — Вы опаздываете и являетесь к тому же не по форме одеты. Вы будете сегодня наказаны, я лишаю вас суфле. Что вы говорите — рукопись? Это не оправдание, к тому же какая сейчас может быть рукопись? Вы слышали, что рассказывал здесь поручик Глинка? В Петербурге идут открытые приготовления, уверяют, что неприятель с недели на неделю пересечет границы России, хотя официально все это опровергнуто.

Зралко-Забокжецкий заявил, что они, то есть польские уланы, и все военные вообще, и все мужчины к войне всегда готовы, а вот суетятся и поднимают лишний шум представительницы прекрасного пола.

— Лишний шум! — рассердилась княжна, в ее тигриных — как уверял ее жених Обрезков — глазах загорелись огоньки. — Что же, мы не патриотки? Я первая поеду в Петербург, брошусь в ноги государю, пусть позволит в мужском платье вступить в какой-нибудь эскадрон. Я ведь и верхом ежжу! Вот увидите, что такое российский прекрасный пол.

Тем временем за фортепиано уселась какая-то художочная девица и принялась выбивать из клавишей нечто бравурное, нечто похожее одновременно и на Гайдна, и на Глюка, и на гусарский марш.

— Не зря воинственные французы,— заметил Муринов,— ввели женщинам в моду античные хитоны. Это для того, чтобы почаще напоминать согражданам о доблестях предков. И наша пылкая княжна, желающая вступить в полк или эскадрон, она в своем платье а ля грек весьма напоминает Беллону, богиню брани, только копья недостает, не правда ли, а?

— Ш-ш! — удержал его ротмистр.— Не дай бог, Евгений тебя услышит, ведь прибудет!

Княжна погрозила им пальчиком, сказав, что хоть и не расслышала, о чем они говорят, но наперед знает, что злословят. Затем вывела из-за колонны стеснительного Смирдина и повела представлять княгине-бабушке.

Там, в глубине гостиной, расположилась в креслах будто бы некая монархия в окружении колонн с позолотой, правда успевшей с них изрядно облететь. Однако не успела княжна начать представление, как княгиня спросила раздраженно:

— Почему у вас шоколад разносит Малашка? Где ваш Матье, которому вы столь благоволите? Малашка уверяет, будто он заявил, что не его камердинерское дело разносить напитки, для этого должен быть лакей. Может быть, вы объясните, что это за вольности?

— Бабушка! — просительно сказала княжна Аннета.— Он сегодня не в себе.

— Вот, вот! — вскричала княгиня, глядя куда-то вверх Смирдина.— Наш слуга сегодня не в себе? Как говорено в одной русской пьесе — вот злонравия достойные плоды! Я эти журфиксы устраиваю только ради вашей охоты, ма шер. Вы знаете, во что они мне обходятся. Но я не хочу, чтобы вся Москва судачила, будто Скарятинские докатились до того, что у них шоколад разносит кухарка.

Гневная старушка не желала и обращать внимания на подведенного к ней Смирдина, как ни напоминала княжна, что это тот самый мальчик, который ее, маленькую, когда-то защитил в церкви. Тот самый, кого сама княгиня назвала рыцарем!

— Нет, нет! — только и повторяла княгиня-бабушка.— Не нужны они мне, эти камердинеры, торговцы, ломбардщики и прочие... Пусть уж лучше меня Глазу-

новы обманут на моей библиотеке, барыш себе возьмут, но все-таки они господа, а не лакеи!

Княжна хлопотала, поднося бабушке нюхательной соли, а Смирдин был словно оглушенный, чувствовал только свои пылающие уши. Оказывается, и правда — его приглашали ради покупки княжеской библиотеки! Да, конечно, но куда ж им с дядюшкой Ильиным тягаться с Глазуновыми или Кольчугиными, у них и оборотного капитала такого нет!

4

Есть ли нужда, благородный мой читатель, описывать здесь ход Отечественной войны 1812 года, ты все это знаешь сам или можешь прочесть в романах, куда более искусных и занимательных. И задача-то наша проще — следовать за жизнеописанием выбранного нами героем российского книгопродавца и перипетией его судьбы.

12 июня 1812 года по старому стилю наполеоновские войска вступили в пределы России без предварительного объявления войны. Переправа длилась два дня, затем Наполеон с главными силами двинулся к Вильно, который и был занят им без боя. Огромное превосходство французских сил, с которыми шли войска вассалов и союзников французского императора, предопределило непрерывное наступление неприятеля в глубь страны. Русские, однако, отступали в полном боевом порядке, давая жесткие арьергардные бои. Таким образом 4 августа французы и их союзники подошли к Смоленску, где разыгралось кровопролитнейшее сражение, город пылал.

Осень 1812 года выдалась в Москве жаркая и сухая. Над городом нависала туча пыли от непрерывно двигавшихся по его улицам в одну сторону войск и обозов, в другую — от великого множества беженцев с пожитками. Пыль лежала плотным покровом на всех наличниках окон и дверей, на едва начавшей желтеть листве, на книгах, выставленных для обозрения покупателей.

Между тем, как ни странно, торговля в книжной лавочке Ильина, как и во всех других, не только не угасала, но даже становилась оживленной. В обычно пустынный лавке теперь круглый день толпились люди, ожидавшие новых известий с театра военных действий или из столицы. Старательный Саша Смирдин, на которого дядюшка переложил все заботы, по совету княжны Скарятинской

стал выписывать московские и петербургские газеты, которые можно было купить, а можно и просто прочесть в их лавке.

Саша Смирдин понемногу сделался душою лавочки Ильина, многие уже так и говорили: «Пойдем к Александру», вместо того чтобы сказать: «Пойдем к Ильину». Или: «Купил у Александра в Никольском тупичке».

Дядюшка Ильин торговал по старинке, на все у него были свои причуды и свои резоны. Один студент, например, протестовал, что Ильин всучил ему учебник географии без последних страниц.

— Да ведь вы все равно ни одной науки до конца не изучаете,— возразил ему флегматичный книгопродавец.

Другой не желал купить прежнее издание грамматики Востокова, требовал новейшее.

— А ты сначала выучи старое,— наставлял его Ильин.— Потом и за новое принимайся. И знания прочнее будут!

— А что, любезный,— спрашивает его как-то покупатель,— святцы у вас в продаже полные или нет?

— Самые полные-с,— отвечал без промедления Ильин.— Куда как полные, даже слишком полные, некоторых святых оттуда можно было бы и тью-тью!

Однако при всех столь легкомысленных заявлениях был он человеком богобоязненным, старорежимным, чтил власть предержавших и общественный порядок. Что не мешало ему в ответ на требование покупателя дать календарь на нынешний год упрямо навязывать прошлогодний, заявляя:

— Напрасно вы ждете от власти какой-нибудь новизны, а от бога и подавно!

Саша Смирдин привел его лавочку в порядок, настоял заказать новые книжные полки, для уборки нанял кривую Антонидку, и та старательно сметала с книжек пыль и протирала кожаные с золотым тиснением корешки.

По совету княжны, все той же своей наставницы, Смирдин стал заказывать журналы и альманахи. Даже отважился продавать карамзинскую «Историю государства Российского», когда ее издал Селивановский, хотя дядюшка Ильин и предрекал разорение из-за непомерной, по его словам, цены — 10 рублей том. Карамзина быстро расхватали и требовали еще — по русской истории, по политике, по военному делу. При начале войны патриотизм у всех сделался необыкновенным, а на прежних «Милор-

да» или «Ваньку Каина» никто и смотреть не желал, письма же в действующую армию писали, не заглядывая в кургановский письмовник.

Княжна Аннета сама частенько заглядывала в лавочку Ильина, руководила чтением Саши — советовала, спрашивала о впечатлениях от прочитанного. Посетители ее журфиксов так теперь и именовали эту лавочку — «Либрери д'Аннет», в шутку, конечно, но и сами часто в ней собирались. Однажды явились Семен Кольчугин и Евгений Обрезков, оба в форменных вицмундирах коричневого цвета и в воинских фуражках. Здесь, кстати, надо напомнить, что они ведь воспитывались вместе и ездили за границу, поэтому, несмотря на разницу в сословиях, они были на «ты».

Кольчугин и Обрезков объявили, что записались в ополчение и уже им выдали форму. Княжна Аннета чуть не заплакала от зависти, уж очень она горела защищать отчизну. Отец ее как раз приезжал из Петербурга, был он назначен в действующую армию адъютантом к генералу Милорадовичу. Выслушав мольбы и доводы дочери, он высмеял ее — в России пока воинов-мужчин предостаточно, нет причин женщинам братья за оружие. Кроме того, желающих премного, а где всем взять это оружие?

Наш Смирдин тоже приуныл. Поддаваясь всеобщему настроению, и он хотел вступить в ополченные войска. Несмотря на внешнюю свою худощавость и невысокий рост, он чувствовал себя достаточно сильным. Случалось, что в подвале лавки он делал руки за спиной ковшом, а дядюшка накладывал на них дюжины три увесистых томов, и Смирдин на спине вытаскивал их наверх.

Но попасть в ополчение было непросто. Люди простаивали часами у дома градоначальника на Лубянке, где шла запись в ополчение. А Кольчугин и Обрезков попали туда, попросту говоря, по знакомству: у первого папаша имел чин гофмаклера, то есть придворного поставщика в Гостином дворе, а у второго был, как известно, сенатор.

Расщедрившийся Семка сказал Смирдину:

— Ты же знаешь, меня отец как раз перед войной отделил, отдал мне лавочку, которая в университете. Для начала я списался с петербургским Глазуновым, и тот мне от журналиста господина Греча прислал сто штук его нового журнала «Сын отечества». Огромный успех! В Петербурге, говорят, потребовалась его перепечатка. Я тебе его отдаю, рассчитаемся после победы, а барыш можешь

взять себе. Журнал же я и распаковать не успел, забери со склада.

Он красовался в военной форме, пощипывал усики, просто ликовал от предвкушения похода, сражений, бивачной жизни.

Вскоре пришло известие о кровопролитной битве под Смоленском и о том, что русские войска в полном порядке («Ох уж это мне в полном порядке!» — стенал дядюшка Ильин) отходят в направлении Москвы. Далее разнеслась весть, что главнокомандующим всеми русскими армиями назначен светлейший князь Кутузов. Новости, однако, явно запаздывали, и дядюшка, изнемогавший от жажды известий, кинулся на Лубянку, ко дворцу губернатора.

Поздно вечером в лавке уже не было покупателей, горела сальная свечка, синий свет распространяла лампада перед иконою Казанской. Саша пересчитывал мелочь в кассе, а Антонидка, бормоча что-то себе под нос, колдовала с тряпкой над корешками и переплетами. Пришла Аглаюшка Смирдина, уставшая до немоты, села, принялась мазать гусиным жиром красные, застиранные руки. Вдруг вбежал совершенно переполошенный дядюшка Ильин.

— Дети, дети! — задыхаясь, говорил он. — Молитесь подателю всех благ! Везде говорят, что решено отдать Москву супостату!

И он поставил на колени перед Казанской божией матерью всех своих домочадцев — вдовицу Аглаю, сироту Сашеньку, бездомную Антонидку, встал рядом сам, и принялись молиться за спасение отчизны.

5

В журнале «Сын отечества» было напечатано:

«Пусть каждый Росс, каждый, кто мнит себя русским патриотом, избрет себе оружие в сей бранный час. Пусть ни в одном селении, ни в едином доме не встретит узурпатор ни куска хлеба, ни глотка воды. Вспомним, как при нашествии басурманского хана Тохтамыша в 1382 году поселяне предпочитали сами сжечь свои дома, нежели доставить их врагу!»

— Что сие у вас? — поинтересовался тучный господин в сильно поношенном бархатном кафтане, прочитавший эти строки через плечо Смирдина.

Они стояли в густой толпе напротив градоначальнического дворца, ожидая, когда на балкон выйдет чиновник и выкликнет, сколько волонтеров нужно для такого-то и такого-то отряда или эскадрона... Поскольку они стояли в ожидании не первый час, Смирдин раскрыл экземпляр «Сына отечества», который он захватил с собою из лавки, и принялся читать.

— Новый какой-то журнальчик! — заметил толстяк в бархатном кафтане. — А какво пишет: «Россияне, ополчимся на супостата!»

— Куда ж вам-то ополчаться, — язвительно сказал ему какой-то мастеровой, прижатый к ним толпою. — Ведь у вас одышка.

— Ничего! — ободрился толстяк. — Как дойдет до драки, так Матвей Комаров, житель города Москвы, себя и покажет!

И тут Смирдин сразу вспомнил, как в детстве он ходил к нему с дядюшкой покупать «Ваньку Каина», и собачку его вспомнил, и подаренную им свистульку. Свистульку в виде конька тогда разбил дядюшка, а симпатичная та собачка, наверное, давно уж околела...

— Вот видите? — говорил Матвей Комаров, взяв из рук Смирдина журнал и тыча пальцем в страницу. — При нашествии хана жители города Москвы предпочитали сжечь свои дома.

Тут на затейливый балкон ростопчинского дворца вышел офицер в ополченской форме. Через огромную многоголовую толпу, запрудившую улицу, еле доносились его слова. Он говорил что-то о ложных слухах, будто Москву решено предать неприятелю, что как раз теперь идет близ Можайска кровопролитнейшая битва.

Затем стали раздавать афишки — печатные листки, в которых граф Ростопчин клятвенно заверял, что злодей в Москве не будет: «Я завтра рано еду к светлейшему князю. Я приеду назад к обеду, и примемся с вами за дело: обделаем, доделаем и злодеев отделаем!»

Толпа сдвинулась, уплотнилась, всем хотелось завладеть афишкой. Смирдина сдавили так, что в глазах закружились радужные кольца. Когда он пришел в себя, Матвей Комаров исчез, унося с собой его «Сына отечества». Народ разбежался с криком:

— Все навстречу Кутузову! Все на Поклонную гору!

Смирдин еле выбрался на Лубянскую площадь к фонтану, из которого извозчики поили своих лошадей, и уви-

дел, что через площадь несется поток спасающихся от неприятеля. Звеня кандалами и с несусветной руганью проковыляли колодники из Смоленской тюрьмы. Охрана шла по бокам, держа ружья на изготовку. Затем потянулись помещицы рыдваны и берлины, перегруженные чемоданами и узлами. Из окошек выглядывали испуганные лица — то ли барышни, то ли служанки. Шел скот, мыча, слюна капала из мохнатых коровьих уст. Погонщики не давали ему остановиться у воды — видимо, неприятель наседал. Затем потянулись госпитальные фуры, держась за них, брели ходячие раненые, кто — опустив забинтованные головы, а кто — неся, словно кульки, руки в белых повязках.

Возле извозчичьего фонтана шел торг лошадей. Этим занимались цыганы и какие-то личности в интендантских шинелях. Толкучка здесь была страшная, а цены непомерные — пятьсот, четыреста рублей за одну клячу. Бедный Саша был поражен: их лавчонка со всем книжным товаром плюс вся каморка в Межеумке такой суммы не стоили. Несмотря на дикие цены, лошадей рвали из рук, поминутно вспыхивали драки.

Саша изловчился, проскочил сквозь непрерывный поток беженцев и тут, в Проломных воротах, столкнулся с антикварием Игнатием Ферапонтовым, который тоже отъезжал прочь. Библейский старец, которого знала вся книжная Москва, восседал на коробках, в которые были запрятаны его сокровища — старинные книги, а правил телегой один из его сыновей.

— Эй, ильинский! — закричал с воза Ферапонтов, который всех приказчиков и сидельцев звал только по фамилии хозяев. — Скажи своему дядюшке: пусть бежит немедля... Я сон такой видал, вещий, всем надо уходить! — И он проследовал дальше, величественно покачиваясь на своих манускриптах, а ветер шевелил его богатырскую бороду.

Дядюшка Ильин лежал на антресолях, охал, держался за сердце. Аглая и кривая Антонидка метались, связывая узлы.

— Присылала тут твоя Милитриса Кирбитьевна, — так Ильин звал княжну Скарятинскую. — Наказывала, чтоб ты к ним на усадьбу шел, в каком бы часу ни воротился.

Хмурый Смирдин не ответил.

Мать же обрадовалась, что Сашу не взяли в ополчение, поплакала.

— Сашенька! — сказала она. — Ступай, правда, к князьям Скарятинским. Старая княгиня, она добрая, на вид только ворчунья. У них дядя вице-губернатор в Нижнем, они собираются туда ехать. Пади ей в ножки — пусть позволят, мы за ихними повозками хоть пеше побредем, лишь брата Ильина они бы куда-нибудь на козлы примостили...

И Саша помчался по Большому Черкасскому переулку, который совсем опустел по случаю отъезда своих высокородных обитателей. Ворота усадеб стояли настежь, в пыли дворов бродили забытые собаки.

В усадьбе Скарятинских его встретил громкий плач.

— Этот мерзавец, — задыхалась старая княгиня, — этот подлый Митька!.. Мы ж ему и потакали, иной раз будто он не в себе, на самом деле где-нибудь валялся мертвецки пьян!

Оказывается, Матье (он же попросту Митька) увел куда-то приготовленных княжеских лошадей. Люди видели, как он торговал их у Лубянского фонтана с каким-то носатым цыганом.

— Смирдин! — обратилась княгиня к Александру. — Ты рыцарь, я давно это знаю, кроме того — ты деловой человек. Вот четыреста рублей, это последнее, что у меня сейчас есть... Купи нам хотя бы лошаденку на малый тарантас. Я ведь пешком не добреду, уж про пожитки и не говорю...

И вот Смирдин на Лубянской площади. Более всего боится, чтобы его не скрутили барышники, не отняли бы княжеские деньги. Правда, на площади появилась полиция, но она больше вносит бестолковицы, и без калыма к ней не подойдешь. Кроме того, оказалось, что за прошедший час цены на лошадей подскочили на сотню другую.

Он выбрал лошадь попроще, которую торговала компания цыган, во главе которой был один — седой и носатый.

— Вот четыреста рублей, — предложил Смирдин, для вида осмотрев лошадь, даже ее зубы и копыта, хотя сам отлично сознавал, что в лошадях ничего не смыслит.

— Га-га-га! — потешалась над его ценой вся торгующая компания.

— Погодите, погодите, — вдруг сказал носатый, всма-

триваясь в Александра.— А ты, случайно, не Смирдин будешь?

— Смирдин,— с досадой подтвердил тот.— Александр Филиппович-с. Говори, продаешь — не продаешь, я тогда к другим пойду!

— Где ты за четыреста рублей теперь купишь! — сказал цыган.

Сообщники пытались его отозвать:

— Бурукай, брось его, иди, есть дело!

Но тот отмахнулся:

— Я в долгу перед Смирдиным, надо помочь хотя бы его сыну. Ладно уж, давай свои четыреста, только не за эту лошадь, эта тебя далеко не увезет.

И он привел ему небольшого роста буланую лошадку с гривой длинной, почти до колен. И хлопнул Сашу по плечу, пожелав ему удачи. И Смирдин пошел по Большому Черкасскому переулку, ведя в поводу коня и сам этому не веря.

На княжеской усадьбе немедленно принялись запрягать малый тарантас, тут и дядюшке Ильину досталось место на запятках, правда, один из княжеских сундуков пришлось сбросить.

— Аннета, Аннета! — призывала княгиня умирающим голосом.

Аннета не появлялась, и Малашка доложила, что нетерпеливая княжна села в берлину к Римским-Корсаковым, которые тоже отбыли в Нижний. А Саша, прощаясь с матерью, встал на колени и просил все-таки благословить его в ополчение. И мать его благословила.

Он проводил их до заставы, и, поскольку было уже темно и о розыске места, где записывают в ополчение, нечего было и думать, он вернулся в Китай-город. Отомкнул свою лавочку, выкрасал огонек, засветил лампадку.

И тут за его спиной в синем свете лампы возник в дверях человек, одетый в белое. Смирдин поначалу испугался.

Человек был маленького роста, на нем красовалась белая фуражка и жокейские панталоны, подпоясан же он был, не без кокетства, широким шарфом. Несмотря на все эти ухищрения, по неправильному овалу лица и разрезу глаз Смирдин сразу узнал в нем княжну Аннету.

— Вы спрашиваете, что означает сей маскарад? — сказала Аннета, хотя Смирдин ничего не спрашивал.— Он означает, что все же я решила биться за отечество.

У меня даже настоящий есть пистолет с зарядами, я его у папеньки в конских подсумках взяла, когда он приезжал в Москву. Вы будете меня сопровождать! — заявила она. — Итак, с чего мы начнем?

6

2 сентября 1812 года авангарды французской армии вступили в покинутую Кутузовым Москву. Немногие жители, по разным причинам не ушедшие в «великий исход», спешили попрятаться. С ужасом прислушивались они к пальбе, начавшейся было возле Кремля: там, как выяснилось впоследствии, несколько чудаков на свой страх и риск пытались сопротивляться армии захватчиков. Однако вскоре и эта пальба затихла, и ничто более не омрачало чудесного, зеленого, солнечного утра. Однако эта тишина равно смущала и победителей, и они не спешили всей массой войти в великий город.

— Где же, где же эти французы? — спрашивала княжна Аннета, всматриваясь в далекие арки Воскресенского моста, где сновали какие-то люди.

Они с Сашей Смирдиным стояли на Китайгородской стене, спрятавшись за грудой кирпичей от обвалившегося зубца, и обозревали окрестность над запрудой реки Неглинки, даже и до колонн Петровского театра. Несмотря на серьезность, даже опасность момента, княжну очень занимал ее наряд, она спрашивала Смирдина, как он находит: жокейские панталоны, это прилично? А ничего, что фуражка и шарф разного цвета?

— Ничего-с, — отвечал Александр.

— Да что вы такая флегма! — сердилась Аннета. — Вот послушайте-ка, что пишет наш Глинка, мне недавно один офицер привез, проезжавший от армии. Ведь это наш Глинка, про которого все говорили, что он выше анакреонтических виршей ничего не может! Слушайте же:

Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны?!
Пойдем, сомкнемся в ратном строе,
Пойдем — и в ужасах войны
Друзьям, отечеству, народу
Отыщем славу и свободу
Иль все падем в родных полях!

Княжна вновь хотела рассердиться на Смирдина, который, по ее мнению, не проявил должного энтузиазма,

слушая стихи Глинки. Но тут от Воскресенского моста до-несся звук военных рожков, и стало видно, как там проходит конница с пиками, а к берегу Неглинной спустилось множество солдат в медных касках, ярко блестевших на солнце.

Аннета взволновалась, ощупывая свой пистолет, который был у нее запрятан за поясом — именно ради этой цели и был задуман столь экзотический костюм. Однако французы на той стороне быстро исчезли, одни, вероятно, вошли в Кремль, другие рассеялись по лавкам Охотного ряда. Аннета и Смирдин вновь погрузились в тревожную тишину и бездействие среди крапивы и пыльных кирпичей.

Читатель! Не суди их строго, ведь они были дети и жить хотели, как велит им гражданская совесть и обычай их отечества, но не умели еще воплотить это свое хотенье в делах!

Итак, на Никольском крестце было все по-прежнему тихо и безлюдно, в некоторых домах украдкой звякала посуда. Война войной, а надо же как-то и питаться! Княжна совершенно изнемогла от ожидания событий и от жаркого солнца, и Смирдину удалось уговорить ее сойти в Межеумок в их лавочку.

Там Аннета тотчас извлекла огромный кавалерийский пистолет, который и удерживала-то еле-еле в своей слабой ручке. Заявила, что хочет смазать пистолет: отцовский денщик говорил, что главное для оружия — добрая смазка.

Саша подал ей баночку с гусиным жиром, которым мать растирала руки, а сам принялся готовить еду. Впрочем, Аннета кушать не стала, попробовала того-сего и только морщилась. А на Смирдина напал совершенно постыдный едун — и пирог он поел Антонидкин, и яичницы, и гречневиком заел, и запил квасом.

— Фи! — говорила княжна, глядя на смирдинский аппетит.

Вдруг совсем близко послышались чужие мужские голоса, они пели французскую разгульную песню, и было ясно, что их обладатели успели изрядно нагрузиться.

— Это в винном погребке возле лавки Кольчугина! — встрепелась Аннета.

И прежде чем Смирдин успел ее задержать или попытаться отговорить, она, даже не заткнув за пояс свой страшный пистолет, кинулась наверх. Саша, конечно, последовал за ней.

Но там первое, что они увидели, был господин в бархатном кафтане — все тот же Матвей Комаров, житель города Москвы. Бормоча непонятное, он стаскивал под бременчатую стену какого-то лабаза пуки соломы, старые ящички, разную щепу. Затем долго чиркал кремень о кресало и наконец выбил огонь, солома затрещала. Аннета и Смирдин, взявшись за руки, молча смотрели на его деяния.

Тем временем солнце зашло, и в наступающих сумерках закоулки Китай-города огласились французской оживленной речью. Иногда слышались женские крики и по-русски, но большей частью призывали бога.

Из винного погребка, чья дубовая дверь была сбита и висела на одной петле, вывалилась компания подгулявших завоевателей.

— Теперь, месье,— говорил шедший впереди них и одетый вовсе не в военную форму,— теперь, друзья, я покажу вам, где хранятся их главные сокровища. Вот в этом древнем храме Троицы...

— Матье! — сказала княжна, узнав этот голос.— Ах, предатель! Это же мой Митька!

Но тут французы увидели веселый огонек, бежавший от костра, разожженного Матвеем Комаровым, и уже забравшийся под крышу. Сам же житель города Москвы и не пытался спрятаться. Стоял, скрестив руки, и следил за огнем, все разгоравшимся и взбегавшим ввысь.

— Поджигатель, поджигатель! — закричали французы.

Их капитан было приказал, чтоб поджигателя отвели в штаб маршала Даву, таков имелся приказ. Но перегрузившимся солдатам не хотелось куда-то тащиться, вести пленника под конвоем. «Все равно его там кокнут!» — заявили они. Сначала они стали бить Комарова прикладами по голове. Старик упал, дергая руками и ногами, но не произносил ни слова, даже не стонал. Французский капитан поднял его за шиворот и прислонил к стене церкви Живоначальных Троицы. Сам же поспешил отбежать, потому что солдаты принялись беспорядочно стрелять в Комарова, хохотали, небрежно прицеливались, пьяные руки тряслись, никак не могли перезарядить.

— А вот еще поджигатели, вот еще! — закричал извенник Матье, указывая на прижавшихся друг к другу Аннету и Смирдина.

Аннета оттолкнула Смирдина, пытавшегося ее ута-

щить за угол, и подняла пистолет, целясь в Матье. Курок громко шелкнул, но выстрела не было, осечка! Переложила смазки неопытная княжна.

Французский капитан ударом кулака выбил пистолет из руки Аннеты. Свалилась ее франтовская фуражка, и черные букли упали на плечи.

— Ага! — дружно закричали французы. — Девушка? Это очень кстати!

— Это очень богатая девушка, — спешил объяснить Матье. — Вы за нее можете получить от родителей большой выкуп.

— Ничего, мы ее не обидим! — засмеялся французский капитан, обнимая Аннету за плечи, и вдруг с криком отдернул руку.

Аннета, словно дикий зверек, укусила капитана, да так, что брызнула кровь. Воспользовавшись минутным замешательством врагов, она прыгнула за угол, где, оцепеневший от ужаса, притаился Смирдин.

Саша схватил ее за руку, и они побежали что было сил вниз по Межеумку, к подножью старой Китайгородской стены. За ними уже всюду разгоралось пламя, потому что некому было его тушить.

Смирдин затащил Аннету в самое лопушиное царство, там нашел свою заветную ямку, запрятал ее туда. Загородил собою, решив, что бы ни случилось, а врагу ее не отдавать. Аннета иногда пыталась оттолкнуть его, подняться, тело ее поминутно вздрагивало, и Смирдин слышал, как громко стучит ее сердце. Но французы не преследовали их, они были пьяны, у них были другие заботы. А пламя разгоралось, сквозь огромные лопухи, которые когда-то делали зеленым и мирным щедрый свет солнца, теперь всюду лился и полыхал грозный пурпурный свет войны.

Надо было уходить.

7

На пригорке над извилистой Яузой ротмистр Зралко-Забокжецкий в сопровождении своих адъютантов показывал расположение позиций прибывшему из штаба князю Скарятинскому. Речка живописно петляла среди пашен и рощ, у холмов ее пересекал мытищинский водопровод, подобный древнеримскому акведуку.

— Я принял командование полком после Бородина, —

сообщал бравый ротмистр, не забывая подкручивать ро-скошные усы.— Наш полковник был тяжело ранен.

— Знаю, знаю,— отвечал князь, изучая окрестность в зрительную трубу, которую с поклоном подал ему адъютант.— Рескрипт о вашем производстве в полковники не замедлит последовать. Поздравляю вас также с крестами за Смоленск и Бородино. Вы у нас герой!

— Но и вы, князь, я слышал, награждены,— отвечал ему ротмистр.— Отпразднуем после войны!

— Что это там у них?— Князь зрительной трубкой указал за реку на французские позиции.

— А, это французские пикинеры мародерничают по деревням! — махнул рукой Зралко-Забокжецкий.— Так вы говорите, князь, что генерал Милорадович, командующий арьберггардом, хочет, чтобы мы произвели разведку боем? Пустое! Я, как вы знаете, никакого боя не боюсь, но теперь без всякой разведки могу сказать, что французы едва ли повернут на Петербург. Их всех Москва поглотила, ха-ха-ха! Давайте-ка продедем опыт: я построю эскадрон или два в боевом строю и переместимся, хотя бы до вон той горки. Вы увидите, что предпримут французы. Будьте уверены: они так же наблюдают нас, как мы их.

И по его команде два эскадрона с развернутым знаменем и под звуки боевых флейт стали двигаться вдоль реки, как бы ища переправу. Впереди, горяча коня, скакал неугомонный ротмистр.

— Зралко-Забокжецкий! — окликал его князь, скача следом.— Зралко-Забокжецкий! Фу, какая длинная фамилия! Забокжецкий, Забокжецкий, черт возьми!

Ротмистр придержал коня, пока князь с ним не поравнялся.

— Моя фамилия Зралко-Забокжецкий! — крикнул он, склоняясь к нему с седла, потому что из-за топота копыт расслышать было трудно.

Конь его так и вытанцовывал рядом с вышколенной английской кобылкой Скарятинского.

— Неужели нельзя как-нибудь покороче?

— Тогда уж просто Зралко! — отвечал ротмистр.— Ведь Зралки происходят от самих Пястов, они королевского герба! А Забокжецкие — это простые белорусские шляхтичи.

— Тогда прошу прощения, господин Зралко-Забокжецкий,— улыбнулся князь.— Гляньте-ка, что вон

те за люди, которые опроретью бегут на том берегу к реке?

— А это московские жители, князь. Их тут в день сотни две переправляются. Французы их обычно обшаривают, раздевают, потом отпускают с миром на нашу сторону.

— И вы за них не вступаетесь?— спросил Скарятинский.

— У меня есть приказ уклоняться от стычек с неприятелем, хотя самому мне это — вот! — Ротмистр сделал жест, будто сам себе хотел отрубить усатую голову в четырехугольной конфедератке.

Они выехали на другой холм, с которого открылась им далекая Москва, над которой огромным столбом поднималось облако пожара. Половину горизонта затягивал дым, полуденное солнце померкло, как в апокалиптическом виденье.

— Горит, как горела наша Варшава, когда ее взял ваш Суворов!— воскликнул Зралко-Забокжецкий. Однако в словах его не было злорадства, скорее горечь, что такие прекрасные города сгорают в пламени войны.

— Так, да не так!— ответил князь.— О прошлом годе был я в Варшаве. Что за город! А Лазенки, а дворцовый парк, а королевское наместье! Все цело, все хорошеет, хотя и брал ее Суворов. А уж наша Москва, поверьте, если сгорит, то сгорит без остатка!

Чувствуя, что князь Скарятинский собирается отъезжать восвояси, ротмистр, как любой командир части перед начальством, принялся жаловаться, в надежде выклянчить какие-нибудь льготы:

— После Бородина, князь, мы еще не получали пополнения, хотя я докладывал о потерях... Конский состав тоже желает лучшего. По уходе из Москвы мы непрестанно на передовой, слава богу, что французам не до нас. А к нам еще каких-то стажеров посылают. Вот недавно прибыли два ополченских офицера на выучку— книгопродавец Кольчугин да сын сенатора Обрезков. Купчик еще ничего, более ловок, конем владеет, а господин Обрезков — извините, он, кажется, жених вашей дочери?— поминутно теряет стремя...

Князь Скарятинский ничего ему не ответил, в волнении он приник к своей зрительной трубке.

— Смотрите, смотрите!— вскричал он, хватая ротмистра за обшлаг.— Смотрите, как это могло случиться?

Ведь там же моя Аннета, моя дочь! Боже правый! Как она могла оказаться среди беженцев?

Зралко-Забокжецкий лишь на мгновенье поднес к глазам зрительную трубу.

— К бою! — раздалась его команда. — Все вброд, тут Язуз козы переходят. А ну, польские уланы, где ваша удаль?

На той стороне реки Смирдин тащил за руку Аннету, которая потеряла один сапог, прихрамывала и все время хотела лечь на землю. Непрестанно следующие за ними всадники метились пиками именно в Аннету. Только близость русских разъездов за рекой мешала французам спешиться и ограбить гонимых ими москвичей.

Вдруг французы закричали: «Атака, атака!» — и оставили несчастных в покое. Аннета упала, рядом с ней упал и Смирдин. Совсем близко конские копыта поднимали фонтаны земли и травы, звякало железо.

— Эх, люблю я рубку! — кричал на скаку Зралко-Забокжецкий.

Действительно, тусклый звон металла о металл в горячем воздухе — что может быть слаще для уха кавалериста?

Ротмистр ловко взмахнул саблей, и вот голова пикинера слетает с плеч, конь его уносится прочь, унося безголовое тело. Смирдин приподнялся и увидел то, что запомнилось ему на всю остальную жизнь: рядом вертелась в пыли голова с выпученными в азарте зрачками.

И вот Аннета обнимает отца, Смирдину жмут руку незнакомые ему люди. Сам усатый ротмистр, которого когда-то он так опасался, хлопает его по плечу и хохочет:

— Герой, герой, матка бозка, герой!

Подскочил уланский хорунжий на разгоряченной лошади:

— Пан ротмистр, там один из наших убит, вон лежит за колодой!

Это оказался Семен Кольчугин, бедный Семка по кличке Француз. Лихость не спасла его от судьбы, как не спасала она еще ни одного человека. Пика французского кавалериста вошла ему под сердце и вышла из спины. «Легкая смерть!» — говорили спешившиеся уланы, обнажая головы.

Для княжны подвели одну из лошадей, отловленных после бегства французских пикинеров. А Смирдин на во-

прос, садился ли он когда-нибудь на лошадь, честно ответил: «Нет-с».

Тогда Зралко-Забокжецкий указал ему на том берегу церковку с шатровой колокольной и купы деревьев над крышами домов.

— Видите, сельцо Ростокино? Там стоит сейчас пешее ополчение, командир — граф Аракчеев-младший. Князь черкнет ему несколько строк, вы туда ступайте. А нам всем тотчас надо ретироваться. Французы не преминут налететь, они не любят, когда ихнего брата обижают!

8

Но в ополченные войска нашему Смирдину так и не суждено было попасть. В Ростокине уже оказались французы. Напуганный предыдущими приключениями, Саша просто бежал, как только за околицей увидел медвежьи шапки французских кирасир. Жители невнятно объясняли, что войско генерала Аракчеева ушло на Петербург.

Туда и кинулся наш неопытный Смирдин, вместо того чтобы идти по нахоженному тракту на Ростов Великий и далее куда-нибудь на Ярославль. Дорога от Ростокина на клинское направление шла дремучими лесами, по запутанным тропам. Повсюду спешили люди с узлами, некоторые ушли уже после того, как Москва загорелась, причитали по своим погибшим близким, по родным пепелищам. Лес был полон едкого дыма, который ветер нес от Москвы.

Какая-то кучка мещан шла более организованно, зря слез не лили, на бога не роптали, планировали рассудительно — у одних был кум в Петербурге в полицейской управе, другому давно уже предлагали купить место на Гостином дворе, на самом что ни на есть на Невском проспекте. Смирдина они от себя не гнали, он шел за ними себе и шел, разговоров их не слушал, полон был своих забот.

Когда наступал час привала, дружная кучка рассыпалась, каждый выбирал себе укромное место и развязывал свой собственный узелок. У Смирдина узелочка не было, он глотал слюнки, бродил по опушке, знал, что какие-то грибы можно есть сырыми, но, будучи городским дитятей, какие именно — не знал. Из съедобных трав он хорошо знал только щавель, но какой же осенью щавель!

А осень быстро надвигалась, в начале октября выпал

уже снег, правда, тотчас стаял. Ночи сделались морозные, кончилось бабье лето, уступило место холоду и мгле. Повсюду сырые, черные, уже голые леса, мрак и безмолвие. Похоже, что все люди на земле вымерли и только они, беженцы, несутся сквозь тьму как бесплотные тени... Да уж и не такие бесплотные, потому что дико хотелось есть, грешная плоть требовала своего.

Вначале, недалеко еще от Москвы, им кое-что перепало от сердобольных крестьян. Да и русская конница, кружившая возле Москвы в ожидании маневров неприятеля, нет-нет да и делилась куском хлеба с несчастными погорельцами.

Но чем дальше от Москвы, тем неприступнее и суровой становились северные деревни. Отгородились заборами и остроконечными частоколами, собаки, как дикие звери, метались на цепях. Городки же — Тверь, Старица, Торжок — были забиты войсками. Это была пехота, тоже ополчение, люди пожилые, озабоченные, оторванные от хозяйств, от семей. Да и у них продовольствия было не вдосталь: повара отгоняли беженцев от полевых кухонь.

Однажды какой-то богатый барин, чинивший колесо в придорожной кузне, расщедрился, приказал своим слугам целый день выдавать по ломтю хлеба всем, кто проходил мимо, говоря: «Молитесь за усопшую боярыню Дарью, сегодня ей ровно год». Так, Христовым именем, впервые за много дней Александр был сыт, и от непривычки его сморил сон. Со своими мещанами, мечтавшими о петербургском Гостином дворе, он пристроился вздремнуть в каком-то сухом молотильном сарае.

Проснулся от дикого холода, озноба во всем теле. Оказалось, он был раздет, вся его суконная одежда была с него ловко снята, остался он в одном исподнем! И мещане его все куда-то поисчезали, сквозь дыру в соломенной крыше сарая равнодушно глядело осеннее черное небо холодными зрачками звезд.

Боже, как же теперь? До рассвета он в полном отчаянии просидел в углу сарая, забился, закопал себя в кучу половы. Когда еле забрезжил тягучий октябрьский рассвет, он услышал по прихваченной морозцем дороге постукивание палки или посоха. Кто-то неторопливо вышагивал, напевая, словно на клиросе: «Подаждь нам, боже, подаждь нам, милостивый, щедрый...»

Что тут случилось со Смирдиным, он сам бы не смог объяснить. Словно невидимая рука его толкнула, он вско-

чил, отряхнул с себя полу и, как был в одних подштанниках, выглянул из ворот сарая.

И тут снова, и на сей случай в последний в его жизни раз, узнали в нем покойного отца.

— Святые угодники! — воскликнул путник, человек рослый, в старом суконном подряснике. Круглое татарское лицо его, с редкой бородкой и волосами, заплетенными в косицу, отобразило изумление. — Господи вседержитель! Да это же Филя Смирдин!

Через малое время путник этот, который оказался бывалым человеком, добыл кресанием огонь, раздул костерок. Правда, посуды у него не было, чтоб вскипятить воды, но хоть погрелись, руки-ноги отошли. Закусили же армейскими галетами, которые нашлись в путниковой сумке.

Смирдин все поведал, ничего не утая. Что отца своего не помнит, что бежал из Москвы, что в дороге постигло несчастье... Путник же про себя только и сказал, что за грехи молодости пребывал в Соловецкой обители, на самых на холодных островах. Теперь же, освободившись, пеше следует в Москву.

— Там неприятель! — поразился Смирдин.

— Для божьего человека ни приятелей, ни неприятелей нет, — зевнул путник и запел ирмос: — «По гресем нашим воздастся...»

...— Вставай, отроче, — сказал он Смирдину, когда полуденное негреющее солнце пробилось сквозь пелену туч. — Вставай! Знаешь истину древнюю? Что потопаешь, то и полопаешь...

Он порылся в своей суме и извлек оттуда латаные-перелатаные портки и армячок чуть попримечнее.

— Конечно, не ризы, — развел он руками. — И для тебя просторноваты, но благодари бога и за то.

И он повел Смирдина назад, в сторону Москвы. Дорога уже совершенно опустела, погорельцы успели все пробежать, а войска ушли куда-то в иные края. Стужа усиливалась. Смирдин и в кулаки дул, и пританцовывал, путнику же было все ничего, хотя одет он был ненамного теплее, чем его юный товарищ. Знай себе напевал свои ирмосы.

Так пришли они в маленький городок, названия его потом Смирдин, как ни силился, не мог припомнить. Потом, уже будучи зрелым мужем и стариком, ему не раз до-

водилось проезжать по этому тракту. Но того городка он так и не встретил и не припомнил никогда!

Посреди базарной площади под каланчой стоял обоз из фур, накрытых брезентом. Путник велел Смирдину постоять возле каланчи, а сам обошел обоз, заглядывая в фуры и беседуя со сновавшими вокруг солдатами. Вскоре он вернулся и повел Смирдина к одной из повозок, заглянул под брезент, и оттуда подали Смирдину порванную и запачканную кровью, но, в общем, целую и теплую шинель.

— «От щедрот твоих питаемся, от милостей просияем!..» — запел путник и подвел Смирдина к другой фуру.

Там он постучал по облучку, и оттуда высунулся солдат.

— Боже, это ты! — воскликнул фурщик, и Смирдин мог бы поклясться, что лицо его покрылось бисеринками холодного пота. — Ты разве жив?

— Воскрес, — лаконично ответил путник. — Обо мне не беспокойся. А вот сего юношу ты возьмешь в свою фуру и доведешь в Питер. В куске хлеба и глотке воды ему не откажешь.

— Но ведь... — начал было возница и остановился, словно замороженный взглядом путника.

Тот ничего не отвечал, продолжал напевать свои ирмосы, а Смирдину повелительным жестом указал — полезай, мол, в телегу. И так, не простившись, не объяснив ничего, ушел из его жизни внезапно, как и появился.

— Это кто ж он тебе будет? — спросил фурщик, когда обоз тронулся в Петербург, а дождь мелкой россыпью зашумел по брезентовой крыше повозки.

И так как Смирдин молчал, затрудняясь, что ответить, фурщик сказал поспешно:

— Ладно, ладно... Нам ведь и ни к чему, я спросил просто так... — и закрестился, поминая мать божью и всех святых.

В обозе оказались раненые и разного рода амуниция, собранная на полях сражений и теперь отвозимая в Петербург. После двадцатого дня пути утром фурщик показал Смирдину кнутовищем на горизонт, сплошь затянутый пеленой тумана:

— Вон он, наш батюшка... Питер-град, наш кормилец-поилец, дральщик-лупильщик!

Призрачный город медленно вставал за чернью приго-

родных рощ куполами церкви и трубами всяких строений. Вообще-то он мало отличался от старой, знакомой Смирдину Москвы, только на улицах больше было военных и нищих.

Фурщик выдал Смирдину последний ломоть хлеба и высадил его на неведомой площади, сообщив напоследок:

— В городе-то как раз наводнение... Финское море, значит, по улицам разлилось.

И правда, самые красивые улицы с соборами и дворцами были сплошь затоплены, по ним ездили на лодках. Колоннады отражались в неподвижной воде, и свет дневной под низким покровом туч сливового цвета делал всю картину подобной виденью ада.

На ночь Смирдин пристроился в незатопленном Измайловском соборе, куда в притвор пускали ночевать нищих и московских беженцев, и они там спали вповалку на деревянных подстилах. Наученный жизнью, Смирдин свою теплую шинельку туго подпоясал и конец опояски даже зажал в кулаке. А утром опять занял желудок, требуя есть.

Тут отошла служба, хор на далеком клиросе грянул «Достойно есть...», и публика повалила на выход, а нищий люд плотно выстроился в два ряда, протягивая руки к выходящим на паперть. Встал и Смирдин, видя, что некоторым подают просфоры, которыми можно пропитаться, другим же достается и грошик. Но плотные спины нищей братии никак не пускали его вперед, и протянутая его ладонь оставалась без подаваний.

— Гляньте-ка! — вдруг раздался мелодичный женский голос, пробудив его из забытья, в котором он стоял, протянув ладонь. — Я сперва думала, это старичок, а это же совсем отрок, вон позади стоит в рваной шинели!

— Матушка, благодетельница! — заголосили богомолки, хватая за подол женщину, которая произнесла эти слова. — Подай во имя Христово.

— Хочешь, пойдем ко мне в дом? — предложила милосердная женщина. — Ну, решайся же скорее!

Но Смирдин молчал, то ли язык у него уже не работал от многодневного молчания, то ли просто заморозило ему разум.

— Ах, бросьте, бросьте, ма шер! — подхватил женщину под руку бравый кавалер с закрученными усами. — У вас и так полон дом калик перехожих. Лучше мы подадим

ему милостыньку. Иван Тимофеевич! — обратился он к другому господину. — Выдай этому парню калач из твоей сумы милосердия!

И они удалились под хор причитаний нищего люда, а какой-то лысый богомолец в больничном капоте с завистью сказал Смирдину:

— Чарушникова, вдова, купчиха... Напрасно ты не пошел! Но кому какая судьба!

И точно — словно некое виденье среди шествующих господ и барынь Смирдин явилась княжна Аннета. Она была в зимнем салопчике, отороченном мехом, и с нею шла (он готов был побожиться!) сама княгиня-бабушка и еще какие-то незнакомые господа. И все они оживленно переговаривались и раздавали милостыню.

Когда Смирдин опомнился, они уже вышли и, видимо, сели в экипаж. Смирдин кинулся за ними вслед, но направления не запомнил, бежал куда попало. Вода от наводнения ушла обратно в море, и улицы стояли пустыми. На булыжной мостовой валялись какие-то детские люльки, изломанные стулья, рваное тряпье.

Начинало смеркаться, когда он добрел до речки, закованной в гранит, а через речку был перекинут красивый широкий мост. И сердце его не екнуло, предвещая, что тут он найдет свою судьбу.

Усталый, он опустился на гранитную ступеньку углового дома. В темнеющем небе громко кричали вороны, желудок привычно слипался от голода.

Над ним открылась дверь, сгоняя его с каменной приступки, кто-то выметал мусор из помещения. Смирдин машинально поднял глаза и прочел вывеску:

КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ И БИБЛИОТЕКА ПЛАВИЛЬЩИКОВА

ДЛЯ гг. МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ИНОГОРОДНИХ.

Плавильщиков? Мать княжны Аннеты была урожденная Плавильщикова! И вновь его обуяла негаданная смелость, он спросил, не может ли он видеть господина Плавильщикова. Приказчик смерил его взглядом, но пошел доложить.

И вот он в барских покоях, где господа изволят ужинать за обильным столом. И княжна Аннета, не стесняясь, обнимает его за шею, а пахнет от нее так, как, вероятно, пахнет в божьем раю. И это все не сон!



Толстый добрый господин улыбается и горячо жмет его руку — это сам Плавильщиков. А княгиня-бабушка говорит:

— Он устал, господа, посмотрите, как опухло его лицо! Ступай, любезный, тебе дадут помыться и переодеться. Малашка, вели накрыть ему ужин на кухне!

9

Летом 1813 года освобожденная от неприятеля Москва еще являла собой грустное зрелище. Бесконечные ряды торчащих печных труб среди хаоса головешек и обгорелых балок, кое-где лишь каким-то чудом уцелевшие и тоже полуобгорелые строения. И всюду запах тлена — то ли мертвой плоти, то ли горелой древесины. Ветер клонит ветви уцелевших деревьев, на которых кое-где ярко зеленеет новая листва, и даже птиц не слышно: бояться, не летят на это страшное пепелище.

И все же радость возрожденья звучит в этом всеобщем хоре скорби — идут и идут, едут, возвращаются люди. Разыскивают свои прежние места или находят себе новые. Копаются в кучах обгорелого мусора, кто кровать найдет железную, кто раму от картины, кто балку деревянную отскоблит от копоти и спешит положить в основание нового сруба.

Июньским вечером на станции почтовых карет, что на Тверской-Ямской заставе, вышел в город, предъявив полицейскому паспорт, молодой человек, опрятно одетый и даже во франтовской поярковой шляпе. Извозчик сторговался с ним за двугривенный до Разгуляя и покатил вдоль бывших стен Земляного города, которые теперь пленные французы и вечно обязанные трудиться русские солдаты разбирали на кирпичи и выравнивали под бульвары. Сухарева башня, Красные ворота, храм Петра и Павла в Басманной слободе, который, по преданию, проектировал сам великий преобразователь России, — все это было не тронутو пожаром. Нет, жива, жива наша Москва-матушка и станет еще краше!

Не доезжая до Немецкой улицы, у перевоза через реку Чечеру, стояла почти не тронутая огнем слобода огородников — Добрая слободка, как она еще числилась у москвичей, которые вообще любили двойные и вычурные названия. Там извозчик придержал свою клячу возле крайнего домика — сторожки, что ли? Пока ехали, извозчик

привычно жаловался на дороговизну овса, поведал, что не от себя ездит, а от хозяина, а хозяин — ух, свиреп! Получив же от щедрого седока лишний пяточок, цокнул и лихо укатил, прикидывая в уме, поспеет ли к знаменитому кабаку на Разгуляе до его закрытия?

Из огородной же сторожки выбежали прачка Аглая и ее верная Антонидка кривая и с плачем принялись обнимать своего драгоценного Сашу.

Старик Ильин умер еще в Нижнем, не вынеся тягостей бегства от неприятелей и слухов о разоренье родного Китай-города. Аглая с Антонидкой кое-как пробедовали там до весны и возвратились, не найдя целым ни клочка от своей бывшей скудели. Наняли полсторожки у огородника, не столько за гроши, сколько за ожиданье щедрой платы в будущем.

Написали в Петербург, хотя сомневались, что Саша, так преуспевавший там у доброго Плавильщикова, захочет вернуться к их разоренью. Думать об устройстве на прежнем месте — в Межеумке, на Никольском крестце, — было нечего. Особый указ градоначальника предписывал всякую торговлю с Красной площади изгнать. А в Китай-городе для того строить казенные здания с калориферным отоплением — Теплые ряды. Теперь каждая квадратная сажень в пределах китайгородских стен стоила ой-ой-ой! И вдова Аглая поселилась там, где это было доступно ее скромным достаткам, то есть в Доброй слободке, за Разгуляем.

Всю жизнь приходилось строить вновь.

Алексей Силыч Ширяев, сорокалетний мужчина старого закупа, то есть ходивший в купеческой чуйке и мазавший волосы деревянным маслом, тем не менее имел склонность дела ставить по-новому. Вступил в пай с французами Готье и Августом Семеном, чтобы строить каменные лавки на Кузнецком мосту. Где ранее был бастион иностранной книжности, он вознамерился торговать только русской книгой.

Явившегося к нему Смирдина он, по его поярковой шляпе, принял сначала за покупателя, разговаривал с ним на «вы», прибавляя «слово-ер» — вы-с, чего угодно-с... Узнав же, что Смирдин хочет служить и имеет рекомендательное письмо от самого Плавильщикова, воскликнул, меняя тон:

— Тебя-то, братец, мне и надо! Сам бог, видать, тебя послал!

Действительно, он желал дело поставить по-парижски, по-лейпцигски или, на худой конец, по-петербургски: сонная зевота в торговом помещенье при покупателях, беганье в обед за полуштофом водки, закрытые двери в двунадесятые и многочисленные малые праздники у него были решительно заказаны. Сидельцы стонали от такой тирании, однако от Ширяева не уходили — хорошо платил, bestия!

Смирдину сначала он поручил составить каталог всех имевшихся изданий. Саша нарезал карточек, очинил несколько перьев, чернила ходил покупать к самому университету. Но дело вышло труднее, нежели он предполагал: каждая книга, оказывается, как человек — имела свое лицо!

Как ее описать, черт побери, коль имя автора иной раз там в титульном листе и не упоминается вовсе, а содержится где-нибудь в посвящении. Например: сначала крупнейшим кеглем «ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЕ...» и прочая и прочая, а в самом конце где-нибудь «вашего величества математических наук низжайший раб» и наконец мельчайшим шрифтом «академии секретарь Сергей Волчков».

Александр чесал себя пером в затылке, а сидельцы Яшка Угорь да Митюшка Голохвастов в обед показывали ему из-под прилавка горлышко бутылки. Но Александр к их соблазнам был стоек и к развеселым девицам с ними на Цветной бульвар не ходил, за что сидельцами был аттестован как институтская барышня. Впрочем, библиографические занятия Смирдина продолжались недолго. Хозяин подошел как-то и молча рассматривал начертанные им карточки. Александру было мучительно неловко, снова он ощущал свои оттопыренные уши, хотелось сослаться на покойного диакона отца Анфила и его уроки грамоты...

— Вот что, — кратко сказал Ширяев. — Ты этого боле не исполняй. Ступай на склад.

А на складе, как в былые времена у дядюшки Ильина, он нагибается, сделав руки за спиной в виде ковша, и кладовщик накладывает туда стопу книг, и Смирдин на своем горбу тащит это богатство по склизкой каменной лестнице в лавку, сидельцам. А Угорь да Голохвастов смеются и вновь исподтишка ему полуштоф показывают.

Но вскоре случилось так, что хозяин вновь изменил мнение о Смирдине в лучшую сторону. К нему ходил его

компаньон и сосед по Кузнецкому мосту Август Иванович, по фамилии Семен. Это был француз из нашенских, папаша его бежал от гильотины из Парижа, а сам Август Иванович служил в русском ополчении в одной дружине с Ширяевым. Поэтому они называли друг друга на «ты», а Август Иванович в минуты особого расположения звал Ширяева «Силитч», то есть Силыч.

— Силитч,— сказал как-то Август Иванович, блино-подобно сияя хорошо ухоженным иностранным ликом.— Мон шер Силитч, поздравь меня. Контракт на аренду мною типографии Медицинского департамента подписан, будем издавать книги.

Тут как-то выяснилось, что Смирдин хорошо понимает по-французски, хотя говорить на этом языке не может. Август Иванович затребовал его к себе в качестве помощника по совместному с Ширяевым издательскому делу. И погрузился наш Александр в пучину рукописей, корректур, правок, версток и прочей книгопечатной премудрости.

Бывало, бежит по морозцу вниз с горба Кузнецкого моста к бывшей Неглинке, которую успели запрятать в трубу, и прижимает к себе папку с каким-нибудь Теэром по сельскому хозяйству. Ширяев почитал книги серьезные, а пустяковых «Милордов» и легкомысленных «Ванек-Каинов» не издавал. А сердце бьется весело, и на душе легко, хотя почему — и сам не знает. Жалованье маленькое, на жизнь едва хватает, уже франтовской поярковой шляпы не заведешь. Дома своего нет, мать хворает, на стирку не ходит, теперь с Антонидкой занялись шитвом по заказу, при сальных свечах глаза портят.

Прибегает в типографию на Моховую, там печатные машины гудят и щелкают, Август Иванович выписал из Лондона новинки века — быстропечатные станки с приводом от парового двигателя, не чета прежним синодальным мастодонтам. Ухает обрезной пресс, наборщики, согнувшись на высоких табуретах, от усталости поминают всех святых. У Августа Ивановича в каморке, которую он приказал сделать из стекла, чтобы наблюдать за радением своих печатников, сидит какой-то еще луноподобный иностранец в бакенбардах.

— Смирдин,— представил ему Семен вошедшего Сашу.

— Фон Нагель,— несколько высокомерно ответил,

чуть привстав, иностранец.— Георг-Франц-Зебауст. Из Петербурга.

— Он не книжник, он фарисей! — смеется добродушный Август Иванович.— Он мне просто деньги ссужал. Но он хорошо знаком с твоим Плавильщиковым.

— О, я, я! — важно кивает фон Нагель.— Да, да, Плавильщиков! Ми недарно присутствовала на ферлобунг... Как это по-русски?

— Ле фьянсайль,— перевел по-французски Август Иванович.

— Помолвка-с, обручение? — спросил Смирдин.

— Зо, зо! — обрадовался фон Нагель.— Обручение! Его племянница, фюрстин Аннета, ви знайт, конечно?

Сердце Саши невесть почему сжалось, как мышка в норке, и отпустилось, оставив тайную печаль.

— Проводи-ка ты господ Нагелей на подновинское гулянье,— поручил Смирдину Август Иванович.— Они в Москве в первый раз и полагают, что лучше петербургского ничего нет на свете. А люди они нужные!

Была пасхальная неделя, и у древних стен Новинского монастыря, что на Пресне, во всю ширь размахнулось подновинское гулянье. Тут и балаганы с монстрами — девица-змея, огнеглотатель Мустафа, бородатая женщина, которая на глазах у публики ломает тележную ось. Меж балаганами скачут шуты на ходулях, кукольник задрал подол, и над головой у него Петрушка лупит дубинкой сначала попа, потом городского.

Фон Нагель действительно оказался не один. Он привез из гостиницы в наемной карете дородную фрау Нагель и девочку лет десяти, с таким же, как у папаши, луноподобным личиком и такими же, как у мамыши, глазами — голубыми и будто чем-то удивленными.

— Маргарете-Эмили,— представилась она Смирдину. Сделала книксен и потупила небесные глазки.

— Зовите просто — Милочка,— разрешил папаша фон Нагель, в восторге от своей красавицы дочери.

Они посетили все по очереди балаганы, прилежно обозревали и девицу-змею, и Мустафу-огнеглотателя. Пили горячий вкусный сбитень, пахнущий грушами, который наливали им из огромнейшего чайника, одетого в ватную шубу, чтобы не остывал. Смеялись на драки и возню скоморохов.

Тут кто-то принялся кричать, что у него кошелек сре-

зали, толпа пришла в волнение. Фон Нагели, ссылаясь, что уже смеркается, заторопились домой.

Они уехали, а Смирдин готов был поклясться, что дочка фон Нагелей слишком часто и как-то неспроста поглядывала на него небесными глазками. Но тут ему вспомнились ле фьянсайль, представился губастый и шепелявый господин Обрезков, и сердце снова защемило, и погрузилось оно в непонятную печаль.

А мать выговаривала частенько:

— Что ты все книжки да книжки читаешь... Хочешь всю ширяевскую лавку перечесть? Пошел бы лучше на гулянки... Или хочешь, я балалаечку тебе куплю.

Однажды, правда, стало ему как-то совсем невмочь. Был месяц май, и соловьи щелкали в обгорелых рощах, будто соревнуясь, кто выдаст коленце позамысловатее. Смирдин взял да и поехал на подновинское поле, просто так.

Там ему тотчас встретились его заклятые друзья, сидельцы Яшка Угорь да Митюшка Голохвастов, с ними разудалые девицы в цветастых платках и со щеками пунцовыми, словно у матрешек. Одна матрешка оказалась у них лишней.

— Вот,— сказали Угорь и Голохвастов.— Наш сухарь Александр, старая дева. Надо бы его размочить.

Матрешки завизжали и захлопали в ладоши, а нечетная матрешка взяла над Смирдиным шефство.

С отвращением потом вспоминал Александр, как он веселился с сидельцами и матрешками, как пел какие-то разухабистые песни (которых вовек не знал), как грозил кого-то в лошадиную дугу согнуть (за что, сам не понимал). И в сознание его тогда все равно стоял весь ужас происходящего, а ведь в его конторке у Ширяева лежала срочная правка «Лексикона», которую завтра же нужно было сдать пунктуальнейшему Августу Ивановичу.

А наутро в доброслободской сторожке он не мог разлепить глаз и поднять от подушки каменной своей головы. Аглая плакала, а добрая Антонидка смешивала ему какое-то питье.

Он пришел в лавку к Ширяеву только на третий день с готовым объяснением по поводу внезапной лихорадки. Угорь да Голохвастов, которым все было нипочем, ехидно перемигивались.

Суровый Ширяев не стал слушать никаких объяснений. Спросил внезапно:

— А ты знаешь, каковы имена двух главных бесов?

— Нет-с...— опешил Смирдин, лихорадочно припоминая уроки покойного отца Анфила.— Не знаю-с.

— Неточность и Необязательность! — сказал Ширяев, повернулся и ушел.

Вся длинная его спина выражала презрение. А ящик конторки был пуст — рукопись «Лексикона» кто-то уже отнес издателю Семену.

10

Новая зима принесла новые заботы. Сторожка в Доброй слободке отоплялась временкой, огородник не торопился ее утеплять, сам-то он жил где-то на вольных хлебах. Смирдин сыскал печника за баснословную цену: все мастера в восстанавливающейся Москве были на вес золота. Принимаясь за кладку, тот сказал:

— Пойди, хозяин, по развалинам, поищи-ка там какую-нибудь чугунную вьюшку, этого теперь за золотой не купишь!

И побрел Смирдин по кучам горелого кирпича, выискивая себе вьюшку. Но все было уже обшарено, обобрано доброхотами! Так забрался он в обгорелый каменный корпус дворца графов Мусиных-Пушкиных, что на Разгуляе. От дворца осталась только почерневшая громада с рядами пустых оконных глазниц. Да под фронтоном красовалось масонское изображение гроба, оно ужасно пугало местных жителей, хотя многие разъясняли, что это не гроб, а просто солнечные часы.

Мела поземка, в развалинах ужасно дуло, небо цвета старой холстины низко нависло над снежной Москвой. Но Смирдин все-таки нашел в графских руинах чугунную вьюшку, выломал ее и собирался восвояси, как встретил какого-то странного господина.

Сначала он подумал, что это кто-нибудь из графских слуг, охраняющих усадьбу, и приготовился отвечать за унос господской вьюшки. Но незнакомец отнюдь не сторожил развалины, он перескакивал с кучи на кучу и как бы в приступе отчаяния срывал с себя шапку и ударял по темени. Затем вновь напяливал треух и блуждал по бывшим графским апартаментам, будто что-то ища.

— Вам чем-нибудь помочь?—сердобольно осведомился Смирдин.

— Теперь уж не помочь! — вскричал тот. — Да и всему нашему отечеству теперь уж не помочь!

«Сумасшедший!» — подумал Смирдин и ощутил невольную робость, как каждый, кто встретится с душевнобольным.

— Кто вы, молодой человек? — спросил его предполагаемый сумасшедший. — Книгопродавец? Тогда вы не можете не знать, что вы находитесь в том самом месте, где сгорела бесценная рукопись — «Слово о полку Игореве», Игоря князя сына Святослава, всей нашей словесности, всего отечества слава!

Мела поземка, ветер задувал в рукава, а незнакомец не собирався уходить, совершая свой непонятный обряд: время от времени снимал шапку и бил себя по голове.

— Ну что ж теперь поделаться, — стал утешать его Смирдин. — Сего ведь не вернешь!

Но от этих слов незнакомец пришел в еще большее неистовство.

— А этот алчный граф! — вскричал он. — Все ведь вывез, все свое жалкое богатство — фарфор свой, хрусталь, ковры, мебель, — библиотеку рукописей, воистину драгоценных, — забыл! Господи, прости ему, если это возможно! А я вам откровенно скажу, как книгопродавец книгопродавцу, — сказал незнакомец, перепрыгивая на кучу к Смирдину. — Я ведь, кстати, тоже книгопродавец, только антиквар. Антон Иванович Бардин меня зовут. Не слышали? Странно, что не слышали, впрочем, я знаю, что известен только старинщикам. А вы, вероятно, новой книжкой торгуете? Так я открою вам, как книгопродавец книгопродавцу, а ведь она нашлась. Что́ нашлась? Да конечно, та самая рукопись! То самое «Слово»!

Смирдин даже замахал на него руками, чуть не выронив заветную вьюшку. Но Бардин стал креститься в подтверждение своей правоты.

— Пойдемте ко мне, — сказал он, почему-то шепотом. — Мой вертеп тут неподалеку, на Старой Басманной. Я вам такие сокровища покажу!

И правда, в его комнатке, которую он снимал у толстой и угрюмой мещанки, кулаки которой были как у циркового силача, Смирдин увидел множество рукописей и свитков, испещренных старинными почерками. Одни были переплетены или скреплены вместе, другие лежали или просто валялись как попало.

— Вот оно, вот оно, это «Слово»! — бормотал Бар-

дин, находя в ворохе свитков тетрадку листов в десять.— Взгляните, каков полуустав, с титлами и подтитлами! Да вы в почерках-то разбираетесь? Ах, я и забыл, что вы новинщик! Завтра я отнесу ее графу Мусину-Пушкину,— опять почему-то шепотом сообщил он.— Хоть я и клял тут его, но мается старик, мается, жаль его... Рублей двести хочу с него взять. Мне-то ведь она тоже не даром далась!

Угрюмая хозяйка тем временем, взойдя в комнату без стука, прислонилась к притолоке, скрестив на груди могучие руки. Бардин поминутно на нее оглядывался и еще более глубоким шепотом сказал:

— А вот, не желаете ли? Собственноручные письма Владимира Мономаха, глядите, какой пергамен!

— Антон Иванович! — вдруг басом сказала от притолоки хозяйка.— Зачем же вы глаза замазываете господину? Ведь вы пергамен этот у монаха купили, а тот его от старинных грамот пообрезал... Зачем же вы господина этого хотите обмануть?

— Нишкни! — изо всей мочи закричал на нее Бардин.— Подумайте, какая стерва! Что же я, по-твоему, поддельщик?

— Сударь! — Хозяйка оторвалась от притолоки и протянула к Смирдину слоноподобные руки.— Вы не из полиции, случаем? Я день и ночь трясусь, что придет управа благочиния и заберет моего чудака. Ведь это он сам по ночам рисует то за Мономаха, то за блаженного Савву. Но, клянусь вам, государь мой, копейки ни с кого не берет!

И столько любви и тревоги было в ее густом женском контральто, что Смирдину стало жаль и ее, и фанатика Бардина, и даже то, что список великого «Слова», оказывается, недостоверен!

Провожая его со свечой в сенях и помогая натянуть полушубок, Бардин продолжал страстно шептать:

— И вы верите, что я поддельщик? Милостивый государь, я не поддельщик! Вот тут неподалеку князек один живет грузинский, значит иверийский, по фамилии — Сулакадзев. Вот тот воистину поддельщик. У него есть подлинные письма, знаете кого? Антония и Клеопатры!

Выйдя на холод и колючий снег, совершенно ошеломленный Смирдин обнаружил, что забыл у Бардина свою заветную выюшку. Пришлось возвращаться, долго стучать, потому что обитатели не слышали его стука: судя по

голосам из-за двери, они были заняты выяснением своих отношений. Наконец Бардин открыл дверь и подал в нее забытую вьюшку, не забыв присовокупить с оттенком торжества:

— А все-таки я завтра продам мой список графу.

Теперь, доверительный мой читатель, послушаем, что в действительности произошло на следующий день.

Граф Мусин-Пушкин Алексей Иванович приехал на очередное заседание императорского общества любителей истории и древностей российских, которое в тот раз происходило в каминном зале Английского клуба. Руки старика тряслись от волнения, он никак не мог попасть в дверь каминного зала, пока клубный лакей его туда не направил.

— Господа! — произнес граф, вытирая беззубый рот. — Я потрясу вас новостью. Попранная несправедливость восстановлена!

Члены общества с изумлением глядели на трясущегося графа, который еще никогда не являлся им среди таких эмоций.

— Милостивые государи! — продолжал граф и сделал знак своему секретарю, чтобы тот раскрыл сверток. — Драгоценность приобрел я, драгоценность!

Все изумляются, восхищаются — действительно, видят другой список «Слова о полку Игореве», нежели тот, что сгорел в пожаре! Список несомненно столь же древний и подлинный, достаточно взглянуть на полуустав.

Один только Алексей Федорович Малиновский, главный хранитель московских архивов и брат директора Царскосельского лицея, тот не изумляется, а выражает сомнение.

— А что же вы? — ревниво спрашивает его граф.

— Да ведь и я, граф, купил вчера подобный же список!

— Как так?

— А вот так.

— У кого же?

— Да у Бардина, букиниста. Наверное, у него же купили и вы!

Тотчас послали нарочного к Малиновскому домой, привезли его рукопись. Положили рядом оба раритета — оказалось, одно и то же, и все признали, что это Бардина подделка. Его штучки давно известны.

Кто-то присовокупил: а у графа Румянцева есть список «Русской правды» на подлинном пергамене, с которого

соскоблен прежний текст — так называемый палимпсест. Так он, Бардин, и не скрывает, что это им переписано под одиннадцатый век, даже похвально этим.

— Ужас, ужас! — ахали члены императорского общества, но в голосах их звучало восхищение сим мастерством.

...Устроив в сторожке, где обитали его женщины, отопление, Смирдин спокойно, уже без инцидентов, работал над изданиями Ширяева. Зима шла своей чередой, оттепели сменялись морозами, событий особенных не происходило.

Но вот однажды в лавку Ширяева явился посыльный из главного почтамта в форменном меховом картузе и осведомился: может ли он видеть лично господина Смирдина? Сидельцы Угорь и Голохвастов со всей долей презрения, на какую были способны, указали ему дверь в каморку, за которой Смирдин занимался издательскими делами.

Посыльный вручил Смирдину почтовый конверт, перевязанный ленточкой, получил гонорар в размере гривенника и откланялся.

«Любезный Александр Филиппович! — значилось в письме. — Помните ли вы старого петербургского ворчуна Василья Плавильщикова, у которого вы приютились в суровое время Отечественной войны? Мы вас тут частенько вспоминаем, особенно княжна Аннета, помните мою племянницу?»

Письмо трепетало в руке Смирдина. Аннета — княжна? Значит, она не вышла замуж. А как же Обрезков?

Плавильщиков звал его переехать в Петербург, жаловался, что состарился, зрение слабеет, на ногах какие-то кровоподтеки... Обещал место старшего приказчика, да и все-таки Петербург...

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ ВТОРОЙ

Собственноручная записка московского купца Григорья Колчюгина¹ другу и благодетелю своему, жительствовавшему в городе Петербурге.

Вы требуете уведомления моего, какие причины могли удержать меня в Москве пред нашествием неприятеля и не

¹ Так в подлиннике.

выехать, когда тем многие воспользовались. А я, потеряв все, навлек на себя столь важные для честного человека, каковым вы почитаете меня, неприятности.

Соответствуя откровенности вашей, честь имею донести, что правила родителя моего, воспитание, им мне данное, равно как заслуги и доверенность начальства и полученные нами знаки отличия вам известны. Однако из сего же самого, как смеем мы предполагать, имели мы и многочисленных завистников, которые, воспользовавшись нашим несчастным положением, обнесли меня у самого Начальника, то есть графа Ростопчина, коего сердце отверсто к подозрениям, с трудом верит он доброму, а с жадностью хватается даже за видимость преступления.

Причины же, воспрепятствовавшие выезду нашему из Москвы, суть следующие. Первая — уверения начальства через печатные афиши, что неприятелю в Москве не бывать. Вторая — им же, начальством, пачпорты на выезд из Москвы, кроме как женам и детям, давать было запрещено. Третья — родитель мой был болен, которого в таком положении оставить сыновняя любовь и обязанности не позволяли. Четвертая же — у родителя моего имелось в комиссии казенного товара на пятьдесят тысяч рублей, а у меня, по должности гофмаклера, вверенные от разных лиц на знатные суммы документы и конторские книги, не говоря уж о собственном нашем именье. Отправлению же всего этого из Москвы заблаговременно помешало все то же заверение начальства, что врагу в городе не бывать. Когда опомнились — было уже поздно.

Начальство московское и полиция с первого на второе сентября в ночи все выбыло из города, оставя нас на произвол судьбы. Неприятель же вступил, а со вступлением его начались и бедствия наши, а его, неприятеля, варварство, чего вообще от просвещенной нации ожидать было невозможно. Вечером в Китай-городе начался пожар, а вслед за ним грабежи и насилия.

Первой остановились у нас квартирою трое французских унтер-офицеров, конных. Мы принуждены были, для спасения жизни нашей, просить их квартировать у нас и быть нашею защитой, на что они отвечали отказом, так как им был назначен поход. Приготовлен им стол, водка и вино, которыми они были довольны, вследствие чего другим прибывавшим к нам французам они объясняли, что дом сей занят для генерала, и те уходили восвояси.

После их остановился у нас один капитан и при нем

двое рядовых, который нами был также продовольствован, приходящих же к нам грабителей усердно выгонял. Но по случаю усилившегося рядом с нами пожара, от которого и наш дом в крайней был опасности и даже загорался, но был нами потушен, он от нас выехал. Потом вновь были поставлены к нам гвардейские рядовые.

Неподалеку от нас, как вы знаете, находится дом князей Трубецких, коих имение в Битце. Князья сии заблаговременно выехали, оставив, однако, в доме дворовых и все имущество. От них приходил к нам дворник, который просил наших французов, чтобы они и их защитили. Наши же постояльцы были навеселе и нас заверили, что за ласку нашу нас они хранить будут, прочих же соседей не станут, более того, отправились они к Трубецким, после чего их кладовая с людским имуществом оказалась разграблена.

А между тем французским начальством через печатные листы объявлено, что грабеж прекращается, а если кто из французов или русских будет в этом изобличен, таковому обещана смертная казнь.

Объявлено было также об учреждении временного городского правления или муниципалитета, коим заботиться о продовольствовании оставшегося населения и об наведении порядка. Интендантом был назначен француз Лессепс, приказано было также, чтобы русские избрали из себя в тот муниципалитет голову с четырьмя товарищами и другие чины. Выбор сей проходил мимо нас, следовательно, мы и были покойны.

Но в один несчастный день пришел в дом наш французский офицер с караулом и по имевшейся у него записке спросил меня и приказал идти со мною к интенданту Лессепсу.

Взятием этим родитель мой и семейство приведены были в чрезвычайный ужас, полагая, что, кроме смерти моей, ожидать от сего ничего не можно. Представили меня Лессепсу, который объявил, что, вследствие знания моего французского языка и пребывания некогда во Франции, я избран в муниципалитет и занял бы там свое место.

Выслушав приказание, я просил его об увольнении, представя ему, что имею престарелых родителей, жену и семерых детей малолетних и что дом наш частью выгорел и весь разграблен. Лессепс же ответил, что отменить сего не может, так как тут демократия, выбран я не им, а,

как он сказал, вашими же русскими и собственно для вас, русских. Я стал усиливаться просьбою, он же, осердясь, сказал: что, вы хотите, чтоб я донес об вас своему императору? Он прикажет вас расстрелять, как упрянца и в пример прочим.

Перевязали мне на левой руке ленточку в знак того, что я муниципал, голова же сказал, что по знанию моего французского и немецкого языков я могу быть верным переводчиком.

Мне как муниципалу был назначен надзор за богослужением в церквях и попечение за больными, сей только журнал мною и подписан. Исполнять же оное было невозможно, так как все церкви и больницы либо сгорели, либо были осквернены вконец.

За сим неокончившимся несчастьем последовало новое, еще более черное для чести моей и убийственное, о котором я по порядку рассказать должен.

Итак, возле моего дома находится дом князей Трубецких, которые из сельца Знаменское, оно же Битцы. Дом этот со всеми соседними выгорел, люди же Трубецкого, при доме оставленные, завалив ворота и подъезды, жили в прилегающих подвалах. Соединясь с французами, они производили грабежи. Придя к ним, я нашел у них собственное платье и другие пропавшие вещи, не менее как на 600 рублей. Поговоря с ними резким образом, я оное у них отобрал. После люди сии неизвестно откуда привезли две бочки вина и завели повальное пьянство. Сделалось в подвале том охотников до вина великое стечение.

Однажды прибыли к нам два французских чиновника и спросили, чей это дом — купецкой или княжеской. Узнав, что купецкой и что проживает в нем муниципал, заявили они, что покрадено имущество принца Невшательского и, по слухам, содержится в Трубецкого доме. Опасаясь, что буйство моих невольных соседей превратит их в опасную шайку, я заявил об них французским чиновникам. После чего была у меня с соседями сиими некая размолвка, однако это на них подействовало и заставило их пьянство и грабежи прекратить.

Вскоре начался выход французов из Москвы, а всем переводчикам велено было отбыть при конвое. Потому я по необходимости нашелся обвязать себе голову платком, намочив оный уксусом, лечь в постель и не жалеть теплой воды, дабы, сделав испарину, показаться больным. Лицо мое по бескровию вам известно, оно послужи-

ло удостоверением. Мы ожидали ежеминутно присылки, которою и не умедлили. Присланный от Лессепса нашел меня в таком состоянии, престарелые же родители мои, жена и семеро малолетних детей стояли округ на коленях, умоляя меня не трогать.

Октябрь шестого дня неприятель, собрав войска свои в Кремле, делал им шумный смотр, после чего французы начали покидать Москву. Каждый из русских трепетал о своей участи, о могущих произойти при выходе неприятеля неистовствах. Однако от сего бог спас, а вот когда вошли в город казаки и стали обыскивать двory в поисках французов, а за ними кинулись из ближних к Москве селений крестьяне и принялись хватать то, что оставалось в лавках Гостиного двора и увозить с собою на фурах, то мы вновь были в опасности чрезвычайной.

Происшествие сие, по всей справедливости, тем и должно было кончиться, но некоторые из людей, как выше было сказано, имея на нас злобу и притом будучи сами в поведении своем виновны, донесли на нас приехавшему князю. Князь сей Трубецкой по уму и характеру своему вам известен. Краденное его бездельниками имущество свезли они в его имение Знаменское, что в Битцах. Оставя сих проходимцев без наказания, он принялся всюду чернить и порочить честное имя мое. Тут уж описать, что я пережил, государь мой и благодетель, я не в силах. Был я арестован, яко изменник, дом мой подвергнулся повальному обыску, а как тут выяснилось, что старший сын мой пал за отечество на поле брани, то и этого никто не желал во внимание принять.

Токмо всемилостивейшего государя императора высочайший манифест, которым все во время нашествия неприятелей подпавшие преступлениям прощены, благодарение богу, дал нам новую жизнь. Указано было поимянно всех виновных простить, а не признанных виновными от суда и следствия освободить, в том числе и меня.

Все уцелевшее имущество мое и должность гофмаклера по учетной конторе, которые до сего нашествия двенадцати языков я занимал, все было мне возвращено. И жизнь вернулась бы счастливая и по-прежнему неспешная, если б не печаль по сыне моем старшем...

Глава третья

ГРЯДУЩИЕ ГОДЫ ТАЯТСЯ ВО МГЛЕ

1

Ну, здравствуйте, здравствуйте, милый мой Смирдин! Подойдите-ка поближе, я вас рассмотрю хорошенечко!

Княжна Аннета из глубокого бабушкина кресла протянула к нему руки, шаль сползла с ее плеч, и верная Малаша, несколько расплывшая и совсем уж сорокалетняя, кинулась ее поправлять.

— Дайте-ка, дайте-ка я на вас взгляну...— Княжна, по своей всегдашней привычке, не давала слова молвить собеседнику, пока не выговорится сама.— Кто из наших бывал в Москве— Обрезков, Глинка,— все говорят, что вы там сделались важным и совсем похожим на петербуржца или даже на парижанина, но ничуть не на обитателя Никольских тупичков!

В ее узенькой девичьей комнате с голубыми в золотую пчелку обоями было сумрачно, несмотря на то, что на улице сиял солнечный сентябрьский день. Таково уж свойство петербургских квартир— стены толстые, зато окна маленькие. А здания вокруг стоят плотным строем, да на Мойке столетние липы разрослись до такой степени, что лучик солнца еле проникает сквозь их могучие кроны.

— А я, вот видите,— продолжала Аннета, поведя головкою направо-налево,— я как паук в своей норе... И ручки стали тоненькие, как у паука, вы не находите?

Смирдин присел было на краешек стула и, как лицо, наносившее визит, держал свой действительно щегольской полуцилиндр на коленях. Он вскочил, чтобы воскликнуть «Ах, что вы-с!»), но княжна его остановила:

— Нет, нет, не говорите мне слов утешения. Я сама себе цену понимаю, как выражается ваша братия— торгаши. Папенька мой, как вам известно, скончался уж давно, от ран, полученных в битве народов при Лейпциге. А о прошлом годе покинула меня и бабушка, мой ангел-хранитель, мое тихое утешение, да вы же ее знали...

Смирдину припомнилось, как княгиня бабушка не захотела продавать им родовую библиотеку Скарятинских только потому, что они не из благородных. Как отослала

его на кухню, когда он, еле живой, добрел сюда, в Петербург. Но подумал, что такие мысли недостойны христианина, и в душе перекрестился.

— А тут еще эта глухая чахотка привязалась,— протянула Аннета, словно маленькая девочка, которой захотелось просто покапризничать.— Дядюшка Плавильщиков выписал доктора-немца, тот все твердит ехать в теплые края, куда-нибудь в Биарриц, в Савойю. Но как же дядюшка оставит свою типографию, свою торговлю? Мы надеемся, что вы возьмете все в свои доверенные руки, и тогда мы поедем.

Она закашлялась. Малаша, выйдя из-за ширмы, принялась раскупоривать какую-то склянку, запахло лекарством. Смирдин встал, откланялся и пошел в апартаменты своего будущего патрона.

Лавка и квартира Плавильщиковых помещались на набережной Мойки у самого въезда на широченный Синий мост. Отсюда в одну сторону был виден Медный всадник, а на месте будущего Исаакиевского собора строительные ямы и дреколья. В другую же сторону сбегал прямой как стрела Вознесенский проспект, чтобы пронзить предместья Петербурга — Коломну, Измайловский полк — и, промчавшись над Нарвскими триумфальными воротами, превратиться в Петергофское шоссе.

Калужский купец Алексей Плавильщиков появился в столице на исходе мрачного бироновского безвременья. Появился как раз в счастливый год, когда веселая Елисавет, дочь Петрова, при помощи храбрых лейб-кампанцев заняла отцовский престол, пробудив всеобщие надежды и чаяния.

Полон надежд, взялся за дело и смысленный Плавильщиков. Доходы, правда, имел приличные, построил галунную фабричку, но не гнушался и питейными откупам. Приобрел себе в аристократическом месте — у самой Мойки — выморочный особнячок и перестроил по своему вкусу. Соседи ему попались высокородные — Рылеев (генерал-губернатор Петербурга), Головнин (президент Адмиралтейства), Обрезков (сенатор). Но самому попасть во дворянство не удалось. Только самый младший сынок его пошел в чиновничество по Опекунскому совету и получил желанного герба на карету, правда, уже после кончины батюшки. Да младшую дочь свою — красавицу, любимицу — купец Плавильщиков с огромным по тем временам приданым выдал за мота, картежника князя Скарят

тинского, состоявшего к тому же и под подозрением как тайный масон и вольтерьянец.

Последствия не замедлили объявиться. Вольтерьянец промотал приданое, любимица дочь зачахла, не то от петербургского сырого климата, не то от ревности к блестящему мужу, скакавшему по салонам красавиц полусвета.

Да и старшие сыновья Плавильщикова, по понятиям батюшки, занялись делом совершенно пустячным — они пошли в актеры. Старший, Петр, играл царей до того грандиозно, что осторожные друзья предупреждали: «Ты, брат, на сцене-то не умничай, не дай бог государь посетит твой театр...» Но курносому государю было не до театров, он делил досуг между плац-парадами и улаживанием склок между своими фрейлинами. А Петр Плавильщиков, проявив усердие, сделался «поставщиком пьес» на императорской сцене, а вместе с этим приобрел и вожделенный орден и права на потомственное дворянство.

С братцем Василием было посложнее. На репетиции он повредил себе ножку, и от сцены пришлось отказаться. Впрочем, братец Василий принялся служить возлюбленной Мельпомене другим способом: купил прогоравшую типографию, брошенную на произвол судьбы прежними арендаторами — Иваном Крыловым со товарищи, которые попросту разбежались из столицы, боясь расправы за прежнее свое вольнодумство. Завел младший Плавильщиков себе книжную лавку, издал множество книг по театральному делу. Старший брат при помощи вдовствующей императрицы исхлопотал и ему орден, дающий право на дворянство...

Но потомства-то не было у сыновей купца Плавильщикова! И послал им только бог племянницу-сироту, княжну Скарятинскую, которая, как выразится позже по иному случаю поэт, всевышней волею Зевеса сделалась наследницей всех своих родных.

А дом на углу Мойки был поставлен старым Плавильщиковым в три этажа, фундаментально («о трех покоях», как тогда принято было говорить). В полуподвале помещалась лавка, в заднем флигельке — типография, в бельэтаже — апартаменты самого хозяина, Василья Алексеевича, в уютных же комнатках третьего этажа — половина княжны и помещения для прислуги. Правда, дом оседал, горбился, словно от прожитых лет. Недаром на месте всей этой роскошной Северной Пальмиры было когда-то самое сугубое болото. Насыпали на него приво-

зную землю, уморили не одну тысячу лошадей и не одну сотню тягловых мужичков. А и под ту насыпную землю подрывалась непрестанно финская речка Мья, именуемая теперь Мойкой, и другие многочисленные ручьи и каналы.

Там, где архитектурного благолепия ради дом выходил закруглением, в бельэтаже это была полукруглая зальца, по моде тех времен, и с колоннами под ампир. Меж высокими окнами были шкафы красного дерева, под стеклом мерцали позолотой книжные корешки. Посередине же зальцы круглый стол мореного дуба был накрыт зеленой суконной скатертью и всегда готов к услугам: в ящичках там были нераспечатанные колоды карт, мелки и губки для записывания и стирания картежных премудростей.

Когда Смирдин вошел в зальцу вслед за слугой, доложившим негромко: «Мосье Смирдин...» — за зеленым столом, кроме самого хозяина, являвшего собой образец типично русского барина, с лицом всегда добрым и утомленным от бремени быстротекущей жизни, восседали гости, углубившиеся каждый в свои раскрытые веером карты. Сегодня это был вечно сырой, как недопеченный кулич, статский советник и кавалер Иван Андреевич Крылов — тот самый, которого мы знаем как великого баснописца, в настоящий же момент мы знаем как великого баснописца, в настоящий же момент сердито и сосредоточенно сопевший над картами. Полковник (уже полковник!) лейб-гвардии польских улан Зралко-Забокжецкий, с лицом, красным от беспрестанных походов и сражений, похихатывая и распушая начинающие сесть усы, перебирал свои карты, выскивая козыри. Тут же был и местный батюшка, отец Варфоломей, без которого не обходился ни один ломберный стол в приходе. Еще один персонаж сам не играл, а наблюдал за игрою, примостившись рядом в креслице и одновременно заглядывая в свежий номер «Русского инвалида». Как впоследствии узнал Смирдин, звали его Иван Порфирьевич. Плавильщиков говаривал про него не иначе как «мой душеприказчик», и по шучьей его физиономии можно было понять, что душеприказничество сделалось его профессией.

— А вот и долгожданный Смирдин! — воскликнул Плавильщиков, завидя его.

Полковник Зралко-Забокжецкий поднял руку и повертел в знак приветствия ладонью, сам же поскорее вернулся к картам. Прочие понтеры только важно наклонили головы.

— Читали вы, господа? — Иван Порфирьевич зашелестел листом газеты. — В Испании некий полковник Риго поднял мятеж и хочет провозгласить республику.

— Хо-хо! — сказал Зралко-Забокжецкий. — Ваш пресловутый «Русский инвалид» вечно запаздывает с новостями. В Париже об этом писали три месяца тому назад. Теперь уж Риго упразднил престол, не иначе.

— Православные! — застенал батюшка, которому страсть как не нравились политические разговоры. — У меня дама бубей берет червонную девятку, а у вас?

— У меня, — заворчал толстый Крылов, — карта анафемская! Фортуна повернулась ко мне задом. Что касается Европы — уф-уф — везде мятежи, беспокойства: Греция восстала, в Неаполе угольщики эти, как их — карбонарии!

— Недаром даже на гостиных дворах простолудье только и толкует что о политике, — резюмировал Плавильщиков. — А знаете, какая теперь самая прибыльная статья дохода? Открывать общедоступные библиотеки...

— Вот вы и открывайте их со своим Смирдиным! — захохотал Зралко-Забокжецкий. — А у меня выпали все четыре туза, и я вас всех, голубчики мои, беру на абордаж.

Все обратились к зеленому сукну, как будто там решалась судьба европейских монархий, хотя у Плавильщикова играли по-малому — копейка с кона. В других петербургских гостиных на кон ставились целые состояния! Декабрист барон Розен впоследствии считал себе особенной заслугой жизни то, что однажды нашел силы перестать играть раз и навсегда.

— Приходите завтра! — пригласил Плавильщиков Смирдина, не в силах оторваться от великого дела понтирования. — Завтра, Александр Филиппович, завтра!

Тут Смирдин заметил, что душеприказчик Иван Порфирьевич из-за газеты внимательно разглядывает его рыбьими глазами, и подумал, что это неспроста. В соседней комнате слуги звенели посудой, накрывая ужин, но, поскольку Смирдину ни слова не было сказано об ужине, он вышел, и его не удержали.

На улице было уже совсем темно. Свежий ветер с моря раскачивал масляные фонари на Вознесенском проспекте. Тени метались, будто исполняли пляску под шум листвы. То и дело срывались и планировали целые стаи пожелтевших листьев.

Смирдин встал на ту самую ступеньку, к которой он

пришел в памятную осень 1812 года, вспомнил все и усмехнулся. Нахлобучил новенький полуцилиндр, который он купил на Невском, не без того, чтобы содрогнуться от непривычной для его кошелька цены. Но что же — начинать так начинать! Морской ветер нес брызги дальних странствий, громадный и таинственный Петербург лежал за Синим мостом, как спящая красавица из волшебных сказок.

И Смирдин усмехнулся: «Завтра — значит, завтра!»

2

Приказчики лавки Плавильщикова напряженно следили за Смирдиным, когда он, слегка пришаркивая, но твердым шагом пересекал лавку, входя в нее, чтобы подняться в свою конторку. Звякал звонок, как при входе каждого покупателя, в клетках пели канарейки, на окнах цвели олеандры — так заведено было в любой приличной петербургской лавке.

И Смирдин пересекал лавку, а приказчики опускали свои испытующие взоры. Ведь, как знать, под кем еще служить доведется? Может оказаться такой прохиндей, господь упаси!

А вот спина старшего приказчика Федора Фроловича Цветаева, согбенная над какой-то мудреной записью в каталоге. Заслышав шаги управляющего, Федор Фролович исправно разгибается, чтобы затем сделать поклон. А Смирдин каждый раз думает — какие мысли таятся за этим очкастым, нахмуренным лбом? Ведь по выслуге лет Цветаеву бы занимать место управляющего. Да и опыта ему не набираться, да и прославиться успел меж покупателей тем, что наизусть помнил титулы всех книг, изданных в России со времен Ломоносова!

Но так или иначе — надо было управлять.

Смирдин вызвал Цветаева:

— Скажите, Федор Фролович, «Гистория всемирная» аббата Ролленя по какой цене идет в Петербурге?

Цветаев снял очки и принялся близоруко рассматривать книгу, которую подал ему Смирдин из стопки образцов.

— Это старое издание... По два рубли-с, по шестьдесят копеек экземпляр. Учащимся делаем скидку, но не более двадцати пяти копеек-с. Более не можем.

— Как и в Москве, — согласно кивнул Смирдин. — Но

тогда объясните мне, старший приказчик, почему у нас (он сделал ударение на «у нас») Васька Удальцов отчитывается за Ролленей как по два рубля пятьдесят?

Цветаев протирал стекло очков о суконный рукав своего сюртука. Подышав, снова принимался его протирать.

— Обманывать хозяина нехорошо-с,— резюмировал Смирдин.— Пора наводить порядок.

— Вот вы и наводите, коль сочтете необходимым,— ответил вдруг Цветаев. Надел очки и вышел, споткнулся на первой ступенечке.

«Так,— подумал Смирдин.— Этот человек понимает себе цену».

Однако в тот же вечер приказчик Василий Удальцов явился к хозяину с прошением о расчете и был уволен.

Плавильщиков раскинулся в полукреслах, различные образцы книг и гранки рукописей валялись вокруг него, как рыцарские романы вокруг Дон-Кихота.

— Вчера Ваську выгнали и тем остальных приструнили, это хорошо,— говорил он Смирдину, почтительно стоявшему напротив.— Однако дело-то не в том. Дорогой Александр Филиппович, мы разорены, и я еще не совсем понимаю — почему. В Закладной банк, где я держу мои капиталы, поступает от нас меньше, чем расходуетя... Да вы бухгалтерию, счетное дело, надеюсь, изучали?

— Эти дела нам известны-с,— отвечал Смирдин.— Мы займемся и оными. Однако не худо бы теперь оживить дело каким-нибудь новым изданием — мадам Жанлис, например, или того же Ваньки-Каина... Или, как все от вас ожидают, открыть библиотеку. Вон у нас сколько книг в квартире, пусть и от них будет какой-нибудь доход!

— Жанлисов и Каинов от меня не ждите,— резко сказал Плавильщиков.— И вас, Смирдин, от этого зарекаю.— Он с трудом откашлялся, держась за печень.— Но библиотеку откроем, откроем! И княжна Аннета постоянно твердит об этом... Только вот расклеился что-то я, лекаря снадобьями задушили. Так что, милый Смирдин, и это все ляжет на ваши твердые плечи!

— Тогда, уважаемый патрон,— в тон ему сказал Смирдин, доставая реестр получающих жалованье из кассы книжной лавки,— зачем вы держите конюха и двух кучеров, если лошадей у вас только на один выезд? А у княжны? Комнатных дев, сиречь горничных,— две, куафюрша — одна, лакей, буфетчик, швейцара — два и так

далее. Ну, были бы они крепостные, как Малаша. А так? Поместий у Скарятинских нет...

Плавильщиков принял у него реестр, близоруко стал в него всматриваться.

— Кучеров мы сократим,— примирительно сказал он.— А прочие— люди княжны, она к ним привыкла. Так что давайте, мой Смирдин, искать экономии в другом месте...

Завален книгами гостиный двор торжок!
Выходишь, например, на рынок за свечами—
Тут просвещение в корзинах за плечами.
Шаг дале — лавок ряд, там полки в семь аршин,
Тут выставлены все по росту книги в чин.
В кафтанах разных мод или в тюках огромных
Иные— как лежат в углах себе укромных.
Иду— глушит меня книгопродавцев шум;
Все в такт кричат— сюда! Здесь подешевле ум!
Всяк Митридат из них, на память все читают,
Книг роспись предо мной уступку обещают,
Лишь только как-нибудь меня к себе привлечь...

Смирдин проталкивался сквозь тесноту Гостиного двора, вспоминая это стихотворение, когда-то читанное в старом журнале. И вправду, какой-то торгош в облезлом треухе схватил его за хлястик и прокричал:

— А вот всего за рупь за двадцать с картинками— занятные похождения маркиза Глаголя, сплошная любовь! Купите, ваше степенство!

Еле отбоярившись от занятных пождений маркиза Глаголя, Смирдин наконец выбрался из толпы и оказался в типографии господ Адольфа Плюшара с сыном.

— Извольте мне показать имеющиеся векселя Плавильщикова,— сказал он фактору и предъявил доверенность.

Так и есть. На одном из векселей за бумагу верже алансонскую, десять пудов, подпись Плавильщикова размыта, обычный хвостик не загнут вниз. Смирдин достал специально заготовленный образец подписи хозяина. Показал несходство подписи фактору, тот достал лупу на длинной ручке, принялся изучать.

Вдруг фактор отложил лупу, выпрямился и стал кланяться куда-то мимо Смирдина. Тот обернулся. В контору входил сам Адольф Плюшар, в пальто из сурочьего меха и в пуховом картузе, а с ним целая толпа коммерческого народа с выражениями благоприятства на розовых немецких лицах.

— Ви от господин Плафильтшикоф? — спросил Плюшар, ужасно коверкая слова. Хоть и родился он в России, а отец его был швейцарский француз, он так и не научился сносно выражаться по-русски. — Просим срочно уплатить по факсельн. Долг платешом красен, — добавил он и засмеялся. — То есть дас унгемут ист кауфгемюлле рот!

Немцы поморщились от его перевода, а Смирдин вспомнил остроуту книгопродавца Ивана Слёнина, что Плюшар на всех языках говорит одинаково плохо.

По окончании дел в типографии Плюшара Смирдин почувствовал, что кто-то берет его под локоть.

— А вы уже забыли своих петербургских знакомцев, которым вы в Москве служили однажды чичероне? — улыбался всюду один из розоволицых коммерсантов. — Тогда позвольте представиться вновь — Георг-Франц-Зебаустус фон Нагель, контора по закладам и выкупам. Мы здесь следили за вашими служебными успехами. А вы уже забыли нашу Эмили, Милочку, мою дочь? Она ведь теперь совсем большая!

И Смирдин вдобавок ко всем своим заботам получил приглашение на журфикс к господам фон Нагелям. Каждую вторую пятницу, милости просим.

Он посетил в следующую же пятницу фон Нагелей. И не столько ради журфикса, сколько чтобы кое-что узнать у хозяина (он оказался посредником при продаже бумаги верже алансонской Плавильщикова). Усмехнувшись при его вопросе, фон Нагель достал и другой вексель с такой же размытой подписью и сообщил имя-отчество доверенного — некий Иван Порфирьевич, который везде похваляется, что он у Плавильщикова душеприказчик.

И тут Смирдина хватил некоторый удар чувств. Перед ним приседало, приглашая к чайному столу, существо совершенно кружевное и голубоглазое, с белизною обнаженных рук и плеч, словно у небесного ангела. И они некоторое время смотрели друг другу в глаза, и Смирдин не в силах был вымолвить слова. А кругом важные немцы лопотали:

— О, я, я! Вся Германия полна патриотических обществ! Священный союз императоров и королей — это, конечно, абсолют, я, я! Но студенты... Но вольные города... Но тайные ферейны, господа, ферейны!

— О, я, я! Но вы знаете, майн герр, нечто подобное начинается и здесь, в России. Союз благоденствия...

— Ш-ш-ш! Господа! О чем вы вздумали говорить? Парлон мье де фам! Поговорим лучше о женщинах!

...— Не может быть!— воскликнул Плавильщиков, когда Смирдин доложил ему о своих разысканиях.— Иван Порфирьевич? Не может этого быть! И княжна ему доверяет!

Смирдин сообщил, что все плавильщиковские издания пересмотрел за последние годы. Нет нигде бумаги верже алансонского сорта.

Иван Порфирьевич вошел в гостиную мягкими шагами, как кот, идущий на ловлю мышей. Каждого одарил особым взглядом: Плавильщикова — преданным, открытым до конца, княжну Аннету — восторженно-восхищенным, Смирдина — откровенно ненавидящим, так бы, мол, тебя и зацарапал.

Но зацарапать не удалось. Смирдин предъявил нагелевский вексель, взятый у того на день под расписку. Иван Порфирьевич сделал быстрое движение, чтобы вексель тот взять, но Смирдин спрятал бумагу за спину:

— У прокурорского чиновника будете рассматривать-с.

— Да как ты смеешь!— завопил Иван Порфирьевич.— Я столбовой дворянин, а ты кто, торгаш несчастный?

Плавильщиков сидел, закрыв лицо руками, Аннета, склонив головку, как ромашка на тонком стебельке, молча накручивала локон. Прислуга, испуганная громкими криками душеприказчика, выглядывала из-за портьер.

Аннета попросила у Смирдина злополучный вексель, через лорнет осмотрела спереди, сзади. Затем вдруг порвала его на четыре части.

— А вы напишите фон Нагелю взамен новый,— сказала она дядюшке, с изумлением отнявшему от лица руки.— Таково мое желание, так я хочу!— возвысила она голос.— А вы, сударь,— обратилась она к Ивану Порфирьевичу,— вы идите и поставьте свечку заступнице пречистой. И чтоб более ноги вашей...

Спустя тридцать лет Смирдин будет на театре смотреть «Свадьбу Кречинского», созданную воображением Сухова-Кобылина, его же, Смирдина, тогдашнего автора и кредитора. И там героиня Лидочка отпустит подобный же долг Кречинскому— о, непостижимая душа русской женщины! И Кречинский на сцене воскликнет, ломая бильярдный кий: «Вот это женщина!»

Читатель, одаряя вниманием мои страницы, может, однако, недоуменно воскликнуть — да что же он из своего героя, из Смирдина, что же он делает? Ведь он у него получается святой какой-нибудь или просто сухарь! Никаких вам соблазнов, ни житейских треволнений.

А вот и не сухарь, и плоть его была создана из такого же грешного мяса и вибрирующих нервов, как у каждого из нас.

То лето в Петербурге выдалось на редкость душным и сырым. Внезапно налетавшие грозы сменялись несусветной жарой. Публика устремилась в имения и на дачи. Не то что торговля — писучая деятельность департаментов и та замерла.

Плавильщиковы выехали под Красное Село, там в лагерях стояла гвардия, следовательно, все завсегдатаи княжны Аннеты находились поблизости. Смирдину же хозяин приказал: взять с утра извозчика, забрать на Петербургской стороне в казенной типографии готовый тираж альманаха «Полярная звезда» и также ехать в Красное Село.

Смирдин на извозчике ухитрился заехать и за тортами к кондитеру Беранже, потом устремился к переезду через Неву.

— Глянь, ваше степенство, — сказал ему извозчик, придержав своего каурого, и показал кнутовищем на Марсово поле. — Марь какая стоит! Везде болото, на хлябях Питер строен, оттого марь, и люди мрут от чахотки-с.

И верно, над Марсовым полем в сиянии встающего раскаленного солнца клубилась лиловая мгла. Даже павловские казармы на другой стороне необозримого поля, называемого иначе «Царицын луг», были еле видны.

— Давай погоняй, любезный! — поторопил Смирдин, вытирая лоб фуражкой. — Дел нынче невпроворот.

От этой мари ему самому всю ночь не спалось. В камерке под крышею плавильщиковского дома, которую он занимал, он всю ночь промаялся. Всю ночь наблюдал черепичные крыши и флюгера петербургских домов — устал как каторжник, а сна ни в глазу.

Вчера днем позвала его Палаша: «Барышня требуют».

Сама же, надев чепчик, взяла корзиночку и отправилась на рынок за клубникой.

Смирдин, войдя, почтительно остановился возле ширмы, ожидая указаний. Но никаких указаний не было. Подняв обнаженные худые и бледные руки (Смирдину тотчас вспомнились округлые локти ангельской немочки фон Нагель), она помахивала ими над собой, колебались и ее завитые локоны в прическе.

— «Полярная звезда» напечатана? — после некоторого молчания произнесла княжна.

— Никак нет-с, — отвечал Смирдин в полупоклоне, которого она все равно не могла видеть, потому что он стоял за ее спиной. — Но фактор типографии обнадежил завтра выдать часть тиража, уже фальцуют.

— Я обещала Рылееву, он будет у нас на даче.

Опять длилось молчание. Худые, поднятые в воздух руки Аннеты все колебались, как крылья недоросшего лебедя в известной сказке. Смирдин, опиравшийся на ширму, понял вдруг, что ширмочка эта подрагивает под его тяжестью, и выпрямился. Жара и неловкость его душили.

— А почему вы до сих пор не женаты, Смирдин? — внезапно спросила она.

Тут уж Смирдин совсем онемел. Действительно, как ответить на этот вопрос? В жаре и духоте комнаты холодный пот залил его до самых пяток.

— Я глупости говорю, — резюмировала княжна. — Идите, Смирдин, вы мне не нужны.

В доме Плавильщиковых появился новый приказчик. Это был Ларька, или Ларивон Апарин, его привел сам хозяин с Невского проспекта (обычно правом нанимать приказчиков обладают управляющие), заявив, что это деверь знаменитого Апарина, который в лавке Глазуновых всем заправляет.

Деверь знаменитого Апарина имел наглые светлые глаза и развинченные гостинодворские манеры. Приказчика-книжника легко отличить, даже на первый взгляд, от любого торговца-некнижника. У книжника слегка заумный вид червяка, который знай грызет свои фолианты, ни на кого не обращая внимания. А некнижник всегда, даже незаметно для себя, подражает независимой походочке полового из модных трактиров.

Как-то Смирдин, прохваченный насморком, выходя в книжную лавку, громко чихнул.



— Салфет вашей милости! — пожелал Ларька Апарин, дерзко глядя ледяными глазами.

Но Смирдин был стреляный воробей, эти приказчиьи шуточки стали ему известны еще со времен Кузнецкого моста.

— Красота вашей чести! — немедленно ответил он, приведя в восторг всех продающих и покупающих.

Даже вечно угрюмый Цветаев поднял очки на лоб и изволил улыбнуться.

Ларька же с того дня почему-то почел себя интимным другом управляющего. И вот, когда в тот жаркий день Смирдин в растрепанных чувствах спускался от княжны, рассуждая про себя, а что бы он мог ей ответить (а ответить ей он мог бы элементарно — а почему, мол, и вы, ваше сиятельство, за своего Обрезкова до сих пор не выходите-с?), ему повстречался Ларька и шепотом спросил:

— Ну, как там барышня? Небось мастерица! Да и то сказать, женишок-то у них губастый, а по всему видимо — не хват... — И бегом скрылся между штабелями, очевидно ожидая, что получит от управляющего по шее.

Аннета же более и не замечала Смирдина. Уже когда садилась в экипаж, чтобы переселяться на дачу, напонила о «Полярной звезде», притом даже лица к нему не повернула.

И теперь бессонной этой ночью разные картины и предположения мучили бедного Смирдина. Шумел тополь под окном его мансарды, запуская пух. Вспоминался давний Межеумок, дом княжны в Черкасском переулке, совместные их рассматривания литографических альбомов, французские экзерсисы. А двенадцатый год! А бегство в лопушиное царство, а путь до самого Ростюкина!.. Нет, но почему же она обручилась с Обрезковым, а замуж за него не пошла? Конечно, она рюрикловна, а он, Смирдин, безродный торгош, и ни о чем таком думать — сердце замирает! Но все мы люди, все мы люди...

И Саша Смирдин (читатель мне, конечно, не поверит, ну да бог же с ним, с этим читателем!) сочинил стихотворение:

Когда рука твоя коснулась
Моих в тебя влюбленных плеч,
Во мне любовь тогда проснулась
И прекратилась моя речь.

Смирдин перечитал это внезапно возникшее на листке бумаги произведение и почувствовал, что оно гениально.

Палящее солнце вставало над топодем и над остроконечными крышами, начиная новый жаркий день, а Смирдин слова «твоя» и «тебя» переправил, чтобы они были с большой буквы. Потом решил с заглавной буквы переправить и само слово «любовь». Смущала несколько строчка «И прекратилась моя речь», но другой придумать он не мог. Да и вправду, ведь Смирдин славился своей неразговорчивостью, а тут с княжной совсем онемел.

Красиво, с писарскими завитушками переписал стихи на бумаге верже алансонской и запечатал в розовый конверт, в котором фирма Плавильщикова отправляла ответы исключительно знатым дамам. Запечатал, чтобы сегодня же в Красном Селе передать.

С тем он и поехал на извозчике за тортами, за тиражом альманаха, потом вернулся в лавку, захватил с собой приказчика Ларьку Апарина, чтоб помог на даче альманах разгрузить. И выехал на Ропшинское шоссе.

Но чем ближе они подъезжали к Красному Селу, тем меньшей делалась храбрость Смирдина. Ларька с извозчика обменивался воздушными поцелуями с какими-то местными жительницами или встречал бравыми возгласами то и дело проносящиеся на рысях эскадроны гусар или лейб-кирасир. А Смирдин в унынии думал — да кто же он, собственно, такой, чтобы княжне спроворить любовное послание? Да его тут же погонят взашей из столь пришедшегося ему по сердцу плавильщикова дома, и будут правы. И будут правы!

Поэтому уже на повороте к дачным строениям он соскочил с пролетки, наказав Ларьке: «Все довезешь и разгрузишь. А про меня скажи — пошел он, мол, до дачи пешком, голова что-то разболелась».

Пошел через лес и наткнулся на озеро среди зарослей ивняка, разлегался там в тенечке и вскрыл свой дамский конверт. Перечитав стихотворение, ужаснулся его глупости и дерзости. Даже в глазах потемнело! Вдали что-то непрерывно погромыхивало, не то приближалась очередная гроза, не то пушки стреляли на далеком полигоне.

4

И тут в высокой траве послышался шорох чьих-то шагов, затем словно бы шлепок по траве и ужасно знакомый голос с картавлием и пришепетываньем:

— Ну фто это такое? Фтолой лаз промаху дал!

Раздвинув кусты, к лесному озерцу вышел Евгений Петрович Обрезков, в статском костюме (он ведь теперь служил в гвардии), в соломенной дачной шляпе и с сачком в руке. Завидев лежащего у воды Смирдина, он будто и не удивился, уселся рядом. Смирдин еле успел злополучные стихи спрятать за пазухой.

Обрезков, не дожидаясь вопросов, пояснил, что полковое начальство позволило ему слушать лекции на философском факультете по естественным наукам. Теперь он упражняется в составлении коллекции бабочек.

— Вот это фто?— демонстрировал он Смирдину коробочку с энтомологическими трофеями.— Это амариллис вульгата, короче говоря, наша обыкновенная капустаница. А вот эта, с траурными крылышками и пурпурными пятнами, регина ноктис — царица ночи, любимая бабочка княжны Аннеты.

— У княжны навязчивая мысль,— добавил Обрезков.— Говорит, что жизнь ее окончится как-нибудь трагично.

Смирдин вспомнил, как в 1812 году княжна явилась на Никольский крестец с пистолетом за поясом и что из этого получилось. А Обрезков пустился объяснять, почему она хоть и обручилась с ним, но замуж не пошла. Смирдин и не требовал объяснений, да и какие объяснения обязан был давать ему богатый и знатный барин! Но из туманных рассуждений Обрезкова он понял, что у него, то есть у Обрезкова, есть какое-то «дело», которому он должен посвятить всю свою жизнь. Аннета это знает и не хочет стать ему, Евгению, обузой.

— Я теперь в стрельбе упражняюсь,— продолжал рассказывать Обрезков и показал в своей дорожной сумке пистолет.— Могу с двадцати шагов в туза угодить. Это как раз для моего будущего «дела»,— пояснил он.

«Уж не собираются ли они шайку разбойников основать?» — усмехнулся про себя Смирдин. Впрочем, в те времена многие молодые дворяне упражнялись в стрельбе. Кодекс чести, дуэльные правила были непреложны.

— А насчет бабочек придется отложить теперь на несколько лет,— с огорчением сообщил Обрезков.— В Петербургском университете новый попечитель, сенатор Рунич, такой ретроград! Профессоров свободомыслящих повыгонял — Куницына, Галича, Покровского, вы слышали? Теперь собирается закрыть прием вольнослушате-

лей, тогда таким, как я, и мечтать о науке не придется, до самой до отставки.

Он вдруг засмеялся и прибавил по-французски: «У жүска ля революсьон».

Смирдин прекрасно понял: или до революции. Гром громыхнул совсем уж где-то близко, и стало ясно, что надо бежать в укрытие.

...Дача, которую снимали Плавильщиковы, помещалась в деревянном усадебном доме. Здесь имелось все для беспечальной жизни помещиков средней руки. Прочитайте Загоскина, Пушкина, Вельтмана — всю эту жизнь вы узнаете до подробности. Обязательно должна была быть хотя бы и небольших размеров, но двусветная зала с деревянными колоннами тосканского или ионического ордера под мрамор. И зала такая имела, и именно в ней собрался дачный журфикс княжны Скарятинской. От вечных в этом деле соперников Олениных (и живших-то неподалеку — у Синего моста!) дачный журфикс княжны Аннеты здесь отличался в выгодную сторону тем, что дача располагалась близ гвардейских лагерей. Белые кавалергардские, малиновые гусарские, салатовые уланские мундиры заполнили залу, а статских черных фраков, в отличие от оленинского общества, было немного.

Все гости держали в руках по свежему экземпляру «Полярной звезды», отпечатанной иждивением Плавильщикова. Издатели Кондратий Рылеев и Александр Бестужев впервые представляли этот выпуск обществу.

— Всюду муштра и муштра! — возбужденно говорил Глинка с раскрытым альманахом в руках. — Представьте, это русских-то солдат, победителей Наполеона, заставляют носки равнять, словно они гусаки какие...

— Да еще и не дыши, — добавил Обрезков, успевший разложить на столе своих бабочек для всеобщего обозрения. — А то ведь дышишь — строй ломается!

— Что же поделать? — экспансивный Рылеев выделялся статским фраком среди разноцветных мундиров гостей. — Что поделать, если сам генерал-фельдмаршал российской армии припадает к земле, чтобы проверить, насколько выравнены носки в строю гренадеров? Вы можете спросить, почему я покинул воинский строй? Отвечу — потому что слишком много стало у нас офицеров, у которых начисто убито стремление к образованию...

— А что сделали с Семеновским полком? — в тон ему

проговорил Глинка, размахивая раскрытой книжкой альманаха.

— Господа, господа! — Княжна Аннета постаралась утихомирить волнение. — Давайте-ка я вам лучше сыграю. Здесь есть прекрасное фортепиано.

Она ударила по клавишам, и явилась мелодия красивая и скорбная. Мощные аккорды и пассажи на языке музыки говорили о жажде подвигов, свободы, чести. Если бы среди присутствующих кто-нибудь знал по-испански, они бы, возможно, вспомнили и о гордых словах этой песни: «Сольдадос, ля патриа нос ллама а ля лид, хуремос пор элла венсе о морир!» — «Солдаты, родина нас призывает к свободе, клянемся погибнуть или умереть!»

— Что это, откуда это? — посыпались вопросы, когда княжна опустила руки.

— Это гимн Риего, — тихо ответила княжна. — Моя подруга Оленька, она с мужем в Париже, прислала мне список нот...

— Генерал Рафаэль де Риего-и-Нуньес, — сумрачно сказал Александр Бестужев, — расстрелян в Мадриде, в казармах Ля Бранка. Национальное собрание разогнано.

Некоторое время все молчали, переживая красоту музыки и печаль от услышанного сообщения. Вдруг раздался голос, звучный и твердый, это Глинка взялся читать из альманаха стихи Рылеева, который стоял рядом, скрестив руки:

Известно мне: гибель ждет
Того, кто первый восстает
На угнетателей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной, —
Я это чувствую и знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!

— Господа, за такие стихи нельзя не поднять тост, — сказала Аннета.

Через несколько минут шампанское было принесено, пробки полетели в потолок. Лакей, которому помогал Ларька Апарин, принялся обносить бокалами господ офицеров.

Ларька с поклоном поднес бокал и Смирдину, стоявшему поодаль, и тот его рассеянно принял. Все мысли его

были о другом. Офицеры принялись шумно чокаться, а Смирдин стоял одиноко с Ларькиным бокалом в руке.

И тут к нему подошел Александр Бестужев, издатель альманаха, с которым по книжным делам Смирдин в последнее время весьма сблизился.

— Товарищи! — сказал он, и пусть читатель не примет это обращение за некий анахронизм. Так было принято всегда в российской армии в обращениях между офицерами — боевые товарищи! — Товарищи, — сказал Бестужев и поднял бокал. — А я хочу поднять тост за таких людей, как господин Смирдин. Предположим, что в некоем королевстве Обеих Сардиний — заметьте, я говорю не об Испании, Пруссии или какой-то определенной стране, я говорю об абстрактном государстве, назовите его хотя бы королевством Обеих Сардиний, — в некоем царстве-государстве свободолюбивые офицеры совершили революцию, переворот. Что же будет дальше? В большинстве стран, которые нуждаются в таких перестройках, народ поголовно невежествен, неграмотен, и это будет новая пугачевщина либо диктатура какой-нибудь одной партии, группы людей или какого-нибудь одного негодяя, которая хуже любого самодержавия.

Все повернулись к нему, желая услышать, чем закончится этот столь любопытный тост.

— Так вот я и пью за господ Смирдиных, — продолжал Александр Бестужев. — Чтобы они побольше и подешевле издавали книг и альманахов, чтобы распространяли свободолюбивые мысли, чтобы готовили народ к великой и скорбной Голгофе, которая, увы, носит имя — свобода!

Офицеры засмеялись, зашумели, стали чокаться, потянулись и к Смирдину. Некоторые заторопились — им надо было в караул.

Княжна Аннета подошла к Смирдину и протянула к нему свой бокал, в котором было еще много вина.

— Вот, оказывается, как вы нужны обществу! — улыбнулась она, и в черных ее глазах запрыгали обычные искорки-бесенята. — За вас пьют так же, как за геройского Риго.

Россия издревле считалась страной библиотек. Говорилось даже, у кого хоть три книги есть — и то библиоте-

ка. Но были и знаменитые собрания книг, правда, у знатных лиц — князей Голицыных, графов Брюсов, канцлера Воронцова — или у монастырей — Чудова, Соловецкого, Патриаршая библиотека и другие. При Петре I в Москве отец и сын Киприановы, замоскворецкие мещане, открыли было «Всенародную библиотеку» на Красной площади, но тогда их почин успеха не имел. В 1802 году по указу царя Александра I открылась в Петербурге первая публичная, то есть общедоступная библиотека — ныне Государственная публичная библиотека СССР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, крупнейшее в мире собрание книг.

Императорская библиотека составила из обширнейших коллекций как русских, так и привезенных из-за рубежа, например: собрания литовских князей Радзивиллов, личной библиотеки Вольтера и многих других. Но в этой библиотеке можно было только пользоваться книгами в читальных залах, на дом же книги выдавались избранным лицам.

Фактическим основателем и первым руководителем Санкт-Петербургской публичной библиотеки был Алексей Николаевич Оленин, сосед Плавильщиковых по Синему мосту. Именно у его дочерей был литературный салон, которому завидовала наша героиня княжна Скарятинская. Именно у них Пушкин, который влюблялся по очереди в каждую из дочерей Оленина, встретил и Анну Петровну Керн и написал ей «Я помню чудное мгновенье...».

Первым помощником Оленина в трудном деле организации библиотечного хозяйства стал баснописец Иван Андреевич Крылов. А незадолго до начала войны 1812 года к ним присоединился бывший книгопродавец Василий Степанович Сопиков.

Сопиков слыл примечательной личностью. Как и Смирдин, он родился в Москве и там учился книготорговому делу. Затем переселился в Петербург и открыл книжную лавку в Суконной линии Гостиного двора, то есть в самой прибыльной, в той, что выходит на Невский проспект.

Когда императорский венец принял Павел I, которого, как известно, матушка долго держала в тени и который вступил на престол уже за сорок лет, он принялся награждать своих приближенных, которые делили с ним скуку удаления от власти. В их числе был и некто Кутайсов, истопник в наследниковых покоях, по происхождению пленный «турка». Хорошо играл он с опальным цесаревичем

чем в бильярд, поддавки, подкидного дурака и прочие невинные игры, умел и выигрывать, в зависимости от строения своего господина, ну да бог с ними!

А по воцарении своего высокого покровителя получил разные титулы, главное же — обширные поместья и тысячи крепостных.

И бывший турка близ Петербурга на реке Волхов в моде тех времен выстроил, по проекту итальянских зодчих, беломраморный палаццо. Обставил его мебелью, заказанной в Париже, обвесил картинами знаменитых мастеров. Затем решился попросить у покровителя высочайшей милости — пожаловать в гости, освятить, так сказать, своим пребыванием вновь построенное жилье. И согласие было дано.

Тогда, обрадованный и несколько трусивший, Кутайсов предварительно позвал к себе на Волхов своего бывшего товарища по пребыванию с опальным наследником, а теперь соседа Аракчеева, который все же был прирожденным российским дворянином и понимал толк в усадьбах, и спросил его — ну как, на твой, мол, взгляд? Все ли понравится императору?

Аракчеев внимательно осмотрел апартаменты нововоздвигнутого палаццо и в общем одобрил:

— Только, братец, — покачал он пудренным париком, — у тебя книг нет. Нет библиотеки. Это плохо.

А надо сказать, сей курносый деспот, каким обычно рисуется Павел I, имел одну слабость: он любил, чтоб в доме была библиотека. Да и вообще, усадебные библиотеки были модою тех времен.

Что делать? До приезда императора оставались считанные дни. Но это было время Суворова — век парадоксальных задач и невероятных решений.

Кутайсов вспрыгнул в пролетку, посадил с собой домоправителя со шкатулкой и велел гнать в Петербург.

Прискакав на Невский проспект, они увидели в Гостином дворе над одной из арок знак — раскрытую книгу на длинном шесте. Тогда над каждой лавкой вместо вывески выставлялся товар — предмет торговли. Кутайсов вбежал в лавку и увидел с трех сторон ее высоченные полки, забитые книгами. Проворные приказчики, словно обезьяны (на парижском жаргоне, кстати, книготорговцев так и зовут обезьянами), лазали до самого потолка, выискивая требуемые книги.

Узнав о прибытии знатного покупателя, из задних по-

мещений устремился, едва успевая запахнуть халат, хозяин лавки. Говорят, это был Сопиков.

— Сколько у тебя все это стоит? — спросил Кутайсов, обводя полки рукою в расшитом камергерском обшлаге.

Еще раз напомним, что это был век суворовских решений и суворовских ответов.

— Сто семьдесят шесть тысяч рублей двадцать семь с половиною копеек! — не моргнув глазом отвечал Сопиков.

— Помилуй, как дорого! — удивился Кутайсов, но торговаться не стал, а велел домоправителю, который был наготове со шкатулкою: — Заплати ему это! И добавь ко всему триста рублей, чтобы он тотчас скакал со мною на Волхов и там из купленных у него книг составил бы мне в три дня библиотеку!

И Сопиков составил ему библиотеку. И курносый повелитель остался всем доволен. И Кутайсов приобрел еще одну звезду на грудь.

Затем уже на службе в библиотеке Сопиков выказал необыкновенное трудолюбие и обширные познания. Это он эвакуировал сокровища библиотеки, когда Петербургу угрожало нашествие французов, и потом вернул все сокровища на прежнее место. Это он составил знаменитый «Опыт российской библиографии», в котором описал все гражданские книги, которые когда-либо до того выходили в нашей стране. Но вскоре после войны он заболел и умер, а труд его докончил его друг Анастасевич, который теперь выходит на нашу арену.

Потребность в библиотеках, где книги давались бы на дом за недорогую плату, ощущалась давно. Еще будучи книгопродавцем, Сопиков отпускал книги для прочтения. Устроили книговыдачу за деньги Иван Слѣнин, братья Глазуновы и другие петербургские книжники, но занимались этим промежду остальных дел.

После войны стал выдавать книги для прочтения и Плавильщиков. Но это в принципе был тот же товар, что продавался у него в лавке. Покупатель был волен книгу, взятую для прочтения под залог, купить или возвратить хозяину.

А ведь у Плавильщикова была огромная личная библиотека, составившаяся из собраний его покойного брата, актера, из остатков фамильной библиотеки князей Скарятинских и так далее. Смирдин принялся подготавливать открытие новой библиотеки на новой основе.

— Пощадите! — завопили плавильщиковские картежники.— Этот Смирдин забирает у нас под библиотеку полукруглую зальцу! Где же мы теперь перекинем банчок?

— Никаких банчков! — решительно поддержала Смирдина княжна.— В петербургских домах вообще уж в карты не играют. Вот у Олениных шарады разгадывают и ребусы. У Шаховских играют в буриме. А Рылеев дает русские завтраки, где только и делают, что читают стихи.

Отец Варфоломей отслужил в обновленной зальце молебен, и плавильщиковская библиотека начала свою новую жизнь.

Явился Василий Григорьевич Анастасевич, чтобы помочь Смирдину составить роспись на 7 тысяч наименований книг. Анастасевич этот был греческого или молдавского происхождения, настоящая фамилия его была Анастази. Восточный тип выказывал себя в нем с большою силой. Этот старичок, вечно обсыпанный перхотью, горбоносый, близорукий, напоминал какого-нибудь чародея из сказок «Тысячи и одной ночи». Был он глуховат, однако никто толком не знал, на какое ухо. Известный остро слов книгопродавец Иван Слёнин утверждал, что это случилось тогда, когда высокий покровитель Анастасевича граф Румянцев, который был не только меценатом и составителем музеума, но и служил вице-канцлером, узнав однажды о высадке Наполеона в заливе Антиб, от волнения оглох на одно ухо. В знак солидарности с ним будто бы оглох и его любимец Анастасевич, только впопыхах не запомнил, на какое именно ухо.

Мы точно не знаем, так ли это было, но, явившись в полукруглую плавильщиковскую зальцу, Анастасевич с великой быстротой принялся делать карточный каталог и копался в нем с утра до позднего вечера, точно лабазная мышь.

6

Чаще других в новооткрытую библиотеку жаловал господин высокого роста, в довольно поношенном, но модно сшитом сюртуке. Он еще не был стар, и седоватые волосы его были по-профессорски зачесаны назад. А при себе он имел палку с наконечником в виде головы льва.

Домой книг он забирал немного, зато надолго засиживался в читальном зале, и сторож Кузьмич поварчивал, подливая масла в лампу, которая зажигалась подчас то-

лько для него одного. Анастасевич с этим читателем оказался знаком, учтиво раскланивался с ним. Иногда посетитель спрашивал его о здоровье, и Анастасевич безнадежно махал рукой, будто речь шла о строительстве какой-нибудь Вавилонской башни. Случалось, посетитель заводил речь и об университете, но у Анастасевича при этом пропадали слух.

Смирдин заглянул в читательский формуляр (пунктуальный Анастасевич завел формуляр на каждого посетителя) и обнаружил, что это Галич Александр Иванович, экстраординарный профессор Санкт-Петербургского университета по философскому факультету.

Однажды Смирдин, уже под вечер, стоял на лестничной площадке между первым и вторым этажами, потому что было довольно хитрым занятием одновременно распорядиться и книжной лавкой, и столь большой библиотекой. Галич спустился к нему и, извинившись, спросил, нет ли взаймы табачку. Смирдин ответил, что не курит, и оба стояли некоторое время рядом молча, чувствуя симпатию друг к другу.

— Я не курю,— повторил Смирдин.— Но я вам достану.

И он подозвал Ларьку Апарина и велел дать барину табак. Галич набил свою трубочку, до того коротенькую, что понятно было, отчего у него столь желтые, будто подпаленные, бакенбарды, и испросил позволения курить на лестничной площадке.

— Курите-с! — разрешил Смирдин.

И тот почел своею обязанностью представиться:

— Говоров Александр Иванович.

— Позвольте...— удивленно начал Смирдин, но тот его прервал:

— Вы хотите сказать, почему же я в вашей карточке — Галич? Моя фамилия по рождению действительно Говоров, наш род очень древний, предок наш впервые упоминается под 1606 годом в связи с приходом Самозванца. Но потом мы обеднели, и дед мой был уже сельским попом, а отец выше псаломщика не дослужился из-за пристрастия к известному русскому питию. Поскольку для столбовых дворян находиться в духовном сословии, да еще таком мизерном, унижительно, они предпочли именоваться по-другому. Вот я и Галич. Это имя мне дали в духовной семинарии.

Наверху сторож Кузьмич громыхал жестью, подливая в лампу очередную порцию масла.

— Ваш служитель, я чаю, сердится на меня,— улыбнулся Галич.— Я допоздна тут у вас просиживаю.

— Почему же?— возразил Смирдин.— Это наш долг-с.

— Но вы знаете, у меня раздоры с женой,— пожаловался Галич.— Кроме того, у вас здесь тепло и уютно. А у меня и топить нечем. Вы, наверное, уже слышали, что меня Рунич прогнал с кафедры?

Видимо, уж очень ему хотелось поговорить. И поговорить он любит и умеет, недаром все же он лектор и профессор. И голос у него красивый, баритональный, и манеры как у прирожденного дворянина.

— А на улице...— продолжал Галич.— Бр-р! Ваши Плавильщиковы что — все еще живут на даче? И правильно делают, пусть живут подольше, до первого снега. Нева поднялась до самой кромки набережной, вчера на Стрелке вешали красный фонарь. Ветер крепчает, и не дай бог повернет с залива, тогда будет потоп.

Как бы в подтверждение его слов ветер надавил в стекла, и стали слышны его порывы с улицы. Галич выколотил трубочку в урну, но, обнаружив, что Ларькиного табачку хватит еще на одну набивку, тотчас закурил снова.

— А вы женаты?— спросил он у Смирдина.— Нет? Скажу вам афоризм — брак подобен осажденной крепости: те, кто внутри, не чают, как бы выбраться наружу, те, что снаружи, непременно хотят внутрь.

Они посмеялись и расстались друзьями. На следующий день Галич вновь сидел на своем месте за круглым столом в зальце и листал фолианты, а сторож про себя обзывал его змеем-горынычем и в который раз заправлял лампу.

Было поздно, покупатели и читатели разошлись по домам. Закрыв книжную лавку, Смирдин отпустил приказчиков, сторожа и поднялся в библиотеку. Там все еще сидели вдохновенный Анастасевич, сгорбившись над картошкой, и Галич над фолиантами, флегматично крутивший прядь своих седеющих кудрей.

— А наводнение все же будет,— сказал Галич, отрываясь от книг.— Слышите, как стал выть ветер? Это пошел финняк, ветер с залива.— И без перехода сказал: — А вы читали последний выпуск «Невского альманаха»? Ничтожный, в общем-то, журналишка. Но вот Пушкина нам

напечатал — «Песнь о вещем Олеге». Пушкин, вы знаете, сейчас живет в родовом именье, без права выезда в столицу, я от него письмо получил. Однако послушайте, как звучит:

Грядущие годы таятся во мгле,
Но вижу твой жребий на светлом челе!

Музыка! — воскликнул он. — Я горжусь, что учил Пушкина в Лицее. Без лишней скромности скажу: именно я настоял, чтобы он прочел перед Державиным свое стихотворение. Пушкин — это будущая слава России, вы не находите?

Смирдин признался, что не читал Пушкина ничего, дел невпроворот, когда уж тут читать? Галич огорчился, вынул пустую трубочку, пососал и вновь углубился в свои фолианты.

— Вот! — ткнул он пальцем в книгу. — Это блаженный Августин, трактат о граде господнем. Место о предопределении. И правда, как вы думаете? Может ли человек оказаться грешен перед богом, если мы принимаем, что бог вездесущ? Значит, бог заранее знает, что перед человеком есть соблазн такого-то и такого-то греха... Так что ж, бог, в таком случае, не удержит его от греха заранее? Значит, тогда зря он считается всеблагим?

«Э! — подумал Смирдин, вспоминая уроки диакона Анфила. — Ты еще и в еретики подался? Недаром, стало быть, барин, тебя из университета-то попросили...»

Так они сидели и разговаривали мирно, пока с улицы не донесся какой-то удар, заставивший задрожать каменные толстые стены дома. Под окном заскрежетало железо.

— Что это, что это? — всполошился Анастасевич, рассыпая свои карточки. Выскочил из-за столика, забегал в панике.

Было еще светло. Смирдин открыл форточку, выглянул наружу и увидел, что их дом уже затоплен. Водовороты крутились на месте, где ранее был Вознесенский проспект и Синий мост. Вода срывала вывеску их книжной лавки, оттого и скрежетало железо. Удар повторился — это стреляла пушка от Адмиралтейства.

— Мы отрезаны, — сказал Галич, выглядывая в соседнее окно. — Есть тут у вас хоть какая-нибудь лодка или ялик?

— Отвезите меня, отвезите меня! — стал умолять

Анастасевич.— Я тут живу неподалеку, во дворце графа Румянцева, во флигеле, все знают. Отвезите меня, я заплачú!

Смирдин сообразил, что у отца Варфоломея есть ялик, он на нем с дьячком выезжал половить пескарей. Наказав Анастасевичу сидеть спокойно и не лотошиться, они с Галичем вылезли на крышу дворовой пристройки и, придерживая шляпы, добрались до окон поповской квартиры. Там им одолжили лодку, весла и шест, а также ведро, чтобы вычерпывать воду, если вдруг станут тонуть. Сам же отец Варфоломей, полагаясь на волю божию, зажег лампы и со всем семейством стоял на коленях, молился.

И Смирдин с Галичем, посадив в ялик ослабевшего от страха Анастасевича, доставили его на Казанскую улицу, где уже было повыше и вода так не заливала. Затем, высадив Анастасевича, вдоль Гороховой улицы поплыли к дому Галича.

— Переночуйте у меня! — предлагал по дороге Галич, стараясь перекричать шум непогоды.

— У вас злая жена-с, — не без сарказма отвечал Смирдин и нажимал на шест, чтобы преодолеть сопротивление волн.

Повсюду на крышах домишек были видны спасавшиеся люди. Одна женщина держала на руках петуха, который отчаянно вырывался и поминутно кукарекал.

Впоследствии поэт напишет: «Осада! Приступ! Злые волны, как воры, лезут в окна. Челны с разбега стекла бьют кормой...» Но меланхоличные петербуржцы, привыкшие к таким напастям, как будто бы и не удивлялись, а спасались от коварства стихии кто как может.

— Любезные сограждане! — вдруг раздался голос, подобный иерихонской трубе.— У кого есть свободная лодка или хотя бы челнок, поспешите в Коломну, там людям нужна помощь!

— Ишь ты, — сказал Галич, ухитрившийся на ветру раскурить свою носогрейку.— Слышите? Это сам обер-полицеймейстер со своего баркаса вещает в рупор. Как нас припрет, так мы вспоминаем, что все мы суть сограждане, ситуация, как сказали бы во времена французской революции!

Между тем они доплыли до конца Гороховой улицы, и Галич указал на здоровенный пятиэтажный домино, которому никакое наводнение не было страшно.

— Вот моя обитель. То есть в смысле мое обиталище

под крышей с черной лестницы. Ха-ха, Диоген жил в бочке из-под устриц! А вы, любезный мой Смирдин, раз уж не хотите у меня переночевать, милости прошу ко мне на неделе. Я, между прочим, читаю лекции по истории философии приватным образом, дома. Если б вы знали, какая молодежь собирается у меня, какие независимые головы!

— Ловлю вас на слове-с! — улыбнулся ему Смирдин, принимая у него весло и подавая его палку с наконечником в виде львиной морды. — Вот возьму и явлюсь.

— Милости просим! — кричал уже издалека Галич.

Смирдин поплыл обратно. Ведь в плавильщиковском доме теперь оставался он один. Но голос обер-полицмейстера в гулких коридорах улиц-каналов звучал неотступно, и Смирдин повернул в сторону Коломны. Там, действительно, целый порядок строений был смыт водяными валами. «Что сброшено, что снесено; скривились домики, другие совсем обрушились, иные волнами сдвинуты...»

Но там уже флотские экипажи совместно с пожарными командами снимали людей с крыш, пересаживали в свои баркасы и вельботы. В наступающей темноте Смирдин различил даже фигуру самого генерал-губернатора столицы графа Милорадовича. Герой Бородинского сражения лично командовал спасением погибающих.

И Смирдин развернул лодку меж строений и поплыл назад, к Синему мосту. Приходилось напрягаться, потому что вода и ветер ломили стеной.

Огибая какой-то бревенчатый сарай не то амбар, он вдруг услышал, будто котенок мяучит или плачет младенец. Во тьме Смирдин подплыл к постройке и, рискуя перевернуться, стал шарить руками, отыскивая источник скуленья. И нащупал человека, который лежал на выступе. Он был совсем окоченевший, тот человек, но живой, и по полотняной одежде его Смирдин определил, что это женщина. Забыв об опасности, удерживая лодку одной рукой, другой кое-как он перетащил женщину в свой ялик.

— Кто-нибудь там есть? Кто-нибудь есть? — доискивался Смирдин, но женщина молчала.

Тьма сгущалась, фонаря в поповской лодке не было, и Смирдин предпочел оттолкнуться и скорее плыть домой.

Вода залила до потолка книжную лавку, поэтому Смирдин поплыл к раскрытому окну библиотеки и выгру-

зил спасенную в зальце. Лодку привязал к вывеске книжной лавки.

Дальше было легче. Он выкресал огонь и зажег пресловутую лампу. Перед ним лежала молодая женщина с нерусским горбоносым лицом, с большими серьгами в ушах. Мокрое платье прилипло к ее телу, она, видать, лишилась чувств от холода и волнения. Смирдин поднял ее (была она не тяжелее десяти пачек с книгами) и отнес по лестнице в свою каморку, положил на постель.

Всю ночь он грел воду, взял в хозяйском буфете коньяк, поднес ей к обкусанным губам. Она, не открывая глаз, выпила. И тут уж открыла глаза, они оказались сливового цвета, настороженно следили за Смирдиным.

— Как тебя зовут?— спросил Смирдин.

— Мне холодно...— ответила она, ее била дрожь.

Смирдин уж просто не знал, чем ее согреть. Печку бы растопить, но все кругом отсырело! Он притащил одеяла и меховые накидки из барышниной светелки. Не мог решить, попытаться ли снять с нее мокрое платье или накрывать ее так, в чем есть.

— Выйди,— вдруг сказала она.— Выйди, прошу.

Смирдин вышел и почувствовал, что дрожь теперь бьет его, как будто это он, полураздетый, лежал на ледяном ветру. Потом услышал, что она его зовет.

Платье ее было развешено на спинке кровати. А она лежала, натянув на себя все, что принес Смирдин из одеял и накидок, блаженно полузакрыв глаза.

— Шура меня зовут, Шура,— улыбнулась она.— Александра, понимаешь?

«Два Александра плыли на лодке...— забуровила в мозгу у Смирдина дурацкая мысль.— Два Александра. А теперь нашлась опять же Александра...»

Слава тебе, женщина, родоначальница всего лучшего на свете! Когда нам грустно и одиноко и ветер непогоды грозит сокрушить наш уютный очаг, ты приходишь ниоткуда и смотришь глазами всепонимающими, как эманация божества. И хоралы небесные запевают в нашей душе, и мы постигаем, что радость все-таки прекрасна, а печаль проходяща и жизнь еще впереди.

...Смирдин проснулся от страшного стука и удалых голосов и подбежал к окну. Наводнение окончилось, приказчики и сторожа снимали лодку, которую он накануне привязал к вывеске книжной лавки. В самой лавке тоже была

невообразимая суэта — растапливали печь, чтобы просушивать подмоченный товар.

А постель его была пуста, и платье, развешанное на спинке, исчезло, и не у кого было спрашивать ничего.

Через три дня, когда от наводнения осталась только животрепещущая тема для разговоров и поэм, все обитатели возвратились в дом Плавильщикова, и жизнь пошла своим чередом. Малаша, горничная княжны, убирая комнату Смирдина, вдруг вытащила из-под кровати диковинную серьгу в виде кольца.

— Зачем это у тебя тут цыганские вещи? — швырнула она серьгу на стол. — Жениться тебе надо, Смирдин.

7

Время быстротечно. Отшумело новое лето, отшелестела желтой листвой новая осень, отплакали дожди, и выпал снег. Плавильщиков все более разбалчивался, ковылял на хромой ноге, держась за печень, а бразды правления все более переходили к Смирдину.

Выпустили они с Анастасевичем «Роспись российским книгам для чтения из библиотеки В. Плавильщикова, систематическим порядком расположенную» и приобрели шумные споры в кругах книгопродавцев, которые вечно готовы спорить, выходила такая-то книга или нет, да сколько томов в таком-то собрании — двадцать или двадцать один. Теперь Смирдин и Анастасевич готовили ежегодные прибавления к этой росписи, куда должны были войти книги, заново обнаруженные, и книги, выходящие вновь. К их делу присоединился и Федор Фролович Цветаев, который перестал наконец дуться на Смирдина и предоставил в распоряжение составителей редкое знание ассортимента русской книжной торговли за двести лет.

Однажды Смирдин вошел за какой-то справкой к Анастасевичу, который жизнью читального зала не интересовался, в спорах читателей не участвовал, сидел себе за своей картотекой, как Робинзон на необитаемом острове.

Войдя в зальцу, Смирдин увидел, что Евгений Петрович Обрезков стоит у библиотечного шкафа с какой-то раскрытой книжкой в переплете цвета «павлинье перо». Книжку эту Смирдин тотчас узнал — это была «Германия в глубоком унижении своем», которую он же по случаю купил у букиниста в Гостином дворе. Говорят, что за эту

книжку нюрнбергский книгопродавец Пальм был расстрелян по приказу Наполеона.

— Смотрите! — размахивал ею Обрезков перед самым носом у полковника Зралко-Забокжецкого, который тоже изменил карточной игре и принялся посещать павильонскую библиотеку. — Смотрите! Немцы гораздо раньше нас поняли сущность дела: «Тиран, не заботящийся о правах и пользе своих подданных, хотя бы и самых подлых сословий, не может считаться помазанником божьим. Всяческая присяга ему должна считаться недействительной, напротив — каждый подданный обязан встать против такого правителя!»

Оба посмотрели на вошедшего Смирдина и прекратили спор. На Анастасевича же они обращали внимания ровно столько, сколько и он на них.

Некоторое время молча шелестели страницами, Обрезков у библиотечного шкафа, Зралко-Забокжецкий на привычном месте за круглым столом. Потом Зралко-Забокжецкий, распушив и покрутив усы, спросил:

— Ну и что же вы хотите установить после всего этого? Демократию?

— Демократию! — дерзко ответил Обрезков. От волнения он даже перестал шепелявить.

— Послушай, я тебе расскажу одну нашу польскую притчу про демократию, каковой была она у нас в Крулевстве Польском, пока мы не были разделены по собственной дурости. Слушай!

Зралко-Забокжецкий вновь навел красоту своих гвардейских усов и посмотрел на Смирдина, который делал вид, что, кроме карточек Анастасевича, его ничто более не занимает.

— Итак, в тогдашней польской армии — «посполитом рушенье», которая состояла из ясновельможных панов, вот таких, как я, существовало следующее право. Полковник, предположим, подает команду: «Вшистку панам до конем седам!» Понял, надеюсь, без перевода?

— Ну, понял, — отвечивал Обрезков.

— То так. Глядит тот полковник, по его команде все паны сели по коням, а один пан стоит себе, не садится. «В чем дело, прошу пана?» — осведомляется полковник. «Пшепрашу, пану полковнику, — отвечает тот. — Бо у мене не конь, а кобыла». Тогда команда подается следующим образом: «Вшистку панам до конем, а еден пан до кобылам — седам!» И войско готово в поход. Ха-ха-ха!

— Неправда, неправда! — вскричал Обрезков. — Ты преднамеренно все извращаешь, мне даже не хочется тебе отвечать. Ты скажи лучше, мы должны знать твердо. Коль настанет час, а он уж близок, с кем будешь ты, полковник? С нами или с палачами свободы?

— Я буду с теми, кому присягал на святом Евангелии, — ответил Зралко-Забокжецкий. — Таков закон чести.

И опять оба обернулись на Смирдина. Тот понял, что совсем уж тут лишний, и сделал шаг к двери, как вдруг Обрезков закричал нервно:

— И станешь рубить нас со своими уланами? И станешь рубить? Лучше уж выдай нас сразу, ты же всех поименно знаешь. Смирдин! — позвал он. — Дай ему стопу бумаги самого лучшего сорта, пусть садится и пишет донос да не медлит! Пусть пифет! — опять стал он пришепывать.

— Смирдин, не носи ничего! — приказал Зралко-Забокжецкий, пристегнул саблю и ушел.

А выбежавшая сверху княжна увела Евгения к себе, он весь дрожал от полемиического задора, и там с Малашей они отпаивали его китайским чаем.

Дыхание близкой грозы носилось в воздухе с начала зимы. Ходили невероятные слухи, будто государь хочет отречься от престола и основать монастырь, будто он собирается уйти под видом нищего странника, будто хочет навсегда уехать за границу. Смирдин знал, что везде идут споры. Как писал впоследствии автор мемуаров — «Дух преобразования заставлял, так сказать, везде умы клочкотать!»

В конце ноября 1825 года в Петербурге стало известно, что император Александр I скончался в Таганроге. Войска и чиновников стали приводить к присяге новому императору Константину Павловичу, следующему по возрасту из братьев государя. Но потом пошли упорные слухи, что Константин от престола отказался и будет совершаться «переприсягание» его младшему брату Николаю. Константин сидел в Варшаве, где он был главнокомандующим, правительство молчало, междуцарствие затянулось, не знали, чему и верить.

Наконец было объявлено о присяге новому государю Николаю Павловичу. Рано утром 14 декабря — был снежный денек с мягким морозцем, с припархивающими снежинками — Вознесенский проспект наполнился грохотом барабанов, свистом маршевой флейты, мерным шагом

солдатских рядов. Это с развевающимися знаменами шел на Сенатскую площадь Московский полк, и никто еще не знал, что полк выходит на мятеж.

Приказчики откинули засовы, и двери книжной лавки распахнулись. И лавка Плавильщикова тотчас же до отказа наполнилась публикой — так еще не бывало никогда. Однако никто книг не покупал и не рассматривал.

— Смирдин, Смирдин! — звал Плавильщиков, который от волнения не мог даже и встать из своих полукресел. — Ты понимаешь? (Он, кстати, до сего часа никогда не обращался к Смирдину на «ты».) Бунт начался! А господа эти в нашей лавке — заговорщики, они положили собраться у нас и у Слёнина Ивана напротив... Смирдин, что нам делать?

Смирдин и сам не знал. Не выгонять же их, среди собравшихся были весьма важные персоны — князья, чиновники.

— По крайней мере, наших дураков приказчиков никуда не выпускай, — наказывал Плавильщиков, нюхая нашатырь. — Особенно Ларьку, Ларьку, этот голову сломит... И за княжной следи, за княжной, о боже!

А Ларька уже успел на Сенатскую площадь слетать и вернулся — краснорожий, припорошенный снежком, говорил возбужденно:

— Там все выстроились в каре. Уже и флотский экипаж подходит, и лейб-гусары... А Бестужев скинул шинель и саблю о подножье памятника точит!

Княжна вызвала Ларьку к себе наверх для выслушивания сообщений.

Звякнул колокольчик входной двери, и вошел Рылеев. Снял шляпу, чтобы отряхнуть снег. Был он похож на нахохлившегося дятла, был вдохновенен и решителен.

— Товарищи! — сказал он собравшейся публике. — Настал час дерзания. Неужели мы откажемся от всего, чему клялись, о чем мечтали? Неужели позволим арестовать себя дома, в постелях? Все — на площадь!

И книжная лавка опустела. Только кое-где маячили фигуры изумленных приказчиков, да сверху слышались стенания больного хозяина.

Так проходил час за часом. Из-за Синего моста с близкой Сенатской площади то и дело доносился рев собравшейся толпы. Где-то подходили войска, слышался размеренный топот ног. Потом далекие крики «ура», и снова

топот солдатских шагов. Между тем время перевалило за полдень и краткий зимний день стал угасать.

Ларька вновь выбегал на разведку.

— Архиереи с причтом на площадь приходили! — объявил он. — Граф Милорадович убит!

— Как убит? Кем убит? — Все кинулись к нему. Даже всегда невозмутимый Федор Фролович Цветаев не сдержал в руках дрожи, уронил очки под прилавок и никак не мог их разыскать.

В этот момент за дверями магазина на проспекте слышался тяжелый конский топот. Кавалерийская часть проследовала мимо. Ларьку удержать было невозможно, и он опять исчез за дверьми.

— Это гвардейские уланы! — объявил он, возвратившись. — Наш пан Зралко-Забокжецкий ими командует. Они обнажили сабли, чтобы напасть на солдат.

Рукав его полушубка был распорот. Он объяснил:

— Все кидались в них дровами, вот и я кинул, и мне досталось...

Вдруг словно горох забарабанил по стене дома, посыпалась кирпичная труха. Донесся грохот залпа. Это мятежный полк отбивал атаки кавалерии. Второй залп — и стекла из верхнего этажа со звоном посыпались на мостовую.

— Смирдин, Смирдин! — кричал Плавильщиков.

Он вскочил с полукресел и вместе с Малашей еле удерживал Аннету, которая билась и требовала:

— Оставьте меня, оставьте... Дайте лучше одеться! Там убивают! Если вы мужчины, то почему вы здесь? Дайте я пойду, чтобы с ними умереть!

Вместе с подоспевшими Смирдиным и Цветаевым еле удалось ее возвратить в спальню. Потом она еще пыталась вырваться, но Малаша крепко ее стерегла.

Совсем стемнело, зажгли свечи. Земля вдруг задрожала как от близкого землетрясения.

— Пушки подвезли, — мрачно предположил Плавильщиков. — Разворачивают.

И действительно, через минуту раздался оглушительный залп. В лавке книги попадали с верхних полок, а масляная лампа в библиотеке погасла сама собой.

Одно орудие расположилось прямо у входа в лавку. Видно было, как пушкари суетятся с банниками, а офицеры на них кричат и грозят им кулаками. Затем пушку повезли вперед, залпы становились все более частыми, и по

Вознесенскому проспекту мимо плотно запертых дверей лавки (Смирдин велел свечи погасить, оставить только одну) люди в ужасе бежали теперь в обратном направлении.

Кто-то отчаянно задубасил в дверь с улицы. Смирдин не хотел было открывать, но послышался голос Ларьки, ругавшегося последними словами. Открыли. В лавку ввалился Ларька, который вел, подхватив под мышки, Евгения Обрезкова в окровавленной шинели.

Княжна сбежала сверху, приказывая Малаше нести корпию, лекарства, горячую воду.

— Это не я ранен, не я...— возбужденно повторял Обрезков.— Я только ушибся, это кровь не моя...

— Его надо переодеть,— велела Аннета.— В военном платье его тотчас схватят. И здесь его оставлять нельзя. Смирдин, Смирдин, вы одного роста с Обрезковым, дайте ему свою одежду!

Но Смирдин стоял, распластавшись за штабелями изданий, в ужасе прислушивался к мерным залпам артиллерии. Он понимал, что надо помочь переодеть Обрезкова, но ничего не мог с собой поделывать. Руки-ноги его от ужаса отнялись!

— Смирдин, Смирдин!— продолжала звать княжна.— Боже мой, куда же он заделался?

Стали собирать статское с миру по нитке. Один приказчик дал панталоны, другой рубаху. Взяли плавильщицковскую бекешу, хотя щуплому Евгению она была длинна и мешковата.

— Если бы я...— в волнении говорил Обрезков, пока его переодевали.— Если бы я, дурень, решился! Ведь я мимо Николая Павловича проходил, вот близко, как от тебя, Ларивон, и пистолет мой был заряжен... Господи, ну за что же ты сотворил меня таким дураком!

Постепенно Смирдин стал понимать, что за штабелем он не один. Тут же был и Анастасевич, который мелко крестился и бормотал молитвы не по-русски. А Смирдин по-прежнему стоял в оцепенении, прижавшись лицом к холодным книжным пачкам.

Ах, время быстротечно! В Петропавловской крепости заседала следственная комиссия, полицейские кареты то

и дело доставляли людей в крепостные казематы, все притихло, все ждало исполнения воли нового самодержца.

Между тем Санкт-Петербургская жизнь шла своим чередом. Никто не отменил святочных балов и маскарадов, никто не прекратил обычных визитов и не носил траура по родным и близким, замурованным в промозглых утробах Петропавловки и Шлиссельбурга. Но уж никто и не препятствовал карточной игре, которая теперь шла повально. Говорили о чем угодно, только не о том, что все-таки застряло у каждого в мозгу. Даже негодовать на бунтовщиков на всякий случай опасались.

Пришло и лето. Был объявлен приговор: пятерых бунтовщиков ждала виселица, остальных — Сибирь и каторжные рудники.

— Я еду за ним,— сказала княжна Скарятинская, узнав, что Евгений Обрезков отправляется с другими в Нерчинск, на самый край земли.— Разве я ему не невеста?

Плавильщиков совсем уж был без ног. К нему из Москвы приехал младший брат Алексей, отставной чиновник. Насколько все Плавильщиконы отличались благородством и приятностью, настолько нетерпим и заносчив был этот маленький хохлатый барин. «Наследник!» — сумрачно шептались приказчики в лавке. Василью же Плавильщикову становилось день ото дня хуже.

— Погоди, я скоро отойду...— просил он Аннету.— Тогда скажи себе в Сибирь! Да и куда тебе скакать, тебе самой доктор Вагнер...

— Дядюшка, тем более я должна спешить...

— Никто вам не разрешит ехать в Сибирь, ни в каких департаментах,— утверждал хохлатый дядюшка Алексей.— Да и зачем вам компрометировать себя и всех нас связью с государственным преступником?

Впрочем, если прислушаться ко мнению приказчиков, ему было даже выгодно спровадить подалее возможную претендентку на братнее наследство. А у него имелись старые связи в высших кругах чиновной столицы... И сама Аннета сложа рук не сидела, как только позволяло здоровье, ездила по кузинам и троюродным тетушкам, которых у Скарятинских имелось предостаточно.

И вот в разгар июльской жары ее вызвал генерал-адъютант граф Мордвинов и объявил всемилостивейшее соизволение — ехать в Нерчинск для свидания с женихом, государственным преступником Обрезковым. По слухам, на пути в Сибирь находились уже пять жен бунтовщиков

и даже одна невеста — француженка Полина Гебль, решившая выйти замуж за бывшего ротмистра Анненкова.

Проводы были печальны. Плавильщиков отдал свой возок, ехать же предстояло по первопутку, по снегу, меняя почтовых. Отец Варфоломей отслужил молебен, во время которого все, не стесняясь, плакали, кроме самой княжны. Московский братец Плавильщиков на всех покрикивал, будто он был здесь уже полновластный хозяин.

Аннета простилась по очереди со всеми людьми (Малаша уезжала с ней), затем настала очередь Смирдина.

Он вошел, чувство вины безмерной почему-то его угнетало. Стоял напротив, повеся голову, а она в креслах то колебалась в воздухе худыми руками, то, по своей привычке, крутила локоны прически. Ему все вспоминалось детство, суровый диакон Анфил и девочка, которую надо было защищать. Слезы подступали к переносице, но он старался им воли не давать. Аннета же была тверда и даже как-то весела, искорки-бесенята прыгали в ее узких глазах.

— Прощайте, Смирдин,— протянула она ему сразу обе ладони.— Оставляю вам самое дорогое — благородного дядюшку Василия... Не смогла я стать ему опорой!

— Но ведь их братец Алексей Алексеевич...— сказал Смирдин.

— Ничего не Алексей Алексеевич, а вы,— ответила княжна.— Вы еще не знаете, а вопрос этот решен. Прощайте, мой дорогой, не поминайте лихом безумную Аннету. И обо мне не кручиньтесь. Только теперь моя жизнь приобрела какой-то смысл...

Смирдин решил, что акт прощания окончен, и стал раскланиваться. Княжна его удержала и поднялась из кресел.

Она обняла его за шею руками, словно крыльями недоросшего лебеденка, и на минуту прижалась к нему. Смирдина обдало запахом знакомым и родным до бесконечности, духами «пачули» и всем уютом плавильщиковского дома. Княжна поцеловала его в лоб, трижды перекрестила, благословляя...

Зима прошла без особенных событий, если не считать того, что Смирдин познакомился с Пушкиным.

Смирдин стал хаживать на Гороховую улицу, во дворе, пятый этаж, под самой крышей, к господину Галичу, отставному профессору. Там, действительно, иной раз со-

биралась любознательная молодежь, толковали о Шеллинге, об идеях свободного разума. Даже страшные события 14 декабря их не напугали.

В тот мартовский снежный и солнечный денек Смирдин вошел в арку дома на Гороховой в добром настроении — тиражи продавались, издания печатались, закладные выкупались.

Во дворе стояли три возка, как в известной русской сказке про трех медведей, — возок большой и богатый, возок средний и респектабельный, возок малый, но весьма приличный. «Гости у нашего Галича», — предположил Смирдин и не ошибся.

Когда он вступил в подъезд, там грелись лакеи и кучера с ожидавших возков.

— Эй, чуйка, куда прешь! — преградил дорогу мордастый лакей, выплевывая шелуху от тыквенных семечек.

Чуйка был род сюртука или пальто со стоячим воротником, которую обычно носили городские купцы и коммерсанты.

— Здесь князь Горчаков, барон Корф, поэт Пушкин, — продолжал лакей, прежде чем запустить в рот очередную порцию семечек. — Лицейские друзья, приехали проведать захворавшего учителя. А вам что за дело-с?

— А что, братцы, — спросил совсем молоденький кучер с простым и добрым деревенским лицом, — поэт — это как, выше барона и ниже графа или выше графа?

Лакеи и кучера захохотали.

— Пушкин выше всех! — сказал мордастый, который кушал семечки.

Обстановка разрядилась, и Смирдин стал подниматься по винтовой лестнице, сам внутренне улыбаясь.

И тут он встретил Пушкина лицом к лицу. Ранее он представлял его таким, как он был изображен на гравюре, приложенной к первому изданию «Руслана и Людмилы», то есть кудрявым, пухлым юношей с приятной улыбкой.

На самом же деле был это господин ниже ростом его, Смирдина, а Смирдин почитал себя невысоким. Ничего приятного не было в этом резком желтоватом лице, обрамленном пышными бакенбардами, и в венце светлых кудрявых волос. Он был скорее рыжий, этот потомок эфиопов.

— Немцы видят в Шекспире черт знает что! — говорил он Галичу, который, сидя в кровати в колпаке, лечился тем, что курил длинный турецкий чубук. — Тогда как он,

без всяких теоретических умствований, изображает то, что видит, и говорит то, что у него на душе. Шекспир был гениальный мужичок, не правда ли, князинька?— обратился он к Горчакову.

У Галича, несмотря на всю непритязательность его быта, был и слуга. За средних лет, угрюмый и с носом как синяя слива.

— Человек! — позвал его Галич, услышав скрип отворяемой двери.— Кто там пришел?

Слуга хорошо знал Смирдина, поэтому пустил его без доклада.

— Господа! — воскликнул, увидев его, Галич.— Вот пришел книгопродавец Смирдин. Мой большой приятель.

— О, книгопродавцы будут нам очень и очень полезны! — сказал Пушкин и улыбнулся. И тут его лицо совершенно преобразилось, будто озаренное внутренним солнцем. И как он сразу оказался приятен и хорош в этой улыбке!

Но дальнейший разговор не состоялся. В прихожей вдруг оглушительно хлопнула дверь, раздалась сердитая речь, швырянье предметов, оправдывающийся голос слуги.

— Мадам Говорова явилась! — сказал не без трепета Галич и поспешил выколотить чубук.— Моя дражайшая половина!

Гости откланялись, Смирдин тоже. Уходя, они слышали, как наверху мадам Говорова распекала философа и его человека за какие-то пустячные бутылки.

Впоследствии множество раз Смирдин разговаривал с Пушкиным, имел с ним большие дела, тот даже посвящал ему стихотворения. Но этот первый момент знакомства и первое впечатление не забывались ему никогда!

В народе говорят: придет марток, наденешь трое порток. Мороз в конце марта завернул в Петербурге такой, что замерзшие воробьи валялись на мостовой, а люди без крайней необходимости не решались покидать теплых квартир.

Раз утром, когда яркое и ничуть не гревшее солнышко светило прямо в стеклянную дверь лавки Плавильщикова, зазвенел звонок над входной дверью. Никто не обратил особенного внимания, все были заняты своими заботами. А звонок зазвенел опять и опять, хотя никто не входил.



— Кто там балуется, кто балуется! — закричал Ларька. — Ну, я его сейчас попотчую!

Он отворил входную дверь, и на него упал кто-то закутанный в невообразимые одежды — не то цыганские, не то татарские с лоскутного рынка.

— Да это же Малаша! — сказал в ужасе Ларька.

Это была действительно Малаша, которая добиралась до Петербурга невесть как.

— Княжна преставилась, — заплакала Малаша, а пораженные приказчики стали креститься. — По дороге, на почтовой станции под Челябиной.

«Значит, не доехала!» — подумал с горечью Смирдин. Сердце было готово разорваться — но что ж теперь поделывать!

Малаша привезла письмо от какой-то знатной дамы, которая будто бы тоже следовала в Сибирь и из милосердия была при последних часах Аннеты. Дама писала: «Нет ангела, подобного ей. Долго она страдала, пока ангельская душа ее, оставив тленную оболочку, явилась на зов правосудного творца, чтобы получить достойную награду за идеальную временную жизнь ее в этом мире...»

9

Бал приказчиков! Весь Петербург зашумел об этом бале приказчиков. Гостинодворцы скинулись деньгами, сняли Симеоновский цирк на Михайловской площади, испросили высочайшего соизволения, которое было дано тем охотнее, чем сильнее Николай I желал, чтобы общество забыло о казусе 14 декабря. Острослов Иван Слѣнин, книгопродавец, опасно шутил: «Бал приказчиков? А кто же станет прислуживать? Разве хозяева?»

Смирдину также принесли билет — дорогой, на четвертную! Билеты приобрели и другие приказчики, даже Федор Фролович Цветаев, хотя, как закоренелый холостяк, он, наверное, и танцевать-то не умел.

— Ступайте, голубчик, развлекитесь! — напутствовал Смирдина хозяин, который уж и не поднимался, молча страдал под надзором осиротевшей Малаши. — Развлекитесь, что вы все при мне да при деле!

И Смирдин отправился и увидел это собрание, по пышности не уступавшее великосветским балам. Военная музыка гремела, пары оттанцевали мазурку так, что старый деревянный пол Симеоновского цирка буквально сте-

нал по окончании танца. Смирдин, по своему обыкновению, стоял у стены, посматривал.

Подошел напыщенный донельзя Ларивон Апарин, на котором галстук был от Никольса и Плинке, что возле Аничкова моста, а жилет был от Едера, а шляпа от Циммермана,— словом, наш Ларька переплюнул любого денди с Конногвардейского бульвара! Окружали же его столь же расфуфыренные собраты из Шукина и Апраксина двора. Он даже лорнет себе приобрел, чтобы разглядывать приглянувшихся дам.

— Что не танцуете-с, Александр Филиппович?— спросил он с оттенком всегдашней интимности, прищурив нахальные глаза.— Гляньте, сколько невест, и все купеческого звания!

Тут полковая музыка прекратила исполнять трудные для приказчичьего племени полонезы и мазурки, а перешла на привычные кадрили и польки.

— Ах, что за полечка!— воскликнул Ларька и унесся приглашать себе даму, оставив Смирдина и Цветаева у стенки.

Это была французская полька, почему-то получившая название «Николя» (с ударением на последнем слоге). Танцую ее, приказчики напевали: «Николя, Николя, отсчитай мне три рубля!»

И здесь Смирдин увидел свою прежнюю знакомую Эмили фон Нагель, она, все такая же кружевная и в белоголубом, вытанцовывала впереди целой вереницы пар, а ее кавалер, высокий, круглолицый и хорошо, но без форсу одетый молодой человек, был, видно, тоже из немцев.

Когда музыка перестала на последнем «Николя» и пары рассыпались, Эмили оказалась рядом со Смирдиным. Он, на правах старого знакомого, раскланялся. Тогда и Эмили представила ему своего кавалера:

— Мой кузен, тоже фон Нагель, Франц. Франц, а это сам господин Смирдин!

— Неужели?— пришел в восторг кавалер, пожимая его руку.— Сам господин Смирдин?

«Господи, чем это я так знаменит?— изумленно подумал Смирдин.— Вроде бы не миллионер и не убивал никого...»

Эмили, обмахиваясь огромным перламутровым веером, принялась за непринужденную болтовню, а Смирдин краем глаза наблюдал за красавцем кузеном, подме-

тив, что он весьма равнодушно поглядывает на свою хорошенькую сестрицу.

Но тут сквозь толпу протолкался лакей от входа и спросил, кто здесь будет господин Смирдин.

— Вас срочно спрашивают у подъезда.

Это оказался Анастасевич, сгорбленный и весь обсыпанный снегом, как Дед Мороз. Запинаясь, он сообщил:

— Скончался наш Василий Алексеевич, отошел... Маша велела вас найти хоть из-под земли...

И это он, Анастасевич, отставной статский советник, имевший звезду на фраке, послушался приказу крепостной служанки? Смирдин сбежал в гардероб и через пять минут ехал с Анастасевичем на извозчике.

...Гроб с телом Василия Алексеевича поставили в гостиной, а в полукруглой зале библиотеки все собрались для вскрытия завещания. Сердитый нотариус, в форменном фраке с золотыми пуговицами, огласил сначала список душеприказчиков. Среди них были Федор Фролович Цветаев, книгопродавец Иван Слѣнин, всегдашний сосед и конкурент покойного, который и тут не обошелся без остроты, сказав, что те, кому был должен Плавильщиков, те придут первыми, а те, кто остался должен ему, уйдут последними. Всех удивило, что в списке душеприказчиков не оказалось Смирдина, ему самому было это непонятно и даже слегка обидно. Все собравшиеся то и дело оборачивались и смотрели на него.

На вскрытие завещания Плавильщикова собрался весь книжный Петербург. Тут были владельцы типографий, фабриканты бумаги, словолитчики, переплетчики, оптовики, ломовики, писатели, наконец. Сбылось пророчество Слѣнина Ивана: первыми ко гробу пришли держатели векселей покойного. Какие имена! Глазуновы, Плюшары, Ревильон, Битепаж, Селивановский, Исаков — и несть им числа... Все они были похожи на диковинных птиц — иные с надутыми зобами, другие с головами, торчащими из воротников, тот с прической а ля черт меня побери, другой, наоборот, с головою лысой, как пузо. Вот все стали тесниться к стенам, закланялись, заулыбались. Это приехал сам граф Николай Петрович Румянцев, бывший вице-канцлер, меценат, владелец диковинного музеума, весь в орденах и в склеротических жилах на сизой голове. Возле него сел уничиженный Анастасевич, заботясь, чтобы графу нашлось кресло в первом ряду.

Но, чу! — как говорится в романтических поэмах. Но-

тариус со злобным выражением очкастого лица берет конверт и срывает с него пять сургучных печатей. Все притихли. Нотариус долго и нудно читает завещание, со всеми обычными отступлениями о боге и пожертвованиях в пользу церкви, нищей братии, страждущих и обремененных. И в конце концов все понимают, что единственный наследник покойного — Смирдин!

Все опять поворачивают головы и смотрят на Смирдина, который, скрестив руки, прислонился к библиотечному шкафу.

— Незаконно! — почти кричит брат покойного Алексей Алексеевич. — Там есть еще доля родственницы, княжны Скарятинской!

Нотариус, не теряя людоедского вида, терпеливо объясняет, что имеется еще завещание княжны, которое также будет вскрыто. Вскрывается конверт Скарятинской, из чего также следует, что все права наследования безо всяких условий предоставляются Смирдину.

— Это все будет опротестовано! — заявляет Алексей Алексеевич.

Старший приказчик Цветаев поспешно приносит ему стакан воды, которую он пьет судорожно, и искусственные его зубы стучат о стекло.

Тогда начинается шествие посетителей на выход. Каждый проходит мимо Смирдина, поздравляя его с той мерой искренности, на которую способен.

Иван Глазунов, теперь старший среди этой могучей книготорговой фамилии, по-прежнему похожий на якобинца, только с седыми, стриженными волосами, говорит:

— Ох, Смирдин! Там же одних векселей покойного чуть ли не на миллион. Не лучше ли тебе отказаться?

Но тут с поздравлениями подходит не кто иной, как Георг-Франц-Зебаустус фон Нагель, тоже весь уже седой, но крепкий и краснощекий отец прелестной Эмилии. Наклонясь к Смирдину, он советует доверительно, дружески жмет его руку:

— Не слушайте никого, принимайте наследство. Книгоиздательство, книжная торговля — сейчас это золотое дно! А кредит у старого фон Нагеля вы найдете всегда. Не забывайте только, что у нас есть маленькая Милочка, которая по-прежнему ожидает гостей каждую вторую пятницу месяца.

Наконец наступает долгий и хмурый вечер. Вновь сбывается по словам Ивана Слёнина, пророка. Остаются те,

кто обязан покойному Плавильщику его всегдашней русской мягкостью, простотой, заступничеством везде. Рыдает старый товарищ покойного, баснописец Крылов, могучее чрево его сотрясается от скорби, плачет и батюшка отец Варфоломей, грешным образом понюхивает табачок и плачет...

А назавтра отпевание в Знаменской церкви на канале. Яркое солнце золотит оклады икон и висящие паникадила. Небольшая церковь не вместила всех пришедших, многие слушают панихиду через раскрытые окна. Хор поет даже не скорбно, а умиротворенно, словно желая сказать: «Что же вы плачете, друзья? Не ушел ли он к доле лучшей, доле вечной?»

И Смирдин машинально крестится и думает, что теперь он в этом мире совсем одинок. Живут в Москве мать с Антонидкой, он исправно высылает им деньги, и живут они теперь в достатке, без нужды, но ведь почти десять лет он не видел родную мать!

Певчие на клиросе и помогавший им Смирдин умолкают. Отец Варфоломей подает ему знак, и Смирдин спускается к аналою, раскрывает на закладке толстенную книгу и читает. Голос у него негромкий, глуховатый, в церкви же стоит такая тишина, будто кругом нет ни живой души.

— «И отрет бог всякую слезу с очей их,— читает Смирдин.— И смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

А с улицы слышны громкие удары и скрежет — это по Неве идет ладожский лед, наплавные мосты разведены. Ветер шальной, пьяный дует с Ладоги, все флаги, и вымпелы, и флюгера вытянуты на запад, к морю. Чайки с громким воплем носятся над водой и сушей, они ликуют, потому что идет весна.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ ТРЕТЬЕЙ

Из книги: «Краткий обзор книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых за сто лет. 1782—1882.— СПб., 1882».

Несколько уже времени ходили по городу слухи о каких-то неудовольствиях в полках, однако никто не ожидал чего-либо необычайного. В самый же день 14 декабря 1825

года, который пришелся тогда в понедельник, прошел в доме слух о том, что солдаты Московского полка пробежали с ружьями по Гороховой улице на Сенатскую площадь. Почти все мастеровые, жившие в доме Глазуновых, портные, столяры, бросили работу и вышли к воротам, несмотря на увещания хозяев, дожидаясь развязки трагедии, происходившей на Сенатской площади. При этом некоторые довольно громко заявляли, что если дело кончится в пользу бунтовавших солдат и народа, то они доберутся до имущества своих хозяев и вообще состоятельных людей, живших в доме, а в случае их сопротивления порежут им горлышки. Все находившиеся в семействе Ивана Петровича Глазунова, особенно жена и молодая невестка, были в величайшем страхе, ибо знали очень хорошо, что эти люди, в случае удачи бунтовщиков, непременно выполнили бы свое намерение, а защищаться не было бы возможности, ибо вся прислуга перешла бы на сторону мастеровых. Вообще, если бы было поколеблено правительство, то Петербург на несколько дней предан был бы грабежу, убийствам и пожарам и те из состоятельных людей, которым не удалось убежать, погибли бы непременно, а имущество их было бы разграблено и сожжено. Купечеству, по его совершенной неподготовленности к этому дню, досталось бы больше всего. В сумерки распространился слух, что на площади картечью побито много народу и солдаты бегут уже обратно в казармы по Гороховой улице. После этого известия стали мастеровые от ворот потихоньку расходиться по квартирам и безмолвно приниматься за работу. На другой день распространился слух, что пошла большая переборка в казармах и захвачено много главных заговорщиков, из которых многие оказались литераторами и посетителями книжных магазинов, в особенности магазина Слёнина. Словоохотливые до того времени хозяева и прикащики присмирили и сделались немые. Самые важные известия передавались намеками. Сын книгопродавца Заикина, бегавший даже на площадь и едва там не подстреленный, узнал, что из типографии Греча неизвестно куда исчез фактор, причем некоторые полагали, что он был убит картечью и выброшен в Неву вместе с прочими, другие же утверждали, что он спроважен хозяевами типографии, у которых будто бы печатались прокламации и манифест на случай изменения существующего порядка правления, каковые прокламации и были без сомнения уничтожены. Немедленно водво-

рились цензурные строгости, альманахи (любимый род изданий в то время) почти исчезли, и можно было издавать и продавать только серьезные вещи, главным образом духовного содержания...

Глава четвертая НОВОСЕЛЬЕ

1

Петербургские газеты сообщили: в городе появились общественные кареты, известные в Париже под названием «омнибус», для доставления небогатой, то есть многочисленной части столичной публики средств за небольшую плату передвигаться в отдаленные места города, для освобождения оной от монополии извозчиков, которые именно тогда набавляют цену за перевоз, когда для большей части публики настает в этом надобность.

— И правильно! — говорили петербуржцы. — А то что же это такое? За проезд от Аничкова моста до Пряжки дерут восемьдесят копеек! Титулярному советнику надо целый день корпеть, чтоб сумму такую выслужить!

И на перегруженном транспортом Невском проспекте — главной улице империи — величаво поплыл омнибус, с кучером и его помощником в цилиндрах, взиравшими на людскую суету, как боги Олимпа, с высокого облучка. А кругом кричали разносчики: «А вот цитроны, кому цитроны задешево!» или «Пожалуйте, конфет заморский, изготовлен из чистого шоколату!» — спешили в департамент чиновники в крылатках, проносились разнообразнейшие экипажи — от захудалого ваньки в синей поддевке, подпоясанной кушаком, и до роскошной выездной шестерки какого-нибудь вельможи, кучер которой норовил обрызгать грязью зазевавшихся прохожих, а мальчик-форейтор, сидя на выносной, кричал звонко на весь проспект:

— Эй, пади, пади, пади!

У городской думы открылась контора этих омнибусов, народ толпился, желал обязательно проехаться на новинке. Даже те, кто имел собственные экипажи, пришли ради любопытства, установилась очередь. Пассажиры с почтением заглядывали в омнибус, словно в чрево какого-

нибудь левиафана. Скамьи стояли даже на крыше — так называемый «империал», а распоряжался всем бравый кондуктор из унтеров, вооруженный начищенной до блеска медной трубой.

— Гостинный двор! — закричал кондуктор, объявляя очередную остановку, и оглушительно затрубил.

— Ух, все уши заложило! — махнул на него пассажир с львиной гривой седых волос и палкою, у которой набалдашник был тоже в виде львиной головы. — Придержи-ка своих сивых, я здесь схожу. И бока все намяли! Нет, решительно, общественный экипаж не для русского человека!

В сутолоке он наткнулся на другого пассажира, покидавшего империал по винтовой лесенке, и воскликнул:

— Ба, Смирдин! И вы заразились всеобщей страстью к омнибусам? Вы же теперь богач, наймите извозчика!

Смирдин принялся раскланиваться с ним, потому что это оказался не кто иной, как наш старый знакомец, бывший профессор философии Александр Иванович Галич.

— Теперь в департамент езжу, на службу, — грустно сообщил он. — Попечитель университета никак меня обратно на кафедру не берет. Требуется — будешь ли, как полагается, разоблачать лжеучения философов или не будешь? Ну, что я ему скажу? Обещаю, готов присягу принести — буду, буду разоблачать их, мерзавцев, особенно иностранных. Поймите, Смирдин, мне же кусок хлеба нужен, опять же мадам Говорова, подай ей на то, на другое...

Он извлек клетчатый носовой платок, снял шляпу и вытер свой сократовский лоб.

— Нет, любезный мой Смирдин, не поверил мне попечитель!

Так, беседуя, они дошли до перекрестка возле Публичной библиотеки.

— А что же вас не видно, мой дорогой? — спросил Галич. — Мы как раз с моими приватными слушателями «Критика чистого разума» разбирали, Иммануила Канта. Что за молодцы эти ребята!

— Я женюсь, Александр Иванович, — сообщил Смирдин.

Галич страшно разволновался, выбежал зачем-то на проезжую часть проспекта. Кучер пронесившейся коляски чуть не стегнул его кнутом, а полицейский выскочил из своей полосатой будки и стал вразумлять бывшего профессора.

— Вот что, Смирдин,— сказал Галич.— Есть у вас свободная минутка? Я понимаю, вы теперь преуспевающий негодяй, времени у вас в обрез, но не откажитесь посидеть с бедным русским мыслителем. А в департамент я сегодня не пойду, черт с ними, пусть шипят...

И он увлек Смирдина к себе на Гороховую, а войдя в тесенькую прихожую, со следами мух и тараканов, закричал:

— Эй, человек! Прими у нас пальто и шляпы. Да поспеши на угол, пока там не закрылось, возьми полторы бутылки шипучего...

Мрачный служитель со сливовым носом принес требуемое, а Смирдин, который всегда чувствовал к Галичу необыкновенную симпатию, вдруг вынул конверт со стихами, которые он когда-то написал для княжны Аннеты и с тех пор всегда носил с собой. Вынул и размышлял: решиться ли ему их показать?

— Ну, в чем проблема?— спросил Галич, закусывая малосольным огурчиком.

И они проговорили с ним всю ночь, пока блеклое солнце не выкатилось на гребни петербургских крыш. И Смирдин заторопился уходить— были же неотложные дела. Хотя Галич его удерживал и даже пытался идти провожать, но угрюмый человек его не пустил, отняв и палку, и шляпу, и редингот.

— Любовь— это еще не все!— кричал Галич с верхней площадки своей лестницы.— Любовь не определяет путей жизни. Главное— долг, Смирдин, долг перед человечеством... Да отвяжись ты, аспид и василиск!— отпихивался он от назойливого слуги.— Дай хоть проводить по-человечески... Хотя и утверждает Шеллинг, ты слышишь меня, Смирдин? Хотя и утверждает он: ничем не стеснять свободы нравственного существа!

Смирдин стоял, задрав голову, и слушал учителя. Ведь за всю жизнь только покойный Плавильщиков да вот Галич разговаривали с ним на равных, без покровительственных ноток.

— И еще...— продолжал наставлять Галич.— Изящная словесность, Смирдин, не твой... пардон, не ваш удел. Что же правду тут скрывать? Но вы можете колоссальную службу российской литературе оказать— издайте всех писателей! И будете прославлены, как Пушкин!

Придя к Синему мосту, Смирдин обнаружил в своем доме будущую тещу, фрау Нагель, Елизавету Марковну.

Кстати, она была русская, только, пробыв тридцать лет за немцем замужем, по всем ухваткам оказалась еще более немецкой натурой, чем тот.

Елизавета Марковна прибыла со всем штатом горничных и принялась перебирать смирдинское (бывшее плавильщиковское) имущество — белье, посуду, пожитки, отбирая, что оставить, что сдать старьевщикам. Приказчики в лавке хмуро вслушивались в их немецкие контральто, доносившиеся сверху. Когда Смирдин открыл дверь в лавку, он столкнулся с выходявшим кузеном — Францем фон Нагелем. Благородное лицо негоцианта, обрамленное белокурой бородкой, было печально, а Смирдина грыз червь сомненья.

И он позвал к себе Ларивона.

— Ты все знаешь, все умеешь... Нельзя ли мне до свадьбы поговорить с невестой, с Эмили? Устрой как-нибудь, без свидетелей.

Ларька был, конечно, польщен столь интимной просьбой, но счел своим долгом поперечить.

— А о чем вам с нею говорить-то? Повенчают, тогда успеете наговориться. Еще надоедите друг другу!

Смирдин молчал, но просьбы своей не отменял. Ларька понял все по-своему.

— А насчет любви и всякое там прочее-с... Эх, Александр Филиппович! Мне бы взять приданое, хоть пару тысчонок, я бы и на Бабе Яге женился!

— Ступай! — приказал ему Смирдин.

Ларька исполнил просьбу. К вечеру он вызвал его:

— Пойдемте, Александр Филиппович, они в лавке Циммермана, побыстрее надо идти.

У знаменитого Циммермана, кроме парижских шляп, еще продавались так называемые петинеты, то есть ленточки, подвязочки, заколочки и прочая дамская мишура. Эмили фон Нагель, в летней шляпке колоколом, разбирала разложенное на прилавке приказчиком, а рядом с ней была ее горничная Ванда, девица здоровенная, как дискбол.

— Чего прикажете, чего изволите? — юлили приказчики, зная прекрасно, кто эта покупательница и на сколько она может купить. — Вот, не угодно-с? Из Брюсселя только что получены кружева. А вот броши из малахита... Всего пять рублей штука-с.

— Пять рублей! — забасила Ванда. — Это грабеж!

И пока Ванда была отвлечена рассматриваньем брошей, вкрадчивый Ла'рька взял Эмили под локоть:

— Эмилия Егоровна! — и показал глазами на страдавшего рядом Смирдина.

Они отошли к столбу, пока Ванда препиралась с приказчиками, а Ларька ее подзадоривал.

— Эмилия Егоровна! — торопился сказать Смирдин и поэтому сбивался, нервничал.— Если я вам не мил... Если за меня не хотите... Вы добром идете за меня замуж?

— Да,— сказала Эмили и опустила сияющий взор.

— Эмилия Егоровна! — с еще большею силой сказал Смирдин.— Если вы любите другого... Я понимаю все... Если вы любите кого-нибудь, кроме меня...

— Нет,— сказала Эмили и вновь подняла взгляд, отдавая Смирдина его небесной голубизной.

Что сказать о венчании? По желанию родителей новобрачной она не перешла в православие, осталась в прирожденной своей лютеранской вере. Поэтому венчание совершалось дважды— в лютеранской церкви Петра и Павла и в православной у Знаменья, под эгидой все того же отца Варфоломея. Венчание в лютеранской церкви— обряд чинный и скучный, что его описывать? Вокруг на стенах— сердечки и ангельские головки, как символы святого духа. Пастор словно профессор в очках и белых воротничках, а служки в белых стихарях. Затем столь же чинный обед с немецкими тостами и русскими возлияниями. А обряд в православной церкви уж описывать не стану, дабы не испытывать, любезный читатель, твое долготерпение. И так ты можешь сказать— что это он все церковь да церковь описывает, в святоши, что ли, записался? Хотя в те далекие времена церковь и обряды занимали добрую половину свободного времени каждого русского человека.

Ларька пытался внести разнообразие в эту чинность, а был он у Смирдина дружкой и имел полотенце через плечо. Хватил лишку и пел самозабвенно: «Зачем мне невеста, зачем мне жена, у соседа есть коза, у ней карие глаза!»— пытался отплясывать, пока немцы на него не зашикали.

Молодых отвезли в новонанятую квартиру в доме сенатора Княжевича на Старой Лиговке, что за Невским проспектом. Это были семь плотно обставленных мебелью и обвешанных коврами комнат. Теща, фрау Нагель, объявила, что квартира эта— ее личный подарок но-

вобрачным (у нее водились собственные денежки в банке). И вот молодые остались одни.

Потрескивал камин в уютной спальне. Немец-лакей стянул со Смирдина сапоги и удалился с поклоном. Через минуту с приседанием отбыла и Милочкина горничная. По правде говоря, у Смирдина, хоть он был и не робкого десятка, сердце несколько сжималось: какой-то окажется его жена? Небось недотрога — ой да ай, — усмехался он, вспоминая предсвадебные напутствия пьяненького Ларьки.

Ничего подобного. Эмили аккуратненько разложила и расправила свои наряды, затем покрасовалась перед зеркалом в великолепной ажурной ночной сорочке до пят, с пышной плиссированной оборкой. Видимо найдя себя неотразимой, подошла к сидящему на стуле жениху (теперь уже мужу, мужу!) и, закинув розовые локти, обняла его за шею.

Наутро пришли поздравлять родители Эмили и посаженный отец Смирдина — им был сам Иван Васильевич Слёнин, одетый тщательно, как прирожденный французский петиметр, и в золотых очках. Затем пошла суета — завтрак на пятьдесят персон, поздравления, букеты, вновь поздравления, визиты.

К самому вечеру, когда все смертельно устали и двигались как вареные мухи, половина свеч догорела, и было лень их возобновлять, немец-лакей (звали его опять же героически — Зигфрид) доложил:

— Сударь, вас там одна особа спрашивает, ейне фрау...

Это была Малаша, одетая по-дорожному, с котомкой за спиной, повязанная под подбородок. Повалилась в ноги Смирдину, стала благодарить и прощаться. В завещании княжны давалась ей вольная, хотя она, Малаша, плакала и утверждала, что вольная ей не нужна, кто ее накормит, кто ее приютит, как же ей жить по-вольному?

И вдруг словно игла кольнула Смирдина в самое сердце.

— Хочешь остаться у меня?

— Да, да! — закивала Малаша.

Тогда Смирдин взял ее за руку и завел в гостиную, где папа фон Нагель с ближайшими компаньонами перекидывался в бостон, а мама с новобрачной подшивали какое-то оказавшееся просторным покрывало. При этом вспомнилось ему, как грозной осенью двенадцатого года

Плавильщиков вот так же ввел его, беженца, в свою гостиную.

— Малаша — моя старая слуга, — сказал Смирдин. — Она будет жить с нами.

— Абер варум?.. — удивился фон Нагель. — Почему же, зачем?

— Она будет здесь, с нами, — повторил Смирдин. И было что-то в его голосе, чему никто не посмел перебить.

2

Жил-был сиротка в одной помещицкой усадьбе. Никто не знал его происхождения, и ото всех ему доставались одни тумачи да зуботычины. Пищею служили ему объедки, а одевался он в лохмотья. Но злая судьба все же улыбнулась бедному маленькому подкидышу.

Однажды его приметил добрый офицер, квартировавший в том именье, и упрямил хозяина взять казачком к себе в покои. Сиротка оказался и смышлен, и расторопен, и лицом пригож, услужал он большей частью одной из дочерей помещика, которая в одну совсем не прекрасную, а, наоборот, весьма бурную ночь, да вдобавок свирепствовал пожар, бежит из дому с тем самым добрым офицером, чтобы тайно обвенчаться с ним. И слуга-казачок, конечно, следует за молодой госпожой.

Однако жизненный рок вновь устроил так, что сиротка оказывается брошенным на произвол судьбы. Он скитается по местечкам Белоруссии (потому что действие сначала разворачивается там), попадает и к фальшивомонетчикам, и к контрабандистам, и к пройдохам корчмарям, пока с проезжим чиновником не оказывается в Москве.

Тут вновь случается необыкновенное: одна добрая, молодая и красивая дама, у которой в друзьях ходили отменно важные вельможи, поразившись красивой внешности и благородной осанке уже подрастающего казачка, обнаруживает на плече его приметку — след язвочки, выжженной когда-то врачом. И безымянный сиротка по приметке этой получает имя — Иван Иванович Выжигин. А добрая дама велит называть ее тетушкой, дает ему прекрасное образование. Ни в чем не испытывая нужды, он проживает в ее доме, пока случайно не встречает юную и, как ему казалось, невинную красавицу Груню.

Но Груня — это только приманка, через которую не-

опытный юноша Выжигин попадает в лапы компании проходимцев. Они заставляют его бежать от благодетельницы, служить подручным у карточных шулеров и затем, заманив в далекие оренбургские степи, продают его там, в минуту беспамятства и болезни, кочевникам в качестве раба.

Но милосердная судьба вновь поворачивает к нему свой улыбающийся лик. На сей раз — это благородный Араслан-султан, предводитель киргизского племени. Полюбив всей душой честного и мужественного Выжигина, он держит его за родного сына, предлагает даже навсегда остаться в вольных просторах, где нет ни городской сутолоки, ни светской фальши, ни условностей так называемой цивилизации... Выжигин участвует в сражениях кочевников, приобретает свободу и состояние и даже — о, чудо! — встречает того офицера, который когда-то барина упросил сделать его казачком. Выжигин освобождает его из турецкого плена.

Теперь они оба, свободные и богатые, возвращаются в Москву. Тут Выжигин вновь обретает свою благодетельницу, которая ушла в монастырь, более того — он встречает Груню! Груня теперь знаменитая актриса, пользуясь воскресшей с новой силой любовью к ней честного Выжигина, она обирает его до нитки, увлекает в опасные и противозаконные приключения.

Тетушка-монахиня признается Выжигину, что она-то и есть его настоящая мать, а отец его был не кто иной, как молодой князь Милославский, который только потому не смог сочетаться с нею законным браком, что погиб в сражении, а мальчика у нее обманом отняли и подкинули богатому белорусскому пану на двор.

Узнав о своем происхождении, braveй Выжигин решает посвятить себя воинскому делу. Благодаря способностям и личной храбрости, он быстро становится офицером, заслуживает и ордена, и почетную отставку со дворянством.

История такая и не могла не закончиться счастливым браком. Под самый уже конец Выжигин в лесу находит преследуемую злодеями действительно невинную девушку Олинку, которая платит ему бескорыстной любовью. И роман кончается золотыми словами: «Везде есть добрые люди».

Смирдин сидел в книжном складе на ящике. В помещении не было окон, и ветер сквозь щели всюю колебал

огонь свечи. За дощатой дверью складского амбара сиял солнечный день, бухали пудовые ящики, ругались возчики, ржали их сивки-бурки. Типография, бывшая Плавильщикова, а теперь — Смирдина, фон Нагеля и К³, переезжала в новый дом — тот самый на Лиговке, дом Княжевича, где когда-то расторопная теща наняла молодоженам их первую квартиру. Теперь Смирдин покупал у обедневшего министра весь его трехэтажный дом.

Вчера фактор типографии принес хозяину только что отпечатанный и переплетенный сигнальный экземпляр новой книги. За ночь Смирдин прочитал ее, поскольку не успел это сделать в рукописи. Это был роман «Иван Выжигин», сочинение господина Булгарина, издателя популярнейшей из русских газет — «Северной пчелы».

Смирдин потрепал в руке сигнальный экземпляр. Он пах упоительно, как только может для настоящего книжника пахнуть книга, только что вышедшая из типографского станка! Ах, нет более ароматных предметов, как переплетный клей, который припахивает зайцем, взятым на осенней охоте, или чем китайская бумага, которая отдает благовониями пагод, или чем типографская краска, которая дышит всей литературной премудростью древних Соломонов и нынешних Фаустов, Чайльд Гарольдов и прочих...

Теперь этот Выжигин. Почему Фаддей Венедиктович принес его именно Смирдину? Мог бы ведь и Гречу, и Плюшару... Мог бы и сам издать, в конце концов! Он же пользуется громкой славой, этот Булгарин, через свою «Северную пчелу», которая знает все на свете и обо всем берется судить.

Правда, покойный Рылеев (при воспоминании этого имени Смирдин не удержался, оглянулся на темные углы амбара и суеверно перекрестился), покойный Рылеев издательски называл ее «Северный клоп», а Булгарину предвещал: «Погоди, будет революция, мы тебе на твоей «Северной пчеле» голову отрубим!»

Но люди 14 декабря ушли в небытие, а Булгарин — вот он! Вчера с молодой женой Смирдин был в концерте и видел, как суетился там Булгарин: прислушивался к шепоту публики, наблюдал за выраженьями лиц, следил за каждым взмахом смычка в оркестре, за каждым пассажем пианистки. Тут как раз были профессор Галич и с ним один из его учеников — Никитенко, умнейший малый, который сказал:

— Взгляните, Фаддей собирает взятки для своей «Пчелы». Назавтра одним будет мед, другим — горечь!

Все довольно смеялись словам молодого остроумца. А Смирдин, кстати, так не может — единым словом срывать, ему это не дано. Он тоже вроде пчелы — трудится без оглядки, строит свои соты, копит свой мед. И еще не дана ему жестокость — отказать, прогнать, осмеять, особенно если перед тобою продукт добросовестного труда. А роман — ведь это исполинский труд!

Особенно такой роман! Тут вся Россия у него отображена: и высший свет, и мизерные проходимцы, и достоуважаемые столицы, и глухие закоулки империи, и русские и киргизы, и другие племена, чего тут только нет! А с какой подкупающей правдою — тут и вконец разоренные помещичьи деревни самодура-крепостника из польских панов, тут и взяточники-чиновники, у которых целая система задурить просителя, чтобы и дело ему не сделать, и оголить его до нитки. И все это есть у Булгарина в романе! Есть у него и образцовый помещик, некто Россиянин, у которого и крестьяне сыты, и пьянства беспробудного нет, и грамоте он учит, и трудится сам. Имеются любители выхвалять господина Пушкина «Евгений Онегин». Правда, там высокая поэзия, а поэзия — божий дар! Но он же сам написал в титуле — роман в стихах. А у него там крестьяне — благолепные пейзажи, а не вечно голодные и вечно нищие русские мужики, помещики — байронические герои, а не пьяницы и собашники, каковы они на самом деле есть... Защитники Онегина уверяют — цензура бы, мол, не пропустила. Но пропустила же Выжигина цензура!

Стой, стой! Смирдин остановился в своих размышлениях — так нельзя. Это как раз по-булгарински — противопоставлять одних другим. Для него, издателя, книгопродавца, существует лишь одна ипостась — русский литератор! Лишь бы занимательно писал, а читатели бы раскупали, а его, Смирдина, дело — издавать их всех!

Со скрипом отворилась щелястая дверь амбара, и вместе с ворвавшимся лучом солнца всунулась нечесаная борода подрядчика.

— Хозяин! Аглицкую махину печатную в ящике куда велишь заносить, ошую али одесную — налево или направо?

— Ошую, ошую! — улыбнулся Смирдин и встал, потягиваясь.

Что за жизнь пошла тормошливая, ни минуты ему покоя! Но эта жизнь как раз по нему.

Когда грузчики проволокли ящик и, надев шляпы, удалились, Смирдин вновь присел, листая книжку. Остановился на посвящении «Всем благомыслящим россиянам», а предисловие обращено к графу Закревскому, которого некогда Булгарин знал лично. Граф теперь в силе — министр внутренних дел! Обставился Фаддей на всякий случай.

Тот же Никитенко, которого Смирдин встречал на частных лекциях в квартире Галича, отнюдь не дурак, несмотря на молодость лет, и со связями, поговаривают, что скоро будет он цензором. Этот Никитенко однажды, когда они вышли от Галича и шли вдвоем по набережной (кстати, вот признак умного человека — в обществе он нем как рыба, а откровенничает только вдвоем!), сказал:

— После несчастного 14 декабря в салонах и гостинных или просто в семьях о политике ни гугу. О чем же прикажете тогда говорить русскому человеку? Не все же о козырных ставках или псовой охоте. Значит — о бель летр, то бишь об изящной литературе. Сейчас время такое, что будет раскупаться все литературное, что только выйдет из-под типографского станка...

Он и сам, Смирдин, это понимает. Пусть у Булгарина «Скоттом пахнет», как выразился все тот же неистощимый Иван Слёнин, используя игру слов. Пускай там запахи, краски, образы и от Байрона, и от Купера, и от Гюго, но это русский роман для русского читателя, там не выдуманная, а натуральная русская жизнь.

И у него, у Смирдина, также есть кое-что, чего нету ни у кого другого: у него есть книготорговое чутье! Он как азартный игрок, хотя он в карты не играл сроду, а теперь поставил ва-банк. Тиснул пресловутого Фаддея семью тысячами экземпляров, выдал векселей, где только брали. И уверен — роман пойдет!

Снова скрипнула амбарная дверь, и ворвалось ликующее солнце. Но это была на сей раз молодая хозяйшюшка, Эмилия Егоровна, в белом глазетовом платьице с перетянутой талией.

— Бедный! — сказала она мужу и, за неимением куда сесть — не на щепастый же ящик! — села прямо ему на колени. — Бедный! — поцеловала она его в висок и приглади-

ла пробор.— Выселили тебя из твоей конторы! Но это временно, пока ремонт. Я сама отобрала обои — стрелки и крылышки, стрелки и крылышки — зер нидлих, очень мило. А теперь ты чем занят?

Смирдин, осторожно обняв жену, чтобы по неловкости не поломать корсет, заговорил об авторах, поставщиках, подрядчиках, переводчиках...

— Фи! — решительно сказала Эмилия Егоровна. — На сегодня все отменяется. Я велела подать коляску, мы едем на Невский к самому Петерсону. Я не желаю, чтобы мой муж был одет как господин средней руки. У моего мужа фрак должен быть только от Петерсона!

Не давая ему возражать, она уткнулась носом ему прямо в грудь и веяла запахами не заячьего клея или кипарисовой бумаги, а запретным, волнуящим, страстным, любимым, своим. И прошептала, не отнимая лица от его шейного платка:

— Алекс, у нас будет ребенок!

3

Дорогой мой читатель, ты, наверное, уже соскучился по нашим с тобою беседам, давненько я не обращался к тебе с очередной сентенцией. Так вот она — возьми ее скорей! — скажем и мы, подражая слогу поэта.

Заметил ли ты, достойный читатель, что жизнь напоминает кулисы театра? Не бывает так, чтобы человек, ежели он живет нормально, всю жизнь прожил среди одних и тех же людей, в кругу однообразных обстоятельств. Казалось бы, течет жизнь устойчиво и даже монотонно. И вдруг — бац! — взмах руки неведомого режиссера, и все меняется: и люди, и друзья, и родня, и семейство... Декорации проваливаются в неожиданные люки, а вместо них воздвигаются новые миражи.

Так и наш Смирдин, за жизнью которого мы с тобою, благосклонный мой читатель, следим с таким упорством и пунктуальностью. Не прошло и года с кончины благодетеля Плавильщикова, а жизнь его повернулась, словно лотерейное колесо. И теперь, мой читатель, мы направимся с визитом к человеку, от которого хочешь не хочешь, а в дальнейшей жизни нашего Александра Филипповича многое будет зависеть.

Вообрази себе, читатель, Петербург, ночь. Летняя или там осенняя темная ночь, когда небо уже не озаряется све-

чением севера, но и вьюги еще не застилают хмурой пеленой небосвод.

Кто же ночью не спит в царствующем граде Санкт-Петербурге, угадай? Конечно, это дежурный флигель-адъютант государя и начальник дворцового караула. Согласен, их окошки брезжат на фоне черной громады Зимнего дворца. А еще кто не спит? Будочник в полосатом своем строении на углу Невского проспекта и Садовой улицы? О, вот это ты не угадал, проницательный мой читатель! Как бы не так! Храпит как сукин сын этот будочник, пока не начнется обход и не огреет его фельдфебель начальственной тростью.

Тогда кто же еще не спит?

Литератор, литератор, не будем тебя утомлять загадками — петербургский литератор!

Вот он в своей тесенькой квартирке, которая, однако, предусмотрительно им снята на Песках, то есть вблизи Александро-Невской лавры, куда не достигает сокрушительная сила наводнения. Горят в шандале сразу три свечи — имеет же он право не экономить хоть на них, беречь свое зрение, орудие производства и кормления всех его близких и дальних.

Обширный стол завален у него рукописями и корректурами, в большинстве которых можно без труда узнать материалы для достославной «Северной пчелы». Несмотря на еще теплую пору, кафельная печка протоплена, хозяин за свою многотрудную жизнь столького натерпелся, что может позволить себе и послабление, чтобы в кабинетике его было тепло.

По убранству кабинетика нельзя составить представления об индивидуальности хозяина. Это типичный кабинет петербургского просвещенного обывателя двадцатых — тридцатых годов. На столе бронзовая статуэтка Наполеона со скрещенными по-демонически руками. Прямо напротив литографированный портрет — лорд Байрон, с лицом не по-людски прекрасным и с романтически развевающимся шарфом. А вот и Шеллинг, властитель дум всякого, кому кажется, что он призван «вслед за шумною толпою идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни идей...».

Однако, чу! Что мы делаем? Мы осмеливаемся в этом доме цитировать «Евгения Онегина», а это здесь равносильно святотатству, потому что хозяин дома сего злейший

неприятель его автора, а именно это Фаддей Венедиктович Булгарин.

Кто у нас не знает этого имени? Только тот, кто вообще не изучал русскую литературу. Уж какими эпитетами мы его ни награждаем — доносчик, жандармский агент, предатель декабристов! Действительно, в этих обстоятельствах не знать его все равно что доброму христианину не знать о существовании Сатаны.

И вместе с тем — друг Грибоедова, Рылеева, один из основателей российской журналистики, плодовитейший автор самых читаемых в свое время романов. История не терпит раскрашиваний в одну краску, история есть живопись, борьба света и тени.

Отец Булгарина был поляк, участвовавший в революционной войне Тадеуша Костюшки. Он был схвачен русскими оккупантами и сослан в Сибирь. Но вскоре был прощен, и сын его смог окончить кадетский корпус, стать офицером русской армии.

Далее судьба Булгарина напоминает историю его любимого героя Ивана Выжигина: участие в войне против Наполеона, ранение, госпиталь, нужда по выходе в отставку, доходящая до попрошайничества (имений-то у него не было!). Затем вступление во французскую армию и поход вместе с ней до Москвы. Затем, естественно, русский плен.

Но русский человек отходчив, и вот уже Булгарин прощен, живет в Петербурге, находит себе высоких покровителей, издает газету, единственную, которой было дозволено помещать политические обзоры из международной жизни, и обзоры эти сочиняли деятели Третьего отделения. Входит в доверие к будущим декабристам, а Грибоедов посвящает ему «Горе от ума», и Булгарин неумоимо хлопочет, чтобы пьесу эту напечатать.

Впоследствии рассказывали, что Арсеньева, бабушка Лермонтова, чтобы обеспечить любимому внуку успех и на литературном поприще, преподнесла Булгарину томик его стихов, выпущенный Глазуновым, и меж страниц вложила сторублевую ассигнацию... И «Северная пчела» тут же молодому поэту устроила шумный хор похвал.

Именно Булгарин по личному заданию Бенкендорфа написал словесные портреты пытавшихся бежать декабристов — тогда же ведь фотографии не было. Именно по сделанному им словесному описанию был схвачен в Варшаве переодевшийся и совершенно себя преобразивший Вильгельм Кюхельбекер. Были пойманы Пушкин, Сухи-

нин, Обрезков — кто знает, может быть, тоже по записочкам Булгарина Фаддея?

Теперь он сидит за письменным столом в своей уютной квартирке, где кафель печи за спиной отдает приятным теплом, приглаживает себе гусиным пером весьма проглядывающую лысину. Ему не подают руки? Ну, пусть. Зато ему кланяются еще издали, знают его силу. Купцы от Щукина двора присылают ему на дом белорыбницы, откушай, мол, северная пчелка, не поскупись нам на рекламу!

Третьего дня был он на квартире у самого Бенкендорфа. Надо ли напоминать, что после государя это вторая по значению персона в империи?

Бенкендорф, моложавый, полнеющий блондин, по своей привычке не предложил ему сесть, а сам, развалясь на софе в богатом бухарском шлафроке, перебирал всякие бумажки.

Вдруг одну бумажку он протянул Булгарину:

— Вчера тут был мосье Пушкин, правда, сыновья тут мои вокруг играли со своими лошадками. Я подписал Пушкину все, что он просил. Потом говорю: «Ты, брат Пушкин, еще мне ни одного стихотворения не посвятил, даже ни одной литературной строчки». — «Извольте», — говорит и сообщает экспромт. Я после его ухода вот на бумажке записал. Здесь есть какой-то явный смысл, не может быть иначе. Но какой?

Взглянул Булгарин на бумажку и обомлел. Там написано: «Дети на полу, умный на диване...»

Чем больше смотрит Булгарин в бумажку, тем более у него по спине холодные мурашки бегают. Ведь это же — «детина полуумный на диване»! Неужели сам шеф жандармов этого не понимаете? Или это тонкий к нему, Булгарину, подвох?

А Бенкендорф добродушно смеется.

— И ты, брат, разобратся не можешь? Перемудрил где-то наш Пушкин, перемудрил. И чего это государь с ним носится, как с вундеркиндом каким?

— Не могу знать, ваше высокопревосходительство! — только и смог развести руками Фаддей Венедиктович. За что тут же получил нагоняй от шефа:

— Меня следует именовать только «ваше превосходительство». Ты, человек, принятый в свете, должен это понимать. «Ваше высокопревосходительство» я буду, если государю благоугодно будет меня пожаловать в сенаторы

или произвести в генерал-фельдмаршалы российской армии...

Булгарин, усмехнувшись, берет зеркальце, чтобы привести в порядок растрепавшуюся, да к тому же и скучную, прическу. На него глядит полногубое лицо любящего пожить человека, слегка припухшие, все понимающие глаза... О, господи!

А за окном над хребтинами крыш темным-темна петербургская ночь. Только где-то уж очень далеко мерцает одинокий огонек. Это на колокольне Александро-Невской лавры монах бдит — как бы не проспать, ударить к утру.

4

— Проклятый Смирдин! — Он шлепнул по столу ладонью, корректуры и рукописи разлетелись. — Мерзкий торгаш! Мне за моего «Выжигина» уплатил две тысячи, а чистой прибыли при таком тираже взял сколько? Вот простейшие расчеты!

Булгарин разволновался, опять принялся портить прическу гусиным пером.

— И кто только его, деревенщину проклятую, такой арифметике научил? Он что делает — повышает тираж и за счет этого снижает цену каждого отдельного экземпляра. Вот пример: Иван Слѣнин издавал «Басни» Крылова, напечатал четыре тысячи, еще и сейчас всего не распродал, хотя там и гравюры у него, и виньетки, и переплет марокен. Но по семи рублей за экземпляр...

Булгарин яростно отложил эти семь рублей на счетах.

— Теперь что же делает этот Смирдин? Хорошо зная, что его собрат Слѣнин теми баснями еще торгует, он склоняет вечно жадного Крылова продать ему, Смирдину, вообще право издания его басен отныне и навеки. И тут же тискает этих же басен десять тысяч, но без иллюстраций. Да еще усмехается, гостинодворский хам, кому, говорит, нужны изображения ослов, козлов, мартышек — выйди, говорит, на Невский, их можно там увидеть воочию! Остричь научился, краснобай стал пуще того же Ваньки Слѣнина. Зато экземпляр басен Крылова у него по цене в переплете четыре рубля, а без переплета и всего два! В ресторации на том же Невском проспекте средний обед стоит один рубль. Вот и валит народ за «Баснями» не к Слѣнину, а к Смирдину!

Обогатился на его «Выжигине» этот Смирдин! Да и не только на «Выжигине», а успел он и Ломоносова издать, и Державина, ведь это какие барыши! Недаром здания себе по сто двадцать тысяч покупает, а недавно за сто тысяч снял на Невском новопостроенный дом петропавловской лютеранской церкви (тесть его там в церковных старостах ходит) и хочет перетащить туда свой магазин и библиотеку.

Булгарину стало совсем досадно, но тут взор его упал на новоотпечатанного «Ивана Выжигина». Он взял книгу, взвесил — это, действительно, получилась вещь! Рассказывают, что барыньки в лавках друг у дружки из рук ее рвут. К книгопродавцам подольщаются, лишь бы «Выжигина» купить. В провинции подписку на него составляют и нарочного к Смирдину посылают, а тот не успевает допечатывать тираж.

И ведь правдивая вещь, прямая! (У Булгарина от чувства гордости даже в носу защемило.) После Радищева никто еще так прямо не вскрыл недостатки матушки-Руси. Однако, в отличие от Радищева и от безумцев 14 декабря, Булгарин нигде не призывает к мятежу. Самодержавное правительство — он твердо верит — сумеет навести порядок. Неправды, злоупотребления, всевозможные утеснения искоренятся сами собой!

Если б правительство прислушалось к его, Булгарина, советам! И об этом прямо говорится в его романе:

Ах, что нынче за время—
Взяток брать не велят!

А какие глубокие есть мысли: «В бедствиях дитя скоро созревает, а муж стареет» или «В дурных обстоятельствах мы составляем мудрые проекты, которые забываются, когда беда проходит...». А имена героев — Удавич, Граблин, Вороватин — сразу видно, что злодеи. Миловидин, Славин, Добродетелев — положительные персонажи. Читателю и гадать не надо. К тому же нет у Булгарина привычки именовать героев двусмысленно, чтоб давать повод к кривотолкам, кого сочинитель изобразил да кого высмеял. Вот Грибоедов, милый друг. Этот как окрестил своего героя — Скалозуб, так досужие кумушки в гостиных весь персонал в армии перебрали, чтобы найти прототип. Что ж вы думаете? Нашли! Только не полковник, а есаул и казачьего войска. А этот наглец Пушкин —

псевдоталант, арап записной — иначе чем Флюгариным в своих эпиграммах его не именуется, и всем это понятно!

Опять стало досадно до слез.

Вот почему он и выбрал себе в качестве издателя именно Смирдина. Его история чем-то похожа на историю Выжигина. Тоже сам себя сделал, не благодаря каким-то там связям или кумовству, а своими заслугами вышел в люди. Сколько в России, например, титулярных советников или коллежских регистраторов, то есть чинов тринадцатого-четырнадцатого классов? Десятки тысяч. А сколько в России прапорщиков, поручиков, аудиторов, экзекуторов? Не менее. И всяк из них питает надежду рано или поздно выслужиться, только честно, как сделал это Иван Выжигин, минуя все соблазны и беззакония, получить, наконец, воледеленное дворянство.

Россия наша уж так устроена, что может управляться благом образом только при помощи касты избранных — сегодня это дворяне, завтра будет какая-нибудь секта или сообщество, но так будет вечно. Народ — скотина, сам собою управлять не может.

Вот потому-то и рвут из рук его «Ивана Выжигина», читают семьями вслух и по очереди, записываются на него в библиотеках. Но обогатился-то на этом не он, автор, а Смирдин, издатель, проклятый торгаш!

Взять того же Пушкина. Вечно без денег ходит, кому из торговцев на Невском не задолжал? А ведь аристократ — подай ему все самое отменное, дорогое. А квартирует у Демута, кажется, нет иной гостиницы более грязной и безобразной, зато дешева!

Говорили, третьего дня этот Пушкин в вист семнадцать тысяч проиграл... Семнадцать тысяч! Чего бы ему не проигрывать — у него и Болдино, и Михайловское, сотни душ крепостных на него трудятся, а он, Фаддей, все своим потом заработать должен. А что же он, не заслужил себе коляски от Иохима или сюртук от Петерсона, как какой-нибудь рюрикович? Вот они, целой фалангой выстроились у подножья российского Парнаса — князь Вяземский, барон Дельвиг, господин Загоскин, сенатор Бегичев, который марают скучнейшие романы из быта помещиков, кто из них где икнул да кто аукнул. А любезный был дружок Грибоедов, царство ему небесное, вечный покой! Так на что ему гонорары, когда он в именьях своих точного счета не знал, да и женат был на княжне царского рода.

Булгарин встал, открыл форточку, подышал свежим

воздухом северной ночи. За спиной в детской завозилась девочка, заплакала. Булгарин неслышными шагами прошел к ней, поцеловал в разгоряченную щечку, подоткнул одеяльце. Прошел по квартирке, заглядывая в каждую комнату. Везде светились лампадки под образами, везде царил покой — и это было главным его удовольствием в конце дня, наградой за сизифов труд. Правда, не в четырнадцать комнат, как иные петербургские апартаменты, где есть и малая приемная, и большая приемная, и комната для собачек, но это его гнездо, свитое им самим.

Большие напольные голландские часы в столовой (это тоже предмет его гордости, эти часы!) басом пробили час пополуночи. Булгарин вернулся в кабинетик, очинил новое перо, раскрыл бювар со стопою чистой бумаги верже (тоже ведь удовольствие для писателя!). Снял с пера пушинку, покрасовался им в воздухе и начал:

«Петр Иванович Выжигин. Сын знаменитого Ивана Выжигина. Роман».

Конечно, союзники у него не надежны. Создатель по «Северной пчеле» Греч? Этот болтун беспочвенный, недаром в эпиграмме про него пишут: «Язык ему надо немножко присечь...» Кроме того, ведь он же печатал манифест для декабристов, теперь всего на свете боится... Другой союзник — Осип Иванович Сенковский, профессор востоковедения, муж, конечно, ученый и в литературе мистификатор хоть куда. Он и Барон Брамбеус, он и Тютюнджи-Оглу («Сын табачника»). Но склочник, но ворчун, каких надо поискать!

Тут Булгарин понял, что он уже спит, положи голову на бювар с заглавным листом: «Петр Иванович Выжигин». А из трех свечек в шандале мерцает лишь одна. Устал, устал, бедный Фиглярин!

В усмешке он покривил чувственные губы.

Нет, надо приручать к себе Смирдина. Вот с кем можно вершить дела, кто и надежен и все понимает. Пусть станет капитал живой душой литературы!

5

— Гей, Федот, чего ты там возишься? Пускай машину!

— Сейчас, сейчас, сударь, шпиндель заело!

В типографии Греча собралось много издательской публики, чтобы присутствовать при опробовании новой

скоропечатной машины, которую не из Англии какой-нибудь завезли, а изготовили природные россияне, и здесь же, в Санкт-Петербурге.

— Давай, Федот, кончай же копать!

Николай Иванович Греч, владелец типографии, нервничает, весьма польщен всеобщим вниманием. Даже граф Хвостов приехал из сената, бросил свои государственные дела. Ну, ему-то типографический праздник — пуск нового станка — тоже не чужд, пишет он много, хотя и читают его плохо. Граф, молодежавший красавец, лет уже шестидесяти, потряхивает седой гривой, похохатывает, жмет руки то тому, то другому, некоторым, кто имеет вес в журналах, он сует заранее заготовленные списки своих стихотворений.

Но не граф, не граф на сей раз привлекает внимание Греча. Прибыл сам Смирдин, ныне знаменитейший в книжном мире Петербурга. Он оборудует с тестем свою новую типографию и может заказать таких станков несколько... Но и не в станках дело — дело в капитале, которым владеет сей Смирдин.

— Федот! — В отчаянии так и подпрыгнул Греч, потому что механизм, который никак не мог наладить злополучный Федот, находился наверху, под крышею цеха.

Но тут, наконец, взвыли колеса трансмиссии, стал двигаться шатун туда-сюда: сначала медленно, потом все быстрее. Паровик работал, сотрясая кирпичный фундамент типографии, пар попыхивал к потолку.

По мановению Греча механик нажал рычаг передачи, и талер типографского станка под давлением пара начал двигаться тоже, а печатная форма ему навстречу, и вот из-под станка поползли уже отпечатанные листы. Носатый, саркастически улыбающийся печатник, похожий на Мефистофеля, еле успевал выбирать листы и складывать их в стопу.

Смирдину припомнилось далекое детство на Воскресенском мосту, деревянный печатный стан, похожий на крепость, бородатый печатник в кожаном фартуке, свирепо скоблящий ножом печатный набор, и, наконец, мальчик Гаврило, с отчаянием тянущий вниз куку — рукоять станка — в надежде, что оттиск получится яснее. Прогресс! Теперь с каким-то изяществом хитросплетение металлических колес и рычагов под аккомпанемент пошвыстывающего пара то и дело щелкает и выдает оттиск за оттиском.

Смирдин усмехнулся, снял перчатку и взял один оттиск. Это была завтрашняя (завтрашняя!) «Северная пчела». Вслед за Смирдиным взяли по оттиску и все присутствующие, стали рассматривать чистоту печати.

— Парблэ! — вдруг выругался по-французски граф Хвостов. — Греч, что у вас тут напечатано? «Солдат, прибывший в столицу на тихвинке, то есть на барже, приплывшей из Тихвина, умер поутру, по уверению врачей, холерою».

Граф отбросил лист газеты и стал тереть пальцы платком, будто уже в самом сообщении содержалась опасность заразы.

Заволновались, заговорили не о новом станке, а о холере. В прошлом году она из глубин Азии дошла до Нижнего Новгорода, до Москвы, до Твери — теперь, значит, и в Петербург?

— Федот, останови! — пытался Греч перекричать пар и свист машины.

— Чего изволите? — нагнулся сверху механик.

Наконец машина замолкла. Граф Хвостов принялся рассказывать, как сам он был остановлен холерой, когда выезжал с сенатской ревизией. Седые патлы его развевались, глаза сверкали весельем, как будто он побывал не на холере, а на каком-нибудь святочном карнавале.

— Все вы, поэты, фантазеры, — заметил Иван Слѣнин, блеснув очками. — Из тягчайшего бедствия вы ищите себе предмет вдохновенья. Вероятно, это и естественно. Вот господин Пушкин прислал мне для альманаха любопытнейшую сценку — «Пир во время чумы».

И Слѣнин принялся читать на память:

Царица грозная, Чума
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой;
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой...
Что делать нам? и чем помочь?

Но публика его не слушала и разбежалась прочь, на всякий случай поближе к своим семейным очагам.

Вышел Смирдин, щурясь от негреющего осеннего солнца, сделал знак своей коляске, чтоб подъезжала. Греч хотел с ним завести долгожданный разговор относительно выпуска нового журнала — большим тиражом и с обязательной выплатой вознаграждения сочинителям. Смирдин извинился, сообщив, что супруга его вот-вот родит и он должен домой.

— Через Невский, сударь, не проедем,— кучер повернулся на облучке.

— А что там?— рассеянно спросил Смирдин, думая о своем: о том, будет Никитенко цензором или не будет (от этого зависит послабление или ужесточение цензуры его, смирдинских, изданий), о том, почему Булгарин не хочет дать ему печатать «Петра Ивановича Выжигина», продолжение его знаменитого романа. Наконец, о том же, о чем думают когда-нибудь все люди,— о том, что утром Милочка, не вставая с кровати, взяла его за руку: «Я боюсь, Алек! Не уезжай сегодня, брось свои дела». Но опробование нового станка требовало его непременно присутствия, и тогда теща, Елизавета Марковна, решила: «С тобою, Милочка, побудет Франц, твой кузен». А Смирдин, уходя, подумал: «Вот есть же счастливыцы, которые могут сами себе выбирать занятие!»

— Почему же через Невский не проедем?— спросил он кучера.

— Полиция цыган гоняет по случаю холеры. Изю всех дворов их выковыривают.

И правда, когда они пустились в объезд через Мещанскую улицу, навстречу им выбежала галдящая толпа цыганок в пестрых юбках, с голыми коричневыми локтями, с мотающимися серьгами. Некоторые как попало тащили младенцев, и те, ко всему привычные, не кричали, только зыркали глазенками. Будочники гнали их, заходя полукругом, чтобы направить вон из города к Московской заставе.

Две или три цыганки (он потом так и не мог вспомнить, сколько их было) смело вскочили в коляску Смирдина, так что рессоры закрипели: «Ой, барин, барин, родной, увези!»

— Погоняй!— крикнул Смирдин кучеру.

— Что вы, что вы!— закричал тот в ужасе.— Как же можно, полиция!

Смирдин вырвал у него вожжи и хлестнул, а цыганки поспешили упасть на дно экипажа и юбки свои подобрать. Полиция беспрепятственно пропустила промчавшийся через ее цепь элегантный экипаж, запряженный двумя серыми лошадьми,— приобретение папы фон Нагеля. Цыганки выпрыгнули на ходу при переезде через Фонтанку. Последняя оглянулась Смирдину в лицо белозубой улыбкой. Мотались в ее ушах серьги, похожие на кольца.

— Александра!— ахнул он.

Но цыганки быстро исчезли в лабиринте проходных дворов Ямской слободы.

Дома он застал уже приглашенную повивальную бабу из немецкого приюта, Милочку, капризничающую в постели, а вокруг нее хоровод в составе Елизаветы Марковны, Малаши, Ванды и прочих служанок со всякими снадобьями и лакомствами в руках. Кузен Франц, поглаживая бородку, с достоинством сидел неподалеку и держал раскрытым новейший французский роман Жанена «Мертвый осел и гильотинированная женщина», который он, в промежутках между Милочкиными капризами, читал вслух. Завидев входящего Смирдина, кузен встал, отложил роман и, откланявшись, вышел.

— О, Алекс! — жаловалась Милочка, обнимая за шею наклонившегося к ней мужа. — Их фюрхте мишь, я так боюсь, Алекс!

И лицо ее было невинней, чем лик ангела, а капельки слез и пота как драгоценный убор.

Впрочем, все было благополучно в этом доме и сегодня, и завтра, и послезавтра, а вот в городе разыгрывалась трагедия холеры.

В день умирало по 600 человек, главным образом бедноты. Царь и его двор, бросив все, бежали в Петергоф. Предписано было, чтобы не распространять излишней паники, хоронить умерших только ночью. Современник с ужасом описывает эти обозы, нагруженные гробами, без духовенства, без провожающих. При красном мерцающем свете смоляных факелов и душераздирающем скрипе колес тянулись погребальные дроги на далекие загородные кладбища.

Умирал старый Иван Глазунов, тот самый, похожий на якобинца. Приведенный к нему врач, сам опасаясь заразы, разговаривал с ним через форточку, даже пульс его, который несчастный старик просовывал ему, он отказался пощупать. Дети и наследники знаменитого книгопродавца, столпившись в прихожей, с ужасом слушали через дверь, как умирающий просил глотка воды, и никто не набрался смелости войти и подать.

Уже нам знакомый Никитенко, который готовился стать цензором, впоследствии записал в своем дневнике: «Лазареты устроены так, что они составляют только переходное место из дома в могилу. Присмотр за больными нерадивый. Естественно, бедные люди считают себя погибшими, лишь только речь заходит о помещении их

в больницу. Больные обыкновенными болезнями заражаются от холерных и умирают наравне с ними. Полиция наша, и всегда отличающаяся дерзостью и вымогательством, вместо усердия и деятельности в эту плачевную эпоху только усугубила свои пороки. От этого в разных частях города уже начинаются волнения. Народ ропщет и, по обыкновению, верит разным нелепым слухам, как, например, будто доктора нарочно отравляют больных...»

В полночь на вторник у Милочки начались схватки. Домочадцы металась по квартире. Приглашенная повивальная бабка из немецкого приюта хотя и имела гейдельбергский диплом, объявила, что без доктора Вагнера она ни за что ручаться не может. А доктор Вагнер, семейный врач еще Плавильщиковых, а теперь Смирдиных, был мобилизован на холеру.

— Надо за ним послать, — сказал Смирдин.

— На Сенной площади бунт! — заявил папа фон Нагель. — Озверевшая толпа разбила госпиталь, больных распустила по домам, а трех врачей повесила!

— Особенно мучат врачей-немцев! — сообщил кузен Франц, а женщины в ужасе смотрели ему в рот. — Утверждают, что немцы нарочно изобрели холеру, чтобы навредить русскому человеку.

— Что же делать?

Смирдин, подняв свечу, всматривался в напряженные лица домашних — одутловатый Георг-Франц-Зебаустус фон Нагель, благородный кузен Франц, очкастый и похожий на отшельника Федор Фролович Цветаев, героический лакей Зигфрид...

Он велел подать себе крылатку. Со Смирдиным вызвался идти Апарин Ларька, который, по случаю холеры, не ходил ночевать домой.

Доктора Вагнера они без затруднений нашли в Обуховской странноприимной больнице. Доктор охотно воспользовался предложением покинуть стонущий и безобразный вертеп, каким было это лечебное заведение. Врачи пропустили его через специальный окуливающий аппарат, и они пошли. Ларька вел их по закоулкам Загородного проспекта, которые были ведомы ему одному.

В ночной напряженной тишине доктору Вагнеру, видеть, молчание было невмоготу. Он непрестанно заговаривал с идущим за ним Смирдиным.

— Государь сегодня прибыл на пироскафе из Петергофа, — сообщил он. — Лично вышел на Сенную площадь

увещевать народ. Говорит, что вы бунтуете? Вы что, русские или французы?

«Легко увещевать,— русские или французы,— не без досады подумал Смирдин,— когда весь Петербург артиллерией окружен. А люди-то умирают!» Вслух же он сказал:

— Шагайте, доктор, шагайте. Не споткнитесь, здесь яма.

Без приключений они дошли почти до Лиговки, пока на перекрестке у Пяти Углов их не задержали мужики, вооруженные дубинами, и осветили фонарем их лица.

— Нет ли среди вас немцев?

— Я немец! — заявил Ларька и выразился матерно, да столь замысловато, что мужики крикнули и захохотали.

— Дайте лучше, братцы, закурить,— обратился Ларивон, потирая руки.

Закурили. Смирдин не курил никогда, а доктор Вагнер, который со страху язык проглотил, закурил тоже, чтобы его ни в чем не заподозрили.

— Я одного лекаря все же камнем по затылку оглушил,— похвастался один из мужиков.— Будет он меня помнить!

— Ну и дурак,— усмехнулся Ларька.— Он тебя лечит, а ты его — калечить?

— Как бы не так! — закричали враз все мужики.— Они забирают в холерные бараки и больных и здоровых, а отпускают только тех, кто откупится!

В это время из-за угла Разъезжей улицы высунулась ошалелая рожа и прокричала:

— Братцы! Поймали аптекаря! В помойный ящик спрятался!

Мужики подхватили фонарь и дреколье и скрылись в направлении Волкова кладбища. А наши герои без дальнейших приключений достигли своего дома. Уже брезжил рассвет.

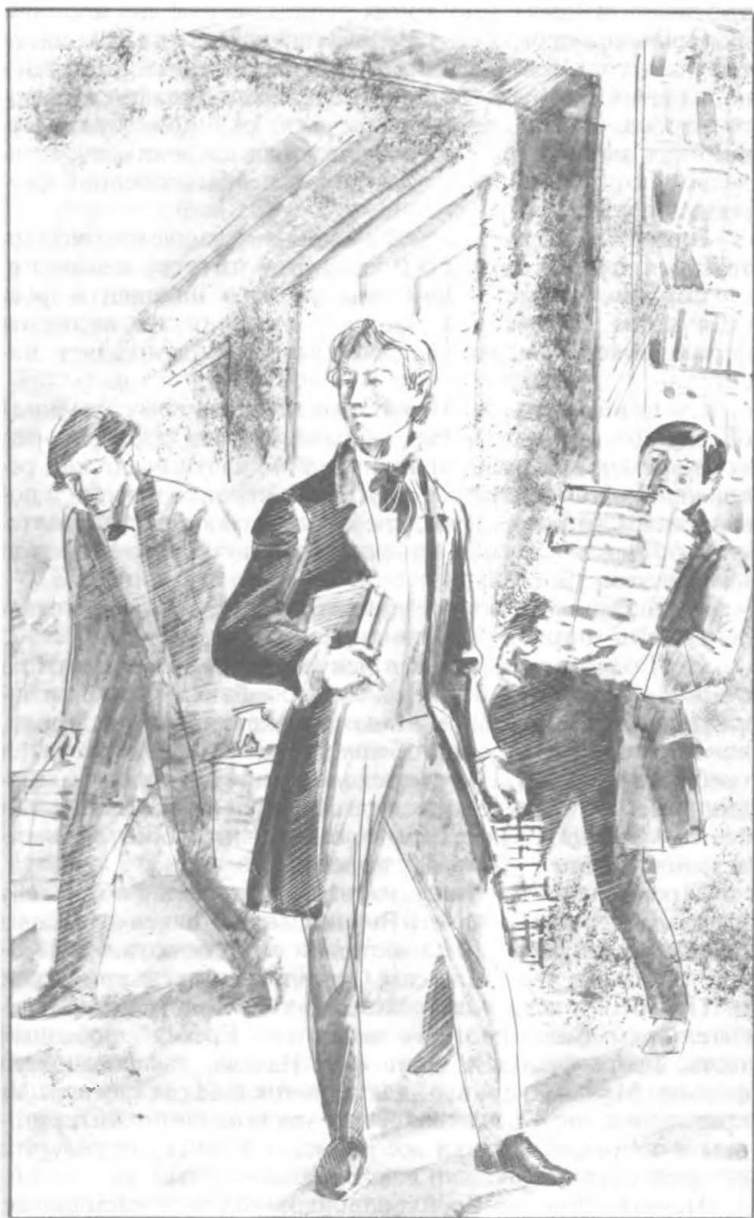
Им открыла дверь Маша и с порога поклонилась Смирдину:

— Поздравляю вас, Александр Филиппович, кормилец. У вас родился сын.

6

Но вот наконец «Северная пчела» объявила на всю Россию:

«В царствующем граде Санкт-Петербурге на Невском



проспекте в прекрасном новом здании, принадлежащем лютеранской церкви св. Петра, в нижнем жилье находится книжная торговля г. Смирдина. Русские книги в богатых переплетах стоят горделиво за стеклом в шкафах красного дерева, и вежливые приказчики, руководствуя покупателями своими библиографическими сведениями, удовлетворяют потребность каждого с необыкновенной скоростью.

В верхнем жилье над магазином устраивается библиотека для чтения, первая в России по богатству и полноте.

Сердце утешается при мысли, что наконец и русская наша литература вошла в честь и из подвалов переселилась в чертоги. Это как-то воодушевляет писателя».

Смирдин хотел по этому поводу дать литературный обед у Донона или Дюмэ, знаменитейших рестораторов того времени. Однако практичный по части всяческой рекламы Греч посоветовал обед этот устроить именно в помещении Смирдина, там, где главная зала его библиотеки — большая, светлая, с огромными полукруглыми окнами на Невский проспект.

— Библиотека еще не приготовлена... Книги расставлены не по порядку... — заикнулся Смирдин.

Но Греч сказал, что это чепуха. Быстро прикинул на счетах, сколько такой обед может обойтись, если приглашать только пишущих и печатающихся, а не всех подряд, кого прельщает даровой обед у купца. Смирдин отсчитал требуемые деньги. Грач впоследствии вспоминал: «Смирдин ничего в этом не смыслит. Я вошел в сношение с любезнейшим Дюмэ, ресторатором. Само собою разумеется, обед вышел на славу, прелесть».

Мраморную лестницу на второй этаж в библиотеку щедро осветили свечами. Вышколенные лакеи от Дюмэ были как монументы с салфетками через локоть. На верхней площадке у зеркала сам Смирдин в новеньком фраке от Петерсона встречал гостей, прибывающих по приглашительным билетам. Ему помогали Греч и любезный тесть, Георг-Франц-Зебастус фон Нагель, как совладелец фирмы. Музыка, правда, как водится в таких случаях, не пригласили, но Греч сказал, что это и не надо. Литераторам в собрании музыка все равно ни к чему, потому что каждый слушает только сам себя.

Первым прибыл Воейков, эпиграмматист, насмешник, суетливый, хлопотливый и, вероятно, в парике, потому

что для его возраста прическа у него была излишне лохматая. Так как к официальному Смирдину было не подступиться, Воейков отозвал в сторонку фон Нагеля, не успев с ним даже хорошенечко познакомиться, и тут же сообщил ему эпиграмму на Греча, который, по его словам, «нахал в натуре, из чужих лоскутьев шит; он — цыган в литературе, а в торговле книжной — жид!».

Не успел фон Нагель подивиться такой литературной приткости собеседника, как Воейков вновь притянул его и сообщил другую эпиграмму, указывая на поднимающегося Булгарина, который в наимоднейшем фраке табачного цвета томно шурился на многочисленные свечи:

— Тут кто? Гречева собака, забежала вместе с ним. То Булгарин, забияка, с рылом мосичьим своим.

Воейков похихикал, ожидая, какое впечатление он произвел на фон Нагеля, и продолжал:

— А французской крест ужель надеть забыл? Ведь его он кровью русской и предательством купил. Но на чем он стал помешан? (То есть сей Фаддей.) Совесть ум свихнула в нем. Все боится быть повешен или высечен кнутом!

Булгарин, завидев Воейкова, нашептывающего изумленному фон Нагелю, нахмурился и погрозил пальцем. Воейков на время отстал от смирдинского тестя, но потребность в слушателях в нем пересилила, а гости стали подъезжать один за другим. Поэтому он опять впился фон Нагелю в рукав и продолжал эпиграммы и про Жуковского («Ноги вытянувши чинно, черта дразнит языком...»), и про старичка-баснописца Измайлова, которого и так мало читали и почти не печатали на фоне могучих басен Крылова («Ходим с музою в трактир, водку пить, есть лук с сельдями, мир квартальных — вот мой мир...»).

Наконец явился тяжело дышавший, давно не стриженный, весь какой-то запущенный Иван Андреевич Крылов. Воейков подхватил его и утащил в буфет, подкрепиться перед предстоящим обедом.

Жуковского все стали поздравлять с аннинской звездой первой степени, которую он удостоился, конечно, как воспитатель и учитель наследника цесаревича Александра Николаевича. Красивая звезда, вся в бриллиантовых каплях. Смирдину почему-то вспомнились капельки пота на лбу Милочки, когда она лежала в родах. Жуковский смущался на поздравления, хотя раскланивался непринужденно — он же был царедворец!

— А что же ваш новый журнал, друзья? — спросил он

Смирдина и Греча, беря их под локоть.— Я прощупывал почву, государь выслушал благосклонно... Хотя и изволил сказать: «Разве мало у нас журналов?»

Греч засуетился.

— Нужен толстый журнал, ежемесячный... «Сын отечества», конечно, заслуженное издание. Но там политика, быт... Для словесности и места не остается. Что— «Московский телеграф»? Сей телеграф нам не указ, там Николаша Полевой такую фанаберию разводит, либеральничает, все высмеивает подряд, того и гляди, его прикроют. Кроме того, далеко Москва от Петербурга, и впрямь— другая планета!

— К тому же опыта нет... — сказал Смирдин.

Подошел и вмешался в разговор Булгарин.

— Цензура не даст выпускать ежемесячник! — с уверенностью заявил он.— Теперь даже стишки в дамских модах вымарывают. Когда государь отменил чугунный устав 1826 года, все ожидали цензурных послаблений— нате вам!

Литераторы, сначала окружившие Жуковского и обоих издателей, стали отходить в сторону. Никому не хотелось попадать в неприятность со столь дерзкими речами Булгарина. Возьмет да и сам же потом донесет!

Тут как раз вступил на верхнюю площадку толстый цензор Семенов, бывший лицеист, однокашник Пушкина, остановился перед зеркалом поправить галстук и слышал последние слова Булгарина.

— Напротив! — сказал он.— Государь и его превосходительство Александр Христофорович хотят сделать все, чтобы цензура была строгой, но справедливой. Но согласитесь же, что благоустроенное государство без цензуры невозможно! Французская революция подготовлена была и разразилась из-за слабого смотрения правительства за свободой книгопечатания... Не правда ли, Василий Андреевич?

Жуковский, опустив взор, чертил носком сапога узор по ковру. Разговор о цензуре и свободе печати был ему неприятен.

— А где же Пушкин? — спросил он.— Что ж он не едет?

— Небось где-нибудь в клубе за зеленым столом,— съязвил Булгарин.— Арапскую кровь свою тешит. Что ему литераторы, если карта вдруг пошла?

— Ну что вы,— мягко заметил Жуковский.— Ему те-

перь не до клубов. Когда дома такое чудо небесное, как Наталия Николаевна, никакие карты не потянут.

— Ты мне покажи Пушкина, — шепнул Смирдину тесть фон Нагель. — Пушкина, Пушкина покажи! Я его еще ни разу не видел.

Между тем гости пошли один за другим. Поклоны, радостные восклицания, дружеские рукопожатия перемежались эпиграммами и анекдотами, похожими на сплетни. Но Греч был прав: в собрании литераторов оркестр был ни к чему — каждый слушал сам себя.

Пришли художники — Александр Брюллов, брат великого живописца, портретист Уткин. Брюллов-младший только что вернулся из Парижа, где полотно его брата «Последний день Помпеи» произвело необыкновенный фурор. Некоторые состоятельные петербуржцы, не вытерпев, пока картина прибудет, наконец, в Россию, ездили в Париж, только чтобы на нее посмотреть. А для менее богатой публики Брюллов, прихватив с собою гравера Галактионова, там, в Париже, награвировал копию знаменитого полотна на двух медных листах, чтобы оттиски продавались — где? Опять же у Смирдина!

Художники принесли с собою блокноты и карандаши и принялись рисовать приглашенных. Впоследствии они изготовят знаменитую гравюру «Новоселье у Смирдина», из которой мы с вами и получим возможность узнать воочию, кто там был кто.

Примчался, как всегда радостный, граф Хвостов, седые патлы его развевались. Всем сообщал, как трудно было сегодня уйти с архиважнейшего заседания сената.

— Я приехал, господа, я приехал, — повторял он. — Можно садиться за стол!

— А вот и Пушкин! — Смирдин потянул тестя за рукав. — Гляди, фатер, вниз, он как раз отдает лакею трость и цилиндр.

— Этот желчный господинчик с рыжими бакенбардами? — удивился фон Нагель. — Вот бы никогда не сказал! Я думал, вон тот, черноволосый красавец с огненными глазами.

— Это тоже поэт, — сказал Смирдин. — Но малороссиянин, зовут его Нестор Кукольник. Видел на театре драму «Рука всевышнего отечество спасла»? А с ним его земляк, смотри, фатер, — длинный такой, носатенький, с чубчиком. Это господин Гоголь-Яновский, говорят, из

очень богатых помещиков. Но пишет — умора! Ты не читал еще его «Записки пасичника Рудого Панька»? Прочти!

Завидев Пушкина, Булгарин распустил все свои павлиньи перья и отправился в залу отпускать критические замечания как по поводу наставленных на столе блюд, так и по поводу книг, виднеющихся за стеклами шкафов.

Пушкин же, поднявшись наверх, принялся пожимать множество протянутых ему рук, улыбался всем своей олимпийской улыбкой.

Все двинулись садиться за стол, но тут Смирдина отозвал старший лакей — там, внизу, некто явился без приглашительного билета, называет себя литератором, гм!

Пришлось Смирдину спускаться вниз, а Греч занялся рассаживанием гостей, что было крайне ответственно. У литераторов, как у бояр Древней Руси, существует свое местничество!

Внизу, у входа, лакеи, смеясь, окружили субъекта в ветхом армячке и картузе, который словно нарочно трепали и пачкали, прежде чем напялить ему на голову. Смирдин тотчас его узнал — это был Чижик, точнее — Чижиков, обитатель ночлежек Апраксина двора.

— Я тоже лирета... литератор, — объявил Чижиков заплетающимся языком. — Почему ты, Смирдин, меня не пригласил, зазнался, купчина? Разве я не сочиняю для вас, книгопродавцев, жития угодников или похождения нимф от Поцелуйного моста, чтоб вы их печатали?

— Сочиняешь, сочиняешь, — согласился Смирдин. — Вот что, любезные, — велел он лакеям. — Вы накормите его где-нибудь хорошенечко, а я должен наверх.

7

Греч отличился, рассаживая гостей. Во главе стола был помещен Иван Андреевич Крылов. Во-первых, он, бесспорно, патриарх российской словесности, недавно пожалован статским генеральским чином, к тому же все равно настолько толст, что в ряду гостей ни с кем не поместится. Далее следовали высокородные — князь Вяземский, граф Хвостов, барон Розен, сразу за ними — Жуковский, Пушкин. Греч и себя не забыл — уселся вместе с Булгариним по обеим сторонам влиятельного цензора Семенова.

Да и, по правде сказать, рассадить их всех — мудреное дело! Ведь это был золотой век русской литературы.

Сам же Смирдин категорически отказывался есть, даже в самом конце стола рядом со своим тестем фон Нагелем, возле которого торчал как пиявка все тот же Воейков, нашедший в нем терпеливого слушателя своих эпиграмм. Смирдин стоял возле стола с салфеткою в руке, желая изобразить из себя лишь прислужника российской словесности. Быть может, ему вспоминалась далекая юность, коммерц-ресторан в Китай-городе и его владелец, господин Фрейшютц, который, как никто, умел щегольски перебрасывать салфетку через локоть, наблюдая за порядком в обслуживании.

Гости воздали честь блюдам ресторана Дюмэ, некоторое время слышался только стук ножей и вилок и предупредительные голоса лакеев: «Изволите квасу?», «Северюжинки не повторить-с?». Один граф Хвостов ничего не ел, не пил, потому что ему не терпелось прочесть заготовленный панегирик в честь Смирдина, который был засунут за расшитый обшлаг его сенаторского фрака. Наконец Греч, который давно все это приметил, смилостивился над бедным стихотворцем и позволил ему читать.

Граф Хвостов встал, расправил седые волосы, с торжеством взмахнул бумажкой. Все приостановили еду, уставившись на графа. Но пока он вынимал из кармашка складной лорнет, вирши упали под стол, и потребовалось некоторое время, чтобы разыскать их под ногами пирующих. Наконец порядок был водворен, и граф стал очень громко и с выражением читать, поминутно останавливаясь и ожидая, какое впечатление он производит на слушателей:

Угодник русских муз, свой праздной юбилей,
Гостям шампанское для новоселья лей;
Ты нам Державина, Карамзина из гроба
К бессмертной жизни вновь, усердствуя, воззвал
Для лавра нового, восторга и похвал.
Они отечество достойно славят оба;
Но ты к пареню путь открыл свободный,
Мы нашим внучатам твой труд передадим...

Граф был вознагражден рукоплесканьями столь щедрыми, как, может быть, никогда ранее среди своей братии литераторов, которые всегда относились к нему несколько с иронией. А ведь он, незлобивое дитя Парнаса, был до рукоплесканий большой охотник!

Потом кто-то, перекричав всеобщий восторг, пожелал

узнать, о каком именно юбилее в жизни Смирдина говорит здесь стихотворец. Все затихли, ожидая ответа.

— Ровно тридцать лет тому назад я встал за прилавок книжной лавки,— ответил Смирдин.

— Позвольте,— спросил цензор Семенов,— сколько же вам было тогда лет?

— Семь лет-с.— Смирдину вспомнилась темная лавочка дядюшки Ильина, добрая кривая Антонидка, грозный диакон Анфил, наконец, княжна Аннета...

А рукоплесканья возобновились с еще большею силой. Граф Хвостов воспользовался этим обстоятельством, чтобы еще раз прочесть вслух свое поздравление, прибавив и выразительности, и пауз для непрерывающихся восторгов.

Когда все затихли, Смирдин, совсем потеряв от волнения голос, попросил собравшихся пожертвовать свои произведения в альманах «Новоселье», который он готовится издать. Был пущен заранее заготовленный подписной лист, чернильница и перо (тоже выдумка Греча). Первым подписался Жуковский, за ним по порядку другие. Тем временем Смирдин взял у графа Хвостова бумажку со стихотворением и передал ее Ларивону, который, как адъютант в сражении, неотлучно находился при особе хозяина. Панегирик Хвостова будет отпечатан в типографии Смирдина и уже к концу обеда роздан на память всем гостям.

Между тем, окончательно упоенный своим успехом, граф потребовал: «Шампанского, шампанского! Ну, Смирдин, не скупись!» Но Смирдин во всем следовал приказующим жестам Греча. Греч ему кивнул — подавай! И лакеи дружно понесли бутылки с серебряными головками. Читая надписи на этикетках, гости ахали в восторге: «Боже мой, Клико, Моэт, Аи! Ну, Смирдин, ты волшебник!»

Конечно, мой читатель, ты живешь в другую эпоху и мои описания заставят тебя нахмуриться и предсудительно покачать головой. Но обратимся-ка к классике: «Оно сверкает Ипокреной; оно своей игрой и пеной (подобием того-сего) меня пленяло: за него последний бедный лепт, бывало, давал я. Помните ль, друзья? Его волшебная струя рождала глупостей немало...»

Пробки хлопнули в потолок. Встал Греч с бокалом для первого тоста, чего он, конечно, никому уступить не мог. Здравие государя императора — провозгласил он сей

драгоценный тост. Все присутствовавшие желали здоровья и долголетия великодушному монарху, воскресившему отечественную словесность. Российские императоры и императрицы, по словам Греча, всегда были первыми ценителями талантов в отечестве, публика наша следовала мановению государей.

«Северная пчела» расписывала на другой день, что за сим столом было пито за здоровье почтенного хозяина, затем за каждого из присутствующих, затем за русских литераторов, отошедших в мир иной, начиная с Антиоха Кантемира... У произносивших тосты начали путаться языки...

Тогда встал Пушкин и ясным, звонким голосом сообщил, что он хочет сказать экспромт в честь хозяина новоселья. Все дружно захлопали, ожидая блестящего стихотворения, один Булгарин скривился и отвернулся, а Пушкин только просверлил его острым взглядом.

Но это было не стихотворение.

— Товарищи мои,— сказал поэт, обращаясь к литераторам.— Помните ли вы название лучшей комедии Мольера? Правильно, «Буржуа-жантильом». То есть, ежели не совсем точно перевести, «Мещанин во дворянстве». Вот мне и хочется нашего любезного хозяина нынче поименовать «Либрэр-жантильом», то есть благороднейший из книгопродавцев! Я слышал от банкиров, что ваши векселя принимаются, Смирдин, к оплате без малейшей задержки, вы богатейший книжник в Петербурге. Вы теперь живой пример того, как через книжную торговлю можно стать и богатым и знаменитым. Но вы как-то при мне сказали, что вам не столь важно нажиться, как связать свое имя с русской литературой. Вот за это я и поднимаю свой Клико!

Смирдин снова подал знак, снова на подносах поплыли бутылки с серебряными горлышками, а тосты возобновились.

Теперь послушаем-ка очевидцев.

Греч спустя несколько дней писал в Москву приятелю: «А и нельзя отнять и от Пушкина большого эпиграмматического дарования. Признаться, на смирдинском новоселье мы хватили лишку, а он более других. Завидев цензора Семенова, который был посажен между мною и Булгаринным, он закричал ему через стол: «Что-то ты, брат, сегодня как на Голгофе?», а вы же знаете, что на Голгофе Христос был распят между двумя разбойниками. Слова

эти тотчас всеми были поняты. Я хохотал, разумеется, громче всех, аплодировал, посылал летучие поцелуи Пушкину... Но Булгарин пришел в совершенное от этого нравственное расстройство и задыхался от бешенства».

А еще рассказывают, что Пушкин заметил, будто Булгарин спрятал себе в рукав сервизную чайную ложечку. Тут удивляться не приходится, потому что в знаменитом «Иване Выжигине» на странице 172-й подробно объяснено устройство, которое шулера помещают себе в рукав, чтобы подтибривать с зеленого стола карты. «Стоит только погладить обшлагом, и карта исчезает, как проваливается». А ложечки у ресторатора Дюмэ все были фирменные, серебряные, хорошо вызолоченные и с вычеканенной коронкой, потому что Дюмэ носил титул поставщика двора его величества.

— Господа, господа! — Пушкин встал над столом, созывая всех вернуться, потому что многие разбрелись кучками в разные концы пиршественной залы. — Господа! Не хотите ли, я покажу вам фокус?

— Просим, просим! — закричали литераторы, зная, каким шутником умеет быть их Пушкин.

— Вот, я беру эту ложечку, — продемонстрировал ложечку Пушкин, — и прошу желающих удостовериться, что ложечка самая ordinaria, без подвохов.

Желающие удостоверились. Булгарин сидел напротив, накупившись, ожидая, к чему клонится дело.

— Теперь я кладу эту ложечку в свой правый рукав, видите? — Пушкин манипулировал как заправский факир. — Теперь, как говорится, ахалай-махалай, ейнцвей-дрей! Фаддей Венедиктович, выньте-ка ложечку из вашего левого рукава.

Булгарину ничего не оставалось, как вынуть ложечку. А граф Хвостов, который ненавидел Булгарина за то, что тот осмелел его под фельетонным прозвищем «Князь Слабоголовин», закричал на всю залу:

— Ну, это уж слишком! За кражи и морду бьют!

Пушкин, смеясь, вынул ложечку из своего рукава и отдал ее Смирдину, затем, сделав общий поклон, собрался домой.

Булгарин перехватил его за колонной.

— Теперь нам ничего не осталось, как драться, — прошипел Фаддей. — Я жду ваших секундантов.

Пушкин ответил, натягивая перчатки и даже не смотря Булгарину в лицо:

— А помнишь, что ты сказал бедному Дельвигу, когда покойник пытался за оскорбление в печати вызвать тебя на дуэль? Ты объявил, что в жизни видел больше крови, чем он, Дельвиг, чернил, и отказался. Так вот и я тебе скажу — не нужны мне ни твоя жабья кровь, ни твои змеиные чернила!

Взял трость и вышел во тьму февральской снежной ночи.

А разливанное море в зале смирдинской библиотеки продолжалось бы и за полночь, если бы не прибыла туда вдруг теща хозяина, госпожа фон Нагель, Елизавета Марковна. При ней был лорнет, но она обозрела поле минувшего сражения невооруженным взглядом.

— Ларивон, Зигфрид! — начала она командовать. — Хватайте их под мышки, выводите на лестницу. У кого есть своя карета, велеть, пусть подъезжают. Эй, Базунов! А ты беги на угол к Гостиному двору, пригони сюда побольше извозчиков.

— Вот женщина! — с сожалением говорил, глядя на ее действия, эпиграмматист Воейков и чесал затылок под косматым париком. — Говорят, женщина приносит нам счастье... Нет, господа, чаще всего она его уносит!

8

Был самый купальный сезон. Море под Стрельной раздольно плескалось, набегаая на песчаные пляжи. Тут и там виднелись купальные будки, по вымощенной дорожке вдоль берега то и дело проносились ландо и фаэтоны, полные смеющейся молодежи: военные в статском, а женщины в дачных туалетах с зонтиками. Имеет сельская свобода свои счастливые права.

Смирдин шел по дорожке, усыпанной толченым кирпичом. Белый щегольской стюртук его был распахнут, шейный платок повязан вольно. В руке он нес старательно упакованную связку книг. Это были первые экземпляры его долгожданного детища — «Библиотека для чтения».

Шел не торопясь, размышлял, как все перевернулось за десять лет, когда вот так же он привез на дачу Плавильщикова только что отпечатанный альманах «Полярная звезда»! Он тогда тоже предпочел прийти на дачу пешком, отправив вперед Ларивона с книгами. Теперь, правда, наоборот: он отпустил от шоссе кучера, который отпро-

сился поехать на свадьбу к брату, а сам пошел пешком вдоль моря, сигнальные экземпляры неся с собой.

Как тогда ждали у Плавильщикова появления этого альманаха, как радовались ему! Какие суждения были, надежды у этих, которые затем ушли 14 декабря...

Мимо прошла компания молодых баричей, хохотавшая кем-то рассказанному анекдоту или шутке. Слуги следовали за ними на почтительном расстоянии, у них были свои разговоры.

— До начала концерта остался ровно час.—Один из баричей вынул часы на цепочке.—Как бы нам убить время?

«Убить время!—с ужасом подумал Смирдин.—Кто-то же изобрел столь варварское выражение... Убить время, живое, пульсирующее время, которое всегда приходится дозировать — по полчаса, по пятнадцать, по десять, по пять минут — и вечно его не хватает!»

Тогда, десять лет тому назад, он был слуга. Управляющий, главный приказчик, но все равно — слуга. Теперь он сам словно барин, у него у самого слуги — и никак не может к этому привыкнуть, стремится все личное делать сам. И что главное — его люди прекрасно понимают это и с ним, Смирдиным, обращаются почтительно, но как с равным.

Самая же его гордость — то, что он несет в руке, — его журнал. Профессор Сенковский — Барон Брамбеус — оказался как главный редактор на высоте положения. Выдумки, изобретательности, конечно, ему не занимать! И знакомств у него множество — в журнал дали свои вещи и Пушкин, и Жуковский, и Гоголь, особенно хорош получился раздел науки, а также смесь — сообщения отовсюду и обо всем. И толстый — триста страниц! Где-нибудь в провинциальной усадьбе теперь хватит чтения и разговоров на целый месяц, пока новый номер не придет. У нас еще не было таких журналов. Семь тысяч подписчиков! Вся читающая Россия!

А на титульном листе красивым шрифтом венецианской гарнитуры напечатано во всю ширину: «Издание Александра Смирдина». Это ли не награда за все бессонные ночи, за месяцы неусыпного труда и тревожных ожиданий?

Смирдин повернул к даче, которую в этом году теща ухитрилась снять в самом фешенебельном месте. В прошлом ее снимал какой-то заезжий немецкий герцог. Мно-

го готики, цветного стекла, резного дуба, клумб и садовых дорожек и совсем мало простого уюта. Ну да бог с нею, с Елизаветой Марковной, в последние месяцы она все менее довольна своим деловым зятем, даже непонятно почему.

— Алекс! — выбежала навстречу Милочка. — Где же ты пропал? Я целый час смотрю на дорогу. Ты знаешь, ты знаешь, Заша пошел!

— Как, как? — не понял сначала Смирдин.

— Заша пошел, наш сын! Стал ходить своими ножками!

Тут надо сказать, что Милочка, Эмилия Егоровна, хоть и говорила по-русски безупречно, а вот букву «С» в начале слов никак не могла отучиться говорить как немцы — «З». И получалось у ней — Заша.

— Заша пошел!

Она удержала хотевшего кинуться в детскую Смирдина, приложила к его губам пальчик.

— Ш-ш! Хочешь расскажу, как это было? Мы с няней оставили его в детской на диване, а сами здесь, на веранде, кроили летние платица. Ему стало скучно, слышим — он слез с дивана, топ-топ, сначала несмело, потом все быстрее и пришел к нам! Я решила, когда ты приедешь, мы это повторим.

Из тещиной половины (роскошная дача делилась на две огромные половины) раздался ее голос, сообщавший, что самовар на столе.

— Сейчас, сейчас, муттерхен! — ответила Милочка. — Эйн ойгенблик!

Няню вновь отозвали на веранду, а мальчик, еще не зная, что приехал отец, остался в детской на диване.

— Заша, Заша! — звала его мать.

— Сашенька, иди сюда! — позвал и Смирдин.

Но мальчик не отвечал, занявшись игрушками. Вот в соседней галерее послышались шаги, скрипнула дверь, и появился кузен Франц, в морской рубашке, босиком и в закатанных брюках. Он возвращался с рыбной ловли. Проходя мимо детской, он подхватил племянника и вынес его на веранду. Эксперимент не состоялся.

Смирдин переоделся к чаю, взял сына на руки и вошел с ним в гостиную тещи. Пока шли застольные разговоры, любовался мальчиком, которому он привез игрушку из Гостиного двора — выпиленного и раскрашенного петуха.

Князь Одоевский, один из авторов Смирдина, боль-

шой чудаки и выдумщик, однажды рассказывал легенду, будто жители Земли произошли от пришельцев с другой планеты. А пришельцев тех было два племени — широкоглазки, то есть те, у кого глаза широко расставлены на лице, и, наоборот, узкоглазки. Смирдин уж не помнит, что там у него было дальше, по совести сказать, он ни одной пиесы, приносимой ему для издания, до конца не дочитывает или вообще просматривает по диагонали, как изволит выразаться Барон Брамбеус. Но что его сын-ишка, его наследник, как и он, Александр Филиппович Смирдин, из племени узкоглазок — это сугубо верно. А все фон Нагели с их добрыми немецкими лицами — они все широкоглазки. Мальчик его Саша — вылитый отец, длинноватый носик, разрез глаз насмешливый, с опущенными вниз краями.

За чайным или за обеденным столом у фон Нагелей свой этикет, свои условности, которые тогда были приняты во всех семьях, претендовавших на порядочность, от великосветских до самых чиновничьих или мещанских. Сколько бы в доме ни было прислуги, но разливала чай из самовара или суп, принесенный из кухни, сама хозяйка и никому этого не передоверяла, потому что хозяйкой очага была здесь только она.

Папа фон Нагель расположился в соломенном кресле, загородясь «Северной пчелой», откуда выпало приложение — модные картинки, на сей раз — дамские прически.

— Подумать, куда как ныне изящен головной убор девушки! — стал рассматривать моды Георг-Франц-Зебастус. — Вместо грациозно упдающих на грудь локонов теперь на висках торчат пучки волос — чужих, ха-ха-ха! — Фон Нагель изобразил, как они торчат. — Коса свита на голове, что делает ее остроконечною, а лицо выглядывает из этих ухищрений словно у какого пуделя!

— У пуделя! — рассердилась Елизавета Марковна. — Много ты в прическах, майн герр, понимаешь. Ты что — куафер? Судил бы о своей политике или литературе, а ты — локоны!

Папаша погрузился в газету, но тут же от нее оторвался:

— Ого! «Пчелка» опять господина Пушкина разобрала, его повесть «Барышня-крестьянка». Считает весьма посредственной, говорит, выдохся Пушкин, исписался!

— А я читал эту повесть, — вдруг высказался всегда молчаливый кузен Франц. — Не хуже, чем у Жюль Жанена.

— Или у самого Булгарина, ха-ха! — воскликнул фа-

тер.— Пушкин — прелесть! — И он поцеловал свои кончики пальцев.

— А мы вчера, когда к морю ходили,— на правах фаворитки вмешалась в разговор господ Малаша, которая, как это было принято еще во времена трапез князей Скарятинских, стояла у двери, скрестив руки,— мы видали госпожу Пушкину. Оне с сестрицею в коляске изволили прокатываться по береговой дорожке. Красивые барыни, как райские птицы, дай бог им всего.

— А говорят, что генеральша Керн красивее, за которой теперь наш цензор, молодой профессор Никитенко, увивается,— сказал фатер, не отрываясь от газеты.— Это та, разведенная, которой опять же Пушкин стихи посвящал!

— Ничего подобного! — вскричала Милочка, подавая матери чашку для чая.— Самая красивая здесь — это графиня Девиер, внучка петровского генерал-полицмейстера. Я слышала, что сам государь...

Елизавета Марковна столь выразительно на нее взглянула, что Милочка, взяв чашку, вся предалась чаепитию.

— А с госпожою Пушкиной в том экипаже,— продолжала Малаша, которую распирало от информации,— был молодой военный, весь тальистый, с усиками и кувшин белый на голове.

— Кувшин! — захохотали мужчины.— Это кивер кавалергардский, белого цвета. Ну, Малаша!

— Это был, вероятно, молодой барон Геккерен,— заметила Милочка, которую также распирало от информации.— Говорят, что он и...

— Не может быть! — заявил старший фон Нагель, который очень любил Пушкина.— Все это враки.

— Весь Петербург говорит,— подтвердил кузен Франц.

— Бедный Пушкин! — Папаша даже отложил газету.

— Что вы все — Пушкин, Пушкин! — вмешалась суровая фрау фон Нагель.— Весь вечер только и слышишь — Пушкин! Ни о чем серьезном поговорить нельзя. Вы бы, господа, сложили ваши рыболовные верши, которые вы бросили у крыльца!

Ее супруг быстро понял, что сегодня повелительница его очага не в настроении, и, подхватив кузена Франца, отправился собирать рыболовную снасть. А Смирдину теща сказала: «У меня к вам разговор», надела ему на ра-

стопыренные руки моток пряжи, сама уселась перематывать. Все поспешили оставить их вдвоем.

— Вы знаете, что Милочка вновь беременна?— спросила Елизавета Марковна.

Смирдин кивнул головой.

— Ну, и какую же участь вы заготовили для моей дочери?

— Детей ведь бог посылает,— как можно мягче ответил Смирдин.

— На бога надейся, а сам не плошай... Такая, что ли, есть у русских поговорка? Вы не забыли, мой друг, что я тоже русская?

Смирдин не знал, куда она клонит. Но Елизавета Марковна пустилась говорить без умолку, и ему оставалось только реагировать междометиями и пожиманьем плеч.

Выяснилось, что они, Смирдины, ведут не светский образ жизни. Вот в Эрмитаже играет немецкий театр, а они хоть раз туда сходили? Милочку не оторвешь от ребенка, а Смирдин все по своим конторам, благо у него их пять — в типографии, на складе, в магазине и еще где-то. Есть же среди клиентов Смирдина и князья и бароны, всех их он кормит своими деньгами — неужели они не могут ввести их в общество?

— Но ведь Булгарин, Греч,— удалось Смирдину вставить слово,— они же дворяне. Мы их принимаем, сами бываем у них...

— Какие это дворяне! — с пафосом воскликнула теща.— Такие же торгаши, как и мы. Надо добиваться, чтобы получить на вывеску орла, то есть поставщика двора его величества...

— И вообще, Александр Филиппович,— она немного помотала пряжи и успокоилась.— Вы не думаете, что может наступить черный день? У вас деньги текут сквозь пальцы... Весь Гостиный двор знает, что госпожа Пушкина устраивает блестящие туалеты на смирдинские деньги! Пушкины что! Вы разбрасываете деньги, прикармливаете каких-то дармоедов. Писака какой-нибудь, два-три стишка намарал, а у вас он уже гений!

Смирдин поразился. Буквально вчера ему то же говорил не кто иной, как Пушкин, призывал быть разборчивее с выбором авторов.

— Надо вкладывать деньги в солидные предприятия, например, в землю, купить имение какое-нибудь. Или основать фабрику, скажем, галантереи. Ваши книжки что —

фу! Сегодня вы их напечатаете миллион, а завтра, что случись, никто читать их не станет...

— И последнее,— сказала многоопытная Елизавета Марковна.— Женились? Надо дома сидеть, при жене. Да, да, не пожимайте плечами. Как же другие купцы? И прибыль ему идет от дела — и при жене он числится не только по ранжиру!

В это время из глубин бывшей герцогской дачи раздался громкий плач ребенка и крики: «Заша, Заша упал! Дура, Фенька, куда же ты смотришь?»

Смирдин воспользовался замешательством и покинул территорию тещи. Открыв дверь в детскую, он впотьмах споткнулся о какой-то сверток и больно приложился о ручку двери.

— Ф-ф! — поморщился он.— Черт бы побрал, что это здесь лежит?

И понял, что это и есть забытый им сверток с экземплярами нового журнала «Библиотека для чтения».

9

Утром в парадном подъезде доходного дома Оливье, что у Цепного моста напротив церкви св. Пантелеймона, забрякал звонок, который вел прямо в квартиру на бельэтаже. К дверям спустился лакей.

— Что, господин Пушкин еще здесь проживает? Не переехал?

— Здесь, здесь, пожалуйста,— отпер двери озабоченный старый слуга Никита.— Ваше превосходительство, Петр Александрович. Барыня с детьми уже изволили ночевать по новому адресу, а Александр Сергеевич еще тут — кабинет свой укладывают-с.

— Накройтесь, сударь, господин Плетнев,— сухо сказал вошедшему Пушкин, который сидел за письменным столом в рубашке без галстука и перебирал бумаги.— Что вы шляпу держите в руке? Я вам не генерал Бенкендорф!

— Перестань дуться, Александр! — Плетнев бросил шляпу на диван, а сам уселся напротив Пушкина.— Все, что я говорил тебе, была сушая правда, хотя и горькая правда. Пора нам вырываться из плена торгашей Смирдиных и свои книги издавать самим!

Экспансивный Пушкин вскочил, взмахнул кружевными манжетами.

— Ты заявил, что я проиграл в карты вторую главу

Онегина? Это очередная сплетня. Я заплатил ее экземплярами карточный долг — да! Что же делать, если я вечно в долгу, и отнюдь не в карточном... Булгарин всюду кричит, что я богатейший, мол, помещик, но имения же наши перезаложены, владельцев много... Знаешь ли ты, Пьер, что, когда я служил в Молдавии, мне не в чем было пойти в гости, мой единственный вицмундир был заштопан на рукавах?

— Я знаю, что ты живешь литературным трудом,— спокойно сказал Плетнев.— Не махай руками, как мельница, садись.

— Да, да,— сказал Пушкин, усаживаясь.— Я пролетарий литературы, как говорят французы, самый настоящий пролетарий.

— Но зачем подавать повод к разговорам в обществе о твоей игре в карты, о безумных тратах твоей супруги? Пушкин! — наклонился к нему Плетнев.— Ты уже не тот, что был в двадцатые годы, тебя знает вся Россия! «Северная пчела» не без ядовитого намека объявляет о выходе полного «Онегина» за 25 рублей. Эта же цена приличного редингота или шинели! Но люди покупают, потому что грамотный русский человек может прожить без редингота, а без «Онегина» — нет. Однако знаешь ли ты, что при этом у него говорится в душе по поводу издателя, назначившего такую бешеную цену?

Пушкин пробурчал:

— Ты еще причтешь здесь, что за первое полное издание «Онегина» я получил 25 тысяч, а за второе Смирдин мне только аванса дал 12 тысяч?

— Одумайся, Александр! — продолжал наступать Плетнев.— Нельзя же переиздавать одно и то же, так можно быстро насытить рынок. Книгопродавцы ропщут! Если уж действительно потребны деньги, приготовь быстро две новые трагедии, в духе «Бориса Годунова», или две новые поэмы, что-нибудь большое, в двух частях.

— Пьер! — Пушкин снова вскочил и, засунув руки в карманы, зашагал по пустому, гулкому кабинету.— Ты же сам стихотворец... ты понимаешь, каково быстро написать что-нибудь фундаментальное! Впрочем, и напишешь — мороки не меньше. Знаешь, как царь мне искромсал «Годунова»?

Плетнев наклонил голову и вздохнул в знак сочувствия. А Пушкин продолжал нервно вышагивать.

— «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать!» Помнишь, я это Ивану Слëнину написал?

— А ты слышал?— прервал его Плетнев.— Слëнин-то умер скоропостижно, болел всего четыре дня!

Они помолчали, перекрестились. Плетнев, взяв за руки Пушкина, вновь посадил его на стул.

— Вдохновенья у меня полно,— мрачно усмехнулся Пушкин.— А вот рукописи что-то не получаются...

Плетнев, взяв разрезательный нож, постукивал им по столу, не зная, что сказать. Слышно было, как в коридоре Никита бранил извозчиков, которые, по его мнению, не так выносили какую-то вещь.

— Сочувствую,— сказал Плетнев.— Звание камер-юнкера налагает необходимость новых трат. Выездные лошади, лакеи, один мундир расшить сколько стоит! Я, по крайней мере, как профессор императорского университета имею казенную квартиру, и лошаденку, и дрова...

— Вчера,— сказал Пушкин,— приходил ко мне Смирдин, сидел вот на этом самом стуле, на котором ты теперь сидишь. Предлагал 15 тысяч отступного, чтобы мы с тобой отказались от мысли издавать «Современник».

Плетнев всплеснул руками:

— Ни в коем случае! Он просто боится, что лучшие авторы перейдут к нам, наскучив тем, что Барон Брамбеус у него, назвавшись редактором, все их статьи и пиесы кромсает и режет.

Пушкин усмехнулся.

— Предложи Смирдину в свою очередь,— продолжал Плетнев,— чтобы он закрыл свою «Библиотеку для чтения» и стал финансировать наш «Современник». Барон Корф мне как-то сказал, что единственный человек, кого способен слушаться Смирдин, это Пушкин.

Пушкин порылся в бумажках, которыми был битком набит ящик его письменного стола, и вытащил листок.

— Послушай!

Смирдин меня в беду поверг.
У торгаша сего семь пятниц на неделе,
Его четверг и в самом деле
Есть после дождичка четверг.

Вот так аккуратно он выплачивает те суммы, которые обязался мне платить еженедельно,— закончил Пушкин. Позвал Никиту, чтобы он подавал одеваться.

— У Смирдина, говорят, тоже пошли затруднения,—

сказал Плетнев, вставая.— Какие-то неуплаты за какие-то гравюры и тиражи.

Пушкин протянул ему листок, на котором был им записан смирдинский экспромт.

— Возьми на память, но прежде переверни и прочитай.

На обороте была, очевидно, выписка из какой-то помещицкой хозяйственной книги:

«4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6 мая. Корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8 мая. Погода ясная. 9 мая. Дождь и снег. Тришка бит по погоде».

— Вот я и есть тот Тришка,—сказал Пушкин,— которого бьют по погоде. Это из материалов к моей истории села Горюхина.

Друзья вышли на Екатерининский канал и, перейдя мостик, направились к Невскому проспекту. Они вышли туда как раз в тот час, когда, как позже опишет это другой великий русский писатель, французские мэтры и английские мисс выводят своих питомцев и питомиц на прогулку, сочетая ее с назидательными целями.

— Кстати, ты знаешь, Пьер, что цензор Никитенко по повелению самого царя получил две недели строгого ареста?

— Слышал, но за что?

— За пропуск какого-то глупого стихотворения, где возлюбленная поэта сравнивается с самим господом богом. Говорят, митрополит настоял.

— Вот уж действительно, боже мой!

— А закрытие «Московского телеграфа»?

— Ну там, по крайней мере, предлог есть — они высмеяли драму нашего Нестора «Рука всевышнего отечество спасла», за которую царь ему пожаловал Владимира II степени.

— Что же будет делать бедный Николаша Полевой?

— Смирдин его к себе берет. Он переезжает в Петербург.

— Щедрый Смирдин! Все Смирдин да Смирдин! Что бы мы все делали без Смирдина?

Они остановились как раз напротив лавки Смирдина. Ларька Апарин при помощи длинного шеста сбивал со второго этажа весенние сосульки; разбрызгивая лужи, проносились уже не сани — экипажи на больших колесах. В витринах, ярко освещенных множеством свеч, аршинными буквами сообщалось о подписке на журнал «Би-

блиотека для чтения» и приводился список авторов, среди которых красовались и Пушкин и Плетнев.

— Да, худо им придется при нашем «Современнике»!

10

Завидев входящего в книжный магазин Пушкина, Смирдин страшно засуетился, завел его к себе за кулисы, стал показывать новинки, которые по его приказу прытко приносили то Федор Базунов, то Ларивон Апарин. Отсчитал деньги, за которыми пришел Пушкин, просил пересчитать для верности.

— А насчет журнальчика не передумали, Александр Сергеевич?

— Не передумали, Александр Филиппович.— Пушкин сел напротив Смирдина, положив руки на трость, а подбородок на руки, и смотрел в лицо Смирдина тем детским беззащитным и ясным взглядом, который потом на всю жизнь запомнился его, Пушкина, ближайшим друзьям.— А как идут у вас «Повести Ивана Петровича Белкина»?— спросил Пушкин.— Не забываете ли вы шепнуть публике, как мы уговаривались, что это Александра Пушкина сочинение?

— Не забываю, Александр Сергеевич. Да это и не нужно. Покупатели и так отлично знают, что это ваше-с. Через неделю продадим все. А вот у Булгарина беда.

— А что такое?

— Продал он своего «Петра Ивановича Выжигина», новый роман, за сорок тысяч Ивану Заикину. Не ему, собственно говоря, а его сыну, Матвею, который, ежели помните, в тот злополучный день 24 декабря бегал на Сенатскую площадь под картечь... Но у них с отцом фирма общая, они не делились. Теперь папаша готов его бить дубиною, хотя это уж сорокалетний малый-с.

— За что же?

— А болгаринская новая книжка-то не идет! Не то что прежний его «Иван Выжигин». «Петра» совсем не покупают, весь в штабелях так и лежит.

— Да ну?— удивился Пушкин.— Я знаю, как провинциальные чиновницы обожают Фаддея. Вы, Смирдин, наверно, просто хотите мне польстить, знаете мою неприязнь к этому Фиглярину?

— Ей-богу, Александр Сергеевич, истинный крест! А еще Греча пресловутый роман «Черная женщина», ко-

торый «Северная пчела» расхвалила, что таких произведений не бывало со времен Вольтера. Не идет! Все штабеля на месте-с, можете полюбопытствовать! Там у него и загадочные убийства, и сыщики, и потусторонние существа — а он не идет!

— Говорил я вам, Александр Филиппович.— Пушкин продолжал все так же грустно смотреть ему в лицо, опершись подбородком на свою трость.— Не вяжитесь вы с этой сволочью!

— А что делать, Александр Сергеевич! — вздохнул Смирдин.— Ведь это тоже словесность, надо чем-то торговать!

Смирдин предложил Пушкину чаю. Но тот поднялся, стал натягивать перчатки.

— Я теперь обедать иду на новую квартиру, здесь на Мойке, поблизости. Я взял за правило, женившись, обедать только в семье... «Да шей горшок, да сам большой!» — продекламировал он, улыбаясь.

Смирдин развел руками. Хоть он тоже мог бы к себе на Лиговку поехать, пролетка к его услугам, но недавно прибыл со склада на Васильевском острове перепуганный фактор — там канализацию прорвало, склад бумаги затопило. Надо ехать туда.

— А вы не идете сегодня в Александринский театр? — спросил Пушкин.

— А что там?

— «Ревизор» вашего же постоянного автора, господина Гоголя сочинение, — премьера, первое представление. Обещал быть сам государь.

— Да, да, мне прислал господин Гоголь билет, но я как-то запамятовал, знаете наши торговые хлопоты-с...

— А вы читали эту пьесу? — иронически улыбаясь, спросил Пушкин.— Нет? Тогда советую пойти, — с ударением сказал Пушкин.— Обязательно пойдите! Советую, слышите?

И ушел, по-прежнему улыбаясь. А Смирдин провожал его до порога и заверял, что всенепременно пойдет в театр.

И вот он к семи часам вечера в Александринском театре, недавно только построенном, где все еще блистает свежестью и чистотой: ложи, обитые пунцовым бархатом, ступени и колонны белого мрамора с позолотой. Билет Смирдину выпал в партере, среди гвардейской молодежи, которая перед началом спектакля громко обсуждала свои

дела: разводы, дежурства, очередные повышения. Рассеянно смотрели афишку:

— Что это — «Ревизор»? Это фарс или водевиль? Если играют Сосницкий, Дюр, госпожа Асенкова — конечно же, водевиль с куплетами и каскадом.

— А я ради только Асенковой пришел, — объявил один гусар, красуясь. — Ах, что за ножки!

Смирдин близоруко раскланивался со всеми, кто его узнавал, оглядывался на ложи. Если б Милочка не ожидала вновь ребенка, он бы в этом сезоне снимал здесь ложу.

Внезапно говор толпы смолк, все сидевшие встали. В царскую ложу вышел император Николай Павлович, с ним еще несколько особ. Боковые светильники пригасили, и оркестр стал исполнять для начала какой-то маршик.

Затем начался великий «Ревизор», сцена, описанная столько раз в наших исторических романах.

Талантливый Иван Дюр играл Хлестакова, явно копируя золотую молодежь, которая переполняла партер. Будучи мастером водевиля, он гиперболизировал, как мог, его Хлестаков и ломался и кривлялся, только чтобы дать понять, насколько это «столичная штучка».

Напомним, что сам автор, Николай Васильевич Гоголь, был страшно недоволен исполнением Дюра...

А публика, видя на сцене разгул взяточничества и чиновничьего произвола, кто в страхе, кто с возмущением, оглядывалась на императорскую ложу. Но Николай Павлович смеялся от души. Вытирал платком усы и вновь смеялся до слез, рассказывая склонившемуся к нему флигель-адъютанту, что он подобных типов встречал во время путешествия по России...

Тем временем подошла знаменитая сцена вранья. Дюр — Хлестаков, привольно расположившись на позолоченном стульчике перед почтительным городничим и его гостями, тараторил:

«С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики... Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну, что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то всё...»

Весь театр оглушительно смеется, все лица повернуты направо ко второму ярусу, где в абонированной ложе блистательная Наталия Николаевна, а рядом с ней, скрестив руки, стоит непроницаемый Пушкин.

«Большой оригинал!» — заканчивает реплику Дюр и пальцами вращает в воздухе, показывая, какой оригинал.

Театр вторично оглашается хохотом.

Актриса госпожа Павлищева, исполняющая Анну Андреевну, звучно ахает: «Так вы и пишете?..» — и прочее, что есть у Гоголя.

«Да! — самоуверенно продолжает Дюр, еще более развалясь на золоченом стульчике. — И в журналы помещаю».

Затем он вдохновенно рассказывает, как легко он пишет для сцены, уж и названий даже не помнит:

«В один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях...»

Театр тут смотрит в директорскую ложу, где имеет обыкновение пребывать (задаром, конечно) господин Булгарин. А попробуй его в ложу не пусти! Назавтра в «Пчеле» ославит на всю Россию.

«Все это, — говорит убежденно Дюр — Хлестаков, — что было под именем Барона Брамбеуса, «Фрегат Надежды» и «Московский телеграф»... все это я написал!»

Подобная путаница имен и названий снова вызывает смех в публике, а Анна Андреевна на сцене даже всплескивает руками:

«Скажите, так это вы были Брамбеус?»

«Как же, — заверил Дюр, закидывая ногу на ногу, — я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч».

Далее в театре творилось неопишваемое. Публика встала, как и при входе императора, и хохотала, желая разглядеть в партере сидящего Смирдина, некоторые даже вставали на цыпочки. Флигель-адъютант в царской ложе пальцем показывал Николаю Павловичу, где сидит Смирдин.

Это была слава.

11

Петербургским зимним утром рассвет долго не является на улицы города. С невероятным трудом день разлепляет очи, обнаруживая из заснеженной тьмы громады портиков и зданий. Утверждают, что и встают утром петербуржцы позднее, нежели москвичи.

Еще толпы чиновников в одинаковых крылатках, слов-

но ряды механических кукол, устремляются к местам своей службы, а рассвет еле начинает брезжить сквозь лениво падающий снег.

Но лавки на Невском проспекте уже открывают торговлю — не дай бог пропустить хоть одного покупателя. Со скрежетом отпираются ставни и поднимаются жалюзи модных витрин. Приказчики лениво переругиваются с дворниками, отпускают типично петербургские шуточки:

— Эй, Сенька, ты на святочном гулянье в павильоне у Лемана был?

— Ну, был, а что?

— Курящую голову без туловища, которая и глазами моргает, видел?

— Ну, видел.

— Это не у тебя ее оторвали?

— У, зараза, чтоб тебя...

Однако настоящий покупатель пойдет лишь после полудня. А сейчас пробегают модисточки с картонками, завернут безделушки посмотреть, побрякушки, с элегантными приказчиками парой комплиментов переброситься, свидание назначить. Или заезжий какой, провинциал в цилиндре, «времен очаковских и покоренья Крыма» глаза таращит на петербургские чудеса. Или, наоборот, рабы и рабыни моды являются, чтобы на свободе помучить продавцов, заставить их пошарить по лавкам и по прилавкам, поискать чего-нибудь сногшибательного, чего нет ни у кого более.

Смирдин с утра щелкает счетами, настроение у него почему-то тревожное, на душе какой-то камень лежит. И неизвестно почему! Казалось бы, наоборот, тот давнишний вексель амстердамскому банку удалось, наконец, закрыть, а настроения нет как нет...

Явился Ларька, даже не очистив снег перед порогом хозяина со своего армячишки. Глядит бесовскими глазами:

— Слыхали, Александр Филиппович, а?

— Ну, что еще?

— У Пушкина нынче дуэль с французом этим, кавалергардом!

— Пустое! Об этом уж месяц как болтают... А цензор Никитенко говорит, что дело окончилось примирением.

— Александр Филиппович, все торгаши на Невском

знают, что дуэль будет сегодня. Это вам не «Северная пчела», это живая газета, здесь ошибок не бывает.

— Ладно, ступай... День только начался, узнаешь что-нибудь — живо приходи!

Ларивон улетучился, а Смирдин вспомнил, как несколько лет тому назад они допоздна готовили к открытию большую залу своей библиотеки, никто не пошел домой.

Под утро — помнится, была теплая, сухая осень — из ресторана Тальони, что наискосок у Екатерининского канала, на Невский проспект высыпала компания молодых людей, отпировавших в этом заведении. По их возгласам было ясно, что это бывшие лицеисты, отмечавшие свой день — 19 октября!

Громогласные и веселые, шли они посреди безлюдного проспекта, в столь раннюю пору ни один экипаж не показывался на нем. А будочники отдавали им честь.

Пушкин шел впереди с неизменной тростью, держа в руке шляпу, легкой походкой, будто летел, а не шел. Звучным и каким-то необыкновенно приятным голосом он декламировал:

Усердно помолившись богу,
Лицею прокричав ура,
Прощайте, братцы, мне в дорогу,
А вам в постель уже пора!

Приказчики и библиотекари Смирдина, побросав свои книги и картотеки, столпились у окон, чтобы посмотреть на проходящих внизу лицеистов, а главное — на декламирующего Пушкина.

Когда они прошли и ночные стражи вернулись в свои полосатые будки, Ларька Апарин вдруг стал говорить:

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вынести сумел.
Кто странным сном не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать — выгодно женат...

— Ларивон! — изумился Федор Фролович Цветаев и даже очки поднял на лоб. — Неужели ты такое знаешь?

— Почему же мне не знать Пушкина? — дернул плечом Ларька, вновь принимаясь за расстановку.

— Нет, но такое... Тебе бы что-нибудь «Три девицы под окном пряли поздно вечерком...».

Все много смеялись, Ларивон еще декламировал «Онегина», причем оказалось, что он более всего любит его философские части. А Смирдин подумал, что все пушкинское как-то возвышает человека. Вот и он сам, по существу, лишь недавно прочел Пушкина и тотчас почувствовал себя каким-то и просветленным и умудренным. Это словно вторая душа, если первую вдохнул в человека Создатель, то вторую дарует ему Поэт.

Непонятное беспокойство не оставляло, и Смирдин продул кружок в замерзшем стекле, чтобы увидеть, каков там Невский проспект. По проспекту, обгоняя друг друга, проносились санки и кибитки, из чего можно было заключить, что деловой день в разгаре. Смирдин велел подать себе бекешу и вышел в торговый зал.

Книжный магазин был полон публики, причем тех господ, которые обычно фланируют по Невскому в этот час, но книг покупают мало. На сей раз они толпились, разделившись на кружки, и что-то обсуждали. Смирдину это живо напомнило тот знаменательный день 14 декабря, когда все вот так же собирались у них в магазине и у Слёнина...

Посреди одного из кружков был цензор Никитенко. Он, правда, выбрал себе какую-то книгу в полке (у Смирдина в этом магазине прилавков не было, были только конторки для приказчиков), но, увлеченный разговором, совсем забыл о покупке.

— Дантес — пустой человек, — говорил Никитенко, размахивая книгой. — Но ловкий, любезный француз в наших салонах — звезда первой величины. Я знал одного французского генерала, который слыл как образец светской непринужденности. Придя к одной светской даме (я имени ее здесь не назову), он едва не сел к этой госпоже на колени, говоря, беспрестанно трогал ее за плечо, за локоны, чуть не обхватывал ее стана. Удивительно и не забавно!

— Ревность господина Пушкина понятна, — прервал его один из собеседников. — Но неужели обязательно доводить до дуэли?

— Есть светские условности, — мрачно заметил другой собеседник.

— Вот в том-то и дело! Бедный Пушкин! — вскричал Никитенко. — Этим заплатил он за право гражданства

в аристократических кругах. А он был призван к высшему служению!

— Погодите, что вы его хороните,— сказал мрачный собеседник.— Пушкин — отличный стрелок, увидите, он еще вашего Геккерена укокошит!

Смирдин вышел на улицу и, стараясь не поскользнуться на наезженной мостовой, перешел на другую сторону. Имена книгопродавцев Невского проспекта за последние годы весьма изменились. Исчезли с вывесок Иван Слёнин, Иван Глазунов. Зато появился Иван Тимофеевич Лисенков. Происхождения он малороссийского, из города Сумы, и сначала занимался книгоношеством. Затем служил у богатого купца Свешникова комиссионером по ярмаркам, прикопил деньгу, переселился в Петербург и фамилию свою переименовал на петербургский манер.

В те годы кабинет Лисенкова в его книжной лавке был в книгохранилище, в помещении без окон и битком набитом книгами. Когда Смирдин вошел, он увидел там нескольких книгопродавцев: был старейший гостинодворец Овсянников, с ним Исаков, еще кое-кто. Смирдину тотчас освободили место, предложили снять бекешу, принять стакан чаю. Разговор здесь также шел о Пушкине.

— Ось на цим самом месте,— с малороссийским произношением рассказывал Лисенков,— я им казал мою картотеку. Александр Сергеевич были в шутейном духе, каждой книзи переименовывали заголову, та и все в рифму, так цикаво. А и сами же веселились, як дитя!

— А то был у нас приказчик один, такой забывчивый,— сказал старый Овсянников,— родного батьку с маткою мог забыть. Однажды обещал господину Пушкину книгу какую-то, для него нужную. Приходите, говорит, сударь, за нею к лавке Ивана Глазунова во столько-то часов. А лавка Ивана Глазунова, как все помнят, находилась тогда в здании Публичной библиотеки, внизу. Прошло сколько времени, я не знаю, только схватился тот приказчик за голову — ой, я забыл, я же господину Пушкину назначил... Прибегает он к лавке Ивана Глазунова, а там господин Пушкин по тротуару прогуливается — уже два часа его ждет. И хозяину он не пожаловался, а то быть беде!

«Панихида!» — сказал про себя с досадою Смирдин, поговорил по делу с Лисенковым и ушел. У себя в магазине он вызвал Ларивона.

— Единственное, что удалось узнать,— зашептал Ларь-

ка, — что в кондитерской Вольфа и Беранже они встретились с его секундантом. Там у меня мамзель есть одна, знакомая...

— Про мамзелей потом, — поморщился Смирдин. — Дальше-то было что?

— А никому не удалось проследить, куда они поехали, — с отчаянием в голосе сказал Ларивон. — Если через мост, значит, к Черной речке, если мимо Гостиного двора, значит, в Екатерингоф! Да и если б вы знали куда, что бы вы сделали?

«Да, действительно, — подумал Смирдин. — Что бы я сделал?»

Между тем стемнело. Сквозь синие сумерки замерзшего окна Смирдин видел тени, скользящие мимо, ему казалось, что теней все больше и бег их все быстрее и быстрее. Он опять не выдержал: никого не вызывая, оделся, вышел на улицу.

Будочки зажгли масляные фонари на столбах. Бесчисленные витрины фешенебельных заведений расцвелись площадками и свечами. Санки и санные экипажи были с двумя фонарями на облучке или на запятках — без этого полиция на Невский не пустит. Весь Невский напоминал теперь диковинный поток разноцветных огней. Если добавить к этому, что морозец усилился и падающие снежинки искрились, как на рождественской елке, — картина, подобной которой во всей России не сыскать!

Смирдин медленно брел в потоке пешеходов, спешащих завершить свои дела, пока не остановился у Полицейского моста, на углу набережной Мойки. Там он в нерешительности стоял под фонарным столбом, пока на него кто-то не налетел.

— Смирдин! — закричал этот кто-то.

Смирдин присмотрелся и в скудном свете масляного фонаря узнал в нем Галича — бывшего профессора, бывшего чиновника, потому что из департамента его тоже прогнали за вольнодумство или за непосещение присутствия.

— Смирдин! — вскричал Галич и схватил Смирдина за отвороты бекешки. — Ранен он, наш Пушкин, опасно ранен!

Галич был без шапки, наверное, где-нибудь потерял. Львиная седеющая грива его была всклокочена, по желтому прокуренному лицу, по брыластым щекам текли крупные слезы.

— Смирдин, Смирдин! — только и повторял он.

Смирдин взял у него палку со звериной головой, обхватил его за талию и свел на набережную Мойки, прислонил к парапету. Мимо них шло множество народу, и постоянно повторялось имя — Пушкин.

Смирдин своим платком вытер слезы у старого учителя, позволил ему набить трубочку-носогрейку и спокойно выкурить. Галич, пока курил, сбивчиво рассказывал обстоятельства дуэли, но то, что он говорил, Смирдин уже знал.

Когда Галич кончил курить, они попытались двинуться по набережной в направлении квартиры Пушкина, но это им не удалось. Набережная была битком набита народом. Люди стояли тесно, плечом к плечу, полковничья шинель с пышными эполетами соседствовала с тулупом ремесленника, а бекеша с обезьяньим воротником — с шубой из бобрового меха. Все говорили вполголоса, а большей частью молчали. Сознавали, что дальше не продвигнутся ни на шаг, и стояли просто так.

Во тьме январской ночи берега неширокой Мойки казались мрачным ущельем. В двухстах шагах отсюда катился своими огнями и искринками блестящий Невский проспект, а здесь все здания по сторонам Мойки были, как нарочно, безлюдны и темны. Только выделялся ярко освещенными окнами один ряд на уровне бельэтажа.

Там умирал Пушкин.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ ЧЕТВЕРТОЙ

Из книги: Панаева Авдотья (Е. Я. Головачева). Воспоминания. — Ленинград: Academia, 1927, стр. 299—301.

Панаеву понадобилась какая-то старая книга, и мы зашли в магазин Смирдина. Хозяин пил чай в комнате за магазином, пригласил нас туда и, пока приказчик изыскивал книгу, угощал чаем; разговор зашел о жене Пушкина, которую мы только что встретили при входе в магазин.

— Характерная-с, должно быть, дама-с, — сказал Смирдин. — Мне раз случилось говорить с ней... Я пришел к Александру Сергеевичу за рукописью и принес деньги-с; он поставил условием, чтобы я всегда платил золотом, потому что их супруга, кроме золота, не желает брать

других денег в руки. Вот-с Александр Сергеевич мне и говорит, когда я вошел-с в кабинет: «Рукопись у меня взяла жена, идите к ней, она хочет сама вас видеть», и повел меня; постучались в дверь; она ответила: «Входите». Александр Сергеевич отворил двери, а сам ушел; я же не смею переступить порога, потому что вижу даму, стоящую у трюмо, опершись одной коленкой на табуретку, а горничная шнурует ей атласный корсет.

— Входите, я тороплюсь одеваться,— сказала она.— Я вас для того призвала к себе, чтобы вам объявить, что вы не получите от меня рукописи, пока не принесете мне сто золотых вместо пятидесяти. Мой муж дешево продал вам свои стихи. В шесть часов принесите деньги, тогда и получите рукопись... Прощайте...

Все это она-с проговорила скоро, не поворачивая головы ко мне, а смотрелась в зеркало и поправляла локоны, такие длинные на обеих щеках. Я поклонился, пошел в кабинет к Александру Сергеевичу и застал его сидящим у письменного стола с карандашом в руке, которым он проводил черты по листу бумаги, а другой рукой подпирал голову-с, и они сказали мне:

— Что? С женщиной труднее поладить, чем с самим автором. Нечего делать, надо вам ублажить мою жену; ей понадобилось заказать новое бальное платье, где хочешь, подай денег... Я с вами потом сочтусь.

— Что же, принесли деньги в шесть часов? — спросил Панаев.

— Как же было не принести такой даме? — отвечал Смирдин.

Глава пятая

НО МОЖНО РУКОПИСЬ ПРОДАТЬ...

1

На Сенной площади, где контора московских дилижансов, шум и смятение. Смирдин и Николай Полевой явились за десять минут до отправления, а лошади еще не были запряжены. Но хуже всего оказалось, что в дилижансе уж и мест нет.

— Как так нет? — возмутился Полевой.— У нас заранее куплены билеты... Зигфрид, ты же взял билеты?

— Точно так, экселенц,— ответил бравый Зигфрид, который почему-то смертельно боялся Полевого и именовал его по-немецки вашим превосходительством.— Извольте, цвей биллеттен.

Тогда Полевой повысил голос на кондуктора, который в мундирном полуфраке и с валторною через плечо ходил вокруг экипажа, тыкая палкой в оси колес. Измученный посадкою, кондуктор обещал вызвать полицию.

— Полиция!— вскричал с возмущением Полевой.— Вот этот господин,— он указал на Смирдина,— Санкт-петербургский купец первой гильдии, а я, может быть, и дворянин... А ты — полицию!

При этих словах весь дилижанс, ожидающий отправки, захохотал, потому что там все были купцы да дворяне.

Неизвестно, как бы кончилось дело, если бы не выручил Ларивон, который до того времени караулил хозяйские вещи. Он просунул голову в дилижанс и, выискав там кого-то из пассажиров, драматически закричал:

— Гей, сударь! Это не ваш ли лабаз на Кузнечном рынке поутру обчистили?

— Правда, что ли?— ответили из дилижанса.

— Истинный крест! — побожился Ларька, тараша бесовестные глаза.

Тотчас из дилижанса выскочили пассажир в сюртуке, у которого талия начиналась под мышками, и в смазных сапогах, а с ним его альтер эго, мастью помельче, но зато в новеньком, торчащем, как короб, картузе. Смирдин и Полевой тут же заняли освободившиеся места.

— Слава тебе господи! — вздохнула вальяжная дама напротив Смирдина.— По крайней мере ваксою вонять не будет.

— Кондуктор! — закричал требовательно толстый пассажир, по виду отставной чиновник.— Почему не едем? По расписанию уже полчаса как ехать должны!

— Не пимши, как же им ехать?— сказал пассажир с черною бородою.— Надо, господа, на водопой им собрать.

Пассажиры раскрыли кошельки и чернобородому инициатору собрали горсть пятакков и гривенников, которые он торжественно вручил через окно кондуктору.

— Премного благодарствуем!— сказал кондуктор, снимая расшитую галунами шляпу.

Привели четырех лошадей, стали запрягать.

— Это же одры какие-то! — заворчал отставной чиновник.

Но вот лошади заложены, кондуктор с глубокой грустью затрубил в свою валторну, кучер, дожевывая закуску, закричал на лошадей: «Эй вы, залетные!» — и московский дилижанс тронулся.

Но прежде чем покинуть толчею Сенной площади, дилижанс этот еще раз остановился. Его догнала пролетка, в которой рядом с Ларькой была Эмилия Егоровна, махавшая усиленно платком. У Смирдина сердце екнуло — не случилось ли чего-нибудь с Сашенькой.

— Курочку забыли, курочку! — хлопотала госпожа Смирдина, просовывая в окно кульки и пакеты. — Кушать-то что в дороге будете?

Смирдину поначалу ужасно неловко было за это перед пассажирами, но не успел общественный экипаж миновать петербургской заставы, как пассажиры, по неистребимой российской привычке, раскрыли баулы и саквояжи и, достав пищу, каждый по своему состоянию, принялись жевать. А господин с черной бородой даже раскрыл фляжку с коньяком и попотчевал всех присутствующих мужского пола.

Проехали новопостроенное сельцо Купчино, которое, как городок берендеев, красовалось свежим желтым тесом на осушенном болоте. Вдруг из-за соседней рощи раздался никому не знакомый могучий звук. Будто допотопный слон трубил или какое-нибудь апокалипсическое чудище. Звук повторился и превратился в зычный свист, быстро приближаясь.

Пассажиры разинули рты, выглядывая в окна, а оба кучера и кондуктор пришли в страшное беспокойство. Они остановили лошадей, которые тоже заметно беспокоились, и отвернули их мордами в сторону, стараясь закрыть им и глаза.

И тут из-за деревьев показался источник всеобщей тревоги — по железным рельсам катился механизм с усиленно дымящейся длинной трубой, на площадке суетился с кочергой господин с нерусской бородкой вокруг лица и в клетчатом сюртуке. Машина тянула за собою вереницу веселых кареток и линеек без крыши, переполненных смеющейся и машущей платками и зонтиками публикой.

— Чугунка! — ахнули пассажиры.

Кондуктор и кучера продолжали сдерживать вздрагивающих лошадей, пока поезд не скрылся за следующей

рошей и там вновь прокричал свою победную песнь техники и прогресса.

— Куда же это она?— спросила вальяжная барыня, которая оказалась не петербурженкой, она только приезжала в гости к замужней дочери.

— В Царское Село, в Павловск! — ответил Полевой.— Ваши дети на ней уже и в Москву ездить станут.

— Между прочим,— сказал чернобородый господин,— вы не знаете, кто я?

Пассажиры выразили сожаление, что не знают, и с опаской на него посмотрели.

— Я есть тот самый Циммерман, который торгует парижскими шляпами...

Он пережил дружное «ох!» пассажиров и продолжал:

— Неужели вы думаете, что у меня нет средств на собственных лошадей или на проезд на почтовых, сменных? Есть, конечно, но на своих ехать долго, они же, то есть эти клячи, должны в дороге и кормиться и отдыхать... А на почтовых, знаете, господа, надоело палкою грозить или беспрестанные взятки давать станционным смотрителям, чтобы вовремя запрягали. Я за общественный транспорт, да здравствует прогресс!

— А правда ли,— робко спросила вальяжная дама,— говорят, при крушении чугунок на станции Павловск погибло сто пятьдесят человек?

— Два человека,— авторитетно сказал Полевой,— когда локомотив сошел с рельсов. Остальное добавила пылкая фантазия наших петербурженок.

Уязвленный популярностью господина Циммермана, он быстро распространил сведения, что он и есть тот знаменитый Полевой, который... И так далее.

— Ах!— сказала вальяжная дама.— Мои дочки вашим «Московским телеграфом» зачитывались. А «Библиотеку для чтения» совсем не читают, говорят, там такая скука! Как умерли господа Пушкин и Марлинский, некого стало читать!

Полевой со значением толкнул Смирдина под локоть.

Отставной чиновник пожевал губами, зевнул себе в кулак и сообщил, что считает стоящими только те книги, где говорится о потусторонних духах, пророчествах, наитиях, видениях...

— Теперь такие книги редки,— сожалел он.— Ко мне ходит один старинщик, у него можно достать... Так вы

знаете, какие он деньги берет за что-нибудь новиковское или от масонов?

— Что касается журналов, я, когда служил, запретил в своем департаменте эти журналы читать. Как узнаю, что кто-нибудь из чиновников подписался — в отставку и без пенсионера!

Чернобородый Циммерман, видя, что всеобщее внимание от него перекочевало к Полевому, тоже решил блеснуть начитанностью и назвал романы «Таинственный монах, или Некоторые черты из жизни Петра Первого», «Проклятое место», «Танька, разбойница Ростокинская, или Царские терема» в четырех частях.

— Послушайте! — заметил ему Полевой. — Вы же образованный человек, стоит ли вам читать эту макулатуру?

— А знаете, интересно! — не сдавался Циммерман. — Читаешь — и время проходит, и мозги не заняты. А то весь день бьешься в своей конторе, умаешься вконец — а потом еще серьезные журналы? Увольте-с.

— И это русская читающая публика! — не сдержал горестного восклицания Полевой.

Тут в разговор вступил пассажир, доселе безгласно молчавший в углу дилижанса.

— Я вот сельский помещик. Ездил в столицу выяснять, почему купцы перестали у меня пшеницу брать... Отвечают — в Европе теперь Лондон, Париж, Гамбург предпочитают хлеб американский, он и качественнее и дешевле. Вот я без денег и возвращаюсь. А то, бывало, го-стинцев везу целый воз, половина из них — книги...

— Смотрите, господа! — оживился Полевой. — У нас тут целый литературный диспут образовался... Для некоторого вашего подбодрения сообщаю, что с нами едет вот господин Смирдин, по праву — глава всего нашего издательского цеха.

Тогда на передний план выступил пассажир совсем молодой, насколько можно это было определить при тусклом свете из заляпанных грязью стекол кареты. У него новенький фрак с пуфами на плечах, с высоким воротником и задранными фалдами. Форменная пуговица на манишке и волнистый галстук обличают в нем чиновника, только вступающего на поприще службы.

— Да, это так, — подтвердил эти догадки новый знакомец. — Я окончил обучение и получил степень кандидата правоведения. Воспользовавшись присутствием здесь



господина Смирдина, я тоже, как читающий русский человек, осмелюсь сделать некоторые замечания по поводу издаваемых или поощряемых им журналов. Ежели внимательно присмотреться, господин Смирдин и господин Полевой, к этим журналам, то можно увидеть там беззастенчивую торговлю за гонорар, продажу себя купчишкам, извините, за рекламу икры или горчичного масла...

Дилижанс сильно тряхнуло на ухабе и прервало бурную филиппику молодого читателя журналов. При этом оказалось, что отставной чиновник, сельский помещик и вальяжная дама попросту спят — их укачало. Тогда и новоиспеченный кандидат решил зря пороку не тратить.

— Но уже переехал в Петербург из первопрестольной знаете кто? Белинский! Вам, надеюсь, знакомо это имя? Я прочитал все, что мог достать, подписанное этим критиком. Он наведет порядок в нашей словесности!

Смирдин и Полевой в глубокой задумчивости выслушали это пылкое заявление, размышляя о выводах, которое оно влечет за собой. А Циммерман интимно спросил Смирдина как собрата по гильдии:

— А вы в Москву прогуляться или по делам?

— У меня скончалась матушка,— ответил Смирдин.

Тогда все окончательно смолкли. Стал моросить мелкий дождик, как горох сыпаться на кожаный фартук дилижанса. Тишина нарушалась только тряской, чмоканьем копыт и плеском колес по многочисленным лужам.

2

Первопрестольная встретила наших путешественников отнюдь не летней погодой. Москва — она такова. Может поражать изнурительной жарой, а может и зверским морозом. Но может неделями морить неопределенностью, как говорится, бабушка надвое сказала, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет.

Раскрыв зонтики, наши компаньоны взяли извозчиков и отправились каждый восвояси. Николай Полевой к брату Ксенофону в его книжную лавку в Неглинном проезде. Смирдин велел ехать на Разгуляй.

Не станем зря хаять нашего героя и обвинять его в дурном отношении к матери. После того как он принял наследство Плавильщикова, Смирдин несколько раз бывал в Москве. Он уговаривал мать переехать к нему в Пе-

тербург, в его новый, в его огромный дом на Лиговке, но та отказалась наотрез.

Могила незабвенного Фили, которая исчезла после французского погрома и место которой наитием святого духа знала только она, могила ее возлюбленного Фили держала ее здесь. Заместо старой хибары в Доброй Слободке, которую когда-то сколотил Смирдин своими руками, он купил ей приличный домик, там же, в Аптекарском переулке, в низочке, на том месте, где глубоко под землей, взятая в трубу, течет старая речка Чечера. Мать его ни в чем нужды не имела, жила при ней и добрая Антонидка, была прислуга, было все.

А на прошлой неделе пришла депеша из Москвы от приходского священника о кончине и погребении госпожи Смирдиной, и Александр Филиппович бросил все и поехал. С собою он взял своего нового редактора Николая Алексеевича Полевого, потому что у него тоже недавно скончалась мать и была похоронена в Москве. Пусть он поклонится ее могилке. Смирдин вообще очень жалел Полевого, на которого непрерывно обрушивались несчастья: закрыли его журнал, чуть было сам в ссылку не угодил, умерли двое малолетних детей. Смирдин поместил его с семьей в своем большом доме на Лиговском канале, дал квартиру на той же площадке, что жил сам. Купил ему гамбсовскую мебель в кредит, давал своих лошадей. Надеялся, что своим образованием и знанием литературы он возместит Смирдину то, чего ему недоставало больше всего, и постепенно вытеснит из дела шумного, назойливого, ненасытного Барона Брамбеуса.

Кроме того, была в их поездке и известная меркантильная задача. По слухам, Москва начинала оправляться от потери таких могучих органов, как «Московский телеграф» и «Телескоп», бродят идеи создания новых ревю. Надо прощупать состояние московского рынка.

Смирдин проехал Разгуляй, всматривался в громаду обновленного дворца Мусина-Пушкина, вспоминал, как искал здесь, на пепелище, себе печную вьюшку, а встретил фанатика Бардина, который переписывал «Слово о полку Игореве»...

— Любезный! — спросил он извозчика, ткнув его в спину. — Кому теперь этот дворец принадлежит?

— Государю анпиратору, — понизив голос, ответил тот и даже приподнял свой колпак, как бы выражая официальность сообщения. А когда уже пересекли косую пло-

шадь Разгуляя, он обернулся к седоку и указал кнотовищем на парадную стену дворца: — А вон, сударь, видишь на стене-то гроб? Это мasons прилепили, антихристы!

...— Готово, сударь, приехали,— сообщил он, остановившись прямо посреди неимоверной лужи и отстегивая фартук.— Как вы приказали — Аптекарский переулочек.

В былой Немецкой слободе и донныне сохранились названия исторических переулочков: Аптекарский, Лефортовский, Бригадирский. Но улицей в полном смысле можно было назвать только центральную улицу слободы — Немецкую. Она была замощена камнем, туда выходили фасады барских особняков, там катили пролетки и фэзтоны. Переулочки же, отходящие от нее, представляли собой дремучую провинцию. Орала петухи, скрипели в садах качели, и дворовые девушки, собирая господскую малину и смородину, пели вовсю, чтобы рот был занят.

Смирдин обогнул лужу в низочке, вслед за нею обошел огромный, древний, готовый повалиться дуб и столь же ветхий забор и оказался в небольшом домике в три окна, который принадлежал покойной Аглае Смирдиной. В домике сидела безутешная кривая Антонидка, уж совершенно седая и согбенная старушка, которую беспрерывно утешали пять или шесть соседок. Но Смирдина она не узнала:

— Вы к кому, молодой человек? Госпожи Смирдиной нету.

Как ни объясняли ей сердобольные соседки, кто это и по какому делу, она твердила одно: «Ничего не знаю... Вернется Аглая, пусть к ней...»

Дальше горестно будет рассказывать, как на следующее утро отвез несчастную Антонидку в дом призрения, давал, кому надо, деньги, как договаривался о торгах на дом и скудное имущество. Иногда приходила мысль — бросить все, весь петербургский содом и гоморру, поселиться в тихом переулочке, слушать по вечерам басовитые колокола Богоявленской церкви, сидеть на лавочке возле палисадника...

«Прошла уже жизнь?» — спрашивал он себя. А было ему сорок пять лет.

Немецкое кладбище на горе за Яузой существует триста лет — столько, сколько существует и все Лефортово. Ни разу не случилось тебе, добрый мой читатель, бродить по его тенистым аллеям, среди вычурных памятников суровым генералам иноземного происхождения в густых

эполетах и с бронзовыми усами? Не приходилось тебе наткаться и на удивительные памятники кладбищенской словесности, вроде (без единого знака препинания): «мир праху твоему коллежский советник иван иванович иванов скончался 12 генваря 1832 года от любящей жены» или «Говорила тебе я, ты не ешь грибов, Илья, не послушал, грибов скушал, так пеняй же на себя»?

И там же, в дальнем уголке, «где ныне крест и тень ветвей...», Смирдин долго стоял над горкой свежей земли, ветер шевелил его уже редющие волосы, шумел в кронах могучих кленов. Высоко носились стрижи, предвещая ясную погоду. Вот так же и его не станет, а ветер все будет шелестеть листвою тех же деревьев, все так же будут проноситься стрижи... Помилуй, господи, люди твоя!

Затем он отправился к своему Ширяеву на свой Кузнецкий мост. Перед лавкой в толчее прохожих и под бдительным взором хожалого какой-то потрепанный субъект выметал тротуар. Завидев Смирдина, выходящего из извозчичьей коляски, субъект прищурился, как бы не сразу узнавая. Затем осклабился беззубым ртом, снял подобие шляпы и приблизился, изящно отставив свою метелку.

— Не узнаете-с, Александр Филиппович? Ей-богу-с, не узнаете!

Долго он морил Смирдина, а подозрительный полицейский все не спускал с него глаз. Потом признался:

— Голофастов я, Митрей. Митюшка, стало быть.

Боже мой, это же Митюшка Голохвастов, с которым, бывало...

— А где же Яшка Угорь?

— Увы! — Голохвастов изобразил шляпой жест мировой скорби. — Как изрек поэт, «иных уж нет, а те далеке...». И мы-с, как видите, жертва непостоянства фортуны. Давно ли вместе пачки с книгами на горбе таскали? Теперь ли — миллионер-с, а мы-с — дворник.

Смирдин сразу понял, чем должен закончить разговор с дер альте камераден, как говорят немцы. Вынул пригоршню мелочи и высыпал ему в подставленную ладонь. И поднялся по знакомым ступеням в знакомый магазин, предоставив Голохвастову делить свой улов с опекающим его полицейским.

У Ширяева был его старый сосед и компаньон Август Иванович Семен, сильно постаревший, но все такой же энергический. «Силитч, Силитч», — беспрестанно обра-

шался он к нему, и вдвоем они прекрасно дополняли друг друга — вечно кипящий прожектами француз и основательный, осмотрительный русский.

Ширяев объяснил, что они все втроем званы Погодиным на обед в трактир Очкина. Но поскольку московские обеды происходят не ранее чем в 6 часов вечера, то время еще есть.

— Чего же он хочет, этот Погодин?

— Журналов теперь все хотят... — Ширяев по старой привычке обращался к Смирдину на «ты», хотя находился в подчиненном положении его комиссионера, а Смирдин никак не мог в ответ называть его на «ты». — Журналы теперь книжное дело отовсюду вытесняют, — ворчал Ширяев. — И ты, брат Смирдин, в этом сильно виноват. Со своими Флюгаринными, Баронами Брамбеусами и прочей шантрапой. Смотри, Смирдин, они тебя сожрут. Ты каждому без разбору деньгу гонишь, а писатели-то они разные. Это как ежели бы я нанял капусту полоть: кто выполет, а кто лебеду оставит, а деньги бы я платил поровну, это все одно...

— Правда ли, у вас вексель есть от Полевого? — спросил Смирдин, чтобы перевести разговор.

Ширяев кивнул, принявшись за кормление канареек. Он занимался разбором их отношений, пересаживал из клетки в клетку, старался добиться, чтобы свист был «архиерейский». Совсем уж облысевший, в ватной безрукавке, он скорее был похож на какого-нибудь швейцара, чем на богатейшего книжника Москвы.

Он указал на Августа Ивановича, который прикорнул в кресле возле протопленной, несмотря на лето, печурки.

— У меня-то малый, а большой вексель у Августа... Ежели твой Полевой вовремя не заплатит, быть Семену в долговой. Теперь банкротов живо в яму сажают...

— А правда ли, он говорит, за ним долгов на восемьдесят тысяч?

Ширяев снова кивнул, подсвистывая кенарю, вызывая его на пень.

— Где ж он тут у вас в Москве накашлял такую сумму?

— Да, как и все вы, молодые... За барами гнался, в картишки-страстишки... На рысаках раскатывал. «Московский...» его «...телеграф» был хват, был смел, всех задевал, да доходу не приносил, это тебе не тайна парижского двора... На немочке женился, вроде тебя, чаял прида-

ное сорвать, а тещь-то сам в банкрутах. Теперь небось из тебя соки высасывает?

— Благороднейший человек!— возразил Смирдин, вспоминая, как впервые его встретил тревожным летом 1812 года в коммерц-ресторации Фрейшютца, еще Семка Кольчугин был жив.— Четыре языка знает, как свой русский... А сколько пишет!

— А-а!— застенали оба московских книгопродавца, Август Иванович даже оторвался от своей теплой печурки.— Благороднейший человек! Вроде своего брата, Ксенофонта, нашего московского торговца. Тоже всезнайка, а на язык ему не попадайся— с дерьмом смешает.

Ширяев спросил Смирдина, знаком ли он с другом покойного Пушкина Соболевским, который сейчас в Петербурге, говорят, богатым фабрикантом заделался. Так вот этот Соболевский, вообще известный эпиграмматист, про братьев Полевых написал такое:

Нет подлее до Дуная
Полевого Николая,
И гнуснее нет до Понта
Полевого Ксенофонта...

— Ну уж это вы слишком...— сказал Смирдин. Подыскивал слова, чтобы убедительнее, и жалел, что природа не наделила его даром златоуста.— Каждый, кто пишет, отмечен перстом Божиим... Мы, книгопродавцы, не должны разбираться в степени таланта и благородства, наше дело— печатать и продавать! Всякий русский литератор уже потому благороден...

— Вот в этом-то наша беда,— прервал его старый мудрец Ширяев.— Перед всяким благородием трясемся... А ты, Смирдин, говорю тебе, брось доверяться этим писакам!

— На много ли у вас есть моих векселей?— спросил Смирдин после некоторого молчания.— Как скоро вы потребуете их учесть?

Август Иванович вновь погрузился в сладкую дрему возле печурки, хотя глазки его на одутловатом лице иногда вспыхивали искорками жизни. А Ширяев пальцем дразнил кенаря сквозь прутья клетки:

— Тю-тю-тю, тюрлюрюшечки... Ну, ну, мое золотце, ну посвисти, моя пташечка... Фюр-р-р, фю-р-р-р...

Оторвавшись от клеток, сказал отдельно, с ударением:

— Вот что, Александр Филиппович, твое степенство... Через цепь векселей мы все друг с другом повязаны. Худо будет тебе — а нам еще хуже... Спрашивать, на какую сумму твоих векселей, тебе у нас непристойно — у хорошего хозяина все в книгу должно быть занесено. Одно скажу: не рассчитывай, что мы не учтем твоих векселей, когда нас самих подопрет. Дружба дружбой, а торговля торговлей.

В этот момент золотистый красавец кенарь запустил, наконец, столь звонкую руладу, что Ширяев аж присел в восторге.

— Ну вот что, братья-разбойники,— сказал он, вынимая старинные луковичные часы.— Пора нам к Очкину.

3

Пока катились в шуме и гаме московских улиц, Ширяев, наклонившись к уху Смирдина, разъяснял ему расстановку сил.

— Денег на журнал у этих благородий ни у кого нет. Для того нас туда и приглашают. Значит, опять пойдут заемные письма, у меня их уж целая коллекция, а платить все просят обождать. Сейчас увидишь профессора Шевырева, молодой такой краснойбай, он мне недавно сказал мудреное такое заграничное слово: «Кризис,— говорит,— кризис!»

Они въехали на Охотный ряд, недлинную улицу в самом сердце первопрестольной, от Манежа до Театральной площади. На улице этой стон стоял от зазывных криков: «А вот свежие рябчики, купите, барыня...», «Индюшки живые!», «Рыба, рыба, рыба, рыба, рыба...». Столь же густ был запах от товаров, которыми были набиты полусгнившие деревянные ряды по обеим сторонам улицы. Если добавить ко всему монотонный, заунывный звон Параскевы-Пятницы, в которой, вероятно, читали часы по какому-нибудь усопшему мяснику, а также неумолчное треньканье балалаек и бесподобную ругань местных лингвистов, то вот вам и будет весьма верная картина сего живописнейшего московского места.

Трактир Очкина, в три этажа ярко освещенных окон, словно пароход, плыл через это житейское море. Извозчик долго искал место, чтобы с честью причалить купцов-седоков к главному очкинскому подъезду, наконец и причалил.

— Пожалте-с, государи!

Пока входили, Ширяев все продолжал объяснять Смирдину ситуацию:

— Погодин, главный закоперщик, это свой мужик, грубый, но понятный. Папаша его был крепостной Шереметева, говорят, его покойник граф иначе чем «Жох» не называл. Теперь сей Погодин — профессор, сам государь с ним переписку имеет-с! Древлехранилище он построил, грамоты собирает, скупает антиквариат. Погодин этот, как Илья Муромец, сорок лет сиднем сидел, теперь не знает, куда силушки приложить, может и гору своротить, только укажи ему гору эту!

Вот и сам Погодин, во фраке, который, сразу видно, сидит на нем как епанча на корове, и с бородой, задранной, словно он Стенька Разин. Приветствовал их столь вычурно и громогласно, что все сени, полные купцов, оглянулись. Повел их в отдельный кабинет.

— Теперь он хочет, — продолжал по дороге Ширяев, — к своему журналу привлечь славянофилов... У вас в Петербурге знают, кто они такие?

Смирдин на всякий случай ответил неопределенно.

— Новое барское увлечение! — аттестовал их Ширяев. — Ты их, кого-нибудь, увидишь сегодня. Без фраков ходят, без галстуков, в косоворотках. Рады бы лапти носить, бороды, но граф Закревский, генерал-губернатор, запретил это дворянам. Уверяют, что Петр Великий испортил историю России, привлекая иностранцев... Тут, понимаешь, что-то есть — Бенкендорф, Дубельт, Клейнмихель, Ливен, Канкрин, им же несть числа!

— Господа! — с торжеством открыл пиршество Погодин, указывая на изобильные яства и пития, переполнявшие стол в очкинском кабинете. Сам хозяин трактира вышел к гостям с салфеткой в руках (Смирдин, конечно, вспомнил свое новоселье) и благодарил за посещение.

Далее Погодин произнес краткую и выразительную речь, в которой заявил, что хочет новорожденный журнал окрестить просто — «Москвитянин». Чтобы не было глупых перетолкований, как бывало, когда шел журнал «Московский наблюдатель». Уж как его ни именовали досужие языки: и «Московский соглядатай» и «Московский надзиратель»... Принялся развивать программу журнала — все обо всем, но без политики! Но это будет толстое ревью — не менее пятисот страниц!

Смирдин, как ни старался сесть с Ширяевым и Семеном, оказался от них в стороне, а справа и слева от него

были оба брата Полевые (опять Смирдину припомнилось его новоселье, как Пушкин сказал цензору Семенову — ты, брат, как на Голгофе, промеж двух разбойников!). Напротив сидели двое молодых людей, очень похожие друг на друга, почти юноши, одетые в хорошо пошитые фраки. Из разговора Полевых через его спину он понял, что это и есть главные славянофилы — братья Киреевские.

Погодин, не давая никому выпить и от переживаний плеская шампанским из своего бокала, продолжал говорить и о том, что в новый журнал приглашаются все, как он выразился, «здоровые, молодые силы», которые разделяют девиз: «Православие, самодержавие, народность!»

Ксенофонт опять просунул свою щучью мордочку за спину Смирдина и зашептал брату:

— А в университете студенты говорят, что у него другой девиз: «Приношение, подношение, даяние». Ну что ж, как говорится, рука дающего не оскудеет, а рука берущего да не отсохнет...

«Язва!» — подумал Смирдин.

Тут Погодин, еще не давая никому приступить к трапезе, сообщил, что сам Николай Васильевич Гоголь, которому после бессмертного Пушкина принадлежит главенствующее место в российской словесности, выразил желание участвовать в журнале...

— Этот гений, Гоголь, — сказал Ксенофонт опять через спину Смирдина, — приехал из Рима, прикидывается хандрою, живет на хлебах у Жуковского. Не хочет ничего писать больше, и его умоляют не губить этим русскую литературу...

— Но пишет он не хуже, чем Поль де Кок, — возразил добрый Николай Полевой.

Ксенофонт возмущенно замахал на него руками.

Погодин сообщил, что и великий Нестор Кукольник обещал для будущего «Москвитянина» одну из своих трагедий, которые он напишет.

— И потребует половину всего сбора только для себя, — уже не скрываясь, объявил Ксенофонт.

Все засмеялись.

Когда Погодин объявил, что его краткое вступительное слово закончилось, были выпиты официальные тосты и присутствующие наконец воздали честь очкинским угощениям.

Но вот поднялся профессор Шевырев, про которого говорили, что у него столь благонамеренное выражение ли-

ца, что ничего более про него не скажешь. В руке профессор держал лист бумаги, из чего гости с грустью заключили, что его речь будет длинной. Но когда он стал говорить, наши издатели и книгопродавцы отодвинули свои блюда и принялись внимательно слушать. Благонамеренный профессор только и делал, что кидал камни в их огород.

— «Библиотека для чтения»,— утверждал, например, профессор,— есть просто пук ассигнаций, превращенный в статьи, чрезвычайно разнообразные, но чаще всего плохие и скучные...

На журналы, сообщил он, смотрят как на капиталистов. Души подписчиков гораздо вернее, чем души крепостных, за ними нет недоимок. Если вы думаете, видя, как литератор едет, например, в санях, что это — сани, это не сани, это его статья, проданная для книжной торговли. Нет у тебя обеда? Напиши какой-нибудь пустячок, лишь бы занять публику, и неси в редакцию — вот и обед...

Профессор Шевырев заявил, что наступил полный упадок нашей литературы. Нет у нас более ни Державиных, ни Карамзиных, потому что они писали не за деньги, а из любви к отечественной словесности и бывали вознаграждаемы милостями монархов.

— Кто устроил ломбард нашей словесности? — патетически вопрошал Шевырев, и лицо его становилось все более благонамеренным. — Книгопродавец! С ним подружилась наша словесность, ему продала себя за деньги и поклялась в вечной верности!

— Ну, братец, это ты переборщил! — бесцеремонно прервал его Погодин. — С такими мыслями лучше за журнал не приниматься. Кто это тебе теперь будет писать за так?

После этого был страшный шум и разговоры, из которых, как всегда в таких случаях, ничто не стало более ясным. Смирдин молчал, с грустью думая о своих векселях, которые, вертись не вертись, оплачивать надо, а тиражи изданий катастрофически падают...

Тут встал маленький, толстенький, старенький Август Иванович Семен и рукою стал показывать, что он тоже хочет сказать слово. Общество, привыкшее к тому, что он всегда молчит, зашикало друг на друга, и установилось внимание.

Август Иванович извинился за то, что он не умеет го-

ворить, но, как старейший теперь в Москве книгопродавец, он не может не сказать кое-что по этому делу...

— Когда я был молодым, еще в моей родной Франции, и готовился стать либрэром, то есть книгопродавцем, я заучил одни тогдашние стихи. Все, что заучивалось в юности, хорошо помнится к старости, позвольте я вам их прочту?

Я признан всеми, дом богатством блещет,
Двор кланяется мне, театр мне рукоплещет.
Торгую всеми, всех я издаю,
Молитесь, авторы, на доброту мою!
А ты, поэт, не жди — издам тебя не скоро,
Поэму господина прокурора
Печатаю! Любой журнал
Теперь мне посвятит елейный хор похвал!

Все хлопали и смеялись, а Август Иванович еще поднимал ручку, просил внимания:

— Я почти всю жизнь прожил в России, и теперь, можно сказать, я тоже русский человек. Это я первый издал великого Грибоедова, я издавал Пушкина и Марлинского. Я скажу, хочу, чтобы меня поняли: мы платим деньги поэтам, чтобы они могли, не давимые нуждой, творить великие произведения, и издавать хотим не за то, что они какие-нибудь прокуроры, а за то, что они — поэты!

Когда окончился вечер (а у Очкина он всегда кончался далеко за полночь) и гости стали покидать отдельный кабинет, очкинские половые умело развели их по извозчикам. Более трезвый Ксенофонт подхватил размякшего брата и водрузил его в подъехавший экипаж.

— Боже мой! — сказал Ксенофонт, объяснив извозчику адрес. — Сколько глупостей говорится о нашей бедной словесности!

Николай во тьме кареты плакал навзрыд, его трясло в такт подсакивавшего на рытвинах экипажа. Ксенофонт нежно обнял его, старался успокоить.

— Литература наша, — рыдал Николай, — скопище мерзости, спекуляции, бессмыслия и гадостей...

— Успокойся, милый, — утешал его брат. — Зато у нас есть ты, твои романы — лучшие в России! А твоя «Абандонна»? Какая там истинная поэзия, какая бездна мысли! Она будет жить вечно!

— Карамзин писал «Историю государства Российского» как историю царей, а я написал «Историю русского народа»... Но его же и хвалят и читают, а меня — нет!

— Что ты, Николаша, мы живем в такой век!— Ксенофонт гладил его по голове.— Станет царствовать народ, станут читать не Карамзина, а тебя... Полевого!

— Министр Уваров велел прогнать меня со всех постов... Никак не может мне простить вольнолюбия «Московского телеграфа»!

— А ты должен написать что-нибудь очень патристическое. Вот Кукольник, дурак дураком, а крест от царя имеет!

— По несколько дней я сижу без копейки, мясник в долг не отпускает говядины, а лавочник — зелени... Но у меня же дети! Я заложил за 150 рублей мою медвежью шубу!

— Но у тебя есть Смирдин, который не оставляет тебя в беде...

— О, Смирдин, это ангел доброты, это неограниченный бриллиант!

— Только что-то много огранщиков на него находится,— усмехнулся Ксенофонт.— И почему-то, Николаша, он не хочет дать тебе 80 тысяч авансу, а вот Крылову за его басни 40 тысяч заплатил!

Некоторое время слышалось только чавканье копыт по грязи и понукание извозчика.

— А насчет сегодняшнего «Москвитянина» вот что скажу...— нарушил молчание Ксенофонт.— Надо вам с Погодиным сговориться, он во всем реалист. Пусть он вас ругает позабористее, но только чтобы интересно. А вы с Брамбеусом в свою очередь позамысловатее его ругайте... Тогда ваши подписчики станут гоняться за номерами погодинских журналов, а его — за вашими.

— Это идея,— сказал Николай совершенно спокойным голосом и высморкался в платок.

4

Побывав в Москве и проводив Полевого в Петербург, Смирдин съездил еще на Макарьевскую ярмарку, центр тогдашних торговых путей России, изучал там возможности для своего дела и вернулся домой, мягко сказать, не в радужном состоянии духа.

— Алекс! — сказала ему жена, поднимаясь за ним в кабинет, едва он успел швейцару отдать шинель, а Зигфриду саквояж.— Алекс! Твой сын знает и употребляет гнусные слова...

-- Какие слова? -- опешил Смирдин, еще переводя дух после возвращения.

— Гадкие.— Эмилия Егоровна протянула ему бумажку.— Настолько гадкие русские слова, что сама я не решусь даже произнести. Вот я написала...

Смирдин сел за письменный стол, подпер голову, повертел в руках бумажку.

— Мы же с тобой решили, Эмили,— сказал он,— что будем учить его дома, не в пансионе и даже не в гимназии. Я плачу деньги воспитателю и четверем учителям. И теперь вы мне показываете гадкие слова?

— Алек!— вскричала Эмилия Егоровна со слезой. Она вновь ждала ребенка и была готова по всякому поводу перейти на плач.— Ты бы мне хоть сесть предложил...

— Милочка!— вскочил Смирдин, усаживая ее на канapé.— Ты же здесь хозяйка! Прости меня, Христа ради, я так устал от этих ярмарок.

Эмилия Егоровна принялась упрекать мужа в том, что он за своими книжными торговлями позабыл семью. Ведь у него теперь четверо детей, и пятого, бог даст, надо ожидать... Учителя учителями, а отец должен оставаться отцом. Вот муттерхен (то есть теща, Елизавета Марковна) считает, что отец должен Зашу высечь.

— Высечь?— Смирдин мгновенно представил себе свое детство в Никольских тупичках. Как говорится, тычки и дранье ушей были нипочем, но высечь?

— Тогда хоть поговори с ним!— потребовала Эмилия Егоровна.— Ведь он же скоро будет взрослый мужчина.

Когда шли ужинать, Смирдин думал о жене. Она тысячу раз права! Заметил ли он, как она сама из голубоглазого создания ангельского типа превратилась в полную, тяжело ступающую и уверенно говорящую матрону, хранительницу очага! «И обновила наконец на вате шлафрок и чепец...»

Собравшиеся к ужину в дубовой столовой радостно приветствовали его, он отвечал улыбкой и мановением головы, а сам машинально пересчитывал: «Мы с Милочкой — двое, Елизавета Марковна (ужин отнесут в ее комнаты, ей нездоровится) — третья, сын Александр с воспитателем, мосье Бернаром, — четыре, пять; дочь Елизавета с воспитательницей, мадемуазель Жюли, — шесть, семь; учитель музыки мосье Рупини с супругой — восемь, девять...» Он сбился и перестал считать, не дойдя и до половины сидящих.

Он слушал оживленный застольный разговор, разные сообщаемые ему известия и сам улыбался в ответ. А из головы никак не шло то, о чем думал обратной дорогой из Нижнего, когда пытался сосчитать, каков станет его долг, если все векселя вдруг будут предъявлены к оплате? Вышло — 500 тысяч рублей, полмиллиона! По спине даже мороз пробежал.

Что же станется со всеми с ними, молодыми, нарядными, беспечно болтающими о столичных пустяках? А вот это, кстати, кто сидит? Это же кузен Франц, все с той же невозмутимой олимпийской физиономией и рыжеватой бородкой. А чем он занимается вообще, как зарабатывает себе кусок хлеба? А доктор Вагнер, который почитает за правило каждый день у них обедать? А Федор Фролович Цветаев, после того как был сделан главным управляющим библиотекой и магазином фирмы?.. А вот этот тщедушный немчик Генкель, кто он вообще?

Еще отсутствует папаша фон Нагель, который отправился в Ревель что-то налаживать в своих делах по закладам. Но Смирдин-то, Смирдин хорошо знает, что в семейное хозяйство фон Нагели не вкладывают ни копейки, а свой предсвадебный долг Смирдин им давно заплатил.

Тут он посмотрел на детей, и сначала радостная струя облила его сердце. Вот они, ребята-смирдинята, все, как один, похожи на него, все длинноносенькие, глазки хитроватые, уголки иронически опущены вниз. Опять подумал: «Что же станется с ними?» — и опять мороз подрал по коже.

Он встал, раскланялся, забрал с собою старшего, Александра, и увел с собой в кабинет. Там сел в кресло, а мальчика поставил перед собой.

— Ну, сын, как живешь, какие новости, как успехи?

Александр отвечал без запинки на все поставленные вопросы, заячьи глазки смотрели куда-то мимо, а сам был весь настороженный, вероятно, знал, что будут жаловаться на него отцу.

А ведь отец каждую свою редкую минутку отдавал им, детям. «Папахен свободен, ура!» Значит, в цирк, или в лодке на острова, или в кондитерскую Беранже есть мороженое, пить шоколад! И не поворачивается язык спросить о том, на что жаловалась мать...

— Послушай, Зайка. (Мать называла сына — Заша, а Смирдин переименовал это в Зайку.) Послушай, Зайка, а может, ты хочешь сам у меня что-нибудь спросить?

Мальчик секунду только помедлил, поднял свой не прямой взгляд и спросил, без тени смущения:

— А правда, папахен, Сережа Полевой говорит, что мы скоро будем банкроты и вас посадят в тюрьму?

Вот те на! Смирдин подумал, что сейчас лишится сознания, во всяком случае, язык его смог пролепетать одно:

— Глупости!

Постучал в дверь и тотчас вошел, не ожидая позволения, мосье Бернар, воспитатель. Лицо страшно обыденное, гладенькое, с ухоженными бачками, тысячи таких лиц и в департаментах, и в рядах, и на бирже. Бойко по-французски стал докладывать об успехах питомца — жалоб никаких. И мальчик при нем оживился, напряжение с его лица спало, он даже засмеялся какой-то остроте француза.

Смирдин, чтобы что-нибудь спросить, осведомился, что они читают. Француз начал сыпать именами: Ламартин, Поль де Кок, Жюль Жанен, Ксавье де Местр... Смирдин смекнул, что в перечне этом имен Бальзака и Гюго, наиболее популярных сейчас на литературном рынке, не было. Он тогда спросил:

— А Пушкина что-нибудь читаете?

Мосье Бернар пожал плечами, чтобы показать, что это не его обязанность, есть особо учитель словесности, ходит. Мальчик же ответил охотно:

— Как же, папенька, читаем. «Как ныне собирается вещей Олег...» — Он произнес это с оттенком декламации. — Господин Пушкин писал грешные стихи, за это его боженька наказал. Он убит на дуэли.

— Ступай спать, Зайка, — сказал Смирдин и перекрестил сына. — Я только что приехал, устал. Договорим завтра.

Он вручил мосье Бернару премиальные — четвертную банкноту, тот, рассыпаясь в благодарностях, вышел вслед за питомцем. А Смирдин думал: господи, да как же он проглядел сына? Кто же у него преподаватель словесности? Семинарист какой-то отставной — это при всем его, Смирдина, знакомстве с литераторами! Потом этот вопрос о банкротстве... Это значит, у них, у Полевых, за столом такие разговоры ведутся? Нет, ошибся он в Полевом изрядно, не рассчитал. Барон Брамбеус или там Булгарин — с теми проще, наперед известно, что плут!

Но вот постучалась мадемуазель Жюли, которую

старший фон Нагель всегда рифмовал с «тре жолі» (очень миленькая). Она привела свою воспитанницу — Лили. Елизавету, старшую из дочерей Смирдина. Мадемуазель тоже трещала без умолку об успехах питомицы и заставила ее продекламировать отцу басню «Ля сигаль э ля фурми» — «Стрекоза и муравей». Причем басня разыгрывалась в лицах: Лили, дичась и ковыряя пальцем обивку кресла, говорила за муравья, а французенка бойко подавала реплики за стрекозу.

— Подождите меня в гостиной, — скомандовала Жюли воспитаннице, когда представление было окончено.

Девочка вышла, и французенка приступила к Смирдину.

— Ах, мосье, я получила письмо от моей бедной матушки... — сказано это было таким образом, точно матушка жила не ближе Парижа, между тем они были исконные московские французы, их рекомендовал Смирдину книгопродавец Семен.

Просьба мадемуазель Жюли сводилась к тому, чтобы, по случаю бедственного состояния матушки, выдать ей Жюли, некоторое вспомоществование.

— Ах, я в таком ужасном положении! — восклицала Жюли. — Я буквально на все готова!

И платье у нее было декольтировано, что не принято за домашним ужином, тем более когда идешь к хозяину докладывать об ученье его ребенка. И юбка подобрана в кресле таким образом, что крепкая коленка будто невзначай выглядывает наружу. «Наверное, прежде ей оказывал вспомоществование старик фон Нагель», — подумал Смирдин и спросил:

— Сколько же вам нужно?

— Ах! — умоляюще сложила руки «ля сигаль». — Мне очень стыдно, но рублей сто.

Смирдин открыл привезенный из Нижнего портфельчик, в котором лежали наличные деньги. Он надеялся выкупить хотя бы часть заложных тиражей, пустить в продажу, чтобы на вырученные деньги выкупить и остальное...

— Вот, возьмите, — протянул он банкноту, при этом глядел за окно, где осенний ветер на Лиговском канале рябил холодной черной водой.

Здесь настала очередь представления и младших детей. Их ввели под руководством Малаши, которую дети уже окрестили бабой Малашей. Пятилетняя Катя, люби-

мица отца, отлично знавшая свой фаворитизм, без лишних слов вскарабкалась к отцу на колени и, приняв у него из рук макарьевский леденец, принялась его сосать. Младшего, Василия, поднесла на руках нянька, это толстое и краснолицее существо крепко держало во рту соску с кольцом, но, когда его поставили на ковер, храбро зашагало вязаными бахилками.

Нянька с поклоном приняла хозяйскую награду — десять рублей, а баба Малаша, как и всегда, отказалась, заявив: «Я не за награды тебе, государь Александр Филиппович, служу. Мне бы, по суетности моей, хлеба кусок да чем прикрыть природную наготу, более ничего не надо...»

Наконец настала тишина. Огромный княжевичский дом, выходящий сразу на четыре улицы, затихал. Смирдин погасил все свечи в своем кабинете, стал у окна, постукивая карандашом о подоконник.

Поездка его в Москву и Макарьев, конечно, задумывалась неспроста, не только чтобы почтить память матери и Полевого покатать. Вычитал он из немецких газет, что в Лейпциге уже лет пятнадцать существует «Биржевой союз немецких книгопродавцев» — Берзенферейн. Члены Берзенферейна договариваются об общей политике торговых скидок, учетных ставок на капитал, разделе сфер влияния. И, как всегда у немцев, получается это у них поделовому и с пользой. Главное, они не дают должника рвать на куски, помогают ему в случае кризиса, а не грозят немедленным опротестованием или арестом его товаров, что обрекает неудачника на остановку распродажи, а следовательно, на верный крах.

Но ни в Москве, ни в Макарьеве, как и ранее в Петербурге, он не нашел таких сознательных и, главное, дееспособных людей, чтобы с ними составить российский берзенферейн. Прости, господи, но даже лучшие из них, вроде Греча, Полевого или того же Ширяева, если одним словом определить — рвачи!

Смирдин сломал карандаш о каменный подоконник и отбросил его. Далеко, сначала в гостиной, потом на лестничной площадке, все приближаясь, слышались грубые шаги, потрескивал паркет. Это шла встревоженная Эмилия Егоровна узнать, чем так срочно занят ее благовверный, что ж он не идет спать-почивать? А Смирдин в уме подсчитывал: дом еще не заложен, за него можно тысяч сто двадцать взять. Оборудование типографии,

правда, уже под залогом, но и то, тысяч пятьдесят оно может принести...

За окном все так же тусклые масляные фонари рябили черную как смоль воду Лиговского канала. Какой-то подгулявший мещанин тренькал на балалайке, у которой лопнули все струны, кроме одной. Теплые, полные сочувствия и ласки руки жены обняли его сзади за шею, и она прошептала:

— Алекс, ну что ты, милый? Ведь мы же с тобой!

5

Швейцар доложил Николаю Алексеевичу, что его спрашивает господин, кто — не назвал, на автора не похож, одет прилично.

— Проси! — махнул Полевой, не отрываясь от рукописи.

Он спешил, потому что очередной номер «Сына отечества», которым он у Смирдина непосредственно заведовал, был уже давно-предавно обещан подписчикам, типографские машины простаивали, ожидая, когда г. редактор пустит его в набор... А номер был все еще на кончике пера у редактора, который сам же был и автор, а в голове автора было так же пустынно, как и в его кошельке.

— Проси! — повторил он, чертыхаясь, потому что тот самый кончик пера, на который была вся надежда, внезапно сломался, издав демонический скрип.

Оказалось, что посетитель уже здесь и ждет, когда г. редактор обратит на него внимание.

— Слушаю вас! — сказал Полевой, но даже не одарил его взглядом, потому что приискивал в ящике новое перо.

Но при первых же словах посетителя он забыл и перо, и простаивающие машины, и обманутых подписчиков. Потому что пришедший господин объявил ему, что Леонтий Васильевич Дубельт ожидает его завтра поутру в своей канцелярии.

Теперь, дорогой читатель, надо объяснить, что за персона был этот Леонтий Васильевич Дубельт, ежели ты этого еще не знаешь. Он был правой рукой самого генерала Бенкендорфа. А возвышению такому он обязан, как это ни парадоксально, нашему герою Смирдину.

Еще при жизни Пушкина Смирдин, надо полагать, при его благословении, задумал издать в десяти томах капитальнейший альманах «Сто русских литераторов». По-

добные издания выходили за границей — в Германии, во Франции — и имели исключительный успех. Кстати, знаменитый Жюль Жанен, когда ему показали первый том смирдинской «Библиотеки для чтения», осмотрев его выходные данные, воскликнул: «Где они там, в России, набрали столько писателей? А тираж какой! Для Франции — фантастический. Значит, у них и читателей полно!» Так это было или не совсем так, но выпуск «Ста русских литераторов» готовился долго, тщательно, это должно было быть роскошное и дорогое издание для домашних библиотек, и Смирдин возлагал на него большие надежды. Специально были заказаны за границей гравированные портреты писателей, и хотя Булгарии с этим делом надуд Смирдина, о чем речь пойдет впереди, однако портреты были. Тем охотнее раскупали их любители российской словесности.

И вдруг — конфуз! В первом же томе портрет писателя Марлинского, который был не кто иной, как декабрист Александр Бестужев, тот самый (помните?), который точил саблю о подножие памятника царю Петру.

Гроза была готова обрушиться на голову Смирдина или цензора Никитенко, но тому удалось доказать, что портрет был пропущен по ошибке самим помощником генерала Бенкендорфа Мордвиновым. Тот был снят с должности, а на его место назначен Дубельт.

Опять же уверяют, что жена Дубельта обещала разехаться с ним (развестись в те времена было почти невозможно), если он станет жандармом. На что Дубельт отвечал ей так:

— Если я поступлю в корпус жандармов для того, чтобы стать доносчиком и соглядатаем, то тогда мое доброе имя действительно будет запятнано. Но если на своем посту я стану опорой бедных, защитником несчастных, если я стану действовать открыто, буду заставлять людей поступать справедливо, наблюдать, чтобы делам давали законное направление, тогда как ты меня назовешь?

Дубельт на этом своем посту стал черной тенью передовой русской литературы.

Но наш бедный Николай Алексеевич Полевой этого не знал, был страшно напуган, переломал все свои перья и номер журнала так и не подготовил, вдобавок почти всю ночь не спал. Хотел посоветоваться со Смирдиным, с друзьями, с женой, наконец, но не решился. По Петер-

бургу ходят рассказы, будто Третье отделение в качестве агентов вербует и жен подозреваемых лиц...

Утром он явился на Гороховую улицу (угол набережной Фонтанки), в здание, описанное в доброй доле исторических романов. Приходивший к нему господин почему-то предупредил, чтобы он заходил не через общую приемную, а со двора, где кухня.

Там в обширных сенях стояло несколько пар лакированных сапог одного размера, но разного фасона — на каблуках, со шпорами, с узкими, с квадратными носками и т. д., и целая куча жандармов их обихаживала при помощи баночек с ваксой и щеток, чуть ли не языками вылизывала.

Наш Полевой настолько ослабел, что без приглашения уселся на стоявший в углу табурет. Время от времени выбегал чиновник, который, по гоголевскому определению, был типичная «свинья в ермолке». Чиновник трагическим голосом восклицал: «Готовы ли?» Его благоговейно спрашивали: «А какие сегодня изволят надеть-с?» — на что он махал рукой и вновь скрывался в лабиринте помещений.

Наконец он появился и объявил: «С квадратными носками-с!» Вздох облегчения вырвался у всех жандармов, а Полевой подумал, что в каждой службе есть свои трудности. Тут господин, который «свинья в ермолке», спросил, чего ему надо? И, узнав, что он к Леонтию Васильевичу, сказал, что это не сюда, и подробно объяснил, как пройти.

Дубельт встретил Полевого чрезвычайно любезно. Полевой со страхом и надеждой всматривался в интеллигентное, усталое и даже болезненное лицо этого человека, которым пугали литераторов, как няньки пугают малых детей верлюжкой, его висячие седоватые усы и очень внимательные и добрые глаза.

— Не буду вас томить, — сказал Дубельт. — Знаю, что от вызова на Гороховую у некоторых сердечные приступы бывают, что же делать, наше ремесло такое!

Он встал, взяв в руку пергаментный лист бумаги и корбочку, поднялся напротив него и Полевой.

— Государь император соизволил через меня передать вам бриллиантовый перстень и благоволение за вашу пьесу «Ботик Петра Великого», который его величеству было благоугодно просмотреть.

Они обменялись рукопожатиями, Полевой боялся, что начнет рыдать или что его хватит припадок от счастья.

Когда уселись в свои кресла, Дубельт предложил Полевому курить или пить выставленную на подносе зельтерскую воду, Полевой только отрицательно мотал головой. Дубельт, понимая его состояние, и не требовал от него красноречия.

— Вам, наверное, известно, любезнейший Николай Алексеевич,— мягко говорил он,— что в течение некоторого времени вы числились среди поборников неуместного для нашей страны либерализма, чуть ли не революции.

Полевой даже привстал, чтобы заверить, что это были увлечения молодости, которые давно прошли. Дубельт движением руки просил его не беспокоиться и продолжал:

— Тут есть вина нашего Сергея Сергеевича Уварова, министра народного просвещения, который, как вы, вероятно, знаете, есть личность увлекающаяся, я бы даже сказал, в известной степени экзальтированная. Правильно провозгласив и защищая девиз: «Православие, самодержавие, народность», он с излишней поспешностью причислил к его врагам даже таких людей, как господина Булгарин, Греч, Сенковский... И вы туда попали, поэтому и подверглись известным стеснениям в своей литературной и общественной деятельности. Теперь все сочиненное вами в последнее время было внимательно рассмотрено, и вы всегда отныне будете под благосклонной к вам десницей государя.

Полевой все-таки встал и, поклонившись, просил передать государю его верноподданническую благодарность и заверить его...

Дубельт наклонил голову и расправил знаменитые усы.

— Но теперь задача в ином,— продолжал он.— Надо думать о будущем. Россия не застрахована от вредоносных западных влияний, тлетворный дух революции доносится и до нас, мы же не можем отгородиться китайской стеной. Православие, самодержавие, народность, как она понимается нашим державным повелителем, должны проникнуть во все поры общественной жизни, в том числе и в литературу, бель летр! Все должно стать подвластным монархической идее, в каждом печатном или даже устном слове должна быть отражена благотворная воля монарха.

«Ишь как режет! — подумал Полевой, который успел

немного оклематься от давешнего потрясения.— Прямо профессор какой в университете!»

Дубельт сказал, что, к несчастью, литературные журналы плодятся как грибы после дождя и правительство уследить за их деятельностью не в силах. Есть доброжелательные граждане, которые об этом пишут. Вот один журналист, пожелавший остаться неизвестным («Фаддей, наверное», — усмехнулся Полевой), сообщает, что журнал «Отечественные записки», издаваемый господином Краевским, ведет чуть ли не коммунистическую пропаганду... Однако все отлично знают, что Краевский там фигура не первой величины, главное там — Белинский. Что можно сказать о Белинском?

— Несчастьем его жизни... — начал Полевой, стараясь вникнуть в желания его высокого собеседника, — была желчная болезнь, может быть, порожденная страданием и бедностью, а еще больше непомерная гордыня и себялюбие...

Дубельт остановил его, раскрыл досье с какой-то бумагой.

— В знак того, что мы вам полностью доверяем, мы не скрываем от вас, что письма некоторых лиц, опасных для общества, мы прочитываем. Вот что, например, пишет своему confidentу этот Белинский о нашем государстве: «Гадко, гнусно, ужасно! Нет больше сил, нет терпенья...» А о вас лично, почтеннейший Николай Алексеевич, хотите знать, что он пишет? «Полуграмотный купец Полевой дает толчок обществу, делает эпоху в его литературе и жизни, а потом вдруг ни с того ни с сего позорно гниет и смердит...»

Глаза Дубельта затуманились грустью, как, наверное, у волка, когда он думает о несчастной участи ягненка, обреченного ему в пищу. Он меланхолично завивал себе кончики усов, а Полевой постарался изобразить самое крайнее возмущение, хотя ничего для себя лучшего от этого наглеца Виссариона он и не ожидал.

— Но беда-то и не в этом, — сказал Дубельт, отпив зельтерской воды. — Для лучшего уяснения своей мысли я прочту вам еще одно подобное письмецо... — Перелистывая досье, он саркастически усмехнулся: — Шпекинское наслаждение! Помните, как у Гоголя? Вот, нашел: «Ты спрашиваешь, любезный друг, как я нахожу статьи Белинского, ежели он редко их подписывает?...» Это пишет провинциал в столицу. «Имя Белинского здесь

известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше... Если нужно взять на должность действительно честного доктора, честного следователя — ищите их среди тех, кто читает Белинского!»

Дубельт позволил себе отдых, открыл роскошную коробку с испанской золотой короной на крышке, достал сигару, ножничками отстриг кончик. Ударил по настольному звонку, и тут же из двери явился жандарм с тлеющим трутом, как будто бы все утро только и ожидал этого вызова. Полевой пожалел, что не курит.

Попыхтев сигарой, Дубельт сделал знак — обратить особое внимание:

— Вы видите — он уже вождь! А здесь, в Петербурге? Возле него уже незаконнорожденный отпрыск толстосума Яковлева, некто Герцен, которого весьма милостивая ссылка ничуть не отрезвила. А то еще Некрасов... Кто такой Некрасов? Что он есть, с кем он живет, чем он существует? А ведь он отчасти плод ваших забот, уважаемый Николай Алексеевич, ведь это вы помогли ему сделать первые шаги в журналах.

Полевой виновато помалкивал, гадая, к чему же все-таки клонит его многомудрый собеседник.

— Но мы не призываем вас, — погасив сигару, продолжал тот, — чтобы вы следили за ними или писали доносы, любезнейший. Это сделают менее квалифицированные лица. Дело в ином. Надо противопоставить этой революционной банде журналы наши, то есть те, которые, в общем, стоят на позициях охранительных. А вы лучше меня знаете, как мирно живут между собой, скажем, господ Булгарин и Сенковский.

Полевой развел руками и поднял очи к потолку. Дубельт же утвердительно покачал головой.

— Я бы просил вас, — он аккуратно завязал тесемочки на досье и запер его в железный шкафчик, — сегодня поехать на квартиру к господину Булгарину. Нам известно, что там, в три часа пополудни, состоится его принципиальная встреча с господином Сенковским — Бароном Брамбеусом этим. Кстати, как раз относительно судьбы «Библиотеки для чтения» и всего наследства Смирдина... Бедный Греч, как некстати он выбыл из строя! Вы же знаете, у него скоростижно умер единственный сын... Я возлагаю все надежды на вас, достоинчнейший Николай Алексеевич. Вы сумеете водворить мир, столь необходимый для нашего лагеря!

И поскольку Полевой, считая задание полученным, вновь принялся благодарить за перстень и порывался встать, Дубельт попросил еще минуточку внимания:

— Что вы скажете о Смирдине?

— То есть в каком смысле? — насторожился Полевой.

— Смирдин обратился к государю императору с всепокорнейшей просьбой выдать ему единовременное денежное вспомоществование для поддержки коммерческих дел. За него усиленно хлопочет поэт Жуковский, а он же воспитатель наследника. Министр Уваров со своей порядком уж надоевшей прямолинейностью ему отказал, но государь колеблется, господину Жуковскому он отказывать не хочет, да и может же наш высокощедрый повелитель сделать поддержку столь важному орудию просвещения, как книжная торговля?

— Он должен сотни тысяч рублей, — как всегда изда- лека, начал Полевой, — и даже сто тысяч вспомошествова- ния уже не спасут его. Ведь государь же даст ему деньги под залог напечатанных изданий? Смирдин и употребит сию сумму, чтобы переложить уже заложенные тиражи из кладовых Фарикова, Ольхина, Жернакова в казенные кла- довые, а вырученный сбор кредиторы тут же разорвут на части. Мне тяжело и грустно думать об этом действительно добром, хотя и бестолковом человеке, главное же — об отце многочисленного семейства.

Помолчали, как в разговоре о каком-нибудь скончав- шемся человеке, и, поскольку Дубельт не подавал никакой реплики, Полевой продолжал:

— Для книжной же торговли Смирдин представляет собой весьма загадочное явление...

— В каком смысле? — заинтересовался Дубельт.

— Дело в том, что у него нет собственных капиталов. Ни в одном банке на имя Смирдина не лежит ни копейки.

— Как же он совершает тогда свои тысячные оборо- ты?

— А вот так! Покупает бумагу, материалы, заказыв- ает печать — расплачивается векселями. Распродает на- печатанное — выкупает свои векселя и рвет их... Поэтому для него остановка в этом непрерывном кружении обо- рота — это смерть.

— Подумать только! — удивился Дубельт, оживляясь и даже беря новую сигару. — Какая предприимчивость!

Когда разговор закончился и Дубельт отпустил нако- нец Полевого, многозначительно взглянув на часы (время

встречи Булгарина и Сенковского было уже близко), Полевой думал одно: «Подальше от этого Смирдина, подальше! Будь что будет, завтра же подыскать себе дружку квартиру».

6

Когда Николай Алексеевич вышел на Гороховую, застегивая свою демисезонную шинель, которую только третьего дня выкупил наконец из ломбарда, ярко светило солнце, кричали дети, чирикали воробьи. А на душе было прегадко. «Вот я и лакей!» — думал он.

Из арки ворот громадного пятиэтажного дома выбежала и наскочила на него пара, их сразу узнал Николай Алексеевич. Это был бывший профессор Галич, сильно сдавший и постаревший, но все еще похожий на льва, за ним семенила, вцепившись ему в рукав, мадам Говорова в салопе комифотного цвета и в шляпке «гнездо колибри».

— Ты должен выделить хотя бы рублей двести на одежду, — толковала она мужу. — Твой редингот никто более не узнает, что это парижский редингот. И квартиру бы сменить, у тебя углы промозгли, а диван — лучше уж просто сидеть на полу...

Как раз тут они натолкнулись на Полевого, мадам принялась извиняться, а Галич его узнал.

— Полевой, это вы? Какими судьбами в наши зловещие края? Из этих щелей только шпионы Третьего отделения вылезают, ха-ха-ха!

Подергал локтем, чтобы освободиться от жены, и принялся набивать трубочку. «И этот сейчас окурит, — с тоской подумал Полевой. — Бедные мои легкие!»

— Послушайте! — начал Галич, ухватив Полевого за пуговицу шинели, чтоб тот не убежал. — Есть у меня заветная идея — написать книжонку, правда, довольно плотную, в виде введения к истории человечества, такого философского, знаете ли, порядка...

— Ну и за чем же дело стало? — спросил Полевой, отклоняясь от его трубочки.

— Да боюсь только время зря потерять... Вы знаете, сколько у меня корзин со всяким мною написанным, я когда-нибудь вам покажу, а издателя не находится!

«Сейчас станет набиваться, чтобы я его с продолжениями в журнале тиснул!» — с грустью подумал Полевой.

Тем временем Галич и в самом деле, словно лев, зарычал на свою супругу:

— Что ты заладила с этим диваном! Дай хоть с человеком поговорить, сто лет его не видел.

Полевой стал извиняться, поскольку его ждут в другом месте.

— Сейчас, сейчас! — заторопился Галич, очень не терпелось ему выложить какую-то весть. — Сказал я об этом Плаксину — вы его не знаете? — это мой бывший питомец, а он говорит: «Эх вы, наш Сократ!» Сократом меня когда-то ученики прозывали. «А на что ж, — говорит, — нам бог послал Александра Филипповича Смирдина?» Я отвечаю — да ведь совестно, все к нему за деньгами лезут... Но все-таки пошел. И что же вы думаете, милейший? Смирдин дал мне денег!

«Ну, Смирдин!» — изумился про себя Полевой.

— Теперь я из провиантской конторы уволился, — ликовал Галич. — Вы знаете, я там в последнее время служил делопроизводителем... Эх, какая у меня выйдет книжка!

Тут мадам Говорова проявила решительность и, подхватив своего Сократа под локоть, потащила по направлению к Гостиному двору.

«И ведь напишет!» — размышлял Полевой, шагая на Пески к квартире Булгарина. И становилось ему все грустнее, потому что он знал, как умно и увлекательно может и писать и говорить этот львиноподобный философ и что именно это ему, Полевому, никогда не удавалось. Уж перед собою-то он был честен до конца!

Булгаринничуть не удивился приходу Полевого, просил извинения за беспорядок, потому что семья его была еще в деревне. Сам Булгарин колдовал над письменным столом, заваленным корректурами и гранками, словно поле битвы при Ватерлоо. И был подобен Бонапарту, который красовался перед ним в виде бронзовой статуэтки, скрестив руки, когда вершил это газетное побоище.

— Из Москвы сообщают, — читал гранки Булгарин, раздев и усадив Полевого, — купец второй гильдии Август Семен объявлен по суду банкротом...

— Да что вы! — чуть не подскочил Полевой, подумав сразу о Смирдине.

— Да, да, — раздумчиво ответил Булгарин, показав ему гранку. — Отсюда и до нашего Смирдина недалеко.

Но мы как-то должны его поддержать, ведь заработок потеряем.

Полевой не знал, что ему ответить, а Булгарин, прищурив свои лягушечьи глаза, продолжал пробегать гранки.

— Известие о смерти Лермонтова на Кавказе подтвердилось! — сказал он, протягивая Полевому гранку. — Жаль, он был человек с дарованием, хоть, кажется, без сердца... Одна из надежд русской литературы! Невольно восклицаешь — а дрянь всякая живет!

«Интересно, — подумал Полевой, — кого это он считает дрянью? Не потому ли ты, Фаддей, трусишь дуэлей, чтобы не сгубить окончательно великих надежд русской литературы?»

— Вот! — заявил Булгарин и кинул на стол свеженапечатанный томик Гоголя «Мертвые души». — Как все-таки исподличалась наша так называемая литература! Ведь сей господин Гоголь меня бессовестно обокрал. Тут все украдено из моего «Ивана Выжигина»! И его Ноздрев, и его Чичиков — это же мои, выжигинские типы!

Так они сидели, беседовали о литературе, а Барон Брамбеус все не шел, и наконец, когда басовитые часы пробили четыре, в дальней прихожей задребезжал входной звонок. «Проходите, батюшка», — раздался голос кухарки Прасковьи, открывавшей дверь.

Осип Иванович Сенковский, профессор сразу двух кафедр — арабской и персидской словесности, он же Барон Брамбеус, он же Тютюнджи-Оглу, прочих его званий и псевдонимов не перечить, вошел, не снимая шинели и шляпы, и остановился напротив Булгарина, опершись плечом на притолоку двери.

«Вылитый карлик Черномор! — подумал Полевой. — Как у Пушкина, только без бороды... И глазенки такие же злые».

— Ну-с, зачем я вам нужен? — спросил Сенковский.

— А вы, любезнейший Осип Иванович, — спокойно ответил Булгарин, складывая просмотренные гранки, — снимите плащ и сденьте шляпу, вот вам софа, раскиньтесь на покой! И в первую голову не забудьте нам сказать — здравствуйте, мол, господа!

— Мне чрезвычайно недосуг! — гордо ответил Сенковский. — Я завтра пятый выпуск «Библиотеки» цензору Никитенке сдаю, а мы задолжали подписчикам седьмой!

— У всех у нас задолженности.— Булгарин сокрушено обвел свой стол с его рукописями, гранками и мрачным бронзовым Наполеоном.— А надо поговорить.

— О чем нам говорить-то?!— вдруг сорвался на крик Сенковский. Он весь кипел, какая-то досада и гнев его обуревали.— О чем нам теперь говорить?

— А что такое?— вылупил на него глаза Булгарин, и по его бессовестному взгляду Полевой понял, что чует кошка, чье мясо съела.

— Это зачем вы кредиторов Смирдина надоумили, чтобы они наложили арест в почтамте на авансы подписчиков «Библиотеки для чтения»?

«Ну, начинается!»— похолодел Полевой, и ему захотелось плакать.

— Это их законное право, кредиторов!— тоже перешел на крик Булгарин.— А вы, милейший, халтурой безмозглой не заполняйте эту свою «Библиотеку». Куда ни кинь— либо Барон Брамбеус, либо Тютюнджи-Оглу... Вы что, миллион успели за счет Смирдина в Опекунский банк отложить?

— Да как вы смеете... Да как вы...— задыхался от злости Сенковский, роняя на пол сначала трость, потом и шляпу.— Вы сами, милостивый государь...

Полевой сидел, опустив голову, не смея вмешиваться в эту битву драконов.

— А в «Энциклопедическом словаре» Плюшара что вы наделали?— вскипал Фаддей, уже и он не сдерживал себя.— Мне издатель приходил жаловаться. Заставили студентов сочинять полуграмотные статейки, а гонорар присваивали себе. Да какой гонорар— двести рублей лист!

— А вы, а вы...— Сенковский, лысый, в гневе сделавшийся совершенно рептильного роста, топтался, никак не мог подобрать ответа пообиднее.— А ваша эта «Северная вошь»...

— Как ты сказал?— закричал Фаддей Венедиктович, выскакивая из-за стола.— Повтори, мерзавец!

— «Северная вошь!»— кричал Сенковский.— Или лучше— вша! Вша!

Булгарин озирался, ища орудие отмщения, и тут взор его пал на бронзового Наполеона со скрещенными руками. Он схватил его и, размахнувшись, запустил в бывшего компаньона. Наполеон пролетел над головой совсем об-

мершего от страха Полевого и ударился об дверь, потому что бывалый Барон Брамбеус успел спрятаться.

Тут же Сенковский вновь просунул голову с черными рачьими глазами в кабинет и показал Булгарину язык, как можно длиннее.

Полевой не стал дожидаться конца побоища и опрометью бежал с поля боя. Вдогонку ему раздавался отчаянный крик кухарки Прасковьи:

— Рятуйте, добрые люди! Барина убивают!

7

Двор большого смирдинского дома, выходящего сразу на четыре стороны, есть предмет постоянной кручины маленького Саши, хозяйского сына. Смотришь в окна — все там интересно, полно движения и свободной жизни, и вместе с тем строгий запрет туда ходить.

— Ты был во дворе? — священный ужас в глазах матери, и головомойка от мосье Бернара.

Стоило мосье Бернару отвлечься, Сашенька оставлял свои книжки, тетрадки, даже раскрашенные картинки, купленные на Гостином дворе, и кидался к окну.

Там, внизу, въезжали ломовые телеги, ввозили огромные тюки с типографской бумагой, на которых были наштемпелеваны иностранные слова: «Лейпциг... Амстердам... Лондон...» Или наоборот: те же ломовики вывозили напечатанные книги. Возчикам страшно хотелось поругаться, иногда они произносили столь странные слова, значения которых даже мосье Бернар не мог объяснить.

Но во дворе царил суровый дворник в полотняном фартуке и с полицейской медалью, который ломовиков этих одергивал, указывая на господские окна. К сожалению, этот же дворник отгонял разных проходящих гаеров, которых на Лиговке было немало: акробатов, кукольников, показывателей всяких чудес. Во дворе резвилось, бегало взапуски, очень интересно играло в бабки множество детишек из противоположного корпуса смирдинского дома, который сдавался жильцам. Во всех забавах верховодил мальчик крупный, головастый, однако Сашенька знал, что он ровесник ему. Звали этого мальчика Мирон, он был сын всемогущего дворника и сам чувствовал себя распорядителем, чинил среди ребят суд и расправу.

И пусть на этом дворе не было ни травинки, ни деревца, один булыжник и бурая утопанная глина, но там бы-



ло во сто раз интереснее, чем, скажем, в пышном Таврическом саду со всеми его аллеями и оранжереями, куда детей Смирдиных и Полевых водили в установленное время на прогулку.

Но вот как-то мосье Бернар сказал, что ему надо посоветоваться по делам педагогической науки с мадемуазель Жюли, и отправился к ней на третий этаж. Сестрица Лили занялась своими куклами. Сашенька тотчас подбежал к окну и увидел, что во дворе Мирон затеял меряться с мальчишками силой — рука к руке и кто кого перегнет.

Сашеньке неодолимо захотелось испытать и свои силы. Выглянул на лестницу третьего этажа, но там было все безлюдно, и он сбежал во двор.

— Давай померяемся с тобой, — сказал он Мирону.

Дети при виде хозяйского сына почтительно сдернули картузы и чаплыжки.

— Чтой-то мне с тобой меряться! — ответил рассудительно Мирон, картуза не снимая. — Я тебя победю... Побежду, — поправился он, — батька мой потом меня за это высечет...

Ребята засмеялись, осторожно поглядывая на маленького хозяина.

— Давай меряться! — яростно потребовал тот. — Иначе ты будешь трус, вот кто ты будешь.

— Ваша воля, как вам угодно, кто я буду, — ответил тот. — Не собираюсь я меряться. — И вдруг какая-то мысль пришла ему в голову. — Ежели пятак дашь, тогда буду меряться.

Однако карманных денег у младшего Смирдина не было. Мирон заставил его побожиться на синие купола Знаменской церкви, видневшиеся над крышами, что пятак принесет. Смирдин побожился, но к соревнованию приступить не удалось, потому что, прыгая через лужи, к ним несся разгневанный мосье Бернар. Пришлось возвращаться в классную комнату.

Случай этот обсуждался на семейном совете, и решено было детей чаще водить в театр или картинные галереи. Однажды оба семейства — Смирдиных и Полевых — отправились смотреть выставленную в Эрмитаже картину «Последний день Помпеи». Попасть туда было невозможно, но вот в один прекрасный день, когда там присутствовали великие князья, а давал пояснения сам автор, мосье Брюллов, им удалось получить билеты.

Сережку Полевого Сашенька терпеть не мог, у Поле-

вых в семье вообще все держалось на слезливости — кошка мышь дохлую принесет, все в слезы, жаль им божие создание. Книжку читают французскую про Грибулечку, которому везде не везло. — опять слезу пускают.

— Гляди, гляди! — дернул Сережа Смирдина за рукав. — Видишь, великая княжна Мария Николаевна... Право, она не старше нас. Ах, какая прелесть, какой ангел!

И он принялся срочно поправлять себе шейный платок, а в рыбьих его глазах слезы умиления были уже наготове.

— Дура она, твоя великая княжна, — сказал ему Саша, и не очень тихо.

На них зашикали, и Полевой поспешил переместиться от него подальше.

Затем увидели огромнейшую картину в вычурной золотой раме. Трудно было понять, куда и зачем скачут, бегут, мчатся безумной толпой все эти полуголые люди. Живописец, с указкой, на отменном французском языке объяснял про каждого персонажа, а когда дошел до малыша, который кричал на груди поверженной матери, великая княжна Мария Николаевна прослезилась. Разрыдались, глядя на нее, и присутствующие, даже суровые мужи поднесли платки к лицам.

Завидев, что и Сережа Полевой вынул аккуратненький носовой платочек, Саша прокрался к нему за квадратной спиной мосье Бернара и с наслаждением, с вывертом его ущипнул.

— Ой! — завопил Сережа, правда, больше от неожиданности, чем от боли.

Все тотчас обернулись, великая княжна уронила лорнет, и расфуфыренные дамы кинулись его поднимать. Саша Смирдин успел из-за спины француза показать Полевому кулак. Да Сережа и так бы не выдал его, он его смертельно боялся.

Общество решило, однако, что это с Сережей случилось от глубоких переживаний при встрече с прекрасным, и экскурсия продолжалась.

Вскоре время закрутилось с бешеной быстротой. Бабушке Елизавете Марковне стало совсем плохо. Был вызван из Ревеля дедушка Егор (Георг-Франц-Зебаустус фон Нагель), врачи составили консилиум. Пришел доктор Даль, худой, как Дон Кихот, с квадратной бородой. Поскольку он же и литератор, писал сказки и составлял знаменитый

словарь, он часто бывал в доме Смирдина и приветливо потрепал Сашеньку за ухо:

— Ну как, казак? Не дают тебе волюшки?

Словно разгадал все его затаенные мысли!

Врачи, похожие на черных воронов, долго обстукивали и обслушивали бабушку (детей, конечно, к этому зрелищу не допустили, но они знали обо всем со слов бабы Малаши). Затем хотели удалиться на совещание, как бабушка сказала:

— Я знаю, господа, что у вас есть обычай выносить два заключения — одно для больного, другое для его родных. Милости прошу высказать их оба здесь.

И, не дрогнув в лице, выслушала весть, что дни ее сочтены.

Приходил молодой, красивый протоиерей от Знамения, соборовал Елизавету Марковну, отслужил молебен, зять Смирдин при этом пел с церковным хором. Когда все расходились, теща попросила его остаться.

— Вот что, Александр Филиппович,— сказала она, пока сиделка поправляла ей подушки.— Я еще в твердом разуме и должна сказать... Ты знаешь, что дела твои — швах?

Смирдин наклонил голову, не зная, что и ответить. Но теща не стала много разглагольствовать или подвергать разбору его экономическое состояние. Велела подать ей ридикюль и вынула оттуда пачку бумаг.

— Это твои векселя, любезный зять. Я давно следила за тобой, ты смелый, ты выдумщик. Из тебя был бы решительный делец, если б тебе образование, да жил бы ты во Франции, в Германии, не в нашей глупой стране. У меня с фон Нагелем было раздельное имущество, на мои личные сбережения я выкупила некоторые твои векселя... Вот вручаю их тебе, прости, что мало. Верю, не оставишь мою Милочку и детишек, пусть господь вам пошлет...

Она стала задыхаться. Смирдин позвал сиделку и доктора Вагнера, который в их доме расположился военным лагерем. Но через некоторое время Елизавета Марковна вновь потребовала его.

— Еще одно. Егор и Франц требуют, чтобы Милочкино имущество было разделено с твоим через суд, потому что ты на грани банкротства. Сама я против и Милочке заказала так поступать... У мужа и жены должна быть одна судьба.

Так ушла из жизни эта выдающаяся женщина, и цер-

ковь Знамения своими колоколами проводила ее в последний путь.

В доме распространились слухи о близком крахе смирдинского хозяйства, пошел кавардак, безначалие. Мосё Бернар по целым дням куда-то отлучался, а на замечание Эмилии Егоровны откровенно ответил: «Должен же я себе приискивать место?..»

Однажды Сашенька, в классной комнате сидя, услышал со двора какие-то странные звуки: пение на чужом языке, звон бубенчиков, цокание или шлепанье в ладоши. Он выглянул и увидел, что в их двор, пользуясь недосмотром дворника, пришел шарманщик. Саша набросил курточку и кинулся во двор.

Это был заросший щетиной черномазый итальянец в широкополой шляпе. Он меланхолично крутил медную ручку, и шарманка заунывно гудела:

Кольцо души-девицы
Я в море уронил,
И с тем кольцом я счастье
Земное загубил!

На расстеленном коврикe хорошенькая девочка с итальянским продолговатым личиком и испуганными глазами, сняв башмачки, прилежно танцевала босиком. Но главное было — обезьяна! Старое и облезлое, издали похожее на кошку существо, которое сидело на шарманке и выкидывало уморительные трюки: и вниз головой и вверх на всех четырех руках. Причем поглядывало на всех совершенно по-человечески, будто желая сказать — зачем вам это?

Вокруг шарманщика собралась толпа зрителей. Вышла прислуга, явились типографщики в кожаных фартуках, с закатанными рукавами. Спустились и дети Полевых. Впереди всех, как хозяин, уперев руки в боки, стоял Мирон, сын дворника, и рассматривал в упор танцующую девочку. Волна неприязни нахлынула на Сашеньку Смирдина, руки-ноги зудели, не терпелось что-нибудь выкинуть самому.

Представление окончилось, шарманщик стал скатывать коврик, а девочка, сняв с шарманщика широкополую шляпу, стала обходить с нею зрителей. Народ начал быстро расходиться, потому что лишних денег не было ни у кого.

Однако кто-то бросил деньги из слушавших шарманку

на верхнем этаже, они зазвенели, а одна довольно крупная монета, вероятно, пятак, закатилась в подвальное окно.

Шарманщик и девочка, подобрав медяки, стали выковыривать и закатившийся пятак. Зрители, во главе с Миронем, окружили их, подавая советы. В это время обезьянка, заметив, что хозяин забыл запереть в шарманке дверцу, откуда доставал для нее лакомство, мигом засунула туда лапу.

Какой-то безотчетный порыв заставил Сашу прижать эту дверцу так, что бедная обезьянка заплакала от боли.

— Ты что, ты что? — в ужасе вскричал Сережа Полевой, схватившись за щеки.

А Саша со злым упорством давил и давил на дверцу, защемившую пальцы обезьянки, пока та не заверещала на весь двор.

Тут как раз выбежала Эмилия Егоровна в поисках своего отпрыска, вернулись итальянец с девочкой, и начались суд и расправа.

— Ты зачем пальчики поранил бедной обезьяночке? — гневно спросила Сашу мать, глядя на цокающего языком итальянца и его плачущую дочь.

— Это не я, — угрюмо сказал Саша.

— А кто же?

— Вот он, — сказал юный Смирдин и указал на Мирона.

— Побойтесь бога, барчук, — перекрестился тот, пятась. — Меня даже тут и не было, я искал пятак...

— У меня есть свидетель, — настаивал Саша. — Сережка, подтверди!

И младший Полевой, захлебываясь слезами, кивал, подтверждая его слова, а обескураженный Мирон повторял: «Побойтесь бога, побойтесь бога!», когда отец-дворник потащил его на расправу.

Вечером Зигфрид доложил Смирдину, что его просит срочно принять господин Полевой.

Николай Алексеевич был, как всегда, сама любезность, но сумрачен и как будто от всего отстранен. Он рассказал, что сын его признался, будто младший Смирдин заставил его лжесвидетельствовать по поводу обезьянки, да и вообще он нехороший мальчик, учит его детей гадким словам.

«Проглядел я сына...» — думал с печалью Смирдин.

А Полевой заявил, что он подыскал себе другую квар-

тиру. Приносит нижайшую благодарность Александру Филипповичу за приют, за ласку, но завтра уже съезжает.

«Первая крыса, бегущая с моего корабля», — усмехнулся Смирдин.

8

Санкт-Петербургское коммерческое училище расположено у Чернышева моста через Фонтанку в самом сердце делового, торгового мира. Купцы трянули мощной и воздвигли здание не хуже, чем Пажеский корпус, правда, строили его на живую нитку и теперь приходится каждый год ремонтировать — то одно, то другое.

Делопроизводитель, похожий на дрессированную мышь — в очках и с хохолком, — распахнул перед Смирдиными палисандровые двери:

— Его превосходительство ждут вас.

Директор коммерческого училища протянул Смирдину два толстых пальца, тот их с готовностью пожал. Сашенька Смирдин, глядя на нос директора, который был столь курносом, что напоминал скорее чердачное окно, чуть было не прыснул. Но воздержался, по правде сказать, все это ему было немножечко страшно.

Отец принялся объясняться с его превосходительством по поводу поступления Сашеньки в коммерческое училище. Шли скучные разговоры о взносах платы за обучение, о школьной форме, об учебниках. Затем явился некто, как и директор, во фраке с задранными фалдами и форменным малиновым воротником, но ужасно взъерошенный и с бородой во все стороны. Сразу же принялся говорить визгливым голосом в начальственных тонах.

«Ну, — подумал Саша, — еще один на мою голову».

Это оказался инспектор, и, поскольку важный директор с чердакоподобным носом поминутно к нему обращался: «Не правда ли?» или «Как вы полагаете?», этот инспектор был здесь тоже очень влиятельной птицей.

Потом педагоги пошли один за другим. Вошел, раскланиваясь, учитель математики («Циркуль», — подумал Саша. Так потом и оказалось, он угадал, училищная клочка у математика была «Циркуль»), стал расспрашивать Сашу и выяснил, что тот со своим домашним учителем уже прошел четыре арифметических действия. Француз, толстый и ужасно ленивый — даже кланяться ему было лень, он только наклонял розовощекое и очкастое лицо.---

спросил, что он последнее читал из французского языка. Узнав, что «Дофин-мученик» господина де Местра, он оживился, а когда Саша очень бойко и подробно принялся по-французски рассказывать, как несчастный дофин, называемый Людовиком Семнадцатым, у кровожадных революционеров чах в заточении, замахал пухлой ручкой, повторяя: «Ассе, ассе, тре бьен!»

— Ну что же, — сказал директор, обращаясь к старшему Смирдину. — Я думаю, что во второй класс мы его определим... Не правда ли?

Взъерошенный инспектор из очешника достал очки, протер их, подышал, всунул куда-то выше всклокоченной бороды и сказал:

— Да-с. Я полагаю-с. Во второй класс вполне-с.

Отец, которого Сашенька всегда привык видеть таким уверенным и распорядительным, здесь держался робко, тоже поминутно кланялся и за что-то благодарил, прибавляя «слово-ер» — мерси-с. Саша не знал, что в этот момент отец вспоминал о своем изучении французского языка от вечно нетрезвого Матье, и гордился успехами сына.

Служитель в обширном коридоре оглушительно зазвонил в медный звонок, шум в рекреационных залах стал затихать, из-за дверей послышались надсадные голоса учителей, начинавших чтение своих уроков.

Смирдин поцеловал Сашеньку в лоб, перекрестил его с чувством и передал взъерошенному инспектору, который поманил Смирдина-младшего согнутым пальцем.

И повел его на третий этаж, остановился перед дверью, где на медной дощечке было красиво выгравировано: «Класс товароведения». Тотчас подскочил служитель, как потом оказалось, классный дядька, по имени Макар Фомич, с унтер-офицерскими усами и в полуфраке с малиновым воротником. У всех начальников и педагогов были фраки с фалдами, а служители и ученики были одеты в полуфрачки без фалд, но такого же цвета, как и учительская форма. В ту эпоху форменная одежда ведомств была тщательно расписана. Вспомните — а форменные есть отлички, в мундирах выпушки, погончики, петлички.

— Второй класс здесь сегодня занимается? — спросил у дядьки инспектор.

— Так точно-с. Поскольку у них в классной комнате ремонт-с. Прикажете открыть дверь?

Дядька открыл дверь, инспектор вошел, ведя за собою Смирдина. Класс поднялся, хлопая крышками пюпитров

и роняя на пол вставочки и резинки. Инспектор нашел свободное место рядом с учеником, который был похож на деревенского бычка с заспанными глазками, и усадил туда Сашу.

Человек тридцать учеников, в одинаковых полуфрачках с малиновыми стоячими воротниками и с совершенно одинаковыми стриженными головами, лишь мгновение отвлеклись в сторону инспектора и новичка, чтобы тотчас же вновь сесть и уставиться на преподавателя. Шел урок закона божьего, и преподавал знакомый Саше протоиерей из церкви Знамения, который приезжал соборовать бабушку в роскошной шелковой рясе и с большим крестом на груди. Инспектор бесшумно скрылся, и Саша получил возможность рассмотреть мир, куда его привела судьба. В простенках, меж высоких полукруглых окон, висели цветные таблицы — силуэт быка, разделенный на части, картинка мод — дамы с преувеличенно пышными юбками. Одна таблица была разрисована только топорами различной формы. У противоположной же стены стоял манекен усатого мужчины с нарисованной прямо на голове прической, одетый в модный фрак и полосатые панталоны.

Все это было чрезвычайно интересно, но у Саши случилась беда. Впопыхах они дома забыли запастись, то есть зайти перед дорогой в туалет, и теперь это ужасно его мучило. У инспектора же, имевшего столь свирепый вид, он спросить не решился.

Фиолетовый протоиерей расхаживал по классу, то и дело откидывая широкие рукава и заправляя себе волосы за ухо. Он рассказывал о ветхозаветных патриархах, один из которых прожил 950 лет, а другие по 600—700, и даже жены их жили долго — по 300—500 лет. Саша плохо все это воспринимал, мучимый своей бедой, но все же подумал: «А сколько было бабушке Елизавете Марковне, когда она умерла? Ну, не пятьсот же лет...» Он просто этого не знал.

Сидевший рядом ученик, который был похож на теленка с заспанными глазами, вдруг начал возиться на своем месте, чем привлек внимание роскошного законоучителя. А дело в том, что государь император побывал на уроке в образцовой Первой мужской гимназии и там выразил замечание за то, что один ученик слушал преподавателя хотя и прилежно, но в вольной позе, то есть опершись

подбородком о кулак. Ученик был высечен, а учитель, ведший урок, уволен.

Протоиерей подошел к Сашиному соседу, прищурил глаза, которые у него были как у Ларьки Апарина, то есть с вечным выражением — я не я и лошадь не моя! — и спросил:

— Сивонин! Что ты все вертишься...

Но спросил с особым шиком, принятым у аристократов Невского проспекта, почему у него получилось таким образом: «Штё ты всё вёртисси...»

Это вызвало дружный смехок в классе, после которого протоиерей счел свой педагогический долг исполненным и двинулся дальше, поправляя рукава и продолжая рассказ о библейских долгожителях.

Сивонин же, бдительно глядя ему вслед, нащупал в своем ранце листик бумаги, оторвал клочок и, что-то накорябав, под локтем подсунул Смирдину. «Куревое есть?» — прочел тот его каракули.

Саша на время забыл свои страдания, ему даже неловко стало, что он не курит. У мосье Бернара были модные пахитоски — то есть бумажные трубочки, набитые табаком, он угощал ими мадемуазель Жюли. Где-то они теперь — и мосье Бернар и мадемуазель Жюли, рассыпался большой смирдинский дом!

Раздался спасительный звонок. Наступила рекреация, то есть перемена уроков. Все вывалились в обширный коридор, который, оказывается, именовался рекреационным залом.

Дежурный наставник, с красной повязкой на рукаве, тщетно пытался среди всеобщей скакотни наладить порядок, чтобы все прогуливались попарно, по кругу — так принято в Пажеском корпусе и в Смольном институте.

Смирдин тем временем разглядывал бесконечный ряд дверей, выходящих в коридор, то бишь рекреационный зал, стараясь угадать, за которой из них скрывается туалет.

Кто-то сильно толкнул его в локоть. Это был его сосед, Сивонин, глазки его уже не казались сонными, наоборот, в них прыгали какие-то подленькие бесенята. Возле него громоздился ученик по возрасту старше и солиднее, а главное — с физиономией до того высокомерной, что Смирдину сразу подумалось: не это ли сын купчины Елисеева, который, по рассказам отца, строит миллионный

магазин на Невском? Отец говорил, что он будет учиться в том же классе.

Предполагаемый Елисеев спросил:

— Ты, что ли, Смирдин?

— Ну я...— ответил Саша, не переставая мучиться своим.

— Без ну, а то рога сомну!— сказал Елисеев и задышал табаком в самое лицо Смирдина.

Саша еле сдерживался, чтобы не оттолкнуть его.

Тогда Елисеев двумя пальцами взял Сашу за подбородок, а плечо развернул, будто бы для удара. Из-за елисеевской спины торчало множество ухмыляющихся рож, ожидавших крещения новичка и готовых принять в этом участие. Смирдин невольно зажмурился и испытывал странное желание— скорей бы начали бить.

— Развлекаетесь, господа купчики, негоцианты?— раздался иронический голос, уже не детский, но еще с мальчишескими интонациями.

— Твое какое дело?— сумрачно сказал Елисеев.— Ступай себе! А не то вот...

— Что вот?— с той же иронией спросил тот же голос.

Смирдин открыл глаза. Юноша, видимо из старшего класса, с заметно пробивающимся пушком на щеках, стоял рядом, засунув руки в карманы.

Массивный Елисеев заворчал и удалился, по дороге объясняя что-то следующим за ним подхалимам.

— Это потому что я бокс английский изучаю,— засмеялся юноша.— С нашими динозаврами иначе не проживешь. Судя по тому, что вы еще без формы,— новичок? Познакомимся— Успенский, из третьего класса, а вы?

Тут раздался звонок, призывающий в классы.

От пережитых треволнений в первое время Смирдин вновь забыл о своей нужде. Но чуть только класс успокоился и начался урок логики, беда охватила его с новой силой. «Поднять, что ли, руку, попроситься вон?»— думал он, тем более новый преподаватель, поднявшийся на учительскую кафедру, также был ему знаком. Это был Александр Иванович Галич, приходил он как-то к отцу за деньгами, отец деньги дал, тот написал книжку, за которую получил премию Демидова, князя Сан-Донато, и вот он опять преподает.

Галич положил на обширный кафедральный стол свою массивную палку, со львиной головой вместо на-

балдашника, расхаживал, потирая руки, иногда сам рычал по-львиному, брал грифель, писал им на доске.

— Вот я рисую большой круг и пишу в нем: «большой круг понятия». Теперь мне надо нарисовать малый круг понятия, но как его поместить? Целиком внутри большого, то есть не выходящего за пределы его сферы применения, или, хотя бы частично, выходящим из него, то есть имеющего и самостоятельное применение?

Галич походил по помосту кафедры, потряс своей седоватой гривой и предложил:

— Давайте для примера разберем выражение из блаженного Августина: «Время летит — и вечность приближается». Какое из этих двух понятий — время и вечность — является подчиненным по отношению к другому?

Это было еще более интересно, чем ветхозаветные пророки отца законоучителя, но Смирдин уже больше не мог, завозился на своей скамье, и Сивонин стал глядеть на него весьма подозрительно. Это, как говорится, подлило масла в огонь, и вот юный Смирдин почувствовал, что воля его иссякла, теплая влага струится по его панталонам и затекает за сапог.

Теперь уж он обмер и не слышал и не видел ничего и никого. Все вертелась мысль: сейчас класс обернет к нему стриженные головы и розовые лица и все станут хохотать и указывать на него пальцами, а потом выволокут его в рекреационный зал и там будет позор... Пусть уж лучше били бы, чем этот позор...

Звонок раздался, как удар топором по макушке. Галич, видимо, был либерал, не чета прогоиерею, который пока не выйдет за дверь, ниспосылая всем благословение, до тех пор ни один ученик не смеет двинуться с места. А тут все враз вскочили, заорали, задвигались, отгалкивая друг друга, помчались вон. Кто-то кричал: «Господа, господа, кто сегодня дежурный по столовой?», а кто-то обращался и к Смирдину: «Новичок, ты идешь в столовую или обедаешь дома?». Но тот сидел сгорбившись, пока не остался в пустом классе один.

Тут зашаркали грубые сапоги, и вошел классный дядька Макар Фомич, тот самый, похожий на унтер-офицера.

— А ты что ж не выходишь? Э-э! — Он сразу понял все. — Эх ты, бедолага! Ну, ничто... Дашь двугривенный — затру. Что, нету двугривенного? Ну, затру авансом, когда-нибудь отдашь. Иди себе домой, все равно

формы еще у тебя нету. Да ты дорогу-то домой знаешь или проводить?

Макар Фомич пополоскал тряпку в принесенном с собой ведре, выжал ее и тщательно вытер голову манекена в шикарном фраке.

«Ну-с,—осклабился манекен нарисованной улыбкой.—Александр Александрович Смирдин-с... Какова жизнь?»

9

— И как же, брат, Матвей Дмитриевич, отдашь ты мои тиражи?

Смирдин пил чай у Матвея Дмитриевича Ольхина в его аккуратненьком особняке с палисадничком на Шестилавочной улице близ Фонтанки. Ольхин этот, как и Смирдин, был происхождения московского, служил в Петербурге по финансовому ведомству и за раскрытие таможенной аферы получил крупную денежную награду. После чего он, как говорится, вышел на заслуженный отдых, а деньги отдавал в рост, отчего имел еще приращение капиталов.

— Пей чаек, почтеннейший Александр Филиппович,—ответствовал он.—Вот, не побрезгуй, нашего замоскворецкого медку отведай, зять прислал. Отборный, липовый—у нас в садах на Малой Полянке и в Спасоналишковских переулках знаешь какие пасеки?

— Что чаек, что медок—чудо, любезнейший Матвей Дмитриевич, а ты бы все-таки склад мой распечатал, тиражи мне отдал, я бы их пустил в оборот и с тобою бы рассчитался!

— Э, нет-с, уважаемый! Хоть мы с тобою и друзья с той поры, как я был простым курьером, а ты приказчиком. Я уж по сему делу многожды с тобою объяснялся, терпеливо повторю. Ранее я тебе верил на так, на слово, а ныне только под заклад. Денежки теперь, братец, дорогие стали, рискованные. Гони, любезный, должок, получай свои книжечки.

Смирдин зашел с другой стороны:

— Вот ты, братец, афишируешь, что ты, находясь на пенсии, много читаешь, литературу-де русскую как свои пять пальцев изучил-с. А знаешь, что журналисты целый период в той русской литературе именуют смирдинским?

Тут Ольхин откровенно захохотал, вытирая бородку столовым полотенцем.

— Да ты сам-то, Александр Филиппович, сам-то что-нибудь читаешь? За книжной торговлею все тебе недосуг! Где это ты вычитал про смирдинский период, признавайся!

— Сам-то я, верно сказано, этого не читал. Но мне Фаддей Венедиктович как-то рассказывал...

— Фаддей Венедиктович! — совсем зашелся в смехе Ольхин, хотя должен был понимать, что смех такой его собеседнику малоприятен. — Эй, Поликсенушка! — позвал он. — Принеси, душенька, в моей спальне подшивка лежит с закладками, газета «Молва».

Ольхин был вдов, и у него домом заправляла Поликсенушка, румяная красавица лет за сорок, с накрученными венцом косами и в цветастой бухарской шали.

— Вот! — быстро по закладкам нашел нужное место Ольхин. — Было это еще в 1834 году. Слушай, Смирдин, внимательно: «Итак, я насчитал четыре периода в нашей словесности: Ломоносовский, Карамзинский, Пушкинский и прозаически-народный, остается упомянуть о пятом, который начался с появления на свет первой части «Новоселья» и который можно и должно называть смирдинским. Да, милостивые государи, я совсем не шучу, ибо господин Смирдин является главою и распорядителем сего периода. Все от него и все к нему; он одобряет и одобряет юные и дряхлые таланты очаровательным звоном ходячей монеты, он дает направление и указывает путь этим гениям и полугениям, словом, производит в нашей литературе жизнь и деятельность».

Ольхин утомился, выпалив залпом такую цитату, и услужливая Поликсена поднесла ему стакан грушевого квасу.

Смирдин угрюмо молчал, а Ольхин прищелкнул пальцами — слушай, мол, дальше, наберись терпенья:

— «Вы помните, как почтеннейший Смирдин, движимый чувством общего блага, объявил, что наши журналисты потому не имели успеха, что надеялись на свои познания, таланты и деятельность, а не на живой капитал, который есть душа литературы. Вы помните, как он кликнул клич по нашим гениям, крякнул да денежкой брякнул и как вербовались наши производители толпами в его знаменитую компанию». Далее следует перечень этой знаменитой компании — господа Булгарин, Греч, Барон Брам-

беус, Кукольник и прочие, прочие... Далее идет подробный разбор их произведений и объясняется, почему передовая русская публика не желает читать этих гениев живого капитала!

— Кто это писал? — угрюмо перебил его Смирдин.

— Тут подписи нет, какие-то буквы, не поймешь. Да ты лучше меня знаешь, кто мог этакое выдать по тебе да по твоему Фаддею Венедиктовичу...

— Это наши недоброжелатели-с, — сказал Смирдин, все более мрачней.

— А я слышал, — ответил Ольхин, — что это писал Белинский, когда еще жил в Москве.

— Это такой хиловатенький, кусливый, с бородкой?

— Он, он.

Помолчали. Было теплое начало осени, и в чуть тронутым желтизною палисаднике продолжали трудиться шмели.

— Поликсена! — еще раз позвал Ольхин. — На том же столе в спальне возьми, подай, еще лежит том «Сто русских литераторов», издание господина Смирдина.

Он снова открыл закладку и принялся читать, немного декламируя:

— «Ликреция хватается за сердце:

— *Ах, сердце, сердце!* (С пронзительным криком.) Га! Разорвалось! (Умирает.)» Это из трагедии господина Нестора Кукольника «Торквато Тассо», — захлопнул он книгу. — Ну как?

— Да тебе-то что за дело? — спросил Смирдин.

— Как — что за дело? Я тебе деньги ссужал из двенадцати процентов годовых, милостыня сплошная. Должен же я знать, что за литературный капитал лежит в закладе у меня? Это же не кирпич!

— Ну, будь здоров, — сказал Смирдин, вставая. — Так, значит, не отдашь мне мои книги, не поверишь?

— Нет, не отдам.

— А если я обанкручусь, что с ними будешь делать?

— Сам буду ими торговать.

— Но ты же все-таки не книгопродавец, у тебя и лавки еще нет.

— Лавку сниму, людей найму, какая разница, сапоги или книги... «Живой капитал есть душа литературы» — твои же слова.

— Я тебе отвечу тоже из российской словесности-с, — сказал Смирдин, получая из рук гостеприимной По-

ликсены крылатку и шляпу.— «Чтоб музыкантом быть, так надобно уметь, да уши ваших понежней...»

— Ты что же, книжную торговлю с музыкой сравниваешь? — изумился Ольхин и вновь захохотал.

Но Смирдин уже вышел на улицу. Некоторое время он не мог смирить гнев и чувство беспомощности, которые раздирали его. Переходя Аничков мост, который тогда еще был без знаменитых клодтовских коней, он заметил, что по привычке идет не в ту сторону, ведь его дом на Лиговке продан. И он повернул назад.

10

Семья Смирдина теперь располагалась в маленькой пятикомнатной квартирке в том доме на Невском, где были его магазин и библиотека. А входить надо было из бокового подъезда с Большой Конюшенной улицы — так было даже удобнее, все в одном месте ютилось.

Двери с площадки были раскрыты, сени заставлены разными вещами и саквояжами, Эмилия Егоровна и Малаша хлопотали возле них, няня Дуняша занималась детьми.

Покидая дом на Лиговке, Смирдин рассчитал всю прислугу, кроме няни и бабы Малаши, которая сказала: «Меня вы не рассчитаете, потому что я не слуга, я раба». Ну, что с нею поделаешь? Немецкая часть прислуги уехала с фон Нагелями, которые решили переселиться в Ревель.

Смирдин стал перешагивать через вещи, чтобы пройти в свою с Эмилией Егоровной комнату (кабинета в квартире он не стал делать, кабинет был в магазине), и Эмилия Егоровна передала ему пакет — принес человек от господина Жуковского.

Любезнейший Василий Андреевич, действительный статский советник и кавалер, оповещал милостивого государя Александра Филипповича, что петербургские литераторы порешили, чтобы помочь Смирдину в его затруднительном денежном положении, каждому выделить бесплатно в его пользу по одному произведению — повести, рассказу, стихотворению, очерку, напечатать их в сборнике «Русская беседа», а весь доход от этого сборника передать ему, Смирдину.

Вошла жена. Заплаканное, доброе, усталое, наполненное удивительной ласки и терпения, ее лицо уже мало на-

поминало те небесные черты Эмили, Милочки, которые так поразили Смирдина в первые годы их знакомства.

— Что пишет господин Жуковский? Что-нибудь огорчительное?

Смирдин подал ей письмо, пробежав его, Милочка сказала:

— Какой удивительный добряк! Ведь это он помог выкупить из неволи Шевченко, знаешь, художник, который делал нам портреты для «Ста русских литераторов»? А его помощь Пушкину, другим литераторам?

Смирдин отметил, что его Эмилия Егоровна наконец-то стала интересоваться делами книготорговыми и литературными. Для этого нужно только было встать на грань разорения. И вдруг ему вспомнилась странная находка, которую он сделал здесь вчера. При перенесении Милочкиных вещей вдруг одна шкатулка упала, и ее содержимое рассыпалось. Смирдин поднял с пола золотой перстенок с голубым бриллиантом. Он хорошо помнил, что это кольцо было на руке Эмили, когда он встретил ее на балу приказчиков, танцующей с Францем. Смирдин перевернул кольцо и увидел на внутренней стороне выгравированную надпись: «Ауф эвиг» — «Навек». Эмилия Егоровна тут же отобрала у него этот перстень и долго, путано объясняла, что этот перстень принадлежал ее матери, Елизавете Марковне, достался ей по наследству, хотя Смирдин, во-первых, объяснений у нее не требовал, во-вторых, никогда у тещи он не видел этого перстня.

Когда в комнатах погасили большинство свечей, затихли дети, а за окнами, наоборот, ярко засветились новые газовые фонари на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной, Смирдин сел за свой стол и, положив на него руки, задумался. В постигшем его хозяйственном несчастье (не сказать крахе) он барахтался, как утопающий в проруби. Но барахтался все же не без успеха. Император согласился дать ему безвозмездную ссуду, недаром Смирдин печатал любимых им литераторов, того же Кукольника, например, который почему-то у некоторых вольнодумцев, вроде Полевого или того же Ольхина, вызывает смех. Теперь это доброе деяние Жуковского!

И тут вдруг дверь распахнулась, и в комнату вбежала жена, держа на руках уже безмятежно заснувшего младшего — Вольдемара.

— Подумай, подумай! — в слезах повторяла она. — Какая подлость, какая низость!

— В чем дело? — всполошился Смирдин, взяв у ней из рук спящего малыша и передавая его вошедшей няне.— Что еще случилось?

— Подумай, эта шлюха уехала с ним в Ревель.

— Милочка, да о ком ты говоришь?

— Эта мадемуазель Жюли, которая ни одного мужчины не могла спокойно пропустить, она уехала с Францем в Ревель!

Смирдин принялся ее успокаивать: во-первых, достоверно ли это известие? Во-вторых, ну что ж тут особенно-го? Франц фон Нагель свободный холостой мужчина, а мадемуазель Жюли...

Но Эмилия Егоровна его не слушала и повторяла:

— Ах, какая наглость, мейн готт! Ванда сейчас к нам заходила, она теперь служит в магазине Циммермана, она все, оказывается, про нее знала!

Пришли Малаша и няня и стали отпавать хозяйку как-ким-то пахучим снадобьем, а Смирдин вышел.

Он заглянул в комнату Саши. Несмотря на теперешнюю бедность и тесноту (от гамбсовских гарнитуров, конечно, пришлось отказаться, прислуга тоже ютилась на кухне), он настоял, чтобы его первенцу, его Зайке, все же досталась хоть и маленькая, но отдельная комната.

Зайка безмятежно спал на кушетке, накрытый клетчатым шотландским пледом. Большая лампада под иконою Божией Матери Одигитрии— всех путешествующих покровительницы— довольно хорошо освещала комнатку, шкафчик с книгами, глобус. Смирдин взял наугад одну из школьных тетрадей, лежащих на столе, раскрыл и увидел на первой странице только одну запись: «Время летит — и вечность приближается».

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ ПЯТОЙ

Послание стихотворца А. Е. Измайлова А. Ф. Смирдину, написанное в 1831 г. и опубликованное в 1858 г. в «Сборнике литературных статей, посвященных русскими писателями памяти покойного книгопродавца-издателя Александра Филипповича Смирдина» (СПб., т. 1).

Любезный, честный наш Смирдин,
Питомец книжников почтенных, благородных.
Оракулов негодных

И песенников ты ни с кем не составлял,
Одни хорошие лишь книги издавал,
И литераторам не делал притесненья;
На обхожденье ты и на платеж хорош:
Попросишь у тебя, ты и вперед даешь;
Учтив, радушен, добр, любитель просвещенья;
Гостинодворских нет ухваток у тебя,
И благородно ты ведешь себя.—
Достоин, право, ты достоин уваженья!
Я знаю и люблю тебя уже шесть лет...
Скажу по совести, что нет
Книгопродавца здесь, как, тезка, ты, другого,
Окроме Слёнина Ивана, острослова.
Когда к вам ни придешь,
То литераторов у вас всегда найдешь,
И в умной, дружеской беседе
Забудешь, иногда, ей-ей, и об обеде.
Так в лавках у обоих вас Парнас...

Глава шестая

ВЕК КНИГОНЕНАВИДЕНЬЯ

1

Дует поземка по белому льду Фонтанки, несет колючую снежную пыль, мечет пригоршнями в лица прохожих. Петербургский зимний рассвет еле брезжит. Люди торопятся через вычурный Чернышев мостик, чтобы миновать царство метели и скрыться если не в каком-нибудь теплом подъезде, то хотя бы в относительно тихой трубе Чернышева переулка или еще дальше — у Пяти Углов.

Люди торопятся, не заглядывают в лица встречным, лишь иногда останавливаются — спросят о здоровье, об общих знакомых, о курсе рубля, если его менять на серебро, а то прикурят, ежели нет с собою спичек. и тотчас разбегутся.

А вот одна пара остановилась, перебранивается. Она тянет к нему умоляющие руки, он же отмахивается от нее.

— Пожалуйте, батюшка Александр Александрович, я провожу вас только до гардероба училища, вы разденетесь, я тотчас обратно.

— И не думай, баба Малаша, не конфузь меня. Я сам дойду и разденусь.

— Так ведь других же ваших учеников непременно кто-нибудь провожает...

— Кто, кто провожает? Елисеевых вон братьев ливрейный лакей провожает, словно барчуков... Но не нянька же!

— Ах, Александр Александрович, господь с вами. Раньше вы не гнушались своей старой Маланьей!

В конечном счете она ему уступает, поворачивает назад, за Чернышев мостик. Саша Смирдин доходит до углового дома набережной, оборачивается и сквозь кисею метели видит, что баба Малаша все-таки плетется за ним по следу. Он яростно ей отмахивает и пускается бегом до самого училища.

Там служитель всю гремит медным колокольчиком, от подъезда отъезжают санки, привезшие богатеньких. В гардеробе и на парадной лестнице невероятная суэта. «Как черти перед заутреней», — сказал бы профессор Галич, преподаватель логики и философии. Но его давно уж нет в училище, как нету даже и великолепного протоиерея, преподававшего закон божий. Их всех уволил новый инспектор, который явился искоренять всяческое вольномудрие.

— Эге-ге, Смирдин! — окликнул толстый Елисеев, принимая из рук лакея свой портфель. — Принес должок вчерашний?

— Бонжур! — поздоровался Смирдин, растерянно ощупывая четвертак, полученный на завтрак. — Завтра все отдам... Ей же богу!

— Ох-хо-хо! — осклабился Елисеев. — Ты что же хочешь — пришел с «бонжур» и ушел с «бонжур»? Не садись тогда за карты. Ну вот что, к обеду не отдашь — будет тебе вселенский выпедрон!

Елисеева скрыла толпа его всегдашних лизоблюдов, а Смирдин, не решаясь раздеться, стоял за вешалкой, пока не отзвенел третий звонок. Училище сразу опустело и стихло. Тогда он, стараясь не попадаться на глаза швейцару, выскочил на улицу.

Все так же мела поэмка и брели сгорбившись фигуры. Но уже совсем стало светло, и Смирдин, пожившись на морозце — «Бр-р!» — взмахнул портфелем и пошел назад через Чернышев мост.

А давно ли баба Малаша за ручку провожала его чуть не до самой классной комнаты, снимала с него ранец. А по дороге в училище она рассказывала ему что-нибудь

о князьях Скарятинских, о которых она знала всю подноготную, а как, кстати, звали собственного деда, княжеского кучера, совсем не помнила. И что ели у князей, и как подавали, и кого принимали — все умещалось в ее памяти.

— Баба, а мы не Скарятинские? — спрашивал маленький Александр Смирдин, он же Заша, он же Зайка, послушно неся свой ранец младшеклассника. — А почему мы не Скарятинские?

И баба Малаша в сотый раз рассказывала про княжну Аннету, как ее папахен Смирдин вывел из горящей Москвы, про кончину ее в далекой Сибири, одним словом, все, что уж известно нашему читателю. Однажды они так заговорились, что забыли дома ранец, и были с позором выпрожены классным наставником.

Одного же пускать Сашу в училище было ненадежно. Его фантазия могла сыграть с ним какую-нибудь шутку. Один раз он вернулся с полдороги, заявив, что Александринский театр горит, полыхает жарким пламенем. Съехались пожарные насосы, и ему, школьнику, пройти через Фонтанку совершенно невозможно. Вспокоенные смирдинские дворники помчались смотреть пожар, но вскоре же вернулись, держась за бока от смеха. Другой раз Смирдин, отпущенный один, уверял, что на мосту стоят хулиганы, которые требуют с него за проход десять рублей. Случилось, что послать проводить было некого, и Саша остался дома. Какое наслаждение ему было сидеть в теплом, хорошо протопленном магазине у конторки Ларивона Апарина, любимцем которого он был, и наблюдать, как лихо орудуют приказчики:

— Вам романы-с? Пожалуйста: Загоскин, Булгарин. Греч. Или вот-с, новинка — господин Бутков, «Петербургские вершины». Газета «Северная пчела» пишет, что это лучше, чем любой Гоголь-с.

— А вам что-нибудь иностранное-с? Не угодно ли Сю — «Дети тайны». Самое же сейчас в моде — Гюго-с, «Собор пресвятой богородицы парижской»...

Маменька Эмилия Егоровна в наитии гнева (еще бы, пятеро детей и со всеми надо управиться самой!) требовала у папахена, чтобы он наказывал Сашу розгой. Но отец приглашал его в свой кабинет в магазине, якобы для прочтения нотации, и там они пили вкусный чай, заваренный приказчиками, а нотации не происходило, потому что папахен от природы молчун. Но Сашенька знал, что финансовые дела у папахена были швах, поэтому не просил у не-

го, чтобы уплатить карточный долг проклятому миллионщику Елисееву. Надеялся как-нибудь выкрутиться.

Перейдя через Чернышев мост на свою сторону, он обогнул здание театрального училища и увидел, что в проезде девочки-ученицы выходят на прогулку. Все в одинаковых капорчиках, обшитых мехом, в меховых же пелеринках. Суровая классная дама, с лицом статуи, строила девиц в пары. Нерадивым она засовывала под капор пальцы, словно клещи, и драла за уши.

«И у этих муштра!» — пожалел их Смирдин. У них в коммерческом училище новый инспектор, который сразу же получил прозвище Малюты Скуратова, ввел дикую шагистику. Прежде, например, выбегали и вбегали в класс по звонку кому как придется, гурьбой. Теперь же, услышав звонок, надлежало строиться в пары, и наставник выводил их из класса или, наоборот, вводил. Некоторых учителей уволили только за пренебрежение этим правилом. Но самое ужасное — возобновились телесные наказания, и урне двое секли за курение в туалете.

Личики в капорчиках с любопытством следили за беспечно бредущим мимо их строя прогульщиком Смирдиным, а дама-статуя подозрительно оглядела его, будто он был сам Фра-Дьяволо.

Этих девочек театральных давно заметил Смирдин. Одна из них, с самого краю, — носик остренький, а глазички под капорчиком черные, огромные, — тревожила его. Саша проходит мимо, отворотясь, а его так и тянут эти глаза, так и заставляют повернуться, взглянуть.

Выйдя на шумную Садовую, где санки и кибитки несутся наперегонки, Саша так и не смог придумать причины, по которой он вернется домой. Решительно повернул к Садовой улице. По дороге поглазел из-за чугунной решетки, как маршируют в синих узких шинелях кадетики на плацу. «Этим еще хуже достается!» — усмехнулся Смирдин. А чуть дальше и напротив, в пышном дворе Пажеского корпуса, вывели и строили в шеренгу совсем крохотных пажей, перwokлассников или даже приготовишек. Вся Российская империя становилась в строй, каждое сословие на свое место.

Как раз насупротив Пажеского корпуса широко распахнуты ворота в Апраксин двор. Оттуда доносится дикий гам, божба, ржание лошадей, крики разносчиков. Кто-то секомый хорошо поставленным тенором умоляет, чтобы ему снизили наказание до десяти плетей. Как млад-

шему Смирдину не поддаться соблазну и не войти в эти ворота вместе с толпой мужиков в грубых армяках и стоптанных лаптишках! У каждого топор за кушаком — ясное дело, артель плотников.

Теперь, любезный наш читатель, несколько слов об Апраксином дворе. Участок этот, чуть не в квадратную версту, между Садовой улицей и рекой Фонтанкой, был царем Петром пожалован его любимцу Федору Апраксину, генерал-адмиралу. Тот хотел на сем месте воздвигнуть дворец, не хуже меншиковского, да не успел, почил в бозе от трудов не столь ратных, сколь застольных. Потомки Апраксина строились в другом месте, поближе к царям, а участок на Садовой стали сдавать в аренду купцам. И вырос там огромный четверугольник доходных домов, амбаров, складов, цейхгаузов, трактиров, контор, лавчонок, каких-то совершенно невероятных щелей. А внутри был толчок — толкучий рынок, и без какой-либо мостовой, хоть бы и кирпичной. Желаешь торговать? Положи доску прямо в грязь и торгуй — хочешь воблой, хочешь корсетами, хочешь — лубочными книжками, тем же бессмертным «Ванькой-Каином» или «Милордом Георгом».

Крестьяне, приезжавшие обозами в Санкт-Петербург, недолюбливали Гостиного двора на Невском, побаивались — был для них господским местом тот Гостиный двор. То ли дело Апраксин двор! Тут для простого люда все попроще да помилее. Хоть и был тут каждый торговец жох, но здесь не различали чуйку от армяка или лаптей от смазных сапог, всякий тут был — ваше степенство!

И тут в арке ворот юный Смирдин увидел игру в три листика. Прямо на земле, на ящике, разместился солдат-инвалид с костылем под мышкой, а на бритой голове была лихо нахлобучена бескозырка.

— А вот, кто желает испытать счастье! — зазывал он, тасуя три карты. — Ставишь копейку, выигрываешь рубль!

Его окружала толпа деревенских бородачей, никто не решался поставить, но всем было любопытно. Наконец какой-то парень в ямщицком кафгане раскошелился на копейку. Солдат пододвинул ее под одну карту, рядом положил другую, а под третью положил серебряный рубль. Все карты он клал пестрой рубашкой кверху, действовал очень ловко, наблюдавший за этим из-за спины одного из

бородачей Смирдин не мог бы теперь сказать, под какой именно картой лежит та копейка.

— Угадывай! — предложил солдат парню в ямщицком кафтане.

Тот долго водил пальцем в воздухе, размышляя, а мужики вокруг сосредоточенно сопели. Наконец решился и указал на крайнюю справа. Солдат перевернул карту — там лежал рубль.

— Твоя взяла! — усмехнулся солдат и вручил рубль.

— Куда же теперь? — загоготали мужики.

— В кабак! — как само собой разумеющееся отвечал счастливчик.

И вдруг дерзкое желанье охватило Смирдина. Он еще не успел дать себе в этом отчет, как рука сама собой вынула из кармана серебряный четвертак и положила солдату на ящик. Толпа зрителей расступилась, и он оказался лицом к лицу с солдатом.

Тот взял четвертак, то есть монету в 25 копеек, попробовал на зуб и чуть ли не обнюхал. Затем нарочито медленно положил ее под карту. А под другую положил сложенную вчетверо ассигнацию в пять рублей. Ать-два-три! Смирдин, не помня себя, указал на какую-то карту и эту самую ассигнацию получил. Восторгу мужиков не было предела.

— А что, брат, так и мельницу можно выиграть! — толкали они друг друга под бок.

— Ставь еще раз, ставь! — услышал Смирдин шепот возле уха. Это тот самый, в ямщицком кафтане, который выиграл перед ним. — А потом и я в другой раз поставлю.

— А вдруг проиграем? — пролепетал Смирдин.

— Ништо! Сейчас у него такая струя пошла. Карты, они как? Струей идет: то все выигрыш, то проигрыш. Такая, брат, струя!

И Смирдин поставил свою ассигнацию в пять рублей, а солдат под другую карту подсунил пятьдесят. «Как раз долг отдам Елисееву! — пронеслось в воспаленной голове юного игрока. — Была бы удача!» И удача пришла, палец сам собой указал карту верно, и Смирдин получил пятьдесят. Мужики орали так, что на толчке подумали, будто начался пожар, и хотели вызвать пожарную трубу.

И Александр уже без чьей-либо подсказки положил на ящик выигранную пятидесятирублевку. И проиграл все! Ни четвертака, ни удачи, ни на долг Елисееву, уже ничего не осталось — все пропало!

— А в долг нельзя? — спросил он солдата.

— В долг нельзя, — покачал тот усатой головою в бескозырке, точно как игрушка — фарфоровый китаец. — Хочешь — в заклад.

— А что в заклад?

— А твой тулупчик. — Солдат пощупал его снаружи и изнутри. — Рублей двадцать пять на него поставлю.

— Ставь, ставь! — подзуживали мужики, которым до смерти хотелось зрелищ.

Чей-то одинокий голос, что нехорошо втягивать мальчика, потонул в общем хоре. Услужливые руки стащили со Смирдина тулупчик, любовно справленный бабой Малашей на отцовские скудные теперь деньги. Он даже не чувствовал мороза и снега, который теперь, после того как кончилась метель, лениво падал с сумрачного неба. И вновь выиграл!

— Неужели еще не рискнешь? — шепнул ему парень в ямщиком кафтане. — Вишь, явно струя пошла!

И Смирдин поставил — и проиграл. Потом уж, не помня себя, несчетное количество раз он ставил, проигрывал и выигрывал, остался каким-то образом без полупфачка, без жилета и тогда уж почувствовал холод и страх.

И словно очнулся. Было уже темно. На Садовой горели со слабым жужжанием газовые фонари. Апраксин двор разбежался к местам своих ночлегов, дюжина молодых сдвигала с места железную воротину, рынок закрывался. Толстые торговки с визгом удирали от полицейского, требовавшего от них представления каких-то ярлыков. А он, Саша Смирдин, в одной рубашке, беспомощно держа в руке школьный свой портфель, стоял, прислонившись к ободранной кирпичной арке, откуда бесследно исчез солдат в бескозырке, его ящик, три листика и вся смирдинская одежда.

— Господин полицейский! — обратился он к жалу, который яростно преследовал торговков. — Меня обокрали! Тут, в три листика!

— У, морда ученая! — ругнулся на него полицейский, имея в виду его школьный портфель. — А ты зачем играл? — И понесся за убежавшими торговками, придерживая на боку свою плоскую саблю.

Смирдин по шершавой кирпичной стене сполз прямо на снег, он, наверное, был в обмороке — кто знает? Тысячи людей с мешками, детьми, баулами пробежали мимо,



каждый со своей заботой. Кто-то склонился к мальчику с сочувствием, отвел его руку, закрывавшую лицо.

— Батюшки светы! — ахнул он. — Да ведь это сын Александра Филипповича! Что вы тут делаете, сударь, так же можно закоченеть! А вы меня не узнали? Я Чижиков, литератор, который для рынка пишет... Вам надобно тотчас в какое ни то теплое место, вставайте, вставайте!

2

Это действительно был Чижиков, легендарный сочинитель полицейских романов. Рассказывают, что однажды, гуляя по Невскому проспекту, император Николай Павлович будто бы повстречал его близ Аничкова моста. «Помилуй бог! — воскликнул будто бы Николай Павлович, который страсть как любил подражать великим мира сего — Петру, Суворову, бабке Екатерине. — Что это на голове у тебя столь убогий картуз? Мне стыдно, что российский литератор так одет. Васильчиков! — кликнул государь дежурного флигель-адъютанта. — Выдай Чижикову сколько надо денег». Получив монарший презент, Чижиков принялся вовсю праздновать царскую к себе милость. Через несколько дней неосторожно вылез на Невский проспект и снова попался на глаза Николаю Павловичу. «Вот... купил...» — протянул Чижиков картуз, приобретенный им на Апраксином толчке на оставшийся пятак. «Вижу, что водку пил!» — усмехнулся император.

С тех пор будто бы и пошла знаменитая песенка:

Чижик-пыжик, где ты был?
На Фонтанке водку пил.

Относительно трезвый на сей раз, Чижиков привел юного Смирдина к доходному дому в Апраксином переулке.

— Пожалуйте сюда-с... — проводил он его под многочисленными арками ворот в самый задний двор. — Здесь осторожнее ножку ставьте-с... Лужа-с!

Так добрались они до самого заднего подъезда, и, войдя туда, как в распахнутое чрево преисподней, они буквально съехали в полуподвал по склизким каменным ступеням.

— Черт побери! — охнул Чижиков, приложившись во тьме о поленницу дров. — Вот грех, нечистого помянул!

Открылась дверь, и в желтом колеблющемся свете показалась женская плотная фигура с огарком в руке.

— Что это, Чижик?— вскричала она, сопровождая свою речь сильными выражениями.— Опять собутыльница ко мне тащишь?

Чижилов принял объяснять ей, кто таков его спутник, Смирдину же на ухо сообщил, что это есть сама Магдалина Густавовна, у которой он снимал угол («Марфа Посадница!») — не без восхищения аттестовал он ее).

Марфа Посадница отнеслась к его объяснениям недовверчиво («Ежели он из купцов, зачем он в таком неглиже?»), тем не менее, различив, что от Смирдина-то не несет водкой, тоже подхватила его под локоть и ввела на мужскую половину своей доходной квартиры.

Это была обширная низкая комната с окнами под самым потолком и с зелеными разводами сырости. На нарах были расстелены чьи-то постели из тряпья, а в одном углу за шкапом, в котором постояльцы вешали свои шинелишки, помещалась кровать Чижилова. Как литератор он и здесь имел известное преимущество.

— Кирьяныч! — обратился Чижилов к субъекту, который носил жилет, столь лоснящийся от старости, что казалось, будто он сшит из шелка.— Слетаи, братец, на Невский, к купчине Смирдину, что книгами торгуют, пускай они, нимало не медля, пожалуют в наши палестины.

Кирьяныч, который занимался тем, что сосредоточенно тренькал на балалайке, закаурился:

— Не видишь, я занят!

— Ужо! — топнула на него хозяйка.— Ступай живенько, вот я тебя!

Тут балалаечник не посмел возражать, встал и принялся напяливать крылатку, столь же шелковую, как и его жилет.

Чижилов пришел в восторг от авторитета своей Магдалины Густавовны, Кирьяныча же инструктировал: «Ты, брат, там громко не ори, что-де с сыном несчастье, на ушко им это изволь сказать». А Магдалина Густавовна в свою очередь посулила: «Гони попроворней, купец тебе пяталтынный даст, как раз на полштофа».

Комната стала наполняться людом, все это были фабричные, у них окончилась работа. Разувались, разматывали онучи, вешали их у пузатой печи. Воздух сделался плотным от мужицкого терпкого пота. Умывальника здесь не было и в помине, да постояльцы в нем и не нуждались. Смертельно устав от многочасовой работы, они, еле подкрепившись краюхой хлеба, валились каждый на

свое место и засыпали, не обращая внимания ни на свет, ни на разговоры.

Лишь один из фабричных, мужичок веснушчатый, совсем простецкого вида, подошел к углу Чижикова и стал с любопытством прислушиваться к разговору.

— Это, не иначе, олонинские люди натворили,— рассуждала Магдалина Густавовна, поместясь на единственной во всей комнате табуретке.— Тот Олонин, помнишь, Чижиков, который лубочными картинками на толчке торговал? Теперь он снял чулан у купца Филимонова, там старые книжки подделывает, а трехлистники эти у него, игроки, на жалованье состоят...

— Эй, мальй! — обратился к любопытствующему фабричному Чижиков.— Как звать-то тебя? Вася? Знаешь ты, Василий, филимоновский лабаз на Апраксином дворе? Где дырка в заборе?

— А что его туда посылать? — возразила рассудительная Магдалина Густавовна.— Олонинцы, они же выкуп потребуют. Тут папаше самому надо идти, ежели он при деньгах...

Она сердобольно обтерла виски Саши каким-то снадобьем, влила в рот ложечку водки. Придя окончательно в себя и поняв из разговоров, что вызван его отец, Саша в ужасе пытался встать.

— Куда уж, куда уж вам,— удерживал его Чижиков.— Лежите уж. Да и что сказать — конь о четырех ногах и то спотыкается.

Тут Чижиков завидел жирного клопа, который выполз на заднюю стенку шкафа, оклеенную газетой «Северная пчела». Чижиков вынул из-под кровати шлепанец и сладострастно его раздавил. Гнев квартирной хозяйки при этом был неописуем. Еще бы! На стенке шкафа расплылось смачное красно-бурое пятно.

— Пардон-с, пардон-с! — заизвинялся Чижиков.— Такая у меня природа-с. Как клопчика увижу, должен раздавить!

— А как он, этот ваш Олонин,— осведомился фабричный Вася.— Как он книжки-то подделывает, извинтите-с (он так и сказал — извинтите)?

— И клопы теперь наглые пошли! — продолжала негодовать Магдалина Густавовна.— Лет десять назад сидели себе смирнехонько, бывало, и кипятком не вываришь... А книжки-то как подделывают, книжки-то? Ох-хо-хо! — Магдалину Густавовну разобрала зевота, и всяк

тут волен был увидеть ее шербатый и преогромный рот.— Книжки-то—это чепуха. Покупают у монахов всякую старинную бумагу, которые те отрезают от свитков и всяческих грамот. Потом умелец, вроде нашего Чижика, пишет старинным полууставом, Олонин переплетает в свиную кожу. Потом в глиняный кувшин, сию, прости господи, книгу запечатывают воском пчелиным и ставят в хорошо протопленную печь. Утром кувшин тот разбивают, потому что воск так затвердеет, его и не сломать. А книга там желтая, хрусткая, чернила рыжие, словно ей тысяча лет.

— Ну уж и тысяча! — посмеивался Чижиков, довольный своей ролью в этом процессе, и уже раскрыл табакерочку, чтобы нюхнуть табачку, как с улицы послышалось развеселое: «Сам пью, сам гуляю!»

Это вернулся Кирьяныч с двумя штофами в руках, за ним шел старший Смирдин, улыбавшийся с некоей грустью, как он теперь всегда улыбался. Обняв Сашу, не стал его бранить.

Пришел и Олонин, вызванный Магдалиной Густавовной, лысый и подслеповатый мужчина в черных очках, похожий с виду на псаломщика, а не на содержателя притона. Со Смирдиным-старшим поздоровался за руку, как с равным, присели, кому на чем пришлось.

— Негоже купецкому сынку,— назидательно и высокомерно поучал Олонин Смирдиных, а сам морщился от густой вони портянок.— Негоже с кем попадя в три листика играть...

Саша Смирдин сидел понурясь, отец его жевал тонкими губами, не зная, что возразить. Чижиков было вступился, сказал свою присказку про коня, у которого четыре ноги, а и то спотыкается. Но Олонин даже не повернул в его сторону лысой головы.

— Слыхал я,— спросил он у Смирдина,— будто вексель ваших заимодавцев опротестованы и вскорости будет ваш магазин описан?

Тут пришла на выручку Магдалина Густавовна, сказав хрипло:

— Ты, угодничек божий, брось финтить. Говори прямо, сколько хочешь за одежду, которую твои архангелы слямзили?

— Четыреста рублей,— назвал деньги Олонин.

Воцарилось напряжение, потому что каждый пони-

мал — рухлядишка купецкого сына была, конечно, не первостатейная. Дело шло об амбиции.

— Ладно,—сказал Смирдин-отец.— Быть по-твоему. Только у меня наличных нет. Хочешь вексель?

— Зачем? — Олонин снял черные очки, протер и даже продул их, посмотрел на свет, прищурясь.— Слово Смирдина — закон.

Он послал того же Кирьяныча в свою лавку, а Смирдин, чтобы рассеять тягостное молчание, обратился к фабричному:

— А ведь я тебя узнал... Не ты ли был фореитором у барона Корфа, когда я однажды к профессору Галичу приходил?

— Я-с,—не стал отнекиваться веснушчатый Вася.

— Что ж ты теперь не у своего барина?

— Барин нас на оброк перевел. Решил, сказывает, жить экономично. На усадьбе собак охотничьих перевешал, дворовых в деревню переселил. Кучер теперь у него немец наемный и фореитор. А я на фабрике горбачу, за десять рублей в год, из них половину барону Корфу.

— Тут все у меня оброчные,—подтвердила Магдалина Густавовна.— Идут из деревни и идут. Баре, что ли, все поразорялись?

Они сгрудились вокруг постели Чижикова, где лежал, отвернув лицо, младший Смирдин, которому было ужасно стыдно. В комнате фабричные храпели на разные голоса, а кто даже с присвистом. Остальные молчали: Магдалина Густавовна, упоенная гордостью, что такой знаменитый человек с Невского проспекта посетил ее квартиру, Кирьяныч от нетерпения, когда же все уйдут и можно будет начать откупоривать штофы, Смирдин-отец, потому что был молчун от природы.

Чижиков же только рот открыл, чтобы что-то сказать, как тишину прорезал истошный женский крик. Все повернули головы в сторону женской части общежития Магдалины Густавовны, и крик повторился еще пронзительнее.

В комнату вбежала простоволосая, растрепанная да к тому же и беременная девица, щеки у которой были, однако, раскрашены кармином, а глаза густо подсинены.

— Барыня там кончается! — схватила она хозяйку за рукав.— Барыня кончается, философов жена!

Все, кто не спал, исключая лежащего на чижиковской постели Саши Смирдина, устремились на другую половину квартиры. Там была такая же комната, только почи-

ще — с занавесками на окнах и без клопных пятен. Не было сплошных нар, а койки, отгороженные одна от другой ширмочками, тоже оклеенными вездесущей «Северной пчелой». А для хозяйки был устроен угол за шкафом, как у Чижикова.

Посреди комнаты билась об пол немолодая уже женщина, в costume которой можно было заметить даже некоторые претензии, например наличие корсета, а в причёске — несминаемую шляпку «гнездо колибри». Повидимому, эта сцена происходила здесь уж не впервые, потому что Чижиков и Кирьяныч без лишних приглашений уселись на руки и на ноги несчастной, стараясь удержать ее от битья головой.

Смирдин ее сразу узнал и ужаснулся.

— Да это же мадам Говорова! Где ж тогда сам Александр Иванович Галич?

Магдалина Густавовна пояснила, что они разорились, профессор Галич лишился всякой службы и теперь лежит в психическом отделении Сампсониевской больницы. Смирдину стало еще горестней, чем когда он узнал о несчастье собственного сына.

Когда припадок мадам Говоровой окончился, ее отнесли на койку, напоили отваром из зверобоя — он вылечивает от всех болезней. Смирдин наклонился над страдающей, та узнала его.

— Вот видите, сударь... И Демидовская премия не помогла. Засадили-таки его, мракобесы. А вы б к нему в больницу сходили, навестили. Все ж не тюрьма, по воскресеньям там свидания.

И когда Смирдин уходил, потому что пришли олонинцы, принесли Сашину одежду, он слышал, как мадам Говорова рассуждала:

— А все потому, что о науке своей думал, о книгах... Нет чтобы ему о людях думать, о человеках, он все о книгах!

Через полчаса Смирдин на извозчике привез своего первенца домой. Все скрылись, каждый у себя, даже мать, Эмилия Егоровна, с ней баба Малаша, сестры. Смирдин проводил юношу в его комнату, помог расстегнуть пресловутый тулупчик. Сам снял шляпу и уселся в растерянности, не зная, что и сказать.

И вдруг Саша закричал голосом пронзительным, как у той женщины в Апраксином переулке:

— Да уйдите же, уйдите! Не могу я видеть никого!

Отец его встал, хотел приласкать, не знал только, куда пристроить шляпу.

— Зайка, ну что ты, милый Зайка...

Но тот топал ногами, уже не помня себя от ярости:

— Уходите вон, мне лицо ваше противно!

3

Лучшее время для визитов в Санкт-Петербурге — это утро, между одиннадцатью и полуднем. Если вы услышите пушку с бастиона Петропавловской крепости, знайте: время визитов окончилось, наступает обед.

Как раз в эти часы Александр Филиппович Смирдин вошел во двор огромнейшего многоэтажного дома, который только что возник на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки, у моста, напротив Аничкова дворца.

Строил его некто Лопатин, не из тех знаменитых дворян, один из которых впоследствии был другом Карла Маркса и революционеров, двадцать лет в царском каземате просидел. Нет, сей заждитель Лопатин был обыкновенный петербургский купчина, строил доходные дома несколько авантюристическим способом. То есть, не имея никакого первоначального капитала, нанимал за гроши артель пришлых каменщиков из числа оброчных крестьян. Они за лето воздвигали ему часть здания, лишь бы подвести под крышу. О внутренности здания — стенках, дверных проемах, даже о лестницах — Лопатин покамест и не помышлял. Теперь нанимал он артель кровельщиков, которые возводили ему крышу, и хозяин тотчас мчался в закладной банк получать ссуду, потому что ссужать под заклад зданий без крыш было строго запрещено. Ссуда — это уже капитал, она позволяла ему достраивать остальное: и внутренность здания, и новые корпуса, и покупать участки для новых авантюр. И Лопатин сдавал построенные квартиры жильцам: в бельэтаже — богатым, с окнами на Невский, а в темных мансардах во глубине дворов — всякого рода разночинцам. И так он становился миллионщиком.

Короче говоря, Смирдин прошел сквозь все дворы огромного, еще продолжающегося постройкой домины, пока не вошел в пятый подъезд третьего корпуса. Там вышколенный дворник (в Невской полицейской части все дворники были вышколенные) при медали и казенной метле, получив от Смирдина пятак в ловко подставлен-

ную ладонь, объяснил, что неслужащий дворянин Виссарион Григорьев Белинский проживают на пятом этаже-с. И даже сам проводил Смирдина, и даже услужливо подержал ему шнур входного звонка.

По правде сказать, Смирдин шел к Белинскому не без тайного трепета. Он уже бывал у него с Булгариным на прежней, холостой еще, квартире на Петроградской стороне, где в одной комнате сидел сам критик, согреваясь принесенным от хозяина тазиком с угольями, а из другой, где были рукописи и книги, дул смертельный сквозняк. Тогда, помнится, Белинский чуть не накричал на него, обозвав его слугою литературных сквернавцев и плюгавцев. С Булгариным же г. Белинский вообще не пожелал разговаривать, по коей причине, выходя от него, Булгарин обозвал его бульдогом. И правда, в этом что-то было, по той хватке и злости, которыми Белинский в журналах разил своих врагов. А та оскорбительная давняя статья в «Молве», где целый период в литературе назван смирдинским, да сам-то Смирдин выведен чуть ли не как жулик и фарисей.

Подумать только, теперь наоборот — Смирдин шел к Белинскому с визитом благодарности за статью в «Отечественных записках», где неожиданно отзывался он о Смирдине с добром и сочувствием. И это в те дни, когда особенно тяжко было Смирдину от непрерывных неудач!

Дворник подержал за шнурок, и в глубине комнат затренькал входной звоночек, заплакало грудное дитя, слышались торопливые женские шаги.

Открылась дверь, и вышла молодая, однако казавшаяся утомленной или нездоровой хрупкая женщина с ребенком на руках. Смирдин назвал себя и просил принять. Тут в прихожую вышел и сам хозяин с чахлой бородкой и в жилете. Кто его не знал, принял бы за какого-нибудь заурядного портного или часовщика.

— После, ма шер, договорим, — сказал Белинский жене. — Ты пока ступай. Я докажу тебе, что относительно нашей Оленьки ты очень не права.

Смирдин понял, что своим появлением он прервал какой-то серьезный семейный разговор. Где-то он слышал, будто Белинский изводит молодую жену природной своей раздражительностью, но отнес это к разряду обычных петербургских сплетен.

— Смирдин! — воскликнул Белинский, заводя гостя в крохотный кабинетик, на сей раз теплый, сплошь устав-

ленный книжными полками и заваленный папками с рукописями.— Александр Филиппович! И вы ко мне? Вот уж, как говорится, трудно было ожидать!

Смирдин сообщил о цели прихода, благодарил за добрый отзыв.

— Да как вы узнали, что это моя статья! — засмеялся Белинский.— Там нет даже инициалов!

Смирдин возразил, что стиль Белинского узнается безошибочно всеми. У него в магазине покупатели дежурят часами, пока принесется очередная книжка «Отечественных записок». В библиотеке на нее тут же записывается очередь. Люди лихорадочно перелистывают журнал, ищут статьи Белинского или что-нибудь похожее на них. Смирдин искренне сказал, что за всю свою сорокалетнюю карьеру книгопродавца такое он видит впервые.

Белинский заговорил о правильности самой идеи Смирдина — печатать всех литераторов, которые существуют в России. Неверно было бы представлять литературу как сумму произведений только некоторых самых очевидных классиков. Не может быть классика без одновременной массы пишущих, пробующих себя, быть может, даже и графоманов. Кстати, а кто бы взял на себя выработать критерии, по которым отличать классика от графомана? Задача — как формировать эту самую литературу, как воспитывать культурного литератора для русского читателя, а благородного читателя для литературы. Кстати, рассказывал господин Греч (при этом имени Белинский усмехнулся, словно Мефистофель, и пощипал бородку), что Жюль Жанен у него спрашивал в Париже, имея в виду ваш тогдашний анонс об издании «Библиотеки для чтения», помните, там вы поместили перечень всех господ литераторов, изъявивших согласие участвовать в вашем журнале? Так Жюль Жанен будто бы спросил — откуда вы набрали столько писателей? У нас, говорит, во Франции и половина этого числа не наберется. По словам Греча, далее он сказал — счастлива страна, имеющая такую литературу, у нее великое будущее.

Белинский поперхнулся, мучительно закашлялся, схватившись за впалую грудь. Отпил зельтерской воды и продолжал:

— Впрочем, я против какого-нибудь деления литераторов на классиков и не классиков. Единственное мерило — это талант. И решительно отметаю обвинения, будто сам делю писателей на истинных талантов и «литера-

турщику». Тем более, будто у меня истинные таланты все из «Отечественных записок», а литературщики из «Москвитянина» и других. Все это беспардонная ложь!

Глаза его блеснули, а Смирдин вспомнил прозвище, которым его наделили восторженные почитатели из студентов: «Неистовый Виссарион!» А собою невзрачен, сутуловат, грудь впалая, глаза задумчивые, печальные до невероятности, какие-то даже женские, полные странной робости и ласки глаза. Хорошо быть другом такого человека и страшно быть его врагом.

— Но и талант сам по себе еще ничто,— продолжал Белинский.— Вы не читали последних вещей Гоголя?

— Не читал-с,— ответил Смирдин, не зная, о каких именно вещах Гоголя он говорит. Гоголь давно не печатал ничего нового, по слухам, жил где-то за границей.

— А вот вы прочтите.— Лицо Белинского стало жестким, приобрело какой-то металлический оттенок.— И увидите, что значит употребить богом данный талант для сатанинских дел!

Вошла Мария Васильевна и пригласила беседующих в столовую выпить по чашечке кофе.

Смирдин все продолжал оглядывать обстановку Белинского, чем-то неуловимым напоминала она ему квартиру, в которой он сам теперь живет. Низкие комнатки, дешевая мебелишка, обои в цветочек, кабинетик в одно окно, похожий на коридор. В гостиной диван, занимающий чуть не всю комнату, теснота, теснота... И неистребимый запах пеленок везде.

— Я и работаю здесь, в столовой,— улыбнулся Белинский, перехватив взгляд Смирдина.— В кабинет только за книжками хожу.

А вот на днях довелось быть Смирдину по делам его закладов на квартире его высокопревосходительства министра просвещения— вот это палаццо! Показная роскошь, бестолковая суета служащих, обилие ни для чего не нужных комнат. Господи, будет ли когда-нибудь хоть какое-нибудь равенство?

Смирдин испугался своих мыслей и перекрестился в душе. Белинский же помешал ложечкой кофе и вдруг лукаво блеснул глазами:

— А знаете, Александр Филиппович, я из «Отечественных записок»-то ухожу!

— Как-с?— воскликнул Смирдин, чуть не уронив чашку.

— Да-да, ухожу. Господин Краевский, да вы же его знаете, он ваш верный последователь в том отношении, что у него капитал — живая душа литературы. Работать с ним все труднее, по мере того как он набирается знакомств в свете или хотя бы по министерствам... Сделался истинным инквизитором — это ему не пиши, то у него вымарай. Миллионщик!

— «Отечественные записки», — не переставал изумляться Смирдин, — и без вас?!

— Да, жаль, конечно. — Печаль снова разлилась по болезненному лицу Белинского. — Сколько труда в них вложено! Но такова диалектика, почтеннейший Александр Филиппович, отрицание отрицания, вам ли как коммерсанту этого не знать?

— И куда ж вы теперь? — Смирдин, оставив чашку, даже вытер лоб платком.

— Скажу открыто: быть может, вы посодействуете советом или даже делом. Хотим с господами Некрасовым и Панаевым откупить у профессора Плетнева пушкинский еще «Современник». В официальные издатели приглашаем Никитенко, знаете, конечно: молодой такой профессор, цензор, который за вольнодумство под караулом сидел? Теперь обзавелся семьей, сделался весьма уважаемым, что нам как раз и необходимо...

— Вы, вероятно, чаете меня как будущего кредитора, — сказал Смирдин. — Но дела мои худы, и ссудить вам ничего не могу-с.

— Да нет, Александр Филиппович, нет, я осведомлен о вашем состоянии дел. Был у меня намерение еще один ваш последователь — Ольхин, тот хочет финансировать...

— Ольхин Матвей! — не выдержал, перебил хозяина Смирдин. — Да он же профан в торговле, рынка не знает! Он только и держится, что у него деньги случайные, шальные, и за мои долги он забрал у меня тиражи.

— Вот-вот! — сказал Белинский. — В смысле ваш последователь, я и имел в виду, что он унаследовал не ваши достоинства, а ваши ошибки.

Он снова раскашлялся, так что за стеною расплакалось дитя. Мария Васильевна пришла, подала ему лекарство, выразительно посмотрела на Смирдина.

— Простите меня, — развел руками Белинский. — Долго теперь беседовать не могу, поэтому по нужде закончим наш разговор. — Но удержал уже вставшего с кре-

сла Смирдина.— Главное все-таки я еще должен вам сказать, бог знает, когда мы теперь увидимся.

Он перевел дух:

— Александр Филиппович! Знаете, в чем ваша главная ошибка? Вы из благороднейших, конечно, побуждений пытаетесь в одних руках совместить все — и книгоиздание, и библиотеку, и книжную торговлю, и склад для иногородних... В наше время это невозможно! Это делал Новиков в архаичном восемнадцатом веке, это будут делать позже нас, когда банки превратятся из орудия грабежа и вымогательства в надежный инструмент финансирования и организации труда.

— Что же нам делать-с? — невольно спросил Смирдин, вновь опускаясь в кресло. Таких мыслей он еще ни от кого не слышал.

— Оставьте все прочее, займитесь только книгоизданием. Хотя и это будет вам чертовски трудно, потому что вас давит неимоверный долг от прошлых времен. А вы же человек честный и никогда не захотите сыграть на злостном банкротстве или каком-нибудь другом мошенничестве. Но книгопродавцев культурных теперь у нас хоть пруд пруди — Лисенков, Исаков, тот же Ольхин, а издателей цивилизованных, по существу, нет... Издавать же надо, как в Париже издает Шарпантье, карманным форматом, ценою небольшой. В Париже идут по три франка за томик, цена вполне доступная среднему покупателю, а у нас это будет по рублю за том, зато увеличьте тираж...

— Я об этом слышал-с,— сказал Смирдин.— Мой приказчик Генкель там побывал-с. Это у них называется ливрезоны. На ихнем рынке эти самые ливрезоны даже вытесняют журналы и альманахи.

— Да-да! — вскричал Белинский.— Вы меня поняли! Теперь другая ваша ошибка — ну кому нужно теперь столь парадное издание, как эти ваши «Сто русских литераторов», роскошное до приторности? Кстати, Анненков мне рассказывал, с ваших же слов, что Булгарин вас обманул с гравюрами и портреты вышли из рук вон худые. Александр Филиппович! — Неистовый Виссарион вскочил и взял Смирдина за плечо.— А вы не чувствуете, что век провинциального помещика как главного покупателя безвозвратно прошел? Ездил я в Чембар, на свою родину, возвращаюсь обратно, смотрю: на большак из боковых дорог то и дело выезжают помещичьи рыдваны, доверху нагруженные узлами и сундуками. Это помещики ра-

зоряются и уезжают пытаться счастья в столицах. Нет больше усадебных библиотек!

— С кем же тогда будем торговать?— Смирдин усмехнулся и побарабанил пальцами по столу.— Этак-с можно совсем по миру пойти. Не с нашими же купчишками и мещанишками... Они-с выше «Ваньки-Каина» и чижиковских поделок так и не поднялись.

— Разночинец!— поднял руку Белинский.— Демократический разночинец— вот будущее России. И новые писатели, которые сменят... Да что там говорить— уже сменяют ваших сто русских литераторов, всех этих замшелых Кукольников, Бенедиктовых, Мятлевых со всеми их мадам де Курдюковыми!

Белинский быстро разыскал в кабинетике книжку и подал ее Смирдину: «Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. «Бедные люди», сочинение Достоевского, «Три портрета», сочинение Тургенева, «Капризы и раздумья», сочинение Герцена...»

Ребенок за стеной наконец затих, зато в прихожей затренькал звонок.

— Виссарион!— приоткрыла из коридора дверь его жена.— Там пришли господа Панаевы и с ними Николай Алексеевич Некрасов. Но ведь врачи тебе категорически запретили...

— Никаких запретов!— закричал Белинский так громко, что ребенок опять проснулся и заплакал.— Я умру, как гладиатор на арене,— засмеялся он, обращаясь к Смирдину,— но не выпущу меча! Зови!— приказал он печально опустившей голову жене.— Ведь это же надежда всей нашей литературы!

Взошла надежда нашей литературы— очень красивая, с чувственным ротиком, более похожая на актрису, Авдотья Панаева, прошуршав шелком юбки, уселась у кафельной печки: «Ах, этой зимою я зябну, как воробушек!» Ее муж Панаев, с благородной каштановой бородкой, был ничем не примечателен, кроме атлетического сложения, зато Некрасов так и бросался в глаза. Он был из породы тех людей, не заметить которых в толпе невозможно. Всякий глянет и скажет себе: «Вот— либо великий гений, либо великий злодей».

Смирдин впервые увидел Некрасова, о котором в последнее время заговорили в литературных кругах. Панаев тот частенько заходил к нему в магазин, он был библиофил, любитель редкостей. А Некрасов вот так близко по-

казался Смирдину впервые. Видевший Пушкина и Лермонтова и сам уже тертый калач, Смирдин думал о Некрасове: «И этот игрок!» Как дрожат у него уголки воспаленных глаз, в которых, словно когда-то у княжны Аннеты, то вспыхнет, то угаснет какое-то нетерпение — будто отблеск подземного огня. «О, русские люди!» — думал про себя Смирдин, слушая добродушные рассуждения Некрасова о том, что ежели б удалось набрать десять тысяч подписчиков, журнал окупался бы сам собой. А те, которые пришли на Сенатскую площадь 14 декабря, чтобы уйти с нее на эшафот и в стылую Сибирь?

Александр Филиппович встал, отговорился срочными делами и, раскланявшись, вышел.

4

Невский проспект привык к магазину Смирдина, будто не пятнадцать только, а все сто лет стоит он здесь, на самом бойком месте. Прилавков нет, одни конторки — пожалуйста, подходите к полкам сами. Приказчики встречают вас с готовностью. У Смирдина правило — разговариваешь с клиентом, не отводи глаз в сторону, не цеди слова, будто перед тобою неодушевленный предмет. У Смирдина строго — он голоса не повысит, зато если какое упущение — вопьется как клещ.

Впоследствии его приказчики, его ученики, ставшие сами знаменитыми издателями или книгопродавцами, вспоминали: «Александр Филиппович с лица был человек постоянно серьезный, как говорится, сосредоточенный. Никогда не видели его смеющимся или даже улыбающимся. Был человек чрезвычайно привязанный к своему делу и трудолюбивый иной раз до смешного. Подчас своей ненужной деятельностью Александр Филиппович надоедал приказчикам, особенно молодым и мальчикам. Обыкновенно большая часть книжных торговцев не выходила в свои лавки торговать по воскресеньям, он же приказывал отпирать свой магазин и в праздник. Когда же случилось так, что решительно в магазине делать нечего, он приказывал груды книг, лежавших в одном углу магазина, безо всякой цели переносить в другой, стряхнув только с них предварительно пыль».

Правда, так вспоминал Федор Базунов, когда уже сам стал хозяином и прославился, кстати, спустя тридцать лет, кабальным договором с писателем Тургеневым на

все его произведения, которые тот написал и когда-либо собирался написать впредь. А в молодости юный Федя Базунов сам был с ленцой, и непрестанные требования Смирдина к чистоте и порядку запомнились ему на старости как придирки и хозяйский произвол.

Впрочем, в последние годы Смирдин редко бывал в своем кабинетике в магазине. Все бегал по типографиям да по цензорам, воплощал свою мечту издать всех русских литераторов. И слышал за спиною шепот приказчиков: «Бегай, бегай! Накашлял долгов-то полмиллиона ассигнациями, теперь побегай!»

После беседы с Белинским не шла у него из головы мысль: самому добровольно отказаться от магазина, от библиотеки, сосредоточиться на главном — книгоиздании. Да, действительно, если применить здесь военные термины — слишком широким фронтом в жизни он шел, а силенок не хватало, а помощников себе под стать не находил!

Но и как же отказаться от магазина? Ведь магазин — это стихия! Магазин — это целая планета, это радость его и несчастье. Вот вкрадчиво появляется старичок благонамеренного вида, с улыбочкой, с бородочкой, под мышкой огромный трепаный портфель. Ни дать ни взять — профессор, да не откуда-нибудь, а из самого Санкт-Петербургского университета. Не верьте, однако, не верьте первым впечатлениям, потому что сие есть первейший книжный вор.

Во всех лавках знают его как облупленного, приказчики, кивая, подталкивают учеников-мальчиков: «Гляди, гляди, запомни этого...» Но так как он действительно благородного происхождения, да и вправду покупает на большие суммы, то в книгах рыться его допускают. Один из приказчиков бросает все иные дела, только и занимается тем, что стоит, вперившись в знаменитого покупателя.

А тот перебирает книжки, обметая бородкой титульные листы: «Так-с, анонимный Бегичев, «История Олинки»... Чепуха! (Отодвигает в сторону.) Хм, Державин, в издании Глазуновых, восьмерка, карманный формат, эту, пожалуй, мне отложите-с... Боже мой! «Описание земли Камчатки»... Но без первых трех страниц, это брос! А знаете ли вы, молодой человек (попытка отвлечь внимание наблюдающего приказчика), кто был первым издателем Карамзина? Готов поставить четыре на один, как говорят лошадики, не знаете-с...»

Стоит на мгновение приказчику потерять бдитель-

ность, как одна, две, три книги оказываются в обширном портфеле покупателя. Остальные, отобранные им, он добросовестно оплачивает, их завязывают ему в пакет.

Тогда приказчик приступает к нему с елико возможным тактом:

— Спиридон Порфирьевич! (Весь книжный Петербург знал его имя-отчество.) А не положили ль по рассеянности вы каких-нибудь книжек в ваш портфель-с?

— Ах! — поражается Спиридон Порфирьевич, обнаружив в своем портфеле неоплаченные книжки. — Как они туда попали? Скотина я, скотина! Ну, простите старика, милейший, это уже склероз...

Но если только он, усыпив бдительность своего Аргуса, вынесет неоплаченные книги за порог магазина — тут хоть полицию зови! Он станет клясться, что получил их по наследству, что они уже у него сорок лет, что он нес показать их друзьям-библиофилам...

Время от времени приезжает в магазин кавалерственная дама, его супруга, вынимает связочку книг, подает приказчикам: «Посмотрите, какая из них им не оплачена...» И если таковая находится, она тут же вносит деньги и везет книжки обратно, потому что не дай бог, если в мужниной библиотеке обнаружится ее отсутствие!

Когда Спиридон Порфирьевич удаляется, благодушно уплатив и за то, что было вовремя обнаружено в его портфеле, приказчики и мальчики смеются. Выходит из своего кабинета Смирдин и смеется вместе со всеми.

— Каких только монстров не попадает среди покупателей! — говорит Смирдин, сняв очки и щуря слезящиеся глазки. — А то вот был граф Хвостов, сочинитель-с, Дмитрий Иванович их звали-с, были они зять, кстати, генералиссимуса Суворова, который им и испросил-с графский титул у сардинского короля в Италии.

Все приказчики, и мальчики, и имеющаяся в наличии публика со вниманием слушают. Еще бы! Теперь Смирдин — живая история Санкт-Петербургской книжной торговли. Сам же Смирдин, скрестив руки, продолжает:

— Вот напечатают-с они томов пять или шесть своих сочинений и развезут по книгопродавцам лично-с, а никто их не покупает, потому что, как говаривал известный тогда юморист господин Воейков, все сочинения их сиятельства были чистой воды дребедень-с, в торговле же, простите-с, ни тпру ни ну. Тогда они-с раздают своим лакеям деньги и посылают в книжные лавки, те по Невскому бе-

гают и Хвостова сочинения покупают, чтобы никто не подумал, будто у графа читателей нет!

Слушатели умеренно смеются, понимая, что над такой особой, каким был покойный граф, громко не насмеешься. Каждый к тому же думает про Смирдина: «Однако ж ты сам его, Хвостова, немало издал, вон до сих пор штабель нераспроданный стоит». А хозяин, увлекшись, продолжает:

— Однажды вот к этому самому магазину подкатывает пролетка и выходит из нее баснописец наш Иван Андреевич Крылов, которому граф за что-то денег задолжал и в счет того долга отдал целый тираж своих роскошно изданных творений. Я наотрез отказался принимать этот хлам, хотя бы и в золотом тиснении и с обрезом. Крылов — не везти же ему книг обратно! — приказал извозчику свалить Хвостова, то бишь его сочинения, прямо на тротуар, возле нашего крыльца. И извозчик вывалил тех книг (пятьсот экземпляров-с!) целую кучу. Клянусь богом, им бы тут лежать долго, да проскакал мимо на своей заливчатской тройке обер-полицмейстер Кокошкин, которого более боялись, чем самого государя императора. Помните, друзья, этот случай?

Старослужащие Федор Фролович, Ларивон Апарин, Крашенинников согласно кивают головами.

— Кокошкин меня из магазина вызывает и начинает орать, заодно и на нашего частного пристава, который тоже подбежал, имея два пальца под козырек. «Сдать их на Щукин рынок! — приказывает. — Пусть торговки в них заворачивают корицу!» Ну, а наш частный пристав, который ни с кем ссориться не хотел, после отбытия громовержца Кокошкина сложил сии книги в полицейскую телегу и отвез их не на рынок, а обратно графу Хвостову-с.

Присутствующие уверенно смеются над не столь уж смешным для русского книгоиздания происшествием. Но Смирдину свой анекдот еще надо завершить:

— Что же вы думаете, друзья? Кокошкин во дворце рассказал об этом государю, и его величество очень изволили смеяться-с. А их сиятельство граф, который был сначала вне себя от того известия, что Смирдин не желает ими торговать-с, на сей раз, узнав о реакции государя, был в восторге-с. Вот как!

«Что-то я разболтался! — подумал Смирдин, его немножечко знобило. — Слова какие-то не свои употре-

бляю — реакция-с! Старею я, старею». И ушел в свою каморку, а книжная торговля двигалась своим чередом.

Вот две дамы в невероятно широких юбках на китовом усе и с рукавичками в виде пуфов. Одна дама, курносенькая, полненькая, просит:

— Что-нибудь для развлечения, сэт эгал! Роман какой-нибудь, ган бьен ке маль! Ле журно? Там все грызутся, все цыганят, осуждают... А романчик как прочтешь, при бессоннице уснешь!

Дамы смеются, и приказчик вместе с ними. Тогда вторая дама, напротив, худая и напоминающая повадками дикую лошадь, требует:

— Кельке шоз де Вольтер, чтобы разума набраться и в гостиных отличатся...

Приказчик живо понял, что обеим покупательницам было надобно, и вынес им из чуланчика (уже тогда существовал обычай припрятывать дефицит для избранных покупателей!) по экземпляру книги «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л'этранже», изданной якобы в Тамбове, а на самом деле здесь же, в Петербурге. Завидев там те самые стихи, которые переполняли их бедные головы, обе дамы были в восторге и, кроме установленной цены, вознаградили приказчика на чай.

Тот обычай, лябитюде.
Не у нас лишь, а повсюду.
Дай с любезностью на чай
И любезность получай! ---

как изволила сказать все та же многомудрая мадам де Курдюкофф!

Теперь вновь обратимся к воспоминаниям Федя Базунова, который лет через двадцать станет богачом и купчиной, а пока был мальчиком в магазине и с достоинством носил прозвание балбеса.

«Смирдин не стеснял других книгопродавцев: делал на свои издания значительную уступку и даже охотно менялся, вследствие чего книгопродавцы при нем торговали бойко. Возбуждаемый именами талантливых писателей и беспрепятственным выходом книг, являлся в большом числе и покупатель...»

Увы, все это относится к тридцатым годам. В сороковых же покупатель резко пошел на убыль. Толпа валом валила по Невскому, и мало кто заглядывал к Смирдину.

Разве пожалует гусарский корнет в полной красе своих эполет и мундирного шитья и спросит: «А где тут у вас выпить померанцевой водки или чего-нибудь еще для подкрепления души?» И уходит с извиненьями, поняв, что попал не в ту дверь.

5

Иногда случались и скандалы.

Как-то зимой из морозного пара, ворвавшегося во входную дверь, возникла милостивая девушка или молодая женщина, одетая по-простонародному, то есть в суконную длинную душегрею и суконный же головной платок. Краем этого платка она прикрывала свою ношу — это был ребеночек, закутанный во всевозможные одеяльца.

— Ты зачем пришла? — вдруг закричал на нее Ларивон Апарин. — Я тебе сказывал, чтобы ты сюда дороги не знала!

Но вошедшая, несмотря на его крик и угрозы, храбро требовала хозяина, купца Смирдина. Смирдин как раз в своем кабинетике знакомил сына Сашу с новым приказчиком Василием Егоровичем Генкелем, тоже из немцев, учившимся специально в городе Лейпциге, единственном тогда в Европе месте, где можно было получить книготорговое образование. Александр Филиппович хотел, чтобы Генкель пока приучал сына к делу, глядишь, и компаньоном станет, скоро уж ему кончать коммерческое училище. Будет фирма «Смирдин и сын».

— Чего тебе?.. Чего вам-с? — как можно ласковее спросил он у молодой особы с ребеночком, которую привели к нему в кабинет.

Ларька, которому хозяин велел молчать и особу ту не трогать, встал, однако ж, в дверях врастопырку, ковырял в зубах.

Женщина назвалась Прасковьей Ивановой, мещанкой. Ларивон прижил с нею это вот дитя, которое в его же честь крещено Ларисой. А теперь задумал жениться на богатой невесте, наследнице Кушинниковых, которые на Большой Морской улице галантерею держат...

— Знаю, знаю Кушинниковых, — сказал Смирдин. — Один из них издатель, деньги же мне ссужал, кровопивец. Ну и что же теперь ты скажешь, Ларивон?

— Ер еры, упал с горы. Ер ять — некому поднять! — заявил Ларька, сощутив русалочки глаза.

— Все шутить изволите, — всхлипнула Прасковья, утираясь. — А мне что с девочкой, побираться али куда?

— Говори, Ларька! — приказал Смирдин несвойственным для него угрожающим тоном, даже из-за стола приподнялся.

Ларивон, не меняя позы, продекламировал из Байрона:

— Любовь, что для мужчины есть лишь эпизод, для женщины — вся жизнь!

В магазине все затихли, ожидая, чем кончится эта история.

— Уходи! — сказал тогда Смирдин. — Уходи, чтоб не было твоего духа! Пусть ты даже двадцать лет у меня...

— И уйду! — закричал Ларька, даже кулаком погрозил. — Скоро все равно всем нам уходить. Вы думаете, мы не знаем? Вы разорены! А брат мне невесту нашел, компаньоном сделать обещает... Мне уже сорок, вы что ж, не знаете этого? А я без кола, без двора... А взять — Федор Фролович, тот на вас горбачил, весь ослеп, куда они пойдут-с! И уйду!

Тут Прасковья Ивановна пришла в движение, положила ребеночка в одеяльцах на скамью, а сама встала на колени и лбом об пол поклонилась Ларивону.

— Ой, Ларечка! — запричитала она. — Что ж я, дура бессмысленная, наделала? Ой, да Ларечка мой, желанный! Простишь ли ты меня, окаянную?

Ларивон даже не взглянул на нее, ушел, хлопнув дверью. Прасковья плакала, стоя на коленях, ребеночек ее выпутался из одеял и оказался не таким уж маленьким. Встав на четвереньки, он с любопытством поглядывал на Смирдина.

— Вот что, — сказал смущенный Смирдин, вынимая из кошелька четвертную. — Ты, Прасковья, приходи-ка на неделе, потолкуем, как быть... Видишь, нам сейчас недосуг?

Когда все удалились и в кабинете Смирдина слышался лишь стук висящих часов, его сын Саша, оказавшийся свидетелем всей этой сцены, спросил:

— За что же, папахен, вы прогнали Ларивона?

Смирдин поднял на юношу отсутствующий взгляд. Ларька его, мальчиком, баловал, катал в лодке, водил в зверинец. Самому Смирдину было жаль верного Ларьку, ведь, действительно, двадцать лет!

— За что же вы выгнали его?

Смирдин медленно, обдумывая каждое слово, сказал, что есть же такое понятие «честь». Саша даже вскочил.

— Но мы же не дворяне, не князья Скарятинские, мы торгаши! Какая у нас честь? Купи-продай, да не надуй!

— Честь-с,— упрямо повторил старший Смирдин, набычился, не объясняя ничего дальше.

А сын знал его упрямство — папахена уж не переговорить, если он что заложил себе в голову.

— А эта Прасковья,— сказал Саша.— Вы что же, теперь собираетесь ее ребеночка содержать? Да этих прасковий у нашего Ларивона знаете сколько было? А у вас полмиллиона долгов, весь Петербург говорит...

Но Александр Филиппович предпочел промолчать, и сын его так и ушел на квартиру, не дождавшись ответа. А отец с горечью думал, что никак у него с сыном не завязывается сердечная нить...

Смирдин горестно вздохнул и, пододвинув счеты, погрузился в бумаги.

— Позвольте, хозяин? — постучал в кабинет его старший приказчик Петр Иванович Крашенинников.

Он был уже в летах, когда-то имел свою лавочку в Зеркальном ряду, да барышники разорили. Смирдин приютил его под своим крылом, был он честный, опытный. за магазин можно было не беспокоиться. Кроме того, он был семейный, его сын тоже посещал коммерческое училище.

— Как говорится, не велите казнить, велите слово молвить,— улыбнулся Крашенинников, когда Смирдин пригласил его сесть.— Хозяин, продайте мне ваш магазин.

— Вот этот? — пораженный внезапностью, спросил Смирдин.

— Вот этот-с.

— Да откуда ж у тебя деньги? — По гостинодворской традиции хозяин приказчику говорил «ты», хотя бы даже тот был и старше его.

— Деньги имеются... Да вы не сомневайтесь, Александр Филиппович, я служил вам честно-с. Я представлю документы. И жена небольшое наследство получила. Часть же, я думаю, вы мне в долг поверите-с, на вексель.

Смирдин снял очки и принялся ожесточенно мять свое лицо. Вот это сюрприз, действительно, почище Ларькиного! Что ж — корабль его сел на мель, корабль его разваливается. Бегут не только крысы, матросы тоже побегут, куда же им деваться? Предложение Крашенинникова хоть

продиктовано честным намерением — все равно о продаже магазина встанет речь.

— Я подумаю, Петр Иванович,— сказал Смирдин.

Они встали и крепко пожали друг другу руки.

А через пару дней вдруг явился судебный исполнитель с предписанием библиотеку Смирдина, бывшую Плавильщикова, что в доме лютеранской церкви св. Петра и Павла в бельэтаже, описать. Слишком много денежных исков на Смирдина предъявлено в коммерческий суд, до выяснения обстоятельств библиотеку ту описать и опечатать.

6

Весь март Саша Смирдин провалился в постели — схватил простуду во время апраксинских приключений. Сначала донимала горячка, потом апатия какая-то — ничего не желалось, никуда не хотелось. Появлялся совсем уж постаревший и сделавшийся похожим на белую мышку доктор Вагнер, сосредоточенно смотрел на часы-луковицу, щупая пульс, затем похлопывал его по худой спине: «Ист ниht кранке шон... Зер гуте унд фернюнштиге кнабе...»

Саша прислушивался к звукам семейной жизни, доносившимся из-за двери. С утра баба Малаша препирается с чухной, то есть с молочницей. «Зве копеески, зве копеески...», — сюсюкает чухонка, торгуясь за какой-нибудь укроп. С громом и руготней выпроваживают братца Василия в гимназию, в первый класс. И баба Малаша его не провожает: гимназия та совсем рядом, а Василий у нее не в любимцах, не то что Саша. Сестры же в пансионе, приезжают домой только на Пасху да на каникулы.

Свет весны набирает силу. Заваленные сугробами крыши домов, которые видятся Саше за его окном, вдруг становятся ярко-синими от солнечной тени. Синицы затеяли драку на пустой кормушке, но нет у Саши душевных сил встать, открыть фрамугу, счистить снег, положить на кормушку мелко порезанное сальце.

Скрипит дверь, и появляется с плутоватым выражением лица младший братец Вольдемар. Он еще только собирается поступать в приготовительный класс, и готовит его все тот же Василий Егорович Генкель, нудный немец, немчура, которого папахен прочит в книготорговые наставники ему, Александру.

У Вольдемара в кулаке редкостная игрушка, которую

ему презентовал кто-то из любезных покупателей, когда тот, несмотря на строжайшие запреты, прорвался как-то из квартиры в магазин. Игрушка эта — паровозик, настоящий, железный, с длинной трубой, красными колесами и даже будкой машиниста. Говорят, теперь железную дорогу, чугунку, тянут даже до самой Москвы, а пока заграничная игрушка Вольдемара есть предмет удивления для взрослых и зависти для детей.

— Болеешь, да? — спрашивает Вольдемар. У него, как и у старшего брата, глазенки косят в сторону. Поэтому всегда можно предполагать, что он стащил что-нибудь, разбил или просто нашалил, что угодно. Хотя он самый благонравный «кнабе», за что Саша его недолюбливает.

— Брысь отсюда! — нелюбезно говорит он брату.

Вольдемар же протягивает ему паровозик — заднее колесико отскочило. Заинтересовавшийся Саша, перестав его выгонять, садится на кровати и занимается починкой колеса.

Но тут входит Эмилия Егоровна, укладывает его обратно на подушки, а Вольдемара с паровозиком выпроваживает. Начинается пичканье микстурами, изобретенными фантазией доктора Вагнера, горчичники или что-нибудь еще более людоедское. Эмилия Егоровна при этом ворчит на сыновей, проворно летают ее совсем уже морщинистые материнские руки. Одновременно она через коридор отдает распоряжения на кухню, где баба Малаша и Авдотья, единственная оставшаяся у них прислуга, ломают головы над изобретением обеденного меню.

И под влиянием микстур волшебного доктора Вагнера, а скорее всего под лучами начинающейся весны за окном, Саша Смирдин, несмотря на полдень, крепко засыпает, и снится ему, будто они с отцом, в толпе каких-то господ, стоят под стеклянной крышею царскосельского вокзала, и все будто бы знают, что сейчас должен подойти паровоз. И Саша будто бы знает это и ужасно боится, потому что до тех пор никогда в жизни он будто бы не видел живого паровоза, а слышал о нем только самое страшное.

И вот не близко и не далеко слышится свист, который заставляет толпу вздрогнуть. Господа даже снимают цилиндры, а дамы принимаются трепыхать зонтиками. Земля с проложенными по ней чугунными рельсами прогибается, будто по ней начинает наползать неимоверного веса чудовище. И вот он сам — великий паровоз! Грудь его и труба так и блещут отполированным металлом, пе-

рила окрашены в красный цвет, мерно движутся рычаги поршней, вращаются огромные колеса. С гулом надвигается паровоз, а у маленького Саши каждая клеточка его тела дрожит. «Сейчас он закричит, сейчас он закричит!» — думает Саша, крепко зажмуривая глаза. Паровоз и сам, дрожа от гула и азарта, катится мимо, а уже в конце перрона раздается его крик, правда громкий и непривычный, но ничуть не ужасный. Это крик доброго дракона, который взялся служить роду человеческому.

На Пасху пришел навестить больного Успенский Федя из училища. Он когда-то был на класс старше Саши, потом долго болел и был оставлен на второй год. Поэтому теперь они сидят рядом на парте и воюют против диктатуры братьев Елисеевых.

— У Химозуса лопнула большая реторта, — рассказывает Федя училищные новости. — Сделался такой вонючий белый дым, что все занятия сорвались — думали, пожар. Елисееву Костыке выпускники подбили нос — просто так, чтобы не задавался. Что им терять? Выпускников ведь не секут.

Весна все ослепительнее на белых крышах за Сашиным окном, а в коридоре слышатся девичьи взволнованные голоса. Это сестры приехали из пансиона. Вот они входят навестить хворающего братца. Успенский тотчас встает со стула и галантно расшаркивается.

— Вы — Успенский? — спрашивает его старшая, Лиза, или, по-семейному, Лили, подавая руку ладонью вниз, как светские дамы для поцелуя.

Саша думает: если Успенский ухитрится Лильке ручку поцеловать, он станет его презирать, это уж верно.

— А ведь я вас знаю, — говорит Лили, удовлетворясь тем, что Федя с чувством пожимает протянутую ему ручку. — Я вас знаю, потому что ваша сестрица Оленька со мною в пансионе.

Все в ней уже выдрессировано пансионом, в этой Лильке, нарочито поднятые бровки, будто она вечно всем удивлена, ротик сердечком, говорит чуть в нос и нараспев. «Заневестилась наша Лизавета», — говорит о ней баба Малаша.

Сестры тут же начали совершенно никчемную болтовню с Федей о всякой всячине, а Саша слушал их и думал: «Ведь он же Гегеля в подлиннике читает, о чем же он нашел говорить с этими курицами?»

Так продолжалось, пока не внесли свечи. Федя Успен-

ский вспомнил, что обещал вернуться домой еще к обеду, сестры побежали готовиться в театр. А Сашу вдруг разобрал кашель, чем более он кашлял, тем плотнее сидел у него в груди какой-то непонятный ком. Мать прибежала встревоженная, послали за стариком Вагнером. Мать села рядом с Сашей, старалась облегчить ему кашель, держала у его рта полотенце: «Ну что ты, что ты, Зайка... Ну, успокойся...»

Когда явился доктор Вагнер со своим обычным «Нутес», Саша уже выкашлялся и лежал, обессилен. Мать же в коридоре разглядывала кровавые пятна на полотенце и плакала навзрыд.

Все же после Пасхи он пошел в училище. Приятно было, что класс встретил его радостным шумом. Каждый теснился, чтобы пожать ему руку, сказать что-нибудь доброе. От благодарности даже в носу защемило.

— Тише, тише, братцы! — закричал дежурный Гундосин, вбегая. — Сарданапал идет, злющий как змей!

Саша помнит, что в первых классах, пока не стали укреплять дисциплину, учителям не давали прозвищ. Затем появился инспектор, Малюта Скуратов, который только потому не сек собственноручно, что дворянину было неуместно брать орудия наказания, для сего есть училищный сторож. Сарданапал же было прозвище учителя русской словесности, и был он даже профессор университета, мужчина громадный и нелепый, про которого так и хотелось сказать стихами классика: чудище обло, озорно, зло, стозовно и лайя!

В действительности же его звали Галахов Алексей Дмитриевич, и был он примерный семьянин и, в общем, добрый человек. По образованию математик, а по карьере чиновник Главного штаба, в век книгоненавденыя — так выразился об этом умный Федя Успенский — именно такой господин должен был преподавать русскую словесность.

По прочтении обязательной молитвы и нужной переключки Сарданапал забрался на кафедру и завопил с нее, как муэдзин с минарета:

— Знаете ли вы, господа, откуда пошла российская словесность? Нет, вы не знаете, откуда пошла российская словесность! Господин Сенковский, например, он же известный Барон Брамбеус, в безмерной глупости своей уверяет, что ничего русского, своеобразного в нашей словесности нету! (При этих словах для пущей выразительно-

сти он громко шлепает ладонью о кафедра́льный стол.) Что язык Несторовой летописи — это польский язык, а вавилонские гвоздеобразные надписи суть наречие белорусского языка. Даже само слово «Сарданапал»... Сарданапал, царь Вавилонский...

— Ну, теперь держись, ребята,— юмористически предупреждает всех Успенский, комично втягивая голову в плечи.

И точно. Следует такой оглушительный удар кулаком о кафед́ру, вызвавший за собою целый столп пыли, что классный дядька, дремавший в коридоре, приоткрыл дверь и заглянул с испугом.

— Сарданапал, по его, Брамбеусову, разумению, это не что иное, как белорусское выражение — царь на царя напал!

Преподаватель, однако, этой тирадой успокоился и уже в нормальных тонах стал говорить о том, что нельзя ограничивать российскую словесность Даниилом Заточником, Симеоном Полоцким, даже одами Державина. Русская литература сегодня — это и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, их тоже следует изучать.

Все, что говорил Галахов, было, по существу, правильно, все были с ним согласны, но произносилось это отрывисто и безапелляционно, как команда на плацу, и было до того скучно, что Саша Смирдин, как и все дети книгопродавцев, относившийся к всевозможным книгам без малейшего пиетета, развлекался тем, что рассматривал за витринным стеклом шкафов кабинета товароведения мастерски сделанные из воска и раскрашенные модели — яблоки, дыни, торты, устрицы, салаты по-петербургски...

Сарданапал этот был страшно уязвлен, что он, Галахов, не попал в смирдинский сборник «Сто русских литераторов». Поэтому подписывался под журнальными статьями «Сто первый», а зная, что в классе учится сын ненавистного издателя, в ходе лекций все время обращался лично к Саше, хотя, по правде сказать, никогда его не обижал.

— Прошу обратить внимание, господа! — воззвал он с кафедры, бдительно следя, чтобы никто посторонними занятиями не отвлекался. — Все русские литераторы, по молодости лет и некоей нашей российской наивности начинавшие под влиянием вредоносных заблуждений революции французской, так или иначе возвращались в лоно православия, самодержавия, народности! Пушкин искал

быть камер-юнкером при дворе и был обласкан государем, Лермонтов, оставя свои прежние вольнодумства, написал: «Ночь тиха, пустыня внемлет богу и звезда с звездою говорит!» А Гоголь, Гоголь! — Сарданапал не удержался, чтобы не стукнуть еще раз по кафедре. — Прочтите-ка его «Выбранные места из переписки с друзьями»!

Тут Сарданапал обнаружил, что один из братьев Елисеевых, подгулявший на вчерашней пирушке, мирно спит, даже слегка посапывает.

— Встать! — во всю штабную глотку заорал Галахов. — Всему классу встать! Руки вверх — делаем гимнастику. Руки вместе — руки врозь, ать-два, ать-два...

Только подоспевший звонок спас их от дальнейших посягательств Сарданапала.

— И это еще лучший из наших преподавателей! — с грустью сказал Федя Успенский, когда они с Сашей побрели домой, размахивая портфелями.

Сегодня Саше было разрешено зайти к Успенским, правда, ненадолго. У них еще гостила Оленька, сестрица Феде, которая тоже приезжала на Пасху, но задержалась, по причине насморка, а теперь готовилась также отбыть.

Домом Успенских была старая барская квартира со множеством бестолковых угловых и полукруглых комнатенок, вся в пыльных коврах и нелепых буфетах со следами давно проданной дедовской посуды.

Оленька оказалась самой обыкновенной пансионеркой, немного менее жеманной, чем Смирдина Лили, но тоже весьма озабоченная всевозможными розанчиками и альбомчиками. Главное же у них было в том, что приехал из Москвы их старший брат — инженер корпуса путей сообщения, служивший под начальством самого Петра Андреевича Клейнмихеля по проведению железной дороги на Москву.

В высоченной и темной, даже при наличии десятка свечей, гостиной Успенских, где на гнутой кушетке а ля ампир их матушка вязала какие-то чепчики и одновременно раскланивалась со всеми входящими, собралось много молодых людей, друзей братьев Успенских или их родственников. Были и военные в узеньких по моде той поры мундирчиках, с прилизанными прическами.

Разговор коснулся того, что железная дорога в Москву, которая должна была быть закончена еще в 1843 году, до сих пор не готова. В Западной Европе или даже в дале-

кой Америке железнодорожный путь давно перестал быть роскошью для немногих.

Старший брат Успенский, сначала предпочитавший молчать и потягивать глинтвейн из бокала, долго слушал различные пересуды по этому поводу и наконец сказал:

— Виновато крепостное право, которое нам государь еще Александр Благословенный обещал отменить!

И было сказано это столь безапелляционно, что все, кто находился в гостиной, примолкли и с некоторым испугом взглянули на молодого инженера. А матушка оторвалась от вязанья и умоляющим голосом чуть не простонала:

— Ах, Мишель, тесе ву, мон дье, же ву сьуппли!

Но тот уже, очевидно, не мог остановить себя, напав на то болезненное место, которое вызрело у всех русских людей, подобных ему:

— Что же молчать, когда даже такие ретрограды, как господин Греч, пишут об этом открыто? Да и что тут не известно любому русскому человеку, если только в нем сохранилась живая человеческая душа? Крепостное состояние у нас ужасно и отвратительно, оно есть основа бесправия и бедности, в которой проживает половина жителей нашего просвещенного — увы! — государства. У нас злоупотребления срослись с общественным бытом, сделались необходимыми его элементами. Неужели из всего нашего шестидесятимиллионного населения нельзя сыскать человек пятьдесят действительно умных и хотя бы добропорядочных людей в министры и губернаторы? Воровство, взятки, вымогательство стали делом обыденным, никто не откажется подать руку явному подлецу, лишь бы у того были деньги!

Саша Смирдин, который поместился в каком-то бабушкином кресле за портьерою окна, сначала слушал говорящего внимательно, потом внимание его рассеялось. У них в магазине случались и не такие краснобаи! К тому же все это сильно напоминало ему речения Сарданапала, только в другом направлении. Сидящий впереди Федя иногда поворачивал к нему восторженный взгляд и кивал на говорящего: «Слышишь, мол, слышишь?»

Но вот будто огромная шелковая бабочка появилась возле Саши, дохнула на него ароматами духов.

— А вы знаете, мосье Смирдин, что вы сидите на излюбленном моем месте? Здесь всегда сижу я.

Это была Оленька. Саша пытался вскочить, но она удержала его, усадив обратно в кресло.

— Ах, помилосердствуйте! Вы же только что хворали... Но не будете ли вы против, если я сяду вот здесь, на ручке вашего кресла?

И Оленька, расправив обширные юбки, уселась совсем близко, но нигде, однако, не касаясь Смирдина. Они сидели сзади всех, и никто не обращал на них внимания, потому что для всех они были просто дети. Саша же Смирдин не слышал более ничего, что творилось в гостиной Успенских, ничего не разумел.

— Смотри, смотри! — вновь оборотился к немуссияющим глазами Федя Успенский, когда после его брата стал говорить какой-то удивительно добродушный молодой господин, видимо студент, с густой черной бородой.— Это сам Петрашевский Михаил Васильевич, помнишь, я тебе о нем рассказывал?

Но даже не головокружительные французские духи, которыми веяло от мадемуазель Оленьки,— дома ведь Эмилия Егоровна и сестрицы также не отказывались от парижской «шанели»,— что-то совершенно до той поры неведомое, запретное, тайное сразило Сашу в этих ароматах. «Сад запахов твоих!» — вспомнилось ему из какого-то поэта. И хотелось вскочить, закричать, разогнать всех этих политиканов, обрушить потолок, подобно библейскому Самсону.

7

Весна в Петербурге иногда словно спотыкается, делает остановку, краткий отдых, что ли, на своем победном пути. Тогда веселая солнечная песня марта вдруг прерывается, снова метет колючая поземка, небо делается низким и похожим на серую форменную шинель. И ко всему привыкшие петербуржцы флегматично снимают с вешалок еще не сланные в ломбард зимние одежды на меху — у кого на бобровом, а у кого и на рыбьем, смотря по достоянию.

А вот и тарантас — модная карета, те же дрожки, ресорный экипаж, только по-венски выгнутый и с отделением для багажа. Как бы ни спешил по делам петербуржец, загораживаясь рукавом от метельной пыли, уж модный-то тарантас он непременно остановится рассмотреть и даже поцокает языком.

Запряженный парюю наемных лошадей тарантас заворачивает на Большую Конюшенную улицу к боковому подъезду огромного углового дома, у которого над окнами бельэтажа еще красуется надпись: «КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ И БИБЛИОТЕКА СМИРДИНА». Из тарантаса выходит элегантный господин — прямо заграничный барин, с рыжеватой округлой бородкой с проседью... Ты не узнал его еще, читатель? Ведь это же наш кузен, Франц фон Нагель, любимец старого фон Нагеля, отца Милочки, с которым когда-то он и уехал в Ревель.

Должны предварить, любезный наш читатель, что в судьбе кузена Франца произошли немалые перемены. В петербургской нашей суете и деловой спешке как-то все недосуг было сообщить, что старый Георг-Франц-Зебастус фон Нагель скончался в Ревеле года полтора тому назад и там же был похоронен на лютеранском кладбище. У Смирдина был самый кризис с векселями, и он никак не сумел съездить на похороны тестя-благодетеля, а Милочка в который раз была беременна и хоть слезами обливалась, а поехать тоже не смогла. Этот ребеночек родился мертвым.

С другой стороны, не оправдались и опасения, что престелница Жюли, которую старый фон Нагель любил называть «тре жоли» и которая когда-то полетела за ними в Ревель, женит на себе Франца. Ей пришлось удовольствоваться рукою и сердцем камердинера Зигфрида, которого она и поспешила за собой утащить не то в Париж, не то в российскую Сызрань.

И теперь вот Франц — молодой (сорокалетний!), холостой, независимый и даже с собственным тарантасом, хоть пока и без лошадей, — вернулся на свою родину — в Петербург.

Вот он поднимается по светлой винтовой лестнице, ведущей прямо в хозяйскую квартиру на третий этаж, останавливается перед дубовой дверью с медной табличкой на двух языках: «Смирдин Александр — коммерсан регюль».

Теперь если читатель ждет, что Франц возьмется за ручку звонка, чтобы объявить таким образом о своем прибытии, то ждет напрасно. Звонок в квартиру был тогда самой что ни на есть новизной, его вешали у себя люди с самым, если можно сказать, революционным мышлением: господин Белинский, например, во всяком случае, западники, но ничуть не славянофилы. Вспомните-ка, как

в пьесе Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского» г-жа Атуева воюет со своим братцем Муромским по поводу того, проводить им или не проводить звонок. И сколько звонков должен давать в гостиную слуга, который все равно оставался при входе, сколько звонков, в зависимости от ранга визитера.

Короче говоря, при квартире Смирдиных такого звонка не было, а висел на двери самый допотопный традиционный молоток. Франц взял его и что было сил трижды ударил им в дверь, как масон, который желает, чтобы его приняли в тайную ложу.

Дверь была достаточно массивна и толста, чтобы услышать на лестничной площадке, спешит ли кто-нибудь открывать. Но вот загремела цепочка, дверь приоткрылась, и Франц увидел одутловатое и болезненно-желтое лицо той, которая всегда представлялась ему голубоглазой и непременно воздушной.

— О, Франц! — слабо ахнула она, одной рукой обнимая его за шею, другой стараясь удержать в равновесии подносик, на котором лежал градусник и стояли какие-то зеленые рюмки с лекарством. — Франц, мейн зер либе, зер вартиге Франц! Ты давно стучишь? А у нас у Вольдемара снова жар, мейн готт, дас ист эвиге кранке, эвиге швах!

Вечером, за семейным столом Смирдиных, наслушавшись охов и аханий по поводу их неминуемого банкротства, Франц объявил, что приглашен служить в Петербург к ревельскому земляку Карлу Ивановичу Вульффу, который, желая поместить выгодно свободные капиталы, покупает здесь типографию, а Францу уготована должность фактора.

Смирдин усмехнулся: он надеется нажить капитал, помещая деньги в типографское дело? И это в то время, когда выпуск книг катастрофически падает, журналы закрываются один за другим? Или он рассчитывает на акцидентный набор — пригласительные билеты, биржевые бюллетени, визитные карточки и что-нибудь в этом духе?

— Вульффу заказано печатание какого-то нового журнала. — Франц прищелкивает пальцами, чтобы вспомнить труднопроизносимое русское название. — Дер цейтгеноссе, это что? А, «Современник»!

— Ах, либе Франц! — Эмилия Егоровна по случаю приезда кузена успела и куафершу мадам Дрюю с утра посетить. — Франц, Франц, как бы помочь нашему Смирдину? — Она взяла безвольно свисавшую со спинки кресла

руку мужа и положила ее на рукав парижского сюртука кузена.— При твоих-то знакомствах, Франц!

По олимпийскому лицу Франца пробежала тень заботы: о, конечно! Он уже обдумывал это. На днях собирается общество немецких держателей капиталов в Санкт-Петербурге— высочайше разрешенное общество! Франц поднял палец, украшенный перстнем, давая понять, как это звучит— высочайше разрешенное общество!

А Смирдин узнал этот перстенок с бриллиантиком на указующем пальце кузена Франца. Это был не двоюродный, а самый что ни на есть родной братец того колечка, которое обнаружил Смирдин, когда они переезжали с прежней квартиры. И можно поклясться, что и надпись «Ауф эвиге» («Навек») есть там на внутренней стороне.

Франц остановился, конечно, не на смирдинской тесненькой квартире, а в роскошной гостинице «Европейская» и утром подъехал за Смирдиным в единственном своем ценном достоянии— тарантасе. Всего езды-то было с гулькин нос— на набережную Екатерининского канала, напротив Михайловского проезда, в дом барона Штиглица. Но ехали нарочито не торопясь и подъехали без спешки.

По дороге Франц предупреждал:

— Вы, дорогой кузен, прошу вас, обойдитесь там безо всяких мечтаний издать всех русских литераторов или что-нибудь в этом роде. Там люди деловые, им нужно знать, какую выгоду вы рассчитываете получить на каждый вложенный рубль и как скоро обернется кредит. А книги там, либо кнопки, или кнохен, то есть костяные изделия,— им все равно!

Франц засмеялся, пощипывая бородку, в которой уже встречались серебряные нити. Наконец-то он получил преимущество перед вечно затмевавшим его зятем!

— А то у нас, в немецком Петербурге, есть тоже один мечтатель, над которым все смеются. Один купчик— эйн кляйне кауф манн,— я его знаю по ревельской бирже. Такой типичный мекленбуржец, растягивает «а»— кна-абе! да-арум!— сюда он прибыл как комиссионер Амстердамской биржи, но тут уже имеет собственное дело— индиго, знаете? Это такая несмываемая краска, для текстильных фабрик— важнейший товар... Кстати, дорогой зять, почему бы вам не бросить свои книжки, не включиться бы в торговлю индиго? Я и то подумываю, да первоначального капитала нет, а ведь это верное предприятие— один к десяти!

Франц похотел, потом почувствовал, что потерял нить мысли, и покашлял, чтобы привести мозги свои в порядок.

— Про купчика мекленбургского ты говорил, — сумрачно подсказал ему Смирдин, — который этим индиго торгует.

— Вот, вот! — вспомнил Франц. — Про купчика мекленбургского. Генрих Шлиман его фамилия, а женат он на русской. Знаете, он хочет ни более ни менее — ехать куда-то копать и открыть гомеровскую Троя!

Смирдин весьма смутно помнил, что писал Гомер. В молодости, в порядке самообразования, он читал и «Илиаду» в переводе Николая Ивановича Гнедича. Важный был такой господин — не Гомер, конечно, а его переводчик, одноглазый и похожий на нахохлившегося филина. Частенько, бывало, заходил он и в лавку Плавильщикова. Но вот где была эта самая Троя — убей бог! — Смирдин никак не мог себе представить.

Так, беседуя, подъехали они к особняку барона Штиглица, который тогда занимал покосившийся домик елизаветинских времен на набережной канала. Рядом уже воздвигался великолепный дворец в стиле ренессанс с огромными колоннами, витражами, кариатидами, фронтоном, украшенным гербом барона. Титул этот был пожалован прибалтийскому банкиру императором Александром I за то, что снабжал его деньгами во время разорительных балов и заседаний Венского конгресса.

И пока помещение будущего банка Штиглицей еще строилось, члены высочайше разрешенного общества собрались в дубовой гостиной старого дома, сидели за столом тесно, но чинно. Никто не смел нарушить порядок собрания даже улыбкой.

Смирдин торговал когда-то гравюрой с картины не то Рембрандта, не то Ван Дейка, представлявшей собрание купеческих старшин. Там такие же люди, словно вороны, сидели в таких же глухих сюртуках, с такими же белыми воротничками. Только те, голландские, были в широкополых шляпах, а эти, петербургские, в натуральных лысынах и мало кто с прической.

Председательствовал сам барон Александр Людвигович фон Штиглиц, который, кроме всего прочего, был главноуправляющий императорским Государственным банком и славился всякого рода меценатством и благотворительностью. Он объявил собравшимся, что господин

Смирдин обратился с покорнейшей просьбою оказать ему кредит.

Смирдин, видит бог, не обращался ни с какой просьбою ни к самому Штиглицу, ни к возглавляемому им обществу. Вероятно, за него тут распорядился кузен Франц. Какой-то коммерции советник раскрыл досье и стал выступать с анализом финансового состояния Смирдина и его дела. И тут Смирдин узнал, что чистого долга у него вовсе не полмиллиона, как болтали по Петербургу, а всего лишь двести семнадцать тысяч по старому курсу ассигнаций, теперь же, после финансовой реформы, в новых рублях получается и того меньше. Есть у Смирдина также недвижимое имущество, часть которого не заложена: библиотека с фондом в шестьдесят тысяч рублей и магазин, товарные запасы которого приблизительно можно оценить в тысяч тридцать.

— Ай да немцы! — дивился Смирдин. — Что за дошлый народ! И как это они все узнали, подсчитали.

Когда коммерции советник захлопнул свое досье и, поклонившись, сел, барон предложил задавать вопросы. Коммерсанты чинно стали вставать и спрашивать: было ли Смирдину, хоть однажды, вспомоществование от казны? по какой причине коммерческий суд опечатал смирдинскую библиотеку? что в дальнейшем желает издавать господин Смирдин?

Наконец барон фон Штиглиц встал, и все за овальным столом превратились во внимание. Барон, бесцветная личность в бакенбардах камергерского типа, растягивая слова и говоря поминутно «э-э...» или «м-м...», заявил, что высочайше разрешенное общество наличными теперь не располагает, потому что весь капитал вложен в строительство железной дороги в Москву, которой уже присвоено имя Николаевской в честь богом ниспосланного монарха. Он помолчал, потупив взор, и все собравшиеся молча выразили глубокое удовлетворение.

— А господину Смирдину, — предложил барон, — высочайше разрешенное общество поможет устроить беспроигрышную лотерею, раз он, как утверждает, располагает нераспроданными запасами изданий. Энде гут, аллес гут, и все тут.

Смирдин вышел из баронского особняка, понимая, что это был его последний шанс. Но ему теперь даже не было и грустно — судьба решилась, и все.

Он не сел к Францу в тарантас, сославшись на какую-то деловую встречу. Побрел сквозь порывы метели, мимо бегущих по своим делам прохожих, пошел по Невскому без цели. Когда он переходил через Садовую и привычно озирался, чтобы не угодить под лихача, кто-то взял его под руку.

— Не гневайтесь, — сказал этот кто-то на хорошем русском языке, хотя и с явным немецким акцентом. — Мое имя Генрих Шлиман. Я знаю, что ваш кузен рассказывал вам обо мне. Я был у барона фон Штиглица, слышал все и хочу сделать вам предложение.

Смирдин взглянул сбоку и увидел совсем не купеческое, а скорее, актерское или художническое горбоносое, слегка усталое лицо, вислые усы, словно у карнавального Арлекина.

— Вы есть мечтатель, я знаю, — с грустной улыбкой говорил Шлиман, — а я торгую индиго. Но я тоже эйн троймер — мечтатель, и я вас понимаю...

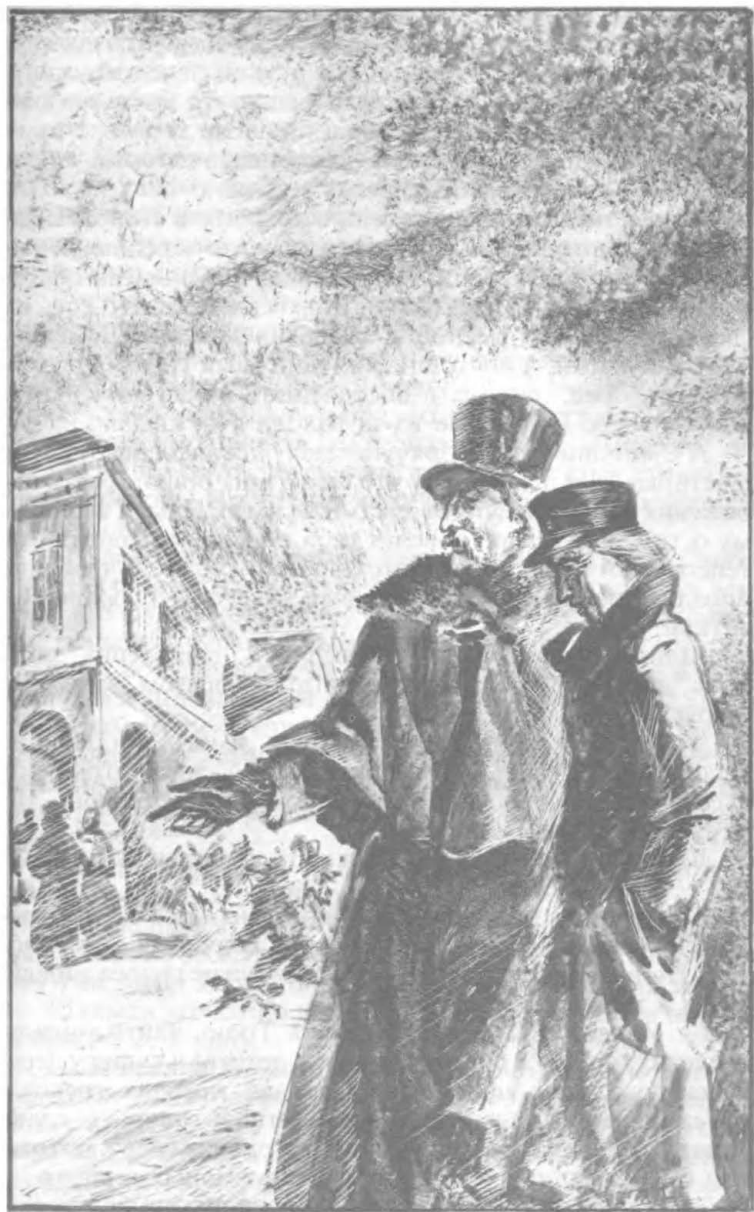
Он указал рукою, обтянутой в парижскую перчатку с пуговичками, на перспективу Садовой улицы, с ее вечно толпящимися прохожими у витрин магазинов.

— Имеется ли у вас, господин Смирдин, одна свободная минутка? Даже самый занятый коммерсант не имеет права пропускать час обеда. Тогда зайдём на Садовую к Тутти — есть такая немецкая кофейня — и закажем по чашечке кофе.

И они зашли к Тутти, где Смирдин, стыдясь, сдал величественному гардеробщику свой уже достаточно потертый редингот, который тот аккуратно повесил в глубину немецких кенгуровых шуб и элегантных пальто — это слово только что вошло в оборот.

— Я торгую индиго, — повторил Шлиман, когда молчаливый официант принял заказ. — Вы, я думаю, знаете, что это такое? Это синяя краска, которую добывают из растений — вроде русской крапивы, — растущих в Индии. В Европе появился американский хлопок, он заменяет русский лен и пеньку, но для хлопка нужно индиго.

Кофейня Тутти славилась музыкальной машиной, которую хозяин выставил на самом виду, и из-за каждого



столика видно было ее загадочное чрево с зубчатыми передачами и огромное медное же колесо, все в различной формы отверстиях. Метрдотель ручкой завел пружину, зубчатые передачи задвигались, будто это были гигантские часы, пришло в движение и большое колесо, к нему выдвинулись металлические щупальца, которые стали снимать с отверстий программу музыки.

И невидимые струны запели о том, что в старом Пфальце есть деревня, там в домике с крышею черепичной живет прелестница Катрин. Колокольцы тоненькими подголосками словно поддакивали, подтверждали, что есть на свете только тот лесной и сказочный старый Пфальц, а этот шумный, и роскошный, и торговый Петербург всего лишь бред, легенда в воспаленном мозгу эмигранта, покинувшего Германию из-за голода и нужды...

А Смирдин грел о горячую чашку посиневшие от холода старые пальцы, потому что он-то и на родине своей парижских перчаток с пуговичками не имел. Думал свою думу о том, как теперь поведут себя они, заимодавцы? Что теперь станут делать, кинутся ли всей гурьбой, чтобы не опоздать к дележу? И кто первый кинется — Ольхин, Печаткин?

Шлиман испросил у собеседника позволения закурить, достал пачку гаванских сигар с обрезом, задымил, шурясь от наслаждения.

— Через двадцать лет я буду иметь миллион, — рассуждал Шлиман. — Я и приехал в Россию, потому что здесь легче всего нажать этот злополучный миллион... Но зачем мне нужен миллион?

Шлиман откинулся на спинку стула, попыхав сигарой:

— У меня есть мечта...

Тем временем чувствительная песенка про голубоглазую Катрин в деревенском домике кончилась. Метрдотель снова покрутил ручку, и механические голоса запели: «Там в заливе, где море синее...»

— У меня есть мечта откопать Трою, найти могилы ахейских героев. В сиротском моем детстве я купил у деревенского книгоноши мифы и сказки древних греков... С тех пор меня испепеляет моя мечта! Я говорю — слава издателям, слава книгопродавцам, трижды слава, потому что с их помощью зажигается огонь в юных сердцах...

— Давно ли вы в России? — спросил Смирдин, чтобы не сидеть истуканом.

— Второй год, но уже достаточно знаком с ее рынком. И я хочу предложить вам, господин Смирдин...

— Второй год-с? — удивился Смирдин. — А так хорошо говорите по-русски! Я двадцать лет женат на немке и то-с, знаете, не всегда и не все понимаю по-немецки...

— Я, милостивый государь, положил ежегодно изучать по какому-нибудь языку. Причем не по учебникам, что, на мой взгляд, только отчуждает от живой речи, которую изучаешь. Я изучаю (он так и сказал — изучаю) какое-нибудь литературное произведение...

Тут он выказал смущение, покрутил в воздухе рукой с дымящейся сигарой.

— Правда, с русским языком у меня получилось одно смешливое приключение. Я начинал его учить в Амстердаме, там доставал одну только русскую книгу — «Тилемахида», знаете, Третьяковского? Приехав же в Санкт-Петербург, я узнавал, что выучил язык столетней давности. Пришлось себя переучивать в конторах и на рынках.

«Дурак Ольхин, — между тем думал свою думу Смирдин, — с его медвежьей хваткой! Предъявит сразу все векселя и задушит мое дело, вместо того чтобы позволять мне издавать новое и выплачивать процент».

— А вот древнегреческий язык, поверите ли, — все восторгался Шлиман. — Я как-то боюсь начинать. С моим темпераментом я еще сорвусь, раньше времени покину свое индиго и помчусь ко берегам Геллеспонта, раскапывать там сокровища... А без миллиона в кармане за такое дело лучше и не браться. Жизнь сурова, господин Смирдин!

«Жизнь сурова! — усмехнулся про себя Смирдин. — Жизнь жестока-с, господин Шлиман!»

Тут медная зубчатоколесная музыкантша принялась наигрывать веселенький вальсик: «Тин-тин-тин, тин-тин-тин, мейн Валентин, ля-ля-ля, ля-ля-ля, Ляля моя...»

Шлиман экономно докурил сигару до золотого ободка и бросил ее в урну.

— Я предлагаю вам, господин Смирдин, союз мечтателей. Отдайте, без раздумья, кредиторам все, что они захотят взять. Потом начните все сначала, но по-другому. Мне как раз нужен такой компаньон, товарищ по вкладам, геноссе, который трудолюбив по-вашему и который хорошо бы знал российского потребителя. Забудьте лет на десять свое книгоиздание, у вас жизнь еще впереди. На-

жив миллион, вы исполните ваше мечтательство — издадите всех литераторов или кого пошлет вам бог!

Машина играла, рука Шлимана была зовуще протянута к Смирдину. Он же с любопытством рассматривал нравоучительные надписи, которыми были украшены дубовые панели на стенах кофейни Тутти: «Тринк, одер бринк» — «Пей, только без шума», или «Мейн херц хат хеймве, нах мейнер либе...» — «Мое сердце принадлежит только любимой».

— Ну, так как же? — терпеливо ожидал Шлиман. — Может быть, по рукам?

Смирдин отрицательно качал головой.

9

Приезд на Благовещенье обе пансионерки — и Лили и Катрин — ознаменовали шумом и аханьем.

— Оленька Успенская... Оленька выходит замуж!

— Как же это? — возразила рассудительная Эмилия Егоровна. — Она же еще не выпущена из пансиона!

— Помолвка, пока только помолвка! — говорили обе сестрицы. — Кроме того, если жених торопится, ее можно и забрать из пансиона. Ведь замужество — это серьезней, чем свидетельство об образовании!

— Да, действительно, — качала головой Эмилия Егоровна, рассматривая выросших дочерей. — Это серьезнее!

Во время их разговора Саша сидел в своей комнате, запершись, и делал вид, что готовится уроки. На самом деле он никак не мог заставить себя раскрыть учебник или тетрадь, не говоря уж о том, чтобы вникнуть в суть урока.

За все утро он только и сделал, что расчертил бессмысленными линиями номер «Северной пчелы», в котором, в частности, было написано: «Рекомендуем красивые шляпки из сшивной соломки, переплетенные синелью, а также шапки-капоты с плетешками, перемешанными с бархатом...» Здесь Саша пытался нарисовать шапку-капот, но получилось какое-то кособокое ведро. Далее было напечатано: «Креповые платья в большой моде, особенно белые, лиф мысом, с тремя юбками различной длины, приподнятыми сбоку — первая бантом из лент, вторая букетом камелии из шелка, третья — кружевным украшением...»

Саша стал прямо на газете рисовать пером креповое

платье с тремя юбками различной длины, но тут как раз услышал из прихожей голоса приехавших сестриц:

— Оленька Успенская выходит замуж!

Скрипучее перо его было очинено с большим терпением и мастерством бабою Малашей, которая сама-то была неграмотна.

— И за кого же Оленька выходит? — продолжала в прихожей спрашивать мать.

— Фи! — с пренебрежением ответила Лили. — Андрючик Верховский... Не понимаю, как можно выходить за статского, когда Петербург полон военных!

«Госпожа Верховская Ольга Михайловна», — против воли написала поперек газеты рука Саши, после чего столь чудно очиненное перо с треском сломалось, оставив разляпистую кляксу.

И Саше захотелось бежать, бежать куда глаза глядят — вниз по лестнице, на проспект, в проходные дворы, в пассажи, на набережные, где лед набух, посинел и приготовился ко вскрытию реки. Но бежать было невозможно, после вчерашнего серьезнейшего разговора в семье, когда Эмилия Егоровна билась чуть ли не в истерике, держа в руке его училищный дневник, папахен же был сумрачен и несчастен. Надо было теперь хоть делать вид, что учишь уроки!

Но вот отказаться выйти к обеду он мог, несмотря на все призывы матери и сестер. Даже маленький Вольдемар стучал к нему в дверь, а Саша не пустил. И сам себе казался шильонским узником, однако прикованным к столбу не железной цепью, а собственной страстью сердца своего.

— Госпожа Верховская Ольга... — повторил он. — Это, конечно, звучит. Не госпожа же Смирдина.

Из-за двери же прихожей все слышались вопросы ма-тушки и ответы сестриц на ту же животрепещущую тему:

— Это который же Верховский? Не родственник ли купцов Глазуновых? Не племянник ли Ильи Ивановича?

— Да, да, маман, но сам он книгами не торгует, он в департаменте уделов...

— И как, смотрины у них были?

— Ах, маменька, какое наше дело — смотрины, не смотрины... В этом году на экзаменах у нас будет присутствовать их императорское высочество, вдовствующая герцогиня Мекленбургская...

После обеда внезапно пришел домой папахен. Не пере-

молвился ни с кем, прошел в спальную и там, только скинув сапоги, лег на кровать и лежал молча, оставив раскрытые глаза в потолок.

И это тоже было чрезвычайным происшествием, потому что никогда Смирдин не приходил на квартиру в течение рабочего дня, хотя квартира была в том же доме, что и магазин. Вот уже двадцать лет никто не видел Смирдина лежащего хворым в постели, если же случался насморк, он стойчески переносил его на ногах. У Александра Филипповича не было собственной комнаты в этой квартире, он проводил ночь в широкой постели в их семейной спальне, но не было случая, чтобы он пришел среди дня и, не раздеваясь, лег на заправленную кровать.

В квартире наступила тревожная тишина, все поняли, что наступает какой-то тяжкий перелом в их общей судьбе. Все стали ходить на цыпочках, а баба Малаша улучила минуту, чтобы сходить через проспект в Казанский собор, поставить свечку...

При всех этих событиях, конечно, было недосуг следить за училищными успехами Саши Смирдина. Он теперь даже, уходя утром, не захватывал с собою портфель. Пользуясь наступившим теплом, он брел, шурясь от апрельского солнца, куда-нибудь на Петербургскую сторону и там вдоль Каменноостровского проспекта, мимо вычурных оград великосветских дач до самого Аптекарского острова. Можно было без помехи понаблюдать гнездящихся диких уток, взять за пяточок лодку, а у старичка сторожа, которому наш Саша особенно полюбился, и трубочку табаку пососать, от чего голова Сашина вся шла кругом, а сердце билось и трепыхалось, словно утка, попавшая в старичковы тенета.

Александр Филипповичу Смирдину теперь удалось арендовать помещение под новую лавку и квартиру на сей раз в доме Таля на Мойке. Здесь, любезнейший читатель, придется вновь занять твое внимание экскурсией в историческую географию Петербурга.

Когда великий основатель затеял «град построить величавый», он на карте, прямо посреди болот на южном берегу Невы, пометить изволил точку и сказал: «Здесь быть Адмиралтейству». Так и исполнилось по велению его. От точки же той он прочертил рейсшиною три под равными углами расходящиеся на юг перспективы, три улицы. Если стать спиною к Неве, то левая как раз и будет Невский проспект, средняя — Гороховая улица, прямо

нацеленная на Пулковскую гору по меридиану, а правая — Вознесенский проспект.

Все три эти радиально расходящиеся улицы, недалеко отойдя от Адмиралтейства, пересекают обтекающую его речку Мью, или Мойку, превращенную Петром в судоходный канал. И на пересечении Мойки с вышепоименованными улицами построены были три моста, совершенно одинаковой казенной архитектуры. Чтобы петербургские кучера или обыкновенные гуляки особенно по ночам их не перепутали, приказано было те мосты раскрасить в разные цвета.

И стал мост, по которому пересекает Мойку Невский проспект, по той причине именоваться Зеленым, мост, по которому проходит Гороховая улица, — Красным мостом, а мост, через который перелетает Вознесенский проспект, — Синим.

Когда-то здесь наш Смирдин Александр Филиппович, усталый и нищий московский беглец, пришел и сел на каменную приступочку у дверей магазина Плавильщикова, и здесь он нашел свою судьбу. Теперь та же судьба привела его к другому мосту — Красному, на углу Мойки и Гороховой улицы.

Это было жилье еще более тесненькое, чем квартирка в доме Петропавловской церкви. Как размещаться с выросшей и разбалованной детворой? И помещение для торговли угловое — бывшая винная лавка, все углы заросли паутиной и пропахли уксусом. Да и тесно, разве открыть контору для иногородних? Место, конечно, не бойкое, не Невский, не Литейный проспект.

Да и совестно все же купчине Смирдину, о котором байки рассказывали и на театре играли, теперь на виду у всех покидать свой торг и удаляться чуть не в почетную ссылку! Поэтому было решено так: собирать узлы и сундуки весь день до вечера. А утром, чуть свет, когда только сонные дворники да будочники оживляют пустыню спящего Петербурга, придут подводы за багажом. Бывшие приказчики и мальчики, конечно, помогут.

Саша не стал ни сундуки собирать, ни грузить на телеги. Огрызался на все просьбы и приказания. Эмилия Егоровна закричала на него, обозвала: «Эйн на-ар! Шмуциг ду-мкопф!» — а отец только положил ладонь на ее трепещущее от гнева плечо.

Чуть свет Саша выскользнул из бывшего теперь смирдинского дома, пошел по Большой Конюшенной, отвора-

чивая голову к стенам, потому что навстречу как раз ехал тарантас дядюшки Франца с неизбежным удивлением и расспросами. И пошел себе, насвистывая марш, в сторону Марсова поля.

Яркое весеннее солнце поднялось над кущами Летнего сада и озарило простор Марсова поля. В лужицах, образовавшихся от поворотов пушечных колес, с чириканьем купались воробьи. У воробьев своя иерархия, какой-то, очевидно чуть вступающий в жизнь, воробей где-то не уступил воробью почтенному. Какая тут поднялась возня, ожесточенное чириканье, как взъерошивались перья, какие были наскоки и угрожающие взлеты!

Саша Смирдин понаблюдал за воробьиными отношениями, затем направился в трактир на угол Миллионной улицы. Здесь удалось ему выпить кружку сбитня и заесть горячим бубликом. Что ж! Если не считать отцовского разоренья и Олечкиной измены (почему-то замужество госпожи Верховской он воспринял как измену), жизнь была прекрасна.

А вот и Летний сад со старыми наивными статуями, уже освободившимися из своих зимних гробиков, вот брызги и струи фонтанов. Утреннею порой Летний сад— это вотчина учащегося населения. Помните? «...Слегка за шалости бранил и в Летний сад гулять водил». Ученики и ученицы различного возраста чинно строятся попарно и под водительством мудрых педагогов и педагогинь вышагивают по аллеям, ожидая, когда им будет позволено побегать.

Выпускницы театрального училища— это совсем уж взрослые особы, почти дамы, они уж и на сцене настоящей играли. Следуют попарно, как и все, но это им стыдно, и они делают вид, что друг к другу никакого отношения не имеют. Время от времени какая-нибудь из них наклонится к фонтану, якобы нестерпимо хочется пить. На самом же деле это вновь для доказательства своей независимости.

— Ах!— воскликнула одна выпускница, наклонившись с протянутой для воды ладошкой и поскользнувшись.— Ах, мон дьё!

Саша Смирдин взглянул на нее и увидел платье из белого крепа, лиф мысом и три юбки различной длины— под большим бантом из лент, под искусственными камелиями и под кружевной оборкой. А из-под шляпки глядели огромные черные глаза, и он тотчас вспомнил зиму.

Фонтанку, Чернышев мостик и воспитанниц, строящихся для променада. А крайняя из них всегда со значением поглядывала на него. Вот это она и есть.

Саша галантно протянул руку и помог даме сохранить равновесие.

Поскольку она шла в последней паре, все прочие ученицы проследовали вперед, не оглянувшись. Кому какое дело, кель пассаж, кто где поскользнется?

Убедившись, что все ушли вперед и заняты исключительно собой, девушка разработанным жестом изящно подобрала все свои три креповые юбки и, присев, представилась:

— Миловидина Вера.

Вы думаете, у нашего героя затрепетало сердце или дрогнула рука при знакомстве со столь большезлым и грациозным созданием? Ничего подобного. Он тоже, будто он делал это каждый день, шаркнул ножкой и неожиданно для себя произнес:

— Князь Скарятинский.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ ШЕСТОЙ

Из статьи Виссариона Григорьевича Белинского «Сто русских литераторов», опубликованной в журнале «Отечественные записки» в 1845 г., т. XIII, № 9, отд. V.

Имя издателя, книгопродавца г. Смирдина, давно уже приобрело на Руси общую известность и общую доверенность. В глазах русской публики г. Смирдин давно уже не принадлежал к числу обыкновенных торгашей книгами, для которых книги — такой же товар, как и сено, сало или деготь, только, может быть, менее наживной и выгодный, и которые могут знать толк и в сене, и в сале, и в дегте, но не в книгах. Нет, русская публика видела в г. Смирдине книгопродавца на европейскую ногу, книгопродавца с благородным самолюбием, для которого не столько было важно нажиться через книги, сколько слить свое имя с русской литературою, внести свое имя в ее летописи. И русская публика не ошиблась в этом случае: г. Смирдин точно был достоин ее высокого о нем мнения. Он хотел торговать, следовательно, хотел барышей, хотел наживать, — однако ж, наживать не только честно, но еще и почетно, со славою. Для этого он поставил себе за правило

издавать только хорошие сочинения и давать ход только хорошим сочинениям. Правда, он мог издать и дурную книгу, но не намеренно, а по ошибке своего вкуса или ошибочному совету тех, чьему вкусу доверял он. Но каких бы барышей ни обещало ему сочинение, в ничтожности которого он был убежден,—никогда не решился бы он издать его на свой счет. Ему всегда было легче решаться на издание хорошего сочинения, которое требовало больших издержек и вместо барышей обещало убыток, нежели решиться на издание дурной книги, обещающей верную прибыль. В этом было его самолюбие, его честолюбие, его гордость, его страсть — тем более удивительные, тем более бескорыстные, что он сам, по своему образованию, воспитанию, привычкам, понятиям, образу жизни не мог ни ценить, ни наслаждаться содержанием и достоинством тех сочинений, которых был издателем и которыми доставлял наслаждение всему читающему русскому миру. Вследствие этого он должен был руководствоваться советами и указаниями тех книжных людей, которые и читают, и сами пишут книги. Надо согласиться, что положение г. Смирдина было в этом отношении очень затруднительно, потому что он не обладал никаким прочным основанием, которое могло бы руководить его в выборе советников. Это неприятное обстоятельство было впоследствии причиною всех его неудач и разрушения его надежд — быть долго полезным русской литературе. А между тем он все-таки сделал для русской литературы так много, что упрочил своему имени почетную страницу в ее истории. Итак, не будем обвинять его за то, что он мог бы еще сделать и чего, однако ж, не сделал, но отдадим ему должную справедливость за то, что им сделано.

А он, повторяем, много сделал: он произвел решительный переворот в русской книжной торговле и вследствие этого в русской литературе.

Глава седьмая

ТАЛАНТ И ЗНАНИЯ
ОТНЯТЫ БЫТЬ НЕ МОГУТ

I

Ночь — ни теплая, ни холодная, как случается иногда посреди лета в Петербурге. Дождь — не то он моросит, не то нет, в ночной мгле словно рассеяна водяная пыль. На проспектах гаснут одна за другой гирлянды лампионов, и столица отходит ко сну.

Лишь у театрального подъезда светопреставление, подкатывают и отъезжают кареты, кто-то свистит, подзывая извозчика.

— Ля-ля-ля, ля-ля-ля! — напевает молодой человек в модном вестоне, покручивая тросточкой. — Прилипчивый какой мотивчик! Ля-ля-ля, ля-ля-ля...

— Однако ж, — ворчит его сотоварищ, поправляя на себе высоченный цилиндр раструбом. — Все эти пошлые истории, рогатый муж, любовник под столом... Тривиально, тривиально! Куда катится русская сцена?

— Ты, мон шер, — возражает ему зритель с тросточкой, — сегодня просто не в духе. А как тебе эта новенькая, Миловидина, кажется? Не правда ли — весьма соответствует своей фамилии, ха-ха-ха!

— А когда она задрала на себе юбки, — возражал ему ворчун, — чтобы отплясать заключительный каскад? Нет, увольте! Пойдем лучше, тут за углом у Форе умопомрачительный горошек подают!

И он даже со смаком поцеловал себе кончики пальцев. А его легкомысленный сотоварищ, не переставая крутить тросточку, напевал:

— Ля-ля-ля, ля-ля-ля...

Впрочем, кому угодно услышать более подробно разговоры в публике, расходящейся из петербургского театра, отсылаем к бессмертному гоголевскому «Театральному разъезду после представления новой комедии».

Обойдем-ка лучше театр с обратной стороны и там у артистического подъезда встретим публику и живее и интереснее.

— Фивейский! — восклицают в восторге поклонники, когда хлопающая дверь выпускает под свет подъездного

фонаря толстенького жизнелюбца в клетчатых панталончиках.— Несравненный Фивейский!

Актер непрерывно приплясывает и рассыпает воздушные поцелуи, и видно, что после окончательного закрытия занавеса он успел клюкнуть из бутылочки и теперь, ко всеобщему удовольствию, вся компания отправляется в ресторан.

Роскошная дама, в крепах и атласах, с рюшами и бантиками, утратившая возраст лет двадцать тому назад, с высоты ступенек падает в объятия лейб-гусарских поручиков, которые чуть ли не на руках несут ее в подогнанный экипаж.

— А нашей все нет как нет,— говорит представительный господин в крылатке, передернувшись от холода.— Небось никак там не расцелуются со своим антрепренером.

— Фи, Розенкранц! — подталкивает его другой, тоже засунувший озябшие руки в карманы.— Пошляк ты! Зачем же ты ее, в таком случае, ждешь?

— Эх, Апалоша! — возражает ему Розенкранц, стараясь пристроиться под навесом крыльца, чтобы не сильно промокнуть.— О, если б каждый из нас знал точно, зачем он делает то, а не другое!

— В тебе виден несостоявшийся трагик! — смеется тот, которого он назвал Апалошей.— Господа, да вот и она!

— Дивная! Божественная! — восклицают они, устремляясь к вышедшей на крыльцо Миловиной.

Узрев, сколько тянется к ней рук, та улыбается удовлетворенно и шутливо отмахивается от них перчатками.

— Господа, я занята, занята, сегодня я не ваша!

— Как?! — раздается единодушный горестный вопль встречающих.— Вы не наша! А чьи же мы?

— Погодите, погодите... Позвольте мне... — протягивает к публике ладонь несостоявшийся трагик.— Позвольте, мы с ней потолкуем.

Впрочем, толковать им с Миловиной не о чем.

— Мой вечер отдан князю... Я же говорила вам, Розенкранц... — И ее огромные глаза из горячих и полных смеха становятся холодными и непреклонными.

— Князю? — озадаченно вопрошает Апалоша, сдвигая на лоб видавший виды картуз.— Какому же это князю?

— Князю Александру Скарятинскому,— не без доли

хвастовства объявляет Миловидина.— Да вот, кстати, и он... Князь!

Все оборачиваются и видят перед собой очень молодого человека с легкой надменностью на лице, глаза у него близко посажены к переносице, отчего все время кажется, что он вот-вот заплачет.

Князь складывает свой зонт и кланяется собравшимся под навесом артистического подъезда поклонникам. Апалоша же взывает во тьму:

— Кошмаркин! Куда ты запропастился, несчастный!

— Тут я, тут,— отозвался Кошмаркин, выдвигаясь на свет.— Чего изволите, сударь?

— Подай-ка мою гитару. Да и свою приготовь... Грянем в честь его сиятельства величальную!

И не успел явившийся князь произнести путного слова, как они на двух гитарах наигрывали известную мелодию: «К нам приехал, к нам приехал князь наш щедрый, золотой...»

— Тогда вот что,— предложил Розенкранц,— князь, Вера Николаевна устала, ей бы сейчас хоть чашечку горячего пунша. Не угодно ли с нами ко мне на квартиру, здесь неподалеку? И с Верой Николаевной, конечно...

— Где ваш экипаж, князь?— осведомился Апалоша, не прекращая наигрывать на гитаре.— Ах, нету-с? А ну, Кошмаркин, лови извозчика! Эй, эй, фиакр, кеб или как там тебя по-европейски? Эй, ванька, заворачивай живей сюда!

Конечно, оказалось, что Розенкранц живет вовсе не рядом, а на Загородном проспекте в глубине лабиринта дворов. Квартира Розенкранца была какой-то нежилой, хотя с претензией на роскошь. Лепные потолки, керосиновые карсели вместо свеч, кресла с бархатными спинками и ручками, слуга с физиономией, будто вытесанной стамеской, как у гоголевского Собакевича. И даже огромный ампирный камин, который, однако, не горел, из-за чего во всех этих великолепных апартаментах было даже не то чтоб сыро, а просто промозгло.

Апалоша слышал, как князь, выходя вслед за всеми из пролетки, сказал извозчику: «Жди меня тут, пока я не вернусь» — и сунул ему в руку нечто хрустящее. Ванька на облучке, рассмотрев при тусклом свете фонаря над подъездом это даяние, резво приподнял шляпу и обещал: «Будем ждать-с, ваше сиятельство, хоть до второго пришествия-с!»

Поэтому сейчас, отложив и гитару и величальную, которую они с Кошмаркиным не переставали всю дорогу наигрывать, Апалоша сказал на ухо князю: «Пожаловали бы вы, ваше сиятельство, дровец для камина у здешнего дворника...» Князь вынул из бумажника три рубля и пожаловал. Слуга Розенкранца тотчас помчался за дровами. Апалоша приступил вторично: «Уж не обессудьте, ваше сиятельство, винца бы теперь, закусочек... Тут недалеко Палкина трактир...» Князь снова извлек бумажник и раскошелился.

Короче говоря, через каких-нибудь полчаса огромный камин пылал, и блики его были ярче, чем свет фарфоровой карсели. Верочка расположилась на пуфике, прямо у пасти огня, и грелась, как кошечка, и смеялась беззаботно, и держала в руке большой фужер с горячим пуншем, а Апалоша с верным Кошмаркиным наяривали вовсю:

О, сжался надо мной! Значенья слов моих
В речах отрывочных, безумных и печальных,
Проникнуть не ищи...

Где-то далеко за окном в глухой ночи часы на церковной башне пробили час.

Они прилежно склонились над гитарами, Апалоша выводил романс приятным тенорком, а Кошмаркин, щербатый и ушастый, словно летучая мышь, подвывал ему в самых патетических местах.

— Князь, в биллиардик? — вкрадчиво предложил Розенкранц, уже приготовив кий, бархотку и мелок.

Огромнейший биллиард занимал соседнюю гостиную, обитую зеленым штофом.

Князь ответил отрицательно.

— Мы по маленькой, по маленькой, — продолжал искушать Розенкранц, — по десяти с кона...

Но князь только покачивал головой, не отрывая печальных глаз от ревящейся на пуфике Верочки.

— Тогда преферансик? — Розенкранц продемонстрировал нераспечатанную колоду с клеймом Амстердама. — Тоже недорого, просто для развлечения, ну же, князь?

Князь опять отказался.

— И где она только его подцепила! — с досадой сказал Розенкранц в туалете Апалоше, когда в музыке был объявлен некий перерыв. — Ни в пульку, ни в риколет, ничем его не примешь!

— Да князь ли он?—спросил Апалоса, утираясь рушничком.

— Мне князь не князь, были бы у него деньги... Здесь, знаешь, старый граф Салиас де Турнемир со своим шурином Сухово-Кобылиным у меня бывали, уж на что оба — дубы! И те необщипаннми от меня не ушли... Впрочем, Скарятинские, кажется, все вымерли. Завтра же наведу справки в департаменте герольдии. Но одет отменно — все у него с иголочки!

— Господа, господа! — послышался хохочущий голос Веры. — Князь меня увозит, оревуар!

— Давайте кинем жребий, — предложил князю Розенкранц. — Вот я беру шарик в кулак...

— Я не играю и не гадаю, — холодно сказал князь, прищурившись на свет лампы. — А Вера Николаевна мне обещала, и сейчас она поедет со мной!

— А где вы изволите обитать, ваше сиятельство? — едко спросил ушастый Кошмаркин. — Где ва... ваш, позвольте спросить, ро... родовой палац?

— Может быть, вам захочется знать, и где мои имения? — столь же холодно возразил князь, натягивая перчатки. — И где мой человек, и где мой экипаж? Пустое! Вставайте, Верочка, слово ваше...

Нет, никогда печальной тайны
Перед тобой
Не обнажу я, ни случайно,
Ни с мыслью злой...

Загудели вслед им гитары, трепеща от усердия. Озадаченный Розенкранц пощипывал бородку, а Апалоса выводил с чувством: «Наш путь иной — любить и верить, судьба моя...»

2

— Куда прикажете, барин? — спросил, не оборачиваясь, извозчик, когда почувствовал наклон рессорного экипажа — седоки вошли.

Он чмокнул, и его коняшка привычно тронулся с места, переставляя копыта, а возница повторил вопрос. И поскольку опять никто не отозвался, он все-таки обернулся и различил во тьме под козырьком коляски закинутые белые женские локти. Она обняла его седока за шею и с упоением целовала.

— Э-эх,— крикнул привычный ко всему петербургский ванька и подхлестнул вожжами.— Давай, скотинка, вези, вези!

Они переехали по Исаакиевскому мосту на ту сторону реки, и мост сразу же развелся. Теперь им было суждено оставаться на Васильевском острове до самого утра. Извозчик, рассчитывая на щедрую подачку (и получил уж немало), вез неторопливо, поворачивая с улицы на улицу, с линии на линию. Изредка понукал, коняшка же исправно цокал подковами о булыжник. Дождь прошел, из-за туч выглянула, словно мачеха, вечно всем недовольная петербургская луна.

— Эх, копытинка, вези, брат, вези!

Кто-то из древних когда-то сказал— мировая душа для мужчины и для женщины одна. Но она разделена надвое самым актом рождения. И вечно мужчина ищет свою недостающую половинку в виде женщины, а женщина — в виде мужчины. И счастье им, если они найдут друг друга и не ошибутся...

Тут поцелуй и есть средство определить — моя ли ты половинка вечной души или не моя?

Вера засмеялась и оторвалась от Александра, вытерла его губы тыльной стороной руки.

— Ах, мон пренс, мой князь! Думалось ли нам тогда, в апреле, в Летнем саду, что все это так у нас обернется?

Возница чмокал на облучке, дрожки потрясывало на булыжнике, луна плыла следом, стараясь заглянуть под козырек экипажа.

— Ну, вези же меня куда-нибудь,— сказала Вера, укутываясь в модную кашмирскую шаль, которая была у ней взамен пальто.— Ты же так давно просил, чтобы я поехала к тебе...

Александр молчал. Признаться, он не был готов к такому повороту. Столько раз уж она отказывала ему, он и сегодня не надеялся, что это свершится.

И еще некоторое время их ванька проколесил по линиям Васильевского острова, и сонные будочки с неудовольствием выглядывали на медленно бредущую под лунной лошадку с опущенной головою.

Наконец он решился.

— Эй,— сказал он, тронув извозчика концом своего зонта.— Ты не знаешь здесь какого-нибудь места поприличней?

— Ого! — отвечивал догадливый ванька, которому

смерть как хотелось в свою ночлежку, как его лошадке к себе в конюшню.— Что же вы сразу не сказали, ваше сиятельство? Как не быть? Тут как раз на Косой линии она и есть...

— Только чтобы не было мышей! — простонала из-под платка Вера.

— Тп-р-ру! — натянул вожжи извозчик.— Тпр-р-ру! — повторил он как можно громче, чтоб лакеи побыстрее просыпались и поживее отпирали двери.

— Позвольте, сударь, вот сюда... — засуетился полу-сонный половой.— Тут есть покойчик, премного останетесь довольны, ваше сиятельство.

— Мосты, понимаешь, развели,— говорил, идя за ним, Александр, чтобы как-то сгладить некоторую свою неловкость.

Вера, закрыв лицо шалью, не отставала от него.

— Не угодно чем-нибудь прохладиться? — осведомился половой.— Есть пиво привозное и свежие раки.

— Шампанское есть?

— Как не быть? Как же без шампанского-с? Никак это не возможно-с, сударь!

— Тогда чего ты медлишь?

— Двенадцать рубликов бутылочка-с...

— Давай, подлец, неси и проваливай побыстрее.

Здесь тоже имелся камин, правда, маленький и кирпичный, но огонь уже пылал жарко, а Вера, как раз вылезая из коляски, попала ногой в лужу, которая круглый год обреталась на Косой линии. «Ой», — жалобно стонала она, пытаясь стащить сапожок. Александр усадил ее и стащил обувь. Чулок тоже оказался мокрым, а нога девушки холодной как ледышка.

Наконец ему удалось разуть обе Верины ноги, и она блаженно согревала их в жарком отсвете камина. Чулки и сапожки поставили к камину просыхать. Свечу, принесенную половым, Александр загасил, так было даже романтичнее в пляшущих красных отблесках огня.

Вера весело перебирала греющимися ножками, а он любовался ими — какие они маленькие и какой совершенной формы! Тысячу раз он видел босые ноги матери и сестер, наверное, они тоже были по-своему прекрасны, но эти!..

Неожиданно для себя он погладил большой палец Вериней ноги.

— Ой! — вскрикнула от неожиданности девушка и засмеялась. Черные веселые глаза ее отражали весь блеск и жар каминного огня.

— Ле гро, — сказал по-французски Александр.

— Что? — не поняла Вера. — Кеске ву вуле дир, мон пренс? Что вы хотите сказать?

— По-русски «палец» — это все равно палец, что на руке, что на ноге. А у французов палец руки — это «ле дуа», а палец ноги уже — «ль ортей»... И названия пальцев на ноге совсем иные. Разве вас не учили этому в театральном училище?

— А! — махнула рукою Вера. — Если бы вам только рассказать, чему нас там учили! — Она сделала акцент на слове «чему».

А у Александра как раз это был один из немногих запомнившихся уроков, который преподавал ему когда-то легкомысленный мосье Бернар!

И он принялся поглаживать Верины пальцы, сопровождая каждый поцелуй названием — «ле гро», «ле скон», «ле медиюс», «ле катрьем», «ле пти»...

Вера от души смеялась, даже уронила шаль с обнаженных плеч. Целовала Александра в лоб и в губы и снова смеялась, закидывая голову, рассыпая завитые черные букли волос.

Стучали, торопились трактирные дешевые ходики, ночь утекала в бесконечность, за стеной кто-то оглушительно храпел, постанывая, а за окном в безмерной дали, будто на самой финской стороне, уже пели еле слышные отсюда утренние петухи.

— Вера! — сказал вдруг серьезно Александр и встал на колени перед ней, сидевшей все так же, ногами к огню. — Вера! Давай бросим этот Петербург, эту сцену, уедем куда-нибудь в провинцию... Я устроюсь на службу, боже! — Он даже сложил руки на груди. — Как я буду тебя любить!

— Мон пренс! — тоже совершенно серьезно ответила ему Вера и даже в подкрепление своих слов заглянула со значением в его глаза. — Я не хочу покидать Петербург. Если бы вы знали, сколько он мне стоил, этот Петербург!

— Вера! — повторил Александр и взял в обе руки, сжал в ладонях уже обогревшиеся пальчики ее ног. — Брось ты эту компанию, этих шалопутов — Апалошу с его гитарами, Розенкранца... Что он Гекубе, что ему Гекуба!

— Это мои друзья, — запальчиво возразила она. — А

вы их не знаете, мой дорогой. Апалоса — гениальный поэт, его имя воскреснет еще в русской литературе, а Розенкранц — что ж, он игрок душой...

— Вера! — закричал Александр так, что эхо отдалось под сводами трактирных покойчиков и даже сосед за стеной перестал храпеть и постанывать. — Неужели они тебе дороже, чем я?

— А что ж вы, ваше сиятельство, мне замуж за себя не предлагаете? — Она соскочила босиком на пол и оттолкнула его. — Все что угодно, брось своих друзей, брось свой кусок хлеба, только следуй за мной... А я, может, сама графская дочь, сирота, подкидыш, знаете, что со мной было в воспитательном доме?

Она нащупала чулки и сапожки и нашла, что они достаточно уже просохли.

— Отвернитесь! — потребовала она. — Я должна одеться. И прикажите вызвать экипаж.

3

Осторожно ступая по лестнице, еле освещенной скудным рассветом, Саша Смирдин тихонечко подошел к двери новой их квартиры и, достав длинный и ржавый железный ключ, принялся всовывать его в скважину.

Но дверь открылась сама. Там стоял отец в халате и ночном колпаке, прикрывая ладонью свечу. Завидев Сашу, он приложил палец к губам и сделал знак следовать за ним.

Саша немного струсил: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его...» Старался ступать как можно тише, но тут на что-то неожиданно наткнулся коленом, да так больно, что вскричал:

— Черт побори, что тут есть? — и услышал оттуда снизу голос бабы Малаши:

— Ой, батюшки, ой! Заступница пречистая, святые угодники, ой!..

Отец обернулся, схватил Сашу за плечо и втолкнул в дверь той комнаты, где они теперь спали вместе. Петербургская бледная заря лишь начинала подниматься над крышами, в их комнате только обозначились контуры вещей — Сашина кровать, отцовская кровать, брат Василий, спящий на своей кровати, нелепое отцовское бюро с пузатой задвигающейся крышкой.

— Малаша пошла сегодня на рынок, — стал объяс-

нять отец,— поскользнулась, что ли, вот люди еле принесли... Семьдесят ведь с лишним лет старухе. Теперь уж ожила немножко.

При свете ночника и брезжущем рассвете он критически осматривал сына, не решаясь, очевидно, приступить к важному разговору. А тот молча ожидал его речей.

— Положили ее в прихожей... — говорил отец. — А куда больше, она же спала на кухне.

Опять молчали, глядя друг на друга.

— Ты зачем надел дядюшки Франца костюм? — наконец решился Александр Филиппович. — Ты же знаешь, дядюшка хранит его у нас, потому что в гостинице у них воруют... Хорошо, что мать еще не узнала!

Саша стал молча раздеваться. Снял вестон с искусственной гвоздикой, жилет, развязал шейный платок и с размаху швырнул все это об пол.

— Натe! — свистящим шепотом сказал он. — Подавите своего Франца костюмом!

— Зайка, Зайка, — таким же свистящим шепотом пытался уговорить его отец. — Ну ты мне объясни, расскажи... Давай я займу где-нибудь, купим тебе все такое же, как у дядюшки Франца?

Но тот снимал каждую вещь — манишку, шемиз, панталоны — и швырял ее на пол, сопровождая злым шепотом:

— Вот! Вот! Вот наши богатства, миллиончики, вот!

Остолбенелый Александр Филиппович пришел в себя, когда огарок свечи стал жечь ему пальцы. Было слышно, как в прихожей бредит баба Малаша: «Ой, у князя-то, у Степан Матвеича, у них одного столового серебра было сто двадцать пудов... В большом доме-то у них в подвале бочки с рублями целковыми стояли... За стол — от семьдесят персон ежедневно садились...»

— Ну, почему... Ну, почему... — продолжал изливать свою скорбь Саша, теперь с лихорадочной быстротой переодеваясь в свой форменный полуфрачок коммерческого училища, хотя он теперь мог его и не носить, ведь он окончил училище в июне.

— Зайка, ну Зайка... — примирительно подступил Смирдин.

Сын смерил взглядом согбенную фигуру отца в поношенном халате и домашнем колпаке, доставшемся ему от фон Нагеля, тестя.

— Молчите! — уже во весь голос сказал ему сын. — Вы

теперь станете говорить, что надо трудиться, что надо быть прилежным, все это знакомо уже насквозь... Вот пусть он трудится.— Саша показал в сторону сладко спавшего младшего брата, который даже и не подозревал, какой жаркий диспут разыгрывается над его постелью.— А я игрок... Помните, папахен, вы рассказывали про Рылеева и Пушкина и что Лермонтов был игрок по натуре? Вот и я по натуре игрок, а не божья коровка!

А баба Малаша бредила на своем последнем ложе в квартире Смирдиных: «В само светлое христово воскресенье барин изволил меня от матушки забрать, ей же месячину пожаловал — крупой, мукой, маслом, да сверх того три алтына деньгами в месяц выдавать велел... Ну уж, право, и хороша ж я в те поры была. Особенно барин велит мне разуться и все на ножки мои смотрит и ахает...»

— Еще о чести станете говорить,— словно бросал в лицо отцу Александр.— А в чем она, ваша честь? Помните, вы рассказывали мне, как весь торговый Невский знал, что Пушкин поехал на Черную речку стреляться с Дантесом? Так если б у вас подлинная честь-то была, вы бы за ними поехали и грудью бы его загородили...

Он замолчал, ощупывая в карманах лорнет, кошелек, скляночку духов,— все было на своем месте. Накинул крылатку и взялся за ручку двери.

— Ты бы с Малашею простился,— сказал угрюмо отец, стоявший с поникшей головою.— Лекарь сказал, не доживет она до вечера.

Саша, уже открыв дверь, на минуту задумался, глядя в глубь прихожей, где продолжала бредить умирающая. Затем быстрым шагом пересек прихожую, загремел входной цепью и не обернувшись вышел вон.

В полдень пришел священник из старой Знаменской церкви, служивший там вместо умершего отца Варфоломея, соборовал бабу Малашу, причастил. Она так и не приходила в себя.

Смирдин сел рядом с ней на табурете, молиться или нет — он не знал. Сколько он помнил себя — он помнил Малашу, казалось — она была всегда, покуда существует божий мир. А Никольские тупички, а уроки французского языка, а княжна Аннета?

Генкель отозвал его вниз, в магазин — пришел какой-то попович из провинции, узнать о льготных скидках, ежели станет закупать смирдинские книги. Пока втолковывал

неопытному начинающему книгопродавцу, взбежал наверх — Малаша уже тихо отошла, никто и не видел когда.

После обеда вбежали возбужденные пансионерки — Лили и Катя.

— Маман, маман, к нам сегодня придет господин Александров, ты не забыла? Что у нас к чаю, не послать ли за бисквитом?

Эмилия Егоровна показала им глазами на распростертое тело бабы Малаши со свечой у головы. Лили пожалала плечами и ушла в угловую комнату, где они обычно останавливались, приезжая из пансиона. А Катя, кроткая белокурая Катрин, вдруг разразилась протестом:

— Как же быть? Ведь мы уже дали ему согласие его принять, ведь мы же не сможем оповестить... Да и почему она здесь должна лежать? Кто она нам — даже не крепостная? Маман, маман!

Катрин волновалась больше всех потому, что господин Александров, чиновник городской управы, был ее тайной надеждой.

— Мерзавка! — вдруг закричала на нее мать. — Эта старая служанка вырастила, вынянчила тебя и всех вас! Что же, должна вызвать я богоделов и отдать ее, чтобы похоронили в общей могиле? Как сказала бы она сама — креста на тебе нет!

Катрин ударилась в слезы, роптала на родителей и на бога, а сестрица Лили сидела, запершись в угловой комнате, снедаемая злорадством, потому что у младшей сестрицы был господин Александров, а у нее никого.

— Мейн готт! — восклицала Эмилия Егоровна. — Каких я воспитала детей!

Младший, Вольдемар, с брезгливой миной приступавший к приготовлению уроков, жевал пряник. Только Вася, безответный Вася, как-то ничем не выдававшийся в этой многочленной семье, втихомолку всплакнул о своей бабе Малаше.

Александр Филиппович вышел и принялся за улаживание всех страстей. Обещал Катрин, что договорится, чтобы бабу Малашу забрали на ночь в церковную сторожку. А Эмилии Егоровне посоветовал (велел — это слово не было в ходу в семье Смирдиных) готовиться к приему господина Александрова.

Он так и сделал. Церковные служители положили Малашу в гроб и вынесли в сторожку. Смирдин еще сидел там в тишине, слушал, как шебуршат мыши под полови-

цей и как капает воск со свечей, все вспоминалась ему многострадальная их жизнь, жалко было бедную Машу, жалко и детей. Ну, куда теперь ушел на ночь глядя его Зайка? Ну, зачем ему понадобился костюм Франца? Он в последние недели совсем переменялся, стал категоричным, сухим, презрительным ко всему. А что же делать ему дальше? Ведь училище свое он окончил.

В десять часов пришел сторож запирать дверь. Они еще потолковали со Смирдиным о том о сем, после чего Александр Филиппович отправился домой по темной набережной Мойки, под ее раскидистыми вязами. Дома в гостиной (в которую превращалась самая большая из комнат их новой квартиры, где обычно ночевала сама Эмилия Егоровна с любимцем Вольдемаром) слышались оживленные девичьи голоса, Эмилия Егоровна с большим чувством достоинства предлагала у самовара налить гостю еще чашечку чаю.

— Бла-о-даре-с,— галантно отвечал господин Александров, худосочный и белобрысый молодой петербуржец с жидким чубчиком на лбу,— Бла-о-да-ре-с, я уже выпил две чашки... Итак, государь,— продолжал он рассказывание какой-то столичной сплетни,— приказал генералу Орлову, который управляет Третьим отделением после кончины графа Бенкендорфа, особо следить за этим Авериным...

Господин Александров, завидев вошедшего Смирдина, представился и повторил специально для него начало рассказываемой истории. Некто Аверин втерся в доверие к жандармам и за большие деньги писал доносы на самых добропорядочных обывателей якобы как на злостных революционеров, коммунистов там или социалистов.

Смирдин хотя и принялся ужасаться вместе со всеми, но рассказа его не слушал. Саше не было среди собравшихся в гостиной. На сердце лег камень тяжеленный. Александр Филиппович посмотрел в рыбы глаза господина Александрова и прочел в них: а сколько ты, купец второй гильдии, дашь за свою дочь Екатерину? Смирдин извинился и вышел в свою комнату.

Там он принялся убирать еще разбросанный Сашей с утра великолепный костюм дядюшки Франца. Машинально обшарил карманы и в одном из них обнаружил какую-то бумажку. Поднес ее к свече и увидел, что этот кусок бумажной ленты, обрывок банковской бандероли, ко-

торой обычно запечатываются пачки кредитных билетов в десять рублей.

Только недавно, получив по векселю из банка, чтобы тут же уплатить долг кредиторам, он на ночь оставил эти деньги дома и утром обнаружил нехватку одной пачки. Тогда он подумал, что сам просчитался в банке, кассир его обманул, это бывает.

Но теперь руки и ноги его похолодели. Он в изнеможении присел на краешек своей постели. «Боже, боже! — думал он. — Неужели это так? Ах, Зайка, Зайка, куда тебя несет жизнь?»

Тишина стала тягостной. Смирдин слышал прерывистый стук своего сердца и думал: когда-нибудь оно остановится, как у бабы Малаши, и я умру. «Никто не вем ни дня своего, ни часа...» В гостиной же все слышался наставительный голос юного чиновника Александрова и веселый смех дочерей.

И тут Смирдин услышал, как стукнула дверь вниз, в подъезде на Мойку. Звякнул вставляемый ключ, вошел в прихожую Саша и тут же прошел в их общую комнату. Не оборачиваясь, не разговаривая ни с кем, только скинув крылатку, он лег не раздеваясь.

Но от сердца все же отлегло.

4

Когда историку приходится заниматься личностью императора Николая I — Николая Павловича Романова, которого либералы и революционеры второй половины XIX века заклеили как Николай Палкин, душитель декабристов, он сталкивается с явлением весьма противоречивым.

Воспитывавшийся для занятия какой-нибудь высшей военной должности, потому что никакая судьба не сулила ему заранее стать императором, имея двух старших братьев, он обучался, по обычаю того времени, «чему-нибудь и как-нибудь». Ровесник нашего Смирдина и почти ровесник Пушкина, он вступил на престол совсем еще молодым человеком, не успев зарекомендовать себя никакими делами — ни военными, ни гражданскими. Да и декабристы ведь, о чем они признавались сами позднее, не имели чего-либо против его личности, им важны были идеалы революционных преобразований.

Но первым же своим деянием при вступлении на пре-

стол — расправой над декабристами — молодой царь навел ужас на Россию, и под жупелом этого ужаса она и жила во все тридцать без малого лет его царствования. «Полностью использовал Николай Павлович высшее право царей — казнить, — записал в своем дневнике не кто иной, как его же верноподданный охранительный литератор Н. И. Греч. — Но, увы, никогда не использовал другого священного их права — миловать!»

Никогда не допустивший ни малейшего послабления сосланным декабристам — а ведь многие из них стояли перед ним на коленях, каясь! — всеми мерами препятствовавший их героическим женам ехать на каторгу за мужьями, преследовавший даже их ни в чем не повинных детей, родившихся в Сибири: на прошении пугливого губернатора разрешить ссыльным, понимавшим в медицине, заниматься врачебной практикой, ибо там даже военных лекарей не было, он собственноручно начертал: «Талант и знания отняты быть не могут!»

В личной жизни он был неприхотлив и даже аскетичен — спал на солдатской койке, поставленной в пышном покое дворца, и накрывался серой солдатской шинелью. Столь же умерен он был в пище и питье, в походах и на маневрах он питался прямо из солдатского котла. Сына своего, будущего Александра II, разорванного бомбой террористов, он семилетним мальчиком поставил в строй возле пушек на Сенатской площади, паливших по декабристам. Воспитателем ему он избрал лучшего поэта того времени — Василия Андреевича Жуковского, а в число его друзей допустил другого замечательного поэта и мыслителя — графа Алексея Константиновича Толстого.

«И все же, и все же!» — как сказал в наше время Твардовский, правда, совсем по иному поводу.

Николай Павлович не страшился покушений и запросто гулял по Невскому проспекту — главной улице своей империи — без особой охраны. Останавливал прохожих, некоторым делал выговоры, другим оказывал какую-нибудь помощь. Вспомним случай с литератором Чижиковым, рассказанный нами выше. Встретился ему как-то юнкер, спешивший в казармы уже после сигнала отбоя. Порядок! — вот было главное в идеологии Николая Павловича.

— Откуда идешь ты столь поздно? — спросил император, свирепо выкатив глаза, прямого взгляда его редко кто мог выдержать.

— Из депа, ва-ваше ве-величество! — трепеща ответил юнкер.

Император как раз пребывал в благодушном настроении.

— Дурак, депо не склоняется!

— Перед вашим величеством все склоняется! — ответил находчивый юнкер и был прощен и даже повышен в чине.

Другой раз, гуляя по Невскому проспекту, Николай Павлович решил зайти в мастерскую любимца своего живописца Айвазовского. У того как раз одна придворная дама в полном неглиже позировала для портрета в костюме Афродиты. Слуга получил распоряжение никого не пускать. Услышав звонок в дверь, обомлевший слуга увидел самого царя. Николай Павлович отстранил незадачливого стража и прямо вошел в ателье. Перепуганная дама с кудахтаньем кинулась прочь, запуталась в драпировках, растянулась на полу. Император очень любил рассказывать этот случай во дворце, не раскрывая, разумеется, имени дамы.

Знаменитый Бенкендорф в своих записках отмечает, что Николай Павлович редко ложился ранее трех часов ночи, собственноручно просмотрев и решив все важнейшие дела и записки. Он сам вел свой дневник и, кроме того, «находил время ежедневно писать подробные письма императрице, прочитывать донесения о здоровье и ходе уроков его детей, перелистывать газеты и часто даже пробежать вновь появившиеся в печати книги на русском и французском языках».

Тому же Бенкендорфу, при вступлении его в жандармскую должность, государь вместо просимых инструкций вручил свой носовой платок и заявил: «Вот тебе моя инструкция, чем больше слез ты утрешь, тем точнее ты исполнишь мою волю».

О Господи!

А Герцен пишет так: «Николай хотел больше быть царем, чем императором, но, не поняв славянский дух, он не достиг цели и ограничился преследованием всякого стремления к свободе, угнетением всякой идеи прогресса и остановкою всякого свободного развития. Он хотел из своей империи создать военную Византию, отсюда его народность и православие, холодная и ледяная, как петербургский климат... В его системе не было ничего движущего, даже ничего национального, — не сделавшись русским,

он перестал быть европейцем. В свое долгое царствование он последовательно коснулся почти всех учреждений, вводя всюду элемент паралича, смерти. ...Он ввел смертную казнь за преступления политические. Уголовные законы не признавали нелепого наказания тюрьмой, Николай ввел его. Всеми этими средствами Николай затормозил движение, подкладывая камень под все колеса, и теперь негодует, что ничего не идет!»

— Ну-с, что у нас еще? — спросил Николай Павлович дежурного генерал-адъютанта князя Васильчикова при предобеденном рассмотрении дел. Предстояла поездка в Манеж, и император предвкушал свежесть невского воздуха, любимый им запах конского пота, вообще — движение, дело, работа, вместо застывшей неподвижности дворца.

Васильчиков, чье лицо старательно повторяло лицо обожаемого монарха — такие же усы с подусниками, и выкатываемые глаза, и залысины на лбу, — вынул из внутреннего кармана сложенную и, судя по желтоватой бумаге, какую-то нерусскую газету. Принялся ее разворачивать с большой осторожностью, словно сапер, разряжающий боевую гранату.

— Что это? — спросил по-французски император.

— «Монитор», официоз парижского двора. Привезен с купеческим судном и изъят нашими агентами, раньше чем придет из Парижа обыкновенная почта.

— Читай!

— «Утром толпы инсургентов, — читал Васильчиков, со страхом вглядываясь в лицо грозного повелителя, — окружили королевский дворец, требуя отставки правительства. Несмотря на все усилия войск и жандармерии к вечеру весь Париж был покрыт баррикадами...»

Васильчиков вновь со страхом взглянул в лицо царю.

— Что ты на меня глядишь? — ровным голосом спросил Николай. — Что это, я, что ли, у них там все устраиваю это?

И ровный его тон испугал Васильчикова более, чем если бы император вскочил, затопал ногами. Так уже бывало — не было бы у него теперь сердечного приступа...

«Назавтра, по совету ближайших придворных, король покинул дворец, заявив, что отрекается в пользу внука... Премьер-министр бежал в Лондон ранее... Чернь носится по городу, размахивая красными знаменами...»

— Теперь вот вопрос, — перебил его Николай. — Как

у нас подать все это? Ведь скрыть это не удастся, завтра-послезавтра заграничные газеты будут и у нас.

— «Северная пчела»,— пробормотал генерал-адъютант.— «Русский инвалид»...

— Я и без тебя знаю названия моих газет,— снова недовольно перебил его царь.— После обеда вызовешь ко мне шефа жандармов. Что еще у тебя? Принимать сейчас никого не буду.

«Слава богу,— перекрестился про себя Васильчиков,— перенес все спокойно...»— Там в аванзале барон Александр Людвигович фон Штиглиц, банкир.

«Власть денег, власть денег!— усмехнулся император.— Был бы ты, князь, исправным генерал-адъютантом, ты бы его и до аванзала не допустил. Или ты с него что-нибудь имеешь?»— Ну что же, зови!

Барон, который только что отвалил немалый куш все на ту же Николаевскую железную дорогу, которая была словно некая прорва — денег вбухано немало, а поезда все не идут, на сей раз просил о высочайшем соизволении открыть лотерею в пользу некоего Смирдина, книгоиздателя.

— Смирдин, Смирдин,— сказал царь, поглаживая подусники.— Это не тот, у которого магазин был на Невском? Хм, я помню там даже одну литераторшу видел, мадам Панаеву, что ли? Пикантная, надо сказать, дамочка! Ах, да, да, помню,— сказал Николай,— Жуковский еще об нем хлопотал, воспитатель наследника. Но мы же ему дважды оказывали безвозмездную помощь — а он все разоряется? Дурной, значит, хозяин, ха-ха.

Барон фон Штиглиц принялся обстоятельно докладывать состояние дел Смирдина и почему он нуждается в помощи.

— А может быть его сделать поставщиком двора вашего императорского величества? — вступил в разговор князь Васильчиков, приободрившийся, что его высочайший повелитель Смирдиным этим хоть отвлекся от мыслей о революции в Париже.

— Значит, орла на вывеску, как говорят купцы на Го-стином дворе? — усмехнулся Николай.— Какой же вы из него поставщик? Ежели бы он, скажем, придворный календарь издавал или, там, строевые уставы... Но ты, Штиглиц, не беспокойся. Оказывать помощь литераторам, издателям — это задача нашего царствования. Мы Крылову, баснописцу, дважды жаловали по тридцать тысяч

рублей, Гоголь получал от нас перстень, Булгарин эти перстни получал не помню уж сколько раз... Делайте лотерею, но под строгим наблюдением вашим, немецким, я бесхозяйственности и воровства не допущу!

— Послушай, Васильчиков, кстати,— сказал Николай, когда они уже окончательно собрались ехать в Манеж.— Не кажется ли тебе, что цензура наша слаба... Никитенки эти, Куторги, сажай их под караул, все равно всякие вольнодумства пропускают. Не учредить ли нам над ними какой-нибудь комитет?

5

Рано утром почтальон весело шагает по набережной Мойки, шумят под ветерком кряжистые вазы, солнечные пятна играют на плитах мостовой. Взглянув на него, мы сегодня не сказали бы, что идет почтальон. У него кивер с медным орлом и султаном, позументы, аксельбанты и даже сабля на боку. Лишь тяжеленная сумка на лямке через плечо, обремененная почтой, свидетельствует, что это не какой-нибудь записной лейб-гвардеец, а это все он же, это все он — петербургский почтальон!

— Натe, получайте свои заказишки! — войдя в контору Смирдина, он вываливает всю сумку им на стол.— Уф! Еле дотащил от почтамта. Все богатеете, а тут надрывайся, таскай вам этакую прорву!

Но получив гривенник на чай, он сменяет гнев на милость, щелкает каблуками и, отдав хозяину честь, следует в ближайшую чайную или даже в трактир.

Смирдин же, отодвинув пока новоприбывшую почту в сторону, придвигает к себе то, о чем сейчас все его помыслы и надежды,— корректурные листы новой его серии — «Полное собрание сочинений русских авторов». Ради этого он оставил прежнюю торговлю, ради этого вновь обременился векселями, ради этого поставил на кон, как говорят игроки — либо пан, либо пропал.

Конечно, написать книгу дело не простое, требует многих нервов и здоровья, многих-многих лет, а часто даже — всей человеческой жизни. Но и издать книгу тоже труд далеко не из легких.

Приобретя книгу у автора или его (увы!) наследников, издатель, ежели не имеет от них цельной рукописи, начинает по кусочкам собирать написанное и напечатанное ав-

тором. Иногда даже припрятанное, отброшенное или даже приписываемое ему.

Стоило, скажем, Александру Сергеевичу Пушкину испустить дух, как в его квартиру явился г-н Дубельт с жандармами и по высочайшему повелению опечатав все бумаги, все ящики письменных столов покойного поэта, всюду навешал казенных сургучей.

Однако Николай Павлович хотел всему свету продемонстрировать свою монаршую милость. Он вызвал к себе Жуковского. «Хочу издать полное собрание Пушкина за свой счет. Хотя покойный при жизни и хм-хм-хм...» — царь откашлялся и погладил великолепные усы.

— А ты, — повелел он Жуковскому (ему было нипочто, что Жуковский был намного его старше, что он был поэт, которого знала вся Европа... Русский царь принципиально каждому из своих подданных говорил «ты»). — А ты ступай на квартиру Пушкина, там можешь сломать печати и вместе с Дубельтом составить описание всего, что найдешь. Затем приступай к полному собранию. Печатают пусть в моей Экспедиции заготовления государственных бумаг, где денежные знаки и всякие там облигации. Вдове же передай — вся чистая прибыль пойдет ей и детям. Такова моя воля.

Жуковский, как опытный и многолетний царедворец, отлично знал — царская милость быстролетна и переменчива. Он тотчас собрал все, что Пушкина было когда-либо издано с цензурного дозволения, так составились первые тома. Затем пришла очередь и бумаг, извлекаемых из пушкинского стола. И явился потрясенному Жуковскому «Памятник» — «Веленью божию, о Муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца!».

Но там же были слова: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу — и милость к падшим призывал!» Свободу! Это бы никогда не произошло при Николае Павловиче!

И Василий Андреевич бестрепетно на перебеленной к набору рукописи переделывает рифму — «...и долго буду тем народу я любезен», а свободу заменяет на: «...что силою стихов моих я был полезен...» Что ж? Поэт исправляет поэта!

Только спустя сто лет зазвучал пушкинский «Памятник»

не в интерпретации мудрого и осторожного Жуковского, а во всю свою пушкинскую мощь.

Теперь взялся переиздавать Пушкина Исаков. Это был сам по себе замечательный человек, Яков Алексеевич, из гостинодворских книгопродавцов, как и Смирдин, учившийся только у дьячка. Но, будучи мальчиком, сидельцем и приказчиком у разных самодуров и богатеев Зеркальной и Перинной линий, он каждую свободную минутку отдавал изучению иностранных языков. По этой части он был как русский Шлиман! Впоследствии сам Яков Алексеевич смеялся: «Я французский выучил у дверей магазина, где должен был заманивать покупателей, а немецкий — под прилавком, куда прятался от зуботычин хозяина».

Исаков был ровесник и современник Смирдина, но не претендовал на то, чтоб капитал стал живою душой литературы, и не говорил во всеуслышанье, что ничего не желает, только б связать свое имя с русской литературой. Поэтому он спокойноенько пережил и кризис и кредиторов, уход провинциальных помещиков с книжного рынка, открыл свои конторы в Париже и Лейпциге. Для редактирования своего издания сочинений Пушкина, за право издания которого он уплатил вдове поэта бешеные деньги, он пригласил известного всему Петербургу чудака и библиографа Геннади.

Кто из книжных «жучков» Апраксина двора не знал барина Геннади с окладистой бородой и авторитетным басом? Обмануть его не стоило труда. Подходит этаким жучок к Геннади, обретающемуся с треплемой ветром бородой и непокрытою главою (он говорил, что, находясь среди книг, хотя и на толкучем рынке, надо снимать шляпу) среди толпы Апраксина двора, и блекочет робким голосом:

— Григорий Николаевич, поглядите вот, книжечка... В прошлый раз вы говорили...

— Я говорил? Гм! Что-то не помню... Ну, уж раз говорил... Да, да, это редчайшая вещь! Сколько же ты за нее хочешь, разбойник? Пятьдесят рублей? Христопродавец! Ты удавить меня хочешь, разорить! Ладно уж, бери любую половину, и баста!

И пойдут по Петербургу анекдоты, как на толкучке Геннади вновь вместо редкой какую-то глупость подсунули...

Принялся Геннади Исакову редактировать полное собрание Пушкина. Расчесал свою бороду гребнем, кото-

рый он всегда для этой цели носил в боковом кармане и про который выражался так: «Скребницей чистил он коня...» — и заявил:

— Что это? Великий поэт не мог в слове «музыка» поставить ударение на «ы». Это какая-то оплошность. Ну, ка, мы исправим!

И исправлял, причем, конечно, приходилось и весь строй стиха переделывать, и дополнительные какие-то слова додумывать, и прочее. Кончилось тем, что приятель покойного поэта и его соученик по лицу Соболевский пустил эпиграмму, имея в виду самого Пушкина.

О, жертва бедная двух адовых исчадий!
Тебя убил Дантес и издает Геннади...

Но составить и отредактировать книгу, или сборник, или собрание сочинений не есть еще самое трудное дело издателя. Надо найти типографию, купить бумагу, договориться с книгопродавцами...

Наконец — цензор. Хорошо, если это такой, как Никитенко, который сам вышел из крепостных и служит профессором в разных учебных заведениях, особенно любит этим заниматься в институтах благородных девиц, потому и с императрицами лично знаком — и с царствующей и со вдовствующей. И ему, в общем, наплевать и на жандармов, хотя и посидеть под караулом доводилось... А если это будет такой, как Корсаков, который с якобы благожелательной, а на самом деле со змеиной улыбочкой приступает:

— А что это тут у вашего автора говорится: «...благочестивое дурье», это он, случаем, не на духовенство намекает?

— Помилосердствуйте, как можно-с!

— Ну, хорошо, мы-то с вами цивилизованные люди, мы понимаем, а читатель-простолюдин? Вы уверены, что он не истолкует этого превратно? Поправить надо это все, поправить...

И так каждое лыко в строку. Хотя, пожалуй, никто из тогдашних цензоров так часто, как Корсаков, не сиживал на гауптвахте...

Приобретя, наконец, желанную бумагу со словами «Печатать дозволяется», издатель облегченно крестится на все купола и мысленно обещает поставить свечку пречистой заступнице. Опрометью бежит в типографию, где машины ходят ходуном, печатая его тираж. И вот метран-



паж, важный и неприступный, словно метрдотель в дорогом ресторане, только без фрака с белым платочком, а в фартуке и пенсне, преподносит вам сигнал — первый экземпляр.

Ах, как упоительно пахнет он, этот первый экземпляр, свежей бумагой и типографской краской — что вам какой-то ландыш в березовом лесу! О, книжное дело, ты отравя, кто хоть раз в жизни отведал сладость первого экземпляра, тот раб книжного дела навсегда!

— Ой! — кричит вдруг издатель, ударяя себя в лоб ладонью. — Аспид ты и василиск! Ты что же наделал тут, персона?

— А что? — озадаченно спрашивает метранпаж, поднимая на лоб пенсне, привязанное веревочкой к ушам.

— Что же у нас на титульном листе «Повести» через «е» напечатаны, когда там «ять»?

Метранпаж посылает за орфографическим словарем, там оказывается «ять». Начинается долгое чесание затылков по поводу, как теперь доправлять набор и что делать с уже напечатанными листами.

Так или примерно так размышлял Смирдин, улыбаясь и подкидывая на ладони томик почти карманного формата, на отдельном шмуцтитуле которого было напечатано красивым гарамондом: «Полное собрание сочинений русских авторов». А если смотреть титульный лист, там значится: «Сочинения Озерова, издание дополненное и сверенное по рукописям».

Александр Филиппович раскрывает компактный томик и, не переставая любоваться шрифтом и бумагой и виньетками, где резвятся музы и амурь, читает наугад:

Рука всевышнего отечество спасла!
Герои росские, возрадуйтесь сердцами,
Разбит, разгромлен грозный супостат,
Бежит, о собственном заботясь лишь спасенье,
И мир, покой снисходят, наконец,
На очаги твои и веси, о Россия!

И ему вспоминается скрежет множества телег, и ржание лошадей, и крик человеческий — исход из Москвы перед нашествием французов. А Ростокино, а атака польских улан на их французских преследователей, в результате которой они с Аннетой не попали в плен? Где-то он сейчас, этот бравый Зралко-Забокжецкий, который потом с таким пылом вел свой конный полк в атаку на декабристов на Сенатскую площадь?

Александр Филиппович весь погрузился в воспомина-
нья, такие яркие и живые,— и это тоже был признак при-
ближающейся старости. Кто-то вошел в его контору, не-
которое время стоял нерешительно у притолки, потом
поздоровался, даже шаркнул подошвой.

— О, Федор Михайлович! — поднялся навстречу во-
шедшему Смирдин.— Милости просим.

Это был Федя Успенский, бывший однокашник Саши
Смирдина. Каждый раз, когда Александр Филиппович
встречал этого Федю или даже думал о нем, чувство доса-
ды его начинало мучить. Насколько шелапут и лентяй
оказался его старший сын, его бывшая надежда и неосуше-
стившаяся гордость, настолько порядочным человеком
и умницей выглядел Федя! Отец его умер давно, теперь
старший брат был в инженерах при графе Клейнмихеле,
на виду у самого государя. Но Федя не желал использо-
вать никакой протекции, он брал у Смирдина вычитку
корректур, чтобы заработать деньги. Все выполнял точно,
в срок и очень аккуратно.

Александр Филиппович знал, что и его Саше однокаш-
ник Федя очень нравится, но, когда отец начинал выстав-
лять его примером, избалованный сыночек чуть ли не
крик поднимал: «Мне надоели ваши вечные наставленья!
Лучше бы за своими делами глядели, а то не ровен час
в долговую яму попадете, в Тарасовский дом!»

— Алекс! — кричала из кухни при этом вконец изму-
ченная стиркой и кухней Эмилия Егоровна.— Когда же
ты, наконец, высечешь этого грубияна?

Но Александр Филиппович предпочитал отмолчаться.
Блаженны миротворцы!

Федя отодвинул томик Озерова, даже не любопыт-
ствовав его раскрыть, и выложил правку листов другого
очередного томика — Лермонтов. «По синим волнам
океана, лишь звезды блеснут в небесах...» Тогда Смирдин
не удержался, похвастался-таки — ведь первый в новой се-
рии, да и какой поэт — Озеров!

Успенский вежливо перелистал томик, поздравил
с удачным началом, похвалил заставки, виньетки, шрифт.

— А сам поэт? — спросил Александр Филиппович
и даже кое-что прочел наизусть.

— Знаете, — живо повернулся к нему Федя, — честно
скажу вам, не нравится мне этот Озеров. Картонный он
какой-то, как бутафория на театре. И Пушкин Озерова
поэтом не признавал.

Александр Филиппович хотел вступить за поэта своей молодости, сказать, как бойцы Бородина шли в атаку со стихами Озерова об отчизне. Но подумал: это же совсем другие люди. Другое время и другие люди! Им сейчас гражданскую поэзию подавай, а не патриотическую!

И Федя Успенский словно услышал его мысли.

— Сейчас иная литература должна быть в ходу, Александр Филиппович, не мне вам объяснять. Народ стонет, а все кругом молчит. Я тут познакомился с одним замечательным живописцем из хохлов. Брюллов с Жуковским его выкупили у помещика. Так он, знаете, и стихи пишет!

— Знаю,— улыбнулся Смирдин.— Знаю, о ком вы говорите, я же книгопродавец. А его мой коллега Лисенков издает-с, Шевченко его фамилия, этого стихотворца.

— Да, да! — покивал Федя.— Это он. Так он пишет: «От молдаванина до финна на всех языках все молчит!» Это у нас-то в России!

Смирдин на всякий случай стал оглядываться и даже приоткрыл дверь в кладовую, чтобы посмотреть, не подслушивал ли их кто. Но там был один Василий Егорович Генкель, который сидел далеко и заполнял какие-то бланки. Ведь смирдинская лотерея шла вовсю.

Когда же он вернулся в контору, Успенского уже не было, он ушел, захватив новую порцию корректур. А Смирдину опять стало грустно, потому что со своим сыном таких разговоров он не вел никогда.

6

Когда внесли свечи, Смирдин наконец оторвался от корректур и счетов, придвинул к себе сегодняшнюю почту.

Среди нарядных заграничных конвертов, которые у них делают с какими-то пестрыми ленточками и гербами городов, и среди унылых российских писем со множеством безобразных сургучных печатей одно выделялось штемпелями почтового ведомства — орленые, со скрещенными почтовыми рожками штемпеля сообщали города, через которые прошло письмо, прежде чем попасть в Санкт-Петербург и лечь на стол адресату — книгопродавцу Смирдину. «Екатеринбург, Уфа, Самара, Нижний Новгород...» — читал Смирдин на штемпелях названия почтовых станций.

— Далеконько шло-с! — качнул он головой и первым взял именно этот конверт.

Повертел его в руках — письмо было из какого-то Кургана в Сибири, Смирдин плохо представлял себе эту географию — и сломал сургучные печати.

«Милостивый государь Александр Филиппович! Вы меня скорее всего не помните, а ведь мы встречались ранее и довольно часто при добрейшем Василье Алексеевиче Плавильщикове и княжне Скарятинской Анне Ростиславовне, царство небесное им обоим. Я же Евгений Петрович Обрезков, бывший корнет лейб-гвардии гусар, историю мою вы должны помнить. Теперь же я по монаршей милости вышел на поселение, вместе с моими товарищами по несчастью мы завели хозяйство, сеем и пашем, поскольку щедрая сибирская земля тут позволяет и сеять и пахать. Просьба же у нас к вам есть покорнейшая...»

Смирдин опустил письмо и схватился за сердце — боже мой! Боже милостивый! Это же Евгений Петрович, жених княжны Аннеты, будто явился с того света. Даже сердце останавливается, отказывается верить — столько лет прошло, и он живой!

«Читали во многих журналах и газетах петербургских и московских, которые только попадали в нашу глушь, о вашей великой славе, почтеннейший Александр Филиппович, как книгоиздателя и достойного преемника нашего Плавильщикова, честь вам и хвала! Теперь прочли ваше объявление о высылке книг по заказам иногородних покупателей и обращаемся с просьбою. Мы с товарищами решили устроить училище и библиотеку для крестьян и детей крестьянских. Мы же и сами теперь по сословной принадлежности — крестьяне. Деньги уже собраны для этой цели, мы даже пасеку специальную заложили, весь мед, который с этой пасеки будет продан, послужит делу комплектования сей библиотеки, мы так и именуем ее, в шутку, конечно, книжная пасека...»

Смирдин сидел, положив руку на грудь, с закрытыми глазами — и виделся ему цветущий летний луг под Красным Селом, и слышался голос с картавлием и пришепыванием: «Вот это фто? Это бабочка амариллис вульгата...»

— Александр Филиппович, что с вами? — встревожился, войдя в контору, Генкель. — Не позвать ли Эмилию Егоровну?

Смирдин встрепенулся, заверил, что у него все хоро-

шо, а письмо декабриста отдал ему, с просьбой исполнить по приложенному списку, чего не окажется, найти по обмену в других магазинах.

— Там еще цензор Никитенко пришел...— сказал Генкель, понизив голос и наклоняясь к уху хозяина,— вас спрашивает.

— Чего ему надо?— сердце у Смирдина опять стало покалывать.

Генкель пожал плечами.

— Ну, зови.

Явился Александр Васильевич Никитенко, как всегда, подтянут, корректен, одет словно с модной картинки— будто англичанин, а не сын малороссийского крестьянина.

Смирдин, подавляя сердечное колотье, встал ему навстречу, обменялись рукопожатьями.

— Покорнейше прошу, извините за визит,— начал Никитенко, снимая цилиндр и отставляя трость, пока усаживался.— Печальное событие! Я с похорон нашего незабвенного Галича Александра Ивановича, помните? Насстоящая его фамилия была Говоров.

Смирдин всплеснул руками. Тогда в ночлежке Апраксина переулка мадам Говорова же сообщала, что муж ее в Сампсониевской больнице, он, Смирдин, все собирался навестить, потом пошли эти переезды, разоренья...

— Я потому к вам и зашел после похорон,— печально продолжал Никитенко,— что мало осталось людей, знавших и искренне любивших покойного нашего философа, а вы, я знаю...

Смирдин еще раз всплеснул руками, просто не зная, что сказать!

— Это был ум своеобразный и острый, не укладывавшийся в рамки никакой официальной философии. Ему везде было бы худо—у нас, в Англии, во Франции, в Америке, в Китае, черт побери, везде, где массовый предрассудок господствует над истиной, ведомой немногим.

Слышно было, как за перегородкой Генкель укоряет Сашу Смирдина, что он совсем откололся, не желает помогать, а сам не служит нигде, никуда не устроен. Саша что-то бубнил в свое оправдание.

— Несем потери невозвратимые!— воскликнул Никитенко.— За малое время похоронили Полевого, Белинского, теперь—Галич. А кто лезет наверх? Революция

в Европе до смерти напугала, даже не государя, нет, а этих держиморд, которые его окружают... Пресловутый Бутурлинский комитет — цензура над цензурой!

«Если уж ты, цензор, любимец обеих императриц, не сешь такое, — подумал Смирдин. — Что же остается нам, простым смертным?»

— Он же лежал последние годы в психиатрическом отделении, — рассказывал Никитенко, — лежал, это будет неточное слово. Он сидел там, в остроге! Немногие его посещали, да и посещения особо не разрешались. Там же принята система гидропатии, то есть лечения холодной водой, больные жалуются при свиданиях, это доходит до государя и так далее... Проще всего свидания не разрешать!

Смирдин теперь представил себе дородного профессора Галича с палкою, на которой была морда сатаны, и его вечно озабоченную мадам Говорову в визитной шляпке «гнездо колибри»...

— Но при моих связях, вы понимаете... — продолжал Никитенко. — Спрашиваю Галича как-то — какая же дикая случайность, что вы тут лежите! Не доложить ли государю? А он, знаете, так отвечает: а Гегель сказал — необходимость рядится в одежды случайности...

«Что же сделал ты, — подумал тогда Смирдин, — чтобы вызволить своего учителя из этой каталажки?» Но вспомнил тотчас упрек сына, высказанный однажды: а что ж ты не заслонила Пушкина своей грудью?

Никитенко же, излив скорбь по поводу кончины Галича, принялся за мировые проблемы.

— Я начинаю думать, что 1812 год не существовал действительно, что это мечта или вымысел. Он не оставил никаких следов в нашем народном духе, не заронил в нас ни капли гордости, самосознания, уважения к самим себе, не дал нам никаких общественных благ, плодов мира и тишины. Странный гнет, безмолвное раболепство, вот что Россия пожала на этой кровавой ниве, на которой другие народы обрели богатства прав и самосознания. Что же это такое? Действовал ли в самом деле народ в 1812 году? Так ли мы знаем события? Не фальшь ли все, что говорят о нашей идеологии, о народном патриотизме? Не ложь ли это, столь привычная нашему холопскому духу? Нас бичуют, как во времена Бирона, нас трактуют как бессмысленных скотов. Или наш народ, в самом деле, никогда ничего не делал, а за него всегда делала власть и лица? Не-

ужели он всем обязан тому, что безропотно повиновался,— этой гнусной способности рабов? Ужас, ужас, ужас!

Смирдин не знал, что отвечать, тем более что за перегородкой несогласие сына с его книготорговым воспитателем разрасталось и приобретало формы скандала. Но Никитенко овладел собой и, вставая со стула, сказал:

— А у меня есть ведь и еще одно к вам дело, почтеннейший Александр Филиппович.

— Какое-с?

— Слышал, что по высочайшему соизволению вы проводите бесприигрышную лотерею ваших книжных богатств и уже выпущены лотерейные билеты?

— Пожалуйте, вот-с. По десять рублей билет.

— Дайте мне один билет,— Никитенко достал роскошный бумажник чертовой кожи.— Вот двадцать пять рублей, сдачи не надо...

Никитенко, взяв цилиндр и трость, удалился, словно британский лорд, а Смирдин проводил его до порога, в страшном смущении. Что же это? Его бесприигрышная лотерея превратилась в некий сбор милостыни в пользу разорившему книгопродавцу? Государыня Александра Федоровна распорядилась купить сто билетов и демонстративно их разорвала на глазах у Генкеля. Стыд! Князь Вяземский, поэт, друг Пушкина, покупал по пятидесяти рублей билет... Общественная милость!

Но ведь и жить как-то надо и хоть кухарку нанять в помощь Эмилии Егоровне, она, бедная, прямо с ног сбилась...

На днях его приглашал к себе старый знакомец Леонтий Васильевич Дубельт, теперь он был уже генерал-лейтенантом, сообщил о монаршей милости по поводу проведения лотереи. Сам изволил приобрести три билета, а затем как бы невзначай спросил:

— А что делает у вас господин Успенский Федор Михайлович?

Растерявшийся Смирдин долго рассказывал про корректуру, которую держит у него г-н Успенский, и хвалил его за это. Дубельт расспросил его еще о том, учился ли он вместе с его сыном, не знаком ли Смирдин с его старшим братом, который служит инженером корпуса путей сообщения, и еще что-то, потом с миром отпустил.

«Что-то натворил этот умник Федя...—соображал

Смирдин, идя домой.— Зря Дубельт интересоваться им не станет».

Затем он услышал за перегородкой равномерное не то шлепанье, не то хлопанье и приглушенное пенье мужского голоса. Это его сын, который подчинился-таки требованию воспитателя, складывал стеллаж, как велел ему несносный «немчура», а сам, в знак независимости, напевал:

Поговори же ты со мной,
Гитара семиструнная,
Душа моя полна тоской,
А ночь такая лунная!

Александр Филиппович вышел на набережную просто так — глотнуть свежего воздуха. Никакой луны не было, накрапывал надоедливый дождь, возле недалекого кабака ссорились пьяницы, но душа была действительно полна тоской!

7

Была полна тоской и душа младшего Смирдина. Он уже несколько раз ходил к артистическому подъезду театра, но оставался в тени, потому что костюм Франца отец теперь держал запертым. Видел, как однажды его Веру Миловидину, всю в черном газовом наряде и с черным же зонтиком, сажал в свою коляску какой-то гвардейский хлыщ. В другие разы он ее просто и не видел.

Но вот ему как-то и повезло. Отец, в хлопотах по лотерее, забыл запереть большой гардероб, и Саша вновь принял обличье юного князя Скарятинского. На Невский фланировать он не пошел, было опасно встретить там лишних знакомых, да и сам дядюшка мог из своей типографии выйти, пройтись. Поэтому юный князь прогуливался по более безлюдной Гороховой улице, отработывая походку и манеры.

И вот у моста через Фонтанку, возле казенных зданий унылого желтого цвета к нему приблизился некто в сером.

— Александр Александрович,— ни с того ни с сего сказал он.— Зайдемте, поговорим.

Так как за спиной этого некто намечались еще несколько персон подобного типа, оставалось подчиниться.

В желтом здании был квадратный кабинет, без единого признака вольномыслия, только общественно необходимая канцелярская мебель. Там ему предложили сесть на

стульчик перед большим столом, за которым сидел пожилой, тучный господин. «Генерал, очевидно», — подумал Саша, потому что на вешалке красовалась шинель, статская, но на красной подкладке. В углу господинчик небольшого чина (тошенький, лысенький) что-то строчил у другого стола.

Генерал как можно ласковее стал расспрашивать Сашу о его житье-бытье, пока Саша долго и путано объяснял, чем он собирается заняться после окончания коммерческого училища, генерал сузил глазки, как огромный кот, и даже стал посапывать носом.

«Спит!» — подумалось Саше.

Но генерал вдруг раскрыл глаза и спросил: давно ли Саша бывал у Успенских? Оленька Успенская! — вдруг с чувством вражды вспомнилось Саше. — То бишь госпожа Ольга Михайловна Верховская!

А генерал расспрашивал: кого встречал у них Саша? Не был ли там господин с ассирийской такой бородой — господин Буташевич-Петрашевский? А что говорил старший брат Успенских, Мишель?

«В черном газовом платье, — между тем думал о своем Саша. — И со шлейфом, вероятно. Он повез ее на бал, не иначе. А куда бы повез ее он, Александр, если б она вдруг согласилась, как в прошлый раз?»

Между тем генерал вновь сощурил глазки, но продолжал тихо и проникновенно говорить о тех, из числа молодежи, которые заблуждаются, не ценят монаршей заботы о народе, о государстве, пытаются разрушить все основы, свергнуть отечество в такую же анархию, в какую свергнуты ныне многие страны Европы.

«А он, Александр, даже не знает, где она живет, эта Вера Миловидина. Пока она была ученицей, она жила, конечно, в пансионе возле Чернышева моста. Но сейчас-то она там не живет... Значит, она где-то снимает квартиру. не угол же?»

— Так говорилось ли там, у этих Успенских, про ниспровержение основ? — повысил голос генерал. Александр пролепетал было о том, что не слышал, не помнит, потому что был занят другим...

— Но вы же присутствовали? — настаивал генерал. И Саша вертелся перед ним, как сазан на крючке, но от его воли уже отвертеться не мог, поэтому признал, что да, кажется, говорилось...

Дальнейший разговор шел в том же духе. «О, госпо-

ди! — думалось Саше, когда он слышал очередной бой напольных часов из соседней комнаты. — Когда же это кончится?»

Но все приходит к своему концу. Чиновник, который сидел за угловым столом и скрипел пером, по мановению генерала встал и подал написанный им протокол. Генерал пробежал его глазами, удовлетворенно засопел, вручил Александру для прочтения, а сам сложил руки на выпуклой груди.

Читая формулировки, Саша просто холодел от таких слов, как «умышляли на особу государя императора...», «мнение о необходимости революционного переворота...», «пропаганда неповиновения среди крестьян и солдат...». Тем временем вошел унтер-офицер в бескозырке, заправил лампы и зажег их, потому что за полукруглыми окнами уже синел вечер. Часы в соседнем помещении басовито пробили семь. «Теперь не успеть к театру», — подумал Саша.

Взял перо из приготовленного перед ним стаканчика и подписал каждый лист. Легко подписал, как будто только этим и занимался всю свою короткую жизнь.

Генерал изобразил на кошачьем лице живейшее удовлетворение, жал руку Саше, просил передать нижайшее почтение его батюшке и заверение, что он, генерал, вскоре же пойдет, чтобы приобрести билетов его полезнейшей лотереи.

— К окончанию водевилей уже не попасть, — решил Саша. И повернул от Фонтанки на Загородный, к Семеновскому плацу. Сказать, что его не мучила совесть, что он, буквально не глядя подписал все, что ему эти чинуши подсунули, было бы неправдой. Шевелился в нем червь совести, шевелился, а он оправдывал себя весьма примитивно — а, плевать мне на этих Успенских! Или: что мне с ними, детей крестить, что ли? Или: а Оленька ихняя тоже хороша... Хотя, что ему лично сделала эта Оленька?

Во тьме на Загородном он узнал ту арку ворот, куда когда-то провез их извозчик к Розенкранцу. Горели, потрескивая, голубоватые газовые фонари, разной величины экипажи мчались в обе стороны по проспекту, и слышался дружный цокот копыт по булыжнику мостовой.

Влекло туда неодолимо — хотя чего ж идти? Идти туда было бы против всякой логики и смысла... Но Александр плутал по дворам и шлепал по лужам, пока не увидел знакомый подъезд, над которым висел фонарь, а

в нем желтый язычок свечного огарка. Вышел слуга с лицом как бы вытесанным стамеской и стал вытряхивать какой-то коврик.

— Ваше сиятельство! — узнал он Александра. — Что же вы стоите? Милости просим!

8

В роскошной квартире Розенкранца все карсели были зажжены, ветер в открытых окнах отдувал занавески из китайского шелка с драконами. В квартире было много народа, стоял гомон голосов. Был запахнут резной огромный буфет, возле которого, одетые во фраки, суетились буфетчики от Палкина.

Тут же были и неизменные Апалоша с Кошмаркиным, инструменты их и ныли и трепетали, выводя с надрывом: «Две гитары в унисон жалобно заныли, снится, снится дивный сон — милая, не ты ли?»

Но главное это был здесь цыганский хор. Толпа цыганок, большей частью некрасивых и разного возраста, но все со звенящими монистами и колеблющимися в ушах огромными кольцами серег... Как-то они умели постоянно двигаться, даже не в танце, а огромные пестрые юбки их непрерывно колыхались, словно перья диковинных птиц. «Ром, ром ас-сомэ, рана-рана тэла...» — пели они, когда Апалошины гитары делали себе роздых.

— Ах, какая степь, какая дикость! — восхищался их поведением и пением высокий господин с холеной и расчесанной надвое русой бородой. По-видимому, он был самый важный здесь гость: «Граф» — именовал его предупредительный Розенкранц, а цыганский староста в малиновой рубахе так и смотрел в его глаза.

Но Веры Миловидиной здесь не было нигде.

«Цыганочка гай-гай, цыганочка гай, черная, фартовая, на картах погадай!..» — нестройно галдели цыганки, пока не было организующего начала в виде гитар. А гитары настраивались.

— Дай верхнее фа, дай, слышишь, Кошмаркин? — требовал Апалоша, зажимая крайнюю струну и дергая так, что она выла волчицей. Кошмаркин старался, даже уши у него взмокли, но никак не мог угодить требовательности своего гениального собрата. Кончилось все тем, что Апалоша, оставив гитару, треснул Кошмаркина по затыл-

ку. Тот заплакал, и Розенкранцу пришлось долго их примирять.

Александр с изумлением смотрел на цыган, в этой роли он видел их впервые. До сей поры он привык, что цыгане на Кузнечном рынке лудили кастрюли, а цыганки мошенничали или гадали. Теперь же они представились совсем по-иному — не косматые, а в прическах, даже с искусственными цветами, не в лохмотьях, а в шелку и батисте, не босиком, а в бретках на высоких каблуках. И господ собралось много послушать цыганский хор, среди них и офицеры в гвардейской форме. Шла игра и в бильярд, и за зелеными столами, но в целом все слушали хор.

Отец как-то рассказывал, что император Николай Павлович в своем неустанном стремлении полностью регламентировать всякую общественную жизнь пытался цыган выселить из Петербурга. Но те представили жалованные грамоты еще императрицы Анны Иоанновны, выданные «знатнейшим» из цыган. Да и как было Петербургу без цыган, когда даже в популярной песне пелось: «...по обычаю петербургскому, по обычаю древнерусскому, мы не можем жить без шампанского и без табора, без цыганского!»

Главную певуньей у них здесь была Стеша — рослая, белокожая, вовсе не черная, а с длинной белобрысой косой. Впрочем, это ничего не означало, коса могла быть привязана, а сценический псевдоним скрывал собою таборное имя — какая-нибудь Параньница или Мариула. Но голос! Низкий, почти до баса и выразительно модулирующий к самым верхним тонам — в нем было что-то и от волшебной птицы Сирин, и от языческих колдуний, и от разбойного или каторжного бытия. «Ах, я б отдала за вас полмира... — пела она, перебирая над головой обнаженными руками. — Пусть вы все тот же, но другая я... Под звон цепей, под окрик конвоира уйдет этап в забытые края».

Возле Александра, до которого сегодня здесь никому не было заботы, потому что имелось много и других гостей, стала ходить одна старая, вся раскрашенная цыганка, одетая пестро, как и все, и без единого седого волоса. Она внимательно разглядывала Сашу, заходя то с одного боку, то с другого, а Саша даже подумал: не хочет ли она у меня стибрить что-нибудь?

— Ты чей, сынок? — вдруг спросила она. — Ты не живешь ли на Мойке, у Синего моста?

— Да, — опешил Саша, хотя на такую наглость надо

было бы ответить просто ударом ноги.— Я живу у Синего моста. А что?

Тут Апалолоша, наконец наладив гитары и взаимоотношения со своим помощником, запел проникновенно:

Прощай, прощай! О, если б знала ты,
Как тяжело, как страшно это слово...
От муки разорваться грудь готова,
А в голове больной бунтуют снова,
Одна другой безумнее, мечты...

Цыганки рассыпались, некоторые пошли к буфету угощаться, а старая цыганка ухватила за рукав Стешу, что-то быстро проговорила ей гортанно по-своему, и Стеша, вскинув в изумлении брови, так же, как и та, обошла Сашу кругом и даже покачала головой, как бы изумляясь, а толстая пшеничная коса ее при этом раскачивалась в противоположную сторону.

— Ну, весь как он...— старая цыганка улыбалась во весь накрашенный рот, в котором торчали два желтых зуба.— И носичек длинноватый, и глазочки узенькие...

— Так ты думаешь, это мой брат?— не переставала изумляться красавица Стеша все тем же низким модулирующим голосом певицы.— Ты не ошибаешься, матушка?

Александр наконец пришел в себя от их наглости.

— Оставьте меня, что за шутки? Розенкранц, можно ли в вашем доме чувствовать себя спокойно?

— Подите прочь!— со смехом прогнал Розенкранц и Стешу, и старую цыганку.— Что они, гадать, что ли, вам предлагали? Эх они, фараоново племя... Не обращайтесь на них внимания, князь. Не угодно ли лучше взять карточку? Или все соблюдаете свой запрет?

В этот момент в гостиную вошел новый гость, и сердце Александра затрепетало, потому что это был толстый Костька Елисеев. Рано или поздно должно же было случиться что-нибудь подобное!

— Господин Елисеев,— представил их друг другу Розенкранц.— Князь Скарятинский.

Костька, однако, не подал и виду, что они знакомы, раскланялся. Александр же заявил, что сегодня он готов и сыграть. Розенкранц кинулся к ломберным столам составлять карточную партию.

— Не играй с ними, золотой, не играй!— забормотала вновь появившаяся старая цыганка.— Они проведут и выведут.

Розенкранц цыкнул на нее и провел Александра к сто-

лу, где уже тасовал карты великородный граф с расчесанной надвое бородой.

— Деньги на бочку, сударь! — предупредил граф Александра. — Или, как сказал один почтенный директор пробирной палатки, — читатель, рассчитай вперед свои депансы и даром не дерзай садиться в дилижансы!

Пошла игра — две десятки, три туза, пики пошли за козыри, дама трэф взяла десятку...

— И это князь? — сказал Костька Елисеев Розенкранцу у буфета, где они приняли по рюмочке. — Это же Смирдин.

— Какой Смирдин, — спросил Розенкранц, — тот самый книгопродавец?

— Сын его, — сказал Елисеев, заедая севрюжинкой.

— Так это даже и лучше! — воскликнул Розенкранц. — Он же богат как Крез!

— О! — махнул рукой Костька. — Разорились все дочиста. Магазин и типографию продали...

— И не говори, — возразил Розенкранц. — Знаем мы этих фальшивых банкротов. Это только чтобы от кредиторов отбиться, а сам небось тугую мощну припрятал.

Между тем Александр поставил десять банкнот по десять рублей и выиграл. «Возвысим ставки?» — спросил он у графа. Граф вынул бумажник и, пересчитав деньги, согласился: «Возвысим».

— Сынок! — зудела над ухом цыганка, как назойливое насекомое. — Не играй с ними больше, встань, уйди...

— Как не играй? — отвечал ей в запале Александр. — Не видишь, струя пошла?

Он опять выиграл. Все кинули свои столы и кресла, чтобы взглянуть на удачливого игрока. Розенкранц предложил: «Удвоим?» — и сам вошел в игру. «Удвоим!» — отвечал Александр, достал из жилетного карманчика Францеву лорнетку и принял ее через нее, назло всем, рассматривать партнеров.

Апалоща и с ним Кошмаркин ударили по струнам, цыганки же запели тихо, под сурдинку. За распахнутыми окнами текла петербургская ночь, а с августовского неба то и дело скатывались звезды.

Принесите последние нам пистолеты,
Проверьте стволы и взведите курки.
Уходит к чертям раскаленное лето,
И нет ни письма, ни ответной руки.

Постой, секундант, пять минут нам осталось,
Противник мой — время, без дрожи стрелок.
В союзе со мной только грусть и усталость
И сердцем владеющий тот холодок.

Дай кину я карты себе напоследок,
Тузы, короли — я не верю судьбе.
Бретёр, аферист я и жребий мой редок,
Но как отыскать мне тропинку к себе?

И нету ответа и ждут секунданты,
Так дайте оружие, барьер на подъем!
Лишь только двенадцать прозвонят куранты,
Мы в вечность, как в путь повседневный, уйдем!

Александр обернулся и над цыганкиной головой с бумажною розой в ночном окне увидел падающую звезду. Он повернулся к зеленому сукну и поднял свою карту. Его карта взяла.

— А-ах! — вылетело дружно у всех присутствующих. Такой удачи подряд мало кто запомнит.

— Отлично, отлично! — кричал Розенкранц возбужденно. — Поздравляю! Внимание, господа, ставка удваивается!

— Ну нет-с, — сказал бородатый граф, опорожнив свой бумажник. — Как сказал все тот же директор пробирной палатки — каждому дню довлеет его глупость... Тимофей! Господа, кликните моего кучера!

И он ушел, сопровождаемый возгласами сожаления и пожеланиями здоровья. Тем же из гостей, кто с ним знаком не был, показывали многозначительно пальцем в направлении потолка.

— Ну, князь, — усмехнулся Розенкранц, — берите карточку.

Александр, засовывая выигрыш в карман, объявил, что он больше трех раз подряд банк не срывает.

— Как — больше трех раз? — вскричал Розенкранц.

— А вот так. Как Германн в «Пиковой даме»... Помните, у Пушкина? Тройка, семерка, туз.

Розенкранц пришел в совершенную ярость, даже стукнул кулаком по спинке кресла.

— Что вы тут меня бель летр, изящной литературе учить будете? Ставьте немедленно!

Но чем более свирепел Розенкранц, тем более хладнокровным становился Александр. И даже чувствовал какую-то жестокою радость в душе — «не ставлю, и баста».

Розенкранц, видя, что даровые деньги с его зеленого стола даром же и уплывают, окончательно потерял голову.

— Негодяй! — закричал он, и все остановилось — и пение и игра. — Ты шулер, аферист, вот ты кто! Я полицию позову...

— Зови, — без страха засмеялся Александр. — Она тебя первого заберет.

Розенкранц кинулся на Александра с явным намерением содрать с него вестон, в кармане которого теперь покоилась вожделенная тысяча рублей. Но тут дорогу ему преградила старая цыганка, от сильного рывка у нее слетело монисто, серебряные рубли и полтинники с глухим звоном покатались по паркету.

— Князь вшивый! — завопил толстый Елисейев, присоединяясь к Розенкранцу. — Выкладывай наличные!

Александр, поддерживая княжеское реноме, принялся говорить, что пришет секундантов... Цыганка подтолкнула его к дверям:

— Иди, сынок, иди... Это люди без чести...

Он нарочито медленно натянул перчатки, застегнул пуговики. Взял трость-зонтик и вышел. Кошмаркин вслед ему свистел в четыре пальца, Костька Елисейев выражался бранными словами, а цыганки оглушительно визжали. Старая же цыганка собой загораживала выход, пока ее не утянул цыганский староста в малиновой рубахе.

Саша Смирдин уже был внизу и прислушивался к ерлашу, который несся из ярко освещенных Розенкранцевых окон, когда из тьмы подкатила коляска. Выскочил бравый гвардеец с усиками и галантно подставил руку. Опершись на нее, из коляски, словно черная большеглазая бабочка, выпорхнула Вера Миловидина. И оба поднялись в квартиру Розенкранца.

Лотерея, однако, принесла некий доход и позволила Смирдину расширить обороты, принанять людей. Нашлось место и Прасковье Ивановой, которой, если наш любезный читатель помнит, Смирдин когда-то обещал, при уходе Ларьки Апарина, что-нибудь придумать. Она у него в конторе стала чем-то вроде почтмейстера, разносила неутомимо по городу письма и книжки, даром что наша российская почта нетороплива и необязательна. Ча-

стенку она приводила с собой Лариску, с куклой на руках, брала кошелку с письмами и бандеролями и так отправлялась шататься по необъятному Санкт-Петербургу.

Смирдин велел ей пойти к Феде Успенскому, узнать, почему вдруг сей обязательный джентльмен задержал срочные корректуры? Прасковья взяла Лариску, Лариска взяла куклу, и они отправились, но вскоре воротились в большой панике.

— Ой, хозяин, его, сказывают, арестовали... Жандарм ночью приезжал, да не один! Ой, я боле туда не пойду, провались они пропадом и эти корректуры. Типография вам еще тиснет, кого-нибудь наймете...

— Ты что мне тут указываешь! — рассердился Смирдин. Однако встревожился: не корректуры его уже волновали, а Успенский, тем более что Дубельт при той встрече, когда объявлял государеву милость, ведь спрашивал и об Успенском?

Смирдин решил пойти к Дубельту, под предлогом доложить о ходе лотереи, попутно разузнать, если удастся и помочь... Стал собираться, сложил очки, полез за футляром в стол и там обнаружил пачку денег.

Удивительно! В этот ящик, зная скрупулезность Смирдина и его ворчливость, никто никогда не заглядывает без него. Да и кто бы стал подкладывать деньги? Это была аккуратно подобранная пачка десятирублевых банковских билетов ровно на сумму, которая у него, Смирдина, когда-то пропала... Словно кто-то их у него занял, а теперь добросовестно вернул долг.

Александр Филиппович сразу же, как и тогда, подумал о Саше. И в носу у него засвербило, слеза изнутри набежала: неужели он возвращается на путь истинный?

Да и что он, все-таки отец, знает о жизни сына?

Тут пришел Василий Егорович Генкель, и Смирдин сказал ему о решении сходить к Дубельту. Практический Генкель улыбнулся — так он его запросто и принял, будто какого-нибудь графа. Стал отговаривать: он, Генкель, слышал, что и старший брат Успенский, инженер, арестован в Москве... В Петербурге всех хватают, везут в крепость, все перепуганы, во всех видят агентов... Некрасов перепуган, заперся в квартире... Краевский перепуган...

Александр Филиппович обернулся и увидел Сашу, который вошел из конторы, где заполнял почтовые бланки, специально, чтобы слушать их разговор. Смирдин расстроился словами Генкеля, никуда не поехал, а сын его по-

сле обеда куда-то вновь ушел не спросясь. Смирдин до сумерек сидел, не зажигая света, в полном одиночестве, глядел на аккуратно перевязанную шерстинкой, неизвестно откуда появившуюся пачку денег и не знал, что предпринять.

В жилище у них вновь стало тесно — вышли обе дочери из пансиона, а никуда не пристроены. К младшей вроде сватается этот Дмитрий Дмитриевич, но мелковат, мелковат, а приданого требует... Всю эту ночь они с Эмилией Егоровной, смертельно уставшие и взбудораженные вестью, что в Петербурге всех хватают, сидели на кухне, возле слабой свечечки, под аккомпанемент храпа кухарки, которая спала за печкой.

В ночной мертвенной тишине они вздрагивали при каждом стуке колес снаружи. Ведь и Саша их дружил с младшим Успенским, а уже за полночь и его нет...

Только под утро, когда хлопнула входная дверь и они услышали его шаги по лестнице, от сердца у них отлегло.

Александр днем, после обеда, отправился к квартире Успенских. Отец все-таки угадал — его Зайка решил начать новую жизнь. Надо было искупать грехи жизни прежней — один уж он искупил. А как быть с грехом относительно Феде? Он лучше отца понимал, что на Гороховую его теперь в качестве просителя и не пустят.

У дверей в квартиру Успенских висела нитка модного звонка, но позвонить было нельзя, потому что нитка была оборвана. Александр подергал за ручку двери, она была не заперта, он вошел. Ни людей, никого в пустынной и темной прихожей... Саша двинулся дальше, припоминая расположение многочисленных комнат в этой старинной барской квартире.

Кто-то горько плакал в той гостиной с высоченным потолком и готическими окнами, где когда-то они слушали велеречивые рассужденья Фединоного брата. Саша открыл дверь и увидел, что это Оленька, в простом сатиновом платье, с непокрытой головой. Она наливала себе у буфета пахучие лечебные капли, стеклянный пузырек звякал о края рюмки.

Увидев Смирдина, она уронила и пузырек и рюмку на пол, та, правда, не разбилась, но укатилась под буфет. Оленька закрыла лицо руками и зарыдала еще пуще.

Странно, ни слезы Оленьки, ни просто ее вид теперь не трогали Смирдина. Да ведь он явился и не для того, что-

бы определять свое отношение к Оленьке, он пришел исполнить свой долг — как, он еще не знает.

Он предложил свои услуги. Оленька попросила ответить ее к ней в комнату, это была светелка в два окошка на втором этаже, с обычной для жилищ пансионеров гравюрой «Милосердие самарянки», глобусом и огромной парадной куклой с огромными же глазами и ресницами.

Оленька извинилась и прилегла на застеленную кровать, плакать не переставала, поменяла промокший от слез платок.

Она рассказала, как ночью третьего дня к ним нагрянули жандармы, перевернули все вверх дном. Хорошо, что матушка как раз накануне уехала в деревню — был сенокос, надо было распорядиться... И о брате из Москвы такие пугающие слухи!

За окном быстро темнело. Оленька попросила, чтобы Саша из ящика комода достал ей свежий платок.

— Один жандармский ротмистр, я даже его помню, — сквозь слезы лепетала она, — он бывал у моей подруги Аси Приклонской, этот гадкий ротмистр взял мой дневник... Мой личный дневник! И стал его, понимаете, читать. Читал и смеялся бесстыдно! Я вырвала у него этот дневник, а он все смеялся и говорил, что там у меня пропаганда хуже революционной! Потом они увезли Федю...

Настала совершенная уже темнота, в пустынной квартире царил тишина.

— Я даже не знаю, где свечи, — простонала Оленька. — Боже! Вся прислуга разбежалась... Я вчера пошла хоть что-нибудь узнать. Мосье Верховский, мой бывший жених, знаете, он даже не вышел ко мне, выслал тетку, мадам Глазунову... Она мне сказала, что их честная фамилия, да, да, именно так — их честная фамилия никогда ничего общего не имела с государственными преступниками!

И тогда юный Смирдин почувствовал, что его приняло на крылья вдохновение и несет невесть куда.

— Ольга Михайловна! — сказал он, становясь на колени перед ее кроватью, некий восторг все более им овладевал. — Если только какой-то неудачник Смирдин вам для чего-нибудь нужен, смею предложить вам свою руку и сердце.

И во тьме он не увидел, нет, скорее, почувствовал, что к нему тянутся белые девичьи руки, жалкие и трепещущие

от одиночества и горя. И он сам наклонился навстречу этим рукам.

То ли тикали часы, то ли крутился глобус или сам земной шар, то ли старый петербургский дом трещал и поскрипывал, как некий воздушный корабль... То ли просто, как гранитный каток, катилось всемогущее время, разъединяя и совокупляя, ниспровергая и одаряя счастьем, творя самую жизнь.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ СЕДЬМОЙ

Письмо Н. И. Греча в Москву М. Н. Загоскину, 15 декабря 1850 г.

...Цензура до того всех напугала, что никто не смеет предпринять никаких изданий. Литература русская зарезана: не стоит более учить детей грамоте; публика в негодовании, книгопродавцы с горя продают обои и стеариновые свечи. Жуковский прислал сорок стихотворений своих сюда для напечатания отдельною книжкою. Ханжеская цензура перемарала ему все, и теперь стихотворения его, обрезанные, обезображенные и уничтоженные, не выйдут. Следствие этой системы ясно: порядочная книжная торговля разоряется, писатель без хлеба, а букинисты наживают деньги старыми изданиями. И что всего печальнее, учреждается рукописная литература, самая опасная из всех, потому что она недоступна критике и живет втайне...

Глава восьмая

ЖИЗНЬ ПРЕДАТЕЛЬСКИ КОРОТКА

1

Прошло несколько лет. Так заканчиваются многие лучшие произведения изящной словесности, и мы не видим причины, почему бы нам вдруг отступить от этой оправдавшей себя традиции.

Избалованный литературой читатель ждет уж тут и счастливого конца, что-нибудь вроде брака Саши и Оленьки. Отец передает ему фирму, он богатеет, затмевает

ненавистных конкурентов и все другие светила петербургского книготоргового небосклона.

Если бы так!

Возвратившаяся из деревни матушка Оленьки, несмотря на всю сложность их положения, не дала согласия на руку и сердце Саши. Какой там Смирдин, когда они Успенские, да не из каких-нибудь дьячков, дьяконов или прочих мастеров кропила да кадила! Их предки с Грозным были в опричнине, при взятии Казани пало сразу три Успенских, при Полтаве два, а при Бородине один, но он зато был генерал, Оленькин дедушка. Его роскошный портрет в резной раме с дубовыми листьями украшал их готическую гостиную.

Не знаем уж, какие при этом велись разговоры и споры у матушки с дочерью, но Оленька замуж не вышла, и соседские дворники иначе ее не именовали, как «барышня Успенская», что в Петербурге обозначает высшую степень безнадежности.

Зато вышла замуж Лили Смирдина. И за кого бы вы думали? Да за того же господина Верховского Александра Андреевича, вот оказия! За того, который был племянником Глазуновых, потому и не гнушался родством с книгопродавцами. Александр Филиппович, как говорится, вывернулся наизнанку, а соорудил по лучшей категории и свадьбу и приданое, квартиру же им обеспечили Глазуновы.

«Ну, Лилька! — откровенно завидовала Катрин. — Воспользовалась ситуацией... Вот тебе и Андрюничк!»

Впрочем, Екатерина не сильно отстала от старшей сестры. Появился subtilный и совершенно серьезный Дмитрий Дмитриевич Александров, письмоводитель городской управы, Смирдину же пришлось перепрыгнуть через себя. Прошло, увы, то время, когда векселя его принимались без малейшего сомнения. Теперь пришлось и покляничить и поунижаться. Но свадьба тоже состоялась, и молодые переселились в далекий для Петербурга край — на Пески, в переулочек близ Слоновьей улицы, в домик с тремя окошечками, принадлежащий вдове Александровой, чиновнице четырнадцатого класса.

Тут неожиданно подкатила и удача. Благодаря хлопотам князя Вяземского и письмам Жуковского, который безвыездно проживал в далекой Германии, вдруг Смирдину Александру Филипповичу было высочайше пожаловано звание потомственного почетного гражданина, кото-

рое Николаем I в 1832 году специально было придумано, чтобы всякое купечество не лезло во дворяне.

Теперь и младший, Вольдемар, несмотря на материнские охи и вздохи, мог быть устроен в кадетский корпус. Был он немножко избалованный, но быстрый в движениях и голосистый, и офицерик из него должен был получиться преотличный.

Бедный же Вася Смирдин, не имевший ни семи пядей во лбу, ни умения выделять себя из общего ряда, тот, окончив с грехом пополам все то же коммерческое училище, поехал в Москву, заведовать чем-то в московском отделении торговли Ильи Глазунова.

Таким образом, все были пристроены, только при мыслях об Александре старший Смирдин вздыхал и даже иногда крестился.

Между тем шла война. Россия провозгласила себя защитницею всех православных подданных Османской империи и в качестве залога оккупировала дунайские княжества, принадлежавшие туркам. Тогда союзники турок Англия и Франция выслали свои флоты в Черное море, а султанские полчища вторглись на Кавказ.

Живучая «Северная пчела» писала: «Дипломаты смолкли, и заговорили пушки». Нахимов с русской эскадрой на рейде Синопа уничтожил турецкий флот.

Но, как писала все та же знаменитая «Пчела», «Османская империя была еще в силе и к помощи своих старых, добрых друзей она прибегла после ряда сокрушительных поражений, нанесенных ей русскими стратегами». Царю Николаю I непременно нужны были военные победы, чтобы как-то компенсировать кризис внутренней жизни, но и западные державы — Англия, Франция, Австрия — нуждалась в военных успехах.

«Эти державы дали понять Санкт-Петербуржскому двору, что он в своих благих намерениях зашел слишком далеко. Получив отпор на всех главных форпостах России, британский флот со своими союзничками решил, видимо, по мелочам не разбрасываться, а высадил десант в Крыму. Но в тылу у союзных армий досадным гвоздем сидел могучий русский Севастополь. Началась многомесячная героическая осада Севастополя. Но молниеносный бросок в хлебные степи Малороссии, на который уповали союзники, был чудовищно подорван».

История Крымской войны и осады Севастополя, мы надеемся, хорошо известна нашему почтенному читате-

лю. 27 августа 1855 года по старому стилю пал Малахов курган, а русские войска оставили Севастополь, перейдя по мостам на северную сторону. Но 16 ноября в Азии сдался Карс, и русскими была уничтожена вся турецкая анатолийская армия. Война, не приведшая ни к каким осязательным результатам, шла к концу. Николай I умер, на престол вступил Александр II.

В то осеннее оранжевое и холодное утро жители Васильевского острова слышали духовой оркестр, медленно подвигавшийся по Малому проспекту в направлении Смоленского кладбища.

— Лютеранина хоронят! — говорили обыватели, прислушиваясь к завываниям флейты и хрюканью валторн, потому что в Петербурге с музыкой хоронили только генералов и иноверцев.

И были правы, потому что хоронили бедного Франца фон Нагеля, фактора типографии, кузена Эмилии Смирдиной. Позавчера он, как всегда спокойный и рассудительный, выбрал несколько наборчиков за обилие печаток, сел передохнуть и вдруг ткнулся седеющей головою прямо в пол.

Смирдин больше всего боялся за Эмили. То затерявшееся колечко — «Фюр эвиге! Навек!» — которое, кстати, так и осталось у него, не шло из ума.

Но опасения его были напрасны. Эмили, об руку со Смирдиным, в черной вуалетке, шагала за печальной колесницей, отказываясь сесть на пролетку, которая ехала следом. Смирдин искоса поглядывал на ее лицо и видел совсем седые пряди волос, совсем морщинистую кожу опухшего подбородка жены. Куда ты делась, воздушная Эмили, которая когда-то обменялась братским колечком — «навек»?

Петербургские немцы взяли весь ритуал похорон на себя. Факельщики в белых цилиндрах шагали впереди белых же коней, покрытых атласными попонами. Оркестр рыдал, захлебываясь на самых патетических местах, господы шли за гробом, построившись в ряд по четыре, а экипажи их ехали следом. На старом, заросшем тополями кладбище ветер срывал тучи желтых листьев и швырял их на мраморные урны и гранитные столбы.

Пастор, блистая очками и по-берлински картаво выговаривая «р», недолго говорил о предопределении каждого и о высшем милосердии. По ту сторону могилы, прямо напротив Смирдина, стоял, сняв шляпу, Генрих Шлиман.

«Когда же он теперь, — глядя на его совершенно седую голову, думал Смирдин, — собирается свою Трою раскапывать?»

Немцы по-русски кинули в могилу по горсти земли, и все отправились назад — к ресторану Дюфи, где был накрыт поминальный стол.

Смирдин ушел из ресторана раньше всех и увел с собою жену. «Два старика бредут по засыпанной листвою улице», — подумалось ему, и он усмехнулся.

На углу набережной Мойки на доме Таля криво висела ржавая табличка «Смирдин и сын». Года два тому назад Александру Филипповичу взбрела в голову мысль оформить сына компаньоном, может, это хоть привяжет его к делу? А круг привязанностей его был отцу теперь отлично известен — ипподром, биллиард, цыгане... От родителей он отделился, при скудных доходах все же снимал номер в меблированных комнатах «Дрезден». Из фирмы «Смирдин и сын» ничего не вышло, теперь его взял к себе компаньоном Генкель, и то из уважения к сединам отца. Так что вывеску эту давно пора бы снять.

Им открыла дверь Лариска, и это тоже было обстоятельство новой жизни Смирдиных. Мать ее, Прасковья Иванова, наскучив спокойной жизнью почтмейстера при конторе Смирдина, увязалась за каким-то ссыльным в Сибирь. Папаша же Апарин, богато коммерсантствуя на Невском проспекте, ограничивался гостинцем в праздничные дни. А девочка — ей было уже лет двенадцать! — так и жила у Смирдиных. Но не выгонять же ее!

Войдя в квартиру, Эмилия Егоровна расслабилась, обмякла и тут только разразилась истерикой. Смирдин Лариску послал за лекарем, кухарку в аптеку, сам сел над лежащей женой и гладил ее дряблые, мокрые от слез щеки, и гладил. Искал слов утешения, но от природы же он был немногословен!

Когда зажгли свечи, кто-то внизу забарабанил в дверь, послышался пьяный немецкий голос, Лариска тонюсеньким голоском отвечала, что хозяева оба больны. Пришлось вставать, надевать сюртук, спускаться самому.

Это был герр Таль, домовладелец, из эстляндских немцев, сильно подпивший чуть ли не на поминках ихнего Франца. На каком-то странном наречии, не русском и не немецком, поминутно вставляя «О, я!», то есть «О, да!», он стал путано объяснять, что держал Смирдина здесь только из уважения к покойному фон Нагелю... Смирдин

есть арендатор неаккуратный унд сквозистый. Он, герр-шер, не хочет более от этого скорбнуть... О, я!

2

Александр лежал в своем номере в трактире «Дрезден», заложив руки под голову и насвистывал от неудовольствия. Еще бы! Мамаша не отдала ему костюмы и пальто дядюшки Франца, на что он очень рассчитывал. Она развесила их в шкафу, чистит щеткой каждый день, будто Франц вот-вот вернется. Сказал же поэт: «...спящий в гробе мирно спи, жизнью пользуйся, живущий!»

В лавку идти неохота, немчуря Генкель надоел вусмерть! То ему то делай, то это... Вчера случилось происшествие, о котором грустно и вспоминать: Александр стоял за прилавком, не как приказчик, конечно, а как рачительный хозяин, который и за прилавком постоит, чтобы конъюнктуру знать. Вдруг за витриной мелькнул и остановился экипаж. При брякании входного звонка вошел мужчина с дамой. Александр взгляделся и узнал графа, которого он обыграл у Розенкранца,— с расчесанной надвое бородой, в придворном мундире. На обыгранного им графа, в общем, было наплевать — он же играл честно. Но рядом с графом, держась за рукав его шубы, входила, смеясь и блистая черными глазами, Вера Миловидина.

У Александра сердце скатилось куда-то в утробу, он произвольно сел под прилавок прямо на пол. Над прилавком гудел бас графа, требовавшего приказчика, Вера не переставала счастливо смеяться, а он сидел на полу, опершись на рассыпавшуюся пачку с книгами. Пробежавший мимо приказчик с удивлением на него посмотрел, но ничего не сказал. После ухода покупателей и Александр удалился, сказавшись нездоровьем.

— Фома! — крикнул он, вызывая слугу. Он теперь нанял себе человека, казалось бы, совсем не по деньгам, но какой же барин без слуги? Так и велел говорить ему: «Барин!..» Ведь и правда, он теперь не фунт изюма, а потомственный почетный гражданин!

— Эй, Фома! — раздраженно постучал он кулаком.

— Здесь я, барин, — угрюмо ответил длинноволосый, как монастырский отрок, слуга. — Только я не Фома, а во святом крещении Федор-с. Что угодно?

— А раз мне угодно Фома, значит, будь Фома! На то ты человек!

— Никак невозможно-с, барин. Федор я,— настаивал человек.

Александр от досады даже забыл, зачем понадобился слуга, который ему же готовил чай. Папахен все наставляет: работай, крути мозгами, а у самого дела всех хуже. Этого своего «Полного собрания сочинений русских авторов», любимого, опять наиздавался, а никто не берет. Генкель хочет срочно серию эту у него откупить и издать какого-то своего Достоевского, Александр в первый раз и фамилию-то эту слышит, небось из новых. Теперь много понаехало после царской амнистии, кто из-за границы, кто из ссылки.

— Вас там барышня спрашивают,— сказал Фома, он же Федор, так и не дождавшись приказа.

— Какая барышня?

— Такая, этакая... Сестра милосердия.

— Что ж ты медлишь, зови! Постой, сначала подай сюртук.

Это была Оленька Успенская в суконном коричневом платье с широченной юбкой и в белом чепце сестры милосердия.

— Фи! — сказала она, подавая слуге свой меховой жакет. — Как тебя зовут? Федор? Что ж это, Федор, у вас тут дух, прямо хоть топор вешай... Открой-ка настежь окно!

— Все лежите? — она села напротив Александра, который тоже сидел на краю кровати, протирая глаза. — Барон фон Гринвальдус!

— Барон? — усмехнулся он. — Не барон. Был даже князем однажды, а теперь никто...

— Это так, из одного литературного персонажа — Козьма Прутков, директор пробирной палатки. Вы им еще не торгуете? Барон фон Гринвальдус, сей доблестный рыцарь, на камне сидит... Бароны воюют, бароны пируют... Можно я у вас папирску выкурю?

Александр усмехнулся и, пошелестев «Северной пчелой», отыскал там одну заметку: «Одна очень молодая милая девушка, Ознобишина, куря папирску, зажгла на себе по неосторожности платье. Оно было из легкой летней ткани и мгновенно вспыхнуло. Бедная девушка обгорела и через неделю умерла в страшных мучениях».

— Ну,— махнула Оленька дымящейся папирской. — Это ко мне не относится. Российское военное сукно, кажется, и в воде не тонет, и в огне не горит. Хотя, в принципе, курить вредно — и голос делается грубым. Но в нашем

деле иначе нельзя — кровь, гниющие раны, десятки, сотни изувеченных из-под Севастополя, ты себе не представляешь! А меня профессор Богуславский поставил операционной сестрой, — не без чувства гордости добавила она.

Оленька оглянулась и, увидев, что Фома, он же Федор, вышел, неся перед собою самовар, порывисто обняла Александра за шею.

— Я все жду и жду, — сказала она, закрыв глаза. — А тебя все нет и нет. Что ж, я решила — гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе...

— Чу, Ольга Михайловна, — Александр осторожно освободился от ее рук. — Здесь человек, он сейчас вернется.

— А мы не люди? — засмеялась она, сняв накрахмаленный чепец, взяла в зубы сразу несколько шпилек и принялась укладывать заново роскошные белокурые косы. — Знаешь, я уж не та пансионерка Оленька, которая без прислуги свеч зажечь не умела... Я набралась там дерзости, и крамолы тоже...

— Да! — вскричала она, когда слуга поставил ей с подноса чашечку с дымящимся чаем. — Вот дура я, дура! Ведь главное же я не говорю! Вернулся Федя, мой брат Федя вернулся из Омска!

— Ну и что? — спросил Александр, блюдце у его рта чуть заметно дрогнуло.

— Он посылает тебе привет, очень хочет тебя видеть! Он говорит, что на каторге и в ссылке очень много о тебе думал... Словно ты ему девушка! — засмеялась она. — Он там подружился с Достоевским, знаешь, литератор модный такой, тоже петрашевец... Теперь ты непременно будешь у нас бывать, сейчас такие замечательные люди — Чернышевский Николай Гаврилович, его диссертацию ретрограды зажали в университете. А Серно-Соловьевич! Душка! — не смогла она еще отрешиться от типичного жаргона пансионерок. — Можно я еще одну папироску выкурю?

— У них как раз к тебе и дело одно есть... — Оленька все говорила и никак не могла остановиться, а Смирдин, с присущей всему смирдинскому роду немногословностью, как-то отчужденно смотрел на нее. — Они хотят книжный магазин основать или взять в аренду, чтобы полезные книги распространять, а не всякую университетскую чушь и не Булгарина с Кукольниковом. Заодно, — она огля-

нулась на дверь, куда снова вышел Фома, он же Федор,— и лондонские издания, понимаешь, о ком я говорю?

А Александр сосредоточенно смотрел перед собой в одну точку, лицо его на глазах темнело и становилось старым. Вдруг он разразился кашлем, его буквально разрывало от спазм, он никак чего-то не мог выкашлянуть. Оленька кинулась к нему, массируя его грудь, уговаривала по-матерински. Прибежавший на ее зов Фома кинулся в буфет за зельтерской водой.

Наконец это «что-то», мучившее Александра, прорвалось из его груди прямо в Оленькин платок, который она держала у его рта. И платок густо окрасился кровью.

Оленька, стиснув зубы, осторожно напоила его зельтерской и, взбив подушки, уложила. Сама же, не стыдясь ни слуги, ничего на свете, опустила на колени перед его кроватью и целовала его беспомощную руку.

— Ой, Сашенька, Сашенька, радость моя, горе мое!

3

Вдруг золотая и солнечная осень сменилась холодом и метелью. Купчина Ларивон Матвеевич Апарин по этому поводу пребывал в меланхолическом духе, то и дело подходил к окну, стучал в стекло ногтем, качал лысой головою, глядя на безнадежно опускающийся ртутный столбик.

— Ларюшка! — томно спрашивала его жена, которая не кончила еще чаевничать у самовара. — Ну, что там погода?

— Погодка цунцыль-мунцыль, — как всегда не без загадки, ответил Ларивон. — А нам в городскую думу надо, затем на Пантелеевские склады... Эх его с неба сыплет, эх его швыряет! Алексей! — закричал он, обуянный жаждой действия.

— Слушаю-с, Ларивон Матвеевич, батюшка, — ответил слуга из прихожей.

— Возок не закладывать, снегу еще недостаточно, он тает. Дрожки пусть заложат с кожаным верхом, те, берлинские...

— Уже заложили, Ларивон Матвеевич, батюшка, — донесся из прихожей все тот же готовый ко всему голос.

— Ох-хо-хо! — потянулся, хрустя суставами, Ларивон. — До чего выезжать неохота! Давай, Марья, поменяемся, — обратился он к дородной жене, дувшей на

блюдце возле самовара.— Ты будешь купечествовать, а я буду твоя жена! Ха-ха-ха!

— Шутить изволите, Ларивон Матвеевич,— отставила она свое блюдце. Но предложение мужа, видать по всему, было ей лестно.

Кухарка и горничная, пока хозяева трапезуют, стояли, скрестив руки, в дверях столовой, а вдруг чего-нибудь понадобится.

— Там дама сидит на кухне, дожидается,— неожиданно сообщила горничная.

— Какая дама?— встревожилась хозяйка.

— Га-га!— обрадовался Ларивон.— Небось опять какая-нибудь кликуша или странница, вы их тут любите прикармливать... За обедками, что ли, пришла?

Горничная принялась пожимать плечами, а глаза поднимать к небу, что она всегда делала, когда ей казалось, что хозяин смотрит на нее. Кухарка ответила:

— Эмилия Егоровна.

— Смирдина?

— Она.

— Что ей здесь надо?— в крик ударилась хозяйка, хотя и не сдвинулась с места.— Небось незаконнорожденную ту привела?

Бесстрастный голос из прихожей ответил:

— Смирдина Александра Филипповича вчера отвели в каталажку-с, в Тарасовский дом.

— Во да!— изумился Ларивон Матвеевич, поглаживая лысое темя.— Когда полмиллиона долгов было, то не сажали, а теперь осталось с гулькин нос— и в яму! Кто же это подсудобил?

— Печаткин,— так же осведомленно отвечал слуга из прихожей,— Печаткин-с, владелец бумажной мельницы.

— Не смей помогать, не смей помогать!— задыхаясь от гнева, крикнула жена.— Я знаю твое доброе сердце, Ларивон. Он тебя выгнал из дому, а ты ему помогать?

Ларивон не обратил на нее ни малейшего внимания, вышел к себе, велел провести и Эмилию Егоровну.

Она села на предложенный табурет, тяжело дыша от того, что поднялась на пять ступенек из кухни в горницу. Ларивон оглядел ее— чепан какой-то замурзанный, не поймешь— мужской или женский. На платке и на плечах капли воды от сыплющейся на улице манны небесной.

Ларивон Матвеевич уперся в колени и тяжело вздохнул. Давно ли дружкою лихачествовал на ихней свадьбе? Эми-

лия Егоровна тем временем торопливо объясняла суть дела, пока хозяин ее слушал.

«М-да,— размышлял он.— И сумма-то небольшая... Были бы прежние времена, тотчас подмазали бы кое-кого, выпустили бы на поруки. Все-таки потомственный почетный гражданин! А теперь, при новом государе, все стали правдолюбывы».

«Печаткин, это который родственник Панаева, издателя «Современника»?— продолжал размышлять он.— Капиталисты, коммунисты, черт побери... Прости господи, опять нечистого помянул!»

Он перекрестился.

— Вот что, Эмилия Егоровна, дорогая,— он глянул на нее нестареющими своими выпуклыми русалочьими глазами.— Ты ступай к нему в тюрьму, нельзя его одного оставлять... А я кое-где поезжу, что-нибудь придумаем... Вот, возьми, полтинник, купи какой-нибудь мелочи ему, да и подашь кому гривенник, кому два.

И побрела Эмилия Егоровна сквозь метель с дождем на другую сторону Невы в Тарасовский дом, как еще называли полицейскую долговую тюрьму, не без страха и трепета...

Судебный исполнитель прибыл за Смирдиным рано утром, а еще накануне Александр Филиппович вернулся домой на Мойку с известием, что Печаткин отсрочить ничего не намерен, о поручительстве и слышать не желает, следовательно, Смирдин был готов к утреннему приходу судебного исполнителя. Всю ночь Эмилия Егоровна отпаивала его сердечными каплями.

Она долго торопилась сквозь секущую метель за колыхающейся полицейской коляской, чтобы хоть знать, где этот проклятый Тарасовский дом, куда увезли ее Алекса. Так как метель то и дело скрывала от нее криво катящуюся на старых колесах карету, она впопыхах чуть не попала под встречный экипаж, ее сбили дышлом, и она некоторое время лежала в лужице на тротуаре, стараясь прийти в себя. Люди, лошади, экипажи, собаки — вся эта петербургская карусель неслась мимо в пароксизме торопливости, а она лежала, несмотря на холод, пробирающийся под салон, который Ларька презрительно назвал чепаном, пока не подошел сугубо ответственный дворник с медалью и не объявил, что лучше бы мадам найти себе иное место для отдыха.

Тогда она собрала силы, встала, даже без оханья, го-

родовой оказался сердечный, поддержал ее под локоть, помог подняться. И она побежала на Невский, в магазин Петра Ивановича Крашенинникова, который был ранее Смирдина. Ведь Крешенинников еще что-то оставался им должен, правда, срок уплаты еще не вышел!

Эмилия Егоровна готова была поклясться, что Крашенинников, когда она вошла, был в своей конторке, за стеклянной дверью, и не мог не видеть ее. Но пока она топала ногами и сбивала с себя снег в тамбуре, Крашенинников исчез.

— Никак нет-с,— преградил ей дорогу приказчик.— Петра Ивановича нету-с.

Когда Крашенинников купил лавку, первое, что он сделал,— уволил всех прежних приказчиков и сидельцев и набрал новых, всезнаек и нахалов.

И она побежала дальше по Невскому, вспоминая, кто бы еще мог в этой ситуации помочь, промочила обе ноги, от сырости и холода плакать хотелось отчаянно. И она прибежала к Ларивону, уже после него она побежала бы к зятям, Верховскому и Александрову.

Невский проспект катился колесами экипажей, мелькали тонкие спицы, развевались султаны над киверами гвардейцев, дамы прятали ручки и носики в огромные заячьи муфты. И ножки их, по новой моде, были обуты в высокие баретки — красивые, теплые, сухие!

Тем временем Смирдин был доставлен в долговую тюрьму. Желая узнать, какой была в те времена долговая тюрьма, «яма», читатель наверняка обратился бы к бессмертному Диккенсу — «Пиквиккский клуб»! Там описана огромная долговая тюрьма в Лондоне — Флит-стрит, со всеми ее несчастными обитателями, и время было близкое к нашему — 1836 год. Но в смирдинском Петербурге все-таки все было по-иному.

Обер-полицеймейстер Тарасов, когда довелось ему строить новую долговую тюрьму (прежняя была попросту «яма»!), не удручал себя подражанием Флит-стрит. Он купил унылый трехэтажный дом, бывший не то приют, не то монастырскую гостиницу, приказал сломать лишние перегородки, поставить железные двери, а на окна навесить решетки. И этот Тарасовский дом был, скорее, похож на ночлежку, толпы должников неисправных день и ночь слонялись из камеры в камеру, искали себе развлечений, а сторожа ходили, потряхивая ключами, и за небольшую

мзду бегали для заключенных за водкой или в кондитерскую за пирожным.

Смирдин был как в тумане. Виски ломило, он плохо понимал вопросы, которые ему задавал стряпчий, заполняя дело. Потом сторож взял его под руку и, философски рассуждая на темы «Что ж, на все божья воля» или «Конь о четырех ногах и то спотыкается», повел его в камеру и указал место на нарах. Насчет обеда сказал, что кормить его обязан тот, по чьему иску он посажен в долговую тюрьму.

Тут же к Смирдину подошел проходимец с лукавой мордой и, называя Смирдина батей, предложил ему поменяться: Смирдин отдаст ему свой меховой картуз, а проходимец свою рогожную чаплыжку. Александр Филиппович ко всему был безучастен, поэтому обмен состоялся, и проходимец нахлобучил чаплыжку на Смирдина. Подскочили другие неисправные должники, обшарили карманы Смирдина, но там нечем было поживиться. Тогда решено было сменить его, смирдинскую бекешу на куртку одного из должников, пошитую некогда из старого клетчатого одеяла.

Вошел сторож, разогнал любителей меняться. «Пошли прочь, сатанинское отродье!» Смирдину велел не поддаваться и сообщил, что пришла к нему на свиданье жена.

Обширная низкая комната, пропахшая кислыми щами и человеческим несчастьем, была перегорожена поровну деревянной решеткой до потолка. Люди сидели на лавках по ту и по другую сторону решетки, и она не мешала им общаться, передавать друг другу деньги, еду, всякие вещи, или целоваться, или плакать друг у друга на груди, или просто молча сидеть, держась за руки, друг против друга.

Великое изобретение человечества тюрьма! Кому захочется полной мерой узнать, что такое любовь и отчаяние, горюшко горькое несказанное, пусть на денечек пойдет в тюрьму, посидит там и узнает все сполна.

Эмилия Егоровна кормила своего Алекса яблочным пирогом, купленным тут же в лавочке за углом, и через решетку утешала его, как могла.

Но вот настал и вечер, в комнату свиданий принесли стеариновые свечи, тоже изобретение тех лет, которые горели ровно и светло, не чета прежним сальным огаркам — цивилизация развивается! Сторож, подняв ключи, зазвенел ими и зычно объявил, что свидание кончается. Эми-

лия Егоровна сулила сторожу полтинник, но тот соорил презрительную мину и выставил ее на улицу со всеми.

Таких бедолаг, как она, оказалось немало. Они встали, съехившись, за крыльцом Тарасовского дома, защищая лица от колючего ветра и снега, ожидая — чего? Наверное, чуда.

Но чудо произошло. Подкатили дрожки с опущенным верхом и на английских рессорах. Из дрожек вышел купчина Ларивон Апарин, который, завидев Эмилию Егоровну, поспешил взять ее за руки и ободрить.

— Сейчас, сейчас! Я уж и деньги те в заемный банк отвез, хотя уж присутствие закрывалось. Ну, подмазал там кого... Сейчас, сейчас!

Сторожа, однако, заупрямились. Поздно, стряпчий, мол, домой ушел. Пусть должник побудет до утра, что ему делается?

Пришлось Ларивону отводить в сторонку то того, то другого, шептать им что-то на ухо и совать барашка в бумажке.

Отыскать меховой картуз Александра Филипповича и его немецкую бекешу теперь уж было невозможно, так и спустился он в объятия своей Эмилии Егоровны в рогожной чапльжке и куртке, пошитой из старого клетчатого одеяла.

А Ларивон торжествующе сообщал, подсаживая их в свои великолепные дрожки:

— Я поехал к Лехе Давыдову, к Базунову, к Селезневу, говорю — вы же приказчики его были, мало он вам добра сделал...

4

В сумерки в меблированных комнатах «Дрезден» жизнь ненадолго затихает, прежде чем вспыхнут газовые фонари, завертятся двери-турникеты, пропуская постояльцев, побегут половые с самоварами, заткнув полотенца за расшитые кушаки. Швейцар похрапывает, развалясь на кресле у входа, надвинув на лоб фуражку с генеральским позументом.

— Ты непременно хочешь в ресторан? — спросила Оленька. — Давай лучше погуляем. Ведь тебе с твоими легкими надо чаще бывать на свежем воздухе.

Она уже не носила накрахмаленного чепца с красным крестом, она теперь была «эмансипё» — в необъятной юб-

ке на каркасе из китовьего уса и весьма скромной кофточке, она посещала лекции на физико-математическом отделении университета, хотя академическое начальство время от времени девиц оттуда насильно выдворяло.

Но Александру непременно желалось в ресторан, и Оленька, как и всегда, ему уступила. Они спустились, вошли в раззолоченную залу, где ленивый официант только начинал зажигать освещение.

Из-за дверей большого кабинета слышались то вопли, то остроты, то взрывы дружного смеха.

— «Ми-и-лая, ма-ама, подари-и мне ми-илли-ио-он!» — звучный тенор пел экзерсис — упражнение для постановки голоса, снова дружный хохот прерывал его пение.

Подошел Иван Тимофеевич — метрдотель — поздоровался, извинился за шум: у актеров сегодня пирушка по случаю чьих-то именин. Оленька достала из сумки папиросочку с золотым мундштучком, задыхаясь.

— Да! — вспомнила она. — Я еще не взглянула на то, что ты мне принес.

Она вынула из сумочки завернутую в пергамент небольшую тонкую книжечку — брошюру, раскрыла.

При этом оба они, и Оленька и Александр, оглянулись по сторонам. Но в ресторанной зале было пустынно, официанты на дальних столах, звякая, раскладывали приборы. Актеры за дверями кабинета теперь пели куплет: «Ой, ой, что за штучки, поцелую ваши ручки!» — и опять хохотали.

На желтоватой обложке брошюры вычурным готическим шрифтом было напечатано по-немецки «Манифест дер Коммунистише партей» и чуть ниже — «Пролетарир алле лендер ферейнигте ойх!».

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — перевел Александр и заметил: — Издано в Лондоне, давно уже, судя по бумаге.

Оленька пощупала бумагу, но тут же поспешила завернуть брошюру в пергамент и уложить в свою сумочку, потому что к ним спешил официант с подносом. За дверями же тенор пел, шутовски подражая женскому голосу:

Сцену, рампу и кулисы,
Жизнь веселую актрисы
Покидаю ради вас,
Это мне не в первый раз!

И опять актеры хохотали, звенел хрусталь фужеров, двигались стулья, в общем, жизнь шла своей чередой.

— Удивительно! — сказал Александр. — Вот не думал, что дядюшка Франц окажется распространителем революционных изданий. Ты говоришь, он вашему Николаю Гавриловичу обещал выписать эту книжку через Лейпциг?

— Теперь удивительно не это, — ответила ему Оленька, поправляя за ухом гладко причесанные волосы. — Теперь кто только не занимается революционной пропагандой, время такое. Говорят, что в пажеском корпусе посещающий там занятия наследник цесаревич Николай Александрович вместе с пажами читает под партой лондонские листки, которые издает Искандер.

— Что же тогда удивительно?

— Удивительно, что ты, с твоим аналитическим умом, с твоей чуткостью ко всему, занят только дурацким рестораном да цыганами. Посмотри, сколько несправедливости кругом, а крепостное право?

Но, увидев на его лице улыбку авгура, она только махнула рукой и занялась салатом.

— А знаешь, каково было мне найти эту книжку в бумагах дядюшки Франца? — сказал Александр. — Ведь матушка моя запрещает его вещей кому-нибудь касаться, будто он еще должен вернуться!

— А как здоровье Эмилии Егоровны?

— После этой гнусной тюрьмы совсем расстроилось... У нее, что ли, воспаление легких было, уж папахен кого только не приглашал... Каждый визит врача теперь по десять рублей.

— Нужны деньги? — встrepенулась Оленька.

В этот момент послышались громкие голоса у входа, официанты кланялись: «Пожалуйста, ваше сиятельство!»

Через залу проходил по направлению к кабинету, где бесились актеры, хорошо знакомый Александру граф, с расчесанной надвое бородой, которого он когда-то обыграл. С ним об руку двигалась Вера Миловидина, оживленно что-то объясняя, а за ними, с гитарами под мышкой, неразлучные Апалоша и Кошмаркин.

Граф, проходя мимо, сухо поздоровался с Александром, Вера же, оглянувшись на него, неправдоподобно расширила черные глаза и протянула:

— О, мон пренс! Бонсуар!

И, повернувшись к графу, продолжала свой эмоциональный рассказ. Апалоша же проследовал сумрачно за нею, и только Кошмаркин, растопырив уши, соорудил Александру рожу.

— Кто это такая? — спросила Оленька, раскрыла сумку и достала еще одну папиросу.

— Да так... — лениво сказал Александр, чертя вилкой по скатерти. — Одна актриса...

Наступило у них молчание. Александру, видимо, не хотелось ничего говорить, а Оленька не решалась.

В кабинете актеры встретили графа и его спутников оглушительным шумом. «Тра-та-та-та! — с надрывом пели они, подражая оркестровому тушу. — Барыня охнула слегка при виде конного полка, при виде кон-но-го полка!»

Апалоша с Кошмаркиным, без особенных на сей раз распрей, подстроились в унисон, и их гитары запели:

Когда друг от друга ушли мы,
Я долго бродил и искал,
К чужой, не моей, не любимой,
Меня привлачила тоска.

У ней все, казалось бы, то же —
И юность, и звезды очей,
Но нету той искорки божьей
И ласки желанной твоей!

И жить мне в тоске неминучей,
Страдания вечно тая —
И я ее, бедную, мучу,
За то лишь, что ты не моя!

— Теперь нам надобно с тобою расстаться, — Оленька нервно загасила папироску. Лицо ее показалось Александру жалким и смешным, как у Кошмаркина. — Ты не хочешь оторваться от этой твоей пустой жизни...

— Почему же ты думаешь, что моя жизнь пустая? — усмехнулся Александр. — А твоя, значит, не пустая?

— Да! — запальчиво ответила Оленька, собирая свою сумочку. — Я хочу свою жизнь отдать делу, отдать народу... Посмотри, что происходит вокруг! Саша! — она схватила его руку. — Сашенька, ну как же ты не видишь? Ну, не будь же слепым...

— Я не слепой, — ответил он, осторожно высвобождая руку. Он немножко опасался, что Оленька расплачется. Но она спокойно спросила чужим голосом:

— Кто была эта особа, которая сказала тебе «мон пренс»?

Смирдин молчал, поглаживая ладонью скатерть. Оленька встала, приоткрыв сумочку, вновь проверила, надежно ли запрятана брошюра. И направилась к гардеробу, не заботясь, провожает ее Александр или нет.

5

Теперь Смирдины жили на Песках, близ Слоновьей улицы, в домике в три окошечка с мезонином, которым владела их сватья, вдова Александра.

— Провиантское все подорожало,— говорит за утренним чаем сватья, Серафима Феклистовна,— ореховое масло сорок пять без малого копеечек, устерсы рупь двадцать дюжина, а пастернаку теперь совсем не сыщешь.

В низенькие окошки сквозь замороженное стекло светит белый свет зимы. Зять, Дмитрий Дмитриевич, в одном жилете, привстав, заглядывает в овальное зеркало в простенке и приглаживает жидкие височки.

— Его превосходительство изволят сегодня ревизовать исходящие,— сообщает он, собираясь на службу и столь почтительно, словно уже стоит перед его превосходительством.

Он белесый, subtilный, жидковолосый — и все семейство его белесое и subtilное, даже его же, Смирдина, дочь — Катрин, Катюшка, которая, наоборот, всегда была резвой и краснощекой. Теперь тоже превратилась в белую молчаливую моль, и ее трехлетний сынишка, Митя. Смирдиных внук, тоже сидит, словно чего проглотил. Разглагольствует только сватья, Серафима Феклистовна, классически дует в блюдечко, посасывая сахар, и со всей своей белесой свитой отражается в пузатом самоваре.

— За столом ежели сидишь,— поучает она,— ножки следует держать колечком, под стульчик класть. Ручки же, упаси господь, чтобы локотки на скатерть... Так вот, с благородными-то людьми!

Если вы думаете, что она таким образом воспитывает внука, вы ошибаетесь. Все эти слова адресованы Александру Филипповичу Смирдину, который сам тут же понуро сидит, но в блюдечко не дует.

И адресованы они ему за то, что тут же за столом и девочка, Лариса Иванова, прибывшая сюда вместе со стариками Смирдинами, когда они выселялись из дома Таля

на Мойке. Будь она просто так, Серафима Феклистовна ее бы дальше кухни и не пустила, но на всякий случай побаивается — отец ее, хотя и незаконный, зато теперь поставщик двора его величества. Жизнь, она такая, она иногда такие фортели выкидывает — взять того же Смирдина, уж до того миллионером прикидывался, когда сына ее женил на своей балабошке...

Завтрак окончен, первым выбегает, конечно, трехлетний Митя, хотя неслышно, будто бабочка летит, — Серафима Феклистовна не любит, когда громко топают.

Катрин, теперь просто — Катюша, провожает мужа на службу, тот по дороге продолжает с нею делиться новостями о кознях, которые непрестанно чинят служащие их управления. Жена подает ему крылатку, новенькую, словно гоголевская шинель, и снимает с нее каждую пушинку.

Серафима Феклистовна крестится на иконостас, блистающий окладами икон и огоньками лампад, и истово сгибается пополам в земном поклоне. Вслед за нею, встав, крестятся Смирдин и его Лариска.

А где же ихняя мать, хозяйка, Эмилия Егоровна? Она лежит неподалеку, в доме, а встать не может к столу по причине тяжелой болезни.

Лет сорок тому назад домик сей принадлежал одной старой капризной барыне, которая не могла, как все смертные люди, пользоваться обыкновенным туалетом во дворе. Подавай ей было теплый клозет и непременно, чтобы светло было и просторно.

По сей причине знакомый вельможа прислал ей своего крепостного зодчего, большого хитреца по части всяческих усадебных построек. Он и пристроил к барынину домику вроде бы чуланчик, не то светличку, деревянную, удобную, теплую и с узким окошечком во двор.

Давным-давно барыня та отправилась к праотцам, клозет ее, как иноземную выдумку, простые русские люди изничтожили, а в чуланчик сей теперь вселились старики Смирдины, после того как пришлось покинуть дом Таля. Но в просторечии построечка так и зовется у них «барынин нужник», или просто «нужник». Смирдин, вспоминая свой жизненный путь, усмехается: от никольского межеумка до петербургского нужника.

Здесь им с женой расстелена обширная постель, дочери, правда, не поскупились, принесли пуховиков. Да и сама Серафима Феклистовна, она же хоть и ворчливая, но, в сущности, добрая, куском не попрекнет.

В узенькой прихожей устроена постель и для Лариски, Христа ради, иже и сирот миловал.

Смирдин с Лариской в этот день принесли ей еду, стали раскладывать, она пошевелилась только на звяканье ложки, сделала рукой отрицательный знак — не хочу, мол. Александр Филиппович заставил ее все же выпить немного клюквенного морсу.

Лариска убежала мыть посуду, а он сел на краешек постели, жена выпростала из-под одеяла руку, а он положил на ее ладонь свою, так и сидели, пальцы в пальцы. Тикали часы, торопились, унося навек безвозвратное время.

Эмилия Егоровна молчала, да ей и тяжело было говорить, она и дышала-то с каким-то скрипом, точно сломавшаяся телега. А Смирдин, о чем он думал? Вспоминал прошедшее? Наверное, вспоминал, он ежечасно его вспоминал, ежесекундно — и внезапную свадьбу, их первую ночь, и рождение Саши...

А больше себя распиная: был он вечно немногословным, издания его, литераторы, лавка и прочее — вот и вся жизнь... А как жила тогда она? Ведь и она же человек!

Она сообщила ему все, и он знал, чем она занята, какие у нее домашние горести, Саша кашляет, а Лили горлышко застудила, а Катрин ночью вскрикивала и жарок у нее был... Но в этом ли все-таки человеческая жизнь?

Однажды, еще до рождения Зайки, они поехали в новенькой коляске — все у них тогда было богатое, всего было предостаточно, — поехали куда-то на холмы в Парголово. А цвел кругом май, вся зелень вокруг была в белом кружеве цветенья. И взошли они, держась за руки, на самый высокий холм, Смирдин оглянулся, говорит невольно: смотри, смотри, Милочка!

А за ними был огромный мир до самого горизонта в голубой и сизой дымке распускающихся лесов — рай кругом, обитель счастья!

Затем вернулись домой на Лиговку, там в пустынной зале одинокий Франц бродит с кием в руках, сам с собой играет в биллиард... И таким взглядом на них, счастливых, поглядел, словно этим кием пронизал насквозь.

Смирдин усмехнулся, снял очки и долго тер уставшую от них переносицу. «Иди, иди, — закивала ему жена. — Если тебе нужно, иди... Мне уже лучше».

И он встал и принялся собираться, руки старые, уже плохо держали предметы, то рукавицы уронит, то шапку. А клетчатое пальто, пошитое из старого одеяла, так

и осталось ему на память о тарасовском хитром домике. Верховские, правда, взяли на себя заботу об отцовском верхнем платье, но они еще сами не расплатились за уложенный осенью новый паркет.

Александр Филиппович перетаскивал из их бывшего владения в доме Таля оставшиеся у него без залога издания. Для этой цели он каждое утро, если не шибко ныли кости и не разламывался затылок, отправлялся на Мойку. Там хозяин, герр Таль, оставил за ним до поры до времени кладовку под лестницей.

Он бережно стирал пыль с обложек — Хемницер, Милонов, Капнист, — какие звучные имена! Теперь публика их не знает, да и книгопродавцы современные виноваты, не воспитывают покупателя, не напоминают ему о классиках. Гармоничные были литераторы, достойные и у государя на виду, то табакерочку ему пожалует император, то перстенок. А теперь по книжным лавкам носятся толпы каких-то совершенно осатанелых юнцов и юниц, требуют романы или очерки, где была бы критика, сатира, сплошные разоблачения чтобы были!

А кого все разоблачаете? Себя же и разоблачаете! Над кем смеетесь? Над собой же и смеетесь — это еще и Гоголь говорил.

Гладил ладонью обложки своих изданий и огорчался: десять лет для книги срок немалый, хотя, казалось бы, книга может пережить и века. Страницы ее склеились, спрессовались, пожелтели от сырости, от неупотребления. Книга должна листаться!

Смирдин всегда внимательно следил за своими складами, когда и богат был — следил. Поэтому на книгах его нет ни плесени, ни жучка-червоточца. Но тем огорчительнее видеть, как слеживается задаром, портится его товар, в который он вложил всю свою душу — да что там душу! Всю свою жизнь!

Зайдет Смирдин к одному книгопродавцу, к другому — все его, конечно, знают, возьмут у него по два, по три экземпляра каждого наименования и скидку небольшую истребуют, но видно, что это не всерьез.

Теперь опять, слышал он, собираются литераторы выпустить в его, смирдинскую пользу сборничек статей, а доход пустить на погашение его долгов и выкуп все еще обращающихся векселей. Упрекают его: мол, своими изданиями он не только себя разорил, он и тех разорил,

которые поверили в него, в смирдинское книгопродавческое счастье, вложили в его векселя свои сбережения...

Так он размышляет, охает про себя и потихоньку складывает издания в мешок. Этот мешок он сам себе изготовил недавно, по образцу знаменитой «рубашки», с которой ходит скупщик книг на толкучке Апраксина рынка. Мешок спереди, мешок сзади, а между ними две бретели, чтобы на плечи вешать.

Наложит Александр Филиппович себе и спереди и сзади, примерит. Если не очень тяжело и настроение есть — еще подбавит. И бредет со своею «рубашкой» мимо Казанского собора, через Михайловскую улицу (только чтоб не по Невскому), по Шестилавочной и Моховой прямо на Слоновью... Далеконько, конечно, но на извозчика где же взять? А тут потихоньку да полегоньку, туп да туп, туп да туп, и для здоровья полезно.

Сватья Серафима Феклистова от щедрот своих его пожаловала, позволила книжки свои укладывать в деревянный сарайчик, что в глубине ее садика на Песках. Смирдин веничком все тщательно там обтер, полочки пристроил, замочек врезал. Теперь у него собственный складик снова есть.

Так и в этот день. Он отправился, несмотря на сильный мороз, раненько был уже на Мойке, нагрузился, встряхнулся, закутал нос в кашне и пошел.

Мещанская улица бесконечна. Громады колонн Казанского собора застыли под слепящим зимним солнцем, и безжизненные дома кругом как кубы. На черном мраморе колонн мороз проступает снежными трещинами.

Александр Филиппович встряхивает свою ношу — сегодня увлекся малость и перегрузился... А как в Москве, бывало, таскивали в Китай-городе из подвала в лавку, вверх-вниз, вверх-вниз, по двадцать раз на дню. Куда делась, прошла жизнь?

Солнце с правой стороны, слепящее, распростертое, как двуглавый орел, над самыми домами и совершенно негреющее. Смирдин, подкидывая на бретелях свой груз, щурит на него глаза, соображает — эх, какая радуга возле солнца — к чему бы такая радуга?

От мороза нос застыл, как ледяшка. А высморкаться неудобно, тем более бдительный городской на углу, сам по самые брови закутанный в башлык, смотрит с подозрением. Невдомек ему, что не какой-нибудь оборванец с толкучки продвигается, неся на бретелях груз, а потом-

ственный почетный гражданин, лично известный государю.

Кто это там бежит навстречу, машет руками, словно птица, в длиннейшей перспективе улиц? Это же ихняя Лариска Иванова, что ей надо? Бежит Смирдину навстречу и машет тонкими руками.

— Александр Филиппович! Алек-сандр Фи-лип-пович!

— Ну что, что тебе?

— Александр Филиппович!

— Да что, что случилось?

— Умерла Эмилия Егоровна, умерла.

— Как... умерла?

— Да, да... Александр Филиппович, дайте я помогу, бретели ваши поддержу...

Но справиться и вдвоем с сегодняшней ночью они не могут, и Лариска все-таки бежит на Невский за извозчиком, и вот они на Песках.

В тесном домике на Песках стоит неумолчный женский плач. О, русская земля, светлым светлая и красным украшенная русская земля, о, твой женский плач!

— Не могу, не могу, как бабы воют,— сказал зять Верховский, выходя Смирдину навстречу. Лариска его раздела, стащила за рукава пресловутое клетчатое пальто. Смирдин, шмыгая замерзшим носом, машинально вошел в их нужник, где лежала Эмили.

Ничто так не поразило его, как Милочкины босые ноги, торчавшие с края кровати, и беспомощно растопыренные пальцы ног. И он, окаменевший, точно статуя фараона, стоял, выпучив глаза (так ему, по крайней мере, казалось), и ни одна слезинка не вытекла на его бордовые от холода щеки.

Похороны тотчас завертелись, оба зятя и сватья Серафима Феклистовна проявили распорядительность, уже зять Верховский, у которого были свои лошади, собрался ехать договариваться на Волково кладбище, как Лариска принесла Смирдину записку, которую она обнаружила под подушкой усопшей.

«Алекс, покорони меня со Францем»,— было написано слабеющей рукой.

И в нем проснулся прежний Смирдин, он остановил всю карусель и объявил, что похороны будут совершаться по лютеранскому обряду и на Смоленском немецком кладбище. Оттолкнул руки Лариски и дочерей и сам отправился туда вместе с зятем Верховским в его санях.

И вот опять Васильевский остров, стоят оголтелые морозы, светит равнодушное ко всему ослепительное солнце. На четырех санях едут в глубину аллея под кружевной кровлей ветвей смирдинские похороны. Рыдают валторны, изображая скорбь, поплакивают флейты, тихонечко бьет барабан.

8

Теперь почти каждое утро, отпив кофейю в маленькой столовой Александровых, он как бы спохватывается:

— Да, как же я забыл... Мне сегодня к Базунову, к Исакову на Гостиный двор надо зайти... И к Крашенинникову непременно-с. Болтают, будто он магазин надумал продавать, который ранее был наш...

Он уходит к себе в нужник, там верная Лариска помогает ему надеть новое пальто из драпа «чертова кожа», которое все-таки пошили ему Верховские, и новый же плюшевый картуз с наушниками.

— Очень ты нужен твоему Крашенинникову, — иронизирует, поджав губки, сватья Серафима Феклистовна. — Ему, чать, не до тебя.

Затем, в протяжении всей остальной сцены собрания Александра Филипповича в дорогу, сватья следит за ним из-за чайного блюдца в розанчик, которое она держит перед собой на растопыренных пальцах. Рядом с нею — соседская попадья, драпированная кашемировой шалью. Обе они за утро выпивают по двенадцати чашек под аккомпанемент различных печений, варений, сиропов и непрестанных уговариваний.

— Ах, попробуйте вот этого яблочного конфитюрца... Ах, не обессудьте, дражайшая соседушка, откушайте, вот безе из взбитых сливочек...

— Помилуйте, — говорит попадья, женщина страдальческого вида, с глубоко посаженными глазами, когда Смирдин выходит, наконец, на улицу. — Разве у него дело еще какое-нибудь есть?

— Э! — машет ручкой Серафима Феклистовна. — Какое ему теперь дело? Кормят люди, и сиди себе, жди смерти.

Смирдин бредет по шумному Невскому, иногда останавливается, разглядывает витрины. «В магазине Шура выставлена дура...» — поется в одной из петербургских частушек. Возле этой дуры всегда толпится множество зе-



вак, потому что она, во-первых, позолочена от носика до самого декольте, во-вторых, ее приказчики заводят длиннейшим ключом (ключ тоже выставлен на особой подушечке), и она шевелит ярко накрашенными губами и приветственно двигает в воздухе ручкой с маникюрными ноготками.

Он идет неторопливо, прислушиваясь к разговорам прохожих. Раньше о чем говорили на Невском? Кто дает бал, в каком полку открылась вакансия, кому государь пожаловал крест или перстень... Или про невест говорили, что знатных женихов, самое подходящее место об этом разговаривать был Невский проспект.

А о чем говорят теперь?

— Слышали, господа? Тверское дворянское собрание повергло всеподданнейший адрес об освобождении крестьян...

— Генерал Милютин докладывал третьего дня великому князю об уничтожении рекрутчины...

— Университеты требуют полной автономии, вплоть до выбора себе попечителей...

— В Могилевской губернии помещик Рустич хотел крестьян всех освободить, как бы на оброк. А они его сожгли — уму непостижимо!

— Господа, господа, парле мье де фам! Поговорим лучше о женщинах!

Так как дворники метлами начинают сгонять воду от тающего снега на перекрестке Невского проспекта, он поневоле сворачивает на Литейный. Но Смирдин не любит Литейного проспекта, его сумрачных ровных домов, его княжеских дворцов за чугунными решетками.

Да вдобавок и эти торгаши, книжные поддельщики, фармазоны с Апраксина двора, всевозможные Олонины, Холмушины и прочие, разбогатеv на перепродаже помещичьих библиотек, перебрались на Невский. Безграмотный Олонин, который на векселе расписаться не умеет, теперь завел торговлю иностранными книгами. Лейпцигские у него издания, парижские, так и блистают за стеклами золотые корешки!

Тут какая-то девица «эмансипé» — их теперь множество бегают по улицам, куда только родители смотрят! — в неизменной юбке на каркасе из китового уса и в шнурованных высоких баретках, больно толкнула Смирдина. Даже не извинилась как следует — «пардон!» — и все тут.

Как две капли воды эта финтифлюшка Успенская, бывшая невеста его старшего Александра...

Мысли его обратились к сыну Александру и приняли совершенно уж мрачное направление. Хотя, чего уж плохого? Только что Оленька эта Успенская за него не пошла, так это даже и лучше! Живет теперь припеваючи, в меблированных комнатах, и в ус не дует. Немчура этот Генкель его жучит, но дело у них идет. Стали они учебники для новых училищ выпускать, из «Современника» перепечатывать новомодных Тургеневых, каких-то Станицких, бог с ними... У Генкеля немецкая эта есть практическая сметка. Да и имя все-таки у фирмы знаменитое — «В. Генкель и А. Смирдин» — все-таки Смирдин!

Но тут Александр Филиппович вспомнил про пятна крови, которые иногда случаются при кашле у Зайки. Надо бы докторов, надо бы на заграничные воды ему поехать... Ничего он не хочет, никого не слушается — ах, эти дети!

Тут он различил, что кто-то настойчиво окликает его, с другой стороны улицы, что ли. Смирдин оглянулся.

— Александр Филиппович! Да вот же я, Александр Филиппович! Господи, твоя воля, совсем глухой стал старик.

Это был Геннади, Григорий Николаевич, тот самый, который Пушкина с Исаковым издавал, в слове «музыка» ударения передельывал. Стоя в извозничьей пролетке, он манил его с другой стороны.

Услышав, что он глухой старик, Смирдин несколько обиделся, но решил поддержать свое реноме.

— Ну вот он я, — сказал он, переходя улицу. — Чего тебе-с, Григорий Книжник?

Григорий Книжник был библиографический псевдоним Геннади. Под этим именем он печатал в «Современнике» всякие обозрения выходящих книг, и в этом же «Современнике» Добролюбов разделял его за эти характеристики в пух и прах. Геннади не обижался и вновь рекомендовал книжки, которые, по мнению ригориста Добролюбова, только вредили современному читателю. Добролюбову подчинись — он тотчас все книгоиздание вообще закроет и станет печатать только двоих-троих столь же рьяных поборников демократии.

— Садитесь ко мне, Александр Филиппович, — звал его Геннади. — Вы куда-то спешите? Едем со мною к Серно-Соловьевичу!

— Это к кому же-с? — переспросил Смирдин, хотя в пролетку взобрался, поддерживаемый Геннадии и самим извозчиком.

— Серно-Соловьевич! — закричал ему в ухо Геннадии. — А вы не помните, я вам рассказывал? Это молодой чиновник, богатый помещик, хочет открыть собственный книжный магазин. Я обещал ему привезти вас к нему обедать.

— Я, слава богу-с, не голодный! — проворчал Смирдин, но подчинился.

И они покатали на весело чмокающем извозчике, навстречу весеннему теплему ветру. Геннадии, улыбочивый, со светло-русой бородкой, в развевающемся кашне, бережно поддерживал сутулого Смирдина.

— Я его привез! Я вам привез его! — закричал Геннадии прямо с прихожей богатого жилища Серно-Соловьевича. По-старинному барственный слуга почтительно снял драповое пальто Смирдина и принял его плюшевый картуз. В разделанный в помпейском стиле вестибюль вышел навстречу сам Серно-Соловьевич, рано повзрослевший юноша, стремительный, чем-то похожий на ковбоя, первооткрывателя прерий.

Он взял за руки Смирдина и Геннадии и повел их за собой в гостиную, где несколько мужчин и женщин листали подшивки газет.

— Неужели вы Смирдин? — искренне удивлялся он, рассматривая его. — Вы же живая легенда! Правда ли, эти ваши руки пожимали руки Пушкина, Гоголя, Белинского?

— Пожимали-с, — ответил Смирдин, принимая его игру. — Да еще как пожимали-с.

Метрдотель в ливрейном фраке вошел, сообщил что-то Серно-Соловьевичу и, получив его распоряжения, удалился.

— Господа! — объявил молодой хозяин. — Потерпите еще самую малость! Обед готов, ждем только Николая Гавриловича.

— Ага! — соображал Смирдин. — Это, вероятно, Чернышевского. Зайка говорит, он теперь властитель дум, как когда-то был у нас Белинский.

Серно-Соловьевич постоянно держался возле Смирдина, проявляя несколько старомодную любезность, потому что Геннадии ведь привез его специально к нему на обед. Зато Смирдин узнал, что сегодня у Серно-Соловьевича собрались члены будущей артели переплет-

чиков, основываемой на новых, коммунистических началах. И при этой артели, поскольку им пока не разрешено книгоиздательство, они хотят открыть книжный магазин.

— А вот эта особа,—представил ее Серно-Соловьевич,—будет первым приказчиком в нашем магазине.

— Как?—удивился Смирдин.—Приказчиком—дама-с?

— Да,—улыбнулся Серно-Соловьевич,—дама! В Париже ведь продавщицы в книжных магазинах не редкость, почему же им не быть у нас?

Это была особа малокровная, рыженькая, с простуженным носиком. Но самое удивительное было то, что тут же присутствовал и ее муж, инженер-полковник в мундире генерального штаба, Александр Николаевич Энгельгардт.

— Сашура!—говорила ему выразительно жена.—У тебя же нет никаких идей. Ну как можно жить без идей, не понимаю!

— Мои идеи ясны,—усмехался инженер-полковник, подкручивая лихой ус.—У нас десятки миллионов голодных, бесправных, неграмотных, страдающих от ига попа и урядника, а вы переплетную артель! Надо сначала накормить, обучить, просветить уйму народа, а потом открывать для них книжный магазин. Вот, милая Аня!

— Как же накормить и обучить, когда те же поп и урядник, во главе с самим царем, не дадут этого сделать? Ты лучше скажи, Сашура, что ты собираешься делать для собственных крестьян? Ты же помещик!

— Ай да Аня!—засмеялись все.—Не дает спуску своему инженер-полковнику!

Серно-Соловьевич поведал далее Смирдину, что, узнав о намерении его преемника Крашенинникова Петра Ивановича объявить своему магазину торги, Серно-Соловьевич решил тот магазин покупать и то помещение брать в аренду у Петропавловской церкви. Как он, Смирдин, к этому относится? Во сколько, примерно, он оценивает товарный фонд Крашенинникова? Не согласится ли он поработать в новооткрытом магазине в виде почетного директора или там консультанта?

Смирдин с нескрываемой улыбкой взглянул на этого петербургского ковбоя, который и стоял перед ним в такой же лихой позе, засунув руки в карманы. Он поблаго-

дарил за честь. Такого он не ожидал ни от кого, очень растроган-с, право.

— Но гостинорядцы не дадут вам развернуться,— предупредил он.— Они сразу начнут играть на понижении цен, а вы пока конъюнктуры вашей не чувствуете, специфичного спроса. Они могут вас разорить-с!

— Серно-Соловьевич будет торговать, пока не растранижит все отцовское имение! — засмеялся инженер-полковник.— Это будет достойный пример для классической политэкономии Милля—прогрессивный феодал, вооруженный земельной рентой, против реакционеров-капиталистов, вооружающихся прибавочной стоимостью!

Все смеялись, а усатый инженер-полковник, чем-то ужасно напоминающий и Зралко-Забокжецкого и Обрезкова и других диспутантов 1825 года, повторял:

— Кто кого, господа, кто кого!

— Не слушайте их! — сконфуженно сказал Смирдину Серно-Соловьевич.— Эти вольтерьянцы любую хорошую идею потопят в море скептицизма. Ведь книжный магазин, снабженный самой современной литературой, руководимый передовыми людьми, да еще находящийся на самом средоточии петербургской жизни, не может быть совсем уж убыточным предприятием?

В это время вошел высокий молодой человек в просторном сюртуке, в золотых пенсне на круглом добром бритом лице.

— Чернышевский! — закричали буквально все присутствующие, даже Смирдин невольно встрепенулся.

— К столу, к столу! — приглашал Серно-Соловьевич, раскрывая обе половинки дверей.

У Чернышевского из кармана торчал свежий номер газеты на французском языке—«Журналь де Сен-Петербур». Не успев сесть за стол и заткнуть за лацкан сюртука салфетку, темпераментный Чернышевский вынул газету и помахал ею в воздухе.

— Всеподданнейший адрес тверского дворянства отклонен! — сообщил он.— Новость последняя из последних.

— Не может быть! — ахнули все присутствующие.

Смирдин и Геннади поняли, что тут сейчас не до них. По окончании обеда Серно-Соловьевич любезно проводил их до дверей и просил о встрече в недалеком будущем.

Когда наступила осень и пошли хмурые короткие дни и долгие вечера, Смирдин почти перестал выходить из своей каморки в домике на Песках.

— Ну, не ленись, не ленись,— уговаривал он свою воспитанницу Лариску.

Сватья Серафима Феклистовна разрешила Лариске теперь перейти спать в смирдинскую каморку, а то по ночам с ним начались какие-то приступы, одного оставлять было опасно. Лариске постелили на полу, напротив смирдинского пуховика. Она ночью просыпалась и прислушивалась к его дыханию.

Впрочем, суровая сватья вообще сменила гнев на милость в своем отношении к бедной Лариске. Ведь отец-то ее, Ларивон Апарин, теперь тоже потомственный почетный гражданин и поставщик двора его величества, а потомства-то не имел. Десять лет как женат, а детей бог не давал! А сколько известно случаев в торговом мире, когда незаконнорожденные дети, в такой ситуации, наследовали капиталы!

— Ну, не ленись, не ленись! — повторял Смирдин, ласково трепал девочку за косу и надевал свои железные очки.

Лариска не ленилась, нет! У нее были подобраны и учебнички и тетрадочки, с Александром Филипповичем она и Псалтырь почитает, и на счетах поупражняется. А Дмитрий Дмитриевич Александров ей священную историю рассказывает, кое-что из естественной истории.

И вот они с утра, покуда не так темно, склоняются над книгой. Лариска старательно шевелит губами, сначала прочитает фразу про себя, примерится и торжественно читает вслух:

— «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои...— она оглядывается на Александра Филипповича, не дремлет ли он, но он, глубоко задумавшись и держа в руке очки, согласно кивает головой, и девочка продолжает: —...и на труд, которым трудился я, делая их. И вот, все суета и томление духа и нет от них пользы под солнцем!»

Лариска, когда до нее доходит смысл прочитанного, в недоумении оглядывается на Смирдина, а тот, продол-

жая держать в руке очки, так же размеренно продолжает кивать головой, и девочка понимает — он дремлет.

Тогда она берет вычурную пергаментную книжную закладку и осторожно закрывает книгу, застегивает ее на медную застежку. И, сняв туфельки, выходит босичком, чтобы не потревожить своего наставника, а бедный Александр Филиппович, держа в руке очки, продолжает размеренно кивать головой.

— Александр Филиппович! — кричит снизу сватья Серафима Феклистова. — Эй, Лариска, потревожь-ка свата, к нему господин вот приехал.

И Смирдина будят, облачают в кобеднешний сюртук и выводят в столовую, вниз, потому что у него в нужничке, как выражается сватья Серафима Феклистова, козлом стало пованивать.

Александр Филиппович никак не может понять, кто это к нему приехал, а приезжий, тоже старичок, совершенно ссутуленный и в жилетке мехом вниз, объясняет, пришепетывая:

— Фто же вы меня, Александр Филиппович, не можете припомнить? А княжну Аннету помните, а Китай-город, а Вознесенский проспект, лавка Плавильщикова?

Тогда выясняется, что это Евгений Петрович Обрезков со всеми его пришепетываниями и картавостью. Жизнь прошла, а речь все та же!

Он благодарит за ответ на его письмо, почти уж десять лет как с той поры прошло! А сколько радости там, в Кургане, доставила им посылка с книгами! Евгений Петрович даже захлебывается, рассказывая о том, как потянулись все — и крестьяне и ссыльные — к основанной ими библиотеке!

Он, Обрезков, выйдя из ссылки, был некоторое время чиновником при губернаторе. Всю, почитай, Сибирь довелось ему пройти или проехать, но везде все грамотные русские люди, а иные просто понаслышке, знают его, Смирдина. Губернаторов своих по фамилии не знают, а его знают, Смирдина!

А теперь он, Обрезков, по возвращении ему императором всех его прав состояния, направляется в свое имение, в Псковскую губернию. Там будет работать в комиссии по освобождению крестьян. Время сейчас настает такое, что каждая пара рук дорога.

И Евгений Петрович желает Смирдину крепкого здоровья и многих лет жизни, кланяется ему, как это де-

лают теперь только в Сибири, и уходит — крепкий, седой, боевитый.

Сватья подходит к Смирдину и, потрепав его за плечо, говорит вполголоса:

— Вот! Видал? В кандалах уходил, а все как огурчик! Не раскисай, Филиппыч, не раскисай, ты еще детям нужен. Найди себе какое-нибудь дело!

Но дело у него есть — это гранки для книгопродавческой фирмы «В. Генкель и А. Смирдин». Стихотворения какого-то Майкова, бог его знает. Смирдин правит гранки, держит свою корректуру, а в смысл особенно не вчитывается. Правит себе потихоньку, и то польза.

И с детьми, конечно, нет ему покоя. Недавно приезжала дочь Лили, которая замужем за Верховским, жаловалась. Муженек-то оказался ненадежный, Оленька Успенская подсунула, все по цыганам разъезжает, а недавно соседская приживалка говорила, будто здесь у него на Песках постоянная есть зазноба...

Лили боялась плакать, но слезы так и стояли у нее в уголках накрашенных глаз. А внучка Машенька у него такая кроха, выпал снег за окном, она прислушалась, спрашивает:

— Деда, это по снегу идут скрипуны, да?

Внук по сравнению с ней бука, белобрысый упрямец, вроде его отца Дмитрия Дмитриевича, любит забраться к Александру Филипповичу на колени и сидеть там как победитель, по-царски обзоревая присутствующих.

Смирдин, конечно, понимает: надвигается неизбежное, чему не миновать, он уж внутренне готов и не страшится, исповедался, причастился, как подобает православному человеку.

Но каково их покидать, их, которые кажутся ему такими беспомощными, нераспорядительными и недружными... Уж и деньгами он не поможет, и совета от него не жди, а одно присутствие его, кажется, делает их и расторопнее и мудрее.

Глубокой ночью он проснулся, долго лежал, отдавался тяжким думам. В бревенчатых стенах жизнь кипела вовсю: поскрипывали, потрескивали, общались какие-то жучки-паучки. Лариска внизу спала, ворочалась и постанывала, небось снились какие-нибудь страсти.

Совершенно не спалось, Александр Филиппович поднялся, выкрасал огонек, зажег вчерашнюю стеариновую свечу. Увидел толстенную книгу с Ларискиной пергамент-

ной закладкой. И вдруг захотелось ему погадать, хотя он знал, что гадать по Библии — тягчайший грех! Он открыл наугад возле Ларискиного места, вышло непонятно:

«Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем...»

Он перелистал несколько страниц назад и прочел:

«Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им; не возбранял сердцу моему никакого веселия; потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих; и это было моею долею от всех трудов моих».

И тогда он, не закрыв книгу, лег обратно на свою постель и уже более не вставал.

Время торопилось, летело над головами, как некий ураган. Свеча все горела в подсвечнике над книгой, горела и оплывала, потрескивая, пока, наконец, не догорела и фитилек ее, зашипев, угас.

Но в комнате уже было совсем светло, потому что над городскими крышами вставала заря нового дня.

КОНЕЦ

ФЛОРЕАЛЬ

Исторический роман



Глава первая

ВЫСТРЕЛ В КАФЕ «ВАВИЛОН»

1

Обмерзшая дверь заскрипела, застонала, задребезжал колокольчик. Когда улетучился ворвавшийся пар, на высоком пороге оказалась барышня в крошечной шляпке, со старомодной муфтой в руках. Остановилась, всматриваясь в глубину кафе, шурясь на блеск газовых ламп.

Звенели стаканы, стукались шары биллиарда, костяшки домино. Какой-то контуженый трясса возле прилавка, отбивая нервную чечетку. И все ораторствовали, кто на ухо соседу, а кто и во всю глотку, на весь низкий, сводчатый подвал кафе. Стон стоял от речей и призывов — истинный Вавилон!

Оно, это злачное заведение напротив Сорбонны, славилось своими спорами и диспутами, а случалось, и кулачными потасовками. Правда, теперь, в дни поражения и осады, все его завсегдатаи — медики и богословы, бакалавры и лиценциаты — превратились в ополченцев — национальных гвардейцев, отпустили воинственные усы и бороды, нацепили даже сабли. Форменные кепи носили так лихо, будто желали заявить: «А ну, господа пруссаки, суньтесь!»

На звук входного колокольчика все обернулись. Кто-то крикнул: «Эй, дверь закрывай, не лето!» Но фигурка вошедшей была ординарна — потертый жакетик, зябкие плечи. Модистка, натурщица или просто уличная девочка из бывших, здесь много таких. И бородатые головы вновь обратились к контуженому, который твердил:

— К-как з-завизжит... К-как ж-жажахнет!

В сделавшемся привычным осадном режиме заблокированного прусской армией Парижа появилось нечто новое и пугающее до ужаса: враг стал забрасывать город бомбами из пушек.

Контуженому совали кружку с вином, он расплескивал и махал рукой, пытаясь живописать.

— П-прямо на трот-туар! Вся очередь повалилась... И детей...

Тут один оратор, седенький, шупленький, петушком вскочил на стул. Сюртук национального гвардейца был ему слишком просторен, и он усиленно жестикулировал, словно стараясь вынырнуть из него:

— Граждане дорогие! Новый акт варварства совершился. Прусская военщина, бессильная взять революционный Париж...

Страсти разгулялись. Осадное питье было скверное — в стакан желудевого кофе стопку полынной водки, вместо закуски вообще только табачный дым. Всем хотелось витийствовать, кто-то пытался оратора стащить за фалды, но большинство кричало:

— Эй, не мешайте! Продолжай, гражданин Ришардь!

И тот напрягался, стараясь перекричать гвалт:

— Ради спасения Отечества! Оставим политические распри! Объединимся все без различия! И пролетарии! И буржуа!..

Зал одобрительно гудел. Только за крайним столиком, у самого входа, взъерошенный студент со значком медицинского факультета бурно негодовал:

— Что он мелет, послушайте! И пролетарии и буржуа! Что он болтает, этот баран!

Зрачки его сверкали, черная густая борода воинственно задралась. Сидевший рядом майор национальной гвардии пытался его успокоить:

— А ты не слушай! И пусть болтает себе на здоровье.

— Ну как себе на здоровье! Это ты, милочка моя, Дюваль, хоть и увешан теперь аксельбантами и галунами, но как был себе литейщик, сознательный пролетарий, так им и остался... А ведь эта интеллигенция ему верит!

Он красноречиво указал на публику, аплодирующую гражданину Ришардь, и отвернулся с негодованием. И тут взгляд его упал на только что вошедшую барышню, которая все еще стояла на ступеньках, всматриваясь. Студент тотчас достал из кармашка пенсне, вскинул его и спросил строго:

— А вам что, мадемуазель? Кавалеров здесь нет, ищите их в ресторанах на правом берегу. Здесь одни санкюлоты, едят политику, запивают философией, ха-ха-ха!

— Будет тебе, Рауль, — сказал майор. — Когда ты так

глаза уставившись, ей-богу, медведь со страха околеет. Зашла себе девочка погреться!

Барышня на их речи и внимания не обратила. Высмотрев кого-то в глубине подвала, где ораторствовал гражданин Ришардье, она неторопливо сошла со ступенек и направилась в зал, протискивая между сидящими колокол своей юбки. А гражданин Ришардье все выкрикивал:

— Деточки наши! От голода страдают! Хлеба нет! Все дорого безумно! Торгаши обнаглели!

Тщедушный и седенький, он, однако, умело управлял всеобщим настроением, и вот уже клокочет негодование, сливаясь в грозный гул:

— Прорвем осаду!

— Конечно, прорвем! Ведь мы суверенный народ Парижа, мы национальная гвардия республики! А наши славные генералы! А наши министры-республиканцы!

Бородатый медик в пенсне вскричал, услышав это:

— Ну вот, уж и до министров у него дошло! Не держи меня за рукав, милочка моя Дюваль, я больше терпеть эти бредни не намерен.

И он тоже встал на стул, как второй петушок, скрестил руки, и шнурочек пенсне его трясся от возмущения.

— Смотрите, этот ваш Ришардье, он же сошел с ума! Генералы! Да это те же самые вояки, которые расстреливали стачки, зато потом лихо драпали от немцев! Министры! Да это те же самые ренегаты, которые Наполеошке лизали пятки!

Шум в кафе утих от его властного голоса. Студент соскочил со стула и пошел по проходу, провозглашая:

— Долой правительство национальной измены! Дорогу Коммуне!

Слово «Коммуна» по всем столикам бежало, как по пороховой нитке.

— А что Коммуна? — Ришардье на своем стуле так и затанцевал. — Что она переменит, эта Коммуна? Где она возьмет хлеб для голодных, молоко для детей, когда Париж в осаде? Надо прорвать осаду, отогнать пруссаков, вот тогда будет и молоко и хлеб... Но для этого надо не натравливать пролетариев на буржуа, а наоборот! Вот когда Коммуна была в 1793 году, тогда как раз... Ведь как утверждает мсье Риго...

— Я попросил бы вас, — сказал студент в пенсне, подойдя к нему вплотную, — не называть меня мсье. Терпеть не могу, когда буржуазные подпевалы...

— Да боже мой! — завопил Ришардье, балансируя на своем стуле. — Это я-то подпевала? Я только что вернулся с каторги, вот следы кандалов! Послушайте, молодой человек, я первый раз вышел на баррикады в сорок восьмом году, когда вы, вероятно, еще не родились.

— Тем более удивительно, — усмехнулся Риго, сняв пенсне и собираясь вернуться за свой столик, — что вы, такой выдающийся революционер, оказывается, никак не в силах понять: сегодня не девяносто третий и не сорок восьмой, сегодня тысяча восемьсот семьдесят первый год!

Ришардье хотел еще что-то возразить, но тут как раз барышня с муфтой, протискиваясь мимо, задела его стул, и он, пошатнувшись, соскочил. Ухватился нечаянно за плечо господина, сидевшего одиноко за соседним столиком.

— Вот! — вскричал Ришардье, как будто обнаружил доказательство своей правоты. — Что, например, подумает этот наш друг, русский, о великой французской нации, слыша, какие раздоры терзают ее в столь ответственный момент?

Господин, на которого Ришардье указывал, продолжал неподвижно сидеть, глядя в стакан.

Барышня направлялась именно к нему. Подошла и коснулась муфтой.

— Скажите... Вы ли мсье Неретин Валерьян?

— Я... — ответил тот, приподымаясь перед дамой. — Что вам угодно? — И осекся, наткнувшись грудью на выставленное из муфты дуло револьвера.

2

Выстрел оборвал все споры. Стало слышно, как вино капает из бочонка. Когда рассеялся дым, увидели, что русский стоит, смущенно улыбаясь, кривит ус, держится за грудь. Отвели руку, но раны под ней не нашли.

— Черт побери... Холостым? Зачем?

— Девчонка промахнулась!

— Нет, я видел, он по руке ударил...

— Ах, ах, от пули дырочка в потолке!

— Постойте, а где же девица?

Она сидела тут, уронив муфту, спрятав в ладони лицо.

Майор Дюваль поднял с пола револьвер и подкинул его на ладони:

— Изящная игрушечка, шесть патронов в барабане!

— В полицию ее, в полицию! — требовала публика. — Какая наглость — стрелять в общественном месте!

— Ну конечно, в полицию, — язвительно сказал Рауль Риго. — Ведь что это будет, если каждая женщина захочет убить по мужчине?

— Не шутите, граждане! — Ришардье суетился, отпивая чрезмерно любопытных. — Подойдите к делу серьезно. В свободном государстве полиция — это кто? Полиция — это мы сами, суверенный народ! Давайте проведем следствие здесь же, сейчас...

— Теоретик! — кричали из задних рядов. — Лучше налей ей рюмку вина, небось еле дышит с перепугу!

Неретин, с лица которого сошла бледность первой минуты, наклонился и услышал, как она шепчет по-русски:

— Мамочка, что же мне делать? Мамочка...

Русская! Здесь! И стреляет в него, Неретина! И всхлипывает, будто ребенок... Жалость поразила Неретина острой, чем это сделала бы пуля. Он выпрямился, ища поддержки.

А публика напирала:

— Следствие! Давай следствие!..

— Следствие? — говорил Рауль Риго; перед ним раступались, пропуская его в середину. — Можно и следствие, это как раз по моей части.

Держа пенсне как лорнет, он рассматривал Неретина и вслух размышлял:

— Был аналогичный случай в шестьдесят шестом году. Мадемуазель Пюто в кафе «Ренессанс» убила наповал агента императорской полиции. Что ж, господин этот, пожалуй, тоже мог бы оказаться агентом — самая заурядная внешность, рост средний, глаза водянистые, особых примет нет...

Решардье, ревнуя студента к публике, так и вертелся, стараясь вставить слово. Неретин улучил момент и притянул его к себе:

— Мсье! Зачем весь этот балаган? Нельзя ли как-нибудь ее отсюда потихоньку...

— Как? — Глаза Ришардье округлились. — Вы сами не хотите? Она же в вас...

И снова вскочил на стул, захлопал в ладоши, закричал, словно продавец экстренных газет:

— Разгадка инцидента найдена! Граждане, их дело неподсудно революционному трибуналу. Виной всему любовь. Да, да, любовь! Она его любила, а он ее бросил!..

Толпа зарокотала, обсуждая услышанное. Разве они не французы, чтобы не понимать, что такое любовь?

Распахнулась входная дверь, колокольчик вякнул, как придавленная собачонка. Ввалился патруль — зуавы, африканские стрелки. Хозяин успел вызвать, опасаясь развития событий. Очень эффектны эти алжирские стрелки — усы пиками, как у бывшего императора, розовые шаровары, красные фески. Впереди шел высоченный француз-лейтенант; зеленый тюрбан подчеркивал европейскую белизну его лица.

— Подданный Российской империи, — сказал Неретин, подавая ему паспорт.

— Важная птица! — заметили в толпе. — У нас если не в шпионов, то стреляют только в королей.

— А она? — скосил глаза лейтенант.

— Моя жена, — кратко ответил Неретин. — Паспорт остался в отеле.

— Знаете, семейное дело, — вмешался Ришардье. — Мы все ручаемся за них. Этот мсье русский — здешний житель. Мы привыкли видеть его за столиком каждый вечер. Я из газеты «Борьба», вот моя карточка, наш шеф — Феликс Пиа, великий якобинец...

— И великий склочник! — добавил Рауль Риго из-за его спины.

Ришардье так и подскочил, готовый к отпору. Опять поднялся хохот, шум. Лейтенант, снисходительно улыбувшись, вернул Неретину его бумаги и повернулся к стойке, желая, видимо, пропустить стаканчик.

— Минуточку, — остановил лейтенанта Риго, выдвигаясь из-за Ришардье. — А вот вас-то я узнал, ваша фамилия Давос.

— В чем дело? — недовольно спросил зуав.

— А в том, милочка моя, что вы состоите агентом жандармерии и выдали Брюа, Бланмениля и Франше в шестьдесят восьмом году.

Лейтенант стоял молча, на его высокомерном лице и мускул не дрогнул.

— Не угодно ли понюхать моего табачку? — Рауль прямо в нос сунул ему черепаховую табакерку, на крышке которой была изображена голова короля, отрубленная и насаженная на пику.

Лейтенант ударил по табакерке, табачная пыль взлетела в воздух. Риго крикнул ему в лицо:

— Когда-то вы могли шпионить за нами и издеваться! Теперь мы — сила, мы — власть! Вон отсюда, вон!

Зуавы взяли ружья на изготовку. В ответ национальные гвардейцы потрясали саблями и револьверами. Хозяин спешно убирал стеклянную посуду.

Воспользовавшись перепалкой, Неретин с помощью Ришардье стал выводить барышню из кафе. Майор Дюваль им помог — уперся ладонями в спины зевак, и толпа расступилась.

На улице была тьма, тишина. В ушах все звенел, колотился минувший скандал. Ощупью они выбрались за угол, на бульвар Сен-Мишель. Кое-где в голых ветвях покачивались слабые фонари.

— Так она правда ваша жена? — не умолкал Ришардье.

Остановились в зыбком круге фонаря у заколоченного киоска. Незнакомка прислонилась к стене, она была безучастная, будто неживая. Неретин долго набивал и раскуривал трубку.

— Клянусь вам, впервые ее вижу... — нехотя проговорил он. — Ума не приложу... Но не оставлять же ее там.

— Да, да, — тотчас согласился Ришардье. — На улице тоже нельзя бросать, ей, видно, нужен врач... Ведемте-ка ее в отель «Обюссон», у меня есть отдельный ключик, консьержка и не узнает.

— Послушайте! — Неретин начал раздражаться. Трубка его никак не сосалась, ветер подхватывал летучие искры. — Откуда вам, мсье, известно, что я живу в отеле «Обюссон»? И потом, кто вам сказал, что я русский, да еще дал право объявлять об этом в трактире?

— Да бог мой! Кто же в Париже не отличит иностранца! А мы с вами соседи, живем в отеле «Обюссон», и даже на одной площадочке, вот какой вы невнимательный. Я ведь каждое утро здороваюсь с вами.

— Ну, тогда извините, что ли... — Неретин выколотил трубку. — Дрянь табак. В «Обюссон» так в «Обюссон»!

3

— Ну что это вы? Зачем же вы так? — повторял Неретин, склонившись над незнакомкой, которую они уложили на его узкую постель. — Скажите, кто вы, как вас зовут? Отзовитесь!

— Да бросьте вы... — убеждал его Ришардье. — У нее

нервный шок, это так называется в медицине. Она сейчас ничего не слышит, не понимает. Уж вы мне поверьте, мой дорогой. Я побывал на каторге, в Кайенне, знаете, что это такое? Рай для москитов, ад для людей. Кем только не пришлось мне там быть, был и врачом, лечил туземцев, и знаете — не плохо!

Казалось, у него самого какая-то странная болезнь — он говорил беспрестанно, нетерпеливо извергая все, что на душе. Или уж он намолчался там, на своей каторге? Он говорил и двигался, поминутно моргая, будто вытряхивал соринки из глаз.

— Кофе согрею... Глоточек кофе воскресит. У меня есть кофе, правда не довоенный — суррогат, но зато смолот из пережженных каштанов...

Он влил незнакомке в рот полчашечки кофе с каплей спирта. Она открыла глаза, неподвижно и серьезно рассматривала склонившиеся лица, затем безучастно перевела взгляд в потолок.

— Раньше я был сторонник Ледрю-Роллена, в сорок восьмом это был орел! Но теперь я его не уважаю, да-да, не уважаю. Беспринципный, знаете ли, примиренец. Зато Феликс Пиа... Вы о нем не слышали? Вот это титан, якобинец до мозга костей! Для него нет авторитетов — самого Гарибальди он вызывал на дуэль, в Лондоне ссорился с Марксом. А вы знаете, каков Маркс в спорах?

— Тьфу ты! — поморщился Неретин.

Встал, подошел к обмерзшему окну. На заваленной снегом набережной ветер колебал цепочки редких огней. Там угадывались громады пустых и холодных зданий.

Что ему нужно, Валерьяну Неретину, в этом чужом городе? Давно уже он обрек себя на созерцательную жизнь, житие без тепла и участия. Гонит его судьба как дикого зверя, теперь за ним и охотятся, в него стреляют. Даже слезы проступили от жалости к себе.

Там, за спиной, в тени, куда не достигает свет коптилки, на узкой кровати лежит она — теплая, живая, кому-то, наверное, и родная. Она могла бы быть и ему женой, сестрой, подругой, а вместо этого хотела убить. И валялся бы он сейчас в морге, с биркой на ноге...

Тем временем Ришардьё набрал щепок и бумажек, растопил камин, в воздухе потянуло дымом, и стало еще промозглее, еще сырей. Незнакомка, вероятно, уснула. Ришардьё развалился в продранном кресле, грея лицо в отблеске камина. Не заботясь о том, слушают его или



нет, он рассказывал бесконечную историю, из которой выходило, что он, Ришардье, ищет свою дочь, которую куда-то запрятали родственники его покойной жены — тупые аристократы!

— Моя бедная девочка, ах, моя бедная девочка! — восклицал он, всплескивая руками, и пружины кресла под ним заунывно скрипели. — Никак не могу ее разыскать. Правда, я никогда ее не видел, мое сокровище, она родилась уже после моего ареста, но ей должно быть теперь столько же лет... Бог мой, бог мой!..

Тишина сгушалась перед зимним рассветом, даже воздух за окном казался жидким и черным от холода. Вдруг огненная черта как молния рассекла ночь. Послышался взрыв.

— Мерзкие пруссаки! Всерьез решили бомбами закидать!

4

«Мамочка, что же мне делать, мамочка!» Снова и снова чудится шепот, видится сквозь сон взгляд, беспомощный и детский... И это — убийца! Глаза Неретина слипаются, на стуле жестко, ноют бока, а сон то нахлынет, то отлетит, оставляя постылую боль в висках.

«Так она правда ваша жена? Правда?» — «Клянусь вам, впервые ее вижу... Ума не приложу...»

Постой, постой, Валерьян Неретин! Зачем ты кокетничаешь сам с собой? Разве тебе не понятно, что за выстрел достался на твою долю и кто мог направлять стреляющую руку?

Есть в средней России, в патриархальном краю, городишко Мценск, омываемый ленивой Зушей. Там с незапамятных времен жительствоуют купцы-лабазники, снабжающие мукой матушку-Русь, и бурлаки, которые муку эту ворочают на своих горбах. Живут там и неслужащие дворяне, иные в отставке, а кто просто по тихости нрава.

Отставной генерал, герой кампании двенадцатого года, Африкан Неретин нашел там последний приют, похоронил жену и сам оставил сиротами троих детей.

Старшая — Ольга Африкановна — осталась христовой невестой, пожертвовала собой ради младших братьев. Носила вдовьи кружева, ходила твердым шагом, позвякивая ключами. Младшие, Валерьян и Сергей, были отданы в кадетский корпус, на казенный кошт. Сергей, слабый го-

ловкой, после корпуса служить не мог и остался коротать век во мценских пенатах, а Валерьян служил.

Еще в корпусе был у Валерьяна задушевный друг, Гурий Иванищев. Кончив с отличием, они вышли в хороший полк — лейб-гвардейский, кирасирский, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. У государя всегда на виду, и карьера обеспечена. Так нет, подобно всей тогдашней молодежи, они стали обсуждать дискурсы государственной политики. Сначала просто сетовать, что вот, мол, крепостное право плохо, произвол в судах, мордобитие в армии, затем сошлись на том, что было бы полезно изменить все это. Иванищев промыслил где-то запрещенный журнальчик «Колокол», издаваемый в Лондоне Герценом, эмигрантом. Почитывали и Чернышевского, Писаревым увлекались.

Прямо скажем, заводилой всему был Гурий Иванищев; наш-то Валерьян был нравом смирен и умом нетороплив. Бывало, в петербургской казарме подадут им чубуки, они дымят и читают по-французски графа Сен-Симона, как устроится грядущее государство, где все будет общее и господ без лакеев станут сами себя обхаживать.

Когда все разойдутся, Гурий, воспламененный Сен-Симоном и разговорами, начинает расхаживать по ковру и убеждать:

— Надо, Валерьян, что-то сделать... Надо как-то бороться!

Они записались добровольцами на Кавказ. Это была настоящая школа войны! Ни фронта, ни тыла, никакой теории или правил — смерть из-за каждого камня. При взятии Шамиля отряд волонтеров совершил переход через горы, чтобы зайти с тылу в Гуниб. Там через Андийское ущелье мост был, как ниточка, а пули горцев свистели во все концы. Тогда полковник крикнул: «Неужели, братцы, не перейдем?» И что-то сделалось с Неретиным. Всегда неприметный и молчаливый, он, выхватив шашку, первый бросился через мост.

По возвращении в Петербург государь соизволил принять отличившихся. Стоя в строю, Неретин с трепетом смотрел на приближавшегося монарха. Обыденное, умное, слегка нездоровое лицо. Боже, боже, неужели это царь, непостижимо высшее существо учебников, рескриптов, молитв? От восторга немела душа.

Государь скользнул взглядом по лицам офицеров, даже герою дня, Неретину, только милостиво кивнул. Но за-

то остановил внимание на Иванищеве. Смелый взор, что ли, или благородная осанка понравились императору, только высочайшая рука милостиво дотронулась до локтя Иванищева.

Придворные их окружили, поздравляя георгиевскими кавалерами, а Иванищев потом долго обирал свой рукав, как будто испачкал его в пуху.

Зимы в Петербурге были веселы. Холостые офицеры — все их принимали, всегда упоминали вместе — Иванищев с Неретиным. Правда, никогда не говорили наоборот — Неретин с Иванищевым. Гурий и здесь оказался на переднем плане. Что ж, он действительно был хорош собой: лоб высокий, гордо подняты четкие брови. А Неретин так себе, серый зайчик, тусклый, неинтересный.

А годы шли. Валерьяну нравилась эта легкомысленная жизнь, и он расточал себя на балах и раутах. А Гурий, наоборот, все более замыкался. Много читал, помрачнел. Завел знакомство с какими-то штатскими личностями, бледными и длинноволосыми, и вообще стал жить как отшельник.

Настали крутые времена. Журналы прикрыли, Чернышевский и другие угодили в крепость, о них говорили только вполголоса. Началась польская кампания. Иванищев и Неретин, а также двое-трое из их полка сочувствовали полякам, даже помогали — один раз пленных отпустили, а то полковник у них был на руку скор, мог и повесить не разбирая.

И вот однажды поляки подстрелили штаб-ротмистра Васеньку Кириллова, любимца полка, балагура и гитариста. Васенька был как раз один из сочувствующих, даже пленных отпустил именно он.

— Ну, как хочешь, Гурий, — угрюмо сказал Неретин, — терпеть я не могу этих твоих поляков. За что они Васеньку?

— На войне как на войне, — пожал плечами Иванищев. — А сколько мы побили ихнего народа, сколько невинных? Для них теперь каждый, носящий русский мундир, означает кровного врага. А нам бы с тобой да с Васенькой не прекраснодушничать, а переходить на сторону восставших. Настало время, милый Варик, выбрать себе истинный путь!

Неретин хотел ответить, что ему надоел этот вечный менторский тон и вообще он хочет жить своим умом, но

как-то не решился. Однако с того дня между ними пролегла незаметная тень.

Вскоре кампания окончилась, поляков усмирили, попутно пересекли мужиков в бунтующих русских деревнях.

— Это занятие не по мне, — заявил Иванищев и вышел в отставку. На все расспросы о будущем он отвечал уклончиво: — Займусь практической деятельностью.

Подошел роковой 1866 год. Некто Каракозов сквозь решетку Летнего сада выстрелил в императора, когда тот делал променад. Россия содрогнулась. Те, которые раньше почитывали Чернышевского или собирались устроить полезное для народа заведение, теперь отреклись что было сил.

Неретин в то время был в отпуске во Мценске; там как раз гостил их дядюшка по матери, сенатор.

— Каракозов из разорившихся помещиков, — басил он за обедом и за вечерним чаем. — Он мстил государю за то, что тот освободил крестьян, за реформы его мстил.

Любопытно, что и крестьяне в деревнях толковали точно так же: «Злодей хотел убить батюшку-царя».

— Каждый дворянин, — сенатор назидательно поднимал палец, — обязан в трудную сию годину стать пред лице государя. Крамольники развелись всюду, нет никого, кто был бы избавлен от общения с ними... Вот ты, молодой человек, — обращался он к Неретину, — среди твоих друзей в Петербурге неужели нет нигилистов?

И Неретин, потрясенный случившимся, поверил всеобщему мнению, что нигилисты — просто кучка мстительных неудачников. В припадке откровения он рассказал дядюшке об Иванищеве, об их разговорах в Польше. Правда, он подчеркнул, что у Иванищева и в мыслях не было покушаться, но вот были же такие разговоры...

Сенатор насупился. Пора бы определить, с кем ты, — с государем, которому как офицер присягал на Евангелии, или с потрясателями основ, безумными юношами. Он заинтересовался, где теперь Иванищев, и, узнав, что в отставке, больше не спросил ничего.

Осенью в Петербурге пропавший Иванищев свалился как снег на голову. Явился к Неретину в казарму, когда уже зарю сыграли.

— Откроюсь тебе, — говорит, — хочу освободить Чернышевского. Он, пишут, тяжело болен там, в Сибири. Я достал себе полный мундир фельдъегеря, вот и каска и колет. Есть у меня и подорожная и предписание выдать

узника якобы для препровождения в Петербург. Бумаги выправлены искусно, комар носа не подточит. Но у меня теперь ненадежно. Дозволь до отъезда я поживу у тебя.

Вдруг на следующий день Неретина пригласил к себе дядя-сенатор. Сначала было много гостей, затем все как-то разошлось. Остались Неретин, дядя и еще один господин, слегка полный, с нафабранными усами и височками.

Играли в покер, господин с височками смешил всех анекдотцами.

— Говорят, намеднись на Охте,— сказал он между прочим,— в проруби тело обнаружено. Дворники опознали — некто отставной штаб-офицер Гурий Иванищев...

— Не может быть! — ахнул Неретин. — Да я только что...

Руки-ноги оторвались, душа захладала. А дядя-сенатор побагровел весь и кивнул господину с височками:

— Вы, кажется, правы...

И тогда господин с височками швырнул на стол всю колоду так, что язычки у свеч запрыгали.

— Лейб-гвардии поручик Валерьян Неретин! — крикнул он. — Властью, данной мне государем, приказываю открыть — кого вы прячете у себя?

Неретин уронил голову на плюшевую скатерть, эполеты его тряслись. Дальнейшее он помнит плохо: господин с височками посылал куда-то какой-то наряд, а его, Неретина, всю ночь два солдата держали за локти и дядюшка грозно увещевал.

Неретин утром вернулся в свою оскверненную, разгромленную комнату в казарме, упал в кресло и молча сидел.

Но когда он, как обычно, вышел к обеду в офицерскую артель, на его приветствие никто не ответил, а как только он сел к столу, все оставили свои блюда и вышли. Артельщик, потупясь, объявил, что по решению господ офицеров он, Неретин, теперь должен кушать у себя на квартире и покорнейше просят его забрать пай из общего котла.

Да! Ведь еще в кадетском корпусе было заведено — доносчикам товарищи не подавали руки.

И полковник стал говорить с ним сквозь зубы, шурясь и растягивая слова. Ничего не оставалось, как подать в отставку.

Затем он жил во Мценске, игрывал в дурака с сестрицей и ее приживалками. Завелись кумовья, пошли возлияния, столь обильные, что стало известно губернатору и тот строго осведомлялся об этом.

Тут как раз пришло лето, и сестрица спровадила его от соблазнов в деревеньку в Болховском уезде — наблюдать за порубкой проданного на своз леса. Блуждая с ружьем по перелескам, он однажды набрел на старый сарай на выгоне и зашел поваляться на сене. Там оказалась спящая крестьянка. Он узнал ее — девушка из их бывших крепостных. Наретин долго и терпеливо сидел на корточках, смотрел на ее милое лицо, на подрагивающие ресницы и губы, влажные и доверчивые. Он чувствовал, как умиление и нежность входят в его смутную душу.

Муха поползла по ее щеке, он потянулся согнать, но неловко задел. Девушка вскочила, хотела убежать. Неретин удержал ее за расшитый рукав.

Так началось его недолгое счастье. Солнце, воздух, леса! Ширь, свобода! И он, он, всегда безликий и второстепенный Неретин, теперь уж больше не пешка в барабанном строю, не деталь эскорта при императрице, он — человек! К нему девушка бежит тайком, торопясь от радости, забыв о стыде. Вместе они гадают по крику кукушки, ищут в лесу корень-огнецвет, который дарит все, что пожелаешь.

Ольга Африкановна уже не раз посылала сказать, что пора возвращаться: есть, мол, дела и во Мценске. Видимо, до нее дошли какие-то слухи. А он явился, только когда осень погасила свечи берез и остудила лесные горницы. Явился и бухнул с порога:

— Сестрица, я женюсь. Посылайте сватать в болховскую деревню...

Что поднялось в чинном доме Неретиных! Ольга Африкановна помчалась в Болховский уезд сама, затем вызвала туда брата и объявила, что его «пассия» выходит замуж за вдовца из соседнего села. «Не веришь — спроси сам». Там, в низкой, дымной избе, девушка с лицом, распухшим от слез или от пощечин, твердила одно и то же:

— Не судьба, Валерьян Африканыч, барин милый, знать, не судьба!

В избе среди невообразимых лохмотьев баба совала

тощую грудь младенцу со скрюченными ножками. У печки стоял обшарпанный, грустный ягненок. Бежать бы, искать лошадей, умчать ее из этого смрада! Но Неретин просто оцепенел, впервые увидев этот другой, чудовищный мир.

Потом во Мценске сестрица сказала ему удовлетворенно:

— Не станет птица жить в воде, а рыба в воздухе. Ты погубил бы ее, если бы женился... Уж и так одного на ка-торгу загнал...

Значит, про Иванищева она знала!

И он сорвался навсегда из родительского дома. Невыносимо долго тащились перекладные по осенним хлябям в Петербург. Началось томительное хождение по канцеляриям и приемным, бесчисленные прошения и один непрременный ответ: «Дело о государственном преступнике Иванищеве пересмотрению не подлежит». Чиновники даже боялись брать взятки.

Наретин снял комнатку в Царском Селе, целый день пропадал в окрестностях, изучая посты вокруг дворцового парка. Государь, тот добрый, с печальным лицом, пожилой человек, был недостижим. Бронзовые орлы плотно сидели на каменных устоях ограды.

Сестрица Ольга Африкановна забрасывала дядюшку депешами, пока тот не разыскал Валерьяна уже в Москве, в трактире «Балчуг», где он, пьяный, плясал с цыганами и обнимал их ручного медведя.

После сурового поста и назидательной беседы сенатор решил определить его служить. На авансцену опять выдвинулся господин с нафабранными височками.

Служба предстояла нетрудная, но совершенно особого характера. Дело шло опять же о тех, кто злоумышлял на особу императора, на Русь святую и на православную веру, то есть о нигилистах. Так как их гнали и теснили в России, многие выехали за границу и свили гнезда в Лондоне и Париже. Неретин должен был там следить за их передвижениями, подслушивать их разговоры, по возможности втираться к ним в доверие...

— Нет! Нет! — Все кипело, протестовало в Неретине. — Оставьте меня!

В конце концов господин с височками устал приводить аргументы в пользу честного, хотя и тайного служения престолу и вскричал:

— Вы сами, надо полагать, заодно со злодейскими покусителями!

Дядюшка вторил, багровея до синевы:

— Тебя и так уж охранительное ведомство простило. Ты подумай, что станется с сестрицей Ольгой Африкановой? С братцем что будет, если тебя вдруг лишат всех прав состояния и так далее? Господин Иванищев пусть за себя расплачивается сам!

И Неретин очутился в Париже. Был гадок сам себе, мерзок. Иногда всплывал неясный лик Иванищева, Неретин загонял его вглубь, картежничал, напивался до обалдения. В таком состоянии сидел часами в кафе «Вавилон», а если вдруг на жухлом лице его маячило подобие улыбки, значит, ему вспоминался тот далекий сарай в болховском лесу.

Впрочем, службу свою он исполнял аккуратно, как привык исполнять все, что предписывает закон и требует начальство. День наползал на день, год на год, как слой на слой зеленого стекла. Сам понимал — из гвардейского офицера, раба чести и доблести, сделался рыцарем доноса, филером, сикофантом.

И как ни отмахивайся от прошлого — он знал, — однажды оно вернется и потребует расплаты.

6

Очаг догорал, обугленная бумага в нем коробилась и чадила. Ришардье похрапывал в кресле, приоткрыв беззубый рот. Неретин встал, расправил затекшие руки, подошел к кровати. Незнакомка спала, лицо ее было блаженно-спокойным. Четкие брови, высокий бледный лоб. Уголки губ опущены книзу, что свидетельствует об упрямстве. Неретин смотрел безотрывно, предчувствия его угнетали, жизнь разламывалась вновь...

И вдруг озлился: он не спал всю ночь, тело гудит, не раздевался, белье отсырело, а тут эта особа лежит как пава! Кто знает, может быть, этот сон, эти ресницы только для вида, а под ними настороженность и усмешка?

Он чуть было не хлопнул дверью, но сдержался. Напялил пальто, вышел. Было уже светло, шел дождь со снегом. Неретин перешел через мост и долго бродил под укрытием стен Лувра, обложенных мешками с песком, — там было теплей.

Черт возьми! Если в него стреляют — он должен защи-

щаться! Достаточно, как щепка, он уступал течению жизни. Одинок, заброшен, забыт — вот итог пройденных лет. Разве он нажился от своих трудов? Расставшись с заблуждениями молодости, он исполнял долг офицера и верноподданного. Выдать ее полиции — и никаких!

Да, но если б стрелял какой-нибудь громила, Неретин не поколебался бы броситься на него, будь тот и в десять раз сильнее. А там, в номере, на узкой кровати лежит слабая женщина, девчонка — дитя, черт побери!

Он даже вынул пятифранковую монету и подкинул, гадая — выдать, не выдать? Вышел французский куцый орел — значит, выдать... И все же он медлил, топтался вдоль бесконечной стены Лувра. Вдруг попал ногой в лужу, ветхий ботинок заполнился водой, даже дрожь пошла по спине, а из глаз чуть не брызнули слезы досады. Тогда он решил.

Аббатство святой Урсулы лежит в глубине квартала, на старой улице Доминик. Если бы взглянуть на него с птичьего полета, оно представилось бы лабиринтом крыш — флигеля, пристроек, часовни, замкнутые среди каменных стен. Над всем возвышается кирпичная труба — это сосед монастыря, патронный завод, как гриб-паразит он угнездился на его задворках. Есть нечто философское в их объятиях близнецов. Две пары ворот извергают два щедрых потока. С одной стороны — патроны, снаряды, разрывные пули, картечь и прочие ухищрения организованной смерти. С другой — монахини и воспитанницы, сестры милосердия, сиделки, плакальщицы и компаньонки. Незаметно врастают они в жизнь обывателей, так что тем уже кажется, что все повороты их муравьиного быта немислимы без тихого присутствия урсулинок, без их напоминаний о последнем часе, ибо, в сущности, что есть жизнь человеческая? Всего лишь подготовка к неизбежной смерти.

Судьба привела Неретина в это аббатство прошлой осенью, когда пруссаки подошли к Парижу. Его русское начальство засустилось, кинулось менять деньги на золото, добывать места на битком набитые поезда.

— А вы оставайтесь, — сказала начальство Неретину. — Детей у вас нет, что вам? Копите себе наблюдения, после войны отчитаетесь. Вот вам адрес для связи: «Кюре Медар, аббатство урсулинок, улица Доминик...»

Кюре Медар оказался высоким, лобастым, в лиловой сутане со смешным бантиком у подбородка и в больших

роговых очках. Он принимал Неретина в тихой комнатке напротив монастыря. Там шелестел маятник настенных часов, цвели висячие фуксии. На пожелтевшей гравюре щерил улыбку святой Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов.

Впервые представляясь кюре Медару, Неретин старательно подбирал французские слова, чтобы точнее объяснить, кто он и с каким делом пришел.

— Не трудитесь, сударь,— вдруг на чистейшем русском языке, даже с московским развальцем, прервал его кюре.— Вы мне давно известны, можете не представляться. А вот мне следует вам отрекомендоваться. Я— Захария, из братии монашествующего ордена. Впрочем, лучше зовите меня Захар Кузьмич, ибо отец мой был Козимо, что соответствует русскому Кузьме. И будемте лучше говорить по-русски, так даже надежнее.

Маятник часов выстукивал, трудился, а Игнатий Лойола на стене многозначительно улыбался.

И теперь Неретин отлично понимал: обычную полицию сюда мешать никак нельзя. Следует доложить этому самому кюре Медару, иначе Захару Кузьмичу.

Однако чуть только Неретин оказался перед сумрачными воротами аббатства, ноги его остановились. Из глубины слышались вздохи органа и редкий всплеск девичьего хора. Затем в вышине ударил колокол, и потянулись монахини в чепцах-лопастях, закрывавших щеки.

Тоска гнездилась в груди Неретина, давил камень невыносимый.

«И что со мной?— думал он. А сам перевертывал в кармане пятифранковик, решая:— Не выдам».

Вдруг ему подумалось, что, пока он метался взад и вперед, прошла уйма времени! Незнакомка могла просто встать и уйти, а нелепый Ришардье разве ее задержит? И исчезнет она из жизни Неретина так же, как появилась... Что есть духу пустился обратно, в отель «Обюссон».

Взлетев одним махом на свой этаж, так и обмер. У двери его номера уже стоял некто в отличной шубе на обезьяньем меху, в цилиндре. Да, да, не кто иной, как кюре Медар, он же Захар Кузьмич со своей всегдашней благосклонной улыбкой, в неизменных роговых очках. Оживленный Ришардье, держа кофейник, живописал ему вчерашнюю историю с выстрелом в кафе «Вавилон».

— А вот и мой пациент! — воскликнул Захар Кузьмич, заметив Неретина.— Видите, дорогой мой, какой я добро-

совестный врач! Ждал, ждал, вы на прием не являетесь — я сам к вам пришел!

— Вот и хорошо, вот и хорошо, — бормотал Ришардье, помаргивая. — И ей как раз нужен настоящий лекарь, моих познаний, увы, недостаточно...

— Ну, а где же в таком случае наша больная? — с профессиональным нетерпением спросил Захар Кузьмич.

Ришардье приложил палец к губам, тихо приоткрыл дверь в номер Неретина, заглянул туда, вскрикнул и выронил кофейник. Бородка его тряслась, козлиные брови взлетели вверх. Незнакомка исчезла!

7

Консьержка, мадам Тиссо, полна достоинства и насмешливого удивления:

— Помилуйте, господи! Если я вчера не видела, как эта девица проникла наверх, то откуда же я сегодня могу знать, куда она делась?

За ее массивной фигурой из двери швейцарской залалял песок. Захар Кузьмич преобразился — даже ростом стал как будто ниже, — осклабился умильно.

— Ти-ти-ти! Ти-ти-ти! — манил он собачку, а сам без спроса протискивался в швейцарскую — святилище мадам Тиссо. — И как это вы, мадам, сумели уберечь такое прелестное существо, когда крыс и тех поели? О, впрочем, не пугайтесь, я вегетарианец!

Он вытащил из кармана завернутый в бумажку кусочек сахара, обдул и дал собачке. Сердце мадам Тиссо покорилось.

— Что же вы стоите, господи? Вот стулья...

В это время с верхних площадок слышались мужские голоса, шаги, звяканье металла. Захар Кузьмич тотчас же притворил дверь швейцарской, в которой имелось смотровое окошечко со стеклом. Через него Захар Кузьмич и Неретин увидели, как по лестнице спускались двое мужчин высокого роста. Один, с пышными губернаторскими бакенбардами и с толстым носом, в длинном штатском пальто, был отлично знаком Неретину. В донесениях он фигурировал под кличкой Рыжий, хотя, в действительности, он был совсем не рыжий, а скорее, седой и лысый. Петербург особенно им интересовался.

— Это Лавров, с улицы Сен-Жак, тридцать два, — шепнул Неретин.

Захар Кузьмич кивнул и на всякий случай отодвинулся от окошка.

— Зря ты, гражданин Лавров, отказываешься от моего предложения,— говорил второй, бородатый, с усталым, озабоченным лицом. На нем была форма полковника Национальной гвардии. Длинная сабля, неумело повязанная, волочилась и звякала о бронзовые перила.— Ты хочешь стать «над схваткой», как ты говоришь, чтобы умом охватить сразу все и перенести потом на вашу русскую почву. Но мне кажется, ты бы многое понял лучше, если бы пошел к нам в батальон. Ах, как нужны нам военные специалисты! Вот увидишь, скоро грянут события. Вся эта шайка министров в Ратуше настолько бездарна и настолько не способна наладить оборону и отразить пруссаков, что народ скоро прозреет и прогонит ее прочь! Кретины играют на руку нам, социалистам!— загремел он так, что эхо отозвалось в пролете.— Как говорится, чем хуже, тем лучше! Чем хуже, тем лучше, да, да!

И это было сказано с таким зловецким смыслом, что Неретин вздрогнул, а Захар Кузьмич стал протирать запотевшие очки.

— Это наш жилец, Варлен, переплетчик...— сообщила мадам Тиссо.— Ныне он начальник сто девяносто третьего батальона. Квартует в мансарде... Только я гляжу, как бы вскоре не переселять его куда-нибудь в бельэтаж, в графские или княжеские апартаменты. Уж больно быстро они нынче пошли в гору, все эти переплетчики, слесаря, позолотчики...

— А, так это Варлен, переплетчик,— прошептал Захар Кузьмич, будто встретил старого знакомого, которого не сразу узнал.

Опять поднялись в номер Неретина. Там был сумрак, а воздух столь затхлый, что Захар Кузьмич наморщил нос. Ришардье, обескураженному пропажей девицы, он выразил комплимент:

— Ах, как Bravo сидит на вас сюртук национального гвардейца!

— О нет,— уныло сказал Ришардье.— Здорово мешковат, мне выдали форму какого-то Геркулеса... Я же не в батальоне, я работаю в газете «Борьба».

— Как же, как же!— преобразился Захар Кузьмич.— Газета «Борьба», Феликс Пиа! Вам повезло, дорогой коллега. Пиа — великий трибун наших дней, новый Дантон. Какая сила убеждения, какое красноречие!..

Очки его блистали, вдохновение так и сияло под сенью благородного лба.

— Вы, коллега Ришардье, — продолжал он, — с вашей энергией и жизнелюбием занялись бы хорошенько соседом, мсье Неретиным. Видите, он так одинок! В него какие-то авантюристки уже стреляют. Подозрительно, кстати, уж не агент ли русских жандармов эта девица? Рекомендуйте мсье Неретина в Национальную гвардию, он просто чахнет от желания приложить руку к какому-нибудь революционному делу.

— Это идея! — воодушевился Ришардье. — А не поставить ли кофейку? Я мигом...

Как только за ним закрылась дверь, маска вдохновения слетела с лица Захара Кузьмича, он задумался, сунув большие пальцы в карманы жилета.

— Нет, пожалуй, brave citizen Ришардье к выстрелу не причастен. А знаете, все-таки где в данный момент находится девица? Вот там, — он указал на потолок, — у Варлена. Можете отсечь мне голову, если это не так. Но туда, увы, нам доступа нет, — он улыбнулся, — пока...

8

— Чувствую, это рука Сергея Геннадиевича, — сказал Захар Кузьмич, когда они вышли и побрели по улицам, изрытым окопами и перегороженным баррикадами. — Третье отделение все поставило на ноги, ищет его в Женеве, а он — вот где!

Неретин понял, что речь идет о Нечаеве, известном нигилисте, сколотившем в России тайную группу под названием «Народная расправа». Теперь он, по слухам, выехал в Европу, поклявшись истребить там всех царских агентов, как явных, так и тайных.

— Он равно опасен вам, русским, как и нам, — говорил Захар Кузьмич. — Нечаев — ученик Бакунина, Бакунин — соперник или, там, последователь Маркса. Все это вместе и есть Интернационал, в Париже он пустил крепкую ветвь... — Захар Кузьмич вздохнул. — Государи напрасно воюют друг с другом, тратят силы — ведь враг внутри их собственных стран! Они не предчувствуют лавины, которая надвигается и вот-вот раздавит их...

Неретин удивленно на него взглянул. Теперь на очкастом лице кюре господствовала печаль, тихая грусть муд-

рого человека, который несет на себе тяжкий крест предвидения и не в силах изменить направления судьбы.

— Еще в сентябре пала империя, но новый строй не принес народу облегчения. Дело даже не в голоде и не в осаде. Слишком много обездоленных трудом и бессмыслицей жизни. Власть имущие эгоисты, они слепы. Они не понимают, что это котел перегретый, с давлением у красной черты. Еще лишний дюйм — и все полетит в тартарары!

Возле закрытой булочной очередь ругала хозяина, правительство и все на свете. Дубасили в запертую дверь. Какой-то тощий старик, вперив слезящиеся глаза в проходившего мимо Захара Кузьмича, схватил его за хлястик:

— Есть хочу, есть! Подай кусочек, ты, шуба!

Захар Кузьмич еле вывернулся и, подхватив Неретина, поспешил скрыться в переулок.

— Простонародье лишилось всякого смирения... — усмехнулся он, утирая пот со лба. — Истина глаголет устами консьержки: скоро переплетчики займут места графов. — Глаза его из-за очков так и светились пророчеством. — Социализм проник в Национальную гвардию, теперь это его войско. А хотите знать, каково оно? Триста тысяч штыков! Поистине станешь желать сдачи Парижа пруссакам, уж они, будьте уверены, наведут здесь порядок.

Немного смягчившись, он взял Неретина под локоть:

— А вы, голубчик, вот мой совет, поступайте все-таки в Национальную гвардию. Хоть развлечетесь, ей-богу! Так жить, как вы живете, нельзя. Извините за откровенность, у вас не нумер — конюшня. Равнодушие какое-то, запустение жизни...

Вышли на улицу Риволи, где, несмотря на блокаду, блистали роскошью витрины модных магазинов.

— Теперь насчет покушения. Отправить из Парижа, сами понимаете, я вас не могу. Правда, иногда летают аэростаты, но их контролирует все та же Национальная гвардия... Сейчас, я думаю, вам безопаснее всего было бы как раз в ее рядах. Строй, масса, полковые товарищи, а вы человек добрый, покладистый, вас быстро полюбят. Нигилисты к вам и подступиться не смогут. В отеле же вас просто подстрелят в одиночку.

Он умолк. Неретин очнулся от своих мыслей, почувствовав, что кюре исподтишка наблюдает за ним.

— Да я как-то и не боюсь... Мне как-то все равно...

— Ну что это вы, голубчик!— протянул Захар Кузьмич.— Признайтесь-ка лучше: вам, вероятно, нужны деньги?

И, не дожидаясь ответа, достал бумажник, захрустел кредитками, продолжая говорить все так же проникновенно:

— Должен, однако, предупредить: будучи в батальоне, вперед не суйтесь. Готовится большая операция по прорыву блокады, но, скажу вам откровенно, Клеман Тома, главнокомандующий Национальной гвардией— знаете, этаким старым цепной пес,— выразился так: «Наша единственная цель — потерять убитыми тысяч десять, лишнюю кровь выпустить из предместий, а тогда уж спокойненько сдаваться прусскому королю!»

И, поскольку Неретин с большим недоумением смотрел на него, кюре рассмеялся:

— Да, понимаю, вам, строевому офицеру, дико слышать, что главнокомандующий играет своей армией в поддавки. Но поверьте мне: случись, не дай бог, подобное и у вас, в России, ваш генерал поступит так же, лишь бы не допустить власти плебеев!

Издали слышался надвигающийся гром барабанов, он отдавался эхом в ущельях Сент-Антуанского предместья. Оттуда, на простор улицы Риволи, выливался батальон Национальной гвардии, уходящий на фронт. Два барабанщика сосредоточенно выбивали быстрый марш. Молча шагали бойцы; были бледны их хмурые, голодные лица. Рабочие руки крепко сжимали приклады винтовок. Прохожие, в том числе и Неретин с Захаром Кузьмичом, теснились к фешенебельным витринам. Национальные гвардейцы, не обращая внимания, прошли, как порыв ветра, и за ними катила батальонная повозка, на которой, подбоченившись, восседала маркитантка в лихо заломленном кепи.

Глава вторая

НАШИ СЛАВНЫЕ ГЕНЕРАЛЫ

1

Сумеречное небо источало мелкий дождик. Уже с полудня в окнах засветились огни. Опустилась штора и в ма-

ленькой квартирке на улице Сен-Жак. В предвечерней тишине зазвучал и смолк входной звонок.

— Что угодно, мадемуазель? — открыла дверь прислуга. — Петр Лаврович, к вам.

Лавров, на ходу поправляя плисовый шлафрок, вышел, всмотрелся в посетительницу. Всплеснул руками, бакенбарды распушились, словно беличьи хвосты.

— Манечка, наконец-то! Это вы?

Гостья, едва переступив порог, спросила глухо:

— Посторонние есть?

— Да что вы, кто у меня бывает! И сыщиков с начала осады от меня, как ветром сдуло... Но что же мы стоим? Пожалуйте в кабинет. Простите, я только надену сюртук.

Но ему пришлось кинуться, поддержать. Гостья пошатнулась, усталое лицо ее серело, заострялось. С помощью горничной Лавров провел ее в кабинет.

— Вот чай, ром, — хлопотал Лавров. — Не приготовить ли грогу? Да заберитесь с ногами на софу, как бывало в Кадникове, помните? Ах, ах, в такую погоду и даже без зонта!

— Пустое!

Лицо ее как бы оттаивало, оживляясь постепенно.

— Ну, я рад, я рад, что вы пришли, — говорил Лавров. — Честное слово! А то позавчера в отеле «Обюссон» у Варлена вы меня попросту напугали. Подумать только, Манечка, оказывается, вы в Париже и почему-то не хотите меня узнавать! Впрочем, теперь вы взрослая, Мария Васильевна, а я все Манечка да Манечка...

— Да, да, — грустно кивнула она. — Та самая экзальтированная Манечка. Я должна объяснить... В отеле «Обюссон» мне удалось бежать из лап охраны, я совершенно не знала, кто такой Варлен, я вбежала к нему только потому, что услышала там вас. Но я не хотела случайно повредить вам.

— Помилуйте, помилуйте! — поражался Лавров, не устая распушать свои великолепные бакенбарды. — Что-то чрезвычайное случилось в вашей жизни, что-то привело же вас в Париж? И ваша богатая тетенька... Да что я говорю! — Он вскочил и зашагал по ковру. — Четыре месяца, как Париж в осаде! Как-то вы должны же были здесь эти четыре месяца жить!

— Я давно уже порвала с тетенькой, — Мария прихлебывала грог, грея чашкой ладони. — Нужен был паспорт,

искала фиктивного жениха, сами понимаете... Подвернулся вдовец, согласился. Я надеялась — поляк, значит, рыцарь. К тому же старый, что ему я — девчонка? После венца он держал меня взаперти, хуже крепостной. Был и ребенок, прибрал господь...

Мария отвернулась, отодвинула чашку.

— Я отчаялась, взяла кухонный нож. Все равно, говорю, жизнь немила. Он упал на колени, каялся, отдал паспорт... И вот я здесь.

— Мда-с! — убыстрял шаги Лавров. — Вам отчаянно не повезло. И брат ваш, и ваша почтенная матушка... Милая Манечка, вы же теперь совсем одна! Но как вы попали к Варлену, что было с вами? Ему вы могли ничего не говорить, но мне-то, учителю и другу, мне-то можно?

Она подняла на него взгляд, жесткий и отчужденный, и он опять ахнул про себя — как изменилась эта девочка с той далекой поры, когда он жил в ссылке, в доме ее родни!

— Петр Лаврович, позвольте, лучше я задам вам вопрос.

— Ради бога!

— Я, однако, надеюсь...

— Манечка!

— Петр Лаврович, где Нечаев?

Лавров остановился, будто споткнулся о камень.

— Хм-хм... Так вы нечаевка, вот как? Впрочем, по страстности вашей натуры... — Он пожал плечами. — А ведь когда Варлен сообщил мне, что вы террористка, совершившая неудачное покушение, я подумал: деликатнейшая Манечка, с тончайшей организацией души, — нет, тут что-то не так!

Он отошел к окну, приподняв штору, вслушивался в шелест дождя.

— Но где ваш любезный Сергей Геннадиевич, просто не могу сказать. Это человек вне целесообразности и логики. Мелькал в Париже, но у него нет привычки общаться с нами, социалистами. Так что уж и не знаю, голубушка...

— Что же мне делать? — нахмурилась она, рассматривая подол юбки, отсыревший и запятнанный грязью. — Я так надеялась на вас.

Лавров опять зашагал, вертя пальцами за спиной.

— Нечаев! — восклицал он. — Это злой гений демократии! Какие-то у него бесчеловечные выверты! Катего-

ричный Марк — я слышал, назвал его проходимцем, так оно и есть! И как вы могли связаться с Нечаевым? Что он вас заставляет делать? Небось стрелять из-за угла в людей, которые ему кажутся подозрительными?

— Петр Лаврович, давайте об этом не говорить.

— Ну конечно же — вот он, Нечаев, вот его учитель Бакунин! Клятвы, заговоры, мистификации — кругом тайны! Наверное, себя и за незаконнорожденного царевича выдавал, чтобы смущать крестьян? Пусть у него даже самые лучшие намерения...

Мария сдвинула брови, сказала решительно:

— Петр Лаврович, я прошу не говорить так о человеке, которого я уважаю...

— Ну хорошо, хорошо, не будем говорить о самом Нечаеве. — Лавров все более возбуждался. — Но мы обязаны говорить о нечаевщине, о бакунизме как явлению социальном... Все мы прошли увлечение бакунизмом, даже фрунцузы, даже такой действительно необыкновенный, такой до мозга костей пролетарский Варлен. Знаете, для молодежи это очень привлекательно — под гром оркестразойти на баррикаду, провозгласить лозунг и умереть на фоне рукоплесканий. А истинная революция требует другого — терпения, безграничной выдержки. Не вспышки одной минуты, а кропотливого труда долгих лет.

Почувствовав, что начинает читать лекцию, Лавров поперхнулся и вновь зашагал по ковру своего роскошного кабинета. Манечка по-прежнему извинительно улыбалась.

— Странно мне все это, Петр Лаврович, признаюсь вам. Еще там, в Кадникове, я готовилась — из проруби обливалась, училась скакать без седла и стрелять в туза, как это делали герои, о которых писал Чернышевский и рассказывали вы. Потом я встретила Нечаева, именно такого вождя, способного и родить идею и заразить ею народ... И вдруг вы, вы говорите мне — нет, надо не так... Как же понимать?

Лавров взмахнул руками.

— Все развивается, милая Манечка, все меняется, да-с, такова власть диалектики. Присмотритесь к каше, которая закипает сейчас в парижском котле. Здесь как раз очень много вождей, даже, пожалуй, иногда чрезмерно много... Однако оставим все эти рассуждения: вы устали, вы голодны. Чем вам помочь?

— Скажите, где Нечаев.

— Да почему вы уверены, что я должен непременно это знать? Ну, действительно, куда же он мог деться? Он ведь не комар, чтобы проскочить петлю осады. Правда, отсюда как-то перелетают на воздушных шарах... Просто теряюсь в догадках.

— Петр Лаврович, если уж не найти Нечаева, дайте какое-нибудь дело, чтобы работать на революцию.

— Манечка! Вы же тотчас потребуете, чтобы вам скакать без седла или стрелять в жандармского туза. А наша работа сейчас, здесь, в этих условиях, заключается в том, чтобы учиться. Учиться всему и в первую голову высокой пролетарской человечности — это, пожалуй, главное, что будет нужно надвигающейся революции. Я дам вам записку к одному моему приятелю, несмотря на некоторую оригинальность, надежнейшему человеку. Там для вас найдется работа, которая под силу только женщине с ее милосердием, лаской, терпением, снисходительностью. Это вернет вас от ожесточения, да-с. Вы отдохнете и уже совсем другими глазами взглянете на своего Нечаева.

Пока он писал записку, Мария с любопытством рассматривала квартиру — тяжелые ковры, резное бюро, множество безделушек, фарфоровые часы на камине...

— Простите, Петр Лаврович... — сказала она, поймав ногами туфли и выпрямляясь. — Дивлюсь я! Петербург с ног сбился, стараясь вас изловить, как опаснейшего после Чернышевского и Бакунина. В его глазах Лавров — это огнедышащий змей, а вы тут...

— Что я?

— Да нет, ничего, простите. Видимо, я еще девчонка — девчонка и многого не понимаю...

2

— Вставайте, вставайте же, пора!

Неретину снится сон. В сумерках мценского дома сестрица Ольга Африкановна движется, как плывет... А он, Варик, будто все ждет и мучается и никак не может найти ту, которую ищет. И тогда сестрица молвит: «Там!» — и показывает на потолок. И вот Неретин уже на чердачной клетке, притаился и ждет... Но вдруг это уже и не мценский дом, а вестибюль отеля «Обюссон». По лестнице к нему спускается Гурий Иванищев, подняв гордую бровь. И Неретин будто хочет кинуться, обнять, объяснить, но настойчивая рука трясет его за плечо:

— Да проснитесь, сосед, полчаса вас бужу...

Неретин утром только прилег — подумать, погрузить. И вот уж за окном сквозь морозные узоры проглядывает синий вечер. Выспался, а ночью замучит бессонница и против воли в мозгу будут торчать опостылевшие стихи, которые (подумать только!) когда-то заучивали они, восторженные юнцы:

Вырыта заступом яма глубокая,
Жизнь невеселая, жизнь одинокая...

Ришардье энергично потащил его за руку с кровати. Неретин рассмеялся, сказал «ух!», встал. Сделал на ходу несколько приседаний и продекламировал громко:

Тише! О жизни покончен вопрос:
Больше не нужно ни песен, ни слез!

Ришардье по-русски не понял, но догадался, что Неретин в добром настроении и шутит.

— А я, гражданин, по совету вашего врача — помните, к вам приходил? — предпринял кое-что, чтобы вам попасть в Национальную гвардию.

— Что же вы предприняли? — спросил Неретин, набилая трубку.

— У нас на мансарде — знаете ли, над нами живет Варлен, переплетчик...

— Ну и что?

— Он ведь командир сто девяносто третьего батальона, который формируется здесь, в Латинском квартале. И я вас записал к нему.

Вот те на! Неретин нарочно вчера ходил подальше — на Монмартр, в штаб 18-го округа. Там, рассчитывая, что меньше шансов, что его узнают. А Варлен, если предполагать, что незнакомка убежала к нему, должен знать все...

— Варлен сам захотел познакомиться с вами. Он сказал, что уважает русских... Да мы пойдем сейчас к нему, увидите, что за чудесный малый этот Варлен!

Что же это, западня? Сердце Неретина притихло, в висках застучала кровь. Уж не берут ли его на пушку? Ах, эта жизнь, лишенная покоя! Впрочем, вряд ли в своем жилище Варлен станет чинить расправу. А не пойдешь, так все равно подловят где-нибудь...

Отправились наверх, спотыкаясь на темной лестнице, мимо глухих дверей, за которыми пустовали брошенные квартиры.

Взобравшись на верхнюю площадку, они услышали пение и голоса. За дверью женщина пела задорную песню парижских мостовых:

Славен он, славен он,
Славен, славен пушек гром,
Танцуйте карманьолу!

А голоса требовали:

— Варлен! Подхватывай, как раз твоего профундо не хватает.

Ришардьё, а за ним Неретин вошли в комнату, где одна стена была наклонной от ската крыши. Старый комод и кровать с металлическими шарами загромаждали пространство. На столе фонарь скупно освещал лица людей. Неретин узнал среди сидящих Варлена.

«В случае чего,— подумал он,— прыжок в дверь, за ней, кажется, никто не стоит. По лестнице вниз...»

Ришардьё отрекомендовал Неретина как бывшего офицера, ныне изгнанника. Никто, однако, не заинтересовался подробностями его биографии.

— Садитесь, гражданин, на кровать,— пригласил его Варлен.— Единственный стул мы предложили даме.

Дама с грубым и решительным лицом сидела в несколько вольной позе, поставив ногу в солдатском сапоге на перекладину кровати. Кофта и широченная юбка ее были расшиты серебряными галунами Национальной гвардии.

— Варлен, что же ты нас не представишь?— Голос у нее оказался свирепым, с сипотцой.— Придется мне быть за хозяйку. Я — Натали Лемель, член окружного Комитета бдительности,— не без некоторой гордости отрекомендовалась она.— Вот это — Варлен, гроза буржуазии. Это Эжен Потье, наш поэт, народ зовет его «старый По-По»...

При этих ее словах встал старичок с ясными глазами, по-старомодному поклонился.

— А вот этот бородатый, словно корсар,— это Журд. Не бойтесь его, он кроток, как голубь... Хотя хитер, как змея!

Журд запротестовал, все засмеялись, заспорили.

— Луи! — позвал Варлен.

Из-за спинки кровати вылез хроменький юноша, достал из буфета кружки, налил вина для Ришардьё и Неретина.

— Это мой брат,— сказал Варлен с улыбкой, словно

мать, представляющая свое бесценное, хотя и не совсем удачное дитя.— Вы извините нас, гражданин,— обратился Варлен к Неретину.— У нас сегодня дружеская встреча. Наш друг Потье вернулся из больницы, и мы собрались, как в старые добрые времена...

Все за столом говорили разом, Натали шумно веселилась, чокаясь за грядущую Коммуну. Варлен наклонился к уху Неретина.

— Конечно, я не знаю ваших политических взглядов, но уже одно то, что вы эмигрант... А нам позарез нужны военные специалисты. Национальная гвардия сформирована, рабочие рвутся воевать, но воевать мы не умеем. Я знаю, другим батальонам уже предложили свои услуги бывшие русские офицеры — Домбровский, Потапенко, Озеров... Если бы и вы...

«Ах, вот в чем дело!» — подумал Неретин.

— Есть у меня заместитель,— продолжал Варлен,— майор Дюваль. То есть теперь он майор, а раньше был лейтшик. Он бланкист. Знаете, что это такое? Это у нас такие любители поиграть в заговоры и восстания, без должной подготовки. Так вот он кое-чего в военном деле достиг самоучкой. И все же для нас этого мало, потому что он не кадровый военный, а необстрелянный новичок!

Натали Лемель свернула толстенную сигарку и пустила дым в сторону Варлена. Тот морщился, отмахиваясь:

— Принимая во внимание, гражданин, что вас так хорошо рекомендует наш товарищ Ришардье...

— «Принимая во внимание», ха-ха! — передразнила его Натали.— Ты в своем Интернационале окончательно забюрократился, стал выражаться фразами из официальных декретов!

С остротами и шутками выпили за дружбу. Неретин спрашивал себя: где же страшные социалисты-террористы, где мятежный Варлен, имя которого даже такие, как Захар Кузьмич, произносят, понизив голос? Обыкновенные приветливые люди, немножко усталые, немножко измученные войной. Да и была ли вообще та барышня здесь?

Вдруг одна мысль его обожгла. Если верить тому, что говорил Захар Кузьмин, они, эти люди, в числе тех десяти тысяч, обреченных на смерть! Неретин обвел взглядом их лица, склоненные над тусклым фонарем. «Тайная вечеря! — вдруг представилось ему.— Только не двенадцать, а семь, и все равно один — Иуда!» Он усмехнулся.

Поэт Потье взял гитару, подстроил, принялся наигрывать негромко и печально. Свеча в фонаре чадила и трещала, за окном неистовствовал ветер. Под дальний гул канонады все слушали гитару, и каждый задумался о своем.

3

19 января 1871 года, до рассвета, командир 193-го батальона Варлен и его начальник штаба Неретин прибыли на исходную позицию, которую им надлежало занять. Их доставила повозка, запряженная двумя разномастными лошадьми. Дорога спускалась под кручи холма Мон-Валерьен, на высотах которого виднелись жерла орудий, защищавших Париж с запада.

«Эк меня занесло! — сердился на себя Неретин. От сырости и ветра его знобило. — Теперь что ж, назвался груздем, полезай в кузов».

Вскоре они наткнулись на линейных, которые были высланы накануне. Один мирно дремал у тлеющего костра, замаскированного железным козырьком. Другой что-то пек на углях. Возле сидела на корточках худенькая остроносая женщина. Девочка лет семи играла снятым затвором винтовки. Завидев начальство линейный пинком разбудил товарища.

— Чуть к пруссакам мы не угодили, — доложил боец. — Туман! Нечего сказать — погодка для наступления. Знаем, что нарушили приказ костры не разводить, но холодище!

— Бр-р-р! — подтвердил его товарищ.

Женщина, очевидно жена первого, затараторила:

— А мы тут наковыряли мерзлой свеклы, в полях ее осталось видимо-невидимо. Элиза, подойди к дяде, не бойся, покажи печеную свеколку...

Варлен приказал женщине немедленно уйти в тыл.

— Да ведь что же, гражданин, — оправдывалась она, — кушать же что-нибудь надо... И Клоша как оставить? Хоть он ворчун, но ведь он же наш! Вы уж поберегите нашего Клоша.

— Ступайте, ступайте! — выпроваживал их Клош. — К вечеру вернусь домой.

Конская морда выдвинулась в красный отсвет угольев, всадник спешил. Это был морской офицер, щеголь лу-

поглазый и усатый, до того бравый, что даже не сменил золотых эполет на полевые погоны.

— Капитан-лейтенант Люллье! — представился он. — Ваш сосед по позиции. Ог-го-нек есть, хор-рошо, сто чертей на бочку! Получили ли диспозицию, полковник?

Варлен пожал плечами.

— Увы, пока нет. Да мне сдается, что будет та же забава, как и в прошлые вылазки. Постреляем и разойдемся.

— Хлеба в городе совсем нет, — вмешался Клош в разговор офицеров. — Надо прорваться, господа!

Капитан-лейтенант взглянул на дерзкого рядового, затем на Варлена, но тот молчал. Неретин предложил моряку портсигар, закурили.

Развиднялось мучительно медленно, как в тяжелом сне.

При свете утра Неретин вдруг узнал моряка — это был как раз тот офицер, у которого на квартире перед войной собирался преферанс. Узнал его и Люллье, трес ему руку, хлопал по плечу, повторял свое «сто чертей на бочку».

— Ох и будет нынче водоворот! Войск нагнали, гляньте!

Туман понемногу рассеялся, открылась равнина, будто гигантская чаша, разделенная долиной замерзшего ручья.

Приехал майор Дюваль. Это оказался давешний очевидец событий в кафе «Вавилон». Увидев Неретина, ничуть не удивился, поклонился вежливо, но ни о чем не стал расспрашивать. Доложил Варлену: диспозиции все нет, а начальник генерального штаба — подумать только! — почивает.

— Ну хоть что-нибудь узнал?

— Знакомый штабист объяснил: войска будут наступать несколькими колоннами, в виде развернутого веера. Соседняя с нами колонна генерала Беллемара движется на Бюзанваль. Видите вон то имение, где торчит колокольня?

Он с видимым удовольствием перечислял названия пунктов и громкие имена генералов.

— Колонна Винуа, с которой пойдем и мы, имеет цель прорваться в Сен-Клу через укрепления Монтрету.

— А, Винуа! — вставил неугомонный Клош. — Который в пятьдесят первом расстреливал нашего брата? Ну что ж, палач, зато рубака отменный.

На сей раз Варлен поднял голову и одарил Клоша таким взглядом, что тот стусеивался.

Неретин всматривался в холмы у края равнины. Место гиблое, плоское, как нарочно ни сучка ни задоринки. Без основательной артиллерийской обработки, без окапывания на подступах ничего не выйдет.

— А где наши пушки? — спросил он Дюваля.

— Их еще из городских ворот не вывозили...

И Неретина вдруг захлестнула жалость к этим наивным бородачам, которые преданы и проданы ради какой-то хитрой политики и сами этого не сознают.

— А вам не кажется все это очень подозрительным? — волнуясь, заговорил он. — Разве не ясно, что тут какая-то мышеловка?..

Варлен исподлобья пристально разглядывал Неретина. Было непонятно, согласен он с ним или нет. Моряк же захохотал. Поймав коня, совал ногу в стремя.

— А зачем тогда у нас штыки? Мы как в вист — не обремизимся! Все дело в дерзости, сто чертей на бочку!

— И потом, — продолжал Неретин, — какова же конечная цель всего наступления? Пробриться к излучине реки? Захватить дачные поселки? Чтобы действительно прорвать блокаду, нужно всей массой, мощным фронтом навалиться на врага, а не распыляться... Начальник штаба спит! Как хотите, это скорее преступление, чем беспечность!

Помолчали. Дюваль сказал прямо:

— Ты ошибаешься, гражданин. Не может этого быть. Все смотрели отчужденно в сторону Неретина.

И он отошел в сторону. Когда-то в юношеских спорах Иванищев предрекал, что его, Неретина, погубит мягкосердечие, сердце его одинаково податливо к добру, как и ко злу. И пожалуйста — он ведь желал добра!

Перед боем полагалось бы успокоить сердце тихой молитвой. Сосредоточиться и отринуть все суетное, как, бывало, учила его, мальчика, сестрица Ольга Африкановна. Но в голову лезли изможденная жена Клоша и девочка с печеной свеклой. Что он им, что они ему? Потом (в который раз!) всплыло юное женское лицо, запрокинутое, тонкое, упрямое, ждущее — чего?

Кто-то по-дружески положил руку ему на плечо. Неретин обернулся и увидел, что это Варлен.

Пушка ударила с бастионов Мон-Валерьяна, подавая сигнал к наступлению.

Бойцы возбужденно заговорили, поднимаясь с земли. Звякали котелки, щелкали затворы. Батальоны выходили на равнину, колыхая массой штыков. Резкая дробь барабана держала в напряжении, заставляла жаться плечом к плечу.

Пелена низких туч раздернулась, и холодное январское солнце осветило равнину. При виде множества разноцветных колонн, двигавшихся отовсюду, Неретин не удержался, воскликнул:

— Идем, как на параде! Так не ходят в атаку уже со времен Крымской войны!

Но никто ему не ответил. Они мало заботились о соблюдении военных правил, эти ополченцы, дети предметов и окраин. Шли беспечно, балагурия на ходу, то и дело подбадривая себя остротой или каламбуром. Смеялись над бойцом, твердившим «господи, помилуй». Мишенью для шуток оказался и пожилой национальный гвардеец с длинными желтовато-серыми волосами, ниспадавшими на плечи. Неретин знал, что этого старика прозвали «лев баррикад», хотя горбатый нос делал его больше похожим на орла. «Лев баррикад» тащил на плече кремневое ружье, которое он любовно называл кулевриночкой, и сам смеялся над его древностью.

— Эй, папаша Мишо, дай твою пушку понесу, упадешь ведь, до неприятеля не доберешься! — предлагал ему Клош.

— Доберусь, — отшучивался старикан. — Хотя бы для того, чтобы без моего присмотра пруссаки не надавали вам колотушек!

— Вернулся бы лучше домой, кофейку бы жена подогрела! — продолжал наскокивать Клош, излишне возбужденный.

— Посмотрю я, посмотрю, как пруссаки вас, сорванцов, подогреют!

Он спотыкался на кочковатой, замерзшей земле, товарищи его поддерживали. Штык заваливался в общем ряду, но у Неретина не хватало духа сделать старику замечание.

— Эй, Клош! — окликнул старик. — Прислушайся, пчелки полетели...

— И правда пчелы, — изумился Клош, прислушавшись. — Откуда бы им быть в январе?

— Это пульки, пульки, тра-ля-ля! — торжествующе пропел папаша Мишо под всеобщий хохот. — Вот и пригодился вам старикан, а то бы вы и правда пули с пчелами перепутали!

— Первая рота, отставить смех! — крикнул Варлен, подъезжая верхом. Обычно добродушное выражение лица его сменилось суровостью, глаза смотрели холодно, в голосе звенела требовательность.

Он подозвал Неретина, наклонился с седла:

— Получен приказ: как только перейдем ручей, остановиться, пока не выровняется общая линия батальонов.

Неретин пожал плечами: приказ есть приказ, надо выполнять. Батальон встал, брякнув прикладами.

В ту же минуту над парком на холме взлетело облачко дыма, в небе заскрежетала картечь. Донесся гром выстрела. И сразу вся неровная линия высот Монтрету окуталась дымом. Дрогнула земля, послышалась ружейная трескотня.

Даже Клош примолк, сгорбился, опершись на винтовку, лицо напряглось. Посвистывание пулек слилось в непрерывный визг. Высокий боец впереди будто получил оплеуху, схватился за голову и упал. «Готов!» — закричали вокруг. Люди падали один за другим, в напряженно молчащем строю оказались пустые места.

Варлен, обскакавший выстроенные шеренги, вернулся бледный и нахмуренный. В скачке он потерял кепи, борода и волосы развевались.

— Что делать? — спросил он у Неретина. — Теряем людей зря. Атаковать — меньше бы погибло. Как там у вас в военной науке?

У Неретина в голове туго ворочалась одна лишь фраза: «Пуля дура, штык молодец», да как ее переведешь по-французски? Нет, Варлен, напрасно ты понадеялся на него, ему бы теперь, как Обломову, лежать, покуривать свою трубочку.

— Можно ли нарушить приказ? — кричал Варлен в самое ухо Неретину. — Боюсь, потом генералы скажут: опять, мол, недисциплинированные пролетарии все погубили!

На соседний пригорок выехала группа конных, солнце

поблескивало на шитье их мундиров. Впереди, небрежно держась в седле, ехал генерал в парадной треуголке. На холемом длинном лице с эспаньолкой, как у Луи-Наполеона, играл послеобеденный румянец.

— Ну-с, теперь покажите мне Монтрету,— потребовал он. Адьютант раздвинул ему подзорную трубу.— Ха-ха, ведь, кажется, Монтрету я должен атаковать?

Немецкие канониры, разглядев штабных, дали по ним залп. Взметнулись взрывы, генерал дал коню шпоры. Блестящая кавалькада промчалась и исчезла позади пехоты.

— Нас предали!— вдруг истошно завопил Клош.— Генералы нас предали!

Бросив винтовку, он закрыл лицо руками и побежал прочь. Вслед за ним кинулись еще двое, четверо, затем целый десяток. Кто-то чертыхался, срывая амуницию.

У Варлена лицо сморщилось, он застонал. Ударив лошадь так, что та пустилась в галоп, Варлен помчался наперерез.

— Милые, товарищи!— умолял он, перехватывая бегущих.— Жакар, ты переплетчик, Леруа, ты бронзовщик, Менье, ты слесарь... Не позорьте батальон!

Бежавшие, опомнившись, возвращались, один Клош убежал, забыв обо всем. Варлен обскакал его, пытался отеснить лошадью, вспыхив, ударил по щеке. В эту секунду их накрыл блеск и облако взрыва.

«Варлен убит!»— подумал Неретин, и внутри него словно разжалась дикая пружина.

— Вперед!— гаркнул он, сам не услышав своего голоса, и выбежал перед строем.

Но впереди уже оказался Дюваль, он мчался, размахивая саблей, иступленно крича.

Батальон сорвался как одержимый. Лучше гибель в схватке, чем это пассивное ожидание смерти. Огонь пруссаков становился все гуще, многие падали, но, и раненные, ползли, скрипя зубами от ярости.

Волна наступающих, отесняя пруссаков, захватывала орудия. Бойцы размахивали знаменем, чтобы показать своим, что холм взят. Последним, прихрамывая, бежал Варлен, который только ушибся при падении с лошади.

Увидев успех 193-го батальона, и вся линия французов в долине ручья пришла в движение. Не дождавшись приказа, Национальная гвардия ринулась на Монтрету, и к полудню высоты были взяты.



Наступила передышка. Потеряв пушки на Монтрету, пруссаки спешно подтаскивали новые. Со своей стороны, Варлен энергично распоряжался: приказал окапываться, подносить боеприпасы.

«Этот переплетчик рожден быть командиром,— размышлял Неретин.— Из такого теста делались маршалы первого Наполеона».

Ему крикнул майор Дюваль:

— Ну, где ж твои предсказания? Теперь, пожалуй, и прорвем осаду!

Национальная гвардия кругом ликовала. К Неретину будто вернулся свежий ветер юности, молодечество кавказской войны.

Появился и папаша Мишо. Ревматизм помешал ему поспеть за атакующими, и седовласый патриот потихоньку взобрался на холм, цепляясь за кустарник, волоча за собой свою кулевриночку.

Неретин угостил его табачком. К ним подсел и Варлен, он вытирал кепкой пот со лба. Морщина между бровей его разгладилась, бородатое лицо опять стало застенчивым, добрым. Варлен ущипнул табак из портсигара Неретина, растер пальцами, понюхал.

— Что за вещь это, табак? Говорят, в бою помогает, если закуришь.

— Так закури же,— предложил Неретин.

— О нет, не курить — это один из моих принципов,— совершенно серьезно ответил Варлен.

— Знай нашего Варлена! — восхитился папаша Мишо.— Ну, а мой принцип — подкрепляться для храбрости. Ваше здоровье!

Он извлек из шинели фляжку, посмотрел на свет, налил себе в пробку. Неретин думал: «Какие же все-таки они дети!»

— Как тебе наш батальон? — спросил его Варлен.— Два месяца трудимся, чтоб сделать из них солдат.

И тут под обрывом послышался резкий звук трубы. Танцующим шагом проходили моряки, а впереди них — Люлье, знакомый капитан-лейтенант, весь в золоте роскошных эполет, глазастый и бесстрашный. Моряки огибали холм Монтрету, направляясь в Бюзанваль, видневшийся вдали.

Неретин удивился. Идут, почти бегут. Расстояние большое. Если с ходу атаковать, успеют выдохнуться, потемят пыль. Кроме того, Люллье ведь не должен наступать на Бюзанваль, по плану туда идет колонна Беллемара!

— Чужой успех глаза колет,— помрачнел Варлен.— Национальная гвардия взяла Монтрету, а он, Люллье, с моряками возьмет Бюзанваль!

— Эй, демоны, дети тайфуна, сто чертей на бочку!— призывал Люллье, помахивая обнаженным кортиком.— Вперед, галльские петушки, красные гребешки!

Моряки ворвались в имение Бюзанваль. Там была прусская королевская гвардия, медные орлы вспыхивали блестками на ее касках. Три раза сшибались они, на четвертый пруссаки не выдержали, оставили Бюзанваль. Тотчас же прусская артиллерия ударила туда, и там вспучился до небес купол дыма, сквозь который прочеркивались иглы огня.

— О, где же наши пушки?— потрясали винтовками национальные гвардейцы с холмов.— Где, черт побери, колонна Беллемара?

Лишь небольшая кучка моряков пробилась назад, к ручью. Среди них был и Люллье, его издали можно было узнать по золотому эполету; другой сбило пулей. Остальные продолжали сражаться и падать перед смертельной оградой Бюзанваля.

Бойцы Варлена пытались использовать взятые у немцев пушки, но они заряжались с казенной части, это была еще не известная французам новинка, бойцы недоуменно хлопали крышками затворов.

— Проклятый Клеман Тома, наш главнокомандующий!— негодовал папаша Мишо.— Дал оружие совсем негодное. А мне вообще не выписали, говорят—стар. Я тогда взял кулевриночку—заслуженную штучку. На плече моего отца она путешествовала от самых пирамид до вашей снежной Москвы.

Однако приходил и их черед. Из леса Сен-Клу гусиным шагом вышли новые прусские полки и бросились на Монтрету. Огонь пушек сделался невыносим. Шквал земли, сучьев, камней неся в воздухе и ранил больше, чем пули. Рушились столетние деревья, и старый парк Монтрету стал ловушкой, где метались обезумевшие люди, то перестреливаясь, то бросаясь в штыки.

Внизу на равнине горны запели отбой. Варлен, коман-

дую «Отход, отход!»), внимательно осматривал лес, разыскивал отставших, успокаивал зарвавшихся.

Перейдя ручей, устроили перекличку. Среди прочих недосчитались старика Мишо. Бойцы его жалели.

— Опять, наверное, замешкался, ну и попал в плен,— досадовал Варлен.— С матушкой Мишо теперь не считаешься. Я ведь не хотел его брать, да старик такой неугомонный!

Они с Неретиным, замыкая отступление, шли за повозкой с красным крестом, где Натали Лемель в шинели с закатанными рукавами хлопотала над ранеными.

— Вижу, вижу! — вдруг закричала она.— Вон он, папаша Мишо, позади, там за ним гонятся прусские кавалеристы!

Неретин оглянулся и, не успев отдать себе отчет в том, что делает, кинулся на выручку. За ним поспешил и Варлен. У ручья прусский улан нацелил пикой в спину бегущему старику, который к тому же никак не желал бросить тяжелую кулевриночку. Но близкий взрыв испугал коня, и уланская пика только царапнула плечо папаше Мишо. Прибежавший Неретин выхватил кулевриночку и подставил ее штыком вверх. Сгоряча конь напоролся, встал на дыбы и скинул улана.

Подоспел и Варлен, схватил за пику другого всадника, чтобы и его сбросить. Неретин, приложившись, выстрелил из кулевриночки. Сила отдачи была такой неожиданной, что он упал прямо к сбитому им улану.

Последнее, что видел Неретин,— злобная гримаса, исказившая длинноусое лицо пруссака,— он стрелял в Неретина в упор из револьвера. Неретину показалось, что кто-то прямо в сердце вбивает ему гвоздь, нечем стало дышать. Равнина, небо, скачущие уланы, национальные гвардейцы, стреляющие с колена,— все это медленно перевернулось в его сознании и угасло.

6

Натали Лемель отвезла партию раненых и вернулась за Неретиным. Уже смеркалось. Он лежал, наспех перевязанный, в повозке на шинели. Папаша Мишо, сам кругом забинтованный, склонился над ним.

— Доставь его в лучший госпиталь, Натали,— наказывал Варлен, уходя с батальоном.— Это я виноват во всем...

— Повезем в Париж,— решила Натали.— А ты, папаша Мишо, следил бы за ним повнимательней. Видишь, жгут сбился, кровь проступает.

За воротами Майо народ криками сочувствия встречал поредевшие батальоны, катившие следом санитарные фуры, телеги с убитыми...

— Эй, Мишо, это ты?— Худенькая женщина в линялом чепце протолкалась к повозке, за юбку ее цеплялась большеглазая девочка.— А где наш Клош? Не видели нашего Клоша?

Папаша Мишо поправил приклад кулевриночки, которую строгая Натали разрешила ему положить на край повозки, и безнадежно махнул рукой.

— Остался твой Клош у ручья Бюзанваль.

Женщина будто этого и ждала. Опрометью она бросилась к воротам, девочка за ней, во тьму и холод зимней равнины.

— Клош, Клош!— плакали обе.— Что же нам теперь делать?

— Зачем ты ей так?..— упрекнула Натали старика.— Как топором отрубил!

— А как же?— оправдывался Мишо, вновь отвинчивая заветную фляжку.— Не я, так кто-то другой. Непоправима только смерть.

На Елисейских полях посреди толпы зевак там и сям стояли пушки, угрюмые, как жабы. В переулках шло перемещение частей.

— Э-эх!— вздохнула Натали, стоя в повозке.— Вот она где, долгожданная артиллерия! Что ж вы, ребята, здесь прохлаждались, когда нас убивали под Монтрету?

— Приказа не было...— оправдывались артиллеристы.

На площади Звезды колеблющееся пламя факелов выхватывало из тьмы громаду Триумфальной арки. Какой-то сутулый гражданин в мешковатой форме национального гвардейца пошел рядом с повозкой, взявшись за ее бортик. Бормотал себе под нос:

— Министры! Ренегаты, чума их разбери! Фальшивые демократы!

— Эй!— сурово окликнула его Натали Лемель.— Наша лошадка сегодня наработалась. Не хватало ей еще тебя тащить.

— О, гражданка Лемель!— узнал ее сутулый. Это был Ришардь.— Это вы? А я тоже ходил к Бюзанвалю. Что

там было — ай-ай-ай! Спешу в редакцию «Борьбы». Ухватился за вашу повозочку, чтобы быстрее пробиться.

Он перевел дух и, пощипав бородку, собрался пуститься в дальнейшие разговоры, но, узнав Неретина, горестно всплеснул руками. Зачем-то вынул записную книжку, выронил ее, наклонился, чтобы поднять, чуть не угодил под колесо.

— Послушай,— вдруг обратился к нему папаша Мишо, который шагал по другую сторону, блестя зрчками из марлевого шара на месте, где полагается быть голове,— сдается мне, что ты не кто иной, как Теофиль Ришардье. Как только начал ты болтать и суетиться...

Ришардье осекся и некоторое время помалкивал, потом произнес неуверенно:

— Да, да, конечно... Голос вроде бы похож... Баррикада у лавки Мармона, стычка в Сент-Оноре... Да-да... Пятьдесят первый год!

— Вот именно! — закричал Мишо с такой силой, что лошадь дернула и Неретин застонал. — Именно так, брось дурить, старина! Баррикада у Мармона, стычка в Сент-Оноре! Обнимемся, дружище!

— Повозку не повалите! — ворчала Натали Лемель.

Выехали на площадь Согласия. Ездовой спросил:

— Ну, куда же ехать? Решайте.

— В Новую Оперу... В театр Шатле... В коммерческую биржу... Там самые большие госпитали.

Но Ришардье отсоветовал. Недавно, в качестве корреспондента, он их обследовал — битком набито, нет одеял, медикаментов, пища скудная. Лучше обратиться в частный госпиталь.

— В какой же частный? — задумалась Натали.

Ришардье хлопнул себя по лбу. Неретин ведь русский — так отвезем же его в госпиталь, организованный русскими, там и сестры милосердия русские. Уж они сумеют поставить на ноги соотечественника.

Подъехали к особняку, где на медной дощечке было выгравировано: «D-r Grégoire Ygouboff». Сам Вырубов, представительный мужчина в отличном сюртуке, поверх которого был повязан клеенчатый фартук хирурга, как раз вышел на крыльцо отдышаться.

— Что, Риго, вы, наконец, на отдых? — спросил он у своего помощника, который снимал халат. Санитар чистил ему студенческую тужурку.

— Двое суток подряд, а спал всего три часа,— пожал

плечами чернобородый студент, обдув и надев пенсне.— Достаточная с моей стороны дань глупости парижан, которые все еще верят в генералов, вместо того чтобы их просто повесить.

— Теперь, конечно, на какую-нибудь тайную сходку?— иронически прищурил глаза Вырубов.

— Доктор, любопытство — самый извинительный, но все же порок!

— А вы резки, Риго. Ваш язык много вам наделает врагов.

— Он же с ними и разделается, смею заверить вас, милейший доктор!

Санитарная повозка остановилась, и Натали Лемель, без ошибки распознав в барственном Вырубове начальство, подошла к нему.

Но ответ был неутешителен — госпиталь переполнен.

— Но он же русский, русский наш раненый! — убеждала Натали.

— Э, гражданка, — ответил за Вырубова Риго, — доктор, с тех пор как десять лет назад оставил Россию, холопскую Россию, как он выражается, считает себя только французом.

— Риго! — рассердился Вырубов.

— Не угодно ли понюхать? — с шутливым поклоном поднес тот табакерку.

Вырубов отвернулся.

Натали Лемель, видя, что и тут не везет, села на крыльцо, закурила. Из-под обтрепанной юбки выпростала ногу; сняв сапог, растирала натертую щиколотку.

— Баста! — заявила она ездовому. — Распрягай, больше нам ехать некуда.

Вырубов с интересом рассматривал эту непринужденную дочь парижских предместий. А Риго наклонился над повозкой, держа фонарь, чтобы разглядеть раненого.

— О! — воскликнул он. — Да ведь это же тот, из кафе «Вавилон»! У Вийона, кажется? «Уж если пуля суждена, то не укроет и стена». В хирургической практике, однако, подобные субъекты получают пулю чаще не в грудь, а совсем наоборот...

— Поосторожнее, гражданин! — оборвала его Натали. — Он у нас герой, выручил весь батальон. А вот этого льва, — она хлопнула по плечу клюющего носом папашу Мишо, — спас от прусской пики.

— Странно, это очень странно... — сказал Риго, про-

должая рассматривать Неретина.— А вы, милочка моя, доктор, проповедуете «сними рубашку, отдай ближнему» и сами имеете кабинет, роскошный, как у графа Бисмарка. Вот туда бы его и положили. Но все-таки странно, очень странно... Как хотите, но в порядочных людей барышни из револьвера не стреляют. Жаль, не успел я ни задержать, ни рассмотреть той девчонки!

И тогда доктор Вырубов все-таки распорядился взять Неретина на носилки, готовить на операционный стол. Риго усмехнулся, надел тужурку, тщательно завязал галстук, причесал бороду и ушел насвистывая.

Неретин очнулся утром. Разглядывал потолок, который чем-то напоминал ему потолок их мценского дома: дощатый, янтарный, весь золотой от лучей зимнего солнца. Он сразу понял, что лежит где-то в больнице. Удивительно: сестры, передавая дежурство, переговаривались по-русски.

— Его привезла женщина, член Комитета бдительности, уверяла, что сам Варлен просит лечить по-лучше.

— Ну, у Вырубова худо не лечат,— отвечал девичий голос, резкий, как полет стрижа.

— Э, знаешь... Всегда к кому-то поласковой, а к кому-то попроще— такова уж наша работа. А у него какие-то заслуги перед Национальной гвардией.

— Сколько ему?— спросил стремительный голос.

И Неретину почудилось, что он где-то когда-то уже слышал его.

— По карточке — тридцать пять.

— Ну, на вид куда моложе!— заметила сестра, останавливаясь над его кроватью.

Неретин поднял веки, чтобы посмотреть на обладательницу необыкновенного голоса. Над ним в белой косынке с красным крестом стояла, сжав руки, та самая барышня, его незнакомка! Ее глаза широко раскрылись, а губы силились что-то сказать.

— Да как же так...— наконец произнесла она.— Это же он!

Глава третья

ФАНШЕТТА-ТОНКОНОЖКА

1

Хотелось есть, пустой желудок ныл мучительно. Фаншетта плотней закуталась в дерюжку, служившую ей одеялом, но сон не приходил.

В низкой полуподвальной комнате, которую занимало семейство Мишо, было студено. От убогого света копилки холодный кафельный камин мерещился как гробница. Утром мать предложила Фаншетте выбор — либо идти ломать на дрова какой-нибудь забор, либо занимать очередь в мясную, авось что-нибудь да кинут. Но Фаншетта накануне и так уж простояла целых полсуток, пока лавочник не вышел и говорит: «Чего стоите? Наши прорвали фронт под Бюзанвалем, слышите канонаду? Теперь хлынет в Париж и продовольствие и хлеб!» Фаншетта на радостях убежала домой, затем оказалось, что под Бюзанвалем не победа, а поражение. И очередь она потеряла!

Фаншетта разругалась с матерью, та назвала ее лентяйкой, шатуньей, гордячкой и еще черт знает кем... Ну что же, возможно, мать права. Фаншетта вздохнула глубоко (плакать было не в ее нраве), разогнала детвору, набравшуюся к ним со всего двора, и, уложив маленьких братьев — семилетнего Дени и шестилетнего Элю, — легла сама.

Обычно они все — и старший Антуан, которому уж двадцать лет, — спали на общем матрасе, жестком, как деревянной плот. Отец, который обладает склонностью всем вещам давать забавные имена, прозвал этот матрас «материком». Теперь он, выколоченный, скатанный и упакованный, стоял в углу. Мать пошла к бакалейщику Симону просить тележку — завтра везти «материк» в ломбард, складывать. Иного выхода нет. Отец пропадает где-то третий день. Из-под Бюзанваля он вернулся благополучно, знакомые видели, а ежедневных денег, которые положены ему как национальному гвардейцу, не несет.

Итак, малышам постелили на верстаке, Антуан будет спать на полу, а она, Фаншетта, пригрелась на куче бумажных стружек — чуть покалывает, но уютно, тепло.

Из этих стружек, бывало, получались отличные завитки искусственных астр и лепестки роз; отец умел отделывать их так, что они казались нежнее и прозрачнее живых. Нынче кому нужны они, бумажные цветы? Все думают только о провизии, о еде.

Она забылась, задремала и проснулась от яркого света и голосов.

— Вставайте, дети! — возглашал отец; он был выпивши, шумен и весел. — Вот леденцы, игрушки, сладкий горошек, даже дрова и свечи! Вставайте, учиним, черт побери, пир горой! А где мать?

Голова забинтована (ужас!), бинты растрепались. Нежно обнимается с каким-то другим ветераном, тоже в сюртуке национального гвардейца.

— Дети, это мой старинный друг, мы не виделись двадцать лет! Вчера мы провели день у него. Воспоминанья, воспоминанья, отрада старости глухой... — пропел он на мотив оперетты.

Друг суетился, приборматывая:

— А вот мы кулечки развернем, а вот мы печечку истопим...

Первым выскочил из-под одеяла малыш Элю, мигом забрался к отцу на колени. Вылез, поеживаясь от холода, и застенчивый Дени; оба дружно принялись набивать рты. Фаншетта (отцова любимица) перебинтовала ему голову; царапина оказалась пустяковой.

Мать пришла и ахнула — опять накупил ерунды, а в доме ни сантима! Потом пригляделась к отцову приятелю, села на стул и тихо сказала:

— Ришардье, это опять ты?

— Да, это я, — ответил тот усиленно моргая.

— А я надеялась, господь тебя приборал...

— Как видишь, жив еще, жив.

— Каждый раз ты появляешься, будто проклятие господнее, в моей жизни. А ведь неказистый, седой уже...

— Выпьем, старуха! — кричал папаша Мишо. — Черт побери, стоит ли вспоминать? Что было, то было! Выпьем за встречу, за грядущую революцию!

— Опять на баррикаду потащишь моего Мишо? — допытывалась мать. — Тогда, в пятьдесят первом, я еле увела его, спрятала, иначе быть бы ему с тобой на каторге. Пресвятая дева, заступница наша!..

В свете лампадки поблескивала жестяная Мадонна, украшенная сухими бессмертниками. Матушка Мишо

перекрестилась, даже поклонилась, не вставая с табурета, затем подняла стакан:

— Ну ладно уж, что поделывать? Выпьем, только на баррикаду не смей ходить. Глянь, как уж его разукрасили, забинтовали — не под Бюзанвалем ли?

Папаша Мишо полез в карман, достал эпинальку — плакат, яркую литографическую картинку, развернул, хлопнул рукой:

— Мать, гляди сюда! Если бы не этакий смельчак, был бы я теперь в плену!

На эпинальке розовые дымы вылетали из пушек, на голубом коне скакал усатый молодец, махая сабелькой. Вот сатана! Фаншетте бы такого героя, как этот русский!

Он рассказывал про Неретина, а Ришардье поддакивал, восхищаясь. Попутно успел высказать комплимент хозяйке — все та же красотулечка, как двадцать лет назад.

— Эх! — растрогалась матушка Мишо. — Куда мне теперь? Вечная нужда, вечные долги... Кстати, — резко изменив тон, обратилась она к мужу, — выкладывай-ка деньги, я у кухарки госпожи Эврар брала только до вечера. Знаешь, Ришардье, одно облегчение, что за квартиру не платить вышел республиканский закон, иначе хоть в могилу.

Заслышав про деньги, папаша Мишо трепетно при молк. Ришардье стал его выручать:

— Леденечки вот купили, свечечку...

— Свечечку! — задохнулась мать от возмущения. — Разве их (она указала на мальчиков, растопыривших глазенки) леденцами досыта накормишь? Разве ей (указала на Фаншетту) не надо есть? Ведь невеста уже, а у нее (мать так быстро приподняла Фаншетте юбку, что та не успела отбрыкнуться) кости да кожа, весь квартал так и зовет — Фаншетта-тонконожка!..

Матушка Мишо принялась перечислять грехи мужа, обращалась к Ришардье, как будто тот один во всем повинен:

— Ведь мы же с ним не обвенчаны, знаешь? Жива еще первая его краля, крестьянка она, где-то в Оверни, а развод стоит денег. У нас же куча ребят, четверо ведь уже!.. Господи, уж я отмаливала свой грех, живу двадцать лет невенчанная, но ведь дети, за что же страдают дети? Законным женам национальных гвардейцев платят пособие по пятнадцать су в день, а таким дурехам, как я, — кукиш!..

Ришардье еле сумел вставить слово — свершится, мол, революция, и все образуется. Однако это лишь подлило масла в огонь.

— Революция! Не верю я в это, уж не раз слышали мы, реформы проводили, баррикады строили, а что изменилось? Бессильны вы, социалисты, демократы, или как вас называть, бога забыли, только и бегаете по клубам и сходкам, а дети пусть с голоду мрут... Ведь он-то, мой Мишо, никакой работы не ищет, все я одна надрываюсь, а он зачем-то потащился с батальоном под Бюзанваль, был там обузой. Из-за него вон человека покалечило...

Тут папаша Мишо оскорбился за свою воинскую честь:

— Мать, ты не француженка, ты не парижанка, ты меня позоришь... Вот если бы ты прочла у Прудона...

— А ты что теперь — прудонист?! — изумился Ришардье, как будто узнал, что его приятель закликает змей или глотает шпаги. — Ты — и прудонист?!

— Да, я прудонист, ну и что?

— Да ведь ты старый инсургент... Недаром же тебя прозвали львом баррикад!

— Ну и что? Прудон — великий революционер, он первый социалист Франции и всего мира!

Ришардье пришел в восторг:

— Ах ты мой львишечка, моя большая и наивная киса! Да ведь Прудон как раз противник всяких баррикад. Он учит классовому миру, взаимной любви работников и хозяев.

— А вот и нет! — не отступал папаша Мишо. — По мне Прудон как раз впору. Это он говорил — долой фабрики, долой деньги, долой всякие машины, назад к природе! Ведь так, кажется, или нет? А ты что же, — ядовито спросил он, — бланкист, что ли? Заговорщик по темным углам?

— Я истинный якобинец, — ответил с пафосом Ришардье. — Декларация человека и гражданина — моя библия, декреты Конвента — мои заповеди. Я, душечка мой, свои убежденьица не меняю.

Матушка Мишо из темного угла, где возилась с посудой, саркастически заметила:

— Прудонисты, бланкисты, якобинцы... Запутались, господа революционеры! — И вздохнула: — Ой, помилуй и спаси нас, пресвятая дева!..

Некоторое время была тишина. Ветераны еще выпили

и загрузили. Матушка Мишо, накинув платок, отправилась к бакалейщику Симону, одолжить тележку.

Вдруг в прихожей раздался грохот, стук, удар. Дверь распахнулась, и появился молодой человек, улыбаясь и потирая ушибленный нос.

— Ну, папаша, выставил ты свою кулевриночку, а я споткнулся и набил синяк! Да еще где — на моем несравненном носу, который ты же сам называешь истинно галльским. Надеюсь, я не единственная жертва твоего ружья, были и пруссаки?

— Вот мой сын! — в восторге закричал папаша Мишо. — Взгляни на него: ручищи, как якорные лапы! Давид! Голиаф! Гог и Магог!

— Ни тот ни другой, ни даже третий с четвертым. Всего-навсего Антуан, — представился молодой человек.

— Я-то хотел назвать его Сатурнин, в честь античного свободолюбца, — огорченно заметил папаша Мишо. — Но пока мы с тобой, дружище, торчали на баррикадах, мамаша подхватила новорожденного, стащила к попу, и тот мигом его обратал в Антуана!

Антуан плескался у ракушечника, который у них носил смешное имя «водолей». От мощной фигуры юноши, открытой улыбки и бодрого тона грусть стариков понемногу рассеялась.

— Выпьем за дружбу! — предложил Ришардьё, протягивая Антуану вино. — Всего одну кружечку...

— Разве дружба — это такой товар, который нуждается в периодическом смачивании? — усмехнулся Антуан.

— О, этот из нынешних! — сказал папаша Мишо. — Вроде нашего командира Варлена. Из тех, которые не пьют, не курят, аскеты какие-то! За прекрасным полом — вот сатана! — не ухаживают!

— Твой же Прудон, — ответил Антуан, — великий Прудон, — подмигнул он Фаншетте, которая сидела на стружках, закутавшись, будто сова, — так зло третирует и разоблачает женщину, что я уже и не в силах ей поклоняться.

— Ты же ничего не читаешь! — завопил папаша Мишо. — Как же ты смеешь излагать Прудона? Вот мое горе, — обратился он к Ришардьё. — Вслед за матерью сын повторяет, что книги — чушь и бред, что теоретики заводят нас в дебри!

— А бонапартистские ренегаты выют из нас веревки, — спокойно вставил Антуан, стягивая фуфайку.

— Вот, вот! Помнишь, Ришардье, наши чтения вслух, наши споры о книгах? А этот — ничего!

— Мсье Ришардье, — сказал Антуан, — обратите внимание: там на тумбочке лежит томик Прудона — «Социальная справедливость», так, кажется? Этот томик папаша уже лет пять носит на митинги, все карманы от него обвисли. Но взгляните, пожалуйста, там добрых две трети страниц вообще не разрезаны! И все-таки он прудонист!

— Что же ты... А как же ты... — Папаша Мишо слов не мог подобрать от обиды. — Ты, все отрицающий, како веруеши? Скажи!

— А никак не верую. И не стыжусь, что никак! Но я жить хочу, чтоб воздухом дышалось, чтобы петь в полный голос, а не так, как мы с вами, — не живем, тлеем. Но и не так, как он (Антуан показал на потолок, за которым предполагался хозяин, господин Эврар), — не живет, смердит.

— Но ведь Прудон как раз... — стал говорить папаша Мишо, а Ришардье вскричал, перебивая:

— Великий Жан-Жак в своей «Исповеди»...

Опускаясь на постель, разостланную на полу, Антуан рассмеялся:

— Спокойной ночи, господа. Я работал сегодня двенадцать часов. Извините.

— Какой взрослый! — шепотом сказал Ришардье.

Папаша Мишо только развел руками.

Возвратилась матушка Мишо. Лицо ее осунулось, почернело, дрожали веки воспаленных глаз.

— Фаншетта, Антуан уже спит? Он что-нибудь принес?

— Нет, они на заводе постановили заработок отчислить на пушку для батальона. А название ей решили дать знаешь какое? «Анжольра»! Это в романе Гюго...

Мать в сердцах оборвала Фаншетту. До сих пор не спит, колобродит, а завтра не добудишься ехать в ломбард. Совсем отбилась от рук, тоже в семью ничего не несет. Устроили горничной к госпоже Эврар, так нет же — набила там посуды и та отослала ее назад. Эх, «Анжольра»!..

Только близкий взрыв бомбы — свечка померкла, дети проснулись — прекратил наконец распри. Ришардье был энергично выпровожен. Прикасаясь к стенкам, он заклинал папашу Мишо явиться завтра на площадь Кордери,

где заседает Комитет бдительности. Будет демонстрация, похороны жертв Бюзанваля.

— Еще чего выдумал! — крикнула ему вслед матушка Мишо.

2

Фаншетта вскочила, хлопнула кулаком по подушке. Все пили, ели эти глупые леденцы, это кислое вино, и все забыли, что у Фаншетты с утра куска не было во рту. Никто не предложил ни куска! Теперь спят себе, похрапывают!

Утром мать разделила ковригу хлеба на шесть частей — Фаншетта отлично помнит. Антуан взял свою долю на завод, она и мальчики съели свое сразу, а где же отцовская доля? Мать бережет ее, а отец как ни в чем не бывало съест и утром пойдет на свою площадь Кордери кричать на митинге. Так нет же, нет! Все в ней сопротивлялось и протестовало.

Вязанка, принесенная отцом, мигом прогорела, и в комнате сделалось дымно, но ничуть не теплей. По кирпичному полу, который леденил пятки, Фаншетта бесшумно обошла комнату, порылась в шкафу, в старой плетеной сумке, висевшей возле «водолея»... Нет, после того как Дени вытащил и съел дневную норму всей семьи, мать куда-то основательно хлеб прячет. Не под голову ли?

Сев на корточках у изголовья матери, Фаншетта тихо-тихо запустила руку под подушку. От волнения она не чувствовала озноба, несмотря на то что была в одной рубашке. Близкий взрыв бомбы испугал ее, она затаила дыхание, глядя, как голова матери поворачивается со стоном, но руки не вынула. На минуту ей стало жаль бедную, изможденную маму, у которой все лицо в страдальческих морщинах, но только на минуту! Она нащупала в глубине мягкий сверток и потянула к себе. Да, так и есть — вот отцовская доля хлеба. Он два дня пил вино, а она, Фаншетта, должна умереть с голоду!

Фаншетта развернула хлеб, отломилась. Но чуть только зубы вонзились в упорительный мякиш, вся жадность пропала, ей стало стыдно, кожа ощутила холод.

«Что бы это могло быть?» — соображала она, вертя в руках плотную бумагу, в которую был завернут хлеб. Поднесла бумагу к лампадке у Мадонны.

Да ведь это отцовская эпиналька! Знамена развева-

ются, пушки палят, гарцует бравый офицер, похожий на того русского, который спас ее отца.

Отец, отец... Как она могла! Старый, раненый, несчастный... Как она могла, подлая?..

Бросив на стол эпиналку и хлеб, Фаншетта натянула платье, башмаки, накинула пальтишко и, повозившись с тугим засовом, выскочила во двор. Огрызок луны блуждал в небесной пустыне. Ветер над заколоченной лавкой бакалейщика раскачивал вывеску — железного арапчика — и жалобно звякал им о водосточную трубу.

У ворот маячила угрюмая тень. Это Паделу, темная личность, жилец из большого дома, по ночам околачивается, чего-то высматривает. У него длиннющий нос и рот приоткрыт, как будто он всегда чем-то изумлен. Как и обычно, Паделу стал заигрывать с Фаншеттой, пытался ее обхватить.

— Эй, гляди, у тебя пятки сзади! — крикнула она, отстраняясь, и, пока Паделу, вечно попадавший на ее шуточки, туповато рассматривал свои каблуки, Фаншетта, смеясь, убежала.

Съездившись, она побрела по набережным, затем через мост, на правый берег. Решено — она не вернется больше домой, раз она никому там не нужна. Ей уже семнадцать, проживет сама. Горничной она, конечно, не станет, лизать чужие тарелки ей противно, но и замуж за вдовца-парикмахера, как настаивает мать, не пойдет!

Бывало, по этим улицам даже в столь поздний час катили фиакры и коляски, позванивали омнибусы, двигались толпы гуляющих, от множества газовых рожков было светло как днем. Теперь мимо Фаншетты пробежали с узлами и исчезали в кромешной тьме жители предместьев — их переселяли от обстрела в брошенные квартиры центра.

— Позволь, позволь! — Переселенец в широкой блузе, пыхтя, вез тачку с тряпьем и невежливо толкнул Фаншетту.

Завтра и она с матерью так же повезла бы свой «материк» в городской ломбард. Баста! Не будет она больше таскаться по ломбардам и очередям!

Улицы в центре были освещены из витрин. У окна какого-то ресторана Фаншетта остановилась и долго разглядывала блюда, расставленные на ближайшем столе, за которым сидели господа в черных визитках. «Вот салат из редиски,— называла она про себя то, что стояло на сто-

ле.— Это сардины, это печеные яблоки, это, пожалуй, филе...» Ей было так любопытно, что она и забыла, как голодна сама.

Веселые хмельные голоса разорвали тишину. Из ресторана вывалилась компания.

— А вот и девочка! — обрадовались они, увидев Фаншетту.— Пойдем, красавица, погуляем!

Фаншетта увернулась и побежала по бульвару Мадлен. Она ничуть не рассердилась на этих шалопаев, даже наоборот — все-таки приключение! Она смеялась и старалась рассмотреть себя в стеклах темных окон. Ну и что же, пусть Фаншетта тонконожка, пусть мать насмехается, что ее нос бог на семерых нес, а достался ей одной, все равно она привлекательна. Волосы у нее черные и жесткие, как конская грива, все время приходится поправлять локоны, чтобы не падали на лицо. Даже мать говорит, что такие волосы — очень неплохо, а господин Эврар, хозяин, бывало, наблюдая, как Фаншетта воюет с прической, внимательно разглядывал ее, и улыбка проскальзывала на его важном лице.

Но Фаншетта совсем ооченела. Улица скучна, как молитва. Попалась церковь с колокольной, угрюмо нависшей во мгле. Сквозь раскрытые двери виден свет и слышен гул голосов. Разве идет служба? Так поздно?

Фаншетта вошла. Церковь была полна женщин, молодых и старых, по-разному одетых, а попов нигде не было видать. Никто не молился, а все шумели и кричали: «Долой министров! Долой генералов!..»

— Завтра все на площадь Кордери! — раздавались призывы.

На высокий балкончик — кафедру проповедника — взошла гневная женщина в шинели национального гвардейца с закатанными по локоть рукавами и развернула лист, на котором текст был напечатан алой краской. Властно тряхнув головой, женщина призвала к молчанию.

— Гражданки девятого округа! Вот красная афиша, выпущенная Комитетом бдительности. Слушайте:

«У нас 500 тысяч бойцов, а 200 тысяч пруссаков морят нас в осаде. Кто несет за это ответственность, если не люди, которые правят нами?»

Неужели великий народ, разрушающий Бастилии и ниспровергающий троны, согласится ждать в пассивном

отчаянии, пока голод и холод заморозят последнюю каплю крови в его сердце?

Время еще не упущено, да здравствуют решительные меры, которые приведут нас к победе. Правительство национальной измены осуждено народом. Место Коммуне!»

— Да здравствует Коммуна! — Дружный клич женщин, машущих платками, зонтиками, сумками, потрясая стены церкви.

Фаншетта, притулившись в самом углу нефа, сначала слушала, позабыв обо всем. Но вскоре тепло и дрема ее одолели. Сквозь колебание свеч ей явственно виделся русский, который спас отца, бледный, с тонкими усиками.

Вот он на коне, знамена развеваются, пушки палят. Он сажает Фаншетту рядом с собою в седло, и они скачут во весь опор.

3

Барышня в крошечной шляпке, пряча в муфту озябшие руки, повернула с шумного бульвара Тампль на площадь Кордери. Там ей открылось пятиэтажное здание казенного вида, над которым вызывающе полоскался красный флаг. Окна нижнего этажа были заложены кирпичом, из бойниц торчали десятиствольные дула митральез.

Множество народа входило и выходило. Смешавшись с толпой, вошла и она. Долго толкалась, читая вывески: «Бюро профсоюзов», «Штаб батальона», «Комитет бдительности».

— Где же Интернационал? — обратилась она к какому-то здоровяку, который самозабвенно спорил в кругу женщин: брать на манифестацию трехцветные знамена или только красные?

Здоровяк посмотрел непонимающими глазами, потом, сказав: «Ах, федерация!» — направил ее во внутренний двор, в пристройку бокового флигеля.

Там, в стороне от кипящего многолюдья, на площадке второго этажа, за стеклянными дверями был виден уютный зал, стол президиума и картина над ним: «Карл Маркс провозглашает Интернационал». Мирно потрескивали дрова, зимнее солнце пронизывало чистенькие занавески.

Поднявшись до середины лестницы, она заметила, что кто-то бородатый с площадки рассматривает ее. Это, не-

сомненно, был практикующий студент Риго из того же госпиталя, что и она. Сделала шаг назад, но было уже поздно.

— Сестра Мари, какими судьбами? Это вы?

— Да, уважаемый Риго, как видите, это я.

— А я подумал сейчас о бедном докторе Вырубове. Он и так ворчит: разбойников, мол, в госпитале укрываю. Что же с ним будет, если он узнает, что и вы нашего стада агнец?

— Почему же вы думаете, что я именно из вашего стада?

— Потому что сюда ходят либо бунтари, либо шпионы. Другим тут делать нечего. Но если вам не угодно, чтобы я причислял вас к бунтарям, милочка моя...

— Я вам не «милочка моя». И дайте дорогу, мсье. Мне недосуг болтать, как иным бунтарям.

Риго в восторге хлопнул рукой по перилам:

— Вот уж и гневается! Вот уж и глазки заблестали. Черт побери, люблю сердить людей! Разозленный умнеет в десять раз и даже больше. Ну, не будем ссориться. Честно — зачем вы сюда?

— Честно?

— А как же, раз уж мы одного стада агнцы?

— Честно — мне нужен Варлен.

— Варлен! Везет же этому герою. Все женщины в Париже только о нем и говорят. Да и как не говорить: в его черные глаза стоит погрузиться — и не вынырнешь. А для него существует только одна женщина — революция!

— Ну хорошо, дайте все-таки пройти. И не буравьте меня таким ужасным взглядом, который несомненно выработан вами, чтобы подавлять волю подследственных. Кстати, вы уже однажды так на меня смотрели.

— Я? Где? Что-то я не помню.

— А как же ваша хваленая память на лица, вы, будущий прокурор революции?

— Ого, вы кусаетесь? Ну, скажу вам, Риго пользуется славой самого зубастого в Латинском квартале, а вы, милочка моя, хотите его до смерти загрызть?

— Раз уж пошло на откровенность, то вы сами, если по вашей теории вы не шпион, зачем вы здесь? Насколько известно, вы не сторонник Интернационала, напротив...

Риго сделался хмурым, как небосвод, на который набежала тучка.

— Сестра Мари, вы присутствуете при историческом

события. Я только что вручил марксистам послание от имени бланкистов и якобинцев. Мы предлагаем объединиться и брать власть. И как вы думаете, почему я называю это событие историческим? Только потому, что, как уже не раз случалось в истории, упрямцы отказываются от единства.

— Не может этого быть!

— Все может быть, милочка моя. Подойдите-ка к двери и смотрите-ка через стекло. Видите, во главе стола respectable господин, сюртук на нем от Виньоля, запонки от «Прентан»? Это признанный глава французских марксистов, председатель французской федерации Интернационала мсье Толен, Анри-Луи. Теперь переведите взгляд выше, на картину. Там, на полотне, третий в ряду от Маркса, худенький подмастерье в подштопанной блузе — это все тот же Толен, только семь лет тому назад. На прошлой неделе правительство утвердило его помощником мэра. Разве он теперь согласится на мятеж? Эти марксисты всегда так, лишь бы где-нибудь, лишь бы какой-нибудь пирог ухватить!

— Вы беспощадны, Риго, — засмеялась Мария, а Риго был доволен произведенным впечатлением. — Ну, а Варлен? — спросила она.

— Что Варлен? Варлен отмалчивается, в дискуссию не вступает, мнение его не ясно. Но если на стручка Толена в конце концов наплевать, то Варлен... О, Варлен нет! Рабочие зовут его апостолом социализма, я бы сказал иначе — для них он царь и бог!

В этот момент в зале за стеклянной дверью задвигали стульями, обернулись ко входу. Толен замахал рукою, приглашая Риго войти. Видно было, что он о чем-то резко говорит с Толеном, нервно крутит пенсне на шнурке. Затем Риго повернулся и вышел, сбежал по лестнице, восклицая:

— Это безумие! Манифестация без оружия — это же бред!

Бородачи в зале заседаний из-за стекла увидели Марию, поворачивались, стараясь ее разглядеть. Пришлось входить.

— Вам что, мадемуазель? — Толен обрадовался случаю прервать дебаты. — Товарищи, давайте заканчивать!

Серрайе — медлительный, похожий на англичанина, в наглухо застегнутом сюртуке, с клетчатым платком вокруг шеи. Еще в октябре, до осады, привез он из Лондона

письмо от Маркса с рекомендациями объединяться, сплачиваться, готовиться к революционному взрыву... Что сделано для этого? Ничего. А ведь именно сейчас...

— Но Маркс предостерегал и от преждевременных выступлений! — прервал его Варлен. — Осенью Интернационал не принял участия в авантюре бланкистов. И правильно сделал, как показало время!

Толен с выражением терпения на лице постукивал председательским молоточком. Чернявый, еврейского типа человек вскочил, протянул к нему указующий палец:

— Когда ты кончишь с видом сенатора поглядывать на часы? Стрелки времени теперь движутся там (взмах рукой по направлению к бурлящей площади). Если Интернационал не определит позиции...

— Тише, Франкель... — остановил его Варлен, и тот уgomонился, сел, покусывая губы.

Опять говорил Серрайе. Да, Маркс предостерегает от авантюризма в революции. Но он учит быть гибкими, искать союзников везде. Вот бланкисты — у них отличная подпольная организация, кадры боевиков, единый пождь — Бланки. Как раз то, чего нам не удалось создать. Зато с нами массы...

— Это потеря классового чувства! — вновь крикнул Франкель. Эмигрант, иностранец, он еще плохо владел французским языком, в волнении подбирал слова: — Рабочий, нищий блузник! Что у него общего с вылощенным адвокатом, офицериком из бланкистов? А ты призываешь объединиться!

— Да и нужно ли вообще какое-то восстание? — оживился Толен, поигрывая молоточком. — Прудон учит: политика, смена кабинетов — это дело буржуазии...

Опять поднялся шум, всем хотелось немедленно высказаться. Один Варлен сидел молча, перебирал бумаги и поглядывал на Серрайе, который, тоже молча, стоял на трибуне.

— А что сказал бы по этому поводу наш Маркс? — усмехнулся председатель Толен. Как хотелось бы ему добавить: между двумя стопочками коньяку в уютной лондонской квартирке!

Серрайе медлил с ответом, уловив эту уничижительную нотку в вопросе председателя. Подумать только, сколько раз он, Толен, бывал у Маркса в Лондоне дома, пока не попал в избираемую верхушку Интернационала! И коньячок-то с ним, наверное, попивали вместе!

— Ты же знаешь, у нас с осени нет с ним связи...

Отрезанный от всего мира осажденный Париж организовал голубиную почту. В корзинах аэростатов посылают почтовых голубей, они возвращаются над позициями, над летящими бомбами и гранатами, приводя в бешенство прусских вояк и пронося в Париж кольца с письмами на лапках.

В прошлом месяце Серрайе раздобыл двух выносливых голубок, севших на яйца. Как только вывелись птенцы, клетка с голубками была погружена в корзину аэростата и отправилась через петлю осады, по кружному пути Интернационала, а птенцы остались в Париже. Через одну-две-три недели да придет же наконец ответ от руководства! Но пока ответа нет.

4

Заседание окончилось, делегаты расходились, держа в зубах трубки. Мария приблизилась к Варлену, но не решалась с ним заговорить, потому что он резко отчитывал какого-то чина, ответственного за доставку боеприпасов.

И вдруг Варлен узнал Марию. Его гневные глаза потеплели, дружелюбие засияло в их бархатной глубине. Мария вспомнила все, что слышала о необыкновенных глазах Варлена. Даже Лавров как-то заметил: «По одним глазам его отличишь среди миллиона людей».

А она увидела в них странную мягкость, какую-то не от мира сего человечность. Даже не умом поняла, а почувствовала, как может почувствовать только женщина. И ужаснулась: о, как не к месту эта мягкость в железное время мятежей!

— Здравствуй, Мари, ты ко мне?

Зал был уже пуст, только за столом оставались Франкель и Серрайе.

— Мне бы с тобой поговорить, гражданин Варлен.

— Готов, милая гражданка!

— Но...

— Эти товарищи? У нас нет тайн. Говори.

— Варлен, помнишь, две недели тому назад я скрылась у тебя в отеле «Обюссон», спасаясь от агента русской полиции?

— Конечно. Но ты сама запретила расспрашивать...

— Скажи, Варлен, по твоему ли распоряжению некая

Натали Лемель доставила в наш госпиталь раненого русского?

— Ну да, под Бюзанвалем...

— Так знай: он тот, в которого я стреляла. Он шпион!

Этого не может быть! Варлен сам видел его в бою. Впереди всех русский шел на Монтрету, сознательно рисковал, спасая товарища!

Что же, все это маска? Невероятно! В представлении Варлена шпики, провокаторы — это что-то мерзкое, скользкое, с водянистыми, пустыми глазами. А этот Неретин, он человек, такой же, как сам Варлен, как непоседа Франкель, как по-английски рассудительный Серрайе!

Выслушав Варлена, все некоторое время молчали, не зная, что и сказать.

— Это все ваши Бакунин и Нечаев! — возмутился Франкель, тыкая в Марию пальцем. Ее это раздражало — и здесь, как в России, эта манера — всюду указующий перст. — Помешались на терроре! — Франкель даже закатывал глаза. — В каждом видят провокатора. Не дай бог будущая русская революция вручит власть таким, как они!

— Да за что-то же вы его присудили к смертной казни, — сказал Серрайе. — Не может быть, чтобы просто так.

Мария молчала. Ах, если б она могла им рассказать все! Но клятва, данная Нечаеву... Она пришла лишь потоварищески предупредить: тот, кому они доверяют, — враг. Мария чувствовала на себе испытующие взгляды интернационалистов, ей уже было стыдно, что пришла, что затеяла этот разговор без доказательств. И Варлен, с его всепонимающей улыбкой!

— Нет, он провокатор! — повторяла она упрямо.

— Ну, вот что... — сказал Варлен, подумав. — Неретин тяжело ранен. Он пролил кровь за наше дело, это факт неоспоримый. Теперь лечите его, как можно лучше лечите. Когда он выздоровеет, мы спросим его обо всем.

И Мария стоит, немая и беспомощная, действительно тонет, растворяется в теплом, насмешливом сиянии глаз этого доброго великана. Где вся ее логичность, ее хвальный задор? Она повернулась и вышла не попрощавшись.

Когда Варлен остался совсем один, собираясь заняться протоколами, явилась Натали Лемель, грохоча солдатскими сапогами. Уселась прямо на край стола.

— Ну, что решили? Народ ждать не станет, все тре-

буют — к Ратуше. На площади Кордери не менее десяти тысяч штыков!

Варлен пожал плечами. Натали же не переставала волноваться:

— Интернационал рискует своим престижем! И так уж все смеются, что батальоны и комитеты вытеснили его в задний флигель. Скоро он вообще вылетит за борт.

— Интернационал может принять участие только в мирной манифестации. Бряцание оружием ни к чему. Так и скажи своим забиякам.

Он встал, вынул старинные — наверное, отцовские — часы луковицей, щелкнул крышкой. Серебряные молоточки стали отзванивать: «Мельник, ты спишь, а жернова все быстрее...»

На энергичном лице Натали разливалась досада.

— Варлен, я тебя не узнаю! Где твоя стремительность, прославившая тебя в стачках Сан-Кантена? Разговариваешь тут попусту со всякими изящными барышнями! О, если бы я была не дура Лемель, а умнейший, талантливейший Варлен! Что бы я натворила!

Но вождь только усмехался на ее слова, и она вскричала:

— Ладно, ладно, ты прислушайся-ка, что играют твои часы. Мельник, не проспи своей мельницы!

— Пойми, — Варлен обращался с ней терпеливо, словно школьный учитель, — пойми, Натали. В тридцатом году, и в сорок восьмом, и в пятьдесят первом парижский пролетариат выходил на баррикады... Все оказалось преждевременным.

— Ах, вот в чем дело! Вот где загвоздка! Пролетарские зады боятся буржуйских шлепков. А мы, легковерные...

Тут Варлен насупился не на шутку.

— Что ты висишь надо мною, как вековая совесть? Загвоздка, загвоздка... Поверь, мне легче идти напролом на Монтрету, чем ночами напрягать мозги до боли: как не ошибиться, как не сделать неверного шага?

— Бедный мой философ! — ласково улыбнулась Натали, не слушая его. — Гляди, ведь только получил полковничий мундир, а уже рукава совсем обтрепал. Вот у меня иголка, снимай, я заштопаю!

— Я сам, — отстранил ее Варлен, взял со стола ножницы и в одно мгновение обрезал бахрому у левого рукава.

— Какой же ты! — с грустью сказала гражданка Лемель, слезла со стола и пошла себе независимо, напевая:

Ах, са ира, са ира, са ира!
Все пойдет, все пойдет, все пойдет!

5

Месса близилась к концу. Молящиеся застыли над бюпитрами, мысли каждого блуждали вокруг перипетий жизни. Только толстуха в переднем ряду вертелась, вытирала пот со лба. Все старалась привлечь внимание священника, который вел службу.

— Преподобный отец! — делала она рупор из ладо-ней. — Ну, преподобный же отец!

Кюре заметил ее усилия, передал кропило другому и вышел в притвор. Толстуха устремилась навстречу, до-кладывая:

— Прилетел голубок, прилетел!.. К тому, которого вы называете клетчатым, из Англии, который мой сосед... Прилетел, сидит за водосточной трубой. У клетчатого форточку прикрыл ветер, голубок влететь не может!

— Как бы его кто не перехватил? — тревожился кюре.

— Я хлебушка кусок положила там на карниз, учтите, ваше преподобие, свою дневную паечку... Так чертовы ма-льчишки настоящую охоту там за этим куском хлеба устроили.

— А что клетчатый? — спрашивал кюре, проворно ста-сывая облачение.

— Его нету, ушел с самого утра, небось по своим ми-тингам, теперь отыщется едва ли к вечеру.

Через несколько минут брат Захария, облаченный уже в пальто гражданское на обезьяньем меху, быстро вышел на улицу. Толстуха семенила следом.

— Преподобный отец, не забудьте мою службу... Ви-дите, я даже хлеб пожертвовала свой.

— Хорошо, хорошо.

— Мне бы лавочку табачную открыть, тут на углу. Разрешение дорого стоит...

— Ладно, ладно, деньги будут.

Внезапно им преградил дорогу испитой субъект с тро-сточкой, в поношенном, но с претензией на моду дождеви-ке. Зрачки его профессионально рыскали по сторонам.

— Позвольте, — прошипел ему брат Захария. — Я же

запретил подходить ко мне на улице. Вам что, не известно место и час?

— Важнейшие сведения! — трагически заявил субъект, вращая тросточкой. — Мятаж близок к осуществлению!

— Опять какие-нибудь бульварные сплетни! — поморщился брат Захария. У субъекта на лице изобразилась абсолютная правдивость, да еще желание выпить. А брат Захария, как старый волк разыскной службы, знал, что никакой мелочью пренебрегать не следует, потому сделал знак идти за ним.

По другую сторону квартала помещался особняк господ Эврар, хозяев патронного завода. Как раз в его полуподвале и размещалось жилище ералашного семейства Мишо. Затем был двор-колодец, а поодаль высилось унылое многоэтажное здание из рыжего кирпича — доходный дом господ Эврар. В прежние времена в нем квартировали студенты и профессора Сорбонны, а теперь самая разношерстная публика.

Толстуха, следом брат Захария и субъект с тросточкой проскользнули в ворота, пересекли тесный двор, вошли в подъезд, поднялись по лестнице. В комнате, где пахло нюхательным табаком, а лучшей частью обстановки была грандиозная постель со множеством подушек, толстуха отдернула штору.

— Вот он, птичка, голубочек, всё тут... А вот они и проклятые мальчишки!

Брат Захария подошел к окну, удивленно воскликнул:

— Фидюс! (Субъект дернулся, как лягаш, готовый служить без предела.) Тут уж по вашей, репортерской части. Взгляните-ка на этого чемпиона.

По карнизу, выступавшему под окнами пятого этажа, придерживаясь за кирпичи, двигался мальчуган лет шести. Он пробирался не к хлебу, положенному на карниз, как думала наивная толстуха. Его привлекал голубь, который сжался, совсем окоченев, мелко топтался за водосточной трубой. Но улететь он не мог: там же, за форточкой Серрайе, были его птенцы, к которым он стремился над морем и равниной.

— Давайте держать пари, — предложил Фидюс, — возьмет мальчишка голубя или нет... Душещипательное зрелище, готов ставить пару коньяка.

— Пари! — поморщился брат Захария. — С вами? Когда же вы, любезнейший, усвоите наконец дистанцию?

Он велел хозяйке выйти, а Фидюсу докладывать, что

знает. Сам не сводил глаз с мальчика и голубки за стеклом.

Фидюс, мямля и перескакивая с одного на другое, прился рассказывать о собрании подстрекателей, куда ему удалось проникнуть. Решено вывести Национальную гвардию к Ратуше, устроить всенародную демонстрацию, правда безоружную... Репортер так и сыпал именами и цитатами. Брат Захария слушал, как говорится, вполуха, уставившись в окно, обшаривал глазами двор, мальчишек, столпившихся внизу. Туда же глядел и Фидюс, не переставая докладывать.

— А все-таки мальчишка возьмет птицу! — вскричал он, вновь забыв о дистанции.

— Нет уж, если пари, то выиграю я! — жестко сказал брат Захария.

Он открыл фрамугу окна, холодный дождь сыпанул с улицы. Он еще раз взглянул на голубку, на мальчика, вниз во двор и резким движением схватил птицу, зарывчав от азарта.

Мальчик испуганно оглянулся, ручонка его съезжала, пытаясь уцепиться за цинк подоконника, затем нога сорвалась, и он упал вниз.

Даже видавший виды Фидюс присел, зажмурив глаза.

Спустя полчаса Огюст Серрайе, войдя в калитку, столкнулся с выходившими навстречу господами. Один из них прятал нос в обезьяний воротник и держал что-то за пазухой. Господа, не извинившись, поторопились скрыться за углом. Во дворе стоял невообразимый галдеж. Женщины, забыв о холоде и дожде, без пальто и платков, кричали, размахивали руками.

— Что случилось? — спросил Серрайе пробегавшую мимо соседку. — Опять, что ли, потасовка?

Из ее ответа, бестолкового, пересыпанного слезами и ссылками на Пресвятую Деву, он понял лишь, что Элю, младший сын папаша Мишо, зачем-то полез на карниз, убил, а родителей нету дома. Она бежит за врачом, но, видимо, уже бесполезно — ребенок мертв.

Тогда Серрайе перехватил косоглазого мальчугана в ржавых очочках. Это был рыжий Жако, сирота, живший из милости то у одних, то у других.

Пошмыгивая носиком, Жако обстоятельно рассказал, что Элю во дворе всегда был заводилой, несмотря на свой малый возраст. Вчера он, например, бесстрашно отнял у пса господина Эврава великолепную кость и дал всем по

очереди обсосать. А сегодня они бегали на мансарду к девочке Элизе, дочери Клоша, которого убили под Бюзанвалем. Элиза очень больна, просит у матери супчику, сварить не из чего. А тут как раз голубок сел на карниз...

— Какой голубок? — нетерпеливо спросил Серрайе.

— Такой маленький, с серой шейкой, розовым брюшком... Как раз под вашим окошком, мсье Серрайе, за водосточной трубой...

— Где же он теперь, этот голубок? — Серрайе удрученно смотрел на опустевший карниз.

6

Соседки прибежали в ломбард и сообщили горестную весть. Матушка Мишо бросила все — тележку, матрас, очередь. Таща за руку Дени, прилетела домой, но бедняга Элю уже успел остыть. Не помня себя, матушка Мишо схватила мертвого ребенка и выбежала на улицу. За ней с плачем понеслись соседки и даже совсем незнакомые женщины.

Толпа увеличивалась, как ком лавины, пересекла мост и оказалась на площади Ратуши.

— Голод сгубил моего сына, голод! — иступленно кричала матушка Мишо. — Мальчик день и ночь просил есть. Он полез за хлебом и разбился!

Какой-то почтенный прохожий обратил внимание женщин на то, что в только что расклеенных афишах правительства как раз и говорится, что Парижу необходимо капитулировать по причине голода. В таких пещерных условиях жизни никакая демократия невозможна.

Прохожий был сам не рад, что заговорил, женщины отняли у него зонтик, сбили шляпу, наградили пинками.

— Пусть отберут продовольствие у богачей, пусть разделят всем поровну! — требовали женщины.

У крыльца ратуши революционные студенты спешно организовывали митинг, подливали масла в огонь, непрерывно скандируя:

— Пусть будет все общее! Пусть будет Ком-муна!

Долго вызывали мэра столицы. Наконец вышел его заместитель, Гюстав Шодэ. Он свирепо выпучивал глаза, как Синяя Борода на известной гравюре. Спорил с женщинами, убеждая, что уравниловка и насилие ни к чему хорошему не приведут. Студент Рауль Риго в переднем ряду ухмылялся:

— Еще один ренегат!

Толпа, однако, верила, что Шоде на ее стороне. Не так давно демократические газеты всюду расписывали трогательную историю, как Гюстав Шоде был последним другом и учеником престарелого Прудона. Как Прудон, умирая, именно Гюставу Шоде поручил воплощать в жизнь его социалистические идеи.

— Не имеете права! — заявлял Шоде в лицо разъяренным пролетаркам и вращал цыганскими белками. — Никакой Коммуны, это противоречит закону! Ну и что ж, что в девяносто третьем году...

Силы оставили матушку Мишо. Только теперь она почувствовала, как тяжел мертвый Элю. Она опустилась на кучу песка.

Наконец Шоде, плюнув, прекратил спор, ушел в Ратушу. Огромная, окованная бронзой дверь за ним притворилась. Люди вставали на носки, чтобы лучше видеть, наиболее благоразумные торопились уйти.

Послышалась резкая команда, распахнулись все окна Ратуши; в каждом из них стояли бретонские мобили, по двое, по трое, с ружьями наизготовку.

Женщины пробовали вступить в переговоры с бретонцами, но это были темные люди, неграмотные крестьяне, многие из них просто не знали французского языка, всё воображали, что служат королю, хотя последний, носивший этот титул, был изгнан из страны четверть века тому назад.

— Шли бы лучше бить пруссаков, чем здесь с бабами воевать! — кричали им митингующие, но они угрюмо молчали, прицеливаясь из окон.

Из боковых улиц, приближаясь, гремели барабаны. Подходила Национальная гвардия, неся красные флаги. Только у некоторых имелись с собой ружья, и то в знак мира они были повернуты прикладами вверх или у них в дуло были вставлены гвоздики.

— А скажите, кто этот седой старичок с гордой осанкой, которого национальные гвардейцы несут на руках?

— О, как же вы не знаете! Это же сам Огюст Бланки, вождь революции, главнейший из возмутителей. Он просидел в тюрьме двадцать лет!

— А вон тот, на лошади, такой бравый, в мундире без эполет?

— Это моряк Люллье, герой Бюзанваля, ныне самая популярная личность в Париже. Он хоть и знамя потерял

и разжалован, но зато дрался как лев, не чета трусливым генералам!

— Революция должна знать своих героев!

Гремела старинная песня:

Республика нас призывает
Погибнуть или победить.
Мы наши жизни ей вручаем,
Но без нее не станем жить!

Кто-то, смеясь, рассказывал, что в переулке за Ратушей стоит пролетка, а в ней великий трибун Феликс Пиа наготове — либо подъезжать, чтобы занять кресло министра Коммуны, либо бежать без оглядки.

— Не кощунствуй! — негодовали сторонники Пиа.

Было видно, как высоко поднятый над головами седой Огюст Бланки, взмахивая рукой, говорил речь, но слабого голоса старика не было слышно. Народ напряженно молчал, надеясь расслышать хоть словечко, а когда он кончил и устало опустил плечи, вся площадь замахала кепи и платками, скандируя:

— Ком-му-ну! Тре-бу-ем Ком-му-ну!

В тот же момент здание Ратуши, массивное, как огромный комод, окуталось дымом, дрогнула земля. Мимо матушки Мишо, склонившейся над ребенком, люди побежали, понеслись, спотыкаясь, падая навзничь. Залпы следовали один за другим. А она, не страшась пуль, щелкавших по булыжнику, все гладила и гладила холодные ручки своего мальчика.

Когда дым отнесло ветром, стал различим заслуженный генерал Клеман Тома. Он возвышался перед Ратушей, как некий конный монумент. Бульдожье лицо его было свирепое. Поднимая саблю, он подавал бретонским мобилиям команду «пли!».

— Убийца! — кричали ему. — Мало ты крови лил в сорок восьмом?

Воистину от пролитой крови родится еще большая кровь.

7

Утром Фаншетта проснулась в пустынной церкви на задней скамье. Служка, подметавший пол, ничего не спросил, отпер дверь и выпустил ее. Пошатавшись еще по kloкочущему, несмотря на ранний час, городу (голод и стужа

мучили отчаянно), решила все-таки возвратиться домой. Вероятно, мать одна или с кем-нибудь уже отвезла «материк» на Гору Милосердия, получила там деньги, дымится вареная картошка...

Девушка пробивалась сквозь возбужденные толпы, огибала шеренги солдат — город будто с ума сорвался. Через площадь Ратуши ей пройти, однако, не удалось, и она оказалась прижатой к фасаду универсального магазина «Базар» как раз в тот момент, когда генерал Клеман Тома скомандовал «огонь!». Раздались залпы, крики раненых, стоны раздавленных. Фаншетте было невдомек, что во всей этой дьявольской крутоверти есть и ее несчастная мать с погибшим братиком.

К заколоченным дверям «Базара» подбежала женщина; сбросив шинель и прислонив к стене винтовку, поплевала на ладони и пыталась отодрать доску. Фаншетта ее узнала, это была Натали Лемель из батальона ее отца.

— Как тебя зовут, девочка? — обратилась к ней Натали. — Фаншетта? Франсуаза, значит? Дочь старого Мишо? Отлично! Ну-ка, Франсуаза, берись за доску, одной мне не справиться.

Вдвоем они рванули так, что ржавые гвозди вылетели. Подскочил какой-то студент, взял винтовку Натали и прикладом разбил замки. Дверь входа распахнулась.

— Сюда! — закричала Натали Лемель бегущим. — Эй, мужчины, у кого есть ружья, уж не собираетесь ли вы их отнести женам вместо прялок? Сюда!

Множество народа кинулось по шикарнейшей лепной, зеркальной лестнице универсального магазина — одни прятаться, другие стрелять. Побежала и Фаншетта. Кто-то обронил ружье и не спешил поднять. Фаншетта подхватила — жалко такое добро!

На галерее пятого этажа, высадив рамы, женщины, студенты, национальные гвардейцы стреляли по окнам Ратуши. Фаншетта положила найденное ружье на подоконник, над ней склонилась Натали Лемель.

— Умеешь заряжать, целиться, — нет? Затвор оттяни, потом поверни — вот так, вложи патрон, отпусти затвор, целься! В прорези мушки должен быть виден человек.

Сквозь дым Фаншетта не видела ни одного человека, но все равно целилась, нажимала собачку, позабыв обо всем на свете! Ее маленькое сердечко с упоением отдавалось каждому залпу — вот это жизнь!



Когда все наконец кончилось и на покинутой площади настала мертвая тишина, Натали Лемель достала из кармана повязки с красным крестом.

— Теперь пойдем поищем, нет ли среди раненых кого из наших.

Она добросовестно осматривала каждого из лежащих на мостовой, некоторых даже переворачивала, надеясь услышать биение сердца, и становилась все мрачней.

— Этим нужны только могильщики.

Один национальный гвардеец, молодой, рослый, раскинул руки на камнях, будто лег отдохнуть.

— Неужели и этот убит? Совсем как живой! Может быть, у него еще есть пульс... Давай, Франсуаза, отнесем его в русский госпиталь, тут поблизости. Там есть врач, он делает чудеса!

Доктор Вырубов долго исследовал доставленного ими национального гвардейца, потом выпрямился и удрученно пожал плечами.

— Какое телосложение, какой модус!— воскликнул он, глядя на бездыханного юношу.— К черту ваши войны, ваши революции, когда такие экземпляры погибают! Ведь вы не в силах создать даже комара, почему же вы считаете себя вправе уничтожать такое нерукотворное чудо? А ведь он не комар какой-то, в нем целый божий мир померк безвозвратно! И всего только кусочек свинца!..

Натали Лемель хотела с ним заспорить, но лишь взглянула на него исподлобья диковатыми глазами и удалилась. Доктор со снисходительной улыбкой посмотрел ей вслед.

Проходя мимо раскрытой двери, Натали заглянула туда и воскликнула:

— А, русский! Это ты! Как твои дела? На поправку?..— И, обернувшись, указала Фаншетте: — Вот это тот самый, что выручил твоего отца при Бюзанвале.

Раненый сидел на кровати, обложенный подушками, правое плечо его было сплошь в бинтах. Он сосредоточенно ел левой рукой манную кашу, которую держал перед ним санитар в белом халате.

Да, да, это был он, именно такой, как на отцовской эпинальке,— тонкие усики, бледное, благородное лицо. У Фаншетты ноги приросли к полу; она понимала, что это бесцеремонно, и не в силах была отойти.

Глава четвертая

АББАТСТВО СВЯТОЙ УРСУЛЫ

1

Парк Монсо лежит в стороне от шумных перекрестков. Пустынные рощи его пропитаны сереньким светом зимнего дня. Он весь сквозной — до самой ограды, где в тишине дремлют виллы богачей Второй Империи.

Среди фасадов парка подъезд особняка барона де Мерифит удивлял простотой — сплошной серый камень, никакой лепки, никакой позолоты. Обыватели, прогуливаясь мимо, понижали голос: «Франция делается здесь!» А если при этом им удавалось видеть, как сама баронесса, кутаясь в меха, садится в тильбюри и лошади, перебирая тонкими ногами, катят ее к Булонскому лесу, они замирали от восхищения и даже зависти.

Однако если б смиренный разум их мог проникнуть сквозь гранит стен и бархат драпировок, он бы постиг, что вовсе не так уж счастлива здесь хрупкая хозяйка одного из первых домов Парижа.

Начать хотя бы с той далекой ночи, когда молодой супруг, овладев ею без лишних церемоний, тотчас отправился в биллиардную. А она плакала, снова и снова вспоминая, каким самонадеянным и крикливым был он за свадебным столом, как глупо торчали его уши и с каким вкусом он произносил в разговоре: «Нажива? Ха-ха, триста тысяч чистой прибыли!»

А ведь она, Леонтина, — урожденная Шериньяк де Ноайль, род их восходит к крестовым походам, среди ее предков были коннетабли и посланники, даже прелаты.

И ни за что бы она не пошла за этого местечкового Лазаря из эльзасского захолустья, пусть у него и баронский титул, купленный за шесть миллионов, если бы не грех ее старшей сестры, Розали. Бедняжка! Влюбилась в нечесаного якобинца, появился у них ребенок, без алтаря, без отцовского благословения... Якобинец, как и следовало ожидать, отстояв на баррикадах, угодил на каторгу. Розали не выдержала разлуки, угасла, оставив девочку, сироту. Но тень ее мезальянса лежала и на ее младшей сестре.

У барона была своя идеология. «Мои миллионы — это

цена моей крови»,— заявлял он. Или: «Нищие — лодыри, заставьте их делать деньги, они завтра станут богачами!» И сам он трудился до седьмого пота, просиживал сутки над биржевыми таблицами, секретарей и счетоводов загонял, как скаковых лошадей. Даже в спальню притаскивал арифмометр и принимался крутить, что-то прикидывая.

Но он же мог неделями не мыться, ходил с отвратительной сивой щетиной.

Леонтина наняла для него двух опытных камердинеров, парикмахер и портной были приглашены из Палермо. Лазарь беспрекословно подчинился. «Финансовому человеку это позарез»,— говорил он на своем косноязычном жаргоне.

Модный архитектор за безумные деньги составил проект дворца с обилием роскоши, мраморных завихрений и бронзовых финтифлюшек. Но Леонтина забрала проект и сама нарисовала эскиз в благородных пропорциях ампира.

Барон одобрял все. И не жалел денег на нововведения Леонтины. Но свет трудно переубедить. Днем деловой мир обедал у Мерифита, где сходились до трехсот персон, а сделки вершились не хуже, чем в галереях Биржи. А вечером какой-нибудь маркиз де Плек, только что вылезший из-за стола барона, изощрялся где-нибудь в гостиной у графини де Прюо.

— Слышали? У нашего эльзасца какой-то маклер или раввин явился к столу в сюртуке!

(А полагалось быть во фраке.)

Или:

— Как, разве вам не рассказывали? Наш Лазарь вчера на приеме у герцога Морни вздумал сидеть, заложив ногу за ногу!

(А истинно светский человек колено на колено не закидывает.)

Находились благожелатели, которые передавали все это Леонтине. Той казалось, что живое сердце ее пилит ржавой проволокой.

— Лазарь, ты не знаешь, как часто над тобою смеются! — не выдержав однажды, кинула она ему в лицо.

А он пожал плечами:

— Зато я знаю, как часто мне лижут пятки!

И посоветовал:

— Брось! Займись лучше чем-нибудь путным.

К ее огорчению, он не принимал ее всерьез. Считал до-

рогой и необходимой, как ореол его богатства, но совершенно никчемной безделушкой.

У них сложился свой «малый круг», не такой изысканный, как у каких-нибудь принцев или герцогинь, бывали все больше финансовые тузы, а из аристократии обедневшие родственники Леонтины. Правда, хаживали и министры, утверждалось даже, будто для того, чтобы возглавить кабинет, необходимо было пройти через бирюзовую гостиную Мерифитов.

Барон и тут расстраивал свою прелестную супругу: в кругу почтенных генералов и респектабельных дам вдруг принимался рассказывать, как, будучи совершенно необеспеченным дитятей, ловко воровал су из церковной кружки или как служил мойщиком посуды в третьеразрядном кабаке. Пока не разбогател — неизменно заканчивал он. А слушатели — генералы и дамы — просто замирали от благоговения. Блеск его миллионов завораживал всех.

После похода французской армии для завоевания Мексики, окончившегося, как известно, неудачей и расстрелом Максимилиана, французского ставленника, в их бирюзовой гостиной появилось много молодых офицеров, жаждавших поддержки, чтобы отправиться куда-нибудь снова — в Индокитай или на Мадагаскар. Среди них был и дальний родственник Леонтины, виконт Ксавье де Ноайль. Леонтина смутно помнила кузена мальчиком в бархатных штанишках, и вдруг перед ней оказался ловкий гвардеец, с глазами бессовестно красивыми, самоуверенный, умеющий обратить на себя внимание светских женщин. Леонтина даже пожелала, чтобы барон хоть приревновал бы ее к этому красавцу, но Лазарь был ревнив только к своим биржевым делам. Леонтина приняла самое горячее участие в юном родственнике, старалась устроить его судьбу.

Но виконт не просил о кредите на билет в далекий Сайгон или о протекции при дворе. Внезапно он посватался к племяннице Леонтины, дочери покойной Розали, которой как раз исполнилось шестнадцать лет.

Агнеса, белокурая послушная девочка, воспитывалась в доме барона. Леонтине она служила куклой, отвлечением от светских забот. Барон же, казалось, совсем ее не замечал.

Первоначально Леонтина, при вести о сватовстве кузена, почувствовала будто укол в самое сердце. Некоторое

время она металась между зеркалами, пытаясь определить — прошла ли уже молодость или еще не прошла. Но, успокоившись, склонилась к вечной истине, что сватанье есть дело бессмертных, и сама сделалась горячей сторонницей этого брака.

Напротив, Мерифит, узнав об этом, заупрямился:

— Смотрите! Козел подбирается к моей капусте! Детей у нас, сударыня, нет и, что теперь говорить, не предвидится. Не тащить же в наследники какого-нибудь мужлана из Эльзаса! Я сам подберу Агнесе жениха, а ваш титулованный фертик (у Леонтины спина похолодела от оскорбления) пусть попробует добыть себе состояние на поле боя или, черт возьми, на бирже, нечего паркет протирать в гостиных!

От него сильнее, чем обычно, припахивало острым эльзасским сыром, а взгляд его, рыжий, кошачий, догадливый, так и сверлил. Леонтина поняла — он ревнует! Но это открытие не принесло ей облегчения. Отпустив прислугу, она сидела, не зажигая огня, бессильно уронив руки.

Вскоре явился иезуит, некто брат Захария. Давным-давно он оказал какие-то услуги Лазарю, когда тот еще прозябал в неизвестности, чуть ли не подарил пару заплатанных панталон. Юная Агнеса отправилась к нему для завершения образования в закрытый пансион при монастыре святой Урсулы.

Разразилась война. Пруссаки подошли к Парижу, свет бежал.

2

Экипажи, как привидения, выкатывали из мглы. Съезжались гости «малого круга» — сегодня все знакомые Лазаря, из окружения Леонтины никого.

В поместительном дормезе подъехал господин Ферфильдер, член правления по крайней мере пяти или шести банков, личность тучная и немногословная. В старомодной карете — маркиз де Плек, управляющий Французским банком, известный салонный красноречивый. В наемном фиакре — бригадный генерал Леконт.

Лазарю льстило, что среди его друзей числится вояка, грудь которого увешана крестами, как церковный иконостас.

Гости прибывали. На визитной карточке каждого вме-

сто имени и фамилии можно было бы просто начертать: «Двадцать пять миллионов», «Тридцать три миллиона» или что-нибудь в этом роде.

Смеркалось, но люстры не зажигали, вели у камина неторопливую беседу. У стеклянной двери террасы Леонтина направляла разговор и одновременно наблюдала за приходом гостей. Кто-то еще подъехал — щегольской кеб в английском стиле. О, это всего только Цезарь Нурисье, чиновник министерства финансов; несмотря на импозантное имя, бесцветнейший человек. Лазарь приблизил его, заявив: «Демократия!» Это слово он умел произносить столь же вкусно, как и слово «нажива». Нурисье, видимо, шел пешком, а только где-то поблизости взял кеб, чтобы шикарно подкатить, — лацканы его аккуратного сюртука отсырели.

Генерал Леконт жаловался флегматичному Ферфильдеру:

— Нижние чины вышли из повиновения. Я, ходивший на русских в Крыму в полный рост, теперь опасаясь в строй надевать парадную треуголку. Действует на них, как на быка бандерилья.

Банкир сочувствовал, пыхтя и вздыхая.

— Хотите сенсацию? — спросил маркиз де Плек, который из глубины кресла казался старой, мудрой обезьянкой, изучающей всех насмешливыми глазами. — Третьего дня Комитет бдительности округа Батиньоль постановил: реквизировать обувную фабрику, хозяину выплатить лишь небольшое вознаграждение. Кто спрашивал, где социализм? Вот он!

Гости заговорили, перебивая друг друга. Это дурацкое правительство национальной обороны, играя в республику, лишь распустило чернь!

Леонтина тревожно переходила от одной группы беседующих к другой. Где принятый в гостиных ровный тон, чинная неторопливость? Все чуть не плачут, забыв об этикете. Что поделать — война!

Еще один гость пришел пешком — не слышно было стука колес, и потому он вступил, как незаметная тень, шурша сутаной, — духовный наставник барона, брат Захария. Леонтина инстинктивно побаивалась этого воспитателя племянницы — тревожил его пристальный взгляд из-за роговых очков.

Генерал Леконт, поигрывая стеклом, заверял присутствующих:

— Теперь, господа, все пойдет по-другому. Армия берет власть в свои руки. Клеман Тома припугнул горлопанов у Ратуши, а генерал Винуа бунтовщиков загнал в подполье, клубы запретил. Газеты, в том числе знаменитую «Борьбу» Феликса Пиа, самый подстрекательский листок, закрыл. Капитуляция будет объявлена не сегодня завтра.

— Бумаги подскочили на пять пунктов,— сообщил барон де Мерифит, мешая щипцами головешки в камине.

— О-го! — изумился Ферфильдер и сделал движение, будто хотел тотчас же мчаться скупать акции.

Демократ, господин Нурисье, просыхавший в розовом свете камина, недоуменно спросил:

— Зачем же тогда эти пять месяцев обороны? Не лучше ли было капитулировать сразу?

И по наступившему молчанию понял, что сказал что-то не то. Хотел поправиться и воскликнул с особой бодростью:

— Теперь и пленные вернутся, вот хорошо!

Все сделали вид, что не слышат его слов и вообще стараются не замечать этого канцелярского стрючка. Пора бы знать, что среди пленных не кто иной, как кузен хозяйки, виконт де Ноайль. А известно, что барон его терпеть не может...

Леонтина, покинув гостей, отошла в угол, где поблескивала позолотой концертная арфа. Взяла аккорд, струны дрогнули, словно пролился небесный ручей.

При звуках арфы гости затрепетали, повернулись к хозяйке... Поэт Шардо де ла Тур поднял с козетки брошенный томик Альфреда де Мюссе, раскрыл наугад. Когда затихли аккорды арфы, послышался его негромкий голос:

Когда в тоске немых страданий,
Нет упований
И жизнь пуста,
Целение — душе печальной
Звук музыкальный
И красота!

Тут барон де Мерифит заметил брата Захарию, присевшего в уголке:

— Вы уже здесь, монсеньер? А мы ждем только вас...

Поднялся, не дослушав стихотворения, распахнул двери в столовую:

— Прошу, господа!

— Капитуляция,— сказал маркиз де Плек, повязывая салфетку,— вероятно, дело решенное; но это не такое простое дело, как кажется на первый взгляд. На днях наш министр иностранных дел, господин Фавр, побывал инкогнито у графа Бисмарка, германского канцлера...

Заинтересованные гости перестали стучать ножами. Леонтина подумала: вот маркиз, сразу видно светского человека, умеет сделать себя центром беседы.

— И что вы скажете?— продолжал маркиз.— Канцлер, этот суровый победитель, отказался оккупировать Париж и разоружать нашу Национальную гвардию. Делайте, мол, это сами!

Среди гостей прошел шорох изумления:

— Боже! Они не меньше нас боятся пролетариев, этих бестий!

— Ужас, ужас!..

— Устои общества рушатся,— проповедовал маркиз,— плебеи, варвары, вместо того чтобы трудиться, бегают с оружием и горланят на сходках, а безвольное правительство еще платит им пособие на жизнь!

Как-никак, а беседа завязывалась. Леонтина, ободрившись, окинула взглядом жующих гостей, и вдруг сердце ее остановилось. С краю стола усаживались только что вошедшие — седоватый старик в поношенном сюртуке национального гвардейца и какая-то девочка-подросток, так и стреляющая озорными глазами.

Силы небесные! Это муж покойной сестры, каторжник Ришардь! Он и раньше пытался проникнуть, правда до сих пор с черного хода, а сегодня уселся прямо среди гостей. Не иначе как лакей Жером его пустил, негодяй явно сочувствует бунтовщикам! Еще и сопливаю девчонку привел, пролетарку, она и вести себя не умеет — сидит раскорякой! Хотя не без претензии на кокетство.

Между тем маркиз все более увлеклся:

— Социалистам не хватает лишь своего Христа, чтобы учредить новую веру и все поставить вверх дном. А уже предсказывают имена. Одни утверждают, что это некий Маркс в Лондоне, другие — что русский Бакунин, третьи называют нашего Бланки, хотя, по-моему, милостивые государи, Бланки слишком француз, чтобы стать неистовым и беспощадным, каким должен быть мировой вождь.

Все сидели притихшие. Только Ришардье, зять хозяйки, ёрзал на месте, его так и подмывало вскочить и заспорить, но удерживал умоляющий взгляд Леонтины.

— Какие глубокие слова! — восхищался простодушный господин Нурисье, записывая в книжечку. — Но мне кажется, про Христа это вы зря. Ведь есть же у нас мать наша, воинствующая церковь...

— Церковь! — желчно усмехнулся маркиз, придвигая блюдо с фазаном. — Она была воинствующей во времена рыцарства и инквизиции. Ныне же она только и учит любви да смирению, разоружает, так сказать, в то время как социализм, ее антипод, только и делает, что вооружается, готовясь все сокрушить!

Ферфильдер утробно вздохнул, как кит, выброшенный на сушу. Под возмущенным Ришардье стул отчаянно скрипел.

Маркиз же заметил в углу лиловую сутану и скромный бантик священнослужителя:

— Признайтесь, монсеньер, разве это не так?

— Во многом вы правы, — неохотно ответил брат Захария. — Но, уча смирению, церковь воспитывает уважение к собственности и порядку. Это тем более уместно сегодня, когда разбойничья республика старается переманить наших агнцев и сделать из них чудищ...

И тут уж Ришардье не вытерпел, вскочил:

— Что это я здесь сажу? Сажу и покорно слушаю контрреволюционные бредни? Болтать можете что угодно, но клеветать на республику не дам!

Леонтина зажмурила глаза. Ну, началось!..

— Любезный Теофиль! — обратилась она к старику. — Каждый имеет право выразить свое мнение... Да, господа, я забыла вам представить, это муж моей незабвенной Розали... И с ним очаровательная спутница, э... э... простите, мадемуазель...

— Нет! — горячился Ришардье. — Пусть не лгут на нас вампиры, людоеды! Да, мы разрушим любезный вам мир наживы и лицемерия, но мы воздвигнем новый, прекрасный, великолепный мир, который будет как... как (должно быть, сам Ришардье не очень четко представлял, каким будет этот новый мир)... как хрустальный дворец.

— Вот это красноречие! — захохотал барон де Мери-фит. — Пять против одного, он обставит нашего маркиза!

— Хватит! — Ришардье хлопнул ладонью по столу так, что посуда подскочила, а господин Ферфильдер выпу-

чил глаза. — Это вам не скачки, не лотерея! Я теперь понимаю, почему вы не отдаете мне мою дочь. Вы хотите сделать из нее христианскую овечку, как распинался здесь этот прохвост в рясе... Странно, его лицо мне знакомо, где же я его встречал? Не на каторге ли?

Маркиз де Плек сморщился, как печеный каштан, и затрясся в беззвучном смехе. Леонтина, опустив глаза, старалась не упасть в обморок. Барон же предпринимал усилия, чтобы созвать слуг и напустить их на буйного родственника. А тот нападал все энергичнее:

— Вы скрывали от меня местопребывание дочери, но я его обнаружил. Вот эта девочка... Свидетельствуй же, Фаншетта, ты обещала! Эта девочка носила ей букет от какого-то офицера и запомнила ее имя и фамилию, не так ли? Агнеса Ришардьё находится в пансионе монастыря урсулинок, это факт! Я пришел было, чтобы мирно просить вернуть мне дочь, но вижу, что миром с вами не поладишь! Я обращаюсь в суд, а если суд не поможет — в Комитет бдительности, в Национальную гвардию, к народу, наконец! Мы вырвем девочку из ваших лап, пауки!

С вилкой в руках, взъерошенный, словно победитель в бою петухов, он возвышался над столом. Слуги, призванные бароном, осторожно к нему подступали, но он не стал доводить до рукопашной, нахлобучил кепи и, взяв за руку Фаншетту, ушел.

4

Некоторое время молчали. Хозяйка удалилась, гости понимали, что пора бы и им... Но покидать такой ужин!

— А девочка была ничего, — Шардо де ла Тур шелкнул пальцами. — Какие волосы! На бульваре Клиши любая красотка много бы дала, чтоб иметь такую гриву!

Это внесло оживление, посмеялись. Барон приказал подать шампанского, хлопнули пробки.

— Вот вам плоды вольнодумства, — сказал брат Захария. — Всякие псевдопророчества будоражат мозги. И напрасно, мсье маркиз, вы спешите отречься от церкви и поете ей отходную. Заверяю вас, именно она спасет этот привычный и милый нам мир.

Брат Захария обвел рукой стол, где среди яств, как вертушки колоколен, возвышались золотые горлышки шампанского.

— Уже почти две тысячи лет она спасает, —

рассмеялся маркиз.— И результат, как говорится, налицо!

— Не смейтесь, мсье,— нахмурился брат Захария.— Положение гораздо хуже, чем мы себе представляем. С позволения мсье барона (Мерифит согласно закивал головой) я прочту перехваченную голубиную почту, которая послана интернационалисту в Париже.

Леонтина, вернувшись, с припудренными щеками, благодарно взглянула на Захария: этот поминальный червь, оказывается, тоже владеет искусством светской беседы. Дай бог, чтобы все обошлось.

— «Дорогой гражданин...— читал брат Захария, вооружившись лупой.— Воздушный шар донес до меня твоих голубей и письмо Марксу. Письмо отослано в Лондон, но почта ходит плохо, ответа пока нет. Ты, вероятно, знаешь, мы пытались провозгласить Коммуну в Лионе, но неудачно. Старика Бакунина от огорчения хватил удар, его выхаживает возлюбленный им Нечаев, который на одном из аэростатов перелетел сюда из Парижа. Мы, однако, не унываем, лионская неудача была хорошей школой. Теперь мы сговариваемся с кем можем, с бланкистами, якобинцами, даже с буржуазными радикалами. Не позже февраля мы выступим одновременно в Лионе, Марселе, Сент-Этьене, Ле Крезе и везде, где только возможно...»

Брат Захария снял очки и опустил бумажку. Лицо его выражало крайнюю озабоченность.

— Это, как видите, не салонное вольтерьянство, рассчитанное на слабонервных слушательниц. Это весьма конкретный план действий. Что можете этому противопоставить вы, мсье маркиз?

— Ах, милейший, почему именно я? Я же простой финансист! Вот, может быть, генерал Леконт?

Но тот молчал, похлопывая стеком себя по ладони.

— Ну, тогда я скажу.— Брат Захария надел очки и расправил рукава сутаны.— Напрасно тут хвалились расстрелом у Ратуши, закрытием газет, капитуляцией. Эти, мягко сказать, легкомысленные меры только привели к страшному озлоблению, и теперь действительно все висит на волоске.

— На волоске! — охнул господин Ферфильдер.

А барон де Мерифит вскричал:

— Черт знает что, простите, святой отец! У нас же деньги, у нас армия, флот, а вы говорите — на волоске!

— Но вы же играете в шахматы и знаете, что бывают положения, когда пешки сильнее даже ферзя!

— А вот господину Фавру канцлер Бисмарк,— возразил маркиз де Плек,— дал совет: «Чтобы разгромить мятеж, спровоцируйте его сами». Нельзя не согласиться, что Бисмарк проявил очень практический ум.

— Да, да... Хорошо им было вдвоем с господином Фавром проявлять умы за стеной прусских штыков! Попробовали бы они перенести свои упражнения к нам в Ратушу, на которую нацелены триста пушек Национальной гвардии. Впрочем, при некоторых обстоятельствах и совет графа Бисмарка мог бы быть пущен в ход. Но...

Все с надеждой смотрели на выпуклый лоб брата Захарии. А он поправил очки и говорил, как бы рассуждая сам с собой:

— Но расстановка сил такова, что если спровоцировать восстание, то еще неизвестно, за кем останется победа. Наоборот, сейчас необходимо всеми мерами избегать столкновения! Идти на всевозможные уступки, может быть, даже разрешить создание Коммуны. Да-да, именно так, господа, не следует пугаться этого слова. И потихоньку, полегоньку вновь подбирать вожжи, которые выпали из рук в момент падения империи... А в дальнейшем,— вдохновлялся он,— проникать в ряды классовых врагов, разлагать их изнутри, развращать деньгами их вождей, ослеплять демагогией их адептов... Короче говоря, поставить само слово «социализм» на службу нам!

— Bravo! Bravo!— барон восторженно хлопал в ладоши.

Демократ Нурисье хотел записать и эти великие слова, но брат Захария взглянул на него так, что тот поспешил убрать свою книжечку в задний карман.

— Но позвольте, святой отец,— возразил маркиз.— Вам, как я понимаю, не нравятся ни генералы, ни министры... Тогда есть ли, по вашему мнению, лицо, которое при столь стесненных обстоятельствах решилось бы взять на себя всю ответственность целиком?

— Есть.

— Кто же это?

— Адольф Тьер.

Все оцепенели, словно пораженные ударом. Тьер? Этот профессор истории, этот малодаровитый писатель, щеславный министр? Лукавый старец этот уже дважды

правил Францией, но монархи, опасаясь его непомерного честолюбия, держали его в тени.

— Вы с ума сошли,— шипел маркиз, чуть не лишившись дара речи.— Он же убежденный ренегат. Достаточно вспомнить, что он и на баррикадах стоял, листовки печатал...

— Нет, нет, даже не в этом дело! — перебил его барон де Мерифит.— Он не капиталист, не рыночник, не нашего склада человек!

— Господа! — возвысил голос аббат, и сразу стало ясно, что он умел не только молиться или исповедовать, но и убеждать и командовать.— Господа! Не вы ли в этом самом зале минувшей осенью заявляли «чем хуже, тем лучше», ратовали за полный распад империи, уверяли, что она вас притесняет? Это не люди ли вашего склада устроили во всем дикий развал? А теперь вы все дружно требуете власти сильной руки?

Гости молчали. Что было отвечать? Жизнь есть диалектика.

Брат Захария даже языком прищелкнул, как будто ставил конечную точку.

— Адольф Тьер и есть та самая сильная рука. Разве вы не согласны?

Все заговорили, оживляясь. О! Вот уж кто воплощение диалектики, так это как раз Тьер!

— Значит, Тьер.— Генерал Леконт поиграл стеклом и встал с кресла.

Начали прощаться, расходиться. Барон де Мерифит тер себе уши, возбужденно хохотал:

— Никакой паники! Пока деньги у нас, всем владеем мы!

Господин же Ферфильдер, пыхтя от умиления, целовал руку брата Захарии.

— Ангел наш! Мы отблагодарим...

— Благодарите Орден Иисуса. Я же сам и все, что на мне и со мной, есть лишь инвентарь высокого служения ему. Господа! — возвысил он голос, благословляя уходящих.— Пусть каждый будет тверд на своем посту. Особенно тревожусь я за военных. Некоторые уже готовы служить черни... Что скажете вы, мсье Леконт?

— Я служака,— сухо ответил генерал.— Повиновение — мой долг. Но черни повиноваться не буду, даже под угрозой штыков или расстрела.

Леонтина просила брата Захария задержаться. Она

вдруг прониклась к нему безграничным доверием. С виду будничный, а такой искусный, такой твердый человек!

— Бога ради, ваше преподобие, как же нам теперь быть с Агнесой? Вы же слышали? Он ее требует. Ах, какой скандал, на весь Париж!

— Ваши, мадам, родственнички,— саркастически заметил барон,— не мои эльзасские мужики!

— Может быть, ее куда-нибудь спрятать, увезти?

— Речь идет о наследнице состояния! — подчеркнул барон.

Лоб брата Захарии сделался будто еще выпуклее от размышлений. Отвечая каким-то своим внутренним мыслям, он вздохнул, покачал головой. Затем поднял глаза на супругов:

— Дети мои, выхода нет. Придется Агнесу возвратить отцу.

5

— Итак, Фидюс, сознаете ли вы, что сведения, принесенные вами, бросают тень на весьма видных людей ордена?

— Достовернее, чем само, хе-хе, писание, прошу меня простить... Сушая правда!

— Смотрите, Фидюс, все будет проверено и если что...

— Ах, ваше преподобие!

— Ну хорошо, хорошо. Мир вам!

Фидюс, однако, раскланивался, вертел тросточкой, но не уходил.

— Ну что еще? — поморщился брат Захария. — Чего вам?

Ясно — он хочет просить денег. А ведь лишь на днях получил немалую мзду.

— Офицеры собираются на одной квартире... — Тросточка Фидюса так и танцевала. — Такой винт, такая пулька!

— У кого же именно собираются? — спросил брат Захария, хотя решил сразу — в деньгах отказать.

— У Люлье, разжалованного морского офицера, который под Бюзанвалем...

О, это другое дело! Брат Захария пристально взглянул на Фидюса, тот изобразил преданность. Зашелестели кредитки.

— Будет наиподробнейшая информация! — осклабился Фидюс, приподнял котелок и исчез.

Брат Захария заходил по комнате, хмурясь. Настроение ухудшилось. Каждый так и стремится урвать себе кусок. Одной нужна табачная лавочка, другому картеж, третьему спекуляция. Даже высокочтимый шеф, сам господин Тьер, по мелочам он, правда, не разменивается, но властолюбив.

Увы, не встречал брат Захария лиц, которые не за страх, а за совесть исполняли бы заветы отцов ордена. Лишь единственное правило Секретной Заповеди исполняется неукоснительно: «Ради достижения избранной цели любые средства хороши». Но и это золотое правило нужно им для личного обогащения и успеха. Один он, брат Захария, тщится служить идеалам рыцарства Иисуса, как начертал это святой основатель ордена.

Тут брат Захария спохватился: такие мысли — они-то и есть от лукавого! Ибо сказано: хвастовство смирением хуже гордыни. Брат Захарий преклонил колена перед распятием.

С раннего сиротства скитался он по иезуитским коллегиям. Проходили трудные годы дрессировки, когда он, послушник-новичий, обязан был уподоблять себя трупу, лишаясь собственной воли. Исполнял труднейшие миссии в Италии, в снежной России. И наконец выдвинулся, был возведен в высший ранг, стал именоваться «Професс Особого Повиновения». Ему открыты тайные пружины ордена, на него ложится частица непогрешимости самого папы.

В дверь постучали. Служка доложил, что вызванный его ждет. Брат Захария облачился в сутану и перешел через улицу в монастырь, где в сводчатой келье был его пастырский кабинет.

В келье стоял на коленях некто, с носом безобразно длинным, до самого подбородка. Его лицо застыло в привычной готовности пресмыкаться.

— Обманывать? — Брат Захария выкрикнул так, что дикое эхо метнулось под сводом. — Орден обманывать? У, я тебя!..

Длинноносый отшатнулся, закрыв лицо руками. О, он знал: этого сумасшедшего надо опасаться! Слова брата Захарии падали, как удары топора:

— Я все знаю! Связь с пруссаками используется у вас не для политических, орденских целей, а для личной коры-

сти, для спекуляции! Сведения самые верные, ты не отвертись, Паделу!

Длинноносый забормотал, что он, мол, человек маленький, всего лишь смиренный новиций, а вот брат Филидор...

На кирпичной стене висела пожелтевшая таблица — выдержки из правил Секретной Заповеди. Брат Захария ткнул пальцем в параграф 17: «Никто из низших не может оправдываться волей высшего», и в параграф 63: «Каждый с радостью претерпит за вину брата старшего своего».

Был, однако, вызван и брат Филидор, сопящий толстяк, со следами поспешно согнанной улыбки на сангвиническом лице. Для него брат Захария несколько смягчил свой гнев, но брат Филидор только взглянул на шефа, тотчас бухнулся на колени и зашептал:

— Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его...

Брат Захария сел за стол, постукивая карандашиком. Ну, допустим, этот носатый Паделу — ярко выраженный кретин, даже молить о пощаде не может, талдычит что-то: «Бу, бу, бу...» Но ведь брат Филидор, по чину он коадьютор, как же он не понимает, что если в народе идут слухи о том, что монастырь лишь ширма для спекулянтов, что там по ночам оргии, то все это отнюдь не на пользу священному ордену? А орден (брат Захария привстал, вглядываясь в лица стоящих на коленях) — орден умеет карать ослушников!

Послышалось, будто в кабинете мелко чешется собака, — это задрожал Паделу.

Конечно, нужно бы еще прочесть нотацию аббатисе, но это бесполезно... Обращаешься к ней как следует, почтительно, а у нее личико блаженное, и чувствуется, что слова летят, как семена в бесплодный солончак.

— Подите прочь! — произнес он устало.

Брат Филидор и Паделу вскочили и поторопились убраться. В конце концов, ведь и брат Захария — не механизм. И ему бывает грустно и постыло, когда не все так складывается, как хотелось бы.

Он подергал звоночек, который вел в здание пансиона, отделявшееся от основного монастыря.

— Пригласите ко мне воспитанницу Агнесу.

Положив очки на стол, опустив веки, он растворялся в целительной тишине. Ухо улавливало девичьи шаги, ле-

тевшие из глубины коридоров. Нежность и умиление овладевали им, и неожиданно добрело его жесткое лицо.

6

Если предположить, что у иезуита может быть душа, то душа брата Захарии жила именно в пансионе. О, он любил выходить на балкончик своей пастырской кельи, наблюдать, как воспитанницы, в одинаковых черных платьях, в чепцах, накрахмаленных до хруста, чинно прогуливаются под присмотром суровой сестры. Все дрязги дня — Фидюс, с его сорочьими сплетнями, брат Филидор и аббатиса, с их кутежами, — все отлетало прочь, а в душе воцарялась гармония.

Вот перед ним одна из этих трепещущих душ, порученных его заботам. Тонкие руки сложены на передничке и сама бледна — мало все-таки солнца и воздуха в каменных стенах монастыря. Опустив ресницы, ждет, что повелит ей наставник.

Агнеса — его любимица, что скрывать! Он, этот стареющий, отлично вымуштрованный воин в рясе, ни с того ни с сего стал испытывать потребность заботиться, страдать, о ком-то печалиться.

«Всё прах, всё тлен!» — внушал он, бывало, девушкам. Каждая старательно слушала и каждая все же была готова, как только прозвонит звонок, запрыгать, как коза, забормотать какие-нибудь глупости... У одной Агнесы от усилий постигнуть истину в широко раскрытых глазах проступала голубая влага.

Объясняя урок, брат Захария всегда смотрел ей прямо в лицо, и оно, неуловимой сменой выражений, отвечало на каждое его слово, на каждую интонацию. Светлело от сострадания, когда речь шла о мучениях Христа, пылало от ненависти, когда говорилось о суде фарисеев. Даже вне пансиона, общаясь со своими нудными агентами, брат Захария вдруг ловил себя на том, что думает об Агнесе. И тогда его агент с удивлением замечал, что всегда внимательный и настороженный брат Захария говорит что-то невпопад.

И вот она сидит, вероятно гадая, зачем ее мог вызвать брат наставник. А брат наставник сейчас сам объявит, что нашелся ее отец, и завтра или послезавтра собственноручно выдаст ее этому дьявольскому якобинцу.

Но неужели вправду нельзя ее укрыть, утаить, не выдавать отцу, который, еще не известно, принесет ли дочери благо.

Вот на книжной полке красный, с обильной позолотой фолиант — мемуары графини де Ремюза. Нужно место заложено четками — частенько теперь брат Захария достает фолиант и перечитывает это место. В 1793 году, когда в Париже взяли верх самые оголтелые, аррасский демон, Робеспьер, повелел разорить парижские святыни. Толпа ворвалась в аббатство святой Урсулы на улице Доминик (да-да, вот в это самое аббатство!). Там как раз семья маркиза де Фейяк скрывалась от гильотины. Маркиза и его супругу тотчас же отправили на плаху, а их шестнадцатилетнюю дочь санкюлоты взяли с собой в поход. Из бочки на колесах она разливала им вино черпаком!..

А сколько еще примеров! Революция не щадит своих врагов, так же как, впрочем, враги бы ее не пощадили. Итак, в предвидении баррикад пусть Агнеса лучше будет дочерью инсургента, чем племянницей банкира. Пройдет гроза, все встанет на свои места, и брат Захария разыщет ее даже под землей. Можно быть спокойным, вера в ней крепка, уж брат Захария отвечает за это. С богом!..

— Сестра моя, знаешь ли ты, что у тебя, как и у всякой смертной, есть отец?

— Да, высокочтимый брат мой.

— Твой отец жив, он вернулся.

— Да, брат мой.

— Он хочет взять тебя к себе, чтобы ты покоила его старость.

— Я готова, брат мой.

Наш слуга Иисуса был несколько обескуражен таким быстрым согласием; он ожидал по крайней мере удивления и колебаний, если не слез. Неужели кто-нибудь успел ее подготовить?..

7

Свободное время Агнеса любила проводить в монастырской оранжерее. Здесь даже в самые зимние стужи распускались и увядали цветы. На примере оранжереи брат Захария иллюстрировал воспитанницам триумф божества. Не человек, не труженик, которому десятки лет понадобились бы, чтобы изваять хотя бы один подобный лепесток, — щедрый бог в одну ночь, по какой-то неиспове-

димой прихоти, может раскинуть этаким фантастический ковер!

Давно, еще до поступления в пансион, как-то вечером Агнесу забыли удалить из бирюзовой гостиной Мерифитов. Беспечальный поэт Люсьен Шардо де ла Тур рассказывал о средневековом языке цветов, которым пользовались еще королева Марго и знаменитая Мария-Антуанетта. Шарло де ла Тур потребовал цветов, слуги принесли корзины, и поэт пояснил гостям принципы этого куртуазного языка. Тут каждый цветок имеет свое значение. Например, белая роза — «вздых любви», чайная роза — «молчание», хризантема — «я вас не понимаю», и так далее. Но хризантема в сочетании с белой розой уже означают «однажды я поверил в вас...».

Раздались возгласы одобрения, кто-то вспомнил, что слышал об этом языке, даже учил его, но позабыл.

— Пойдите, господа! Давайте поупражняемся, — предложил виконт де Ноайль. — Я попробую первый, а вы, Люсьен, проверяйте и поправляйте меня. Итак, начинаем. Петуния указывает, что это не просто букет, а письмо...

Неотрываясь он смотрел на Агнесу, которая притаилась за тетиным креслом. Ни тени улыбки не было на его лице, когда он подбирал цветы и объяснял свой выбор:

— Пунцовая роза значит: «вы королева моего сердца». Желтые крокусы — «никому ничего не говорите». Гладиолус, помещенный в вершине букета, указывает, что назначено свидание, а количество распустившихся цветков на его стебле — в котором именно часу. Красный же мак, который я ставлю возле гладиолуса, должен пояснить, что свидание произойдет сегодня вечером...

— Это очень просто, очень просто! — восклицал Шардо де ла Тур. — Господа, вы все поняли?

— А вы хорошо поняли? — спрашивал виконт де Ноайль, обращаясь за кресло, где Агнеса еле сдерживала биение сердца. — Вы поняли, что говорят цветы?

Агнеса выскочила и убежала под общий смех.

Потом произошло это неудачное сватовство, отъезд в монастырь... Все было так неожиданно, непонятно.

В аббатстве постоянно вертелась черномазая девчонка, дочь мастера искусственных цветов. То она приносила готовые гирлянды для убранства церкви, то брала в оранжерею самые яркие цветки «для образца». Поскольку никакое вольное общение пансиона и «мира» не разрешалось,

то девчонка служила тайной почтой для воспитанниц. За конфетку или за пару сантимов она готова была снести записочку или купить что-нибудь в модных лавках. Брат Захария терпел ее как неизбежное зло.

Однажды девчонка, сверкая угольными глазами, подскочила к Агнесе.

— Твоя фамилия Ришардьё?

Вытащив из сумки сверток, девчонка размотала сырые тряпки и извлекла букет. На словах передала только одну фразу: «В церкви, возле правого угла гробницы святой Урсулы». Агнеса принялась разбирать букет... Так и есть! Янтарная петуния, пылающая роза, причудливые крокусы, гордый гладиолус — один, два, три, четыре, пять, шесть цветков, и мак, означающий, что свидание произойдет вечером.

Агнеса весь день была как в чаду, ее бросало то в жар, то в холод. Наконец набралась духа и решила обо всем рассказать брату Захарии, но того, как нарочно, не было. В шесть часов, вся разбитая от волнения, похудевшая и даже (как успела заметить в зеркале) подурневшая, Агнеса стояла возле гробницы святой Урсулы. Был праздник, молящиеся переполняли церковь.

Постепенно ее склоненный затылок стал ощущать странный озноб, сквозь хоралы и фуги ей послышался шепот — одно дыхание: «Выходите потихоньку из церкви, у порога ждут кони, кюре в Аржантейле готов немедленно обвенчать...»

Говоривший тронул ее за локоть. Она противилась, но чувствовала, что вот-вот уступит. Тот потянул ее сильнее. Молящиеся в тесноте стали ворчать, кашляли, оборачивались. Агнеса все медлила, пока бдительный брат Захария с амвона не обратил внимание на подозрительное оживление у гробницы и не направился к ней. Тому ничего не оставалось, как ретироваться.

С тех пор прошло еще много времени. Началась война, которую Агнеса восприняла как-то равнодушно, хотя в монастыре происходили большие споры. Бывая иногда в доме Мерифитов, она поняла из разговоров, что виконт де Ноайль, вероятно, в плену, и в вечерних молитвах стала поминать его имя.

Днем было не до раздумий — уроки, молебны, оранжерея. А по ночам ее мучали кошмары, смыкались враждебные сумерки, давил непонятный ужас. Кричать, плакать,

жаловаться? Кому? По правилам иезуитской педагогики заводить подруг им не разрешалось.

А несколько дней назад к ней снова явилась черномазая девчонка, дочь цветочника. С довоенной поры она повзрослела, нос сделался острее, глаза — бойчее.

— Ты не бойся, не бойся, тебя ведь Агнеса зовут, фамилия Ришардье?

Получив утвердительный ответ, девчонка похвасталась:

— Вот какая у меня память, я всех помню, кому букеты приносила. Да ты меня не бойся!

— Я не боюсь,—спокойно ответила Агнеса.

И девчонка рассказала, что нашелся отец ее, Агнесы, он был на каторге, теперь требует дочь у злодеев Мерифитов и, хотя те скрывают и отнекиваются, он отберет ее у них. На следующий день брат Захария и сообщил ей, что она покидает монастырь.

Прощаясь с аббатством, Агнеса не забыла обойти всех монахинь и наставниц, попросить прощения, если в чем-нибудь обидела, и те горевали, что такая кроткая девушка уходит в мир. Некоторые сочувственно спрашивали: а как же с наследством Мерифита? Но Агнеса не задумывалась об этом.

И вот, держа маленький саквояж, она вышла в привратническую монастыря. Там сидели желающие попасть на прием к аббатисе, жаждущие исцеления от мощей святой Урсулы. Агнеса искала в толпе и мысленно определила — вот этот. Самый нелепый, самый седой и морщинистый, весь какой-то серый, словно обсыпанный трухой...

И она угадала — именно он поднялся и пошел ей навстречу.

8

Доктор Вырубов не жалел ничего для своих раненых. Не зря добрая слава о русском госпитале шла по всему Парижу. Вырубов даже приглашал в палаты чтецов, артистов, музыкантов, сам читал лекции. Скука, говорил он, не способствует заживлению ран.

Но политика старательно изгонялась им из стен госпиталя, а для пылких французов это и было хуже всего. Их хлебом не корми, а дай потолковать о перемирии или

о предстоящих выборах в национальное собрание. Вырубив же газеты запрещал, агитаторов не пускал на порог.

Неретин пользовался расположением доктора именно потому, что был совершенно равнодушен к новостям из Ратуши и не участвовал в спорах, кто лучше — Феликс Пиа или Огюст Бланки. Впрочем, и к нему доктор относился несколько свысока, расспрашивая о жизни, усмеялся:

— И что вас повлекло в этот угорелый Париж? Сидели бы в своем Мценске, стали бы в конце концов уездным предводителем!

Неретин не обижался. Он старался не думать о том, что близится день, когда придется покинуть этот солнечный дом. Вместе с выздоровлением его все сильнее охватывала жажда действия, какая-то физическая радость бытия. Тем более что солнце все ярче блистало в февральском саду за окном.

Каждый день он считал удары маятника до момента, когда кабинетные часы прохрипят положенное время и поспышат стремительные шаги.

— Добрый день, мои больные, как спали?

В ответ раздастся восторженный хор голосов:

— О, добрый день, сестрица Мари!

Неретин, пожалуй, еще не встречал в жизни существа, начиненного таким зарядом энергии. Она была как птица в клетке, которая не может спокойно усидеть на жердочке, — взлетает то вверх, то вниз, то вбок, то опять вверх. Каждое ее движение, однако, было осмысленно, рассчитанно и вместе с тем грациозно. То она кипятила инструменты, то щипала корпию, то, нахмурив брови, писала письма под диктовку.

Лежа или полусидя, Неретин не сводил с нее глаз, старался запечатлеть в памяти, как на фотографической пластинке, навек унести в ту глухую пору, когда опять ее не станет рядом, а будет гнусный номер в отеле «Обюссон», табак до душья и горечи...

Мария же относилась к нему неизменно приветливо, исполняла его желания беспрекословно (а какие могли быть у Неретина особые желания!), но ничуть не выделяла его среди прочих. Неретин ждал — ведь должна же она когда-нибудь заговорить о том выстреле в кафе «Вавилон» или по крайней мере чем-то себя выдать? И ему было уже не любопытно, а страшно — вот скажет она какое-то жесткое слово и навсегда исчезнет очарованье...

Был в госпитале один неприятный для Неретина тип — Рауль Риго, тот самый студент, который в кафе «Вавилон» пытался тогда учредить следствие. Впрочем, сам Риго об этом не заговаривал, а Неретина попросту не замечал. Неретину все в нем претило: самоуверенная речь, высокомерное пенсне, всегда взъерошенная борода. Особенно раздражали дерзкие разговоры его с Марией. Боже, как Неретин напрягал слух, когда до него долетали обрывки их яростных речей!

— Ваши Бакунин, Нечаев — не что иное, как игра в кошки-мышки, мальчишество, милочка моя! Революция — это наука...

— Дорогой Риго, не хотите ли вы сказать, что ваш Бланки никогда не устраивал заговоров, не занимался террором?

— Да, но он — и мы вместе с ним — горькой ценой расплатились за эти игрушки. Вы вот смеетесь над тем, что я называю себя прокурором революции, а ведь это Бланки мне так предсказал. Кроме негасимой веры в победу, у него еще есть умение находить путь к сердцам людей, ковать революцию исподволь. Это вам не пиф-паф, ой-ой-ой!

— Что же, в таком случае, гражданин прокурор, вы не заседаете в курульном кресле Дворца правосудия, а ставите пиявки и вырезаете аппендициты?

— А что же вы, милочка моя, сидите здесь в тепле и уюте, а не находитесь где-нибудь в Трубецком бастионе или Виллюйском остроге, где уже сгнили сотни ваших товарищей?

Мария после таких разговоров ходила как в воду опущенная, а Неретин готов был зубами грызть ненавистного Риго.

Иногда Мария по два, по три дня вообще не разговаривала с Риго, и тот отыгрывался на Вырубове:

— Милочка моя доктор, настанет день, и я вас с удовольствием отправлю на гильотину.

Вырубов старательно мыл руки для предстоящей операции и отвечал невозмутимо:

— Вы ведь ребенок, вы взрослый, взбалмошный мальчишка! Все-то вы копируете Робеспьера, даже походкой, даже излишне тщательным костюмом. Вы бы могли стать блистательным адвокатом или железным хирургом. Категорически заявляю вам: сломаете свою жизнь, отни-

мете тысячи жизней у других — а что переменится? Ничего!

Риго ликовал:

— Вот вы и изменили своему принципу, заговорили о политике.

Обдав его снисходительным взглядом, доктор обещал:

— Я вызову вас на дуэль!

— А вот и не вызовете, куда вам! Вы же вегетарианец!

Марию и эти разговоры возбуждали, хотя она не принимала в них участия. Слышалось только, как звенели ланцеты, которые она роняла на пол.

И Неретин думал: бедная, затерянная в житейском море, гнусным Нечаевым соблазненная и покинутая! Дядюшка-сенатор в Петербурге уверял, бывало: нигилисты все из неудачников, чуть судьба им улыбнется, они расстаются, рады-радехоньки, со своими революционными выкрутасами. Из глубины души поднималась странная вера в то, что стоит лишь предложить ей безмятежность, золотую тишину мценского дома...

Однажды Риго не явился на службу в госпиталь. За стенами глухо проползали какие-то события. Из-за решетки сада виднелись бегущие люди, слышалась торопливая стрельба. Вечерние газеты сообщили о новой и вновь неудачной попытке бланкистов совершить переворот. Нескольких офицеров-заговорщиков было расстреляно, многие арестованы. Сообщалось также, что Рауль Риго либо убит, либо бежал.

Раненые приуныли. Они любили прямолинейного студента. Даже доктор Вырубов заперся у себя на антресолях и отменил на этот день все операции. Мария пришла на ночное дежурство с лицом бледным и напряженным.

Она уселась в комнате, где лежал Неретин: там был стол, за которым заполнялись истории болезни — «скорбные карты». Тьма стиснула желтый круг ночной лампочки. Неретин смотрел неотрывно на воздушные завитки волос склонившейся Марии. Кабинетные часы торопились, тикали, захлебываясь, а ночь тянулась медленно. Тихо билось сердце.

Внезапно Мария встала, обернулась к нему:

— Послушайте, Неретин, что вы не спите? Вы мне весь затылок взглядом просверлили. Вы думаете, это не чувствуется? Надо спать.

Неретин не отвечал, но и не отводил взгляда. И вдруг его осенило. Гневно поднятая бровь Марии, ее порывистая поза, резкий тембр голоса — боже, когда-то это уже было, давно-давно! Смутный силуэт расплывается в воспоминании, еще мгновение — уплотнится, станет осязаемым... Нет, пропадает!

Вот опять сгустился, на миг совместился с лицом Марии. Ну да, конечно, как же это Неретин раньше не догадался! Ведь это он — тот далекий, забытый и не забытый... Прежде чем Неретин успел все хорошенько обдумать, его губы произнесли:

— Вы сестра Иванищева, он мне рассказывал о вас...

Мария отступила в тень:

— Вы ошиблись... Я графиня Войницкая, мой паспорт... Он у доктора...

И вдруг шагнула вперед, тряхнув стриженной головой:

— Ах, не все ли теперь равно?

Прикрыла ладонью лампочку, поднесла ее к изголовью Неретина:

— Что вы смотрите так пристально, будто хотите вывернуть меня наизнанку? Это вас бы вывернуть нужно, милостивый государь! Вы должны знать: Гурий погиб, утонул в проруби, спасая товарища. Теперь уж, вероятно, нет и Риги. А вы, вы еще смеете жить!

Неретин приподнялся с подушки навстречу ее словам, хотел сказать: вот он я, и не шевельнусь, стреляйте, убивайте, ну берите мою жизнь, если она вам нужна!

Но она отстранилась, зыбкий свет лампочки превратил ее лицо в трагическую маску.

— Как сестра милосердия я обязана... Пусть! Но как человек не могу больше молчать! Не думайте, что я стреляла из личной мести, я должна это высказать, иначе мне самой не будет покоя. Не память о матушке и о брате, нет, бог вам судья. Но вы — враг, и я поклялась вас уничтожить, чтобы вы никого не предавали впредь.

Жестокий кашель помешал ей договорить. Потом наступила звенящая тишина. К Марии вернулось ее всегдашнее насмешливое спокойствие.

— Ну, так что же? Я раскрылась. Зовите полицию, пока не поздно, выдавайте...

— Нет! — в отчаянии повторял Неретин. — Нет, нет...

— Отчего же? — издевалась Мария. — Сегодня это вам так легко сделать, вы уже в силах ходить, а завтра

я могу исчезнуть... Теперь ведь перемирие, можно выехать из Парижа.

— Мария Васильевна! — Неретин весь подался с подушек, повязки его сбились. — Бросьте ваших нигилистов! Что вас ждет? Эшафот, бесчестие, тюрьмы... Честно предлагаю вам руку и сердце. Я выхлопочу чистый паспорт... Возвращение, родная луна...

Мария ударила его по губам. Поперхнулась, не смогла сразу говорить. Стиснула зубы от ненависти и презрения:

— Но вы же гад! Гад! Как же вы смеете, даже в помыслах?.. «Родная луна»!.. Ах, как это все мерзко! Ну почему, почему?..

— Потому, что я вас люблю! — выпалил Неретин и откинулся на постель.

Мария поставила лампочку на стол, долго прислушивалась к храпу из соседних палат, промолвила наконец:

— Ну знаете, это уже история во вкусе Дюма!

Засмеялась не обидно, а с какой-то грустью и ушла в коридор.

9

Однако шла весна, в распахнутые форточки ветер приносил запах воды и щебет птиц. Мария продолжала ходить в госпиталь, правда, к Неретину уже совсем не приближалась, посылала санитаров.

Однажды, под вечер, в вестибюле ходячие закричали:

— О, кто к нам пришел! Наш песенник, Потье! Любимец наш, старый По-По!

Дело в том, что раненые решили перехитрить Вырубова. Послали просьбу в секцию Интернационала, чтобы к ним пришел Эжен Потье. И против этого Вырубов не мог возразить — ведь Потье не агитатор, он артист! Сам сочиняет, сам поет, сам аккомпанирует себе на гитаре.

Старый По-По начинал концерт своей любимой песней, еще времен сорок восьмого года. Она называлась «Время вишен», и сочинил ее его друг, тоже рабочий поэт, Клеман:

Когда придут дни созревания вишен,
Засвищут дрозд и соловей в ветвях...

Затем пел Беранже, пел Дюпона, пел песни собственного сочинения — «Маленький нищий», «Забастовка», «Революция жива». Раненые возбуждались, шумели, хоть

сейчас веди к урнам голосовать против Тьера. А Потье, сияя детскими кроткими глазами, обходил палаты, шутил, гитара его без устали звенела.

Потье узнал Неретина, сел к нему на койку перевести дух. Неретин взял его гитару.

— А вы играете? — полюбопытствовал Потье.

— Нет-нет, у вас шесть струн, а у русских гитар семи-струнный строй. Да и пальцы еще слушаются плохо.

Но все стали просить его сыграть что-нибудь свое, русское. И тут Неретин встретил глаза Марии, стоявшей среди раненых, она отчужденно-холодно и с настороженным любопытством смотрела на него. Тогда волнение его охватило, и он вдруг решился.

Не пробуждай воспоминанья
Минувших дней,
Минувших дней! —

не пропел — проговорил он под тихое рокотанье гитары. —

Не возродить былых желаний
В душе моей,
В душе моей!

Там, далеко, за февральскими снегами, тихий Мценск, где галки уже по-весеннему кричат на древних колокольнях. Кто знает, вернемся ли еще туда, где неизбывная боль и неисполненное счастье? Может быть, действительно кончается жизнь, никчемная, промытаренная?

И на меня свой взор опасный
Не устремляй,
Не устремляй...

В коридоре полно народу, скрестил руки Вырубов, примолкли сестры, раненые — кто в повязках, кто в гипсе. Слышно, как пиликает сверчок на дальней кухне да изредка кто-нибудь вздохнет, до слез растроганный звуками непонятного языка и тихой печалью гитары.

Мечтой любви, мечтой прекрасной
Не увлекай,
Не увлекай!

Неретин старается вложить всю боль, все накопившееся за годы одиночества, он видит недоумение во взгляде Марии и думает со злорадством: знай, знай, ты,

воспитанная на Чернышевском и Добролюбове, знай, что злодей—это не только злодей, что подлец—не только подлец!

Мечтой любви, мечтой прекрасной
Не увлекай,
Не увлекай...

Если только у тебя в груди не деревяшка, пойми же меня, пойми! Помоги мне, ах ты печаль моя, моя судьба!..

Глава пятая НОЧЬ ПЕРЕД СВОБОДОЙ

1

Над лиловым куполом Пантеона колебался нагретый воздух. Ручьи искрились множеством водоворотов, и в каждом дробилось весеннее солнце.

Неретин с узелком брел по бульвару, шурясь от яркого света. Куда теперь? Врачи велели лежать еще. Значит, обратно в номер, в отель Обюссон? Помилуй бог, успеет, належится! Тогда, значит, на улицу Доминик, в аббатство урсулинок, где очкастый кюре Захар Кузьмич? Неретин потряс головой, как бы отгоняя наваждение.

Двухэтажный омнибус катил, клячи трусили рысцей, кучер отчаянно трезвонил. Прохожие расступались, давая дорогу. «Предместье Тампль»,— машинально прочел Неретин на борту омнибуса. В предместье Тампль площадь Кордери, там в здании Интернационала находится Варлен—так сказали в госпитале. Значит, туда? Неретин вспрыгнул на подножку.

С империала—скамьи на крыше омнибуса—хорошо разглядывать весеннюю сумятицу в городе. Вот выплыло здание Дворца Правосудия, там разбирают баррикады, снимают щиты с витражей. Война окончилась! Ребятишки шумно гонят по булыжнику жестянку из-под патронов. Женщины с кошелками толпятся у продовольственной лавки.

А вот из редакции разбежались мальчишки с выпуском свежих новостей: «Национальное собрание созвано в Бордо! Главой правительства избран Адольф Тьер! Профессор Тьер—глава правительства!»

Считалось, очевидно, что Тьер — это та политическая фигура, которая всех удовлетворит. Но омнибус негодовал, читая газеты: «Этот шибздик, королевский лакей, премьер-министром? Ну, граждане, теперь капитулянты сядут на шею!»

Здание на площади Кордери, с его кипящей толпой, с его зачехленными митральезами у входа и дерзко хлопающими на ветру красными флагами, чем-то напоминало фрегат, пустившийся наперерез океану. Увидев мундир капитана Национальной гвардии и перевязанную руку, часовые откозыряли Неретину и даже не спросили пароль. Во внутреннем дворе, в пристройке, Неретину указали площадку бельэтажа, где перед стеклянной дверью дремал старичок караульный.

В зале председательствовал ужасно бородатый и сугубо серьезный Варлен. Увидев Неретина за стеклом, он жестом пригласил его войти, представил депутатам:

— Граждане, это наш офицер, тяжело раненный при Бюзанвале.

Неретина приветствовали, подвинули ему свободный стул. Осмотревшись, он увидел знакомых. Чернобородый Журд, насупленный, как ворон, вертлявый еврейчик Франкель. На трибуне весь как англичанин Серрайе, с клетчатым платком вместо галстука. Сквозь обычную его сдержанность прорывается заметное торжество. Еще бы — перемирие принесло с собой обычную почту, а в первой же почте долгожданные разъяснения и указания из Лондона.

— Как и следовало ожидать, Генеральный совет Интернационала, одоблив в целом политику Федерального совета парижских секций, осудил нашу отчужденность от других групп революционеров.

— Вот те на! — воскликнули в зале. — Не Маркс ли непрестанно призывал отмежевываться да разделяться?

Серрайе, покраснев до кончиков ушей и теребя свой шейный платок, принялся доказывать, что это неправильно. Но понятый Маркс, что, напротив, он призывает к созданию единой, боевой революционной партии... А где она, партия? Секции расколоты...

— Что же все-таки советует Маркс? — перебил его нетерпеливый Франкель.

— Он говорит, что буржуазное псевдodemократическое правительство достаточно разоблачило себя позорной капитуляцией. Массы пришли к сознанию необходи-

мости Коммуны как власти революционной. Если Интернационал в Париже этого не учтет, он умрет как политическая сила. Значит, нужно одно...

Серрайе взглянул на стеклянную дверь, за которой был виден дремлющий караульный.

— Нужно брать власть.

— Власть! — зашумели в зале. — Хорошо им там, Марксам, за великобританскими бастионами рассуждать о власти и пописывать ученые труды! Ехал бы сюда сам...

«Все-таки разброд у них тут здесь...» — думал Неретин, рука у него мозжила, и он уж жалел, что забрел сюда. Нет, надо, пожалуй, в отель «Обюссон» и там в постель, в постель!

— Пусть выскажется наконец наше руководство! — требовал кто-то из задних рядов.

— «Руководство!» — воскликнул Франкель, глаза его по-мефистофельски блеснули. — Кто руководство-то у нас? Толен сбежал к Тьеру, хочет стать у него министром. Вот разве Варлен, как командир Национальной гвардии, но он предпочитает отмалчиваться...

— Говори, Варлен, — призывали в зале. — Говори хоть что-нибудь, не молчи!

Варлен пожал плечами, пригладил бороду. Поднялся во весь свой рыцарский рост и указал за окно, где ветер полоскал бунтовщические флаги.

— Теперь за нас будут говорить триста тысяч штыков Национальной гвардии. Это такой голос, который разве только глухой не услышит. Кто-то здесь меня упрекнул, что я с самой осени не выступал... Вот именно, с осени мы только и занимались тем, что ковали Национальную гвардию как вооруженную силу. Теперь мы кладем ее на весы революции...

— Национальная гвардия, — возразил Серрайе. — Но это не демократия...

— Но это власть! Дисциплинированные, снаряженные, обстрелянные пролетарские батальоны...

Опять Франкель вскочил, не дал договорить.

— Нельзя подменять Интернационал батальонами, хотя бы и пролетарскими! Там в офицерах всевозможные рантье, лавочники, какие-то адвокаты, журналисты... Может быть, даже полицейские шпионы. Ты что же, Варлен, хочешь растворить товарищество рабочих в мелкобуржуазном болоте?

«Какие у них звонкие фразы! — подумал Неретин, чуть

ли не морщась от боли.— Кто-то сказал, коммунисты, построив свой коммунизм, однажды убедятся, что получилась коммунальная квартира». Действительно, кричат, как кухарки на кухне! Интересно, а как такой мужественный человек, как Варлен? Надолго у него хватит противопоставлять себя Марксу?

И улыбнулся своей кривоватой улыбкой, видя, что Варлена хватило ненадолго. Тот стал уверять, что борется как раз за то самое единство, к которому призывает Маркс. Но единство не заключается в кулуарных сделках типа бланкисты плюс Интернационал или Интернационал плюс якобинцы. Единство и есть Национальная гвардия народа, выпестованная нами, только ее боятся капитулянты и спекулянты и их пресловутый шибздик Тьер...

Кто-то призывал относиться респектабельно к законно избранному главе исполнительной власти, то есть к мосье Тьеру... Кто-то, наоборот, требовал: «Долой! Долой! Долой!» — а чего долой! — трудно понять.

Варлен поднял продолговатую рабочую, галльскую ладонь, и депутаты стихли, внимая.

— Жаль, что в письмах, которые получил Серрайе, есть что угодно — и раннее христианство, и крестьянская война в Германии. Нет только того, что нас сегодня единственно заботит, — как нам быть с нашей Национальной гвардией, ведь война-то окончена, перемирие. Немножко зная нашего Мавра, я уверен, он бы высказался однозначно: не распускать рабочие батальоны, не отдавать генералам пушек, купленных за пролетарские деньги!

— И как же насчет власти? — язвительно вопрошал Франкель. — Что-то ты опять юлишь насчет захвата власти.

Варлен помолчал, перекладывая карандаши на сукне стола.

— А разве и так не понятно, что Национальная гвардия — это единственная реальная сила, способная взять власть?

Все повскакали с мест, жестикулируя, — одни в восторге, другие протестуя. «Экспансивные французы!» — подумал Неретин. Серрайе взял у Варлена колокольчик и звонил, пытаясь восстановить тишину.

Франкель на этот раз терпеливо выжидал, пока угомонятся страсти, затем перегнулся через весь стол к Варлену:

— Ты растерял всю классовую принципиальность, товарищ. Ты уже рассматриваешь Интернационал как некий

придаток к твоим батальонам. Вот и пример — да простит мне раненый гражданин офицер! — только что ты пригласил его присутствовать на нашем заседании, а он, вероятно, даже не член Интернационала? Где его партийный билет?

Внимательный Варлен заметил, что на лице Неретина разливается краска неловкости. Пользуясь правом председательствующего, он объявил перерыв. Все встали, закурили, но споры продолжались.

Варлен подошел к Неретину, пожал руку, спросил о здоровье. У него есть один разговор... Дело в том, что Варлен теперь очень и очень будет занят в Интернационале, да и в ЦК Национальной гвардии. Он передал бы Неретину командование батальоном...

— А Дюваль?

— Что ж Дюваль... Он хоть и штудировал разных там Вобанов и Клаузевицев, но... — Варлен улыбнулся с хитринкой, — ведь и я, например, изучал в кружке Адама Смита и Рикардо, а профессором политэкономии, как видишь, не стал... А нам предстоят серьезные дела! Итак, до встречи в штабе!

Когда заседание возобновилось, Франкель спросил:

— Уж не тот ли это русский, о котором предупреждала гражданка Мари?

Варлен подтвердил, что именно тот. Франкель громко засмеялся, как бы подчеркивая: вот видите!

— Друзья! — Глаза Варлена засияли особой убедительностью. — Я не верю обвинениям против Неретина, я видел его в бою. Он не щадил жизни за наше дело, хотя мог бы и не высовывать носа. Но даже если и так, если быть такими разборчивыми, с кем же строить социализм? Вы что думаете, на другой день после революции гражданами нового общества окажутся ряды белоснежных, как чистые таблицы? О нет, вы унаследуете воров, нищих, попрошаек, проституток, бродяг, шпионов, пьяниц, тунеядцев — миллионы несчастных, развращенных буржуазным порядком. Куда же их девать? Убить? Или в тюрьмы, чтобы овец отделить от козлищ? Да ведь, товарищи, социализм — не только надпись на знаменах, прежде всего это живая судьба каждого человека, его личное, его собственное счастье, в гармонии со счастьем всеобщим. Спасем для социализма каждого человека! Сами придем в социализм с распахнутыми сердцами! Подозрительность, замкнутость, скрытность, келейность, всеобщее недоверие —

это не социализм. Докажите мне обратное, и я первый заявлю — такой социализм мне не нужен!

И тут настала та особая тишина, когда все присутствующие, сколько бы их ни было, до предела напрягают умы и сердца, пытаясь постичь какую-нибудь одну — и самую единственную — истину.

— А все-таки... — сказал Огюст Серрайе, колокольчик, зажатый в его кулаке, тихо звякнул. — А все-таки что-то мы делаем не так!

2

Вечером Варлен и Журд заглянули в кафе «Вавилон» пропустить по кружечке. Там не было свободных мест; стоило кому-нибудь приподняться, как его стул утаскивали. Только что вечерние газеты сообщили из Бордо, что Национальное собрание намеревается отменить отсрочку квартирной платы, введенную на время войны.

Подвал гудел. Предприимчивый певец-шансонье с гитарой тут же придумал куплеты, взобрался на буфетную стойку.

Императоры дерутся,
А рабочим достаются
Только тумачи!
Вот теперь плати квартплату,
А у нас одни заплаты
И в ломбарде тюфяки!

И напевал, побрякивая струнами, с такой серьезностью, будто объявлял официальный декрет:

Принимая во внимание,
Что граждане не имеют денег,
Пусть домовладельцы обшарят свои карманы
И сами себе заплатят!

Оглушительный хохот был наградой певцу, в его шапку летели монеты. При виде Варлена и Журда, пробивающихся между столиками, кричали:

— Эй, интернационалисты, когда же наступит наша Коммуна?

Подскочил Ришардье, потянул Варлена за локоть:

— К нам, за наш столик! Мы уж найдем местечко...
И ты, гражданин Журд.

Там сидел папаша Мишо, «лев баррикад», с тщательно расчесанной желтой гривой, а рядом с ним очень юная

блондинка, тоненькая и аристократичная, совсем не в духе завсегдатаев кафе «Вавилон». Ее, видимо, оглушил гам и сумбур прославленного заведения.

— Как здоровье матушки Мишо? — спросил Варлен, усаживаясь. — Все горюет, бедная, о малыше? Пресвятая дева, вот несчастье! Не знаешь, чем и помочь.

— Э! — папаша Мишо безнадежно махнул рукой. — Теперь другого сына теряю.

— А что такое?

— Старший, Антуан, который на заводе работает... Как-то проглядел я его.

— Что ж он, безобразничает, что ли?

— Слава богу, ни-ни... Но от всех отделяется, всех высмеивает. Утверждает: дел от нас никаких не видно, одна революционерная, как он говорит, болтовня. Видишь, как выражается, разбойник? Извини, Варлен, но в критике парень не щадит и тебя...

Взмыленный гарсон принес в десяти пальцах восемь кружек пива. Варлен отпил, побарабанил по столу, задумался.

— Возможно, он и прав, он и прав...

Камарад Ришардье дергал его за рукав, привлекая внимание.

— Варлен, а у меня дочь нашлась. Помнишь, я тебе рассказывал? Вот она — Агнеса.

— Очень приятно, — рассеянно сказал Варлен.

Агнеса привстала и в тесноте пыталась сделать реверанс. Журд, доселе невозмутимый — смоляная борода придавала ему отшельнический вид, — оживился, толкнул Варлена.

— Сухарь! «Оч-чень приятно!» Да ты обрати внимание, она же красавица! Прямо ангел с картины Перуджино!

Агнеса окончательно смутилась, покраснелась, но выучка пансиона помогла ей овладеть собой и улыбнуться.

— Наш друг Журд, — кивнул Варлен, — заседает в Комитете бдительности вместе с художниками Курбе, Пилотелем, там он и нахватался премудростей об ангелах и Перуджино. Я, милая гражданка, признаю вашу красоту, но сам я, увы, не молод, обременен делами и потому стараюсь красавиц не замечать!

— Варлен! — вскричал Журд. — Впервые вижу, что ты кокетничаешь, и, знаешь, тебе это к лицу! Не верьте ему,

мадемуазель. Во-первых, он не женат, во-вторых, ему только тридцать два года, хоть он и апостол социализма!

— Но помилуй, у меня же половина волос седые!

Поднялся всеобщий смех, из-за соседнего столика кричали: «У тебя серебряные волосы, но золотая голова!» Другие предлагали женить Варлена. Шутки сыпались со всех сторон.

Варлен спросил Ришардьё, как и где он думает устроить дочь. Тот помаргивал, не зная, что и ответить. Сначала предполагал, что Агнеса будет жить с ним в отеле «Обюссон», но карга консьержка потребовала за нее плату вперед за два месяца. А газеты закрылись, заработка нет!

— Но мы не пойдем на поклон к Мерифитам, правда, дочь?

— Пусть поживет у нас,—предложил папаша Мишо.— Я квартплаты сам не собираюсь вносить и с других не потребую, ха-ха!

— А работать пусть пойдет на завод Эвра, — воодушевился Ришардьё.— Как у графа Мирабо, у которого один сын был токарем, другой жестянщиком. Знаешь, Варлен, ведь у нее сугубо аристократическое воспитание. Она даже, это самое... молится по утрам и вечерам!

— Каждому овощу своя грядка,—смеялся папаша Мишо.

Варлен поставил кружку и наморщил лоб.

— Вот и напрасно на завод, ей ведь это непривычно.

— Ничего! — храбрился Ришардьё.— Ненавижу полумеры... Пусть воспитывается как дочь пролетария, пусть растет, как росли все мы. Жаль только, что я день и ночь буду занят, мы ведь организуем новую газету, а ей, бедняжке, будет скучно...

— Варлен! — кричали из-за дальнего столика.— Правда ли, что съезд Национальной гвардии постановил Тьера не признавать?

— Не совсем так,—ответил Варлен, вставая, чтобы его слышали и видели все.— Съезд объявил Национальную гвардию федерацией, независимой от буржуазного правительства. Вспомните, так ведь было и в 1793, наши деды носили гордое имя «федератов». Мы постановили тьеровских генералов прогнать и сами избрали себе главнокомандующего, сами дали ему чин генерала. Это быв-

ший моряк, капитан-лейтенант Люллье, вы знаете, который отличился при Бюзанвале.

— А почему не ты, Варлен? — тихо спросил папаша Мишо.

— А потому что, как ты говоришь, каждому овощу своя грядка, — ответил тот и сел, предоставив публике на все лады обсуждать услышанное.

Какого-то пьяного с шумом выставляли из кафе. Часы на колокольне Сорбонны пробили десять. Варлен поднялся, пожал руку девушке, совсем притихшей и усталой. Сказал папаше Мишо:

— Думаю, что твой Антуан серьезный парень. Он прав: мы много заблуждались и путались, но тем проще теперь молодежь найдет себе правильный путь. Вот идея, — Варлен повернулся к Ришардье. — Ведь Антуан работает как раз на патронном заводе, не так ли? Поручи ему, пусть будет ей товарищем на первых порах.

Ришардье засомневался:

— Он такой серьезный, а она ведь совсем девочка. Станет ли он ею заниматься?

— Да еще как станет! — уверял папаша Мишо. Он был восхищен предложением Варлена. — Перед такой красочкой кто устоит? Как в пословице: «На косогоре как-то летом поймал в игре Колен Колетту. Увы, не радуйся, Колен, ты сам попал Коlette в плен».

Варлен и Журд выбрались из подвала в прохладу ночи. Кто-то приткнулся к фонарному столбу, взмущая тишину бормотанием. Варлен подобрал валяющееся на земле кепи, хотел на него нахлобучить и отшатнулся, воскликнув:

— Неретин!

Да, это был Неретин. Он быстро и жалобно говорил по-русски, будто в чем-то оправдывался, жаловался на что-то. Варлен и Журд повели его в отель «Обюссон», а он сопротивлялся, хватаясь за стволы деревьев.

Настроение пропало. Варлен сделался угрюм. Поддерживал Неретина, как заболевшего ребенка, молчал рядом с ним и Журд. Во тьме угадывалась его дремучая борода и хитрый прищур.

Они сдали Неретина консьержке, которая так и всплеснула руками и положила пока у себя на кушетке. Поднимаясь к себе на мансарду, они не могли видеть, конечно,

как в глубине швейцарской к поверженному в кресло Неретину приблизился некий господин в пальто на обезьяньем меху и больших роговых очках.

3

Похоронив Элю, младшего сына, матушка Мишо впадала в отчаяние. Она не ела, не пила, не молилась, сидела, часами уставившись в одну точку. Дени хныкал, просил хоть корочку; у папаши Мишо прохудились локти; Фаншетта стала приходить домой только ночевать. И матушка Мишо перемоглась, одолела свое горе.

Варлен устроил ее судомойкой в кооперативную столовую, оттуда ей удавалось приносить то потрошки, то подгнивший картофель, да и дети там питались. Варлен приказал также, чтобы семейству Мишо выдали несколько мешков из тех, что набивают песком для строительства баррикад. Из мешков получились тюфяки, а вместо одеял пошли старые шинели.

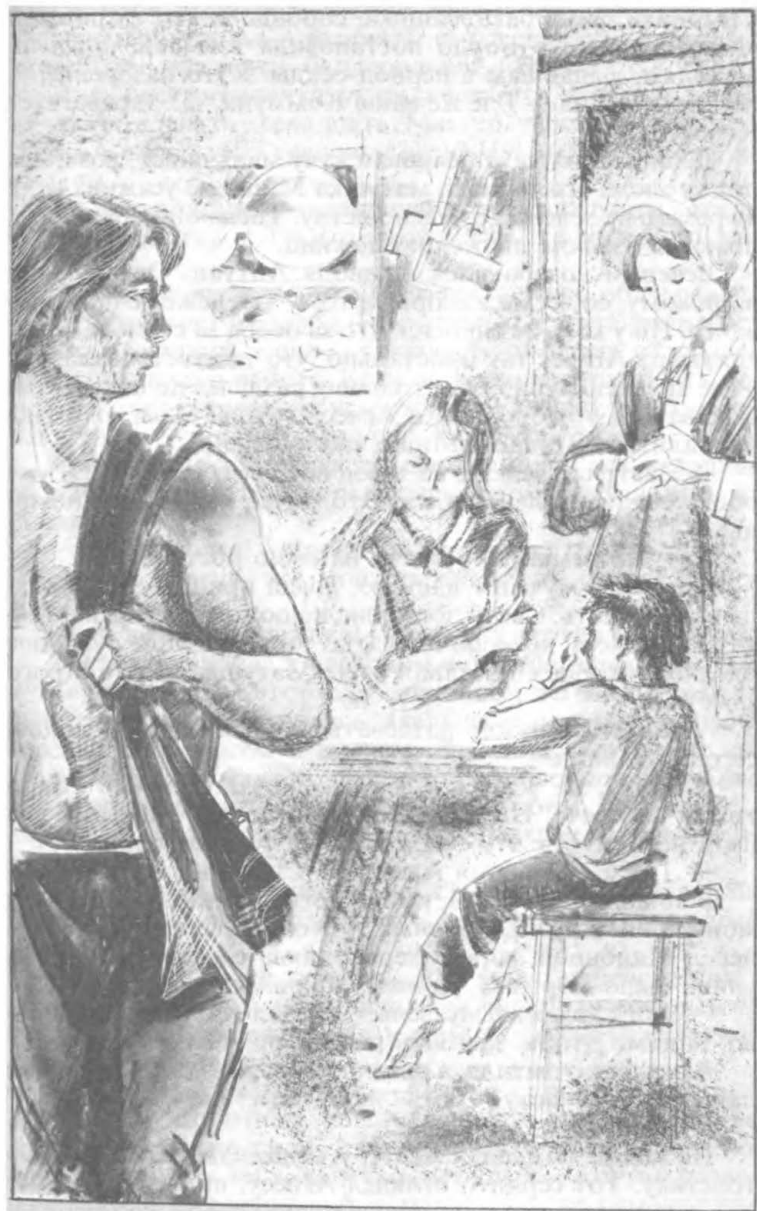
Матушка Мишо взяла к себе бездомного сиротку Жако. Он спал на месте Элю, рядом с Дени, но тот его невзлюбил: прятал его очки, исподтишка дразнил, даже плевал его в кашу во время еды. Жако не плакал и не жаловался, поджимал губы и обиженно косил глаза.

Появились и заказы — республиканские организации решили в торжественной обстановке возложить венки к Июльской колонне на площади Бастилии. В память той первой, Великой революции. Все Мишо уселись за работу, даже пришли помогать соседи. Отец с восторгом доставал где-то отменный материал, цветы получались не хуже настоящих. Только Фаншетта работала надувшись, — на улице было так весело, так солнечно, а ты сиди в унылом подвале, верти дурацкие лепестки!

Тут как раз папаша Мишо привел жить в их подвал дочку Ришардьё. Матушка Мишо хотела запротестовать: тесно, мол. Но, едва взглянув на Агнесу, ахнула: такая светлая, нежная, просто неземная. Ну как ей отказать? Фаншетта же демонстративно отвернулась.

Агнеса села вместе со всеми за огромный семейный стол, принялась крутить и разглаживать крашеную стружку. Как она любила цветы, трепет их живой плоти, травяной запах их стеблей, не эту сухую и грубую поделку!

Все было ей здесь попросту дико. Вбегала грудастая



Симониха, жена бакалейщика, сообщала, что тьеровская «деревенщина» в Бордо постановила взимать долги по векселям, выданным в период осады. «Это разорение! — негодовала она. — Где же ваша Коммуна? Да здравствует Коммуна!»

Дени и Жако притаскивали кучу мальчишек, возились под столом, орали, пока матушка Мишо не усаживала их вырезать из зеленой бумаги листву. Тогда они трудились, помогая языком движению ножниц.

Вечером возвратился с завода Антуан. Он был, по видимому, со всеми в ссоре, потому что даже не поздоровался. Ни у кого не спросил, что за особа за столом, а разглядывал Агнесу так пристально, что та чувствовала, как у нее краснеют уши. Без стеснения разделся до пояса, стал обливаться у «водолея», а Агнеса готова была от стыда провалиться. Папаша Мишо ему объявил:

— Завтра отведешь на завод вот эту гражданку. Я уже обо всем там договорился. Это дочка камарада Ришардье.

Антуан хмыкнул и улегся на свою постель.

Но сущее мучение настало, когда пришла пора укладываться спать. Свечи погасили, но оставалась яркая лампадка. Агнеса кое-как в платье юркнула под суконное одеяло, которое ей оставил отец. Матушка Мишо строго заметила:

— Девочка, нужно раздеваться, у нас не так холодно, сегодня топили.

Кажется, не успела и веки сомкнуть, как уже кто-то трясет за плечо. На глазах навис пудовый сон, не разлепить ресниц. Где это она, где? Сон тотчас отлетел.

— Пора, — говорил Антуан. — Слышишь, гудит?

В комнате все спали, камин остыл, с улицы доносился монотонный рев фабричных гудков. Агнеса помолилась перед Мадонной, горечь переполняла сердце. Вышли, на улице было морозно. Дрожь забиралась за воротник.

— Бога нет, мадемуазель, — сказал Антуан насмешливо, видимо чтобы завязать разговор. — Чего молишься?

Агнеса не ответила, а он всю дорогу напевал на разные лады: «Бога нету — бога нет, бога нету — бога нет! О-ла-ла!»

На заводе он сдал ее мастеру, невыспавшемуся лысому толстяку. Тот сердито оглядел Агнесу; привел в цех, где под потолком, завывая, вращались какие-то колеса. Мастер показал Агнесе, что надо делать. Первое движение —

взять готовый патрон, второе движение — обмотать куском пакли, третье — вставить его в картонное гнездо, четвертое — клеить бандеролькой. Ничего сложного. Укладка десяти тысяч штук оплачивается сорок су, в смену можно сделать двенадцать. Мастер оглядел ее критически. — А что, у тебя спецовки нету? Ну, мы здесь тоже не выдаем...

— Эй, подружка! — закричали ей укладчицы, когда мастер удалился. — Ты что вырядилась, к причастию, что ли?

Агнеса молчала. С такой тщательностью обдумывала она, что наденет на завод, — простенькое, из тафтецы, без кружев и турнюра, а они — к причастию! Агнеса старалась думать только о работе. Если по сорок су приносить домой, то отец заплатит консьержке и она уйдет из этого ненавистного — прости господи! — подвала Мишо.

Вдруг какая-то тряпка перелетела через цех и попала ей в голову. Агнеса выпрямилась, готовая заплакать от обиды.

— Эй, девочка! — крикнула ей старуха из угла цеха. — Возьми-ка надень, это мой старый халат, испачкаешься ведь!

— А вот тебе косынка! — бросила другая работница.

Третья пошарила под столом и подала Агнесе фартук.

Теперь ей стало гораздо спокойнее, легче. Но работа у нее никак не получалась. Пальцы скоро одеревенели, мысли были совсем о другом. Завывание трансмиссии, шорох и стук станков, какое-то монотонное хлопанье и бесконечным потоком патроны, патроны, патроны...

Она очнулась, когда над ухом прозвучал голос Антуана:

— А я тебя еле нашел! Ишь как тебя здесь вырядили, не отличишь от пролетарки. Заканчивай — обеденный перерыв.

Обеденный! А ей казалось, уже конец рабочего дня!

— Эй, Антуан! — ехидничали укладчицы, усевшись на столы; они болтали ногами и жевали хлеб. — Где ты такую пташку подцепил?

— А что, хороша? — Антуан подбоченился. — Настоящая жар-птица, не такая старая ворона, как ты, тетка Жужу, и не такой длинноносый журавель, как ты, вдова Клеш!.. У тебя, конечно, нет еды? — Антуан разворачивал свой сверток. — А у меня, увы, не гамбургские клецки, а всего-навсего хлеб с селедочным паштетом...

О-ла-ла! — огорчился он. — Я не помыл руки и слегка испачкал хлеб мазутом. Не побрезгуешь?

Но Агнеса не взяла его хлеб, и не потому, что он был измазан, — просто стыдилась. Антуан, рассерженный, ушел. Агнесу мучило от голода, взгляд сам собой обращался к хлебу, оставленному им.

Вторая половина дня прошла еще томительней. Подходил лысый мастер, дышал из-за спины, но ничего не говорил. Наконец раздался спасительный звонок. Укладчицы снимали косынки и халаты. От усталости они присмирили, шуток и перебранки уже не слышалось.

— Четыре тысячи триста пятьдесят две штуки, — сказал мастер, замерив сделанное Агнесой.

А ей-то казалось, что тысяч за десять перевалило.

— Ничего, девочка, — сказал мастер слащаво, лысина его заблестела. — Все можно урегулировать. Вы к нам поласковой, а мы к вам...

Когда выходили из ворот завода, Антуан приблизился, чтобы вместе идти домой.

— Антуан, ты ее знаешь, эту девочку? — спросил мастер, кивнув на Агнесу.

— Это моя подружка. Понятно тебе, плешивый сатир?

Агнесу передернуло от негодования. «Подружка!» Какой наглец! Она отделилась и ушла одна. Вслед ей донесся смех.

У Мишо уже ждал Ришардье. Он принес еду, какой-то зонтик, на который истратил столько, сколько Агнеса могла бы заработать за целую неделю.

— Ну как, ну что?..

Агнеса отвечала односложно, почти не ела и, уже не замечая ничего присутствия, не молясь легла в постель. Кости ломило, донимал озноб, в глазах все мельтешили патроны, патроны, а уши продолжали слышать унылый вой трансмиссии. Она никак не могла заснуть. Все ей виделись мужские красивые руки, составляющие букет: как они берут розу, пион, гладиолус... В такт биению сердца звучали давно забытые стихи:

Милый рыцарь, вы далёко,
Вам неведомо в сраженьях,
Что плененная принцесса
В мрачной башне ждет любви...

Вечером папаша Мишо и его камарад Ришардье, не вынимая дымящихся трубок (курили вовсю, несмотря на множество некурящих, в том числе детей), усаживались

друг против дружки, шелестя газетами: ах, этот Тьер, ах, этот гнусный карлик! Негодяй, завинчивает гайки. Всем от него тяжело — и пролетариям и буржуа.

Наконец матушка Мишо бесцеремонно прогоняла камарада Ришардье, случайных гостей, чужих мальчишек — и в полуподвале воцарялся сон, оцепеняющий отдых от работы до работы.

4

Солдат в красных эполетах с цифрами 22-го линейного полка бродил по улице Доминик, заглядывая во все ворота. Его внимание привлек жестяной гремучий арапчонок на вывеске бакалейной лавки Симона. Из двери лавки вырывались клубы пыли — Симониха делала уборку. Оттуда выглянула Фаншетта, помогавшая ей, сощурилась на солнце, увидела солдата:

— Эй, пехтура, чего рот разинул? Ружье, что ли, потерял? Ищи у пруссаков, вы ведь им все сдали без боя!

Слово «пехтура» пришлось солдату не по нраву. Он пробормотал что-то и отошел, высматривая кого-нибудь посилидней. Но Фаншетта не отставала:

— Кого ищешь? Все побежали пруссаков смотреть, сегодня они вступают в Париж. Не видишь, что ли, на всех домах в знак траура черные флаги?

Солдат топтался нерешительно, но не уходил.

— Эй, молодчик, да ты скажи, чего тебе надо? Я не кушаюсь, да от тебя и не откусить, вон ты какой кругленький!

— Где-то здесь, пра...— озирался солдат.— Был я в этом доме еще мальчишкой, теперь не помню, пра...

Он так уморительно по-овернски растягивал слова и после каждой фразы прибавлял «пра» — то есть «право слово» или «правда», что Фаншетта расхохоталась. Черная коса ее растрепалась, и солдат с некоторой боязнью глядел на этот ведьмин хвост.

— Мишо здесь жил когда-то, Мишо...— бормотал он. Фаншетта насторожилась:

— А что тебе Мишо?

— Мишо — это моя фамилия. Селестен меня зовут, Мишо. Тут где-то в подвале отец мой живет, у него другая семья...

Вот как! Фаншетта смутно помнит: привозили из деревни большого мальчика, со щеками будто яблочки. Не-

ужели это был ее самый старший брат, старше даже Антуана?

Между тем стали возвращаться ходившие глазеть на пруссаков. Подъехала коляска господ Эврар. Пока кучер откидывал подножку и помогал сойти госпоже, господин Эврар восторгался:

— Чувствуется, что в Париж вошел железный порядок, истинная немецкая приверженность к законам, к священной собственности, не правда ли? Я лишь услышал из уст немца это глубокое, солидное, прусское «ја», так сразу подумал: «Ну, теперь мы можем наконец спать спокойно!»

Увидев задумавшуюся Фаншетту в подоткнутой юбке и с тряпкой в руках, господин Эврар игриво улыбнулся. Прежде Фаншетта зарделась бы от восторга, но после того как она узнала Неретина, — нет! Фаншетта показала вслед ему нос из растопыренных пальцев.

Показалась целая толпа. Это шел Варлен, окруженный рабочими и национальными гвардейцами.

— Конечно, — говорил он, — Национальная гвардия могла бы не признать тьеровской капитуляции и встретить пруссаков картечью. Но, посудите сами, кому на руку, чтобы немецкие рабочие, одетые в прусские мундиры, убивали французских рабочих в мундирах Национальной гвардии и наоборот? Тьер и его шайка только об этом и мечтают! Поэтому наш съезд постановил — терпение и выдержка, тем более что оккупация чисто символична и продлится только три дня.

Папаша Мишо, державший его под локоть, уговаривал зайти к нему, Варлен ведь обещал поговорить с Антуаном.

Фаншетта подбежала, указала на Селестена. Папаша Мишо как-то ничуть не удивился, бодро потрянул седой гривой, обнял солдата, встав на цыпочки, поцеловал в лоб, повернул к Варлену:

— Это мой другой сын... То есть самый первый, от прежнего брака. Живет в деревне, департамент Канталь... Эх какой дюжий, настоящий овернец! Где, сынок, такие бицепсы нажил, а?

— Да мы на ломку гранита ходим... Пашня, батюшка, сами знаете, не прокормит, пра...

Это его провинциальное «батюшка» повергло в такой восторг Фаншетту, что та прыснула. Отец посмотрел на

нее с укоризной, и она, стесняясь Варлена, вернулась в лавку Симона.

— Ну что ж, — сказал Варлен, — раз из деревни, да еще солдат, тогда зайдем, поговорим.

Дома папаша Мишо принялся звенеть кастрюльками, сетуя, что вот нет Ришардье, тот бы живо сообразил по чашечке кофе. Варлен тем временем расспрашивал о житье-бытье в овернской деревне. Вспомнил, как пять лет назад проезжал через Канталь, ездил в Ле Крезе устраивать стачку. Селестен, сначала питавший почтение к офицерскому мундиру Варлена, услышав слово «стачка», весь насторожился, подобрался. Варлену даже показалось, что он мысленно отрешивается. «Ну да, ведь их там попы настраивают, будто стачки — козни антихриста».

— Значит, ты в Париже с самого начала осады? Что же ты к отцу не зашел, проказник? — спрашивал папаша Мишо. Он поглаживал сына по рукаву, снимал соринки.

— Да мы в форте Венсенн стояли, капралы там лютые... Боев у нас не было, но служба строгая, пра... В башнях у нас сидели под охраной эти, как их, интур... нет, инсургенты, вот! Один, Делеклюз его фамилия, я запомнил, все перхал — астма, говорит, но бодрый старичок, пра...

— Этого еще не хватало! — Папаша Мишо снял его красное кепи и погладил по голове, как неразумного ребенка. — Ты же был тюремщиком, бедняга!

— А нам что, нам как прикажут, пра...

— Из дому ты письма получал? — интересовался Варлен. — Кто у вас там избран в Национальное собрание?

— Дюпон-Дюмениль...

— О, арпажонские ослы! — вскричал папаша Мишо. — Это же первый монархист в округе. Такой зубр, я его знаю!

— Погоди, отец, — остановил его Варлен. — А почему вы избрали именно Дюпон-Дюмениля, а не кого-нибудь из республиканцев?

— Да почему... Эти всё кричат — война да война до победного конца, а мсье Дюпон-Дюмениль обещал: если станет его величество король, так сразу будет и мир. Пахать пора, сеять, погода-то какая, пра...

— Эх ты, — папаша Мишо хлопнул сына по спине, — поддался на роялистскую демагогию! Говорил я тебе — переезжай в Париж, поступил бы на фабрику, стал человеком...

— Чтой-то вы меня всё ругаете...— обиделся Селестен.— Я по-родственному, матушка наказывала, пра...

Пришла мамаша Мишо, сразу захлопотала — и угостить-то нечем, денег за венки республиканцы еще не дали.

— А продовольствие в деревне есть?— спросил Варлен.

Селестен насторожился; ответил, с опаской поглядывая на отца, что в Оверни хоть шаром покати, но вот когда он был в Венсенне, видел, как через парижские ворота идут вереницы людей с мешками, в окрестных деревнях меняют продовольствие. И он стал креститься, заверяя, что в их доме в Арпажоне ни крошки, ни зернышка...

— А ты, видно, боишься, как бы мы не попросили что-нибудь прислать?— рассердился папаша Мишо.— Будто я не знаю, что у вас бочонки зарыты. Эх ты, жадюга, жадюга, весь в мать!

— За что же вы так...— Селестен встал со стула.— Мне уж лучше уйти, пра...

Матушка Мишо шикнула на мужа, взяла за рукав Селестена, приглашая садиться. Но тот брезгливо отдернулся от ее руки, и от этого жеста папаша Мишо взорвался, как бомба:

— Ишь каков! Она над ним и так и сяк, а он гримасничает. Не мой ты сын, хотя и похож на меня!

Варлен и матушка Мишо пытались успокоить расхоdivшегося старика.

— Поп да капрал ему дороже родного отца!— не унимался тот.

А Селестен, крестясь на жестяную мадонну, бормотал:

— Бог вам простит, лучше пойду, пра...— и пятился к двери.

На дворе его перехватила Фаншетта. Черные глаза ее так и сияли любопытством.

— Так, значит, ты мой братик, Селестен?

— Поди прочь,— зло ответил ей солдат.

Фаншетта, однако, не отступила.

— Куда ты сейчас идешь? В казармы Лобо? Давай я тебя провожу. Ты не сердись на отца...

Они пошли по набережной, где Сена уже поднялась до паводковой отметки и мутные волны несли разную дребедень.

Фаншетта краем уха слышала слова Селестена о том, что в деревнях под Парижем много продовольствия

и пруссаки разрешают менять. Она расспрашивала: что в деревнях берут на мену? Всем насытились, берут золото? А не ставят ли Селестена на часах у городских ворот?

Впрочем, Селестен ее разочаровал—службы они больше не несут. По приказу Винуа их заперли в казармах гнить от скуки. Даже вот сегодня, чтобы выбраться к отцу, пришлось дать капралу пачку табаку...

— А зачем тебе непременно нужно было к отцу?

— Матушка велела на всякий случай взять отцовское благословение...

— Ох ты, пехтура! — вскричала Фаншетта. — Да ведь папаша в бога не верует, будет ли силу иметь его благословение? Давай лучше я тебя поцелую. Все-таки я твоя сестричка.

И побежала, торопясь тоже поглазеть на пруссаков.

Вечером, когда вернулась усталая Агнеса, Фаншетта шмыгнула к ней под одеяло. От Фаншетты противно пахло луком и дешевыми духами, коленки были как ледышки, но Агнеса терпела и слушала ее шепот:

— Бедняжка, устаешь ты на этом чертовом заводе, нелегко тебе... А меня мать сто раз в цех пыталась, отводила. Я уж такая — не могу на одном месте...

Затем Фаншетта стала усиленно расписывать, как страдали они от голода всю зиму. Малыш Элю погиб... А в деревне за золотое колечко можно получить мешок пшена!..

Агнесе сразу стало понятно, куда та клонит. Она стала снимать тоненькое золотое колечко, подарок тети Леонтины, Фаншетта помогала. Была у Агнесы еще золотая цепочка от крестика, тоже отдала. Лишь бы отвязаться!

5

— Мерзнем! Открывайте! — кричали парижане, закутанные как кульки, толпясь у Венсенских ворот. Некоторые тянули за собой нагруженные повозочки, другие несли мешки.

Мартовский рассвет занимался туго, все, что днем под лучами текло и таяло, ночью сковывалось коркой льда. Наконец прозвучал сигнал, и пруссаки, зевая, принялись открывать тяжелые створки ворот. Заспанный усач фельдфебель просматривал документы выходящих из Парижа. Когда дошла очередь до Фаншетты, фельдфебель решил показать галантность, сказав: «Кута итешь, тевошка?»

пребольно помял пальцами ее подбородок и пропустил. Так как у Фаншетты не было ни узлов, ни тележки, а ноги проворнее, чем у других, она раньше всех достигла какой-то деревни, притулившейся в излучине реки под массивными комлями голых верб. Постучалась в старый, покосившийся дом. Изнутри приподнялась ставня — кто-то высматривал сквозь мутное стекло.

— Ме-няю, ме-няю... — выразительно двигала губами Фаншетта, стараясь, чтобы ее поняли. — Зо-ло-то меняю!

Тогда из-за стекла ей указали на каменный дом в центре деревни: «Там меняют!»

Там из высоких окон слышалась музыка и разухабистые голоса. Фаншетта оробела, но тут же подстегнула себя — дома голодные сидят. Достала колечко, взошла на ступеньки, показывая его. Отворилась дверь, пахнуло теплым запахом печеного хлеба, от этого кишки сводило и голова кружилась.

В низкой комнате наигрывал музыкальный ящик, пьяные за столом икали, ругались. Среди них, как монумент, возвышался прусский офицер в остроконечной каске, молча сосал трубочку-носогрейку.

— Мой бог, да это ведь Фаншетта-тонконожка! — воскликнул кто-то.

Фаншетта присмотрелась и разглядела среди пьющих неприятное лицо, с носом длинным, до самого подбородка. Это Паделу, тот самый, что живет в их дворе.

Паделу хотел подхватить Фаншетту под руку, но она отодвинулась:

— У, противный, стряхни пыль с ушей!

Паделу и вправду потрогал свои уши, что вызвало взрыв насмешек со стороны его собутельников. Обозленный Паделу схватил Фаншетту за воротник:

— Признавайся, грязная потаскушка, у кого стибрила колечко? Оно видишь какое крошечное, прямо для принцессы, а у тебя пальцы похожи на сосиски.

Фаншетта как можно длиннее высунула ему язык, хотя сердце колотилось, а ноги так и порывались бежать. Тут ее перехватил жирный мужчина с поросячьими глазами. Противно хихикая, он обыскал Фаншетту и извлек еще цепочку.

— Да она нашпигована золотом! — закричали все.

Толстяк, весело отдуваясь, тянул Фаншетту за рукав, она билась, как рыба на крючке, платье трещало, расплываясь. Под видом обыска девушку лапали всюю. Пьяные

повскакали из-за стола. Кто-то стащил с Фаншетты башмаки и тряс — нет ли еще золота?

— Брат Филидор, брат Филидор! — настойчиво повторял Паделу, хватая толстяка за руку. — Ваше преподобие... Ведь она моя соседка... Весь дом теперь узнает!

— А вот и не узнает... — Толстяк облизывал лоснящиеся губы. — Мы ее препоручим плац-майору... Так сказать, в нагрузку за парижский товар, хи-хи-хи... Пусть арестует или, там, в расход... Не правда ли, герр плац-майор?

Немец, не вынимая изо рта носогрейки, важно наклонил шишак своей каски и уже поднял руку, чтобы отдать приказание, как вдруг Фаншетта в отчаянии ударила пяткой толстяка в живот. Тот икнул и выпустил ее. Паделу пытался ее удержать, но в его руке остался лишь оторванный рукав.

Фаншетта выскочила на крыльцо, перемахнула через перила и во всю прыть пустилась прочь. «У-лю-лю!» — кричали ей вслед пруссаки. Хлопнул выстрел.

Она пронеслась как ветер и упала от изнеможения за линией железной дороги. Кто-то над ней склонился. Фаншетта в страхе открыла глаза, но увидела знакомые синие кепи национальных гвардейцев.

— Вот проклятые пруссаки, до чего довели девчонку! — негодовали бойцы.

— Сто чертей на бочку! — раздался голос. — Что здесь происходит?

Над Фаншеттой появился бравый мужчина с глазами навывкате, во флотском мундире с темными пятнами на месте эполет. Федераты отдали честь, а флотский приказал:

— Отнесите ее в мою повозку. Там есть шинель, пусть накроется, сто чертей на бочку! Мы возвращаемся, подбросим и ее.

— Будет исполнено, гражданин генерал!

6

Квартира, куда теперь попала Фаншетта, показалась ей более роскошной, чем особняки Эвраров или Мерифита. Еще бы! Там унылая пустота парадных покоев, а здесь столько напихано всякой всячины! Какие-то идолы со страшными рожами, чучела попугаев, китайские вазы! И в довершение красный колпак санкюлота на бронзовой пике от ограды дворца.

Хозяин всего этого великолепия, мужчина во флотском мундире, накрывая обеденный стол, ругал слугу. В кухне стоял дым коромыслом.

Фаншетту укутали в шинель, посадили к камину, она грела босые ноги, то одну, то другую. Верзила гвардеец, по имени Давос, взял на себя роль ее няньки. Фаншетта смеясь, противилась. Мужчины курили чубуки, дым приятно кружил голову.

Офицеры толпились вокруг ломберного столика, раздавались возгласы: «Семерка взяла», «Нет, позвольте, берет валет треф». Надменный офицер с глазами как кусочки льда раздавал карты, чертил мелком. К нему то и дело обращались: «Виконт, припишите двенадцать», «Виконт, еще взяточку».

Вбежал захлопотавшийся хозяин:

— Господа, глинтвейн кипит, заканчивайте партию. Не будь я, Люллье, старым бродягой, если глинтвейн получился хуже, чем в притонах Гонконга, сто чертей на бочку!

Офицеры шумно выразили одобрение, именовали хозяина генералом. Слуга торжественно внес серебряный таз, на котором на скрещенных шпагах лежала голова сахара и пылала синим, спиртовым огнем. Погасили свет, и бледные тени побежали по шкафам с безделушками.

Бокал горячего, терпкого вина, в котором плавали изюминки, Давос подал Фаншетте. Она выпила и почувствовала, как проваливается в какую-то бездну восторга, захотелось кружиться и хохотать или вдруг расцеловать этого смешного дураля Давоса с его ухаживаниями. Ей даже сделался не страшен виконт, который командовал за зеленым столом. А ведь когда Люллье привез окоченевшую Фаншетту, виконт сказал зло: «Зачем здесь эта оборвашка?»

— А я вас узнала,— сказала она виконту.— Когда-то вы со мной передавали букет Агнесе Ришардьё, помните?

— О! — закричал единственный штатский из всей компании, тщедушный субъект, не расстававшийся с тросточкой, которую он то и дело вращал в разные стороны.— О, виконт де Ноайль преподносил букеты столь часто и по столь разным поводам, что теперь ему трудно припомнить, в какой монастырь он что передавал!

— Фидюс, молчать! — бросил ему виконт, лицо его сделалось злым.

Он подошел к креслу Фаншетты и, отстранив Давоса, сел рядом.

— Ну-с, и что ж мы знаем об Агнесе Ришардьё?

Фаншетта рассказала о том, как Агнесу нашел отец и как она теперь живет у них и работает на заводе.

Виконт пощипал ус.

— И что же... А как же Мерифит?

Но поскольку она ничего больше не знала, виконт, даже не поблагодарив, вернулся к столу, а к Фаншетте подскочил Давос с новым бокалом глинтвейна.

Фаншетта совсем осмелела, захотела танцевать. Но Давос нашел, что пол слишком холодный. Он вынул ее из шинели и поставил прямо на стол. Офицеры завопили от восторга. Люллье снял с пики красный колпак и нахлобучил Фаншетте на голову.

— Свобода, свобода! — закричали офицеры. — Это же сама Марианна, прекрасная Франция!

И Фаншетта пустилась танцевать между бокалами, боясь все повалить, и еще пуще смеялась:

На мосту в Авиньон
Все танцуют, все танцуют,
На мосту в Авиньон
Все танцуют и поют!

Офицеры хлопали в ладоши, подпевали, в отсветах синего пламени мелькали ловкие ножки Фаншетты. Тут Люллье, напробовавшийся глинтвейна еще на кухне, свалился, и офицеры стали приводить его в чувство.

— Плебейский генерал, плебейская Марианна, — сказал виконт де Ноайль, швыряя на стол карты и мелок. — Ей-богу, надоело!

Фидюс испуганно схватил его за руку:

— Тс-с, ради бога!

В передней давно бился колокольчик. Люллье очнулся и рывкнул слуге:

— Эй ты, мерзавец, отпри дверь!

Вошел Неретин, подтянутый, при сабле, рука его все еще лежала в перевязи. Он поморщился от дыма и винного аромата.

— А, Неретин! — вскричали офицеры. — На, выпей бокал, возьми карточку!

— Мсье Неретин, — ответил за него виконт, — теперь не пьет, не играет. Он верный служака Национальной гвардии.

— Да выпей! — махал Неретину Люллье. — Я разрешаю...

Но Неретин объявил, что он дежурный при штабе. Требуют Люллье, получен ультиматум от Тьера.

И тут он увидел Фаншетту, та тоже его узнала и застыла на столе, сбив набекрень красный колпак.

— Ведь ты, кажется, дочь папаши Мишо?

— О-ла-ла! — ответила Фаншетта.

— Что ты делаешь на столе?

— О-ла-ла! — еще более дерзко сказала девушка и даже босою ножкой притопнула, отчего разбились два бокала.

— А ну собирайся к отцу, он в штабе.

— Не пойду!

Тогда перед Неретиным встал громадина Давос. Он не отпустит Фаншетту, если та сама не хочет. Но Неретин все-таки стянул ее на пол, она покорилась, только твердила: «А что я делаю? А что?»

Давос крикнул вне себя:

— Если ты дворянин, вызываю тебя завтра на заре... Или нет, сейчас же вызываю! На саблях, на чем хочешь...

— Что ты, — урезонивали его офицеры. — Гляди, у него раненая рука...

Неретин смерил взглядом Давоса:

— Драться с тобой не собираюсь. Она несовершеннолетняя, у них мальчик погиб... Где твоя гвардейская честь?

Давос ринулся на Неретина, но виконт крикнул ему:

— Отставить!

7

Агнеса проснулась оттого, что в комнате был содом. Откуда-то привезли Фаншетту, видимо пьяную, судя по тому, как ее отчитывала мать. «Господи, господи...» — тосковала Агнеса. Прежде чем улечься, Фаншетта подвалилась к ней, задышала в самое ухо своим пороком, винным запахом:

— О кольце не горюй, я другое достану... Я видела сегодня виконта... Помнишь тот букет, в монастыре урсулинок?... Он прелесть!

Тоска улеглась, и сердце долго отстукивало:

Не спе-ши-те, милый ры-царь,
Не пус-кай-те в дело шпоры...

Как давно все это было — особняк Мерифита, игра в составление букетов, аббатство... Может быть, и не было никогда?

На следующий день, вернувшись с завода, она решила пойти навесить тетю Леонтину. Надела простое темное платье, на голову — черные кружевца. Решила: «Буду как монахиня». Но затем передумала, кружевца оставила, а на плечи взяла пунцовый шарфик. И сразу костюм оживился.

— Вот где несправедливость, — сказал Антуан, наблюдая из своего угла. — Кто-то десять платьев имеет, а другой — ни одного. А мы всё теории разводим — кража ли собственность или не кража. Отобрать всё у всех и поровну поделить!

— Я теперь такая же пролетарка, как и вы, — возразила Агнеса (она решила в обиду себя не давать).

Фаншетта, сидевшая по-турецки на тюфяке и чинившая платье, приняла эти рассуждения на свой счет:

— Ни одной ниточки я от нее не возьму, вот еще!

Антуан вышел вслед за Агнесой — можно ли проводить?

— Как угодно...

Начинался весенний вечер. В оловянных водах реки отражались низкие арки мостов. Рыболовы склонили удочки.

— Тебе уж, наверное, все уши прожужжали, что Антуан, мол, книг не читает, то да се. Неправда это. Недавно Серрайе, один жилец с нашего двора, из Англии он приехал, долго там жил... Так вот он дал мне брошюрку одну...

Проходя через мост, Антуан взял девушку за руку, но она осторожно освободилась.

— Название — «Манифест Коммунистической партии». Поверишь ли, это вещь! Там и про то, как у богачей отнять несправедливо нажитое, и про то, что в одиночку каждый из нас слаб, а вместе мы — сила! А главное, там все ясно и просто, как у меня в штамповочной, без всяких прудоновских мудрствований. Вот, например: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, приобретет же он весь мир». Действительно, что мне терять? — раскрыл он свои мощные ладони, на которых металл, въевшийся в поры, изобразил причудливую вязь. — Не правда ли, а?

— Да, да, да... — ответила Агнеса.

— Э, ты не слушаешь меня!

— Нет-нет, почему же...

Пришли в пустынный парк Монсо. Заходящее солнце вдруг вспыхнуло рубином, перемежая лучами стволы деревьев.

— И что ты идешь к тетке? Очень ты ей нужна. За эти недели она тебя хоть раз вспомнила? Да, конечно, наше семейство безалаберное, но ты нам пришлась по вкусу, да, да!

Антуан вызвался ждать ее в парке хоть до ночи, но Агнеса сказала: нет!

Швейцар обрадовался, увидев мадемуазель, — она всегда была так добра! — однако в комнаты почему-то не пустил, вызвал старую горничную, Бернадетту. Бернадетта расцеловала ручки Агнесы, но смущенно объявила, что мадам нездорова, не принимает. Обескураженная Агнеса попросила пустить хоть в ее бывшую комнату, там надо взять кое-какие книжки, ленточки... Бернадетта оглянулась на швейцара и лакея Жерома, те, в свою очередь, оглянулись на дверь и закивали головами: пустить, пустить!

Проведя Агнесу на антресоли, Бернадетта вернулась в комнаты госпожи. Старая горничная вздыхала. Еще бы! Агнеса выросла на ее попечении, как не переживать?..

А причина внезапного охлаждения тетки была весьма понятна. Недели две тому назад Бернадетта с другими горничными стояла у ворот, наблюдая, как уходят войска, оставляющие немцам форты. Какой-то обросший, оборванный бродяга в самодельных сабо долго стоял возле особняка Мерифита и вдруг спросил:

— Что, госпожа дома?

Получив утвердительный ответ, оборванец отстранил Бернадетту и вошел в дом. Верная горничная призвала швейцара, Жерома, конюха, дворника, бросилась вслед за наглецом, но уже возле будуара услышала радостный голос баронессы:

— Боже мой, виконт, это вы?

— Мадам, Франция погибает... Я бежал из плена, чтобы умереть за нее. Простимся навсегда.

Леонтина, забыв, что кругом глаза слуг, трогала обросшие щеки виконта. Он же, слегка отстраняясь, не то оправдывался, не то усмехался:

— Конечно, как светский человек, я не должен был приходить в таком виде...

— Ах, мой друг, что значат эти условности!..

Послала Жерома в магазины, велев купить все для виконта, выписывая счета на имя Мерифита (будь что будет!). Ежедневно принимала виконта, отказывая всем другим (пусть говорят, что хотят!).

А не дальше как вчера, накрывая чай в зимнем саду, Бернадетта краем уха слышала разговор:

— Мадам, как мне жаль Агнесу! Наследница Мерифитов — и попала в компанию инсургентов, бедное дитя!

— Наследница? — вспыхнула Леонтина. — Вы так полагаете, кузен?..

Так что теперь, спустившись с антресолей, Бернадетта, на правах многолетней наперсницы, осмелилась заметить госпоже, что следовало бы все-таки принять Агнесу, может быть, ей нужна какая-нибудь помощь... Виконт, непринужденно куривший на софе, сделал безразличное лицо.

— Подите прочь, Бернадетта! — ответила баронесса. — Вы не смеете мне давать советы.

И осеклась. В дверях стояла Агнеса, похудевшая, повзрослевшая, и переводила взгляд с Бернадетты на тетку, с тетки на виконта.

— Ах, милая! — вскричала Леонтина, протягивая ей руки.

Но Агнеса повернулась и выбежала.

Вскоре послышался стук колес и знакомое чмоканье возницы.

— Лазарь приехал! — встревожилась Леонтина. — Почему в неурочное время? Мой дорогой, вам лучше уйти...

Выйдя из особняка Мерифитов, виконт удовлетворенно натянул перчатки: «Так, так!..»

Он неторопливо пошел по аллее и вдруг услышал за собой скрип песка. Кто-то догонял его неуверенными шагами. Виконт резко повернулся — из-под капюшона дождевика на него смотрела Агнеса.

— Как поживаете, мадемуазель? — осведомился виконт, предлагая ей руку.

Они гуляли по парку, и сквозь шум листвы можно было расслышать слова виконта: «Прекрасная Франция... Обязанность дворянина... И ваш долг перед отцом...»

Антуан нашел удрученную Агнесу на скамье возле мраморной ротонды. Вслушиваясь в шорох удаляющихся шагов, Антуан вздохнул:

— Я же тебе говорил! Хочешь, догоню, морду набью? Все же полегчает...

Агнеса отрицательно качала головой.

8

В тот же вечер черная потертая карета въехала в Париж через Версальские ворота. Покрутившись в переулках Вожирара, она замедлила ход на площади Сен-Жорж, у огромного особняка, принадлежавшего Тьеру.

Из кареты, отогнув занавеску, хозяин особняка осматривал его после пятимесячного отсутствия. Слава богу, кажется, все в порядке, бомбардировка, волнения черни его не повредили. Он стоил Тьеру два миллиона. Один бог знает, сколько это интриг, сколько рискованных сделок! Кучер, поехали дальше!

Не таким мыслил себе Тьер свой въезд в Париж. Сорок лет он мечтал об этом, сорок лет трудился, чтобы попасть в книгу истории, которую сам же и сочинял, иногда, да простит господь, подтасовывал. И вот — наконец!

Даже его кучер, который, как все старые слуги, щепетилен в отношении титулов, теперь обращается к нему «мсье президан», то есть председатель. На всякий случай: а вдруг Тьер станет не только главой исполнительной власти, а, да пошлет господь бог, и президентом?

Тьер выглянул из окошка. Кругом множество парижан, гуляют себе, наслаждаются вечером. У, скоты, так бы и бил их лбами о камни! Из-за них он въезжает не на белом коне, а в какой-то поповской карете, словно ночной вор...

В парке Монсо карету ждали. Сам барон де Мерифит, отослав швейцара, встретил со свечой:

— Ну, слава богу...

В бирюзовой гостиной барон, без помощи слуг, сервировал стол на три персоны. Брат Захария резал хлеб, готовил тартинки. Тьер похаживал возле пылающего камина, грел ручки.

— Заметьте, господа, мой первый же визит при въезде в Париж — к виднейшему представителю деловых кругов. Что это может означать, кроме безграничного доверия нового правительства к этим кругам? Докажите же и вы ваше доверие, открывайте банки, конторы...

— Мы не можем приступить к финансовым опера-

циям,—сказал Мерифит.—Сначала усмирите предместья! Пока рыкает лев, крот боится копать землю, ха-ха!

Брат Захария смотрел, как Тьер ходит, подрагивая колленками, и еле сдерживал усмешку. Жаба, сова, упырь—таким изображают Тьера в журналах, и всегда в виде пузанчика на кривых ножках. Ох уж эти остряки!..

Брат Захария заговорил о положении вещей. Армия разваливается окончательно, зато Национальная гвардия, наоборот, крепка и отлично вооружена. Правительству будет трудненько справиться...

— Деньги? — вскричал барон, жуя эльзасский сыр, от запаха которого брата Захария чуть не тошнило.— Деньги дадим, лишь бы стал наконец порядок!

Подняли тост за скорейшее восстановление прежней жизни. Тьер, вдохновляясь, начал излагать свой план. Национальное собрание в Бордо подобралось именно такое, какое нужно. С восторгом принимает все декреты, направленные на ущемление черни...

— Нет, мсье,—прервал его Мерифит.— Вы скажите без этих фигли-мигли, когда у нас будет восстановлен какой-нибудь монарх?

— Ах, барон,—Тьер досадливо заерзал на стуле,—поймите, главное—завоевать Париж, а для этого надо пройти через видимость республики. Это заткнет рты демагогам! А потом, чем плоха республика, во главе которой стоял бы такой деятель, как я, и которая опиралась бы на такие столпы, как вы?

Он вдоволь нахихикался, потом согнал с лица улыбочку:

— Но порядок будет, готов ручаться. Хотя бы ради этого пришлось пролить океан плебейской крови.

— Как бы вместо плебейской не полилась патрицианская,—заметил брат Захария.— Положение таково...

— Не ваше дело!—вдруг окрысился Тьер.— Руководитель я, а вы не рассуждайте!

— Господа!..—мирил их барон, подливая вина.—Продолжайте, мсье Тьер!

— О, что касается меня, я не боюсь столкновения! В разные концы города мною будут посланы войска под командой преданных генералов. Они увезут пушки Национальной гвардии. Утром, проснувшись, наши коммунарики увидят себя обезоруженными и заплачут! Хе-хе-хе! Вот тут-то мы им скажем: а ну, хватит баловаться революцией, ступайте-ка к станкам, к верстакам! А уж

если начнут сопротивляться, тем лучше — их же пушки направим на них!

Уже за полночь сонный кучер получил приказ подавать. Подъехав, почувствовал легкое сотрясение экипажа — хозяин впорхнул в карету. Затем услышал за спиной не то скрип, не то жужжанье — это Тьер, упоенный планами, напевал из оперетты:

Я, царь Агамемнон, вождь ахеян, вождь ахеян,
Я съел полпоросенка и совсем еще не сыт!

— Куда прикажете, мсье?

Тьер на минуту задумался. В особняк на площади Сен-Жорж? Не годится главе правительства останавливаться в частном, хотя бы и собственном, доме. В Тюильри, королевский дворец? Вроде бы преждевременно... Ага!..

— Правь в министерство иностранных дел, набережная Кэ д'Орсе!

И Тьеру ужасно захотелось, чтобы его еще раз назвали президентом. Он постучал кучеру в спину:

— Какое сегодня число, любезный?

Кучер вынул часы с брелоками и, установив, что стрелка уже миновала двенадцать, почтительно ответил:

— О, мсье президент, восемнадцатое марта тысяча восемьсот семьдесят первого года!

Глава шестая ВОСЕМНАДЦАТОЕ МАРТА

1

Из парка Монсо Агнеса и Антуан вернулись поздно, молчаливые. Их встретил Дени, который скакал на одной ножке, показывая надкусанный ломоть сыра.

— А мы деньги получили, деньги! За цветы, за венки к колонне на площади Бастилии.

И правда, стол был полон яств, горели новенькие свечи, вокруг восседали друзья и соседи. Стали тесниться, освобождая места. Подвыпивший папаша Мишо декламировал:

— «Как неразлучна пара эта: куда Колен, туда Колетта! Ни в чистом поле, ни меж стен теперь не спрячешься, Колен!»

Ришардье возразил:

— Рано ей еще думать об этом, да, да... Пусть сначала поработает, определит себя в обществе.

— О да! Ты ее, я вижу, определишь в общество старых дев! — захохотал папаша Мишо. — А помнишь, сколько нам было, когда мы обзавелись женами?

— То нам, а то им...

— Вот сатана! Поверите ли, граждане, этот самый бравый петушок, когда нас в пятьдесят первом вышибли с баррикады и он скрывался на чердаке не то сумасшедшего дома, не то какой-то богадельни...

— Богадельни! — потешались присутствующие.

— Да, да! — уверял папаша Мишо и сам хохотал больше всех.

— Нечего смеяться, — насупился Ришардье, озабоченно рассматривая грустное лицо дочери. — Это место, кстати, такое надежненькое, такое скрытненькое, я бы и сейчас мог бы при нужде спрятать там человек двадцать...

— И он, оказывается, — продолжал неумолимый папаша Мишо, — еще до восстания познакомился и встретился где-то с благородной девицей из рода Шериньяк де Ноайль. Вот наш принц Чердак да Сарай...

— Как? — веселились собравшиеся. — Чердак да Сарай? Ха-ха-ха!

— Да, да, именно — Чердак да Сарай, вот он написал ей, где скрывается, она собрала свои кофточки-муфточки — и к нему...

Ришардье задумчиво кивал головой, глаза его светились, лицо помолодело.

— Они спали на газетах и ели на ящике, но эта графинечка осталась с ним!

— Вот это настоящая женщина, — сказал Антуан.

— Да, да, да! Потом как-то все утряслось, наш камарад даже стал где-то работать. Должна была родиться вот она (папаша Мишо указал на притихшую Агнесу), тогда Теофиль вздумал регистрироваться со своею Розали... Не понимаю, зачем ему это было нужно?

— Он был настоящим мужчиной! — не без ехидства заметила матушка Мишо.

— О, да, да, конечно! Но мэр, который их регистрировал, тотчас побежал в полицию с доносом. Кто в Париже не знал бунтаря Ришардье?

Разошлись поздно. Матушка Мишо сокрушалась — осталось доделать лишь один последний венчик к колонне

Свободы, а работы еще много: накрутить листья, прошить ленту... Утром венок должен быть доставлен на Монмартр.

Фаншетта уговорила мать лечь. Сама уселась крутить листья, все равно не спалось. Чем подробнее она вспоминала о вечере в квартире Люлле, тем больше ее охватывал стыд. Конечно, там были молодые, интересные офицеры... Но вот из мглы памяти выплывали эпизоды: она босиком на столе. Ужас! Неретин ее стаскивает за руку, а она визжит. М-м-м, господи!.. Мучительней всего было представлять себе — что теперь думает о ней он, Неретин?

Как ни старалась она себя отвлечь, эта мысль не давала покоя. Еще никогда с ней не происходило такого!

Вчера уж стало до того невозможно, что пошла в отель «Обюссон» — все объяснить, просить извинения. Но карга консьержка отрезала: «Мсье нет дома!»

Фаншетта вздохнула. Развернула красную муаровую ленту. Прочла надпись: «Жертвам расстрела на площади Ратуши. Мы отомстим!» Тот страшный январский день, стрельба, госпиталь, гробик с маленьким Элю...

Но Неретин, Неретин не выходил из головы. Достала, развернула истершийся в сгибах лист — отцовскую эпинальку. Лубочный герой со щегольскими усиками размахивал сабелькой, поражая пруссаков. Неожиданно для самой себя Фаншетта поцеловала эпинальку и почувствовала, как краснеет. Оглянулась. Хорошо, что все спят.

Нет! Она уже взрослая, может распорядиться собой сама. Как сегодня Антуан сказал о матери Агнесы: «Это была настоящая женщина». Вот так же поступит и Фаншетта.

2

Вестибюль отеля «Обюссон» освещался слабым язычком газового света. Массивная дверь наверх была незаперта; однако стоило ее тронуть, как раздавался отчаянный скрип. Из швейцарской слышалась воркотня консьержки, скулила и царапалась собачонка.

Фаншетта притаилась, ждала, сама не знала чего — какого-нибудь случая. Наконец, вся окоченев, решилась. Приоткрыла дверцу швейцарской, собачка тотчас шмыгнула на улицу. Кряхтя и стеная, за ней выползла консьержка:

— Ти-ти-ти! Глупая, тебя же поймают — и в суп! Пресвятая Дева, с голоду всех собак поели...

Фаншетта толкнула дверь и ринулась наверх. На площадке остановилась, прислушалась... Нет, старуха не заметила ничего. Сердце билось так звучно, что Фаншетта невольно закрыла его рукой. Номер Неретина она знала; однажды приходила сюда к Ришардье, и старик ей указал: «А здесь живет Неретин, наш русский».

Тихонько нажала на ручку, дверь подалась. Фаншетта вошла, притаилась в темноте за портьерой. За окном равнодушная луна висела над светлой рекой. Пахло дымком из неостывшего камина. Были еще запахи военных ремней и табака, бинтов и хлороформа. Необычно до жути!..

Осмелев, Фаншетта вышла из-за портьеры и увидела Неретина. Он спал одетый, поверх одеяла, плечо в бинтах. Повернулся со стоном, что-то произнес, мучаясь. Может быть, ему снится кошмар?

Фаншетта хотела снять башмаки, чтобы подкрасться на цыпочках, но тотчас же вспомнила, что на левой пятке дыра. Кое-как балансируя, подошла, заглянула. Тени снов пробегали по утомленному лицу Неретина. И вдруг она оступилась и ударилась о спинку кровати.

— Кто здесь? — отчетливо спросил Неретин.

Фаншетта замерла и вдруг в лунной полосе различила, что Неретин, лежа, держит против ее лица револьвер.

«Это я, Фаншетта...» — хотела произнести она, но от волнения получилось какое-то «ря, ря, ря...».

Тогда Неретин встал, сделал несколько шагов, не опуская револьвера. Чиркнула спичка, вспыхнул газовый рожок. Неретин пригляделся к Фаншетте, рассмеялся и кинул револьвер на стол. Усевшись, принялся набивать трубку.

Ах, ему опять пригрезился Мценск. Будто зима, будто такая же лунная ночь. Сугробы и крыши домов кажутся вырезанными из бумаги, а в окнах сестрицыного дома передвигается желтый огонек, кто-то ходит по комнатам со свечой...

— Ну, что тебе надо? — весело спросил Неретин.

Но Фаншетта молчала, совсем как месяца три назад здесь же молчала Мария. Впрочем, не совсем так. Мария лежала на той узкой кровати, гордо запрокинув голову и сомкнув зубы, а эта сжалась у шкафа в комок, сверкает угольками глаз, как звереныш. Неретин зажег спиртовку:

— Сейчас кофейку выпьем, кишочки прополощем, как сказал бы наш друг камарад Ришардье.

И вскоре они с Неретиным, будто старые друзья, пили кофе. Неретин назидательно постукивал ложечкой:

— Ну, что ты, девочка, что тебе надо от жизни? (А ты-то сам, Неретин, ты-то знаешь, что тебе надо от жизни?) Забралась ночью в номер, к чужому человеку... Тебе учиться надо, семье помогать. Потом и о замужестве время подумать...

Неретин говорил и наблюдал, как с лица Фаншетты сходит первоначальный испуг, сменяясь терпеливой усмешкой. «Э,— подумал он,— все это она слышит дома, каждый день!» Поднялся, взял шинель.

— Где твоё пальто? Пальто нет, есть мамин платок? Ай, ай, ай! Ну что ж, бери платок, я тебя провожу.

Сойдя вниз, Неретин загородил спиной окошко швейцарской и, подняв щеколду, выпустил Фаншетту. Но, оказавшись на улице, она крикнула ему:

— Не надо меня провожать, мсье!

И кинулась со всех ног — не к дому, наоборот, а через Новый мост, на правый берег Сены.

3

Фаншетта бежала по ночным улицам, не разбирая дороги. Было досадно так, что хотелось треснуться о булыжник!

Куда ни глянь, везде парочки, шепчут что-то друг другу, а она еще ничего ни от кого не слышала. Даже Антуан с этой белобрысой вчера весь вечер где-то шлялись, небось уже целовались!

— Ать-два, ать-два! Правое плечо вперед!

Фаншетта вздрогнула. Мимо шагают колонны солдат. На их кепи падает редкий, тихий снег. Куда это они глубокой ночью?

Батюшки, да ведь Фаншетта уже на бульваре Клиши, у подножия Монмартра! Перед рассветом зябко, мамин платок не спасает. Солдаты с бульвара сворачивают налево, поднимаются на холм, по каменной лестнице. В темном ущелье меж домов их осторожный шаг звучит гулко и зловеще.

Луна зашла, но уже заметно светало. Фаншетта различила на эполетах солдат медные цифры — «22». Это но-

мер полка, в котором служит ее братец Селестен. Фаншетта прибавила шагу и вдруг увидела его с края шеренги.

— Куда это вас?

Капрал на нее прикрикнул, но Селестен упросил жалобно:

— Это моя сестренка, господин начальник...

— Так куда же, Селестен?

— Начальство знает... Подняли по тревоге, пра...

Его товарищи принялись перешучиваться с Фаншеттой, предлагали обменять винтовку хотя бы на два поцелуя. Селестену эти разговоры не нравились, он сердился, а солдаты веселились еще пуще.

— Генерал Леконт едет! Девочка, прячься!

Показался braveй генерал на коне. «Меньше шума, шире шаг!» — слышалась его команда. Солдаты, восходя на террасу холма, где маячила старинная башня, развевались цепью. Послышался глухой вскрик. Фаншетта увидела, как солдаты обезоружили часового возле пушек — здесь был артиллерийский парк Национальной гвардии. Часового со скрученными локтями провели мимо Фаншетты; на нем было такое же синее кепи федерата, как носил ее отец и Неретин и все другие... Генерал Леконт ехал рядом с пленным и стеком хлестал его по лицу.

— Что ж это такое, Селестен? — спрашивала Фаншетта.

Солдаты, вдруг помрачневшие, молчали.

Капрал был вызван к начальству и вернулся бегом. Скомандовал, и взвод, где был Селестен, окружил ближайшую пушку. Солдаты покряхтели, раскачивая тяжелое орудие, стронули его с места и стали медленно катить к краю террасы. Там уже готовили канаты, чтобы опустить его вниз. Рассвело настолько, что Фаншетта могла видеть на стволе пушки рельефные буквы: АНЖОЛЬРА.

Это пушка 193-го батальона, где служит отец! На нее отчисляли они заработки, голодали и холодали!..

— Братцы, милая пехтура! Что вы делаете? Это же наше, рабочее имущество!

— А это что за крыса? — заметил ее генерал Леконт. — Эй, кто тут капрал? Заткнуть ей рот!

Но Фаншетту схватить было нелегко, она запрыгала по каменной лестнице вниз. Да и солдаты ловили ее больше для вида.

— Люди, люди, вставайте! Наши пушки забирают!.. Беспрестанно крича, будя и тревожа, будто маленький

назойливый колокольчик, она пронеслась по кривым и горбатым улочкам Монмартра. И в ответ на ее крик зажигался свет в окнах, люди выбегали спросонок, держа кто ружье, кто револьвер.

Наконец ее, кричавшую без умолку, схватил бородастый командир Национальной гвардии в пенсне со шну- рочком.

— Что кричишь, объясни!

Фаншетта, задыхаясь, рассказала ему о пушках. Боро- датый отдал команду, и отряд федератов с места рва- нулся бегом. Командир пожал руку Фаншетте:

— Спасибо, гражданка. Если что еще заметишь, беги, милочка моя, прямо в штаб Монмартра, спроси там Рауля Риго, бывшего студента,— это я. Мы с тобой еще попортим крови тиранам!

Пенсне его упало и повисло на шнурке. Он засмеялся, и Фаншетту поразила его злая, беспощадная усмешка.

Она поспешила вслед за отрядом федератов. Там у старинной башни гневный Леконт лупил стеком солдат, ругая за медлительность. Первое орудие — «Ан- жольра» — довольно быстро спустилось на канатах, зато следующее — «Жан-Поль Марат» — застряло и заго- родило путь остальным. Генерал обещал расстрелять каждого десятого.

Но тут же понял, что дело проиграно. Его окружили простоволосые, наспех одетые женщины, галдели, как стая птиц. Генерал приказал солдатам отойти под защиту башни. Каре оцетинилось штыками.

— Неужели вы будете стрелять? — наскокивали жен- щины, хватая прямо за штыки. Вместе с ними бесновалась Фаншетта:

— Стреляй в меня, братец Селестен, стреляй!

И показывала нос из растопыренных пальцев.

— Огонь! — иступленно требовал генерал. — Труссы, изменники! Огонь!..

Но залпа не последовало. Какой-то сержант отвесил Леконту подзатыльник, раззолоченная генеральская тре- уголка отлетела к женщинам, те, вопя от восторга, наде- ли ее на штык ружья.

— Проваливай! — кричали генералу.

Шеренгу прорвало. Красные кепи солдат смешались с синими федератов. Офицеры 22-го полка отдали сабли, их пинками прогоняли вниз, по лестнице улицы Шапп.

Люди ликовали, бросая вверх шляпы. «Арестуйте Ле-

конта!»—просили его же собственные солдаты. Толпа расступилась, генерала увели. На его место вышли четыре барабанщика-федерата. Сосредоточившись, они стали выбивать тревогу, нервную дробь:

«Тра-та-ра-там! Тра-та-ра-там!»

4

Чуть рассвело, матушка Мишо вышла на остановку. Подкатил совершенно пустой омнибус, кучер и кондуктор помогли ей взгромоздить венок на империял, переговаривались лениво:

— Бр-р-р! Март, а снег все идет!

— К полудню растает, вот увидишь.

Омнибус переехал через мост, покатил по набережным. Всюду народ тревожно прислушивался к барабанам на далеком Монмартре— что бы это могло быть? Прохожие читали афиши— белые, красные, желтые. В одних ЦК Национальной гвардии предупредил о происках реакции, в других, наоборот, генерал Винуа, называя федератов шайкой разбойников, извещал, что этой ночью он взял ее пушки и начинает расправу с непокорными.

— А вот и не взял, а вот и не взял!— прыгали мальчишки, обдирая афиши Винуа.

У вокзала Сен-Лазар дорогу запрудили потоки испуганных людей. Господа и дамы, надрываясь с непривычки, тащили чемоданы и сундуки, носильщиков не хватало.

— Что делается!— сказал кондуктор.— Все бегут!

— Как это все?— строго возразил кучер с высоты облучка.— Выражайся точнее, братец.

— Буржуазия бежит...

— Вот так бы и говорил!

— Чего же она бежит?— спросила матушка Мишо.

— Революции боится.

— О господи!— вздохнула матушка Мишо.— Заказчики окончательно исчезнут, чем детей будем кормить?

— Э, тетка! В моем омнибусе я всю жизнь возил только пролетариев, господа ведь в экипажах ездят. И, как видишь, кормлюсь сам и кормлю детей. Проживем! Бегут спекулянты, да бездельники, которые на наворованные деньги живут. А без этой гнили у нас воздух чище станет.

После долгого пути с пробками на кипящих площадях омнибус окончательно застрял у бульвара Клиши— там

шел грандиозный митинг. Матушка Мишо взяла венки, пошла пешком. Присела отдохнуть на бревне возле недостроенной баррикады. Какой-то старикашка с облезлой бородкой, в старомодном репсовом пальто, вышагивал вдоль баррикады; подсчитывал что-то, затем записывал в блокнотик, палкой пробовал упругость мешков, набитых землей.

— Эй, дедушка! — крикнул ему подросток в кепи федерата, стоявший на часах у баррикады. — Ты что меряешь? Уж не шпион ли ты?

Лицо старичка показалось матушке Мишо мучительно знакомым. Не приемщик ли ломбарда?.. Нет, нет... Не швейцар ли из Ратуши?

О, внезапно как молнией осветило! Клубы порохового дыма вокруг Ратуши, и в прорывах дыма генерал на коренастом коне, поднимающий руку для команды...

— Ведь это Клеман Тома! — громко сказала она, вставая. — Да, да, это он! Стойте! Где ваши генеральские эполеты?

(И безжизненный мальчик у нее на руках... И десятки оставшихся на мостовой...)

— Люди, держите убийцу!

Митинг рассыпался. Множество рук вцепилось в переднего генерала, будто он мог исчезнуть.

— В штаб его, на Монмартр!

Двинулись, теснясь в узких улочках, спотыкаясь на многочисленных лестницах. Какая-то малокровная женщина с малышом на руках, поспевая за толпой, твердила:

— Он в сорок восьмом расстрелял моего отца... Я его узнала... Борода только седая... Это он!..

Женщины, которые вели Клемана Тома, щипали его, колотили. Генерал отпихивался локтями и скверно ругался.

На улице Розье, у штаба округа, волновалась толпа солдат 22-го полка. У дверей их сдерживал могучий гарибальдиец в широкой красной рубахе. Из открытого окна говорил спокойный Риго:

— Граждане солдаты, Леконт избивал вас, натравливал на парижский народ, это нам известно. Но самосуд — никогда! Леконт предстанет перед трибуналом Коммуны, когда она будет избрана.

В это время со свистом и улюлюканьем появилась толпа, пришедшая с бульвара Клиши.

— А мы еще одного генерала ведем!

Клемана Тома ввели в штаб, присоединив к арестованному Леконту. Риго приказал гарибальдийцу:

— Не впускай ни души...

Командиры федератов предложили Леконту подписать приказ войскам — не трогать пушки Национальной гвардии, вернуться в казармы.

Леконт, притихший, посеревший, подписал не читая. Быть может, ему вспомнились слова, сказанные им когда-то в гостинной Мерифитов: «Черни повиноваться не стану, даже под угрозой казни». Он усмехнулся, и это заметили стоявшие под окном:

— Ага, видите? Он смеется над нами! Нечего церемониться, к стенке!

Леконт облизнул пересохшие губы:

— Я прошу обеспечить нашу безопасность.

В этот момент к зданию штаба принесли трупы часовых, убитых ночью возле пушек. Молодые федераты были зверски изуродованы убийцами. Даже монмартрские старухи, все выдавшие на своем веку, отворачивались, чтобы не смотреть на страшных мертвецов.

Тут матушка Мишо заметила Фаншетту. Она шла за носилками, не сводя с них остекленевших от ужаса глаз.

— Прочь! — ревели солдаты на гарибальдийца, охранявшего вход.

Женщины визжали, мальчишки свистели. Напряжение достигло предела. Люди навалились на силача гарибальдийца, смяли. Тогда в дверном проеме возник Рауль Риго, скрестив руки. Под давлением его взгляда толпа попятилась назад. Но уже с другой стороны залезали в окна, хватили генералов, вытаскивали наружу.

Сначала был выведен Леконт.

— Я же подписал... Я же все подписал... — лепетал он.

На пустыре в глубине улицы Розье шеренга солдат, с цифрами «22» на эполетах, построилась напротив облупленной стены. Раздался залп, и Леконт упал, вскинув руки.

Клеман Тома, когда его вели на пустырь, не переставал выкрикивать проклятья. Сулил Парижу неисчислимые беды:

— Вот придут войска порядка, они из вас пустят кровь!..

Новый залп оборвал его хриплую брань.

— Мсье Риго! — Пленный офицер трогал студента за

локоть.— Как же так? Вы же обещали неприкосновенность...

— Народ всегда прав,— ответил Риго сквозь зубы. Молча, не вмешиваясь, наблюдал он за сценой казни генералов.

Тут Фаншетта увидела мать, бросилась к ней, обняла, прижалась.

— Что это? Что это?— спрашивала, содрогаясь от пережитого.— Мама, что же это?

— Храни нас господь! Это революция, дочка!

5

Нарастающий гул барабанов заставил Неретина замкнуть номер и спуститься вниз.

— Национальная гвардия напала на генералов!— сообщила мадам Тиссо; она спешно связывала узлы— а вдруг придется бежать от кровожадных федератов?

Неретин улыбнулся и поспешил к месту сбора батальона.

Мимо чинных особняков и отелей respectableного бульвара Сен-Жермен валила орущая и жестикулирующая толпа. Казалось, все предместья хлынули в центр, повинясь зову барабанов. Кучера omnibusов распрягли лошадей— какое уж тут движение!

И тут у Неретина екнуло сердце. Сквозь давку пробиралась Мария. На ней была все та же миниатюрная шляпка, в руке тяжелый баул из желтой кожи.

Сдерживая дыхание, Неретин поздоровался, предложил помочь. Вопреки ожиданию Мария отдала ему баул, он понес его в здоровой руке.

— Уф!— сказала Мария, прикладывая платочек ко лбу.— Фиакра не найти!

— А куда вам?

— На Орлеанский вокзал. Как видите, уезжаю. Можете теперь не опасаться за свою драгоценную жизнь.

Неретин почувствовал, что его опять заносит, как шальную лошадь.

— Мария Васильевна! Еще раз, может быть, последний раз... Бакунин, Нечаев, они вас погубят!..

Проклятое косноязычие! Как высказать все, что переполняет душу? Как убедить? Мария разглядывала его сбоку, из-под опущенных ресниц:

— Неретин, все-таки в вас есть что-то человеческое,

иначе бы я вам не сказала и двух слов. Так не теряйте же последних остатков достоинства, не говорите глупостей. Вы прекрасно знаете, я не брошу...

— Нет, бросьте, бросьте! Я бросил, и вы бросьте свое... Едете завтра же... Нет, сегодня... Во Мценск, в Петербург! Или в Ниццу, в Неаполь, хоть на Гавайские острова...

— Вы печетесь о моей судьбе, я тронута, спасибо. Но послушайте, оставьте это ваше донкихотство. Хотите, лучше — перед расставанием — я откровенно скажу.

— Мария Васильевна!

— Нет-нет, слушайте!

Странно было видеть на ее всегда замкнутом и суровом лице мгновенный налет доверчивости и доброты.

— Когда-то брат Гурий, приезжая из корпуса, рассказывал только о вас. О спорах, о планах, о том, какой вы замечательный друг! И я, дуручка, мечтала о вас!

— Но как же теперь...

— Пойдите. Когда лежала на вашей койке, сознание теряла. От ненависти, от ненависти, да! А вы унижались передо мной, умоляли о чем-то. Я встала и ушла, вы пальцем не пошевелили. А если бы мы поменялись ролями, поверьте, уж я бы... Что же, — Мария вздохнула, показалось даже, что она хочет улыбнуться, — выходит, что и ненавидеть вас нельзя!

Некоторое время они шли молча, как через пустыню, не замечая гомона и толчеи.

— Помните, может быть, — сказала Мария, — у Лермонтова маска говорит князю:

Ты бесхарактерный, безнравственный, безбожный,
Самолюбивый, злой, но слабый человек...

Неретин еще раз пытался заговорить, но она опять перебила:

— Пожалуй, прав теперь Лавров, ведь вы его, конечно, знаете? Бороться не против отдельных личностей, а против всей системы. Ведь при других обстоятельствах, пожалуй, и вы могли бы сеять разумное, доброе, вечное...

— Мария Васильевна, на себя мне наплевать... Вас хочу спасти! Как сказал тургеневский Базаров, ваш же, вероятно, любимый герой... Охота ли жизнь отдавать за последнего мужика?

— А что вы знаете о жизни этого последнего мужика,

вы, мценский барич? Если бы знали, повесились бы, а к жандармам служить не пошли.

Неретину вспомнилась низкая, прокопченная изба, вонючее тряпье, тощий ягненок... «Не судьба, барин милый, не судьба!»

— Лучше вот что, Неретин. На вас мундир Национальной гвардии. Это простые, доверчивые люди, они вас за что-то любят, уважают, бог с ними. Так будьте хоть здесь человеком! Пусть по вас одному не судят скверно обо всем нашем народе.

Она кивнула ему, поправила шляпку. Неретин с ужасом чувствовал, как иссыкает последняя капля надежды. Они стояли уже напротив вокзала. Мария взяла баул.

— Неужели... — произнес он хрипло, — неужели ничего не вернешь? Поверьте мне! — крикнул он так, что прохожие обернулись. — Неужели нельзя?

Мария, помедлив, вскинула глаза, ответила, как отрубил:

— Нет.

И, не прощаясь, не оглядываясь, стала подниматься по ступеням. В отчаянии Неретин ухватился за последний, самый нелепый аргумент:

— Но что же вы сами убегаете от революции? Слышите, что кругом? Куда же вы?

Ему показалось, что она на мгновение остановилась, даже сделала движение, чтобы поставить баул. Но тут же ее заслонила суетолака, тащили детей, скликали слуг. И как ни всматривался Неретин в толпу под колоннадой, он больше не видел Марии.

6

Мимо промаршировал какой-то батальон, захвативший тюрьму. Среди синих кепи в строю мелькали холщовые шапки заключенных. Федераты возбужденно кричали:

— На Ратушу, на Ратушу!..

Неретин нахмурился. Он, требовавший от своих бойцов неуклонной дисциплины, опоздал к сбору! Без командира там растерянность, Дюваль не знает, что делать, а Варлен... Неретин прибавил шаг.

— Эй, капитан, обожди! — закричал за его спиной мальчишка в рваной безрукавке. — Как ты быстро шагаешь, капитан!

Мальчишка перевел дух и сообщил, что некий пожилой мсье в очках (мальчишка пальцами изобразил два кольца вокруг глаз) желает капитана видеть.

— Какой мсье?

— Уж какой, это ты сам, капитан, посмотришь. Он ждет тебя на лавочке в Ботаническом саду. Он велел, чтобы я подошел, когда ты будешь один, а ты все время любезничал с этой красоткой... За мои труды с тебя не меньше су!

Да, это действительно был Захар Кузьмич, закрывшийся газетой.

— Вопреки всем правилам, встречаюсь с вами на улице... Что поделать, такие события! О чем вы разговаривали с этой Войницкой? Впрочем, это как-нибудь потом. Расскажите поподробнее, что делается в ЦК Национальной гвардии.

Птичка по песку аллеи прискакала к их ногам; повернув головку, разглядывала, любопытно сверкая глазом.

— Я нигде не был со вчерашнего дня...— проговорил Неретин, опуская глаза.

— Как же это со вчерашнего дня? Вы, такой образцовый командир! Ни за что не поверю... А скажите, что предполагает делать Варлен? А этот их «сто чертей на бочку»? Вы расстроены, понимаю... Вы много потрудились, устали... Но еще последнее усилие, и тогда уж домой!

Он достал бумажник. Сколько угодно? Одна, две, три тысячи? Что? Неретин не нуждается, он получил жалование за время госпиталя?..

Бумажник чуть не выпал из его рук. Это же неестественно, когда человек отказывается брать деньги! Он стал уговаривать Неретина, даже острил, что скромность украшает человека, но еще лучше это делают деньги...

— Идите к Люллье, находитеесь при нем неотлучно, влияйте на него. Кстати, вы ведь у него бывали...

И тут Захар Кузьмич осекся, сообразив, что впопыхах допустил оплошность. Разве можно показывать агенту, что за ним тоже наблюдают? Подобно птичке, он приоткрыл сощуренный глаз и увидел на лице Неретина безграничное терпение и тоску.

— Ну что вы, голубчик,— сказал он нежно.— Я поеду в Версаль, там, вероятно, есть для вас письма. А вы уж, пожалуйста, постарайтесь. Что это с вами? Вы что-нибудь хотите мне сказать?

Он угадал. Неретин как раз собрался с духом, даже привстал со скамейки, чтобы сказать решительное «нет».

И внезапно увидел, что перед ним вовсе не Захар Кузьмич в его обычной маске благодушия. Жестокий господин, хозяин, смотрел на него не мигая, губы скривила недобрая усмешка.

Давнишняя привычка повиноваться и трепетать заставляла Неретина расслабленно опуститься на скамью...

А Захар Кузьмич исчез незаметно, будто растворился в кустах.

7

В малом салоне министерства иностранных дел старинный паркет, слегка подаваясь, глушил шаги. Тьер ходил по салону, кургузые фалдочки так и взлетали при каждом повороте. Сведения были самые неутешительные. Пушки захватить не удалось, солдаты братались с федератами, генералы бежали. Хуже того, к полудню батальоны федератов сами пришли в движение и начали вытеснять правительственные войска из почты, телеграфа, вокзалов. В час пополудни адъютант доложил: арсенал захвачен инсургентами.

— Мой бог, мой бог! — вздыхал Тьер, ускоряя шаги.

Прибыл Жюль Фавр, министр иностранных дел. Эта завистливая обезьяна, конечно, втайне злорадствовала. С драматической печалью Фавр сообщил, что он с чиновниками оставил Ратушу и ее тотчас же заняли Варлен, пришедший с батальонами из Батиньоля, Рауль Риго — с Монмартра, Дюваль — из Латинского квартала.

— Не угодно ли позавтракать? — с бешенством предложил ему Тьер.

Блюда стыли на столе, к ним не притрагивались. Фавр удалился, обещая принять различные меры, на самом деле, конечно, поспешил удрать в Версаль. Тьер послал доверенного слугу в аббатство святой Урсулы за братом Захарией, уж тот что-нибудь да придумает. В ожидании он томился у зеркальных окон, выходящих на набережную. На том берегу виднелась площадь Согласия, купола банков и крыши министерств. Боже, спаси Францию, так как профессор Тьер, кажется, уже не знает, как ее спасти.

Вошел кто-то солидный, в штатском, с бородкой, напоминающей Наполеона III, с острыми кончиками усов.

Сердце у Тьера екнуло, как у нашалившего школьника: неужели вернулся «сам»?

Нет, слава богу, это генерал Винуа! Но почему он в штатском? Этот обывательский сюртук, животик выпирает...

Винуа принес еще худшие известия. Леконт и Клеман Тома расстреляны на Монмартре. (Помолчали несколько секунд.) Верных войск почти не осталось, есть две роты драгун, их расположили во внутреннем дворе министерства, чтоб были под рукой... Что думает предпринять господин глава правительства?

Тьер предложил — всем министрам и правительственным чиновникам пока уезжать в Версаль.

— Да они уж и сами туда бегут! — махнул рукой Винуа.

И вдруг их уши уловили мерный шаг воинской части, где-то возле Марсова поля. Шаг приближался, слышался барабан, надсадный мужской голос запевал:

Республика нас призывает
Погибнуть или победить,
Мы наши жизни ей вручаем,
Но без нее не станем жить!

Все ближе надвигался барабан, слышалось бравое «ать-два». Винуа хотел подойти к окну посмотреть. Тьер удержал его за руку, и они притаились в глубине, возле вычурного камина. Барабан все ближе, все невыносимей, песня гремит, будто ее кричат им в уши. Вот под окнами проплыло древко красного знамени с водруженным сверху колпаком. О боже, о господи, это за ними, это идут их арестовывать!.. Сейчас раздастся команда: «Направо кругом!..»

«Да здравствует Коммуна!» — рывкнул мужской хор. Тьер и Винуа вздрогнули, схватились друг за друга. Мгновенья текли как бесконечность.

Однако шаг постепенно удалялся, песня затихала за поворотом. Проходила дрожь. Неужели пронесло?

Только когда начало смеркаться, пришел брат Захария. Странно: усталое лицо его выражало довольство, хотя очки он где-то потерял, сюртук оказался порван. «Эк его потрепали», — не без ехидства подумал Тьер. Немедленно выслал всех из салона, набросился на него:

— Досточтимый брат мой! Признаю свою вину, ах, вы были правы, нужно было крайне осторожно!.. Но что



же сейчас предпринять? Уж не поехать ли мне в Ратушу, не спросить ли океанный Центральный комитет, какие они ставят условия?

— Нет, мой шеф,— ответил брат Захария, располагаясь на стульчике напротив дивана, на который в изнеможении опустился глава правительства.— Торжествуйте, ваша победа обеспечена.

Некоторое время Тьер недоуменно молчал, потом выговорил:

— Вы с ума сошли! Все гибнет, все бежит...

— Заверяю вас! Картина вырисовывается такая: взрыв восстания был стихийным, неожиданным даже для революционеров. Что бы потом ни стали говорить историки, никакого предварительного плана не было. Накануне ЦК Национальной гвардии заседал до полуночи, так что пока на Монмартре шли бои из-за пушек, вожак спали. Только после обеда они собрались в захваченной Ратуше, и то бездействуя—ждали, когда придет Огюст Бланки, который у них намечен диктатором мятежа. Но Бланки почему-то не прибыл.

— Неужели так?—приободрился Тьер.

— Да, да! Мы с вами боимся их наступления на нас, а они, наоборот, ждут нашей атаки. Какая жалость, что нет у нас войск! Но главный момент ими упущен, и если впредь они будут так же неторопливы, осмелюсь заверить—победитель вы!

Постучал в дверь адъютант, вручил депешу: «Арестован Бланки, ждем ваших распоряжений».

Тьер вскочил с дивана, забежал, на сей раз в мажорном темпе.

— Я приведу в исполнение план, который я предлагал еще Луи-Филиппу в сорок восьмом году и который он, увы, не исполнил. Я выведу войска из Парижа, чтобы прекратить их общение с народом. Я упрошу Бисмарка, чтобы он отпустил пленных. Я сконцентрирую армию в Версале. Я вернусь в Париж... Нет, я ворвусь, буду убивать, жечь, давить, что бы ни говорили иные филантропы!

— А я,—размышлял вслух брат Захария,—с вашего позволения, я останусь здесь, буду действовать изнутри.

Когда совсем стемнело, карета главы правительства выехала из задних ворот особняка на Кэ д'Орсе. Тут же ее взял под охрану большой отряд драгун в блестящих касках. Кавалькада что было духу помчалась к Версальской заставе. Там у распахнутых ворот толпились федераты

с факелами, в пляшущем свете творилось какое-то фантастическое действие. Драгуны и карета мчались, не замедляя хода.

— Эй, кто едет, остановись! — закричали часовые.

Дисциплинированный кучер начал было осаживать. Тьер забарабанил ему зонтиком в спину. Карета рванула и проскочила. Услышав за спиной успокоительный цокот драгун, Тьер откинулся в подушки сиденья. Пронзая ночь пиками фонарей, карета мчалась в Версаль.

Глава седьмая УЛИЦА МИРА

1

Здание мэрии пятого округа на площади Пантеон напоминало военный лагерь. Сновали вестовые, интенданты волокли какие-то ящики. Федераты, свободные от караула, спали прямо на полу.

Одна из дверей вела в штаб 193-го батальона. Неретин хотел войти, но часовой, отлично его знавший, наклонил штык.

— Не велено пускать. Эй, доложите Дювалю!

Так и следовало ожидать! Командир явился в свою часть после самовольного отсутствия...

Тогда, 18 марта, он, конечно, опоздал — батальон ушел. Неретин отправился на квартиру Люлье. Пребывание при особе главнокомандующего, конечно, не может считаться дезертирством. Но там подсунули карты, вино, требовали — пей! Репортер Фидюс с усмешечкой поднес коньяку:

— Ну, выпейте хоть за любимую. Ведь есть же у вас любимая?

Сердце словно игла пронзила. Боже, какие наивные сентименты! Да и что можешь ты понимать в этом, мерзкий Фидюс? Неретин взял коньяк, проглотил, а стакан так махнул об пол, что вся компания взвыла от восторга.

Остальное помнит смутно, как дурной сон. Люлье становился в позу Бонапарта, кричал:

— Я поведу вас к новым Маренго и Аустерлицам!

По знаку виконта де Ноайля присутствующие возглашали:

— Да здравствует капитан-лейтенант Люллье, лучший из генералов!

Матросы из личной охраны главнокомандующего еле успевали подносить ящики вина. Являлись курьеры из Ратуши, где теперь обосновался Центральный комитет Национальной гвардии. Люллье приказал гнать их в шею. Приходили командиры федератов узнать, почему до сих пор не перекрыты заставы. Люллье принять их не пожелал, поручил виконту, тот, в свою очередь, выслал к ним Неретина.

Глядя на шатающегося, пьяного, еле ворочающего языком Неретина, командиры сказали:

— А, русский! Мы-то думали, ты болен, раз по тревоге не явился. А ты, оказывается, та же пьянь...

От позора и слабости Неретин свалился под вешалку, распухшую от шинелей. Скрипел зубами, оплакивал себя. Сколько уж прошло времени, он не помнит, но вдруг ему послышался категоричный голос де Ноайля.

— Подайте мое кепи. Итак, до свидания, Фидюс. Доложите на улице Доминик, что я отбыл. Да и сами не мешкайте, здешняя лавочка вот-вот закроется... Пусть поп теперь командует сам.

— Он, позвольте доложить, непочтительно про вас выражается. Так выражается — комар, говорит, сидя на лбу у льва, тоже воображал себя царем. Вы понимаете, виконт, на что это намек?

— Ладно, ладно, вы тоже хорош гусь. А кто комар, кто лев — мы еще увидим. Прощайте. О, черт возьми, кто это валяется тут под ногами?

— Это, хи-хи, наш Неретин... В Ратуше теперь ему ни за что не поверят, хоть он с красным флагом наперевес кидайся на митральезы!

Он пнул ногой лежащее тело.

— И все-таки, Фидюс, можете передать попу мое мнение: не нянчиться бы с этим русским — убрать, и никаких!

Затем жуткое пробуждение в своем номере. Кто привел, уложил — неизвестно. Долго соображал, шевелятся ли руки, ноги, почему голова как чугун. Вдруг до мелочей вспомнил вчерашнее и словно провалился в бездну мучительного стыда.

Этот разговор у вешалки... Значит, все было подстроено Захаром Кузьмичом? Недаром он так настаивал, чтобы Неретин находился у Люллье! «Убрать, и никаких!» Ну погодите, любезные, так просто «убрать» вам его не

удастся! Только бы хоть крупица веры в него осталась у тех...

И вот он стоит перед дверью с надписью «Штаб батальона», и часовой кричит:

— Эй, позовите же начальство!

Пришел Дюваль, почесал затылок.

— Ты отстранен, Неретин. Сам понимаешь...

Неретин молчал, потупясь, а Дюваль велел часовому:

— Ну, пропусти. Ему надо расписаться в приказе, денежный расчет получить.

В бывшем кабинете Неретина теперь распоряжался Дюваль, коренастый, основательный, весь в скрипучих ремнях. У окна стоял Рауль Риго, смотрел на улицу. Услышав шаги, сказал через плечо:

— Как хочешь, милочка моя Дюваль, ты неправ. И ты, и Варлен, и Делеклюз, и прочие. Зачем дожидаться выборов в Коммуну, чтобы двинуться на Версаль? Да и к чему вообще эти выборы? Разве ЦК Национальной гвардии не власть?

— Но нужно, чтобы все было по закону...— возразил Дюваль.

— По закону!— воскликнул Риго, поворачиваясь.— Честный Дюваль! Когда-нибудь отольется нам всем эта наша сугубая честность!

Дюваль его остановил:

— Может быть, после? Здесь посторонний.

У Неретина сердце сжалось от этого «посторонний».

Из бороды Риго выползла усмешка:

— «Посторонний»! Наши вожди рассуждают по-другому. Вчера был я у Варлена, чтобы конфиденциально решить одно дело. Так Варлен нарочно распахнул все окна и двери, говорит, между правительством и народом не может быть тайн. А ты, милочка моя,— «посторонний»!

Затем погасил улыбку и обратился к Неретину:

— Вы, гражданин, как я слышал, свой человек у Люлье? Расскажите, что у него за охрана, где она расставлена? Вы должны нам помочь, если вы действительно не враг.

Дюваль отдал команду. Дремавшие федераты повскакали с пола, стряхивая пыль. Клацали затворы. К подъезду подали фуры. Риго и Дюваль поместились в первой, посадив Неретина перед собой.

Ясно, они едут арестовать главнокомандующего.

У них это просто — сегодня выбрали, завтра сместят. Вот он сидит, Дюваль, насупленный, решительный. Поставил саблю между колен, вцепился в эфес коричневыми лапами литейщика. Еще лет семь тому назад, говорят, Бланки велел ему учиться военному делу. И вот революция, и Дюваль — генерал!

Перед дверью Люллье оказался только один здоровенный детина, матрос. Увидев входящих, наставил карабин.

— Пропусти,— сказал Неретин.— Разве ты меня не узнаешь?

В квартире Люллье было все так же дымно и гадко. Виконт и репортер исчезли, но появилось много новых, пьющих и толкущихся вокруг зеленого стола. Появление федератов с примкнутыми штыками произвело впечатление катастрофы.

— Сто чертей на бочку, кто вы такие? — крикнул Люллье из ванной, где слуга обливал ему голову.

Риго предъявил приказ об аресте. Ярость Люллье обратилась на Неретина:

— Это ты, мсье, их привел? А я и не знал, что ты — тьфу! — Затем обрушился на Риго: — Это незаконно, я буду жаловаться в Коммуну, как только ее изберут!.. Я дрался как лев, у меня двух адъютантов убило, а подомной коня! Я отдал тысячу пятьсот приказов!

Его усадили в фуру, с ним его офицеров; конвой впереди и позади, Риго повез бывшего главнокомандующего в тюрьму Сент-Пелажи.

Дюваль и Неретин пешком возвратились в мэрию.

— Из-за этого алкоголика, фанфарона,— печалился Дюваль,— жандармы сумели захватить Бланки!..

Грубоватые черты его смягчились, он стал похож на деревенского новобранца, только что втиснутого в военный мундир.

— Ты не знаешь, Неретин, что значит для нас Бланки! Я ведь сирота, и мне он больше чем отец. Двадцать лет он просидел в тюрьмах, подумай только! И как раз в тот момент, когда он направлялся, чтобы занять свой пост руководителя революции...

В мэрии Дюваль показал приказ: «Ввиду того что Неретин Валерьян без уважительной причины... Центральный комитет Национальной гвардии постановляет — отчислить...»

Вот как! Не отстранить от командования, а отчислить совсем!

— А нельзя ли хоть рядовым?

Дюваль покачал головой.

— Может быть, пойти к Варлену?

Дюваль указал на одну из подписей в конце приказа. Там сначала шли четкие, решительные буквы: ВАРЛЕ..., а «Н» заканчивалась какой-то слабой завитушкой.

2

Вот и всё. Неретин, обогнув баррикаду, вошел в аллею Люксембургского сада. Вдали у дворца звучал барабан — там остатки разбежавшихся полков сворачивали палатки и уходили в Версаль.

Но в дальней части сада была тишина, весенний туман стлался над голым кустарником. Неретин уселся на скамью, разжег трубку. Вспомнились строки из давней школьной хрестоматии: «Вот Люксембургский сад. Вот возвращение в школу. Листья желтеют и падают один за другим на белые плечи статуй...»

Сейчас не осень — начало весны. И листья не падают на плечи статуй: скульптуры забиты в деревянные домики и обложены мешками с песком. Но воздух терпкий и манящий, возбужденный гомон птиц...

И он, Неретин, уже не школьник. «Едва лишь дней достиг я середины...» Это, кажется, Данте? И образование получил, и всё... А зачем? «Ворон, ворон, ты летаешь, в целом мире одинок».

С самого начала нужно было как-то иначе. А ну-ка, ну-ка, когда же это началось? В тот день, когда выдал он Иванищева? Нет, раньше, раньше — когда Гурий мечтал о всеобщей справедливости, о восстании, а Неретин лениво говорил ему: «Не люблю я твоих поляков...» Вот откуда все идет — от лени души, от нежелания противостоять обстоятельствам: дядюшке-сенатору, господину с височками, Захару Кузьмичу... Встать бы один раз, топнуть решительно — нет! И ринуться навстречу судьбе, как тогда на Андийском мосту.

Сегодня ночью так ведь и решено — и на тебе! Снова неблагоприятные обстоятельства сильнее самых добрых намерений... Как тогда, в болховской деревне, если бы стало характера, женился бы на той крестьянской деву-

шке. Пожалуй, единственная, которая любила его... И ей он тоже не дал ничего, кроме позора и муки...

Жаль, что Дюваль приказал сдать оружие, а то бы сейчас же, на этой же скамье, приставить дуло к виску — и прощай, Неретин, вечный неудачник! Хотя это тоже от неумения сладить с обстоятельствами. Неретин усмехнулся и выколол трубку.

Быстрая тень мелькнула рядом по песку.

— Добрый день, мсье... Хорошая погода, не правда ли?

— А, Фаншетта, это ты? Садись. Что ты тут делаешь?

Девушка явно выросла из своего латаного-перелатаного платья. Разбитые башмаки натирают ногу, она явно прихрамывает, но шляпка с цветочками, не без кокетства.

— Здесь мой брат, с двадцать вторым полком уходит в Версаль... Такой, знаете, типичный крестьянин, ничуть не понимает задач революции. Я его хотела уговорить остаться, куда там!

Она махнула смуглой рукой. Под ногтями грязь. А щеки обсыпаны веснушками, ресницы мохнатые, как черные щеточки. Вот нос слишком велик и портит всю ее задорную рожицу.

— Фаншетта, знаешь ты, кто такой Бланки?

— О, Бланки! — Глаза ее сверкнули, как будто речь шла об очень близком человеке. Но тут же смешалась и, покраснев, ответила: — Отец или Антуан, они бы вам рассказали, а я...

Весна изнутри колотилась в ее шальных, счастливых глазах.

— А вы, мсье, почему не с батальоном? Я слышала, что сто девяносто третий батальон выступил к заставам...

Неретин почувствовал к ней внезапное доверие. Тоже мечется в поисках себя, божья тварь!

— А меня, Фаншетта, прогнали из батальона...

— Прогнали? Не понимаю... Вас прогнали?

— Да, да, меня прогнали, это так.

— Но за что же?

— За то, что я — шпион.

Неретин с каким-то злорадным удовольствием наблюдал, как девушка не может справиться с полученным известием.

— Шпион... Вы?

— Да, я шпион. По крайней мере был им до сегодняшнего дня.

— Но ведь шпионов надо убивать!

— Ну что же, черт побери, если так, возьми да и убей!

Видно было, что Фаншетта приняла все это как шутку, но все-таки обескуражена, не знает, что сказать, как поступить. Она еще немного поболтала и, заявив, что ей срочно надо получать заказы на цветы, умчалась. Встал и Неретин, побрел между стоячих гробиков, в которых томились белые статуи. Вышел на улицу Вожирар и обмер — навстречу ему, сверкая на солнце стеклами очков, озаряя встречных улыбкой, продвигался не кто иной, как Захар Кузьмич!

Неретин первый заметил его, сделал движение, чтобы перейти на другую сторону. Но вдруг какая-то безумная решимость его охватила. В уме все осветилось, как ночью при вспышке зарницы, стали видны все подробности, что делать, как поступить... Он поравнялся с Захаром Кузьмичом и тихонько тронул его за локоть.

3

Ришардье принес хорошую весть — ЦК в Ратуше постановил: задолженность за квартиру не платить. Следовательно, отпали все официальные препятствия, и Агнеса может переехать к нему в отель «Обюссон». Решили, однако, повременить — Ришардье попросит в «Папаше Дюшене», новой газете, где он начал работать, аванс и кое-что купит: ширмочку, постельное белье.

К своему удивлению, Агнеса почувствовала, что ей грустно покидать подвал Мишо. Как теперь станет жить она без вечного шума и детской возни, без воркотни матушки Мишо и ежевечерних политических споров?

Выдался вечер янтарный, умиротворенный. Агнеса вышла погулять на бульвар. Она уже привыкла к заводу и не так уставала к концу дня. Возле театра ей повстречался поэт Шардо де ла Тур. Какая-то грусть вытеснила его всегдашнее веселье. Искорки больше не порхали (как это некогда находила тетя Леонтина) в глубине его ореховых глаз. Он не выражал своего сочувствия по поводу перемены судьбы Агнесы. Нашел, что она окрепла, стала настоящей красавицей.

— Если пренебрегаете условностями, — предложил он, — приходите ко мне, вот моя карточка. Мы живем там,

можно сказать, коммуна — питомцы муз, художники, просто студенты... Завтра вечером и приходите.

Агнеса согласилась. Она уже не племянница барона, а простая упаковщица. Пролетарии же не знают условностей, — не так ли говорит Антуан?

Когда на следующий день она собралась к Шардо де ла Туру, Антуан вызвался ее сопровождать.

— Вы же отрицаете поэзию, музыку, театр, — лукаво ответила Агнеса, — уверяете, что рабочему это все ни к чему. А там как раз будут читать стихи и обсуждать картины.

— Отрицать — еще не значит не знать, — ответил Антуан, доставая свой чудом избежавший ломбарда сюртук. — Послушаем стишки, посмотрим картинки.

Впрочем, Агнесе было приятно, что он напросился с ней идти. Во-первых, с таким силачом можно ничего не бояться, во-вторых, она уже как-то привыкла к его постоянному присутствию, даже к его топорным колкостям.

На верхней площадке старого комодообразного дома на улице Гей-Люссак дверь им открыл Шардо де ла Тур. Антуан представился:

— Мишо, рабочий...

— А я хоть и аристократ голубых кровей, — улыбнулся поэт, — но живу на правах пролетария. Единственное, что мы тут себе позволили по части роскоши, — вот этот фонарь. — Он указал на целиком остекленный угол. — Чтобы наш друг Марель мог писать свои картины.

Марель оказался безбровым, беленьким, приветливым. Кроме него, в этой чердачной комнате находилось множество народа — сидели просто на полу, на стопках книг, на поваленном мольберте. Имевшиеся три или четыре стула были предоставлены девушкам.

Подскочил развязный юноша с галстуком в горошек. Все называли его Бурош, и был он тут, по-видимому, душой общества.

— Увы, стульев больше нет, а сидеть на полу вам, мадемуазель, не подобает! Так могу ли я вместо кресла предложить вам сесть мне на колени?

— Студенты! — извинительно улыбнулся Шардо де ла Тур и извлек откуда-то складную скамеечку для Агнесы.

— Итак, продолжаем диспут! — распоряжался Бурош, красуясь своим пестрым галстуком. — Что это ты говорил, Люсьен, насчет конца света?

— Не так давно был я в одном знатном доме...

— С этих слов обычно начинаются все приключения нашего поэта,— комментировал Бурош, наклоняясь к Агнесе.

На него зашикали.

— И в этом доме все говорили о скорой гибели цивилизации.

Мы, пугливые кролики, спрячем уши под камень,
Человекообразные звери будут нас ловить...

— Но революция — это и есть обновление, новая ступень духовного существа человека,— возразили ему сидящие на подоконнике.— Почитай-ка старика Жан-Жака! Если так — значит, наоборот, цивилизация распространится, вырастет... Каждый из людей, кто бы он ни был, станет ее носителем в полной мере.

— О нет, друзья.— Голос поэта был печален.— В теории, может быть, это и так, я не знаю... Но лишь немногие носят в себе чудесный дар Аполлона. Им нужно полное уединение...

— На чердаке,— вставил Бурош.

— Где угодно, но чтобы не было рядом грубых рук, голосов, как лай, бесцеремонного вторжения... А вы хотите, чтобы я свое сокровенное растворил в миллионах серых и безликих? Это им не поможет и обездолит меня...

Все заговорили, перебивая друг друга. Агнесе же стало мучительно жаль грустящего непонятно о чем поэта. Захотелось немедленно сказать ему что-нибудь, ободрить.

— Вот мы тут спорим,— вскричал Бурош,— а знаете ли, что наш дружок Марель бросил писать монмартрские закоулки и толстушек натурщиц? Уже неделю, как малюет плакаты для «Папаши Дюшена». Если бы видели вы, какие хари капиталистов, какая гневная Марианна! Объяснись, Марель!

Художник вынул трубку изо рта и, помигав глазками, сообщил, что там хорошо платят.

— Проблема искусства в революции решена! — возглашал Бурош, махая руками над головой.

Все смеялись. Пожелали увидеть, чем занят Марель сейчас. Оказалось, он успел нарисовать Агнесу. Сделал еще более воздушными ее волосы, еще более тонкими ее черты. Женщины ревниво, а мужчины с восхищением сравнили набросок и оригинал.

Агнеса не успевала раздавать ответные улыбки. Шардо де ла Тур спросил: а за кого она в споре об искусстве?

— Люсьен,— сказала Агнеса тихо,— Люсьен, что с вами? Вы грустны. Может быть, больны?

— Мадемуазель, мне кажется, я скоро умру...

— Что вы, Люсьен! — Агнеса испуганно взяла его за руку.— Вы же так молоды, вы так далеки от всех этих нелепых событий!

— Очень скоро... Предчувствия давят... Я вижу сны...

— Боже! — прошептала Агнеса.

А студенты кричали Антуану:

— Ну-ка, представитель рабочего класса! Твое мнение об искусстве и революции?

Антуан встал, как школьник, и ответил, что у него пока нет мнения.

4

— А вот и Рауль! — вскричали сидящие у двери.

Вошел Риго, отцепил саблю, швырнул ее на стол. Военный сюртук его был у ворота расстегнут, виднелся небрежно повязанный шейный платок, пенсне сверкало.

— Потихе, братцы! — балагурил Бурош.— Это будущий министр полиции Коммуны, которую мы изберем в воскресенье.

— У Коммуны не будет полиции, у Коммуны не будет министров,— ответил Риго, усаживаясь на подоконник, где сидели медики, его однокашники.— Будут народные делегаты, столь же доступные, как любой гражданин. Будет всеобщая охрана порядка...

— Ого! — воскликнул Бурош.— Но ты же все-таки сидишь в министерском кресле, получаешь оклад небось пять тысяч франков, не меньше... Девушки, вот это жених, ха-ха-ха!

— Мы проголосовали в ЦК Национальной гвардии; в какие бы кресла нас ни посадило революционное правительство — министров ли, директоров, генералов,— в любом случае каждый из нас сохраняет оклад рядового — тридцать су в день, что составляет сорок пять франков в месяц. Вот так, милочка моя.

— Да на эти деньги не купишь и пальто!

— Мы решили также, будучи у власти, не иметь ни особняков, ни экипажей, ни вилл, ни слуг. Мы вышли из народа и в народ возвратимся, когда он перестанет в нас

нуждаться. А уж если подопрет...—Риго подмигнул, достал табакерку и постучал по ней ногтем,— тогда понюхаем табачку!

— А нельзя ли совсем без министров, без чиновников, без делегатов?—внезапно высказался Антуан, пристально глядя на франтоватого Риго.

— Это как же без чиновников?—заговорили присутствующие.—Это уж будет совсем беспредел!

— Как это тогда будет, как?—допытывался неугомонный Бурош.—Тебя ведь зовут Антуан? Вот, Антуан, предложил, теперь изволь разъясняй—как?

— А вот так,—упрямо сказал Антуан, даже голову наклонил.—Если социализм действительно абсолютное равенство, то по жребию... По очереди, чтобы каждый плотник или каждая кухарка... Я не умею высказаться, но как в Древней Греции, по жребию каждый.

— Как в Древней Греции!—смеялись студенты.—Вот что он, оказывается, знает!

Риго отнесся к реплике Антуана совершенно серьезно, насупился, протер пенсне, водрузил его на место.

— Так это, уважаемый гражданин, будет уже не социализм, а просто анархия.

Пили крепчайший кофе, курили ужасные сигары. Пришлось открыть фрамугу в стеклянном потолке. Яркие звезды заглянули в насквозь продымленную комнату.

— Ну ее, политику!—решили студенты и просили Риго высказаться по поводу искусства.

— Ну что ж, скажу.—Риго отставил кофе и водрузил на переносицу пенсне.—Все подчинено закону высшей необходимости. Все целесообразное в искусстве мы примем, все бесполезное отвергнем. Но это-то и будет новый, невиданный расцвет искусства.

«Какой категорический тип!»—подумала Агнеса и с удивлением увидела, что Антуан с симпатией всматривается в бородатое лицо Риго. Действительно, они чем-то схожи—непреложностью суждений, что ли?

Поднялся шум и новые споры, но Бурош кричал:

— По домам, по домам, уж поздно, а нашему министру спозаранок в свое кресло!..

— А все-таки,—резюмировал Антуан, когда они вышли на улицу,—на черта эти стишки, когда кругом тысячи без хлеба? На черта картинки, когда смерть еще у ворот?

Агнеса хотела начать говорить о вечной жажде пре-

красного, но подумала: разве этому непробиваемому втолкуешь? Пожалуй, даже брат Захария, с его чарующим душу голосом, и тот не смог бы.

На пути попалась церковь. Было преддверие пасхи, и служба шла всю ночь.

— Зайдем в церковь?— предложила Агнеса.

— Интересно, а что мы там потеряли?

— Ну погреемся. К тому же, вероятно, там будет орган.

— Орган? Что это такое?

В восторге от такой наивности Агнеса схватила его за руку и повлекла за собой. Было мало народу, кюре и служка в кружевных стихарях копошились у алтаря. Антуан придерживал Агнесу за локти и терпеливо молчал.

И вдруг Агнеса почувствовала, как пальцы Антуана на ее локте дрогнули, напряглись,— это заиграл орган. Сначала басы исподволь, потихонечку гудели, будто из-под земли. Потом все сильнее и сильнее— угрюмая масса проносится, все сглаживая и стирая. Голоса торопятся, шелестят, предчувствуя перемены. Выкрики, словно зарницы во тьме. И вот он, хорал, как торжественный вопль встающего дня.

— Когда я слушаю это,— шептала Агнеса, повернув лицо к Антуану,— мне чудится мистический город... Из ветра его улицы, из лучей его стены... Город, где хоры ангелов неисчислимы...

— Да помолчи...— вдруг шепотом сказал Антуан.

Агнеса сначала обиделась, но потом ей стало понятно— он слушает музыку, его проняла музыка! Вот оно где, ваше слабое место, гражданин отрицатель!..

Потом они молча шли по бесконечным набережным, наблюдая, как россыпь огней дрожит в ночной реке. Когда уже были близко от дома, Антуан прислонился к парапету моста и так стоял с опущенной головой. Агнеса насторожилась. После слов Шардо де ла Тура ей во всем чудились мрачные предзнаменования.

— Что с вами, Антуан?

Но он не отвечал, смотрел на нее сверху вниз. Она потрясла его за руку:

— Ну что же с вами?

Антуан взял ее лицо в ладони и, помедлив, поцеловал. Агнеса изо всех сил оттолкнула его и пустилась бежать с моста. Уже у двери в подвал Мишо она обернулась к Антуану, который следовал за нею как тень.

— Если у вас революция,— голос ее дрогнул,— так вы и думаете, что вам все можно? Нет!

5

Мастер в цехе невзлюбил Агнесу, злобствовал по каждому пустяку. Придрался к тому, что она забыла с вечера оставшиеся гильзы закрыть в несгораемый шкаф. Наложил штраф— 300 су. Агнеса расплакалась. Штраф съест целую неделю ее работы!

— Господин мастер!— заступилась за нее вдова Клош.— Простите ее на первый раз.

Но мастер не хотел и слушать, брызгал слюной от гнева. Тогда, уперев кулаки в бока, подступила тетка Жужу:

— Ах ты, лакейская душа! Мы не на твоего Эврара работаем, мы на революцию, на Коммуну! А ну-ка, отмени штраф!

Работницы стучали щипцами по столам, шумели:

— Какие еще штрафы, когда и так простаиваем целые дни! То гильз нету, то пороха!

— Можете вообще идти домой,— сказал мастер.— Господин Эврар закрывает завод.

Женщины ахнули. Они же с семьями с голоду умрут! Окружили мастера, тот окончательно обозлился, выронил:

— Избирайте свою Коммуну, пусть она дает вам работу.

— А-а, фонарный висельник! Это все, значит, нарочно подстроено? Под стражу его!

Но мастер улизнул, скрылся.

Агнеса совсем пала духом. Из головы не шло вчерашнее происшествие на мосту... Что говорить, разве ей так мечталось? Ей снилось— подойдет некто, сияющий, влюбленный, объяснится и, преклонив колена, поцелует... Но так грубо, так внезапно!.. Нет, нет и еще раз нет!

Решено: сегодня же вечером она покинет подвал Мишо. Даже не вечером— сейчас же и уйдет, поскольку мастер разрешил всем идти по домам.

А этот Антуан, господи! Она ему о музыке, а он... Пусть теперь в одиночестве поразмыслит о своем поведении. Впрочем, почему в одиночестве? Найдется какая-нибудь в стиле его сестрицы...

Но укладчицы, завидев, что она снимает халат, сказали:

— Так не годится, дочка. У нас закон — все вместе. Пока правды не выясним, никто не уйдет!

Начальство, однако, как сквозь землю провалилось. Послали в Комитет бдительности. Агнеса в тоске бродила по цеху.

И вдруг ей болезненно захотелось увидеть Антуана. Как он? Переживает ли хоть чуть свой наглый поступок?

Блуждая вокруг штаповочной, Агнеса забрела к складу, куда вели рельсы узкоколейки. Пыхтя, проехал паровичок забирать вагонетки, груженные продукцией. Белозубый машинист что-то прокричал Агнесе, видимо комплимент, но из-за свиста пара нельзя было разобрать.

И тут до Агнесы донесся голос Антуана. Он вообще никогда не повышал голоса, а тут его крик был так гневен, что девушку бросило в дрожь. Она завернула за угол и увидела его.

— Где наряд? — напал Антуан на угрюмого господина с носом, свисающим до подбородка. — Поддай наряд! Без наряда Ратуши не позволим забирать патроны!

— Какое тебе дело? — Длинноносый пытался отобрать кольцо с ключами, которым завладел Антуан. — Ты простой рабочий, ступай к своему станку. А здесь начальство распорядится...

Лысый мастер в стороне следил, чем кончится схватка.

— Ах ты, Паделу проклятый! — вскричал Антуан. — Я не посмотрю, что ты живешь в нашем дворе!

Он так толкнул длинноносого, что тот чуть не врезался спиной в паровозик, но на помощь Паделу подбежали еще двое каких-то субъектов. Антуан обернулся и заметил Агнесу:

— Беги в цех, зови рабочих!

Агнеса вбежала в цех и, забыв всегдашнюю робость, крикнула:

— Бегите, там Антуан...

— Ну что твой Антуан? Тонет, что ли? — проворчала тетка Жужу, но укладчицы кинулись к тупичку у склада.

Там, окруженный тесным кольцом уже сбежавшихся рабочих, Антуан объяснял:

— Этого длинноносого я знаю, отпетый спекулянт... Стало мне подозрительно: куда, думаю, патроны вывозят? Вскройте-ка вагонетки — заготовки, штампы, гильзы... А мы здесь без работы...

Рабочие зашумели:

— Коммуне понадобятся патроны!

Потребовали ответа у машиниста паровозика:

— Куда ты должен был доставить вагонетки?

— В Версаль, куда же...

Раздался такой яростный крик, что Паделу втянул голову в плечи.

— Неправильно! — вдруг закричал лысый мастер, выходя вперед. — У меня есть приказ военного интенданта вывезти весь завод вообще. Вот и резолюция хозяина, господина Эврара... А он лжет, — указал мастер на Антуана.

— Нет! — неожиданно для самой себя топнула Агнеса с такой убежденностью, что брызнули слезы. — Не лжет, не лжет!

Это разрядило обстановку, все засмеялись. Агнеса, сгорая от неловкости, убежала в замолкший цех. Рабочие взяли ключи от складов, обнаружили запасы и пороха и сырья. Завод заработал во всю мощь. Паделу и его сообщников выставили вон. Мастер выругался и ушел в пивную.

В перерыве из Комитета бдительности пришла гражданка Натали Лемель. Рабочие рассказали ей обо всем.

— Хозяина сюда, хозяина! — требовали женщины.

— Что хозяин? — возразила тетка Жужу. — Он на заводе-то и не бывает... Что ему завод? Лишь бы стричь купоны да получать дивиденд.

— Немедленно отобрать у него завод, — предложил Антуан. И даже лозунг провозгласил: — Экспроприация экспроприаторов!

— Нет, друзья... — возразила Натали Лемель. — Не будем торопиться. Изберем Коммуну, она все решит. Кроме того, Прудон ведь учит: капиталисты имеют такое же право на присвоение своей доли общественного продукта, как и рабочие...

Остановилась на полуслове, задумалась и вдруг, рассмеявшись, села на перевернутый ящик.

— Лучше, ребята, дайте закурить.

Натали предложила:

— Выберите из рабочих доверенного человека. Пусть он будет представителем революционной власти при заводе господина Эврара.

— Да вот Антуана и выберем! — закричали работники. — Он у нас боевой!

Господин Цезарь Нурисье, чиновник министерства финансов, болезненно ощущал, как жизнь превращается в сплошное недоразумение. В тот кошмарный день, 18 марта, начальник собрал их и огласил приказ министра, господина Бюффе: в департамент больше не являться, Коммуне не служить, по возможности пробираться в Версаль!

Но дома усидеть было невозможно. С одной стороны, зуд любопытства: что в городе, чей верх? С другой — сын, золотушный юноша, с пробором, напомаженным, как у принцев с картинок «Всемирной иллюстрации», зудел в ухо:

— Отец! Что мы сидим? В Версаль, к законному правительству! Половина наших лицеистов уже с родителями там...

Ну как объяснить самонадеянному желторотику, что жизнь — это не карнавальная хлопушка... А вдруг действительно победит Коммуна? Чем тогда хотя бы платить за него в лицей? Ах, сын, носящий гордое имя Виктор-Огюст-Наполеон, только с летами поймет он, как нужны терпение и осмотрительность...

На следующий день господину Нурисье стало ясно, что дома оставаться невмоготу. Сам для себя изобрел предлог — в столе на службе забыл книжечку, где записывал всякие премудрости. Одедся поплотше, жена крестила ему спину.

В министерстве было непривычно пустынно, солнце светило в пыльные окна. Швейцар с бородой, расчесанной надвое, дремал в вестибюле под сенью мраморных колонн. Можно со спокойным сердцем возвращаться домой.

Но только он выдвинул ящик своего стола, как услышал голоса в анфиладе коридоров. Кто бы это мог быть? Дверь распахнулась, и вошли люди в мундирах Национальной гвардии. Чернобородый офицер подталкивал швейцара и говорил, лучась хитрой улыбкой:

— Ну, патриарх, надеюсь, ты согласен, что лучше открыть двери твоего рая добровольно, не дожидаясь, пока мы их разобьем прикладами?

Вид у швейцара был весьма обескураженный. Другой офицер за него вступился:

— Что ты, Журд, на него нападаешь? Он охраняет

свой пост, для него мы действительно люди с улицы. Я уверен, что если бы он узнал, понял те великие цели... Ба, гляньте-ка! Говорили, что никто из чиновников не вышел, а тут кто-то есть?

И под его проникающим взглядом бедный Нурирье закружился, словно рыба на сковороде. «Варлен! — узнал он офицера. — Ну, теперь конец!»

— Вы единственный, оказавшийся на посту, — сказал ему Варлен. — Похвально. Коммуна зачтет вам эту заслугу. Мы из Ратуши, уполномоченные ЦК, прошу любить и жаловать. А вы?

«Боже! — с тоской подумал Нурирье. — Лучше бы я сидел дома».

Представился, с оглядкой на швейцара, даже шаркнул ножкой. Проследовал за уполномоченными в кабинет господина Бюффе, шепнув швейцару:

— Это новый министр и его заместитель!

И не без злорадства отметил, как побелели от страха глаза этого министерского холуя.

Варлен и Журд дотошно расспрашивали Нурирье о состоянии финансов, о наличных средствах, о неотложных платежах. Нурирье отговаривался тем, что знает только свой отдел. Тогда Варлен спросил:

— Ну, в таком случае, каково положение с Французским банком? Ведь ваш отдел как раз ведает им?

Нурирье, сжавшись, ответил, что, как известно, банк — учреждение частное, не государственное. Истинная картина дел известна лишь небольшому кругу совладельцев.

Журд продиктовал ему приказ: всем чиновникам немедленно приступить к работе, неявившиеся будут лишены жалованья. Саботажникам грозит арест.

Варлен тем временем писал записки и рассылал их с федератами: Жюлю Жуверу, рабочему фабрики гобеленов... Тенвиллю, счетоводу шляпного магазина... Пьеру Грассу, учителю математики... «Товарищ, немедленно прибавьте в министерство финансов, революционная власть нуждается в вас».

Они обсудили текущие дела, вынесли решение: деньги на выплату контрибуции германскому кайзеру отчислять не с налогов населения, а путем конфискации имущества принцев, архиепископов, банкиров. («Это даже справедливо, ведь по вине принцев проиграна война!» — подумал Нурирье, стенографируя.) Варлен, правда, оговорил, что все их сегодняшние постановления должны быть впослед-

ствии утверждены избранной Коммуной — законность во всем!

Настал час обеда. Так как Нуриусье не взял из дому еды, он позволил себе пообедать в кафе. Выбрал самое дешевое на углу улицы Божоле. Обследовал витрину буфета. Бог мой, все есть, и сравнительно низкие цены! Опять надо отдать справедливость — крестьяне, почувствовав, что революционная власть в Париже крепка, повезли продовольствие.

Нуриусье заказал яичницу. Когда же в последний раз он ел ее?... Наслаждался едой, всасывал, смаковал, поглядывая на швейцара, который расположился за соседним столом. Вдруг тот вскочил как ужаленный. За его стол усаживались те самые уполномоченные — Варлен и Журд.

— Вы позволите с вами присесть? — спрашивал Варлен. — Везде занято.

Швейцар в смятении подхватил тарелку и перебежал с ней к подоконнику.

— Побоялся с министрами сидеть! — покачал головой Варлен.

— Ты для него и не министр, — сказал Журд, — если на обед берешь хлеба на два су и пару яиц.

— Ничего, Журд, постепенно вытравим эти рабские предрассудки!

После обеда в министерство пришло множество вызванных записками Варлена. Кое-кто привел с собой знакомых, понимающих в финансовом деле. Рабочие предъявляли мозолистые руки, прося любой работы в пользу революционной власти, хоть двигать шкафы.

Получив приказ Варлена и Журда, явились и некоторые чиновники, других привели под конвоем. К каждому был прикреплен один из людей Варлена. И работа пошла.

Швейцар, сбитый с толку, еле успевал распахивать двери для каких-то грузчиков, штукатуров, металлистов, судя по их запачканным блузам. Так и прут, не спрашивая!

Только одна особа, уже под самый конец служебного дня, пыталась доложить о себе.

— Принимает ли новый министр? — спросила она швейцара.

— Э, мадемуазель! — ответил старик, критически оглядев ее хотя и аккуратный, но поизносившийся костюм. — Все идут без доклада, ступайте уж и вы...

Увидев вошедшую, Варлен изумленно поднялся, отвел

рукой столпившихся возле его стола и вышел ей навстречу.

— О, гражданка Войницкая! Это ты? А я слышал, ты вернулась в Россию!

7

Варлен вынул часы, крышка поднялась, послышался звон колокольчиков — шесть часов.

— Как нам быть, Мари? У меня в восемь заседание в Ратуше и, наверное, за полночь. До восьми же мне хотелось одно личное дело... Ты понимаешь, на один только день к нам приехала матушка!

— Я тебя провожу, — предложила Мария, — по дороге поговорим. Итак, почему я не уехала? Я ведь уже пришла на вокзал, но в тот день бежала буржуазия и билет стоил тысячу франков и, потом, один человек... Неретин, ты его знаешь... Так вот он упрекнул меня, что я бегу от революции... Это было ужасно. Он — и упрекнул!..

— Кстати, где теперь Неретин?

Она презрительно подняла брови.

— Вот видишь, Мари! Разжаловали человека, отбросили, не выяснив, в сущности, ничего. А он где-то живет себе, копошится, а как копошится — никто из нас этого не знает, а нам надо знать о каждом все. Нет, даю слово, как только хоть немного управимся с делами...

— Варлен, знаешь, зачем я к тебе пришла? Ты всем поручаешь разные дела. Дай же что-нибудь и мне.

— А что ты могла бы делать?

— Мне бы в полицию, в Комитет безопасности. У Нечаева я изучала все эти тонкости... Но там командует Риго, а я не хотела бы обращаться к нему.

Варлен подумал, покрутил завитки бороды, весь озарился доброй иронией:

— Нет, Мари, тебя в полицию я бы не послал.

— Но почему?

— Да именно потому, что ты слишком похожа на Рауля Риго, так же неистова, как он, так же не знаешь середины. Вам двоим дай волю, вы всех выставите к стенке — колеблющихся, слабонервных, излишне впечатлительных — только за то, что они чуть розовее красного цвета!

Кто-то окликнул Варлена с другой стороны улицы.

Это была Натали Лемель, как всегда возбужденная, как всегда в шинели с закатанными рукавами.

— Меня назначили уполномоченной в министерство просвещения! Будем изгонять из школ поповщину, будем организовывать детские сады, клубы... Правда, здорово, Варлен?

Мария заметила, что Натали кидает на нее враждебные, вызывающие взгляды. Сначала не могла понять: почему? Потом догадалась: увлекшись разговором, Варлен взял Марию под руку, чтобы прохожие не разлучали их в тесноте тротуара.

— Вот, Мари, как раз и тебе подходящее дело,— сказал Варлен.— Дети, как это для тебя!

— У меня никогда не будет детей,— отвернулась Мария.

— Тем более ты должна посвятить себя детям других... Детям рабочих!

Варлен предложил, чтобы завтра же Мария пошла в министерство просвещения.

— Ты поможешь ей, Натали?

Но та стояла молча, наблюдая, как, держа Марию под руку, Варлен уходит по шумной улице Риволи...

У Центрального рынка крохотные улочки полны грохота телег, подвозящих снесь. Ветер метет по булыжнику содранные с кочанов капустные листья. Варлен остановился возле старого домишки, зажатого между пятиэтажных корпусов.

— Ну вот и дворец моего дядюшки Дюрю. Лет пятнадцать тому назад, в такой же солнечный вечер, наш деревенский сосед Шарло Кузен привез меня сюда.— Варлен улыбался своим воспоминаниям.— Мы тогда долго дубасили в эту дверь, пока соседи не объяснили, что дядюшка Дюрю со всем семейством и подмастерьями отправился в церковь... Он был католик строжайших правил. Впрочем, он здравствует и ныне, только жизнь его здорово обкатала, как полирует она постепенно и каждого из нас. И стал я с того дня учеником переплетчика...

Он стоял большой, густобородый, неожиданный, и Марии было трудно вообразить, что этот умный, добрый, одними любимый, другими проклинаемый «апостол социализма», был когда-то голенастым мальчишкой, который здесь клеил змеев и читал по ночам книжки.

— Дядюшка Дюрю отнимал у меня книги, кричал: «Я

даю, чтобы ты их переплетал, а не совал в них нос!» А я все-таки читал, читал — и видишь, до чего дочитался?

Варлен рассмеялся до того простосердечно, что невозможно было не ответить ему улыбкой.

— Знаешь, Мари,— предложил он,— ты сейчас все равно свободна. Давай поднимемся к нашим, я познакомлю тебя.

Дядюшка действительно оказался толстячком, сильно обкатанным жизнью, но не без претензий. Он покрикивал на домашних, хлопотавших вокруг стола. Увидев Варлена, принялся ворчать:

— Уходи, уходи, я же сказал, что не хочу тебя видеть!

Варлен, пропустив его слова мимо ушей, представил Марию. Старик галантно поклонился, выпятив грудь, на которой алела ленточка Почетного легиона.

Вот и другие родственники: старшая сестра, госпожа Пруст, рыхлая, измученная хозяйством, братья — хроменький Луи (его Мария уже знала, именно в его пальто она улизила из отеля «Обюссон» той январской ночью). Ипполит, манерный юноша, подстриженный а ля тореадор. Затем дочери и зятя самого дядюшки Дюрю и целый выводок детворы. Варлен каждому из малышей принес по конфетке. В тесноватых комнатах стоял такой вопль и детская беготня, что Мария подумала: ну как она сможет управиться с ними, если их будет тридцать или сорок?

А это матушка Варлена. Господи, какая щупленькая, махонькая... Неужели именно она родила такого великана? Но когда госпожа Варлен, здороваясь, подняла взгляд, Мария увидела те же самые черные, влажные, покоряющие глаза.

Наконец вся шумная ватага разместилась вокруг стола.

— Выпьем первую рюмку за упокой души дорогого шурина, старого Луи Варлена,— провозгласил Дюрю.— Это вино его урожая. Прошлой осенью, уже шла война, он собирал, давил, а самому пить не пришлось...

Все помолчали. Госпожа Варлен вытерла слезы.

— Покойник хотел,— продолжал дядюшка,— чтобы я вывел вас в люди... Уж я старался, видит бог. Но получилось ни то ни се. Ни из одного из вас переплетчик не вышел. Ипполит — бульварный франтик, а Эжен, так и подумать страшно,— министр Коммуны, которую, ха-ха, еще не избрали!

Варлен посмеивался, глядя на расходившегося старика, а Ипполит не утерпел, указал на старшего брата:

— Вот кто нас вывел в люди. А ты все только грозил на улицу выгнать!

Дядюшка от негодования поперхнулся, долго пил воду. Дети шумели, госпожа Варлен успокаивала их.

Мария с интересом наблюдала простенькую обстановку, кисейные шторы и герань, олеографии на стенках... Как давно лишилась она семьи, пролетел целый век! Давно ли осуждала Лаврова, учителя, за плисовый шлафрок, за мирный уют? В душе таилась какая-то смутная печаль.

Варлен опять достал часы. Дети облепили его, взобрались на колени и на плечи. Слушали, как молоточки вызванивают: «Мельник, ты спишь, жернова все быстрее...»

— Мне пора,—встал Варлен, осторожно освобождаясь от ребятишек.

Госпожа Варлен сокрушенно всплеснула руками.

— Что делать, матушка,—наклонился сын, целуя ей руку.— Срочное заседание ЦК.

— Вот видишь,—опять заворчал дядюшка Дюрю.— ЦК тебе дороже всех родных. Эх, Эжен, Эжен, думал я, что ты выйдешь в люди, ведь способности-то какие! Помни мои слова: будь ты хоть министром, хоть разминистром, валяться тебе расстрелянным в канаве! Видали мы таких в сорок восьмом году!

Все молчали, опустив глаза, даже дети притихли. Госпожа Варлен беззвучно плакала. Тень пробежала по лицу Варлена.

— Нечего, дядюшка, нас пугать. Помнишь, мне было десять лет, когда я впервые сказал, что посвятил себя борьбе за дело угнетенных? С тех пор я ни на дюйм не отступил от избранного мною пути, все в своей жизни соизмеряя этой великой целью. И ничто теперь не может меня утратить. К тому же мы теперь не такие, какими были люди сорок восьмого. Мы идем не для того, чтобы умереть на баррикадах, а для того, чтобы жить и победить!— Лицо его смягчилось.— А вам, матушка, советую вернуться в деревню. Положение осложняется, мы делаем все, чтобы был мир, но...

Камни мостовой еще припудривал иней, а солнце уже поднималось, предвещая яркий и шумный день. Неретин

и Фидюс топтались в сыром подъезде солидного дома на улице Мира, куда их поставил виконт, велел ожидать, пока он вернется.

Фидюс с раннего утра был навеселе, болтал глупые анекдоты, вытаскивал фляжку и подкреплялся:

— Да тут холодней, чем на улице!

Фидюс навязывал фляжку и Неретину. Тот брал, прикладывался для вида. Не выходили из памяти слова, слышанные в прихожей у Люллье.

Сегодня он совершенно сознательно, с холодной расчетливостью явился в этот подъезд по приказанию Захара Кузьмича. До поры до времени он еще будет холопствовать, но погодите, припомнит он вам все!

Если только ему удастся — а смелости ему не занимать! — он преподнесет Коммуне такой подарок, что все ахнут: «Ну и Неретин, а мы-то...»

Фидюс, видимо, нервничал, потому что жонглировал своей тросточкой, отвинчивал ее набалдашник в виде головы Мефистофеля, снова завинчивал его. Тросточка оказалась с секретом: внутрь был вложен острый трехгранный стилет.

— Прямо сказать, дела Тьера плохи, — бубнил Фидюс. — В Версале ни одного надежного солдата. Если инсургенты нагрянут туда — карлику крышка. Одно только ободряет — схвачен вождь инсурентов, этот Вельзевул... Уж он бы не преминул ударить на Версаль! Теперь и сидит где-нибудь в Версале, только за решеточкой, хи-хи-хи!

— Про кого это вы, Фидюс?

— Не будьте наивным, Неретин. Про Бланки, конечно, разве вы не слышали про этого Фра Дьяволо?

— Ну и где же он там в Версале? — спросил Неретин. — Хорошо ли его стерегут?

— Наверно, он там в Сатори, военной тюрьме... Э! — Фидюс соорудил безнадежную гримасу. — Мне рассказывал корреспондент «Фигаро»: караул там несут солдаты, сами наполовину бунтовщики.

Пока они таким образом беседовали, виконт де Ноайль, взяв фиакр, поехал в Латинский квартал. На улице Гей-Люссака вошел во двор старого дома с стеклянным фонарем, поднялся на последний этаж. Там поэт Шардо де ла Тур, стоя в подтяжках, стирал в лохани носки. Художник Марель прилежно работал; его ноги виднелись из-под большого подрамника на мольберте. На крыше по-весеннему рыдали голуби.

С утра там произошла сцена. Рауль Риго, весьма раздраженный (спал не больше трех часов, поздно вернулся из Ратуши), упрекнул сожителей:

— Такое положение, а вы словно в садах блаженных! Все в строй, революция в опасности!

Бурош, качавшийся на стуле, протянул:

— Ин-те-рес-но, а от кого опасность-то? Тьер ведь сбежал!

Риго переключился на него:

— Маменькин сынок, пустограй, жизни не знаешь, пороку не нюхал...— Затянув португую, ушел.

Убежал в свой лицей и Бурош.

Уходя, Риго сказал Шардо де ла Туру:

— А вам, поэт, хватит разыгрывать из себя изнеженный цветок. Готовьтесь к морозам, таков закон диалектики, и никакой господь вас не спасет!

И теперь, в творческой тишине мансарды, прополаскивая и отжимая, Шардо де ла Тур привычно думал стихами:

Как жаль, что жизнь не вечный полдень
В садах, где правит вечный май!
Закон, судьба иль перст господень,
Как там, философ, ни гадай,
А виден край, последний край...

Удачная рифма: полдень — господень! — похвалил он себя.

В этот момент и вошел виконт де Ноайль.

— Собирайтесь, идем! — с порога сказал он поэту.

— Куда? — удивился тот, вытирая руки и подавая стул.

— Не притворяйтесь забывчивым! Я же вас предупредил третьего дня.

— Ах да, помню! Но, милый виконт, избавьте меня от политики... Нельзя ли мне остаться на этой мансарде, с моими рифмами, моими голубьями... Ну что вам от меня пользы?

— Стыдитесь, Шардо де ла Тур, вы же потомок великих Монморанси!

— Бог с ними, с Монморанси... Милый виконт, давайте о чем-нибудь другом: о метафорах, о музыке или о женщинах хотя бы... Жаль, пунша не из чего приготовить...

— Довольно! — Виконт встал и распахнул дверь. — А ну-ка, живо надевайте сюртук!

— Не ходи, Люсьен, никуда не ходи! — произнес Ма-

рель из-за мольберта.— Вот отнесу плакат в Ратушу, получу гонорар, устроим пир!

Но неумолимый виконт потащил поэта за собой. Они объехали соседние улицы, захватили еще двух-трех знакомых и вернулись на улицу Мира, к подъезду, где ожидали Фидюс и Неретин. Туда же явился еще некий Паделу, с унылым носом. Даже Фидюс обращался с ним высокомерно, и это свидетельствовало, что Паделу — личность уж самой низкой категории.

— Неретин, Фидюс, Паделу,— распоряжался виконт.— Вот револьверы, они смазаны, заряжены, пристреляны. Поднимитесь на площадку третьего этажа, там разбито окно, будете оттуда по моему знаку стрелять.

— А в кого? — туповато спросил длинноносый.

— Не в меня же! — огрызнулся виконт.— В кого всегда стреляли, в того и сегодня... Фидюс, дайте-ка вашу тросточку, я буду ею подавать знак.

Виконт вышел на улицу, уводя с собой остальных. Он поставил их во главе колонны, которая собиралась за углом. Шардо де ла Туру дали в руки трехцветное знамя с вензелем Наполеона.

Улица Мира не длинна — в ней всего десяток зданий, зато каких зданий — величественных, будто дворцы! Здесь, от Новой Оперы до Вандомской площади, где уперлась в небо колонна с трофеями великих побед, на широких тротуарах постоянное движение разных фланёров, сенаторов в отставке, дам полусвета, биржевых дельцов. Здесь рождается мода, здесь парижский бомонд.

Может быть, поэтому именно здесь во всю ширину улицы двинулась манифестация. Шли господа в котелках, в цилиндрах, с голубыми кокардами, знаком мира. На перекрестке стояли двое постовых федератов, даже без винтовок. Манифестанты сначала обзывали их последними словами, потом кто-то плюнул одному в лицо. Сразу будто прорвалось — стали бить федератов по щекам. Холеные, покрытые голубыми жилками руки рвали на них мундиры. Манифестация со свистом и улюлюканьем на двигалась.

— Вот барон Геккерен,— указал Федюс на высокого, прямого как жердь старика, шагающего в толпе.

Неретин с любопытством вглядывался в Дантеса Геккерена, убийцу Пушкина, ставшего сенатором при Луи-Наполеоне. Геккерен напыщенно говорил окружающим, указывая на Шардо де ла Тура:

— Юноша, который несет знамя, не только отпрыск древнего рода, но и известнейший поэт. Это ли не символ единения крови и духа?

В здании через улицу, в огромной зеркальной витрине на втором этаже, появился склеротический старец в расшитом мундире. Федюс не удержался, чтобы не сообщить:

— Это адмирал Сессе, специально присланный из Версаля руководить манифестацией.

Манифестанты двигались к Вандомской колонне, где в ослепительном небе сиял в высоте их бронзовый кумир — Наполеон. Они в экзальтации кричали ему, тянули трости и костыли, махали платками. «Долой Коммуну!» — истерический вопль бился о стены домов. Стало видно, как виконт де Ноайль, выбравшись из рядов и встав под арку магазина, то и дело посматривал на окно, где были Неретин и Федюс.

У входа на Вандомскую площадь, преграждая путь манифестантам, развернулась шеренга национальных гвардейцев. Генерал Бержере, бывший букинист, человек сугубо домашнего вида, с крайне усталыми глазами, приказав федератам ни в коем случае не стрелять, обратился к манифестации.

— Ваши представители... В Ратушу... Разойдитесь, прошу вас... — донесся его голос.

Но манифестанты не унимались. Попытались вырвать у федератов винтовки, оскорбляли самого генерала Бержере, его увещевания тонули в диком шуме. Толпа напирала, и шеренга федератов прогибалась назад.

Тогда Бержере дал пять минут, чтобы разойтись. Он вынул часы, а барабаны забили стремительную дробь.

— Пора! — крикнул Федюс, толкая в бок Неретина.

Действительно, под аркой магазина, где прятался виконт, поднятая над головами, качалась туда-сюда тросточка.

Фидюс и Паделу, положив револьверы на сгибы локтей, выстрелили. В шеренге федератов упал один боец, за ним другой. Фидюс так и подпрыгнул, а Паделу хрипло закричал от торжества. Они стреляли еще и еще. Фидюс оглянулся на Неретина — что ж, мол, ты не стреляешь?

С каким наслаждением всадил бы Неретин весь барабан револьвера в гнусные морды этих Фидюсов или туда, вниз, в вылощенных де Ноайлей и Геккеренов! Но терпение, терпение...

И он стрелял над головами увлекшихся Фидюса и Паделу в воздух, в ярко блестящего на солнце Наполеона, а последнюю пулю с озорством пустил в витрину по соседству с той, где виднелся раззолоченный адмирал Сессе. От круглой дырочки побежали лучи, адмирал в окне исчез.

Тогда кончили бить барабаны, сгустилась тишина, в которой звучали отдельные выкрики. Еще раз донесся голос Бержере. Вытерши вспотевший лоб, генерал взмахнул платком. Шеренга федератов окуталась дымом. Манифестанты отпрянули, повернули, побежали назад, теряя цилиндры, трости, кастеты, голубые кокарды, носовые платки. Бежал, не сгибая колен, словно деревянная кукла, сенатор барон Геккерен. Торопился скрыться виконт де Ноайль.

На торцах мостовой осталось несколько тел. Лежал и поэт Шардо де ла Тур, раскинув руки, как подстреленный аист. Санитарки Национальной гвардии склонились над ним, расстегнули сюртук и манишку. Сердце его не билось.

9

Красная афиша сообщала: «Выборы в Коммуну прошли при большом энтузиазме народа. Выбраны: Варлен — сразу в трех округах, Делеклюз и Тейс в двух. Членами Коммуны стали также Франкель, Дюваль, Рауль Ригго, Феликс Пиа». Во всех бюллетенях фигурировал Бланки. Хотя «старика» и не было в Париже, массы чтили в нем вождя.

— Что-то незнакомые фамилии... Какие-то все безвестные лица... — брюзжал господин Нурисье, читая афишу.

— Как это безвестные? — возразил его сосед по двору, папаша Мишо. — Все наши: Асси — металлист, Авриаль — механик, Клеман — печник, Эжен Потье — рабочий поэт, а по профессии разрисовщик тканей. Конечно, увы, не банкиры, не герцоги, не адвокатские шарлатаны!

Папаша Мишо тряхнул седой шевелюрой, захохотал и хлопнул по плечу Нурисье. Тот отодвинулся — экая фамильярность!

За несколько дней службы под начальством Варлена и Журда Нурисье проникся к ним невольным уважением. Не так-то это просто — пустить в ход громоздкую, запутанную финансовую машину, а им это удалось! Удалось,

несмотря даже на молчаливое сопротивление, которое оказывали мобилизованные чиновники. Надо признать, из этих парней вышел бы толк, служи они какому-нибудь монарху или, на худой конец, законно избранному президенту.

Нурисье в день выборов все-таки отправился на избирательный участок. Кто знает — не пойдешь, а эти ироды придерутся! Правда, пошел не в колонне с красными знаменами, а оделся во все черное, даже взял черный зонтик и пришел один. Сладострастно вычеркнул из бюллетеня все подряд имена, не разбирая. И вот смутьяны все же оказались избранными!

Реакционные газеты поторопились сообщить, что Тьер и его версальское собрание не признают выборов в Коммуну. Парижане говорили: «Черт с ними, с версальскими жабами, и пусть себе не признают!»

Во вторник, 28 апреля, состоялось торжественное провозглашение Коммуны.

Какой это был день! Солнце красовалось жаркое, пышное, как хлеб, только что вынутый из печки. Природа словно только этого и ждала — нежная зелень затрепыхалась сразу на всех деревьях. Толпы ликующих людей шли к центру, звенели песни, развевались красные знамена. В полном порядке проходили батальоны Национальной гвардии — каждая пуговица, каждый штык были начищены до блеска. В толпе узнавали знакомых, обменивались приветствиями, целовались.

Перед колонной рабочих патронного завода шагал Антуан, засунув кулаки в карманы блузы. Агнеса украдкой поглядывала на него — не заважничал ли он, после того как был избран делегатом по заводу? Ничуть, только сделался серьезнее и ровнее. Нести красный флаг он, правда, не стал — велел взять его двум молодым парнишкам. Но сам шагал впереди, как заправский вожак.

Агнеса шла чуть поодаль, под руки с целой шеренгой работниц. Справа семеняла веселая тетка Жужу, слева вдова Клош, которая несла на руках свою малютку Элизу — пусть дети запомнят на всю жизнь этот знаменательный день! Хорошо было Агнесе вдыхать свободный, чистый воздух и чувствовать в себе частицу всеобщего восторга. И она подпевала от всей души:

Вперед, вперед, сыны отчизны,
День нашей славы настает!

На мгновение ей привиделось — кто-то из-за толпы зевая пристально на нее смотрит сквозь стекла очков. Она обернулась, но наваждение исчезло.

Тут подбежал камарад Ришардье, стал совать дочери какую-то конфетку.

— Солнышко-то какое! — восторгался он. — Подумать только, впервые в истории парижский пролетариат идет вот так спокойно, под своими знаменами и никто его не разгоняет, не стреляет. А какие известия! Граждане! — громко закричал он, обращаясь к народу. — Я только что из редакции... В Лионе Коммуна, в Марселе Коммуна, в Тулузе и Каркассоне — восстания!

— Ура! — граждане ликовали, сами не зная почему.

— Скоро вся Франция, — проповедовал Ришардье, не сбавляя шагу, — станет федерацией революционных коммун, как это и предсказали социалисты прошлых времен. И не надо нам идти отвоевывать Версаль, он сам отвалится, как гнилой плод. Чертовски надоела эта вечная драка. Коммуна примет декреты — право каждого на труд, на образование, на свободу слова. Франция, увидев наши великие дела, отшатнется от карлика Тьера!

— Ура! — кричали граждане с привычным энтузиазмом.

Обычная публика центра Парижа — заезжие иностранцы, бездельники-фланеры, пузатые банкиры, бульварные коты, разного калибра сирены и путаны на сей раз попрятались, каждый в свою щель. Боязливо поглядывали, как по ихней империи катит поток непривычного люда — угрюмых и мускулистых, изможденных и бедно одетых, привычных ко всему и жаждущих всего пролетариев. Им действительно нечего было терять, кроме своих цепей, приобрести же они надеялись все. И так как в добавление ко всем своим достоинствам они не имели и образования, то этот мир, искомый, многоцветный и сверкающий богатством, для них воплощался в едином слове — Коммуна. “La commune” по-французски еще чуть ли не со времени Каролингов означало просто сообщество, соседство, единая деревня или даже город. Требуя коммуны, как учили их вожаки, парижские пролетарии 1871 года простодушно рассчитывали, что от непонятных герцогов и подозрительных юристов власть перейдет непосредственно к их дворику, цеху, подъезду, коммунальной квартире. И сразу все станет хорошо — рекой потечет дешевый

хлеб, простое вино, повысится зарплата и можно будет без особенных хлопот поставить на ноги горластых и прожорливых детей.

В толпе, вливающейся на площадь Ратуши, была и матушка Мишо. Она старалась не смотреть на то место, где зимой стояла с мертвым Элю на руках, а вокруг падали убитые люди. Крепче прижимала к себе Дени и сиротку Жако.

До сих пор матушка Мишо посмеивалась над декретами, исходившими из революционной Ратуши. Все казалось ей похожим на книжные бредни ее мужа и его дружков. Но один декрет поразил ее прямо в самое сердце. Однажды ее пригласили в мэрию, и революционный чиновник, глядя в бумагу, объявил, что фактический брак признан наравне с церковным, и вручил ей денежное пособие как супруге национального гвардейца.

И матушка Мишо нацарапала свою подпись в той же графе, где стояли фамилии Симонихи, вдовы Клош и других «законных», а вернувшись домой, удивила мужа тем, что не пилила его.

Когда-то площадь Ратуши называлась Гревской площадью. Испокоен веков здесь собирались парижские подмастерья, требовали работы и устраивали стачки («La grève» по-французски «стачка»). В дни праздников посреди площади пылал костер выше крыш, и сам король кидал в огонь мешок, набитый живыми кошками. Мешок прогорал, кошки разбегались, пугая и веселя средневековых людей...

Во время Великой революции в этом здании, построенном еще при Генрихе Наваррском, Людовик XVI клялся в верности народу, в страхе озираясь на лес штыков под окном. Потом на площади стояла гильотина; попасть на Гревскую площадь для врага народа значило сыграть в ящик. В Ратуше обосновалась та, первая Коммуна 1793 года, вдохновлявшая бедноту на революционные выступления. Поэтому свой главный удар контрреволюционеры Термидора нанесли как раз по Ратуше. Здесь был схвачен ими Робеспьер, выстрелом в упор ему раздробили челюсть. Здесь провел Неподкупный свою последнюю ночь.

Вот она, торжественная, величественная Ратуша! Фасад украшен красными знаменами, гирляндами ветвей. На высоком крыльце новоизбранные члены Коммуны, у каждого от плеча до пояса — знак его достоинства —

красный шарф с серебряной бахромой. Народ узнает своих любимцев, называет их имена. Кто-то, правда, недоумевают:

— Почему в числе избранных, например, Эввар, владеец патронного завода?

— Он баллотировался в округе Гренелль, там жители сплошь буржуазия... Но пусть знают, что Коммуна демократична, что в ее составе представители всех классов, вне зависимости от их политических взглядов.

Один из членов Коммуны пытается огласить протокол об итогах выборов, народ не дает ему и слова сказать — слишком велик энтузиазм, слишком громки звуки «Марсельезы».

Наконец оратору удается смирить шум и сообщить, что ЦК Национальной гвардии передает свои полномочия революционному народу в лице вновь избранной Коммуны.

— Сердце мое слишком переполнено, чтобы произносить речь! — восклицает он. — Позвольте мне только воздать честь парижскому народу за великий пример, который он показал всему миру! — И напрягая всю силу легких: — Граждане, ваша Коммуна провозглашена!

Глава восьмая ЧЕСТНЫЙ ДЮВАЛЬ

1

Всю ночь от Версальских ворот на юг шли батальоны Национальной гвардии, двигалась конница, тянулись обозы.

— Началось! — говорили в Париже.

Неретин, надев прежнюю капитанскую шинель без погон, пристроился на фургон с медикаментами, кативший за пехотой. Санитары сочли его отставшим, догоняющим свою часть.

Штаб генерала Дюваля располагался в придорожной гостинице в Шатильоне, над равниной, открытой всем ветрам. Неретин вошел в приемную, представился. Адъютант испытующе взглянул, пошел доложить и пригласил войти.

Генерал сидел в обширной зале, еле освещенной огарком свечи. Только что кончился военный совет — толпились стулья, горой лежали окурки. На буфетной стойке был разложен крупномасштабный план Версаля, исчерченный красным карандашом. Генерал строго выговаривал штатскому юноше в необыкновенно пестром галстуке:

— Немедленно возвращайся в город, Бурош. Слышишь ты меня? Не-мед-ленно! Иначе я тебя отправлю под конвоем.

— Но послушай, Дюваль. Риго упрекает меня в том, что пороху я не нюхал. Да и где ж мне было, спрашивается, его нюхать, если генералы не пускают меня на фронт?

— Всему свой порядок. Сначала иди в мэрию, чтобы там тебя зачислили в учебный батальон. Ишь, анархист! — генерал потрепал юношу за вихор. — Ступай, обожди в приемной, тебя вызовут.

— Ну? — повернулся он к Неретину, но не ответил на его приветствие, хотя явно узнал.

— Дюваль, скажи прямо, можешь ли ты, скажи, поверить в мою искренность?

— Скажу прямо, трудноовато, брат.

— Ну, все равно! Дюваль, наступление, задуманное вами, обречено на неуспех.

— Ну, уж это ты...

— погоди, хоть выслушай сначала! Ты волен, конечно, предполагать, что я версальский агент, что я панику к вам пришел наводить... Но можешь же ты хоть выслушать?..

Генерал мгновение размышлял, а затем подвинул ему стул.

— Дюваль, мне известны все подробности готовящегося наступления. Всё до мелочей — куда какой батальон марширует, кто каким участком командует. Ты удивляешься? Но об этом болтают на всех бульварах! И уж конечно все эти подробности знает Версаль.

Дюваль молчал, поправляя огарок.

— Второе. Узнав таким образом о наступлении, я стал искать Варлена, ведь это единственный, кто мог бы меня выслушать без предубеждения. Варлена я, правда, не нашел, говорят, он где-то распоряжается по финансовым органам. Но вот самое поразительное, что я узнал, — оказывается, Коммуна в целом ни сном ни духом не ведает о наступлении, затеянном отдельными ее членами!

Как же вы не понимаете, что при наступлении такого масштаба нужно мобилизовать всё и вся?

— Мы не обучались в академиях,— недовольно заметил генерал.— Мы люди баррикад и революционного порыва!

— Прости, Дюваль, а разве это такое уж достоинство? Война выплеснулась из стен Парижа — значит, теперь нужно применять полевую, а не уличную тактику. И вот ошибка номер три, колонна Флуранса движется на крайне правом фланге — по линии форта Мон-Валерьен, колонна Эда в центре на Медон, твоя колонна на южном направлении через Шатильон. Ведь это тот же самый развернутый веер, как зимой, в наступлении на Бюзанваль, помнишь?

Неретин, указав на карту, очертил фронт наступления.

— Я напомним тебе слова вашего Наполеона: «Побеждает тот, кто в решающем месте, в решающий час бросит в бой решающие силы...» А я ехал мимо Люксембургского сада, там резервные батареи стоят еще в чехлах.

Было тихо под низким потолком старой гостиницы. Даже огонек свечи застыл и прекратилось движение теней на каменном лице Дюваля.

— Бесплезны все мои речи...— огорчился Неретин.

Дюваль встал. Прошелся по зале, взъерошил волосы, потер подбородок. Из сумрачного генерала на минуту превратился в простодушного парня из предместий.

— Эх, Неретин, хотелось бы, чтобы ты был неправ! Но ты, к сожалению, прав! Бержере даже диспозиции не прислал, имеем только приказ — идти вперед!

— Но есть же в Париже профессиональные офицеры, сочувствующие Коммуне, — Кюзере, Брюнель, Россель... Есть, в конце концов, бывшие офицеры русской армии: Домбровский, окончивший академию в Петербурге, Лавров — сам некогда профессор военной академии...

— Поздно! Теперь уж поздно! В эту минуту Флуранс и Эд выходят из ворот... Но я готов держать с тобой пари, что мы все-таки завтра возьмем Версаль. В массах ярость огромная. Этот напор опрокинет все хитрости буржуазных стратегов. Да и сами версальские солдаты — кто они? Такие же рабочие и крестьяне!

Дюваль подтянул портупею и вызвал адъютанта.

— Этого гражданина, а заодно и юнца, который сидит у вас в приемной, отправьте на одной из возвращающихся

повозок в Париж, — приказал он. — До Версальских ворот или куда сами пожелают.

— Дюваль! — просил Неретин. — Позволь мне остаться, я готов в первой шеренге...

Но Дюваль был неумолим:

— Ты же сам человек военный, знаешь, что постороннему я не могу разрешить быть в строю... Во всяком случае, — крикнул генерал ему вслед, — что бы ни произошло, пусть знают: Дюваль сумеет умереть за народ!

2

Как только взошло солнце, батальоны Дюваля двинулись вперед. Колонны шли бодро, смешав ряды, пыля сапогами. Все были возбуждены — к вечеру Тьер, ненавистная жаба, несомненно будет болтаться на веревке.

К полудню федераты продвинулись дальше. Разведка сообщила: версальская кавалерия отступает без боя. Бойцы от восторга подкидывали кепи и ловили их на острия штыков. Вихрастый юноша взобрался на развесистый тополь и закричал:

— Версаль!.. Я вижу купол дворца!..

Дюваль, привстав на стременах, подергал его за ногу:

— Эй, а ты уже здесь? Ведь я тебя вчера отправил в Париж!

— А я спрыгнул и убежал. Тот тип уехал, а я здесь!

— Оставь его, генерал! — просили федераты. — Пусть идет с нами!

На берегу ручья, где плакучие ивы купали ветви в спокойной воде, передовые залегли.

— В чем дело? — поскакал к ним Дюваль.

— Там спаги, колониальная пехота, без боя не пройдем...

И тогда вражеские орудия, скрытые в кустарнике за ручьем, изрыгнули залп. Федераты заметались под картечью, многие падали.

После нового залпа из-за кустов выскочили спаги, чумазы как черти, в шароварах и фесках, некоторые держали в зубах кинжалы.

— Друзья! — кричали им федераты. — Мы трудящиеся Парижа, переходите к нам, будем вместе бить хозяев!

Но спаги, рыча и воя от злости, кинулись врукопашную. Тогда командир батальона федератов капитан Самсон, бывший актер, скинул мундир на руки ординарцу.

Под мундиром оказалась красная рубаха такого яркого цвета, что слепило глаза.

— Эй, сыны Коммуны, — крикнул капитан. — Этих лакеев буржуазии можно убедить только штыком. За мной!..

Весь батальон, как один, поднялся за любимым командиром. Некоторое время (пушки смолкли, версальцы боялись попасть в своих) слышны были только звяканье сабель и хриплые выкрики бойцов. Наконец дружное «ура» разорвало напряжение схватки. Подошел еще батальон федератов и с марша кинулся в штыки. Спаги были опрокинуты и бежали за ручей.

Самсон, с кривой саблей в руке, красовался во весь рост перед окопавшимися взводами. Пули так и роились вокруг.

— Капитан, ложись! — уговаривали его федераты. — Для версальцев твоя рубаха слишком роскошная цель!

— Ерунда! — отвечал Самсон. — Белые пули боятся красного кумача!

— У него рубаха как у Гарибальди! — в восторге кричал Бурош.

Он все время порывался встать рядом с капитаном, и неизменно Самсон сталкивал его в окопчик.

— Если Гарибальди ранят, кровь не будет видна, не дрогнут в панике бойцы!

— Вот-вот! — сказал Самсон. — Однажды наш любимый Тьер тоже спросил: почему у Гарибальди красная рубаха? Ему растолковали, и он сказал: «Ага!» Вернулся в Версаль и заказал себе желтые штаны!

Федераты смеялись, забыв про картечь и пули, визжащие вокруг. Между тем спаги еще раз ринулись в атаку. На Самсона налетел их лейтенант, кряжистый, как черная коряга. Они схватились на саблях, потом спаги, отбросив сломанный клинок, схватил капитана за горло, тому еле удалось вытащить револьвер и убить врага в упор. Феску лейтенанта Самсон нахлобучил на себя взамен потеряннго кепи.

Тут его вызвали к генералу. Дюваль приказал отходить в тыл — батальон Самсона оказался изрядно потрепан, в строю меньше половины бойцов. Да и сам он, несмотря на свою лихость, ранен — рукав знаменитой красной рубахи почернел от крови.

— Эх, капитан, — рассердился Дюваль, — что за ничемное молодечество?..

Генерал с каждым часом становился все мрачнее. На-

ступление его армии будто споткнулось обо что-то. Кровопролитные броски и контратаки не приносили результата. Версальский огонь час от часу становился губительнее и плотнее, а Бержере из Парижа все не присылал пушек и боеприпасов. День, длинный как век, подходил к концу. Смеркалось, тьма окутывала разъезженные дороги. Дюваль принял решение отступить в Шатильон и сам около полуночи вернулся в придорожную гостиницу.

Из Парижа не было никаких известий. Где Флуранс, где Эд? Двигаются ли они или тоже отступили? Разведка доложила, что вокруг Шатильона в картофельных полях скапливаются большие силы версальцев. Осталась непорезанной версальцами только нитка грунтовой дороги через Фонтене-о-Роз.

Ветер завывал над крышами, над биваком батальонов. Слышались приглушенные стоны, кто-то в бреду твердил о предательстве. Что делать? Готовить оборону? Прорываться на ура в Версаль? Начальник штаба, майор, бывший аптекарь, в полной растерянности говорил нечто невразумительное.

И генерал отдал приказ: тихо, по очереди, поднимать батальоны и выводить их в Париж по дороге на Фонтене-о-Роз. Сам, не смыкая глаз, следил, чтобы была полнейшая тишина. Только перед рассветом сел, освободил от сапог гудящие ноги.

Из тьмы перед ним выплыл Риго, язвительный, беспощадный:

«Что ж ты, милочка моя Дюваль, струсил?» Дювалю будто плита на грудь навалилась:

«Друг Рауль, на войне у всех бывают неудачи...» Но Риго молчит, уставился тяжким взглядом из-за стекол пенсне...

А то видится ему, будто из-за парижской заставы бегут ему навстречу новоиспеченные вдовы: «Дюваль, Дюваль, литейщик Дюваль, куда ты запропастил наших мужей?..»

Однако когда рассвело, адъютант сообщил, что колонны благополучно прошли к Парижу. В Шатильоне остался только сам Дюваль, его штаб и штабная рота. Но через Фонтене-о-Роз уже не пройти, там версальские драгуны.

— Мы просчитались,— разводил руками майор, начальник штаба.

— Черта ли теперь...— сквозь зубы произнес Дюваль, подтянул ремни и вышел на крыльцо.

Ну что ж! Теперь занять круговую оборону — и до конца... Генерал взял бинокль: окрестности буквально забиты версальскими войсками, целый корпус пригнал Винуа к Шатильону.

Послышался горн. Это прибыл версальский парламентер, предлагая сдаться. Его командование гарантирует всем жизнь.

Дюваль приказал выстроить штабную роту. Прошел вдоль строя, вглядываясь в лица бойцов. Вот ветеран, ему за шестьдесят, он дрался еще на баррикадах 1830 года... А это пожилой слесарь, у него шестеро малышей... Адъютант, один у матери-вдовы... Санитарки, совсем еще девочки... Все они из паровозных мастерских, там Дюваль когда-то работал в литейке. Вот и Бурош, мальчишеское лицо все в крапинках, как сорочье яйцо. Вчерашний его задор прошел, губы невольно вздрагивают. Все напряженно смотрят в лицо генералу — какое он примет решение?

И тогда Дюваль шагнул навстречу версальскому парламентеру; долго возился с саблей, отстегивая ее, и наконец швырнул в пыль. Хмурые федераты прошли перед строем спаги — вчерашних противников, — бросая в кучу винтовки и патронташи. Но чуть только федераты оказались обезоруженными, началось!.. Пленную роту заставили проползти на коленях перед порталом церкви. С Дюваля и его майора сорвали шюртуки и кепи, били по щекам... Погнали в Версаль.

— Винуа едет, Винуа! — зашевелились конвоиры, приклады усерднее заходили по спинам.

Показался всадник на белой лошади. Увидел, что пленных всего только рота, и надменное лицо с эспаньолкой исказилось, блеснул золотой зуб.

— Кто командиры? А ну, шаг вперед!

Никто, однако, не вышел. Окончательно рассвирепев, Винуа обещал расстрелять всех подряд. Рота упорно молчала.

— Бросьте злобствовать, мсье, — сказал Дюваль, выходя из ряда. — Я генерал Национальной гвардии.

— Я начальник штаба, — сказал майор, становясь рядом с ним.

Третьим вышел Бурош, хотя он и слышал, что вызывают командиров, но не мог оставить Дюваля.

— А ты кто таков? — Винуа поднял лорнет и воззрился на юношу. — Почему в штатском? Ах, ученик лица святого Бенедикта? Ну, сопляк, с тобой я возиться не стану. Там учится мой племянник, пусть не думает, что я расстреливаю его однокашников. Эй, прогоните его пинками в зад!

Солдаты с улюлюканьем погнали Буроша по дороге на Париж. Винуа хохотал — пусть расскажет там, какая судьба ожидает всех смутьянов! Обведя взглядом окрестность, выбрал облезлую кирпичную стену какого-то имения. По его команде отделился взвод спаги, щелкая затворами.

Дюваль, увидев эти приготовления, сам перепрыгнул через дорожный кювет и прислонился к кирпичной стене. Рядом с ним встал его майор. Дюваль рванул на груди рубаху.

— Цельтесь лучше, обманутые бедняки! — закричал он. — И да здравствует Коммуна!

3

— Господа, уверяю вас, Французский банк в полнейшей безопасности. Парадоксально, но факт — делегаты Коммуны, несмотря на все свои лозунги, наводящие ужас, испытывают, хе-хе, трепет перед священным правом собственности...

Маркиз де Плек, в глубоком кресле, чем-то напоминает Вольтера, как он известен по статуе Гудона: сухощавая фигурка, саркастическое личико.

— Есть один анекдот, господа...

— Всё бы вам анекдоты, — раздраженно сказал барон де Мерифит, отодвигая кофе. Он носил теперь линиялый сюртучок с чужого плеча и стал похож на захудалого торговца из провинции. — Лучше скажите, нельзя ли банк просто вывезти из Парижа?

— Милостивый государь, для этого потребуется не менее восьмидесяти подвод. Мы уже подсчитали — в банке различных ценностей на три миллиарда!

— Ого! — крикнул Мерифит. Он весь так и подался вперед, как волчица, готовая растерзать любого. — Но городское правление без боя не выпустит этакий обоз!

— Вот я и говорю: лучше оставить все как есть и стараться водить Коммуну за нос...

— О, мсье маркиз! — блеснул очками брат Захария,

третий собеседник. Он тоже сменил свое обычное пальто на обезьяньем меху на какую-то ветхую интендантскую шинель.— Совершенно ясно: целостность банка зависит теперь только от ваших дипломатических способностей!

— Вот послушайте! — Личико маркиза сморщилось в улыбке.— На прошлой неделе ко мне явились некие Варлен и Журд. Коммуна поставила их управлять министерством финансов. Потребовали у меня деньги для выплаты жалованья национальным гвардейцам, правда, на первый раз не так много — триста пятьдесят тысяч...

Мерифит тряс головой, зажмурившись от негодования.

— Но я им вежливо ответил: «Банк — это достояние многих тысяч вкладчиков, в том числе и самых мелких — ремесленников, рабочих. Им нет дела до вашей распри с Тьером. Как могу я разбазаривать сбережения, которые они доверили мне?» Но Варлен и Журд были настойчивы, и мне пришлось вызвать охранников банка. Те помахали револьверами перед носом делегатов, даже, кажется, оскорбили их чем-то. Словом, Варлен и Журд удалились несолоно хлебавши. Но на следующее утро они явились опять, на сей раз в сопровождении двух батальонов Национальной гвардии, всю улицу перед банком запрудили. У меня сердце оборвалось: сейчас, думаю, возьмутся шарить по сейфам!

Мерифит даже застонал при мысли о такой возможности.

— Но тут,— продолжал маркиз,— я проявил максимум любезности. «О, говорю, зачем эти батальоны? Разве я не понимаю, что женам и детям наших храбрых федератов надо кушать?» Знаете, вроде лисы из басни Лафонтена, которая попалась собакам: нате вам мой хвост, нате мои уши, только не троньте мою душу!

— Бросьте же анекдоты! — зарычал, не вытерпев, Мерифит.— Короче, вы отдали им деньги?

— А что же? Я отдал им триста пятьдесят тысяч, но из кассы города Парижа, то есть, по существу, те денежки, которые они сами и внесли в виде городских налогов! Каково?

И он откинулся на спинку кресла. Подобие улыбки проступило и на лице брата Захарии. Только барон оставаясь бледен и сердит.

— На следующий день,— продолжал маркиз,— я сам отправился в Ратушу и заявил: «Банк, как учреждение

частное, кооперативное, не может подчиняться министерству финансов, пусть Коммуна нам назначит особого делегата». И делегат был назначен, хе-хе, такой покладистый старикан! Мы с ним немало приятных часов провели за чашкой кофе вот в этом самом кабинете... Он даже подает мне советы: «Гражданин маркиз, не упрямитесь и выдавайте время от времени Коммуне какие-нибудь деньги. Имейте в виду, в предместьях только и говорят, что о конфискации банка!» Что вы скажете, господа? Разве это не анекдот? Уполномоченный Коммуны защищает банк от коммунистов, каково?

— Помимо анекдотов, маркиз,— вступил в разговор брат Захария.— А скажите, какой интерес, как вы полагаете, этому делегату защищать проприетариев, то есть владельцев капиталов, от посягательств пролетариев, то есть неимущих? Одно лишь добродушие?

— Отнюдь!— вскричал маркиз, извиваясь в кресле, словно ветхозаветный змей.— Я вам уже говорил, что все эти свободолюбцы на самом деле— это шайка, вроде сицилийских мафиози, и они прекрасно понимают, что расплата неотвратима.

— Все-таки я не вижу оснований для оптимизма,— заметил Мерифит.— Поймите меня: здесь в подвалах лежит все мое состояние! Я потому и не уехал в Версаль, черт побери! Теперь дрожу при виде каждого федерата!

— Ну что вы, барон,— заметил брат Захария,— а вот я разделяю уверенность мсье маркиза. Продолжайте и дальше тактику уверток, сходитесь поближе с этим делегатом...

— Я должен иметь,— сказал маркиз де Плек,— официальную санкцию правительства...

— В силу данных мне полномочий,— ответил брат Захария, даже встал и снял очки,— авторитетно заверяю: все, что вы найдете нужным предпринять в этом отношении, заранее одобряется законной властью. Да вот и основной вкладчик, главный член правления, мсье Мерифит, я думаю, не имеет возражений?

Барон уныло кивнул, рассматривая свои обкусанные ногти. Брат Захария наклонился к маркизу:

— Мсье Тьер поручил мне также просить у Французского банка кредит, пока миллионов на десять...

Маркиз де Плек вопросительно посмотрел на Мерифита.

— О, дайте, дайте!— восторженно воскликнул тот.— Пусть нани-

мают армию, заказывают пушки, покупают шпионов! Пусть врываются в Париж, пусть режут, давят, вешают, да побыстрее, слышите ли вы?

Он вскочил, брызгал слюной, потрясал кулаками.

— Как желаете получить, монсеньер? — осведомился маркиз. — В золотых слитках, в банкнотах?

— Нет, — ответил брат Захария, — лучше чек в одном из швейцарских банков на имя частного лица... Мсье барон, кому бы из находящихся в Версале вы могли доверить получение этих денег?

Мерифит задумался: кому? Тьеру, Фавру, Винуа?

— Мсье Ферфильдеру, — наконец произнес он. — Этот, по крайней мере, по величине состояния следующий после меня...

— Итак, — резюмировал брат Захария, — вы, мсье маркиз, заготовьте чек на имя мсье Ферфильдера, как частного получателя... Правда, после падения Люллье заставы наглухо закрыты, но есть у меня один человек... Это как раз отличный случай проверить его надежность.

— Как? — встрепенулся барон де Мерифит. — Чеком на десять миллионов проверять чью-то надежность?! Я не ослышался, монсеньер?

— Раз уж, мсье, мне поручены эти щепетильные дела, то прошу в них довериться мне.

— Нет-нет! — не соглашался Мерифит. — Денежки наши, и мы вправе знать, как ими рискуют... Информировать-ка нас!

— Хорошо, извольте. У меня есть агент, отлично рекомендованный мне. В последнее время, однако, появились сведения, будто он работает на две стороны, так сказать и нашим и вашим. Так вот я ему вручу для передачи в Версаль чек на десять миллионов.

— Вы с ума сошли! — завопил барон де Мерифит, и даже маркиз привстал со своего кресла.

— Ничуть. Это эффектнейшая ставка! Если, допустим, он играет на противную сторону, Коммуна по этому чеку все равно ничего не получит, так как он выписан на частное лицо. Предъявить претензии она тоже не сможет, так как нет такого закона, в том числе и закона самой Коммуны, чтобы вкладчикам не выдавать их деньги... Зато, если чек действительно попадет в Версаль, какого абсолютного агента мы получаем! Уверяю вас, это подчас дороже всех десяти миллионов!

Маркиз де Плек налил себе еще кофе и откинулся

в кресле. На его губах по-прежнему играла вольтеровская улыбочка. Барон же проворчал: «Ох уж эти мне спортивные азарты!», но все-таки, прощаясь, подошел к брату Захарии под благословение.

4

Рауль Риго был грустен, рассеян, машинально перебирал карандаши на столе. Казалось, что у пружины, всегда сжатой внутри него, внезапно кончился завод. Мария сидела перед ним в Ратуше, в полукруглой диванной, превращенной в его кабинет.

— Дюваль...— говорил Риго.— Я впервые встретил его в бланкистском тайном клубе «Железная роза». Когда это было — в шестьдесят шестом? Смотри-ка, пять только лет миновало, а кажется, целая жизнь! Взглянул я на него тогда — неразговорчивый простака, подмастерье,— думаю: что ему нужно в революции? Я-то был тогда самонадеян: как же, сынок провинциального префекта!

Вошел помощник, Орас, подал Риго папку для подписи, исподтишка разглядывал Марию. Заметив это, Мария тоже, с вызовом, осмотрела его. Толстощекий, носик весело торчит. В походке и манерах копирует своего начальника, даже пенсне на шнулочке.

Риго подписал бумаги, захлопнул папку, передал ее Орасу и повернулся к Марии:

— Помнишь, в госпитале Вырубова мы с тобой как-то говорили о том, что в революции не может быть чувства мести? О нет, милочка моя, трижды нет! Месть нужна, иначе человеческая падаль уверует в безнаказанность. Если не отомстим за Дюваля, за Флуранса, завтра настанет очередь Делеклюза, Домбровского, Потье, любого федерата, его жены и детей. Поэтому да здравствует справедливая месть!

Орас, с папкой под мышкой, восторженно кивал при каждом его слове.

— К новорожденному телу Коммуны липнет паутина предательства. Но страшнее предателей пьяницы вроде Люллье, растяпы вроде Бержере, даже такие, как добренький Варлен. Бланки учит: талант революционера в умении вовремя и без колебаний проводить теорию в жизнь. А наша теория такова: диктатура организованного меньшинства над несознательным большинством ради интересов этого же большинства. Диктатура,— вы слышите? Диктатура! Надо арестовывать каждого подозрительного, надо

грозить расстрелами, пусть тень гильотины висит над контрреволюцией! Надо наступать, наступать, наступать!..

Он немного успокоился, отпустил Ораса, протер и водрузил на нос пенсне. Мария рассказала о цели своего прихода — она получила предложение идти работать с детьми, но это слишком мирное занятие. Ей, как хлеб, как вода, необходимо именно наступать, наступать, как об этом говорит Риго.

Риго закусил клоч бороды. Время от времени его взгляд обращался к Марии, пронизывал, прошупывал, изучал.

Мария подумала, что он просто начинающий актер — на ней вздумал прорабатывать роль вождя масс, всеведущего, всепроницающего. Но потом это предположение она отвергла. Еще ранее в госпитале, исподтишка наблюдая за ним (там он, после самого Вырубова, был все-таки самый заметный человек), она отметила его поразительную, почти детскую наивность. Да они все такие, в том числе и Варлен! Природа создает примитивов специально, чтобы вершить великие дела.

А он поиграл табакерочкой с отрубленной головой на крышке, щелкнул ею и по-мефистофельски улыбнулся.

— Послушай, сестра Мари... Начинаются страшные времена. Когда-то, еще при Бонапарте, меня судили, и я тогда декларировал этим лисам в вонючих мантях: нам не нужно вашего снисхождения, знайте — когда мы будем у власти, вы его у нас не получите! Милочка моя, для того чтобы не иметь снисхождения, нужны свинцовые нервы. Есть ли они у тебя?

Мария вскочила, чтобы спорить и доказывать, но к Риго вернулось его обычное озорство.

— Не угодно ли понюхать? — поднес он табакерку.

Мария, отвернувшись, села.

— Итак, начинаем! — сказал Риго. — Наблюдай, сестра Мари!

Он подергал ручку звонка. Вошел Орас, щелкнул каблуками.

— Заложники здесь?

— Здесь, гражданин делегат.

— Вести!

Орас вышел. В приоткрытую дверь были слышны приближающиеся медленные шаги, шорох шелковой материи и звяканье амуниции конвоиров.

В диванную вступил высокий старик в длинной сутане, в черной шапочке на лысой макушке. Умные глаза внимательно разглядывали всех в кабинете, только иногда в них вздрагивало беспокойство. За ним шли еще несколько священников в рясах.

— Вы ли гражданин Дарбуа, архиепископ парижский, примас Франции? — официальным тоном спросил Риго.

Старик с некоторой грустью и снисхождением наклонил голову. Орас стал читать список арестованных: каноник Лагард, настоятель Шуронне, кюре Бурвиль...

— Что от меня хотят дети мои? — прервал его архиепископ.

— «Дети»! — захохотал Риго. — Да представляете ли вы, где и перед кем находитесь? Эти дети, гражданин, хотят одного: расстрелять вас в отместку за злодейское умерщвление Дюваля, Флуранса и других федератов.

В толпе арестованных прошел шорох. Риго выждал минуту и добавил:

— Впрочем, пусть ваш хозяин, которого вы называете «бог», внушит своему слуге, которого мы зовем «версальская кочерыжка», чтобы тот отпустил к нам Бланки. Одного Бланки за всю вашу долгополую шайку! Итак, молитесь богу, а если на него у вас нет надежды, пишите его слуге в Версаль! В тюрьму их, Орас!

После того как опустел кабинет, Риго некоторое время молчал, затем объявил Марии, что, если она не раздумала, он может предложить ей место инспектора прокуратуры.

— Ступай в личный стол, оформляйся. Прости, у меня уйма дел.

Но тут дверь с силой распахнулась, и в диванную влетела девушка, которую Орас из приемной тщетно пытался удержать, растопыривая руки. Черная коса ее растрепалась, глаза излучали дерзость.

— Студент Риго! — воскликнула она. — Помнишь, на Монмартре ты велел приходить к тебе в любой час?

— Надо знать порядок, гражданка Фаншетта, — миролюбиво проговорил Риго. — Видишь, сколько в приемной народу? И все ждут своей очереди, милочка моя.

— А у меня дело такое, что вне очереди, миленький мой!

Мария, чувствуя, что она здесь лишняя, попрощалась и пошла к выходу. Фаншетта же, ударив в стол ладонью, выпалила:



— Гражданин Риго, некий Неретин, бывший командир батальона,— шпион!

Мария остановилась, держась за ручку двери. Что такое? Опять Неретин?

— Ты что-нибудь хотела сказать, сестра Мари?— спросил ее Риго, удерживая Фаншетту от намерения тут же выложить все известные ей секреты.

— Да, я слышала о Неретине и прошу разрешить мне остаться при разговоре. Этот человек— мой соотечественник. Я очень много знаю о нем.

— Гм,— кашлянул Риго, показывая на диван,— тогда садись.

Фаншетта торопливо и сбивчиво поведала о последнем разговоре с Неретиным на скамейке. О том, как несколько дней колебалась и наконец решилась прийти. Риго задал ей еще несколько вопросов, что-то записал, сказал, размышляя:

— Человек, который добровольно признается в том, что он шпион, фактически уже не шпион...

Тогда в разговор вступила Мария. Она подробно рассказала историю Неретина — все, включая разговор у вокзала (правда, о личных мотивах она умолчала). Во время рассказа Мария с удивлением следила за лицом Фаншетты. Честное слово, девочка на глазах изменялась: ее лицо худело, глаза западали. И вдруг женским сердцем Мария поняла: девочка любит его! Вот вам и Неретин! О, уж он-то не примитив...

Ах да, теперь она вспомнила! Эта чернушка все время вертелась у палаты, где он лежал... И зачем при ней было говорить все о Неретине? Догадаться бы сразу! Быть может, девочка пришла, желая услышать, что она ошиблась! И Мария вспомнила свой давнишний удар — арест брата и предательство Неретина..

Но нет, революционеры должны быть принципиальны. Истина, только истина, как бы жестока она ни была! А она, в таком случае, она сама, Мария Войницкая, бывшая Иванищева, она не примитив?

Наступило молчание. Фаншетта понуро сидела на диване, цыганские пряди свешивались ей на лицо.

— Да! — покачал головой Риго.— В этой истории есть много противоречий... Я помню, помню тот выстрел в кафе «Вавилон». Но о Неретине хорошо отзывался покойный Дюваль. Кстати, Неретин был последний, кто говорил с Дювалем в ту ночь. Почему и о чем говорил—

неизвестно. Во всяком случае, нужно быть очень и очень осторожным... Но мы займемся этим,— энергично пожал он Фаншетте руку.— Еще раз благодарю тебя, гражданка, за революционную бдительность!

Затем он пошарил в ящике стола и вытащил поблекшую фотографическую карточку в овале.

— Послушай, Фаншетта, я слышал, ты бывала в аббатстве урсулинок? Но замечала ли ты там эту личность?

Девушка безучастно вглядывалась в коричневый овал. Какое-то лобастое, бритое лицо в больших очках, чем-то, правда, знакомое, но такие лица встречаются на улице ежедневно...

— Не знаешь,— определил ее молчание Риго. Отдал Орасу фотографию, чтобы тот запер в несгораемый шкаф.— Ну что ж, Фаншетта, продолжай, следи. Заметишь что-нибудь — немедленно сюда.

5

Лавров, одетый в непромокаемый ватерпруф и держа в руках дорожную корзинку, окинул последним взглядом свой кабинет. Прощайте книги и рукописи, прощайте подшивки газет и кипы листовок! Бесчисленное множество раз листал и черкал он их за эти месяцы осады и Коммуны.

Варлен утверждает, что он, Лавров, хотел стоять над схваткой. О нет, это не совсем так. Во-первых, он ведь участвовал в работе парижской федерации Интернационала и ЦК Национальной гвардии помогал. Но при этом у него была одна главная цель — изучить урок французского пролетариата, чтобы потом применить его в России, в далекой, забитой, покорно молчащей и горячо любимой России!

Здесь, в Париже, год назад, в 1870 году, он, Лавров, а с ним Николай Утин, Герман Лопатин, Александр Серно-Соловьевич решили вступить в Интернационал, образовав в нем русскую секцию, и Маркс согласился быть ее представителем в Генеральном совете.

Коммуна в Париже, несомненно, детище Интернационала, пусть парижская федерация колебалась, допускала ошибки, пусть 18 марта застигло ее врасплох. Ни одна революция теперь не вспыхнет вне идей Интернационала, ни одна демократическая власть не обойдется без уроков Коммуны.

Ему, Лаврову, уже за пятьдесят. И вот, на старости приходится переучиваться, менять свои воззрения, потому что в числе опрокинутых Коммуной и его, Лаврова, предположения и догадки.

Раньше он полагал сам и других учил, что революция — это сверхъестественное напряжение воли выдающихся личностей. Чем больше таких личностей, чем ярче их накал, тем быстрее и тем громче грянет буря.

Взять, например, Россию. Сонное царство, рутинная хлябь... А мало ли там героев? Не меньше, чем здесь, в Париже! Жадными глазами впитывают в себя мир, хотят разгадать его законы, жаждут дела себе по плечу — подобно Манечке Войницкой — и находят его, и отдают ему без остатка свои юные жизни.

Но если так, то почему же в России не вспыхнет тотчас революция, как здесь, в Париже?

И герои гибнут сотнями в казематах и острогах, а народ безмолвно несет свое иго... И никто не может сказать, когда кончится все это.

Да и сама революция, если уж грянет, никто не может предсказать, какой будет она. То ли общество тюремщиков и шпионов придет к власти, то ли сфера паразитов и спекулянтов? Как быть простому обывателю меж ними? Простой трудящийся человек станет уповать на Бога, на судьбу или на черта, черт возьми! Но не ему же, Лаврову, профессору математики, политику и журналисту, объяснять рациональные процессы вмешательством иррациональных сил? Честно говоря, из всех современных историков и экономистов, которые Лаврову известны, только Маркс дает какие-то удовлетворительные объяснения происходящего, в том числе и этой самой Коммуны. Ну, кто ее, эту Коммуну, казавшуюся такой шутовской, кто ее всерьез ждал и предсказывал? Кто связывает с ней будущее человечества, или хотя бы Франции, или хотя бы Парижа? И однако, она торжествует, да еще как!

Надо признаться, Лавров недолюбливал основателя Интернационала, не соглашался с ним, спорил. Да и спорил несерьезно, потому что казался он ему замшелым эмигрантом, любителем застольных споров и загородных прогулок. Это, скажем, не Герман Лопатин, который из-за кулис лондонского Ковент-Гардена мог шагнуть прямо в сибирский острог на схватку с жандармами, а из будуара светской дамы в крепостной каземат на целых двадцать лет...

И все-таки оказалось, что появление на европейской омонархиченной сцене такого революционного монстра, как эта Коммуна 1871 года, было предсказано именно им, лондонским черноглазым добряком, и что делать теперь с нею, знает, видимо, только он.

И теперь Лавров охотно принял предложение парижской федерации Интернационала поехать в Лондон с информацией о деятельности Коммуны. Там, он знает, состоится разговор, который не только важен для него самого, но который необходим для будущего России.

Лавров отдал ключ кухарке, вышел на улицу и по старой конспиративной привычке осмотрел тротуар направо, потом налево.

Затем направился по улице Сен-Жак, щурясь от низкого, утреннего солнца.

По утрам кафе «Вавилон» пусто, стулья торчат на столах вверх ножками, гарсоны зевают. В дальнем углу Лавров увидел Серрайте, закрывшегося газетой.

— Эй, хозяин! — закричал Серрайте, когда Лавров сел за его столик. — Вот пять франков, лови! Музыки, да погромче!

Музыкальная машина, хрипя и спотыкаясь, стала наигрывать менюэт.

— Неужели не нашли места поконспиративней? — проворчал Лавров. — А где Варлен и Франкель?

Кабатчик и гарсоны вдруг подтянулись, глядя в сторону двери, на их лицах появилось заискивающее выражение. На ступеньках входа показался Варлен, отстегнул портупею с массивной саблей, снял полковничье кепи, пригладил волосы, осмотрелся.

— Франкель не придет, — сообщил он, подсаживаясь к Серрайте и Лаврову. — Решается вопрос о рабочем контроле.

— Сколько дел! — вздохнул Лавров. — Иногда думаешь: дать бы вам, коммунарам, хоть несколько дней, чтобы отоспаться, обдумать положение...

Варлен с грустью развел руками: если бы так!..

— Завидую тебе, Лавров, — сказал он. — Не позже чем через двое суток ты будешь разговаривать с ним. Он, конечно, на меня сердит за мою речь на Базельском конгрессе, когда я поддерживал Бакунина. Но скажи ему же словами: время и события — лучшие учителя!

Он отпил из бокала, глаза его, полные воспоминаний, были устремлены поверх голов.

— А помню, в Женеве, бывало, с его семьей мы в лодке катались, пели, играли... Кстати, к чему я это вспомнил? У меня из головы не идет одна его фраза, оброненная случайно, в игре. Дочь тогда спросила его: «Какое качество вы всего более цените в людях?» Он ответил мгновенно: «Во всем сомневаться». — «Даже в революции?» — «Да, если только революция дурно подготовлена и развивается слишком медленно».

Словно спустившись с заоблачных высот, Варлен остановил взгляд на собеседниках и многозначительно цокнул языком.

— Значит, ты думаешь, — спросил Лавров, — что эти слова можно применить...

— Да, да! Один товарищ, недавно прибывший из Лондона, рассказал: как только «Таймс» сообщила о гибели Дюваля и Флуранса, Маркс весь день места себе не находил. А вечером говорит: «Они в Париже делают невозможное, они штурмуют небо, но слишком многое упущено безвозвратно, боюсь, что гибель их несомненна».

Лавров в ужасе закрыл глаза, а Серрайн вскричал, забыв об осторожности:

— Победа Тьера? Никогда! Марксу издалека, из Лондона, просто ничего не видать... Здесь даже буржуазия поддерживает Коммуну!

— Э, дружок, не ему из Лондона, а тебе здесь, в Париже, ничего не видать. Скоро эта буржуазия себя покажет! Ну, — Варлен энергично пожал руки приунывшим товарищам, — довольно рассуждений, времени в обрез. Вот тебе, Лавров, пакет. В случае риска — уничтожь.

Лавров понимающе кивнул, стал прятать.

— Содержание, на всякий случай, тебе известно. Скажи там, что, несмотря на все прогнозы, мы будем до конца...

Помолчали, склонив головы, держась за руки. «Как у нас, в России, перед разлукой, — подумал Лавров. — Увидимся ли?»

— Да, вот еще очень важно, — сказал Варлен. — Можно сказать даже — вопрос вопросов. Товарищ, приезжавший из Лондона, рассказывал: Маркс рвется в Париж, несмотря на то, что дороги перекрыты, что сам болен. Ведь все, кто там есть в эмиграции, все, и тайные враги, и заклятые друзья, все пальцами в него тычут: мол, заварил парижскую кашу, а сам теперь отсиживаешься здесь?

Лавров и Серрайе молча смотрели на Варлена, понимая, что конечное решение — быть ли Марксу сейчас в Париже — принадлежит только ему. А Варлен отвечал им своей простодушной усмешкой на длинном лице.

— Так скажи ему там, Лавров, французские интернационалисты этот непростой вопрос обсудили. Конечно, нам был бы тут нужен сильный авторитет, который примирил бы противоречия и возглавил борьбу. Но теперь это уже ничего не изменит. Вместе с тем потерять с Коммуной и нашего вождя? А опасности пути через территорию, занятую злым и жестоким врагом? Пусть вспомнит участь Бланки! Так что скажи ему наше решительное «нет».

Серрайе принялся инструктировать Лаврова по поводу пути. Дорога, которой он отправляется теперь, пожалуй, единственная отдушина для Коммуны. Паспорт торговца шальями абсолютно надежен, тревожит одно — есть слухи, что Тьер ввел перерегистрацию паспортов.

— Риго говорит, что выделил тебе надежного товарища для охраны. Однако, по его привычке все засекречивать, даже мы не знаем, кто это. Известно только, что это женщина. Так что тебе, друг Лавров, предстоит честь открыть эмансипацию женщин и в сфере подпольной борьбы.

Лавров комически развел руками: что, мол, поделаешь!

— Она сопроводит тебя до Брюсселя и ровно через месяц вновь туда придет, чтобы встретить тебя...

Они встали. Гарсон завел им вслед бравурный «Марш Аустерлица». Варлен, распрощавшись, ушел в Ратушу, а Серрайе и Лавров взяли фиакр и скомандовали кучеру: «Южная пристань!»

Люди с узлами и чемоданами шумно грузились на речной пароходик. Поднимаясь по сходням, Лавров ощутил, что кто-то идет рядом, очень близко. Оглянулся — молодая женщина в черном шелковом платье, с перекинутым через руку пальто. «Манечка! — сказал себе Лавров. — Вот, значит, кого мне дал Риго в провожатые...» Вместе, но как будто незнакомые, они спустились в тесный салон пароходика, места их были рядом. Крики снаружи усилились, послышался лязг цепи, палуба под ногами стала подниматься и опускаться. Затем послышалось кручение паровой машины. Пароходик свистнул и зашле-

пал по воде. За круглыми иллюминаторами берег поворачивался, отходя вдаль.

Лавров достал из кармана пук газет и углубился в чтение, а Мария подняла глаза, чтобы осмотреться получше, и обмерла: прямо напротив сидел на лавке не кто иной, как Неретин!

6

Чуть рассвело, Фаншетта была уже на своем добровольном наблюдательном пункте: возле отеля «Обюссон», в арке ворот каретного сарая.

Неретин, вероятно, сразу понял, что Фаншетта за ним следит. Вчера он так ловко ушел от нее, пересев с одного омнибуса на другой, что она в отчаянии хотела бросить преследование совсем. Однако милостивый случай вновь дал ей след: неожиданно она увидела Неретина возле рынка. Он купил зачем-то старое пальто горохового цвета, затем отвез пальто в отель, вышел и долго бродил по набережной, подняв воротник, ежеминутно разжигая трубку. Фаншетта ходила за ним до самой полуночи, злое нетерпение ее мучило — поскорей бы он себя чем-нибудь выдал!

Ночной холодный туман растворялся медленно. Фаншетта мерзла, но терпела. Прежде, бывало, в эти часы уже молочник едет, разносчик несет горячие булочки. Теперь, после того как Тьер объявил новую блокаду, улица словно вымерла.

Вот из отеля «Обюссон» вышел Варлен, за ним бородастый Журд. Оба насупленные, хмурые, перевязаны красными шарфами с серебряной бахромой — знаками членов Коммуны, — идут и о чем-то спорят. За ними проковылял хромоножка Луи, неся хозяйственную сумку. Поднялось наконец апрельское солнце, и начало заметно теплеть.

— Здравствуйте, мадемуазель Фаншетта!

Она с досадой обернулась. О, это Виктор-Огюст-Наполеон Нуришье, юноша с их двора, франтик лицеист! Обычно на таких, как Фаншетта, он не обращал внимания, но теперь все эти образованные стали заискивать перед пролетариями. И все-таки лестно, когда тебя называют «мадемуазель».

— Не правда ли, прелестное утро?

— О да, утро прелестное, месье! В особенности когда прогуливаешь уроки...

— Учитель нас распустил... Говорит, Коммуна никого учить не собирает, всех обратит в чернорабочих.

— А вот и не так! Ваш учитель, наверное, поп?

— То есть в смысле священник? Да, он из ордена цистерцианцев, ведь наш лицей носит имя святого Бенедикта...

Фаншетту почему-то ужасно позабавило слово «цистерцианцы», она расхохоталась.

— А вот у нас есть знакомый камарад Ришардье, журналист, вы его не знаете? Он из газеты «Папаша Дюшен». Так он говорит: Коммуна говорит декрет — выгнать из школ всех попов, всех ваших цистернобанцев!

— О, мадемуазель! Наш учитель — великий знаток латыни.

— Ну, знаете, если осла желудями кормить, и его можно латыни выучить.

— Теперь все равно... Вернется законная власть, отца выгонят за то, что служил при Коммуне, нечем будет платить за учебу.

— А Коммуна и есть самая законная власть! И она будет учить всех бесплатно!

Вот-вот, однако, должен появиться Неретин. Фаншетта беспокойно оглядывалась, торопилась прощаться, а Виктор-Огюст, поправив галстучек, спрашивал учтиво:

— А где та барышня, что жила у вас? Она, говорят, теперь живет в другом месте?

Ах, вот как! Тебе, значит, нужна эта кукла Агнеса? И все ты врешь, что у вас нет занятий. Ты пронюхал, что она теперь с отцом живет в отеле «Обюссон», вот и околачиваешься здесь.

— А мы барышень вместе с барчатами, которые носят галстучки и проборчики, всех запустили вверх тормашками!

Виктор-Огюст с достоинством отошел, и как раз вовремя, потому что из дома вышел Неретин. На нем было вчерашнее гороховое пальто и какой-то потертый картуз. Сердце у Фаншетты сжалось: о, теперь он уж ничуть не похож на героя с отцовской эпиналки!

Неретин, раскуривая трубку, внимательно оглядел переулок и двинулся очень быстрым шагом. Но Фаншетта после вчерашней неудачи была стреляный воробей! Когда он сел в омнибус к Елисейским полям, она протиснулась туда же с передней подножки, несмотря на протесты каких-то расфуфыренных дам. Еле успела заметить, что Нере-

тин внезапно соскочил у Пале-Рояля, наклонился, будто завязывая ботинок, а сам все изучал окрестность. Дудки! Фаншетта спряталась за афишной будкой и видела, как он взобрался в омнибус, направляющийся в противоположную сторону.

Фаншетта целую остановку бежала и наконец догнала омнибус у театра Шатле, влезла, отдуваясь. Теперь уже легко было проследить, что Неретин вышел у Ботанического сада, выскочить вслед за ним, проскользнуть в открытые ворота... И вдруг Неретин пропал! Фаншетта заметалась, не понимая, как он мог ее обойти... Решила притаиться на скамейке у входа.

Вдруг за спиной раздался сердитый голос:

— Ты что за мной ходишь?

Неретин, оказывается, был сзади и схватил ее за плечи. Фаншетта зажмурила глаза. В парке ни души. Он, конечно, может просто пристрелить ее, если захочет...

— Что же с тобой делать-то? — Неретин, обойдя скамейку, сел рядом. — Ах ты, неотвязная!

Долго молчали, думая каждый о своем.

— Послушай, — внезапно сказал Неретин, — хочешь, я тебе открою одну тайну?

Фаншетта вздрогнула, но промолчала.

— Я хочу пробраться в Версаль, выкрасть Бланки и привезти его в Париж...

У Фаншетты перестало биться сердце, она задохнулась от волнения. Это неожиданно, это чудовищно, это прекрасно! Вот он герой, настоящий герой!

Она умоляюще сложила руки лодочкой.

— Возьмите и меня...

А Неретин размышлял вслух:

— Казалось бы, это попахивает авантюризмом. Но были же такие случаи... Гурий Иванищев хотел выкрасть Чернышевского, и, кто знает, если бы... Герман Лопатин с исключительной дерзостью увез из ссылки Лаврова, предъявив фальшивый приказ.

Тут взгляд Неретина встретил глаза Фаншетты, влажные от слезы. Он отрицательно покачал головой.

— Я не помешаю вам... — умоляла Фаншетта. — Я даже могу помочь. У меня брат служит там в полку, который всегда охраняет заключенных... Возьмите, мсье Неретин! Возьмите! — Она вскочила и топнула ногой. — Все равно я не отстану от вас!

Неретин задумался. Как быть? Взять ее, что ли, черт

возьми? А вдруг и правда чем-нибудь поможет? Девка, видать, отчаянная!

Накануне Захар Кузьмич вручил ему конверт в Версаль, показав, что в нем содержится банковский чек, выданный на частное лицо.

«Какие-то иезуитские махинации»,— решил Неретин. Мысль о похищении Бланки, колотившаяся в мозг, не давала задуматься ни о чем другом.

Захар Кузьмич указал ему маршрут следования— через Сен-Дени, занятый пруссаками. На случай встречи с версальцами он дал ему значок тайной полиции— на круглой бляшке наполеоновский жирный орел с короной. Сам приколол его Неретину под лацкан сюртука.

Таким образом, озадаченный Неретин и сияющая Фаншетта явились на Южную пристань и устроились на пароходик, битком набитый буржуа, бегущими от Коммуны.

7

И вот, в салоне пароходика они сидят друг против друга: Неретин, Фаншетта, Мария, Лавров. Неретину странно самому, что не удивился при виде Марии: разве она не уехала тогда? Фаншетта смущена, съезжилась за плечом Неретина, сливовые глаза перескакивают с лица на лицо. Один Лавров благодушен— он никого не знает, читает себе газеты...

А Неретин всматривался в близкое, бесконечно милое ему лицо Марии. Есть такие лица— затаенная боль не страданием, а особой, болезненной красотой одухотворяет их. От жалости, от радости Неретину хотелось улыбаться во весь рот, но он не решался. Вздыхнул, привстал, чтобы достать трубку, и обмер. Мария ненавидящими глазами смотрела на него в упор, что-то сжимая в кармане— видимо, револьвер...

Между тем в противоположном конце салона находилась еще одна знакомая пара— господин и госпожа Эввар, владельцы патронного завода.

— Что же это вы, мсье Эввар,— интересовались пассажиры,— уезжаете из Парижа? Вы же избраны в члены Коммуны, где же ваш гражданский долг?

Господину Эввару не терпелось разглагольствовать, но властная рука жены, лежавшая на его локте, смиряла эти порывы и он только повторял время от времени, что

вовсе не бежит. что его призывают неотложные дела в других городах...

— Канонерки федератов! — воскликнул кто-то.

Все смолкли и стали с тревогой глядеть в иллюминаторы правого борта. Там над массой речной воды, возле зеленых островов, покачивались два судна, на мачтах которых трепыхались красные флаги.

Облегченно вздохнули, лишь когда увидели вблизи черно-желтое прусское знамя. У господина Эврара немедленно развязался язык.

— Коммуна! — негодовал он. — Разве это власть? Это шайка подстрекателей! Я потому только дал согласие избираться, что надеялся помешать негодям захватить частную собственность. Но с чумазыми блузниками разве договоришься?

Фаншетта поеживалась от желания вскочить и надавать господину Эврару пощечин.

Пароход стукнулся о бревна пристани. В иллюминаторы можно было разглядеть часовых в остроконечных касках у полосатых шлагбаумов. «Слава богу, слава богу», — крестились пассажиры.

И вдруг в салон ввалились французские жандармы в голубых шинелях и пышных эполетах.

— Спокойствие, господа! — объявил их офицер. — Проверка документов!

Как же так? Сен-Дени оккупирован пруссаками, а версальцы здесь хозяйничают? Началась неразбериха, клятвы, просьбы, оправдания — у большинства документы были, конечно, не в порядке.

— Вы не смеете, вы не смеете! — надрывался господин Эврар, протестуя. — Моя жена из благородной фамилии, вы не смеете ее обыскивать!

Жандармский унтер с внешностью уголовника грубо его пихнул:

— Выпущу кишки!..

Рассмотрев паспорт Лаврова, офицер кивнул в левую сторону — туда отводили подозрительных. Затем шла очередь Марии. Офицер подтянулся при виде красивой особы, на его сизом, опухшем лице изобразилась любезность.

— Проходите, мадемуазель...

Неретин видел, что Мария оглядывается на разлученного с ней Лаврова, еле сдерживается, чтобы не вскипеть и не наделать непоправимых глупостей. Она обманула его

тогда, на вокзале, чтобы просто сбить со следа, а теперь едет с Лавровым, наверное, по своим, опять нигилистским, делам. Бог с ними, но жандармы этого Лаврова сейчас не выпустят как пить дать.

Тогда, поглядев в глаза Марии, дикие от азарта, Неретин шагнул к жандармскому офицеру. Как можно незаметнее показал ему значок Захара Кузьмича, кивнул на Лаврова. Офицер понимающе опустил взгляд, подойдя к Лаврову, взял его под локоть и вывел на сходни. Мария, за ней Неретин, сзади всех Фаншетта, ликующая, что все так прекрасно обошлось, вышли вслед за Лавровым на площадь у пристани.

Мария поглядела на Неретина, как будто проколола его иглой. Неретин ответил обычной своей бледной улыбкой: что ж, мол, бывает и так... И две пары разошлись, направляясь каждая в свою сторону.

— Кто этот человек? — спросил Марию Лавров, который по-прежнему сохранял невозмутимость. — Мне кажется, он играл какую-то роль в нашем приключении?

— Ах, лучше бы нам не встречать этого человека! — ответила Мария.

8

Версаль, всегда тихий, всегда безмятежный, — место для прогулок и вдохновения — превратился в некий вертеп. На вокзал то и дело прибывали воинские части, возвращенные Бисмарком из плена, клубилась пыль на дорогах — подходила кавалерия. Квартирьеры метались, отыскивая помещения. Городок был забит беженцами из Парижа, даже весьма высокопоставленные персоны ютились в палатках и балаганах.

— Как почивали, ваше превосходительство? — справлялся такой анахорет у небритого толстяка, вылезавшего из шалаша.

— Бессонница мучила, черт побери! Только под утро уснул, но, слава богу, видел сон — Коммуна лопнула, пролетарии разбежались.

— Ах! — вздыхал собеседник. — А мне приснилось, что я в кабаре на площади Клиши! Какие девочки, какие ножки!

Дымили полевые кухни, солдаты толпились, держа котелки.

— Кормите их получше! — кричали беженцы кашеварам.— Пусть только быстрее берут Париж!

А вообще Версаль старался жить, как привык это делать роскошный Париж до Коммуны: наносили в шалаши визиты, расшаркивались на аллеях, лорнировали дам. Прямо под листвой шла игра на крупные ставки, крутилась рулетка.

По аллеям проходили кичливые офицеры, а дамы и господа рукоплескали, называя имена:

— Генерал Шанзи... Полковник Ларибуазьер... Маркиз де Галифе...

Гостиница была переполнена, однако конверт на имя господина Ферфильдера, банкира, сыграл роль. Неретин и Фаншетта получили номер, где в застойном воздухе, среди грязных обоев возвышалась кровать под пыльным балдахинном.

Неретин сказал, что пойдет во дворец, попытается что-нибудь разведать, а Фаншетта с той же целью решила побродить вокруг тюрьмы Сатори. Вечером условились сойтись в гостинице.

Неретин разыскал господина Ферфильдера в приемной министра финансов. Банкир, пыхтя, взял конверт, разглядел чек. Жирное лицо его не выразило никаких эмоций. С проворством, неожиданным при его комплекции, господин Ферфильдер скрылся за дверью министра. Спустя пять минут туда же пригласили и Неретина.

— Франция не забудет ваших услуг, мсье,— несколько высокопарно сказал министр.— То, что вы нам доставили, поможет одеть, обуть, снарядить и вывести в бой лучшую из армий.

— Как? — соображал Неретин.— Значит, я принес не личный чек господина Ферфильдера?

Но он не успел как следует продумать это. Сообщили, что сам господин Адольф Тьер пожелал принять посланца из Парижа.

Тьер находился в приятнейшем расположении духа. Когда вошел Неретин, он прогуливался возле большой карты Парижа, где красными значками были отмечены все баррикады Коммуны.

Как приятно: русский, подданный дружественного монарха, помогает французам в несчастье (подняв свиные очи к небу, Тьер вздохнул). Глава французского правительства лишь пару месяцев назад был в Петербурге, беседовал с императором Александром (голос почтительно

понижился). Его императорское величество просил взять под особое покровительство русских, оказавшихся в Париже. Конечно, лиц, имеющих законный паспорт, а не этих... нигилистов.

Тьер поднялся на цыпочки и, взглянув Неретину в глаза, многозначительно приумолк. Невольный озноб пробежал по телу Неретина. А Тьер продолжал:

— Передайте брату Захарии, пусть шлет еще денег... Пусть там старается, как может, он знает, что надо делать... Пусть всучает взятки, раздает обещания. Хотя, хехе, лучше второе, чем первое...

Осведомился, не поручено ли Неретину что-нибудь спросить? Еле сдерживая волнение, Неретин сказал, что брат Захария беспокоится, надежно ли заперт Бланки.

Тьер залился счастливым смехом. О, Бланки — это его первая и счастливейшая удача! Пусть не тревожится брат Захария, Бланки отправлен в тюремный замок Кагор, в шестистах километрах отсюда.

— Мы готовы к штурму Парижа. — Тьер выпятил цыплячью грудь. — У нас последняя пуговица пришивается к гетрам последнего солдата... Но мне надо знать, что на этот счет думает брат Захария? — Глазки Тьера забегали по лицу Неретина. — Может быть, коммунисты так уж сильны, что и... Хорошо бы лишить их боеприпасов!

Тьер приблизился к карте Парижа и ткнул пальцем куда-то в район улицы Доминик.

— Патронный завод господина Эврара! — выкрикнул он. — Мы возместим ущерб его владельцу!

Неретин выбрался из дворца, будто из волчьей ямы. Остановился отдышаться на эспланаде. Значит, с Бланки у него все сорвалось? Захар Кузьмич опять сыграл с Неретиным злую шутку? Сердце сжималось от отчаяния.

По эспланаде прогуливался бомонд. Дамы и господа поглядывали на балкон Тьера, ждали появления кумира. Неретин всмотрелся в одного. Что за странно знакомый господин? Затянут в официальный фрак, слова произносит по моде — монотонно, как старая дева. Ба! Ведь это Толен, бывший член Интернационала. Что же — изменник, ренегат?

А разве сам Неретин, разве он не ренегат? Только теперь уж и сам не знает, кому изменил — тем или этим... Неретин криво улыбнулся.

Тут его догнал посыльный из канцелярии господина Тьера. Почтительно подал большой конверт, на котором

витиеватым почерком Ольги Африкановны был выведен адрес.

В гостинице Неретин вскрыл конверт. Из неторопливой, рассудительной речи сестрицы вставал Мценск, во всей его первобытной прелести и тоске.

«Господин Катков в «Московских ведомостях», — беспокоилась сестрица, — пишет, что в Париже какие-то социалисты едят каких-то буржуазистов. Царица небесная, неужели голод достиг такой страсти?»

Затем шли жалобы на отсутствие денег. Кроткий братец Сергей Африканыч (нечистый попутал!) «в единую ночь десять тысяч безумно потратил...». Проиграл!

И новость, изложенная все тем же патриархальным слогом: «Та самая пейзажечка, помнишь ли, на которой ты, без ума, собирался жениться? Она теперь в нашем доме. От отца убежала, ослушалась, за вдовца не вышла. Чтобы по городу не шли пересуды, я приняла ее кухаркой в людскую. У нее девчурка, светленькая, как ленок, уж очень похожа на тебя, я еще потому и взяла, гляжу и вспоминаю. Приезжай, милый Варик, брось свой Париж, ну что он тебе?..»

Ночь опустилась душным пологом, от письма упоительно пахло полынью, которой у них, во Мценске, горницы метут.

Неудачи его преследуют, хитросплетения рушатся, прожекты лопаются... Пойти, что ли, проситься Христа ради домой? Но Петербург, Москва... В конце концов, Мценск — куда же он денется сам от себя? Ах, сестрица Ольга Африкановна, хорошо вам оттуда писать — брось, мол, все и приезжай...

Свеча чадит. Встать, поправить нету сил. А Фаншетта все зсавляет себя ждать.

9

Военный лагерь Сатори расположен за оградой Версальского парка. Это бараки, окруженные частоколом с проволочной сеткой. Фаншетта обратила внимание на то, что у солдат, сновавших вокруг, на эполетах медные цифры — «22». Это ее подбодрило. Она даже соблаговолила ответить толстенькому капральчику, стоявшему на крыльце мрачного строения без окон и окликнувшему ее:

— Эй, куда бежишь, мадемуазель цыпочка?

— Братца ищу, мсье цыпленочек.

— А не прочь бы ты вместо брата найти женишка?

— Женишок — не мешок, найдешь — не бросишь...

После такого разговора Фаншетта взобралась на крыльцо и узнала, что капрала зовут Жан-Жак, что он не женат и родом из Манса.

— Вы все клянетесь, что холостые... — смеялась Фаншетта. — А как до свадьбы дойдет, глядь, где-нибудь в Мансе жена...

Спросив, как звать брата Фаншетты, Жан-Жак послал солдата узнать в других взводах, нет ли там Селестена Мишо.

— Я бы тебя к нам пригласил, — сказал он Фаншетте, — но туда нельзя.

— А что там? Казарма?

— Нет, тс-с! Тюрьма!

Фаншетта мысленно сжалась: ага, это как раз то, что ей надо!

Капрал принял внезапное молчание Фаншетты за испуг, был ужасно доволен, потирал руки. Явился Селестен Мишо, пробурчал неприветливо:

— Что? Пришла? Как отыскала-то, пра...

Капрал предложил:

— Давайте пойдем, тут неподалеку маркитант завел распивочную. — И поспешил добавить: — Плачу я.

Весь вечер они с солдатами сидели, вдыхая чад жарких. Пили вино (и Фаншетта пила!), отпускали такие шутки, что щеки пылали (и Фаншетта отшучивалась!). Было тревожно и дико. Однако она храбрилась — ради важной цели приходится ведь и рискнуть. Хохотала громче всех, даже обняла за шею Жан-Жака, видя, что остальные его побаиваются. И заметила, как Селестен забавно ревет — пытается снять ее локоть с плеча Жан-Жака.

Рядом с распивочной какой-то предприимчивый савояр натянул брезент и открыл аттракцион — игра в мас-сакр, в «убийство». Там в виде мишени были расставлены куклы, нужно было, кидая шарики, их сбивать. Навес окружила солдатня, слышался гогот, стук шариков, звон монет.

Кавалеры Фаншетты пожелали тоже покидать шарики. Жан-Жак, грубо растолкав солдат, провел к барьеру Фаншетту. Она взглянула на мишень, и сердце ёкнуло: искусный кукольник выточил и нарядил точные подобию живых людей. Вот (боже мой!) настоящая матушка Мишо, с лицом сердитым и добрым одновременно! Вот вы-

литая Симониха в чепце с бантами, вот юноша в колпачке и даже куклята, совсем крохотные Гавроши и Козетты.

Внезапно солдаты примолкли. К барьеру прошел офицер в малиновом кепи, с напыщенным выражением лица.

— Наш новый лейтенант, Сикр! — зашептал Фаншетта капрал, дыша алкоголем. — Из колониальных войск. У, дракон!..

Лейтенант, набрав в горсть шариков, прищурился и швырнул. Кукла в чепце, похожая на матушку Мишо, пошатнулась и упала. Солдаты подобострастно восхищались. Сикр швырнул еще, упал юноша в колпачке. Затем были сбиты Гаврош с Козеттой. Солдатский восторг колыхал серые версальские небеса. Сикр козырем удалился.

После него шарики захватил Жан-Жак. Этот часто промахивался, но зато при каждом броске кричал:

— О-го-го! Вот это выстрел, а-га-га! Эй, савояр, почему из твоих кукол не льется настоящая кровь?

Горны запели поверку, их печальный звук медленно угас в вечерней тишине. Солдаты стали поспешно трезветь, приводить в порядок мундиры. Капрал огорчился — этакую девчоночку приходится покидать!

— Ну, мы ненадолго расстанемся! — обещали солдаты. — Скоро жди нас в Париже!

— Дайте же хоть с братом проститься! — отталкивала их Фаншетта, через силу смеясь. Зашептала Селестену: — Сегодня непременно надо поговорить по важнейшему делу...

— Не знаю, как быть, пра... Я как раз ночью дежурю...

Но Фаншетта была и ласкова, и настойчива, и Селестен, оглянувшись на товарищей, шепнул:

— Пробьет одиннадцать, кончится обход... Приходи к углу тюрьмы, который напротив леса. Там внизу есть маленькая дверца...

Действительно, он ждал ее в одиннадцать часов. Фаншетта жаловалась, что озябла, жалась к нему, поцеловала его в щеку. Селестен совсем растерялся, стал как мешок с овсом. Тогда Фаншетта проворно взобралась по узкой лестнице в полутемную пустую караульную. Выпитое вино ее подбадривало, и все было нипочем.

— Нельзя, пра... За это мне расстрел... — топтался возле нее Селестен. — Выйди, пра... Я в колокол ударю...

Фаншетта уселась за стол, грея ладони на стекле фонаря. Опустился на скамью и Селестен, горестно вздыхая.

-- Неужели ты один во всей тюрьме?

— Нет, есть другие... Ну, кто спит, кто играет в каптерке... Уходи, пра... Ей-богу, застанут!

— Селестен, есть ли здесь заключенный, по имени Бланки?

— Откуда мне знать? Запрещено это...

Толстое лицо его в неровном свете фонаря подергивалось от волнения.

— Селестен, послушай, Бланки—это такой человек... Если он окажется в Париже, война сразу кончится и ты вернешься в свой Канталь сеять ячмень. Селестен, миленький, припомни... Старичок, такой седенький, сухонький, с глазками как у ястреба... (Фаншетта представила себе портрет Бланки, который расклеивали на улицах в дни выборов.)

Селестен отрицательно мотал головой, а сам все не мог успокоиться.

Тогда Фаншетта решительно встала и распахнула дверь в коридор. Там по обеим сторонам шли железные решетчатые двери, над каждой тускло горела свеча.

Фаншетта подбежала к первой двери.

— Бланки, Бланки! — зашептала она через решетку. — Нет ли здесь Бланки?

Протяжный стон был ей ответом.

— Кто ты? — спросил надломленный женский голос.

— Я из Парижа... — содрогаясь от надвигающегося ужаса, прошептала Фаншетта.

— Сообщи моей матери, бульвар Мальзерб, двадцать четыре... Мы пленные санитарки из отряда Дюваля... Нас пытали, мучили, завтра нас расстреляют...

Подскочивший сзади Селестен, обхватив Фаншетту за талию, пытался оттащить от двери. Фаншетта боролась, в азарте забыв обо всем. Они повалили табурет, в камерах услышали шум, закричали. Послышались торопливые шаги за поворотом коридора. Тогда Селестен бросил Фаншетту, схватил веревку и, застонав от отчаяния, ударил в колокол.

Фаншетта помчалась назад, в караульню, оттуда опрометью по лестничке вниз. Слава богу, дверца не закрыта! Фаншетта побежала по ночному полю, перепрыгивая через канавы.

Вот и гостиница. Она застучала. Портье не торопился открывать, рассматривал через стекло. Наконец впустил, но уцепился за руку, подталкивая к патрулю, который пил пиво у стойки в глубине вестибюля. Громадного роста лейтенант смотрел на нее с любопытством.

Фаншетта отчаянно рванулась и, освободившись из рук портье, пустилась по лестнице наверх.

— Стой, куда ты? — неслось ей вдогонку.

10

Пламя свечи метнулось, предметы запрыгали от пляски теней. Захлопнув за собой дверь, Фаншетта к ней прислонилась.

Неретин, сидевший неподвижно, повернул голову, но она не в силах была вымолвить ни слова.

Тогда Неретин встал и, приоткрыв дверь, прислушался к тому, что творилось в гостинице. Раздавались грубые голоса, хлопали двери, кто-то настойчиво стучал, визгливый голос в чем-то оправдывался. Сомнения нет, шел обыск.

Неретин оглядел комнату, ища выхода. Окно, свеча, револьвер. Не то, не то... А, собственно, чего здесь бояться ему? Вот только Фаншетта наверняка что-то натворила, в ее глазах, как расплавленная смола, блестит жар погони.

Шаги и голоса уже близко, на их этаже. Притворив дверь, Неретин вернулся к столу, затем подбежал к кровати. Разбросав подушки, смяв их, откинул одеяло.

— Ложись! — приказал Фаншетте, сам снимая сюртук.

Фаншетта, скрестив руки, не двигалась, ресницы дрожали от недоумения и страха. В коридоре стучались уже в соседние номера.

— Ложись же! — чуть не крикнул Неретин, стягивая сапоги.

Он схватил Фаншетту, кинул на кровать, закрыл с головой. Проклятье! Из-под одеяла высовывались Фаншеттины грубые башмаки. Неретин принялся стаскивать их, сердясь: «И что я с тобой связался!..» Фаншетта старалась помочь, но только мешала — шнурки были все в узлах, намочки, хоть зубами разрывай. А уже стучали в их дверь.

Тогда Неретин просто оборвал шнурки, башмаки упали. Задуть свечу не успел — стоящим в коридоре надоело стучать, они толкнули дверь и вошли.

— Почему не запираетесь? — спросил жандармский лейтенант, оглядывая номер.

Это был Давос, тот самый верзила Давос! Сегодня днем Неретин встретил его во дворце, и Давос, видя, как

Неретина с почетом проводили к Тьеру, издали поклонились. Теперь за его спиной стояли патрульные с трехцветными повязками на рукавах.

— А кого здесь бояться? — пробормотал Неретин, усиленно зевая и протирая глаза.

— Ваши документы... — потребовал Давос. — Есть ли посторонние в номере? — И вдруг, узнав Неретина, отступил на шаг: — О! Да это ты!

— Давос, — воскликнул Неретин, подделываясь под его тон, — что же это ты, дружище, ночью вламываешься, не даешь отдохнуть?

— Понимаешь... — объяснил Давос, еще не соображая, как отнестись к неожиданной ситуации, — только что в гостиницу ворвалась баба одна... Тут живут все высшие офицеры, есть опасение — не террористка ли Коммуны.

— А почему это на тебе вдруг жандармский мундир? Ты же императорский зуав...

— А! — Давос, поморщившись, махнул рукой. — Наш карлик, — он покосился на стоящих сзади жандармов, — всех бывших гвардейцев записал в жандармерию... Ну, в конечном счете, не все ли равно, в каких мундирах вылавливать этих красных?

— Конечно, конечно, — поспешил ответить Неретин. — Ну, брат, извини, у тебя еще есть ко мне вопросы? Ты понимаешь, я тут по особому делу, завтра предстоит трудный день...

— О да, дорогой, конечно, спешу откланяться! — Давос проявлял отчаянное любопытство по поводу того, кто лежит за спиной Неретина, закутавшись в одеяло. Но спросить все же не решился.

— Идемте, — сказал он патрульным, поворачиваясь. — Пожелаем господину приятных сновидений...

Огарок погас, отчаянно коптя. Неретин и Фаншетта в темноте прислушивались к удаляющемуся шуму в коридорах. Согнувшись в калачик, Фаншетта старалась не прикасаться к Неретину. Он, однако, слышал прерывистый стук ее сердца.

— Что там с тобой приключилось? Расскажи.

Фаншетта шепотом описала свой поход в тюрьму Сатори и умолкла. Тишина была уже совершенной, только из парка доносились пьяные голоса и музыка в казино.

— Эх, милая, не повезло нам с тобой! — сказал Неретин.

Поднялся, шлепая босыми ногами, отыскал новую свечу, зажег.

— Вставай, надо возвращаться. Вот твои башмаки.

Девушка, закусив зубами край одеяла, затаилась, будто мышонок. Глаза ее странно блестели, будто их окропила роса.

— Нельзя испытывать судьбу дважды! — рассердился Неретин и сдернул с нее одеяло.

Он вышел в коридор на разведку, вернулся, изложил план. В нижнем этаже ему удалось открыть фрамугу. Он рассчитается с портье, выйдет на улицу, а она вылезет ему на плечи из окна...

Через полчаса они шагали по аллее, где из шалашей и палаток доносился храп аристократической части Парижа. Налетел ветерок, — до рассвета было еще далеко, — апрельские звезды жмурились, подмигивая друг другу.

У обелиска, на скрещении аллей, слышались голоса, мягкий стук копыт. Мерцали фонари. Медленно двигалась кавалькада — дамы и офицеры. Видимо, с ночного пикника. Посередине ехал виконт де Ноайль, красуясь новенькими аксельбантами офицера свиты.

Неретин поспешил увлечь Фаншетту за кусты, подстриженные в виде кубов и параллелепипедов.

— Милые дамы! — воскликнул виконт де Ноайль, выезжая вперед. — Прошу меня извинить. Вот приближается наш друг Давос, он сегодня дежурный по караулу.

Давос рапортовал о том, что им обысканы казино, балаганы, гостиница, но ничего подозрительного не обнаружено.

— А что в Сатори?

Выдвинулся другой офицер, сообщил, что из Сатори только что передали: караульный, поднявший тревогу, признался наконец, что у него без разрешения начальства гостила его сводная сестра... Офицер заглянул в бумажку. Некая Фаншетта Мишо.

— Фаншетта Мишо! — воскликнул виконт. — Да это та самая санкюлотка в красном колпаке... Неужели ты не помнишь, Давос, тогда, у Люлье? Танцевала она на столе?

Давос стукнул себя по лбу:

— Ах я дурак, это же была она! Я внизу в буфете еще подумал: чем-то знакома, а чем? Память стала как решето! Это она была там с Неретиным, факт!

— С Неретиным? — насторожился виконт.

Давос, стараясь змять свою непредусмотрительность, рассказал об обыске в гостинице.

— Поздравляю вас,— сказал виконт.— Вы упустили и волка и овечку. А ну в гостиницу...

В совершенном отчаянии Давос добавил, что потом, терзаемый сомнениями, он хотел еще раз войти в номер к Неретину, но портье сообщил: он только что расплатился и выбыл.

— Обыскать парк!— командовал виконт.— Ночь, куда они уйдут? Поднять жандармский батальон, привести собак из охотничьего дворца!.. Медам,— обратился он к всадницам,— гарантирую вам занимательнейшее зрелище...

Аллея опустела, кавалькада, сопровождаемая призрачным светом фонарей, двинулась ко дворцу. В парке начиналась суета, звучали свистки, слышался собачий лай.

Неретин и Фаншетта, пригнувшись, перебежали газон и через кусты вышли к пруду, посреди которого темнели колонны круглой беседки. Неретин узнал это место — они проходили здесь утром,— достаточно перебраться через ограду, и они затеряются в лесу.

У ограды снова притаились в редких кустах, потому что донесся скрип шагов по песку, свет, голоса.

— Я по пикникам не ездил,— сердито говорил Давос.— Отдежурил ночь, иду спать. Адъютант, вы можете быть свободны, рядовые тоже. Сержант, ты проводишь меня до квартиры.

Давос и сержант остановились, покурили, слушая, как удаляется патруль, затем двинулись к казарме.

— Мой лейтенант!— воскликнул сержант.— Здесь в кустах у ограды кто-то шевелится, накажи меня бог! Посветите-ка фонарем!

Давос, чертыхаясь, откинул полу плаща, под которой был скрыт фонарь. Фаншетта, вероятно решив, что таиться больше нет смысла, выпрыгнула на аллею. Неретин шагнул за ней.

— А!— вскричал Давос, даже словно обрадовавшись.— Это опять вы! И вместе! Я так и ожидал.

Фаншетта и Неретин стояли, прислонившись друг к другу, смотрели в упор на Давоса. «Револьвер, револьвер...» — стучало в висках у Неретина. Давос приближался, посмеиваясь издевательски:

— В тот вечер, мсье, помните, у Люллье, я хотел вы-

звать вас на дуэль из-за этой вот потаскухи... Но ваша рука тогда была на перевязи. Теперь к делу! Хотя на мне жандармский мундир, но я, черт возьми, не поташу вас в полицию, а укокошу собственноручно!

Он приказал сержанту отдать Неретину свою саблю.

— Клинок — оружие смелых, — объяснял он. — Хотя по кодексу дуэлей за вами, мсье, право выбора оружия, но, поскольку вы так глупо обставили меня в гостинице, это право я присваиваю себе.

И Давос, подняв саблю, кинулся на Неретина. Сержант, державший фонарь, и Фаншетта отступили к кустам.

Неретин отразил выпад Давоса, лезвия звякнули, Давос вздохнул, а Неретин улыбнулся: «Ну, милейший, проморгал, в корпусе по сабле я был из первых...»

Тогда Давос стремительно налетел, пытаясь ложным выпадом отвести внимание Неретина и уколоть его в бок. Неретин разгадал его ход: «Это старые фокусы» — и встретил саблю Давоса чашкой своего эфеса. Пока тот заносил клинок для нового удара, Неретин коротким, быстрым и слабым движением проколол ему кисть.

— Азиатский прием! — вскричал Давос.

Неретин хотел дать ему время перевязать рану, но тот, не обращая внимания на текущую кровь, перехватил саблю и обрушил новый каскад выпадов. Да, конечно, он был сильнее и злей, а рука Неретина после ранения уже не имела той гибкости, как прежде. Неретину пришлось бы довольно туго, если бы Давос не увлекался чрезмерно. А Неретин был флегматичен и даже, как казалось, мешковат.

— Еще раз! — охнул Давос, когда кровь потекла у него из подмышки, проколотой новым обманным выпадом Неретина.

— А теперь вот это! — крикнул Неретин, обрушивая на его голову клинок не так, как предписано правилами классического боя, а как делают наши казаки в пешем строю.

Давос рухнул головой на песок. Темная лужа растекалась по аллее.

Жандармский сержант бросил фонарь, пустился наутек. Неретин подошел к Фаншетте, тяжело дыша, бросил саблю Давоса, наклонившись, вытер руки о траву.

— Ох как вы его... Этого... — пролепетала Фаншетта, держась за щеки.

— Ну, времени на рассуждения нет, скорее через ограду...

К утру они добрались до Сен-Дени, переправились на прусскую сторону и там сели на пустой парижский пароходик. Он мирно бежал мимо равнинных берегов. У Неретина слипались глаза, а Фаншетта нахохлилась, молчала, переживая события прошедшей ночи. Какие-то двое молодых людей, усевшись напротив, с любопытством рассматривали гороховое пальто Неретина и выдавшее виды платье Фаншетты.

Наконец пароход ткнулся о дебаркадер Южной пристани, под сень красных флагов, полоскавшихся в лазурном небе. Неретин, озябший и сонный, поднял воротник. руку его оцарапал значок Захара Кузьмича, прикрепленный под лацканом.

Неретин отодрал значок и с отвращением швырнул за борт.

— Что-то у вас упало в воду! — забеспокоилась Фаншетта. — Нужно что-нибудь?

Неретин промолчал. Сойдя по трапу, они расстались. Фаншетта, щурясь от солнца и беззаботно притопывая в такт какой-то песенке, помчалась по набережной к себе домой. Неретин покачал головой: «Сорванец-девчонка!» — и принялся набивать трубку.

Из-за его спины на брусчатку мостовой упали две тени. Тяжелая рука легла на его плечо:

— Гражданин Неретин, именем Коммуны вы арестованы.

Глава девятая

ТЕНЬ ГИЛЬОТИНЫ

1

Заголовки газет кричали:

«Восстановлен революционный календарь 1792 года! 21 апреля теперь будет считаться первым флореаля XXIX года Республики! После двухдневных дебатов Коммуна приняла предложение Феликса Пиа!»

— Фло-ре-аль! — Риго отшвырнул газеты. — Как буд-то нечем больше заниматься!

Жужжащий газ в лампе отвоёвал у ночной тьмы конус

яркого света. На столе у прокурора Коммуны книги, книги, книги. Одни вверх корешками, чтобы не потерять найденные места, другие заложены чистыми бланками на арест. С их страниц возникает девяносто третий год — так явственно, будто Риго сам шагает в толпе санкюлотов, над которой на пиках покачиваются головы бывших господ.

В тот год армии интервентов подошли к Парижу. Был голод, всюду гнездилась измена. Казалось тогда: революция погибла, еще несколько дней — и Париж, в крови и прахе, будет пресмыкаться у ног белых генералов. Но та, первая Коммуна 1793 года родила слово «террор»!

Риго не верит в мистицизм слов, однако это рычащее сочетание звуков заставляет и его содрогаться. Ужас возмездия, тяжкий рокот колес истории — террор!

«Хотите, чтобы наши дела шли хорошо?

Гильотинируйте!

Хотите создать, обувь, одеть, вооружить четырнадцать армий?

Гильотинируйте!

Хотите справиться с врагами революции?

Гильотинируйте, ибо мертвые не вредят!»

И республика, очищенная от язвы, восстала. И возникшие из хаоса армии разгромили врагов республики. И голова контрреволюции скатилась с плахи красной гильотины.

Коммуна 1871 года, в отличие от своей далекой предшественницы, мягкосердечна. Робеспьер казнил не только за измену, но и за нерасторопность. А когда, например, Рауль Риго приказал было арестовать Бержере, этого слабовольного добряка в генеральском мундире, по чьей вине, собственно, погибли Дюваль и Флуранс, еще более возмутительные добряки из Коммуны отменили его приказ.

— Если любой из вас, — заявил тогда делегатам Коммуны Риго, — станет вреден или даже просто бесполезен для революции, я, как прокурор Коммуны, прикажу его арестовать, кто бы он ни был! Перед интересами народа не может быть авторитетов!

Риго в сердцах перевернул газетную страницу, и взгляд его снова наткнулся на репортаж о календаре:

— «Его изобретатель, поэт Фабр д'Эглантин, дал месяцам названия, соответствующие климату и природе.

Например: «термидор» — месяц жары, «брюмер» — месяц туманов, «жерминаль» — месяц, когда лопаются почки...»

Пустословы, растратчики времени! Лучше бы занялись новым главнокомандующим Кюзере, который оказался хвостун и бездельник не хуже моряка Люллье.

Вот и еще, извольте: «Флореаль — месяц цветов. Месяц весны и надежд, когда даже самые отчаявшиеся расцветают улыбкой, а сердца юных охватывает любовь...» И это вместо того, чтобы решать неотложнейшие вопросы устройства, снабжения, обороны!

Нет, излишек демократии столь же вреден, как и ее недостаток. Нужна диктатура. Нужен Комитет общественного спасения, как в 1793 году.

Но диктатуры боятся сами же кандидаты в диктаторы. Указывают, что революционеры истребили друг друга, расчистив путь Наполеону I. Цитируют слова Бабефа о терроре: «Деспотизм, замаскированный знаменем революции. Вместо законного порядка, установленного народом, республике пришлось подчиниться воле двоих-троих, то есть тирании самой полной...»

Не доверяют Риго. Ах, если б они прозрели и увидели, как чтит он, Риго, знаменитую заповедь Робеспьера: «Подходите к своему страшному служению, как к святыню, с честным сердцем и чистыми руками...»

Клешни контрреволюции смыкаются. В сотнях донесений, просматриваемых им каждый день, в тысяче разнообразных событий он чувствует какую-то опытную руку, направляющую происки врагов. Это не Тьер, не Версаль, это кто-то в Париже. Но кто?

По какому-то единому плану чиновники нарочно портят бумаги, в монастырях прячется оружие, бульварные газеты печатают клевету. Шпионы и саботаж везде.

Кто же этот матерый враг? Как парализовать и раскрыть его?

Венчик газовой лампы стал погасать. В окно светилось нежное апрельское утро. Риго встал, потянулся, сделал гимнастику. Постель, приготовленная на одном из диванов его кабинета, сегодня опять останется несмятой.

Третьего дня навсегда покинул он свой «фонарь» на улице Гей-Люссака. Там принялись на все лады жалеть Шардо де ла Тура, а Риго заявил: сам виноват, изнеженный наивец, чего встал под бонапартистское знамя? Вернулся Бурош, который самовольно ходил с Дювалем. Риго учинил ему допрос, даже пригрозил арестом.

«За что?» — завопила мансарда.

«За то, что не разделил судьбы своего командира, если уж пошел с ним».

«Арест за то, что остался живым? Да что же это такое?»

«Это террор».

Хватит. Ничего общего не может быть у него с этим мелкобуржуазным болотом!

Вошел Теофиль Ферре, член Коммуны, еще один дремучий бородач, делегат общественной безопасности, невыспавшийся, с воспаленными глазами.

— Ты с позиций? Как там дела?

Ферре устало пожал плечами, вынул хлеб, стал есть, стряхивая крошки с бороды.

Рабочий день начался. Орас, помощник, бодро прокричав: «Привет и братство!», подал список арестованных за вчерашний день. Пробегая его глазами, Риго воскликнул:

— Смотри-ка — Неретин! Почему?

— Как почему? Есть же показание о том, что он признал себя шпионом! И потом, свидетельство Войницкой...

— Значит, это ты приказал его арестовать?

— А что, разве не надо было? Ты же сам...

— Нет, ты прямо, милочка моя, скажи: ты выписал ордер?

Орас даже вспотел, не зная, как лучше ответить.

— Но ты же сам, гражданин прокурор... Помнишь? Ты же говорил: талант революционера, теория террора...

Риго взял табакерку и поднес ее Орасу. Тот захватил шепотку и поспешил засунуть себе в нос.

— Талант в том и заключается, — сказал Риго, — чтобы действовать вопреки теории, а не плестись за ней. Теперь что ж... Вели доставить арестованного, мы его допросим.

2

Арест — это внезапная остановка на быстром бегу. Сердце еще выколачивает ритм, еще гудят от нетерпения мышцы, еще надо бы мчаться, дышать, лететь... А время уже застыло в неподвижности, и что-то уже умерло, необратимо изменилось.

Неретин метался по узкой, как щель, одиночке тюрьмы Сент-Пелажи — «старой Пелаго», как ее называют на

парижском жаргоне. За решетчатой бойницей слышались резкие крики павлинов — тюрьма рядом с Ботаническим садом. Третьего дня они с Фаншеттой, решаясь вместе идти в Версаль, сидели на лавочке как раз напротив этих выдавших виды стен...

Бесполезно стучать, звать. Седоусый ворчун стражник сразу же объявил, что с ним шутки плохи, он служит здесь еще со времен его величества Карла Десятого и надеется побыть тюремщиком еще при коммунизме. Подумать только: Неретин не родился, а этот хрыч уже стоял у камерных решеток, потряхивая ключами, сам незыблем, как тюрьма!

— Деньги есть? — спросил стражник. — Схожу за едой в ресторан.

Неретин машинально дал десять франков, и тот принес обед: говядина, сыр бри, полбутылки вина. Неплохо для узника Коммуны! Впрочем, Неретину ничего в рот не лезло, и стражник съел всё сам с таким видом, будто оказывает услугу.

Да и кого звать, чего добиваться? Есть у него кто-нибудь? Друзья? Разве эта взбалмошная девчонка, да что от нее толку? И хорошо, что они больше не увидят друг друга.

Подумать только: если бы вчера не убил Давоса, этого чудака, сейчас сидел бы в другой тюрьме, в Версале. Неретин усмехнулся, и от этой грустной улыбки тягость немножко отошла. Итак, о чем он станет говорить, когда его вызовут? О намерениях помочь Коммуне... О намерениях? Но ведь давно сказано: благими намерениями вымошен ад...

Кажется, Феликс Пиа или кто-то другой говорит: «Мы начнем с того, чем кончил Робеспьер». Это значит, что будут казни. Неретин знает историю террора. Если еще вдруг объявится Нечаев и приложит к делу Неретина руку, никакой Варлен уже не спасет.

Вот и всё. Давно ожидал он этого момента, но так скоро... Так неожиданно, врасплох! А тот ребенок, та девочка во Мценске, неведомое создание... Что будет с ней? Не дай бог, умрет Ольга Африкановна, братец Сережа по скудости ума прогонит ее с матерью в деревню, и будет она там носить поневу и чистить в птичнике помет...

Так прошла томительная, полубессонная ночь, а серым тюремным утром загремели ключи и Неретина вызвали на допрос.

Его посадили в плотно зашторенную карету. Привезли в Ратушу, и федераты с саблями наголо повели по анфиладам.

В полукруглой диванной, у стола, заваленного бумагами, сидели двое, бородатые и в одинаковых пенсне. Секретарь стоя подавал им бумаги.

Это стражи революционного порядка, на них покоится безопасность Коммуны. Один — значительно старше, неподвижный, непроницаемый, непреклонный — Теофиль Ферре. А другой — Риго, прокурор Коммуны. Нервно дергает шнурочек пенсне, излишне резок, движения отрывисты... Недаром студенческое прозвище у него — «бородатый задира»!

— Гражданин Неретин, что вы можете сказать в свое оправдание?

Что может он сказать? Всю ночь голову распирали убедительнейшие, искреннейшие речи, а сейчас он нем, как летучая мышь. Крепись, Неретин, тебе крышка! А смерть — это, пожалуй, единственный раз в жизни, когда представляется случай доказать, что ты человек...

— Итак, вы молчите? — Риго смерил его изучающим взглядом и повернулся к Ферре: — Я так и предполагал. Ферре важно наклонил голову. Риго продолжал:

— Тогда я сам буду задавать вам вопросы. Видите ли, ваша биография нам известна... Очень, я сказал бы, унылое существование: постоянное предательство, равнодушие к общественному благу. Одно лишь светлое пятно — ранение при Бюзанвале...

— Да и то, — вставил Ферре, сощурившись пронизательно, — есть основания предполагать, что это тоже очень тонкая, очень иезуитская игра.

Неретин сделал движение, желая убедить, доказать...

— Спокойно, спокойно... — удержал его стоявший за спиной Орас.

— А если не так, ответьте нам, какие вы преследовали цели, вступая в Национальную гвардию?

Сказать, что Захар Кузьмич посоветовал? Но это-то как раз и есть иезуитская игра...

А вопросы сыпались один за другим:

— Имеются сведения, что вы были у Дюваля в ночь перед его поражением. Чем вы докажете, что это не ваших рук дело?

— Вас заметили среди контрреволюционеров на улице Мира. Не вы ли стреляли исподтишка по федератам?

И наконец:

— Зачем вы ходили в Версаль и вернулись в Париж?

Тут речь пойдет и о Фаншетте, надо постараться не впутывать девчонку. Неретин принялся горячо рассказывать о замысле освободить Бланки.

Риго и Ферре переглянулись и затем усмехнулись, одинаково, как два близнеца.

— Как, разве вам не известно, что Бланки не в Версале, а в замке Кагор, за шестьсот километров отсюда?

— Да, теперь известно, но тогда...— Неретин заговорил о войсках, накапливающихся в Версальском парке, о слабости позиций федератов, о бурной деятельности Тьера, упомянул и о его карте, на которой нанесено расположение баррикад.

— Вы провоцируете нас,— холодно ответил Риго,— или хотите запугать. Или хотите купить себе жизнь ценой нового предательства. Началось с Иванищева, а кончится Раулем Риго, не так ли?

Неретин умолк. И об Иванищеве уже им известно? Значит, Мария успела побывать здесь... Обманула и в том, что оставляет его в покое... Во всяком случае, остальное теперь безразлично, будь что будет.

— Все ясно,— сказал Ферре. И ребром руки ударил по ладони другой, как нож гильотины ударяет по плахе.

— Погоди...— остановил его Риго.— Гражданин Неретин еще имеет возможность облегчить свою участь.

Он подошел к Неретину вплотную и снизу вверх (точно как маленький Тьер двое суток назад) проткнул его взглядом.

— Знаете ли вы аббатство святой Урсулы на улице Доминик? Бывали ли вы там? Не знакомы ли с его священниками, по имени брат Захария и брат Филидор?

Вошел Орас, доложил, что прибыл курьер с южного фронта. Риго нетерпеливо вскрыл поданный пакет, пробежал взглядом, сорвал пенсне в страшном волнении:

— Опять измена! Или еще страшнее — равнодушие! Гарнизон форта Иссы самовольно покинул позиции, и форт занят версальцами! Ферре, едем, не медля ни минуты... Орас, ты распорядись насчет него.— Он кивнул в сторону Неретина.

Когда начальство ушло, Орас стал ходить возле Неретина, как лис вокруг ежа.

— Что, деятель, попался? Я тебя выведу на чистую воду...

— Прошу обращаться ко мне на «вы».

— К тебе на «вы»! — Орас выкатил глаза совсем как Риго, только у того получалось страшно, а у этого комически.— Признавайся сейчас же, а не то...

Орас упрашивал, угрожал, ругал, хвалил — словом, нажимал на все педали. Но Неретин был расслаблен и нем, как тряпичная кукла. Наконец, уморившись и потеряв надежду блеснуть своими способностями, Орас вызвал конвой и отправил его обратно в Сент-Пелажи.

Все еще негодуя и поминая Неретина, Орас стал принимать посетителей.

Рабочие за шиворот привели оборванца, против которого уликой оказались его собственные руки — белые, нежные, как у принца королевской крови. Его обыскали и нашли чертежи баррикад Бютт-Шомона. Пришли женщины из клуба «Защитниц республики» и сообщили, что со старой колокольни ночью кто-то сигнализирует фонарем. От желающих помочь прокурору Коммуны весь день не было отбоя. Только когда солнце уже садилось, прием закончился и Орас стал запирать шкафы.

— А где же он? — раздался за его спиной девичий голос.

— Кто — он?

— Прокурор.

— Как видишь, нету.

— Освободите его, освободите его немедленно! — вскричала посетительница. Она подбоченилась, как это делают парижанки, когда чем-нибудь возмущены, черная коса ее от быстрых движений так и летала.— Освободите его сейчас же!

— Да кого — его?

— Неретина! Будто не знаешь, о ком я говорю! Что молчишь, ухмыляешься? Он герой!

— Вот и расскажи мне поподробнее, какой он герой,— сказал Орас, усаживаясь и предлагая сесть Фаншетте.

Фаншетта поведала ему все без утайки об их поездке в Версаль.

Оборвала на полуслове, стала ждать. Орас долго писал, рассматривал каждую страницу, ковырял ручкой в ухе.

— Ну что? — спросила Фаншетта, потеряв терпение.

— Минуточку. Кое-что уточним... Итак, что же у нас выходит? Выходит, что он твой любовник?

— Какой любовник? — опешила Фаншетта.



— Как — какой? Ты что же, выкрутиться хочешь? — Орас сиял улыбкой первооткрывателя. — Спала с ним в постели и он тебе не любовник?

И тогда Фаншетта вскочила и плюнула в Ораса. Промахнулась и попала в бумаги, разложенные на столе. С досады топнула ногой и выбежала вон.

3

Как только стало известно, что хозяин завода, господин Эврар, бежал, Антуан отправился в Ратушу. В Комиссии труда и обмена его встретил Лео Франкель.

— Ты, Мишо, делегат по заводу? Вот принятый Коммуной декрет о предприятиях, брошенных хозяевами. Ваш завод переходит теперь в собственность рабочих. Ты назначаешься директором.

Антуан изложил требования рабочих: уничтожить штрафы и вычеты, отменить ночную работу, сократить продолжительность рабочего дня.

Франкель задумался. Его мучил озноб, чахоточный румянец пробивался сквозь смуглоту лица. Он набросил на плечи стеганую куртку и сидел, как большая нахохлившаяся птица.

— Ну что ж... Декрет о запрещении всяких штрафов и вычетов у нас уже подготовлен. Можно отменить и ночную смену. Но послушай, гражданин... — На чернявом, худом его лице появилась озабоченная складка между бровей. — Коммуна окружена врагами. Коммуне нужно как можно больше патронов. С маху, конечно, можно подписать любой декрет, но это же будет никчемная бумажка, если версальцы ворвутся... Рабочие должны проявить сознательность.

— Я придумал, — сказал Антуан. — У нас вал трансмиссии очень длинный, на него можно накинуть вдвое больше ремней, поставить больше станков, вот и не нужна ночная смена.

И тут Франкель начал смеяться. Закашлялся, махнул рукой, глаза лукаво блеснули, и он стал смеяться еще пуще.

Антуан понял, что сморозил какую-то глупость.

— Я простой штамповщик. Лучше назначьте директором какого-нибудь инженера...

С лица Франкеля смех как губкой стерло.

— Инженера? Но инженер привык защищать интересы хозяина, это почти тот же капиталист.

— Да, да,— согласился Антуан, вспомнив лысого мастера.

— Так вот, дорогой гражданин, кому же еще быть красным директором? Нам надо полагаться только на себя. У тебя какое образование? Элементарная школа, четыре класса? Да это целая академия! Книг, наверное, много читал?

Антуан признался, что кроме учебников читал только «Манифест Коммунистической партии», да и то из чувства противоречия, потому что папаша называет его самой бестолковой из книг для рабочих...

— Ну и как? — улыбнулся Франкель.

— Кроме того что призрак бродит коммунизма, я ничего там не усвоил. Во всяком случае, почему на трансмиссию нельзя накинуть сколько угодно ремней, там этого нет.

— О! — темпераментно вскричал Франкель. — Пролетарии будут управлять миром, это главное, что надо усвоить у Маркса! Но чтобы управлять, надо много-много, ой как много знать! Хотя бы, например, что каждый двигатель имеет свой предел мощности... Ладно, парень, — добавил он, вставая. — Я знаю, ты с головой, сам поймешь, что к чему. Иди, управляй, мы тебе поможем, станешь постепенно и учиться. Помни одно: производительность труда — вот наше оружие, не менее острое, чем штыки или сабли.

— О-ля-ля, дядя Франкель! — не без шутовства ответил ему Антуан.

Но все же с того дня поумерил своего шутовства. Сделался сосредоточенным, даже ссутулился, словно на его плечи лег невидимый, но тяжкий груз. Лысый мастер теперь перед ним заискивал: «Как, мол, это прикажешь, да как, мол, прикажешь то...» Антуан вздумал выспрашивать его обо всем досконально: чем отличаются радиальные фрезы от осевых фрез, как производить закалку штампа.

У Агнесы он спросил:

— Что такое производительность труда?

— Не знаю.

— Чему же вас учили в вашем пансионе?

— Ну как — чему... Элоквенции, то есть красноречию,

гомилетике, то есть учению о божественной сущности Иисуса Христа...

Антуан расхохотался:

— Жаль, что ты женщина. С такими знаниями только в попы!

— А без знаний что же? В директора?

Антуан нахмурился: Агнеса угодила в его больное место. Франкель дал ему кучу учебников, кроме того, он перерыл всех отцовских Прудонов и Луи Бланов, но если прежде он не читал из чистого противоречия, то теперь просто некогда читать!

Агнеса уже давно переселилась к отцу, в отель Обюссон. Но от него частенько получала такие записочки: «Душечка, не сердись, я опять ночую в редакции, готовим чудный матерьяльчик...»

Тогда она шла в подвал Мишо. Теперь там окна у самого потолка были раскрыты настежь, буйствовала трава, мелькали ноги прохожих.

Агнеса одна, за огромным столом, занималась с детьми. Никто не мешал. Старик Мишо с батальоном ушел на позиции, Фаншетта пропадала до поздней ночи, приходя, хватала кусок хлеба и валилась спать, не отвечая на вопросы и упреки матери.

Сиротка Жако, похожий на уморительного профессора в своих очках, отважно складывал: «Сла-ва труду!» или: « $1 + 1 = 2$ ». Менее способный Дени ревновал его к этим успехам, исподтишка колол булавкой. Тогда, по общему решению детей, Дени наказывали: заставляли три раза написать слово «Тьер», и мальчик плакал от обиды.

Когда матушка Мишо, отправив соседских детей по домам, своих укладывала спать, возвращался с завода Антуан. Он плескался у «водолея», и Агнесе уже не стыдно было смотреть на его мускулистую спину. У него веки слипались от усталости, но, увидев Агнесу, он радостно улыбался и предлагал:

— Поротозейничаем, что ли, по набережным?

Агнеса, не обижаясь на его диалект, соглашалась. Они долго наблюдали, как в реке, черной будто вар, дрожат вереницы огней. Когда же им надоедал постоянный гул далекой канонады, они заходили в полупустое кафе и там слушали грустную скрипку бродячего музыканта.

Тетку Жужу избрали председательницей женской секции на заводе, и потому она очень важничала, даже на Антуана один раз топнула ногой.

— Детка,—обратилась она как-то к Агнесе,—говорят, ты жила в соседнем аббатстве?

О, та ушедшая жизнь казалась Агнесе такой призрачной и неправдоподобной!

— Правда ли, детка, что у урсулинок бывают пиры, что приходят монахи и до утра поют и танцуют?

Агнеса молчала. Она, правда, знала эти скверные слухи, но что значило все это по сравнению со светом незримым, который когда-то сиял ей там?

— Э, да ты совсем распропагандирована попами,—сказала тетка Жужу и с досадой отошла.

Во время одной из вечерних прогулок Антуан заговорил о монастыре.

— Рабочие возмущены,—сказал он.— Вся округа уже много лет знает о проделках здешних монахинь, а Коммуна до сих пор ничего не предприняла, чтобы их разоблачить. Ведь ты жила там целых два года, неужели ты не можешь...

— Гражданин директор,—прервала его Агнеса,—неужели нельзя о чем-нибудь другом?

Но однажды утром, подойдя к воротам завода, Агнеса была встречена толпой возбужденных работниц. Прежде чем Агнеса успела что-либо понять, на нее набросилась тетка Жужу:

— Гуляешь? А ну пойдем с нами, вот и Антуан твой тоже.

Тетка Жужу привела их в свое жилище — тесную развалюху на пустыре. Там, в кругу охающих женщин, сидела какая-то не то нищенка, не то послушница в рясе из грубой мешковины. Сквозь рваную ткань виднелись кровоподтеки на бледной коже. На шее болталась оборванная веревочная петля.

— Попы мучили ее, морили голодом! — волновались женщины.— Они хотели сделать из нее живые мощи, чтобы показывать за большие деньги!

— У, подлые святоши!

Послушница сидела опустив голову и казалась глухо-немой.

— Мы возвращались с ночной смены и отняли ее у мо-

нахинь,— сообщила тетка Жужу. И обратилась к Агнесе:— Вглядиись в нее получше, детка. Не узнаешь?

Но Агнеса не могла ее припомнить, как ни сердилась тетка Жужу.

В дверь постучали. Вошли две женщины в мундирах Национальной гвардии, представительницы из Ратуши (тетка Жужу успела туда сообщить),— гражданка Войницкая от прокурора Коммуны и гражданка Лемель от Комиссии просвещения. Натали Лемель принесла решение Комиссии просвещения: здание аббатства и весь инвентарь передать женской секции патронного завода для организации там клуба и детских учреждений.

Мария Войницкая изложила план: у ворот аббатства ее ждет сержант со взводом федератов, она потребует официально, чтобы впустили, и сделает тщательный обыск...

Однако у ворот монастыря никаких федератов не оказалось. Несколько работников стучали кулаками в железные створы ворот, а толпа зевак подбадривала свистом. Мария недоумевала: что могло произойти?

И тут позади зевак она заметила своего сержанта. Догнала его, повернула к себе:

— В чем дело? Где люди? Я велела захватить из Ратуши бланки ордеров. Где они?

Сержант кивком указал ей на другую сторону улицы. Там стоял, засунув руки в карманы, краснощекий Орас. Еле сдерживая гнев, Мария подошла к нему:

— Это вы вмешиваетесь? Дело поручено мне. Зачем вы отослали федератов?

Орас, ничего не отвечая, смотрел на нее пустым взглядом и ковырял в зубах спичкой.

— Я напишу на вас рапорт.— Мария старалась совладать с собой.— Что все это значит? Утром мне сказали, что вами приказано не выдавать мне агентурных материалов...

Орас выплюнул спичку и отошел, так и не произнеся ни слова. Женщин собралось уже так много, что улица представляла собой водоворот платков, шляпок, чепцов, шапочек. Все выжидающе смотрели, чем кончится стычка между начальством. Что делать? Чувство стыда и беспомощности охватило Марию.

— Ничего, детка,— ободрила ее всепонимающая тетка Жужу.— Пойди-ка к воротам и потребуй открыть именем Коммуны.

Однако это не произвело никакого впечатления. Серые башни и глухие стены оставались безмолвными, как будто монастырь вымер.

— Ну, тогда возьмемся мы! — воскликнула тетка Жужу.— Эй, подружки, во дворе напротив я видела здоровенное бревно, тащите его сюда!

Женщины дружно раскатали бревно и так ахнули им об створы ворот, что те загудели, словно упавший колокол. Удары следовали один за другим, а тысячная толпа сопровождала иступленным криком.

Тогда массивные створы дрогнули и приоткрылись. Мария первая шагнула, за ней другие. Народ двинулся, ведя послушницу перед собой.

Агнесе очень хотелось убежать. Но плечи работниц сжимали справа и слева, и она текла в людском потоке, как потерявшая волю частица.

Женщины бросились по кладовым, по сараям и кельям. Монахини в причудливых чепцах металась, не зная, куда спрятаться. А вот толстый, отдувающийся, мокрый от страха брат Филидор. Увидев его, послушница закричала так, что всех мороз подрал по коже.

— Она невменяемая... — отстранялся от нее монах.— Ей нельзя верить... Обрывок веревки на шее? Но это же знак обычного церковного покаяния... Ой, ой, ой! — завопил он, когда какая-то старуха с вывертом его ущипнула.

Мария приказала женщинам отойти от него.

— Я протестую... — сипел брат Филидор.— У вас нет ордера... Решение вашей Комиссии просвещения противозаконно...

— А это не противозаконно? — отвечали женщины, указывая на копчености, соленья, варенья, мешки с мукой, которые выносили из покоев, складывая для всеобщего обозрения.— Париж голодал во время осады, версальцы снова хотят его голодом задушить, а тут экие припасы!

— Я послал к дежурному члену Коммуны... — грозился брат Филидор.— Пусть защитит нас от самоуправления...

— Коммуна за нас, а не за вас, тунеядцы! — отвечали ему женщины.

— Что здесь происходит?

Это Варлен, в красном шарфе члена Коммуны. Женщины затихли, пропуская его в середину.

Варлен пожал руки знакомым и незнакомым. Мария доложила о происходящем.

— Всё это требует тщательного расследования,— поморщился Варлен.— А самочинный обыск придется прекратить.

— Варлен, что ты говоришь? — с болью крикнула Натали.

— Закон одинаков для всех,— Варлен устремил на нее тяжелый взгляд усталых глаз,— тем более революционный закон!

Брат Филидор молитвенно взирал на него. Мария окончательно встала в тупик.

Но тут к Варлену протискался Орас. Начал официально: «Привет и братство!» В его распоряжении есть сведения...

— Сержант! — позвал Орас и отдал ему приказания.

Оказалось, что в здании пансиона, хитро замаскированные невинными пеньюарами и пледами воспитанниц, спрятаны винтовки, револьверы, ящики с патронами. Свежие клейма доказывали, что все это украдено на патронном заводе. Женщины с укоризной обратились к Антуану.

Орас выглядел героем. Улучив момент, Мария спросила:

— Что за комедию вы играли со мной? Зачем? Требую объяснить!

— Привет и братство! — ответил ей Орас и занялся заполнением бланка на арест.

Варлен, как член Коммуны, подписал, и брата Филидора, изнемогающего от переживаний, увезли в тюрьму.

Про Агнесу забыли. Она тихонько выбралась из многолюдья, стала бродить по монастырю.

Вот балкончик, откуда за их прогулкой наблюдал брат Захария, здесь Фаншетта передала ей однажды письмо-букет... Вот и оранжерея. Стекла выбиты, хозяйничают воробьи, грядки заросли. Агнеса принялась выпалывать травку.

Петунии уже дали бутоны. «Петуния указывает, что это не просто букет...» А вот крокусы — «никому ничего не говорите»... Где-то теперь виконт де Ноайль?

Но коня пришпорил рыцарь,
Рог зовет его в сраженья.
Что ему в угрюмой башне
Сердца девичьего стук?

Странно, в старой Пелаго Неретину совершенно не снился Мценск. Всё какие-то виделось погони и драки, летучие кошмары. Всю ночь он ворочался на тюфяке, набитом стружкой.

— Что ты все шебуршишь да шебуршишь,— ворчал стражник,— нельзя из-за тебя отдохнуть.

Однажды с утра он стал подмигивать, многозначительно улыбаться.

— Гости к тебе,— сипел он,— гости!

Какие там еще гости?

Но вечером, чуть смерклось, решетка камеры заскрипела, звякнула цепь. Тонкий, стремительный силуэт встал на пороге.

«Мария?» — забилося сердце Неретина. Но тотчас же понял: «Фаншетта!»

И все же отчаянно был рад. Они устремились друг к другу. Неретин обнял ее, ощутил под ладонями острые лопатки, лицом уткнулся в ее волосы. От нее пахло, как от полевых птиц (Неретин ведь когда-то хаживал на охоту). Немножко болотцем, какой-то солью и очень много ветром, простором, свободой!

Фаншетта, однако, освободилась и сказала с трагическим ударением:

— Я вот зачем пришла... Скажите мне сами, скажите: вы враг или нет?

Она трясла его за рукава и твердила, захлебываясь речью:

— Я все знаю... Все знаю... Сестра Мари из госпиталя, она все рассказала у Риге. Я догадалась только теперь. Дура я, дура!.. Вы любите ее... Я больше не могу! — вдруг закричала она, и эхо отозвалось под сводами. — Я не могу так больше!..

Она отбежала к двери и затрясла решетку. Неретин был в каком-то оцепенении. Реальность медленно возвращалась, сырые стены снова вырастали вокруг. Он подошел к Фаншетте, ласково взял ее за руку, отвел от двери.

— Ну что ты, глупенькая... Садись, поговорим.

Фаншетта настороженно примостилась на краешке постели.

— Я все ходила вокруг тюрьмы, вспоминала, как мы с вами на скамейке сидели, перед тем как идти в Версаль.

Шел старичок, спрашивает: «Что, горлинка, голубок, что ли, в клетку попал?» Я ему рассказала о вас, он говорит: «Ничего нет легче, пятьсот франков за одно свидание». Это такая сумма! Но я заняла у старика Ришардьё...

Стражник, потревоженный шумом, что-то бубнил за дверью, снимая нагар со свечи.

— Мне одно надо знать... Помните, вы сказали: «Я шпион». Но в Версале, в Версале... Не может быть, чтобы вы — шпион! Или вы смеялись надо мной?

Ее речь становилась все более бессвязной, а Неретин закурил, и привычный дымок вернул ему равновесие.

— Эх, Фаншетта, лучше бы тебе всего этого не знать! Есть у нас, русских, одна пословица... Береги, мол, честь смолоду. В общем, милая, страдаю я теперь оттого, что мало задумывался над тем, что такое честь!

Но девушка, казалось, и не слушала. Пристально вглядывалась вверх.

— Что же здесь, потолка нет, что ли? Я ведь думала, что у Коммуны не будет тюрем...

— Вот те на! — засмеялся Неретин. — Потолок здесь, конечно, есть, но камера узкая, темная, и кажется, будто его нет...

— Скажите, кто бы мог вам помочь?

Неретин подумал.

— Один Варлен, пожалуй (в мозгу пронеслось и угасло: «Еще Захар Кузьмич... Нет, нет, только не это...»). Хотя, Фаншетта, не старайся, ничто уже не поможет.

— У вас здесь есть деньги? — неожиданно спросила Фаншетта. — Есть? Хорошо. Дайте пятьсот франков, мне надо отдать Ришардьё, я обещала... Но вы не беспокойтесь, я все равно достану, я вам пришлю!

Неретин предложил чаю, но Фаншетта заявила, что ей пора. Стучала в решетку, пока сонный стражник не загремел ключами.

— Что так скоро? Поссорились, что ли?

Прежде чем уйти, Фаншетта спросила еле слышным шепотом, взяв руку Неретина в свою горячую ладонь:

— Не смейтесь надо мной... Скажите одно: враг ли вы Коммуне?

Неретин твердо ответил:

— Нет!

И Фаншетта ему обещала:

— Я буду за вас до конца.

В первые дни после посещения Фаншетты он медленно приходил в себя, словно оттаивал, постепенно возвращался к жизни. Потом захотелось узнать, что происходит за стенами. Сунул стражнику еще банкнот, просил принести газет. Тот добыл ему в канцелярии номера «Журналь Офисьель».

Неретин проглотил их сразу, от заголовков до объявлений, и после чтения в голове остался сумбур. Множество каких-то подробностей, из которых не выделишь главного: ломбард, заклады, семейное право, динамит для фугасов, облава на дезертиров, манифестация масонов, расстрел версальцами раненых, еще раз заклады и векселя, реквизиция брошенных квартир, приветствие английским рабочим...

Опять безучастно лежал на койке, уставившись во тьму. Но надо же наконец понять, что кипит вокруг? Что, например, заставляет таких, как Фаншетта, со страстью, для Неретина совершенно необъяснимой, повторять: «Враг ли вы Коммуне?»

Встал, снова взялся за газеты, разложил их по номерам: 1, 2, 3, 4 флореаля... Последний номер был от 11 флореаля, то есть 1 мая. Стал еще раз просматривать, отыскивая наиболее интересное.

Отсрочив внесение квартирной платы, вернув вещи из ломбарда, Коммуна принимала меры по повышению заработной платы. Франкель на заседании Коммуны говорил: «Мы не должны забывать, что революция 18 марта была осуществлена пролетариатом. Если мы ничего не сделаем для этого класса, я не вижу никакого смысла в бытии Коммуны».

Неретину вспомнились утопии, о которых они читали и грезили вдвоем с Гурием. Неужели станут сбываться все эти сказки мудрецов? Так, кстати, и пишется в газете: «Коммуна есть государство высшее, по сравнению с тем, с которым мы боремся...»

Не смешно ли? Нужно попасть в тюрьму Коммуны, чтобы начать ее понимать.

Мысли невольно переносились в далекую, сумрачную свою Русопетию. Питерские или московские каменщики, бронзовщики, мебельщики, вечно пьяные и вороватые... Кабак им нужен, не социализм! А деревенский мужик,

а его наставник поп, сам пьяный в стельку и полуграмотный? Нет, не чета им щеголеватый парижский переплетчик Варлен или его собрат Франкель, слесарь, венгерец он, что ли, или еврей, эмигрант.

Неретин, выкурив трубку, вернулся к газетам, но большинство сведений было неутешительно. Коммунары оставляли одну позицию за другой. Бывшие русские офицеры Домбровский и Врублевский по всем правилам академической школы разыгрывали блестящие сражения, но перед полчищами Тьера вынуждены были отступить. «207-й батальон,— бесстрастно сообщает газета,— в котором половина бойцов больны цынгой, самовольно оставил позиции...» В следующем номере: «Нет митралез, не хватает патронов, федераты обносились так, что версальцы, указывая на них своим солдатам, уверяют, будто войска Коммуны набраны из бродяг и арестантов...»

Стенографические отчеты о заседаниях Коммуны просто больно читать. Каждый даже самый мелкий вопрос многократно обсуждается, обсасывается в прениях, мнения противоречивы, решения откладываются. «Грохочут пушки,— напрасно призывает кто-то,— народ голодает, не нужно распрей!»

Главкомандующий Кюзере, судя по многочисленным нападкам в газете, окончательно растерял авторитет, носится в пролетке, митингует, распекает, а армия отходит шаг за шагом. Кое-кто поговаривает об измене. Впрочем, Феликс Пиа обвинил в измене не кого иного, как Ярослава Домбровского, но на защиту того выступили сразу и Варлен и Риго.

«Зачем они хоть печатают все это?» — думал Неретин, представляя себе, как ликует вся версальская клика.

И тут взгляд его побежал по строчкам, которые заставили его вздрогнуть. Выступал Варлен:

«Пора Коммуне разобраться в том, кого и за что арестовывают от ее имени. Вчера я обратился в прокуратуру с просьбой разрешить мне посещение тюрьмы Сент-Пелажи, где заключен гражданин, с делом которого я обязан познакомиться лично. Однако я получил отказ...»

У Неретина забилось сердце. Он лихорадочно повернул газетный лист. Ну так и есть: число, следующее после посещения Фаншетты!

Ответ Риго: «Я решительно против. Вы нарушаете всю

систему следствия. Вы хотите, чтобы карательный орган Коммуны потерял всякий смысл?»

«Разве члены Коммуны, — несется ему в ответ, — не избранники народа, которому он доверил право контроля над всем? Вы хотите поставить себя и свой карательный орган над ее головой!»

Стенографист сделал пометку, которую газета воспроизвела: «Из-за сильного спора не слышно, о чем говорят».

Варлен: «Мне стало известно, что указанный мною гражданин находится в одиночной камере».

Голоса делегатов: «Вспомните, ведь сами томились в одиночках, что же теперь?...» — «Одиночное заключение — безнравственно».

Риго (Неретин представил себе, как он стоит, невозмутимый, в пенсне, скрестив руки): «Война тоже безнравственна, однако же мы воюем!»

Снова и снова он ставит вопрос о Комитете общественного спасения. Пусть будет диктатура, пусть будет как в девяносто третьем году — и Коммуна будет спасена!

Ему возражают интернационалисты: «Нельзя законно избранную Коммуну подменить каким-то комитетом. Что он, по-вашему, должен делать, этот комитет?»

Риго: «Организовывать, мобилизовать, сплачивать, черт возьми, устрашать и подавлять!»

Снова Варлен: «Сила Коммуны не в том, чтобы подавлять, устрашать, а в том, чтобы учить, воспитывать. Если бы мы, вместо того чтобы напялить на литейщика Дюваля генеральский мундир и толкнуть его в бой, сначала воспитали из него военачальника, он бы не погиб!»

«Нет уже времени, чтобы воспитывать!» — несется в ответ.

Дебаты по поводу Комитета общественного спасения откладываются. Тем временем расследование устанавливает: важнейший форт Исси был сдан только в результате преступного равнодушия и нераспорядительности. Правда, он взят обратно, но ценой каких жертв! Участь Ключезере решена — он смещен и арестован. Теперь главнокомандующий армией Коммуны — Россель, тоже бывший офицер и дворянин, но по всем характеристикам способный и готовый на все.

11 флореаля, после великих споров и разногласий, Коммуна постановляет: организовать Комитет общественного спасения, предоставив ему диктаторские полно-

мочия. 45 делегатов голосовали «за», 23 — «против» (Варлен и все интернационалисты). Несмотря на поражение, «меньшинству» удалось добиться, чтобы Риго не был избран в состав комитета, его председателем стал Феликс Пиа.

Так, на страх врагам революции, был создан чрезвычайный орган, правительство над правительством, грозное оружие пролетариата.

Прочтя об этом, Неретин вздохнул: «Теперь уж мне не отвертеться!»

7

— Ты можешь быть свободен, уже поздно.

Орас, подав папку «на подпись», стоял с надменно обиженным видом, желая что-то сказать. Часы над крышей отбрякали десять. «Завтра, завтра...» — махнул Риго, откладывая папку. Орас удалился, не переставая иронически хмыкать. Что-то он провидел, о чем-то он догадывался, но его суровый шеф не пожелал вводить его в курс дела.

Риго обошел безлюдные помещения роскошного Дворца Города — Ратуши, в котором находилась диванная, отданная ему под служебный кабинет. Дверь тронного зала, через которое это крыло дворца сообщалось с другими частями здания, он запер на собственный ключ. Лично проверил внешний караул.

Вскоре в его кабинет начали бесшумно сходиться люди. От Комитета общественного спасения пришел Жирарден, неразговорчивый, похожий на плечистого дровосека. Он, кстати, был действительно деревообработчик, единственный пролетарий в составе Комитета общественного спасения, введенный туда, очевидно, чтобы не было там явного засилья революционных интеллигентов, революция-то шла пролетарская. А вот и камарад Ришардье, как всегда суетливый и говорливый, с ног до головы начиненный газетными новостями, он пришел от газеты «Папаша Дюшен». Ферре вел с ним беседу, узнавал всевозможные неутешительные вести, а Риго, погруженный в свои мысли, все бродил по картинной галерее Дворца, всматриваясь в потрескавшиеся лица королей.

В одиннадцать из штаба северного участка приехал пунктуальный Домбровский. Вскоре приехал и Врублевский, командующий обороной южного участка. Разгово-

ры постепенно прекратились, все посматривали на дверь, ожидая кого-то еще. Наконец послышались быстрые, твердые шаги.

— Это он...— вздохнул Жирарден.

Вошел мужчина в черном плаще с капюшоном, скинул плащ на руки сопровождавшей его девушки. На вид очень молодой человек с упрямым ртом, уголки которого были презрительно опущены,— генерал Россель, новый главнокомандующий войсками Коммуны, в прошлом полковник императорской гвардии. Представил девушку:

— Это моя сестра. Она меня поддерживает, вдохновляет. Моя Корделия, моя Минерва.

Риго пригласил всех поближе к ослепительно горячей газовой лампе, еще раз проверил пост за дверью и закрыл ее.

— Можно начинать,— сказал Россель.

Риго кратко доложил: в штабах Коммуны полнейшая неразбериха. Начальства много, функции разграничены плохо, приказы часто противоречат друг другу.

Домбровский, с сильным польским акцентом от волнения, добавил:

— Сердце вскипает, когда видишь подобные безобразия. Знаменитый этот Феликс Пиа, как председатель Комитета общественного спасения, отдает приказы через голову и главнокомандующего и командиров. Приказы нелепейшие, да и вообще так ведь нельзя!

Камарад Ришардье пытался вмешаться, чтобы поддержать честь своего любимого вождя, Феликса Пиа, но его заглушали реплики присутствующих, торопившихся поведать причины своего недовольства. «Хлеба в пекарнях осталось на три дня! Подвоза никакого...» «Вылазки даже самые отчаянные безрезультатны!» «Войска Тьера сильнее в десять раз! Впустую льется кровь...»

Риго выждал, пока накал страстей приутихнет, и хорошо поставленным прокурорским басом продолжал:

— Комитет общественного спасения, на который мы возлагали такие надежды, оказался избранным неудачно. Громкое имя и пустой звук. Не правда ли, Жирарден?

Тот в знак согласия наклонил голову.

— Газеты, не только враждебные,— не удержался, чтобы не вставить Ришардье,— но и поддерживающие Коммуну, болтают много недопустимого.

— Но, милочка моя,— повернулся к нему Риго,— частенько и ваш пресловутый «Папаша Дюшен»...

— «Папаша Дюшен», — патетически заявил камарад Ришардь, — он всегда за революционную диктатуру!

Газеты — это было всеобщее больное место. Слишком много тратится дефицитнейшей бумаги и слишком много производится самой пустой чепухи. Но как же с нею, с печатью, справиться поделикатней, учитывая, что свобода слова, свобода печати есть становой хребет демократии? А с другой стороны, газеты это такая вещь, на которую удобней всего свалить вину за любые неудачи...

Выговорившись, все смолкли и стали с некоторым страхом и надеждой поглядывать в сторону Росселя. Для чего-то же по его приказу и собрали их всех здесь сегодня.

Россель, до сего времени сидевший молча, вострепнулся и положил ладонь на стол.

— Итак! — он улыбнулся, как будто речь шла об аристократической прогулке. — Все, очевидно, уверены в необходимости твердой руки. Сегодня в нашем положении выход один — переворот.

— Лишь бы он не привел к режиму, подобному наполеоновскому, — не поднимая головы, сказал Домбровский.

Россель пожал плечами.

— Диктатура — это, если хотите, закономерный итог всякой революции. Творцам демократии только памятники воздвигают, а господствуют те, кто ее оседлал. Да и так ли уж это плохо? Если бы Робеспьер не был свергнут, он бы истребил на гильотине цвет нации, а Наполеон, хотя и деспот, пронес французские знамена к берегам Нила и Днепра.

Он оглянулся на сестру, и та восхищенно ему закивала.

— Мне кажется, — Россель посмотрел в сторону Риго, затем в сторону Домбровского, — революционные партии, по существу, всегда были близки к бонапартизму. Социалисты, например...

— Только не социалисты! — отверг Риго, роняя и лоя пенсне. — Социалисты — это единственные, кто борется за подлинную демократию... — и сам же подумал: «Зачем же мы тогда первые пошли на эту встречу с предполагаемым диктатором?» — И так как уже не оставалось аргументов, он умолк и лишь сердито протирал свое пенсне. Все ощутили некую пропасть, по одну сторону которой был кипящий Риго, а по другую намеренно неподвижный Россель.

— В конце концов, — пожал плечами Россель, — если Коммуна погибнет, меня расстреляют так же, как и вас.

Сестра испуганно схватила его руку.

— Вот в том-то и дело,— воскликнул Риго, яростно пристраивая свое знаменитое пенсне на переносице.— У нас нет иного выхода, кроме диктатуры личности! Но для вас, гражданин генерал, это вопрос славы или чести, а для нас дело всей жизни... Я всего себя отдал свободе— мне, если можно так сказать, безразлично, кто меня расстреляет, Тьер или Россель, лишь была бы жива она!

И он встал и даже поднял руку, будто для клятвы, а рядом с ним встали, те кто годы провел в подполье, ссылках и на баррикадах, и что же, значит, все впустую? А на диване сидел только что не усмехающийся Россель, прижавшаяся к нему сестра и угловатый, совершенно сбитый с толку Жиранден, член Комитета общественного спасения.

Россель сделал примирительный жест.

— Садитесь же, господа, простите, граждане! Что вы? Готов присягнуть вам, хотя присяга и отменена Коммуной, жизнь свою, так же как и данную мне власть, беззаветно кладу на алтарь социальной революции.

Его сестра торжествующе всех оглядела — вот видите?

Тут и поднялся с дивана потомственный пролетарий Жиранден, деревообработчик, член Комитета общественного спасения, обвел взглядом всех присутствующих и спросил, сделав простоватое выражение лица.

— А зачем тогда диктатура, если хлеба всем не хватит? А зачем армия и баррикады, если впустую льется кровь? А не лучше ли капитулировать, если Тьер все равно сильнее?

Это заявление вызвало эффект разорвавшейся бомбы — все смолкли, будто пораженные насмерть. Ведь Жиранден и был, как понимал каждый, главной фигурой, ради которой был разыгран состоявшийся спектакль. Если бы не Жиранден, член Комитета общественного спасения, то Россель и Риго прекрасно смогли бы договориться между собой.

Проводив гостей, Риго собрал все бумажки со своего служебного стола, перечитал и тот опус, который он заготовил в качестве проекта решения: «Один диктатор— Россель, одно правительство— Комитет общественного спасения. Коммуна не будет собираться до окончательной победы социализма. Все газеты закрываются, кроме «Папши Дюшена». Намечен также список имен...»

Еще раз перечитал, сложил методично и хотел разорвать. Но, хорошенечко подумав, сложив к себе в самый внутренний карман.

8

Короткий сон не освежил, а, наоборот, разломил еще хуже. Голова казалась сдавленной в тисках. Риго с трудом поднялся со своего спартанского ложа на дворцовом диване. Нашарил пенсне, напялил на переносицу и стал возвращаться к нормальной жизни.

Когда умылся холодной водой, распахнул фрамуги окон, жадно вдыхал утренний воздух ликующей весны. Какое великолепное солнце! Черт же побери, за всю жизнь он, Риго, не позволил себе ни разу понежиться на этом солнце, просто поваляться на траве.

Подошел к столу и открыл папку «На подпись». С самого верху лежала бумага с четко выведенным заголовком — «Рапорт». Риго узнал руку Марии Войницкой. Вынул бумагу, прочитал, нахмурился. Так вот почему у помощника его, Ораса, вчера был такой оскорбленный вид!

— В чем дело? — показал ему Риго рапорт Войницкой.

— Я не мог доверить ей агентурные сведения.

— Почему?

— Я изучил ее данные, они не безупречны. Есть моменты, которые трудно объяснить... Вот я выписал все на этом листке.

Риго взял листок и пробежал его глазами.

— Когда она приходит на службу?

— К девяти, гражданин прокурор.

— Пригласи ее ко мне и будь сам...

Мария вошла, стараясь не глядеть на Ораса, уселась на голубой овальный диван, ожидая распоряжений Риго. Риго прошелся по кабинету, ероша свою бороду.

— Помните ли вы, гражданка Мари, наши с вами разговоры в госпитале?

Мария удивилась: вдруг на «вы» и так официально! Риго продолжал:

— Помните, вы сами говорили: революционер должен быть чист, как стекло, которое предназначено пропускать свет солнца и звезд, а поэтому на нем не должно быть и мушиного пятнышка. Это ваши слова?

— Мои, мои... Но не соблаговолишь ли ты все-таки...

— Секундочку. А чем вы, например, объясните об-

стоятельство, что, выстрелив в Неретина, вы оказались в его власти, а он не передал вас полиции?

Мария почувствовала, как кровь отливает от сердца, холодеют руки и ноги.

— Значит, это что же... Подозрение?

Пальцы ее метались по мягкой обшивке дивана.

— О нет, это те самые мушинные пятнышки, которые, по вашему выражению, надо удалять с безупречного стекла. Итак, почему же он не передал вас полиции? Любовь? Ну, это, знаете, субъективный фактор, а вы нам, милочка моя, давайте объективные разъяснения...

И тут Мария взорвалась.

— Если вы еще раз посмеете сказать мне «милочка моя», я запущу в вас чернильницей! Как вы могли меня...— она задохнулась от гнева,— меня заподозрить? Как вы... Да вся моя жизнь...

— Без истерик, гражданка,— деловито вставил Орас, но Риго взмахом руки приказал ему молчать.

— Далее. Как случилось,— продолжал Риго,— что Нечаев забыл о вас после вашего неудачного выстрела? Он думал, что вы арестованы, убиты? О да, конечно! Так уж легко поверить в это! А чем сумели вы заслужить доверие Варлена, Лаврова, Вырубова?

— Ничтожество вы, раз смеете говорить мне это!— Мария сжимала кулаки так, что казалось, кровь готова выступить из-под ногтей.— Категорически отвергаю... Вы же изверг— ставить такие вопросы!

— Юпитер, ты сердисься, значит, ты неправ. Теперь позвольте еще одно. По вашему же донесению, когда вы и Лавров были задержаны жандармами при выходе с парохода в Сен-Дени, Неретин вам помог. А это как понимать? Симпатия к вам? К Лаврову? Что же, значит, и Лавров тоже?..

И внезапно Мария умолкла, перестала трепыхаться, как пойманная птица. В упор смотрела в замкнутое лицо прокурора Коммуны. Одну за другой расстегивала медные пуговицы своего мундира.

— Что ж, сами понимаете, гражданка Войницкая...

— Графиня Войницкая,— уточнил Орас, глядя в папку с ее личным делом.

— ...гражданка Войницкая. С такими неясностями в биографии мы не можем держать вас на работе здесь. Арестовывать мы вас, правда, не будем...— сказал Риго с неожиданной улыбкой и полез в карман за табакеркой.

И тогда Мария рывком сняла с себя мундир федерата, оставшись в белой батистовой кофточке. Швырнула его на диван: нате, мол, берите, если так! Но тут же схватила опять и прижала к груди:

— Нет, не отдам! Не вы его мне дали — народ!

— Ну, зачем же так! — миролюбиво говорил Риго, провожая ее до лестницы. — Мы еще вместе поработаем на Коммуну, только теперь уже на разных участках!

Вернувшись, он посидел некоторое время один, затем вызвал Ораса. Войдя, безоблачный Орас был удивлен неожиданно мрачным видом начальника.

— Сядь, Орас, — велел прокурор. — Скажи, ты всегда искренен со мной?

Орас готов был в пол ввинтиться, чтобы доказать это.

— Тогда признайся, как сам-то ты думаешь, действительно она...

Орас молчал, и глаза его были как зеркало, которое отражает все и ничего само не выражает.

— А вот я тебе откроюсь, — Риго склонился к нему доверительно. — Что касается меня лично, то я верю в ее революционную чистоту! Но, — он стукнул кулаком по ручке кресла, — подозрение не должно коснуться жены Цезаря!

— Да-да... — заторопился Орас. — Вот и я тоже... Пожалуй, она не виновата...

Капли пота выступили на его просторном лбу.

— Так зачем же ты старательно собирал эти подозрения и вообще?..

— Ну как же... Ты же сам говорил: все необъяснимое, все потенциально опасное надо...

Риго молча глядел ему в глаза, протягивая табакерку, но, как только Орас с готовностью потянулся к ней, Риго вдруг захлопнул крышку:

— Ладно, ступай!

Прокурор Коммуны задумался. Конечно, Марии причинена немалая травма. Конечно, следовало бы по-другому... Но не умеет он иначе — шероховат, иглист, ядовит. Сам сознает, что не хватает внутреннего спокойствия. Говорят, оно приходит с годами. Как выразился однажды старик Делеклюз: «Гражданин Риго молод, это его приятный недостаток». Да, но все же недостаток!

Если бы коснулось самого Риго, он не пощадил бы родного брата. Вот, например, Варлен, смущающий и размагничивающий своим декларативным гуманиз-

мом,— разве это не враг? После яростной стычки по поводу одиночных камер Риго остановил его в вестибюле Ратуши: «Лучшим днем моей жизни, Варлен, будет тот, когда я арестую тебя!» А ведь он знает Варлена по совместной борьбе восемь лет!

Теперь Орас. Уж этот безупречен. На виду у Риго все последние годы. Был тщательно проверен, прежде чем попал в помощники к нему. Но, увы, кто же он? Тупица? Ревностный дурак? Можно расстреливать шпионов, недотеп, вредителей, а как быть с этакой простотой?..

Пудовая от недосыпания голова. Непреодолимо смыкаются веки. Риго таращит глаза, но голова клонится сама собой, сквозь шкафы и шпалеры диванной мерещится Россель с надменным подбородком.

Такие, как Орас,— находка для Росселей. Рано или поздно блестящий Домбровский, мудрый Делеклюз, гуманнейший Варлен, даже старый чудак Ришардье покажутся диктатору слишком яркими рядом с собственным ореолом... И тогда начнется царство Орасов — век посредственности, возведенной в идеал!..

Почувствовав, что совсем теряет нить мыслей, Риго, приложив усилие, встрепенулся, приказал подать лошадей.

— К Домбровскому! Черт побери эти размышления, эти сны, да здравствует бой!

Глава десятая

СОБСТВЕННОСТЬ ЕСТЬ КРАЖА

1

Он впервые появился еще в 1789 году, на страницах мятежной газетки,— забавный старик в красном колпаке свободолобца и простой рабочей блузе.

Утверждают, что он существовал и раньше — от самого Средневековья. В ярмарочных балаганах он веселил народ, сыпал прибаутками, язвил господ и богачей. Было известно, что он печник и имя носит самое простонародное — Дюшен (то есть по-нашему — Дубов).

Его призвали на защиту революции самые левые, которые даже Робеспьера обвиняли в умеренности. Штурм дворца, казнь короля, введение террора, отпор роялист-

ским генералам — все это свершилось под аккомпанемент призывов неистового печника.

Когда Неподкупный (т. е. Робеспьер), ничуть не предполагая, что вскоре скатится и его собственная голова, санкционировал арест и казнь левых, погиб и знаменитый «Папаша Дюшен». Однако он сохранился в памяти народной со своим лозунгом — «Жить свободными или умереть сражаясь!».

Есть и доныне в Париже, на углу улицы Монмартр, кафе «Круассан», которое славится тем, что в нем собираются всякие вольнодумцы и рыцари свободного пера.

В марте 1871 года там сошлись трое пылких юношей — Вермерш с медицинского факультета, Эмбер из школы правоведения, Вильом из Сорбонны. Потягивая пиво, договорились: «Папаша Дюшен» воскреснет вновь! Он станет насаживать врагов демократии на вертел на смешек и поливать их соусом революционного остроумия.

Заняли денег и в том же доме (благо, тут же помещалась и типография) открыли редакцию. Художник Марель нарисовал плакат: папаша Дюшен с длинной бородой берет за ухо паршивца Тьера и кидает в мусорную кучу, где уже валяются различные короны, кадила, биржевые таблицы.

Собственно говоря, это была и не газета, а броская листовка. «Великий гнев папаши Дюшена, — кричал заголовок, — на этих сволочей собственников, которые не желают простить долги патриотам, как того требуют декреты Коммуны!» Или наоборот: «Великая радость старого печника по поводу того, что наша славная Коммуна наконец взялась за ум и сажает в тюрьмы вонючих попов и гнусных жандармов!»

Новый папаша Дюшен сразу понял, в чем суть. «Смысл борьбы ясен! Это схватка между трудом и капиталом! Частная собственность есть кража! Да здравствует социальная революция!»

Жители предместий, федераты пролетарских батальонов поняли: «Папаша Дюшен» говорит на их языке. Из всех трехсот газет Парижа это самая их газета!

Успех заставил расширить штат редакции. Поскольку Вермерш, Эмбер и Вильом метались из Ратуши в секции, из штабов в революционные клубы, из госпиталей на позиции, для ведения дел был приглашен камарад Ришардьё. Он один правил все статьи, держал корректуру, вел

бухгалтерию. На возраст, на здоровье не делал скидки — такая жизнь, полная кипения, была ему по душе.

В одном из номеров можно было прочесть: «Каждое утро, когда папаша Дюшен открывает свой почтовый ящик, он находит там груды писем, гораздо больше, чем щенков у любой собаки».

Для читки писем и приема посетителей пришлось нанять еще гражданина Гарга, тоже энтузиаста.

Внешностью этот гражданин Гарг сам напоминал прославленного печника. Глаза сверкали, борода была столь дремуча, что никакой гребень не справился бы с ней. Но если бы Теофиль Ришардьё не корпел столь целеустремленно над своими гранками, он мог бы заметить, что в редкие минуты, когда нет посетителей, его коллега исподтишка отлепляет кусочек своей великолепной бороды от потной и измученной кожи. Если бы Ришардьё догадался содрать с него парик и бороду, перед ним предстало бы лобастое, изменчивое лицо кюре из монастыря святой Урсулы.

Да, это был брат Захария, он же Захар Кузьмич! В апреле Риго развернул такую бурную деятельность, так прочесал закоулки Парижа, что оставаться в своем обличе брату Захарии стало опасно. Он добыл самый косматый парик и самую скоморошью бороду, а также надежный паспорт на имя некоего Гарга, приказчика книжной лавки.

Размышляя об Агнесе, о перипетиях ее судьбы, он генерально наткнулся на мысль о Ришардьё и о «Папаше Дюшене». Опыт подсказывал — безопасней всего в центре самой опасности.

— Дружище Ришардьё! — воскликнул гражданин Гарг, явившись в редакцию. — Ты ли это? Неужели ты меня не узнаешь?

— Нет... Что-то нет... — всматривался камарад Ришардьё в заросли на лице посетителя.

— Ну да, конечно! — вздохнул Гарг. — Столько воды утекло, все мы изменились... Я позволю себе напомнить: пятьдесят первый год, баррикада у лавки Мармона, стычка в Сент-Оноре.

Брат Захария правильно рассчитал. Ришардьё хлопнул себя по лбу, высыпал ворох воспоминаний и тотчас представил гражданина Гарга трем юным журналистам. Почтительно пожав его руку, журналисты просили оказать честь — стать сотрудником редакции. Дальше все пошло

как по маслу. Поселился он, без особой опаски, в комнате старухи, где когда-то держал пари, возьмет мальчик голубя или нет.

Редакция была удобнейшим местом для его целей. Масса людей приходили и уходили. Гражданин Гарг был в курсе всех событий, узнавал, что делается в Коммуне, даже раньше, чем некоторые из ее членов.

Расслабленной походочкой приходил Фидюс; лицо его от злоупотребления абсентом напоминало лежалый огурец. Он небрежно приподнимал котелок и спрашивал с порога:

— Ну, как успехи, господ конкуренты?

И подсаживался к брату Захарии. Ришардье пылко советовал гражданину Гаргу не иметь дел с этим прощелыгой, бульварным писакой, на что тот резонно возражал: ему поручено принимать посетителей, невзирая на их политические взгляды...

Однажды, когда творцы «Папаши Дюшена», обремененные вдохновением, удалились в кафе «Круассан» писать там свои «Гневы» и «Радости», а Ришардье, схватив корректуры, помчался в типографию, перед гражданином Гаргом предстала черноволосая и весьма юная особа.

— Ты, что ли, папаша Дюшен? — недоверчиво спросила она.

— Ну, допустим, — улыбнулся гражданин Гарг. — А что тебе нужно?

Ришардье, вернувшись в редакцию, узнал в посетительнице, беседующей с гражданином Гаргом, Фаншетту.

Она рассказывала историю Неретина и его ареста, разоблачала нереволюционное поведение Риго, в особенности его помощника, Ораса, требовала справедливости. Гражданин Гарг весь превратился в слух, выпрашивая подробности.

— Риго не осуждай, — недовольно заметил Ришардье. — Что можешь понимать ты, девочка, в политике?

У Фаншетты сжались кулаки, когда она вспомнила, как Орас обошелся с ней. Вскочив, она принялась живописать подвиги Неретина в Версале.

Здесь как раз вернулись Вермерш и Вильом. Остановились, прислушиваясь к рассказу Фаншетты.

— Смотри-ка, это интересно! — Вермерш переглянулся с Вильомом. — Заключение в Сатори, войска, беженцы, игра в массакр, черт возьми! Парижане должны об этом знать. Попробуй, милая гражданка, опиши все это

на бумаге. А мы даем обещание: «Папаша Дюшен» разберется в деле этого Неретина. Может быть, сходим прямо в тюрьму. Мне, увы, некогда, я на заседание в Ратушу... А ты, Вильом? Тоже занят? Эмбер уехал на фронт к Домбровскому... Может быть, ты, камарад Ришардь?

— У меня граночки, корректуры...— Ришардь обвел рукой свое захламленное хозяйство.— Но как-нибудь, как-нибудь...

Фаншетте вручили листок бумаги и карандаш, она недоуменно вертела их, пока гражданин Гарг не придвинул ей стул:

— Чего стесняешься? Пиши!

— А что? И напишу! — Торопясь, она раздирала карандашом бумагу и двигала башмаками под столом.

— Вышло что-нибудь? — взял у нее листок Вермерш.

Он читал, лицо его теряло обычное выражение озабоченности, губы дрожали от подступающей улыбки. Наконец не выдержал, расхохотался:

— Ой, мастерица, ой, уморила! Вы глядите-ка, товарищи, что она пишет: «Када мы пашли к Вирсалу сонце чуч-чуч подамалос». В одной только фразе восемь ошибок! Девочка, сколько тебе лет? Чуч-чуч!

Ришардь заступился за обескураженную Фаншетту:

— Хорошо вам смеяться, вы по всяким факультетикам штанишечки просидели. Она же пролетарская дочь, вот теперь при Коммуне и будет учиться. Дай сюда рукопись, я поправлю.

Правленную им статью прочли вслух, и она всем понравилась. Гражданин Гарг тут же отнес ее в набор и вскоре вернулся с гранками. Увидев чудо — слова, которые она только что придумала, напечатанные машиной, Фаншетта окончательно притихла.

Ришардь, пошелкав на счетах, откупорил кассу и выплатил Фаншетте гонорар — сто франков. Боже, откуда это вдруг привалило?

Но, видно, выдался уж такой день, что Фаншетте была приготовлена куча впечатлений. Вермерш выглянул в окно и воскликнул:

— Генерал Россель! Друзья, к нам приехал сам военный делегат!

Дверь распахнулась, у притолоки встал молодцеватый адъютант в блестящих аксельбантах. Вошел человек небольшого роста в распахнутом штатском пальто. Не пода-

вая руки и не садясь, он стал обсуждать с редакцией дела о каких-то приказах, которые Национальная гвардия, увы, не желает исполнять.

Фаншетта не спускала с него глаз: это был еще один герой с ее эпиналки! Даже усики такие же тонкие, мужественное лицо... И при всем том ничуть не похож на Неретина — весь собранный, резкий, даже слегка грубоватый.

— Помните о нашем договоре! — твердил он.

Вермерш завел разговор об организации специального батальона «Дети папаши Дюшена». Уже подобран в командиры смельчак — капитан Самсон. Шьется форма: панталоны с голубым кантиком, серые мундиры, ярко-алые кепи с поперечным галуном. «Дети папаши Дюшена» сыграют свою роль в решительный час.

— Преторианцы! — сказал Россель, тонкие губы его сложились в усмешку.

Из-под кудлатой шевелюры гражданина Гарга выглядывали внимательные глаза.

Повернувшись к выходу, Россель обратил внимание на Фаншетту. Вермерш показал генералу ее статью, тот скользнул взглядом, не читая.

— Молодец! — Генерал дотронулся до плеча девушки. — Ты вступишь в наш батальон. Коммунарки доказали, что они смелее многих мужчин. Серый жакет и ярко-алое кепи тебе пойдут. И разве женщина не может стать генералом? При Коммуне все возможно!

Члены редакции аплодировали. Фаншетта взирала на Росселя, как на бога, спустившегося с небес, и в голове у нее все крутилось: печатный шрифт, ярко-алые кепи, Орас, эпиналка...

2

«Папаша Дюшен» получил приглашение побывать на детском празднике в клубе патронного завода. В редакции, как водится, всем было некогда, и в монастырь отправился гражданин Гарг.

Пока шли приготовления, он бродил между мощных контрфорсов средневекового здания. Чьи-то заботливые руки подмели дорожки, высадили левкой и табак. Кто же это? Монахини разбежались, да они и прежде были ленивы...

В церкви жужжит толпа, амвон превращен в эстраду, загорожен занавесом, сшитым из церковных покрывал.

Кто-то наигрывает одним пальцем, и орган гудит, как недоумевающий слон.

Появился Варлен, на целую голову выше всех, его увидели от самых дверей, махали ему, он устало улыбался. «Лицо почернело,— констатировал брат Захария.— Дела-то, знать, все хуже...»

Наконец пробежали какие-то распорядители, послышался аккорд рояля, пропищали и умолкли дети. На эстраду вышел Варлен.

— Меня, как члена Коммуны, просили, чтобы я произнес речь. Но уж и так наш любезный «Папаша Дюшен» пишет, что у Варлена только и дела, что произносить речи. Между тем среди нас присутствует Эжен Потье. Он ведь тоже член Коммуны, к тому же поэт, песенник. Кому же еще открывать клуб для рабочих детей?

Потье вышел, смущенно потирая руки.

— По-По! — кричала публика. — Да здравствует По-По!

— Многие удивляются, — сказал Потье, — что я люблю это смешное прозвище — По-По. Их величество пролетариат Парижа даровал мне его как почетный титул! Так пусть же он знает: за свою долгую жизнь поэт не посрамил этой чести. Вместе с пролетариатом он выходил на стачки и баррикады, частенько попадал в тюрьмы. Года его не укротили, и он все тот же, ваш По-По!

Ему светильником — луна.
А храмом служит свод небесный,
И голова его полна
Одним и тем же: это песни.
Стихами выражать привык
Он мысли, веру — что угодно...
Таков По-По, По-По старик,
По-По, певец народный!

Народ пересмеивался: «Что за правители теперь? Прежние разговаривали с нами через полицию, а эти посылают поэтов!»

Брат Захария все присматривался к Варлену. Тот был заметно раздражен, еле сохранял всегдашнюю выдержку. Вот он увидел кого-то в толпе, тихо сошел с эстрады, протолкался туда. Два федерата вместе со всеми смеялись словам Потье, опираясь на дула своих винтовок.

— Вы почему здесь? — строго спросил Варлен. — Ваш батальон на позициях. У вас что — увольнительная? Предъявите!

Федераты, по-видимому, ответили что-то дерзкое, потому что Варлен обрушился на них:

— Да как вы смеете! Я не только делегат Коммуны, я еще член ЦК Национальной гвардии, а значит, ваш прямой начальник. Немедленно в строй, иначе я прикажу вас отправить в тюрьму!

Федераты струхнули, начали спешно пробираться к выходу, оправдываясь на ходу:

— Там многие уходят с фронта... Да и что толку? Версальцы все равно одолеют, так перед смертью хоть погулять...

Но их голоса потонули в новом громе рукоплесканий. Потье опять сказал что-то забавное. Глаза поэта лучились смехом.

— Однако, мы заговорились и совсем забыли, что собрались сюда, чтобы открыть детский клуб. Коммуна сейчас много думает над тем, как создать новую школу, такую, о которой мечтали лучшие люди прошлых времен. Она ничуть не будет похожа на унылые училища-гробницы буржуазной поры. В новой школе ученье будет сочетаться с веселой песней, с занятым трудом, с приятным досугом. Это будет школа, в которой соединятся совсем малыши и уже подростки, мальчуганы и девушки, школа, о которой станет заботиться каждый гражданин.

Я школу ту ни мастерскою,
Ни фабрикой не назову,—
Я назову ее семьею,
Где обучают мастерству,
Где все живут, трудясь, как пчелы,
Всяк по способности своей...
Скорей идите в нашу школу,
Рабочие грядущих дней!

На сцену вышел хор мальчиков, за рояль села Агнеса Ришардье. Агнеса, отстучав такт по крышке фортепьяно, взяла аккорд. Мальчишка, рыженький, в очках, отчаянным голосом пропел:

Кто вывел нас из черных нор,
Где дети бедных с давних пор
На злых хозяев лили пот,
Кто солнца указал восход?

Дети грянули дружно и весело: «Ком-му-на!» — и припев этот подхватил весь многолюдный зал.

Брат Захария глаз не сводил с Агнесы, сосредоточившейся на игре. Тонкие пальцы, еле касаясь, летали по кла-

виатуре. А лицо словно выточено искуснейшим мастером и вправлено в венец золотых волос! Вместе с прежним умилением в душу брата Захарии входила неотразимая печаль.

А вот, вероятно, ее Антуан — носатый, плечистый, независимый. Воистину директор! Скот, скот, скот!.. Да нет, что ты, брат Захария, опомнись, ты же всегда отличался трезвой логичностью. Разве скот? Красивый, достойный, лицо разумное, приветливое. Чем не пара?

И тут брат Захария ощутил на своем плече увесистую руку.

— Вы из газеты «Папаша Дюшен»?

Это был Варлен. Лишь на минуту внимание брата Захарии отвлеклось, а он уже тут! Разглядывал шевелюру и бороду гражданина Гарга так внимательно, что у брата Захарии холодная испарина появилась.

— Вот, гражданин, — сказал Варлен, — результат ваших ежедневных статей о развале и неспособности власти. Бойцы покидают фронт! Жаль, что вы не Вермерш, не Вильом, не Эмбер. Я знаю, именно они сочиняют все это. Но вы передайте — злостную критику пусть прекратят!

Варлен отошел, а у брата Захарии еще подкашивались ноги, он сердился на себя: «Что это я? Старею, что ли?»

На сцене тем временем появились совсем крохотные малыши с удивленно раскрытыми ротишками. Агнеса собрала их в круг, они топотали за ней, как цыплята за клушкой, а она объявила:

— Сейчас будем сажать капусту!

И малыши нестройно, но добросовестно запели:

Не хотите ли вы знать,
Как сажают, как сажают,
Не хотите ли вы знать,
Как сажают у нас капусту?

Затем одна половина хоровода с криком: «А мы сажаем ладонью!» — показывала, как это у них делается, а другая повторяла: «Как сажают, как сажают...» Потом роли переменились. Другая половина теперь уверяла, что они сажают только коленкой. И когда дело дошло до того, что капусту сажают носом, хоровод рассыпался, забавники убежали.

И вдруг брат Захария совершенно явственно представил себя трех- или четырехлетним. Вот он у отчима чистит медную кастрюлю. Ему холодно, хочется спать, крохотные пальцы одеревенели. А отчим бьет и бьет его, ругает

и ругает... Или вот еще картина. Он уже подросток, совсем большой, клянчит унижаясь, чего? Господи, размазни из отрубей!

Он пришел в себя от сочувственного голоса рядом:

— Плачьте, гражданин, плачьте. Это святые слезы, нельзя стыдиться этих слез!..

Это был Потье, спустившийся с эстрады. Он вынул платок и сначала обтер им гитару, потом, уголком, свой потный лоб. А брат Захария действительно ощутил, что по щеке катится невольная слеза.

Боже, как глупо! Сдавленный спинами грузчиков и металлостов, брат Захария покачивал лохматой головой. Виноват, конечно, пресловутый гражданин Гарг. Брат Захария нарочно давал ему волю, в шкуре его безопасней. А он, варясь в гуще социалистов, сам пропитался их филантропией, сделался добреньким, как они...

Так размышлял брат Захария, а фантазия все подставляла ему совершенно нелепые видения. Будто в комнатке, где тикают ходики и цветут всяческие фуксии, сидит он, а рядом с ним золотоволосая Агнеса. Играют малыши, и будто даже это его, брата Захарии, дети...

Тут он не на шутку рассердился. Да что же это, в конце концов, где же его хваленая самодисциплина?

Он вышел из бывшего монастыря и отправился к себе на Монмартр. Пока шел, терзал, угнетал, умерщвлял своего гражданина Гарга без пощады. Так что, когда увидел перед собой знакомые витрины кафе «Круассан», был, как всегда, собран и готов к дальнейшей борьбе.

3

Флореаль — месяц цветов — был в разгаре. Великолепные каштаны подняли к небу свои розовые и белые свечи. Буйная листва скрыла фасады домов. В траве расцвел барвинок, и лужайки словно прозрели, гляделись в небо тысячью голубеньких глазок. Парижане засадили цветами и промежутки между баррикадами — под грозными эскарпами толпились чашечки тюльпанов, цвели застенчивые маки.

Коммуна постановила: «В бывшем пансионе благородных девиц аббатства святой Урсулы организовать детский сад...»

Матушка Мишо сначала встретила это объявление насмешкой: что еще за сад? И почему не парк или газон?

Однако на следующее утро проказник Дени и рыженький Жако, с тщательно вымытыми носами, были отведены ею в монастырь.

Вечером, вернувшись, Дени хвастался всем во дворе: — А нам сахар давали, по два кусочка!

Косенький Жако один кусочек съел, а другой принес в потной ладошке для Агнесы.

Матушка Мишо все эти нововведения теперь принимала как должное. Говорила: «Раз уж наша Коммуна так решила...» Один декрет, однако, заставил ее призадуматься. В мэрии округа ей объявили: поскольку хозяин, господин Эврар, бежал в Версаль и оттуда злобно клеветает на Коммуну, семейство Мишо, как самое нуждающееся, имеет право занять его брошенную квартиру. По этому поводу даже старый Мишо получил увольнительную с фронта.

Уложив детей, супруги Мишо до поздней ночи сидели у стола. Незначительные фразы, которыми они обменивались, какие-то обрывки воспоминаний, ничего не сказали бы постороннему. Но они сидели вот так, голова к голове, впервые за много лет. Впервые ни голод, ни нужда или отчаяние не вставали между ними, рождая междуусобицу и брань.

— Худо тебе на позициях? — спрашивала матушка Мишо, глядя мужа по сморщенной, почерневшей от порохового дыма руке.

— Было бы вам хорошо, а мы как-нибудь...

— Боюсь я все-таки, видит бог...

Папаша Мишо прикрыл супруге рот. Не надо! В этот, может быть, единственный мирный вечер...

Взяли ключи от квартиры господина Эврара, поднялись. На цыпочках, словно боясь спугнуть невидимые тени, обошли комнаты со свечой. Им приходилось здесь бывать и раньше, но далее прихожей их не пускали.

— Ну, понимаю, там кабинет хозяина, здесь спальня хозяйки, вот это круглая гостиная, за ней квадратная... А та комната для чего?

Были специальные комнаты для собачек, для заправки керосиновых ламп, для охотничьего снаряжения, для ожидаемых гостей.

— Всю их мебель надо будет куда-нибудь вывезти, — шепнула матушка Мишо.

— Вывезем, конечно, или сложим все в одну комнату.

Вернутся, поможем доставить туда, где наймут новую квартиру. Пусть живут...

Стали распределять, где поместят свои пожитки. В большой гостиной ляжет «материк», в круглой удобно стоять «водолею», в кабинете — их большому столу. В будуаре разместятся дети, в диванной — Фаншетта. Вот и все. А на что же им остальное?

И они еще долго стояли, придавленные безмолвием, огромной пустотой никчемных комнат. Когда вернулись вниз и улеглись на свое жесткое ложе, матушка Мишо вдруг тронула мужа за плечо:

— А может быть, бог с ней, с этой квартирой?..

В полутьме чуть брезжила лампада. На ночном чепце матушки Мишо вздрагивали ленты.

— Что ты говоришь! — возмутился папаша Мишо. — Эти скорпионы сосали кровь у целых трех поколений нашего брата! Отчего мы худые, усталые, раздражительные? Это наше здоровье, это наши соки пошли им на золоченую мебель, на обширные покои! А ты...

Все-таки решили так: квартиры Эвраров не брать. Победит революция — построят они славный домик по своему вкусу.

Утром пришла Агнеса, легкая, светлая. Она кружилась по кирпичному полу, напевала, принесла букет лилий, поставила в кувшин. Сразу будто света прибавилось, воздух запел от сочетания белых лепестков и солнечных лучей.

— Пойдемте в Лувр! — предложила Агнеса.

— И что там будем делать? — насторожилась матушка Мишо, которая привыкла к тому, что в Лувре живет император или король.

— Э, мать! — ответил ей муж, доставая газету. — Ты совсем, я вижу, отсталый элемент. Лувр — это теперь народный музей. Вот слушай: «Великая радость папаши Дюшена по поводу постановления Коммуны: немедленно открыть все музеи для бесплатного посещения...» И ты бы пошла с нами, хватит тебе метаться в кастрюльном чаду!

Стали шумно собираться. Антуан объявил, что тоже может примкнуть ненадолго. А Ришардь? Придет прямо в музей.

Вступив на главную лестницу Лувра, притихли. Позолота, роспись, празднично одетые люди — все настраивало на высокий лад. Солнце, отраженное бесчисленными гранями мрамора, слепило глаза. Матушка Мишо, под-

няв голову на парящую в высоте Нику Самофракийскую, спросила:

— Это зачем же она без рук, без головы?

Агнеса стала рассказывать об античной скульптуре, но матушка Мишо, увидев великолепные залы, украшенные росписью, устремилась туда.

— А здесь так называемые «малые голландцы»,— начала Агнеса.— Для маленьких домиков их Голландии были нужны картины небольшие, с изображением плодов, дичи...

— Какие скверные пострелята!— вдруг вознегодовала матушка Мишо, дергая за рукав Дени и Жако.— Башмаки у них грязные, не удосужились обтереть! Здесь паркетинки одна к одной. Смотрите, там роза, а здесь будто елочка. Живо, негодники, разувайтесь, башмаки несите в руках!

Матушка Мишо, увидев на картинах, называла детям плоды, которых они никогда не ели: арбузы, дыни, апельсины.

Толпа двигалась молча, ошеломленная роскошью зал, красочностью живописи.

— Но лестница!— не переставала восхищаться матушка Мишо.— Лестница! Лучше всего!

Агнесе невольно вспомнился Шардо де ла Тур, философствующий на своей мансарде.

— Вот это я понимаю!— сказала матушка Мишо, останавливаясь у большой батальной картины.— Ишь какая свалка! Мишо, у вас на фронте тоже так?.. А кто это летает сверху? Боги и богини? Они что, тоже дерутся? Ну, отец, вы там, на фронте, не рассчитывайте, что боги вместо вас будут драться!

Видно было, что Антуану совестно за шумную разговорчивость матери. Он увлек Агнесу за простенок, где не было ни души, и замер: перед ними на картине оказались юноша и девушка, оба обнаженные. Свет словно шел изнутри их прекрасных тел. Их руки обвивали друг друга, а за плечами был трепет ангельских крыл.

— Амур и Психея...— промолвила Агнеса.

И оба примолкли, находясь в плену у красоты, открывшейся перед ними.

— «А я ишу, где пара эта,— раздался позади голос папаши Мишо,— и вот они — Колен, Колетта. Тут не поймет один дурак, как счастлив будет этот брак».

Агнеса отшатнулась, будто застигнутая на месте пре-



ступления. «Брак»! Эти Мишо, значит, думают уж о браке?

А старик гремел:

— Там наша мать собрала целый митинг у картины, где Марианна в красном колпаке ведет народ на баррикады. Спорит с кем-то, что художник ошибся — Марианна должна нести не трехцветное, а красное знамя!

Он повернулся и увидел Ришардье, который с радостным видом пробирался к ним через толпу.

— А я тебе руки не подам, — заявил папаша Мишо, демонстративно отворачиваясь.

— Почему же?

— Твой «Папаша Дюшен» — прямой сеятель смуты. Ты думаешь, фронт не знает о ваших шашнях с Росселем? Всем давно известно, что Россель скоро объявит сбор батальонов, чтобы свергнуть Коммуну, а «Дюшен» льет воду на его колесо. Ну, на-ка вот! Никто не явится на сбор твоего Росселя!

Ришардье принялся горячо убеждать приятеля:

— Дело не в самовластии, а в том, что твердая рука необходима!

— Уж если твердая рука — тогда Домбровский. Вот кому может доверять народ. А твой Россель — дворянчик, мечтающий о троне.

— Домбровского никак нельзя, он поляк или, там, русский.

— Вот сатана! А давно ли твой же «Дюшен» писал: «Честный русский мне милее бездельника француза?»

Старики переругивались, тыкая друг в друга пальцами. Собирались любопытные, смеялись. Агнесе казалось, что это в нее тыкают пальцами, что в ее ушах стоит этот издевательский хохот. К тому же отчаянно разболелась голова.

— Ну, куда пойдём дальше? — спрашивал Антуан

Она молчала, закусив губу.

4

Лазарь де Мерифит, банкир и барон папского престола, чувствовал, что нить жизни от него ускользает. Еще недавно ни одно событие в большой жизни Парижа не обходилось без него: официальная ли церемония, благотворительный бал, открытие выставки... Теперь Париж забыл о его существовании.

Даже челядь разбежалась из дома в парке Монсо. Вдвоем с женой блуждают они по анфиладам особняка. Баронесса еще следит за собой, завивается, делает маникюр, а он не снимает шлагфрока, щетина отросла...

В матовые от пыли окна боязно и выглядывать, а в покоех сыро и неудобно. Камердинер Жером записался в Национальную гвардию, теперь, пренебрегая ливреей, щеголяет в форме федерата. Возвращается поздно, что-то с восторгом рассказывает горничной Бернадетте. Голос возвысить на них нельзя.

Однажды Бернадетта сообщила:

— Жером был в Лувре, видел Агнесу, такая стала красавица, вся в белом... С ней был жених, он у Коммуны директор завода. Видная фигура, говорят.

Лазарь оживился, сам пошел на кухню, расспросил Жерома.

И вдруг он принял решение. Ему как раз не хватало какого-нибудь дела, чтобы заставить крутиться арифмометр души.

— Как вы отнесетесь, если я приглашу к нам Агнесу с ее женихом? — сказал он жене.

Леонтина взглянула на упрямо торчащие уши супруга.

— Как угодно.

Он сам побежал на рынок, выбирал спаржу позеленее, редис покрепче, ахал, что не достать томатов и порея. Леонтина советовалась с Бернадеттой, что прилично одеть. Пожалуй, вот это светло-серое, простое. Никаких бриллиантов, разве только жемчуг. Все же он плебей...

Жером отправился с визитной карточкой барона. Вернувшись, доложил:

— Обещали быть и он и она...

Когда Агнеса переступила порог дома Мерифитов, у нее появилось чувство, точно она вернулась наконец домой из какого-то странного, дальнего и совсем ненужного путешествия. Вот здесь когда-то стоял виконт, обращаясь к ней: «А вам понятно, что говорят цветы?» Теперь посреди бирюзовой гостиной из тонкой вазы выглядывал одинокий цветок орхидеи, чем-то до странности напоминавший ей Шардо де ла Тура, тоже участника той далекой игры.

За столом барон де Мерифит, в отличном сюртуке оливкового цвета, похихотывал, жестикулировал, подкладывал гостям еду, сам же и похваливал. Его супруга задумалась, наблюдая за Антуаном. Как это она станет жить

в семье с человеком, который берет рыбу ножом и благодарит лакея за поданное блюдо?

И вдруг ей стало мучительно завидно — такой свежестью тянет от этой пары, блестят их глаза, звенят их голоса!

— Как, мсье Мишо, вы не пьете вина? — изумлялся барон де Мерифит. — Другие бы сказали: похвально, милостивый государь, похвально. А я — нет! Увы, нет!

Он принял из рук Жерома приготовленный по собственному рецепту плум-пудинг и разрезал его на куски:

— Позвольте, молодой человек, я расскажу вам поучительную историю. Ведь я тоже был трезвенник, тоже был социалист. Трудно поверить, но... да, да! Был! Пришел я в Париж не то что без кюлотов, а и вообще без штанов. В Менильмонтане папаша Анфантен, ученик Сен-Симона, устроил рабочую общину — вместе жили, вместе трудились, вместе пели псалмы. И я пел, и я трудился, и я верил, что найдутся добрые люди, которые разделят блага по справедливости! Послушайте, мой друг, что было дальше. Отцы общины, разбогатеv на нашем труде, отделились, завели кто лавку, кто мастерскую, а мы по-прежнему трудились, прозябали, пели псалмы. И взяла меня великая зависть. Одолжил я у одного благодетеля пару сотен, открыл торговлишку, куска недоедал — и дело пошло!

Агнеса не слушала его речей, всматривалась в тетку, тревожилась за ее бледность. И вдруг ей открылось, что та не безразлично, а как-то заинтересованно смотрит на Антуана. Да, да, сомнения быть не может, смотрит с таким же сочувствием, как некогда на виконта! Она их ставит на одну доску!

— Вы ошибочно полагаете, что банкир, богач — это тунеядец, — не умолкал барон. — Допускаю, есть такие из нашей среды. Но я, например... Ведь чтобы нажить состояние, я работал по четырнадцать часов в сутки. Неужели у меня его отнимут?

— Отнимут, — спокойно ответил Антуан.

— Но это уже какие-то новые идеи, у Сен-Симона я их не встречал... Зачем же отнимать? Может быть, мне отвалить Коммуне миллион или два? Примет Коммуна, как вы думаете?

— Не примет.

— Я слышал, что вы очень способный человек на службе

Коммуны. Откровенно говоря, я ведь слежу за газетами. В Коммуне талантливый народ, пробивной, неугомонный... Поверите ли? Я сам был таким!

Агнеса наблюдала, как Леонтина предлагала Антуану блюда, даже одарила его лучшей из своих улыбок:

— Кушайте же, мсье, а то барон совсем вас заговорит...

Раздражение все более охватывало Агнесу.

— Вам, выдвигающемуся молодому деятелю,— убеждал барон Антуана,— необходима поддержка... Если соединить мой капитал, мой опыт, а ваши способности, влияние...

— Вы что же, хотите меня подкупить?

— Ни боже мой! Но вы ведь будущий муж нашей, я даже могу сказать — моей Агнесы. Агнеса — наследница всего состояния...

— Я не пойду за него,— сказала Агнеса.

Воцарилось молчание. Все смотрели на Агнесу. Барон — с изумлением, Леонтина — с плохо скрываемым злорадством, Антуан — как на не в меру расшалившегося ребенка.

— Да, не пойду,— подтвердила Агнеса, комкая салфетку.

И тут барон разразился:

— Что за дурацкие капризы! Все это, простите, от аристократического сумасбродства де Ноайлей. Только мы, люди из народа, можем понимать дело... Да ведь за твоей спиной миллионы! Мил-ли-о-ны! Ты не можешь своевольничать, ты отдашь из вместе со своей рукой достойнейшему! А нет — прогоню вон!

Леонтина положила руку на трясущийся от гнева локоть мужа. Агнеса, сжав губы в колечко, ответила:

— Я и без вас уж живу, сама.

— Сама? — закричал барон, вскакивая. Антуан посмотривал то на него, то на Агнесу. — А позволю себе спросить, откуда все это на тебе? Кофточка, мантилька, туфельки на итальянском каблучке? Все это от Мерифита! Сейчас вели тебе — сбрось все банкирское, и пойдешь голая, в чем мать родила... Ну, что ты там приобрела сама?

— Она приобрела нечто высшее,— ответил за нее Антуан.— Честь быть в рядах рабочих, борцов за новую жизнь...

И вдруг увидел, как Агнеса обдаёт его холодным, ненавидящим взглядом. Кровь ударила ему в виски. «Не наговорить бы глупостей, как этот барон», — подумал он, поднялся и начал прощаться.

— Ну и дядюшка у тебя! — сказал Антуан, когда они вышли в парк Монсо. — Неужели этакий гусак распорядился судьбами Франции? Я-то представлял себе, что у банкира семь пядей во лбу...

Агнеса молчала. Сквозь дыры в лохмотьях облаков виднелась чистейшая плоть синего неба.

— Что ты там бормочешь про себя? — спросил Антуан.

— Стихи.

— Какие?

— А вот какие:

Милый рыцарь, вы далёко,
Вам неведомо в сраженьях,
Что плененная принцесса
В мрачной башне ждет любви...

— Чушь какая-то! — резюмировал Антуан.

Опять молчали. Опять Антуан начал, чтобы прервать неловкость:

— А эта твоя тетка навесила на себя погрешек, как будто она новогодняя елка.

И тут Агнеса вспыхнула:

— Не смейте так про них говорить! Не смейте! Не смейте!..

5

Коммуна назначила комендантом тюрьмы Сент-Пелажи полковника Франсуа. Новый начальник в первый же день объявил, что с завтрака до вечерней поверки двери камер будут открыты и заключенные могут гулять во внутреннем дворе.

Там, во дворе, собиралось изысканное общество. За метней всех был архиепископ, монсеньер Дарбуа. Нервными шагами, не обращая ни на кого внимания, этот представительный старец ходил от мусорной кучи до кофегарки и обратно. С тем, кто желал с ним беседовать, он говорил лишь об одном: какие красноречивые письма он пишет в Версаль и как Тьер недопустимо медлит обме-

нять его, больного, одинокого человека, на какого-нибудь Бланки или дюжину пленных федератов...

Шоде, похожий на Синюю Бороду из иллюстраций Доре, вращал выпуклыми глазами, браня всех подряд: Луи-Наполеона, Тьера, Бисмарка, Коммуну. Когда ему неосторожно напоминали, что он ведь и сам бывший социалист, Шоде готов был вцепиться собеседнику в бороду. Риго посадил его за расстрел народа у Ратуши 22 января.

Было много спекулянтов, среди которых задавал тон брат Филидор, монах, жирный, щекастый, толстогубый. Он ко всем лез со своей дружбой и всем был неприятен, даже архиепископ весьма сухо отпускал ему ежеутреннее благословение. Этот благочестивый брат постоянно сносился с волей, получал вино, продукты, которые тут же, не покидая Пелаго, менял или даже перепродавал с выгодой.

Да и вообще ничего не стоило сноситься с волей. Громогласный Шоде даже кичился тем, что к нему поступали письма из Версаля от ренегата Толена.

Все это «общество» надеялось на скорое наступление Термидора, ждало версальцев и поливало всевозможнейшей грязью вождей Коммуны. Неретин не общался ни с кем. Сидел себе один, в уголке двора. Никуда его не вызывали, никто им не интересовался. Фаншетта однажды передала ему сто франков и затем как в воду канула: вероятно, увлеклась чем-нибудь другим.

Часто думал он девочке, которая растет в далеком Мценске. Какая она? Хорошо бы, назвали ее Марией. Маша, Машенька... Вероятнее всего, так и назовут: в той болховской деревне всех баб подряд кличут Марьями — таков уж обычай русских сел...

«Не велят Маше на реченьку ходить...» Есть такая печальная душа песня. Неретин помнит: однажды шел на охоту, девки на околице пели долго, пока не померк закат и не взошла бледная звезда.

Заметив одиночество Неретина, любезнейший комендант Франсуа пригласил его ознакомиться с тюремной библиотекой. Все это были книги на социальные темы, принадлежавшие нескольким поколениям арестантов.

Неретин сразу наткнулся на томик Лаврова. Вот и Прудон, и Бланки. Интересно бы прочесть! С развитием их идей он столкнулся в жизни, не зная, по существу, в чем заключались сами идеи.

В первые дни пребывания в Пелаго он проглатывал во-

роха газет, которые на его деньги доставляла ему тюрьма. Однако, с течением времени, разнообразнейшие эти газеты, убедительное дитя плюрализма, стали наводить на него тоску. Что было, когда рухнула империя? Сразу триста, пятьсот газет начали выходить, это было подобно воплю исцеленного немтыря, вдруг получившего голос... Эйфория была, прямо сказать, дурацкая. А забыли, что благоустроенной демократии нужен еще и хлеб, нужны тепло в жилищах и полицейский порядок на улицах. И началась в этом море газет безудержная склока, скрип скорпионов, грызущихся в банке! Неретин забросил газеты и теперь обрадовался, увидев такое обилие книг.

Но и в книгах его поразил тот же гнетущий плюрализм. Кто только, оказывается, не писал о коммунизме, кто о нем не печатал! Вот Платон, в чудном венецианском издании Альдов, огромный роскошный фолиант. «Лучшее государство, лучшие законы, это когда у людей все общее — общие имена, общее имущество, общие флаги...» Аристофан, повествующий о бунте женщин в афинском государстве: «Что станут красть воры, если все делается общим?» Пифагор: «Общность жен составит величайшее благо — дети не будут знать своих отцов и их братство станет абсолютным...»

Неретин усмехнулся и даже почесал за ухом, представив себе, какой священный ужас воцарился бы в родимом Мценске, если бы сестрица Ольга Африкановна прочла или услышала эти кощунственные строчки.

«Пусть все верующие будут вместе! — гласили Деяния апостолов Христовых. — Пусть имеют все общее! А всякую собственность свою пусть распродадут и деньги обратят по нужде каждого собрата...» Сектанты Средних веков буквально вопили, возводимые на костер: «*Nostram possessionem cum omnibus communem habet!*» — отсюда и коммунизм.

Какие великие умы: Томас Мор и Кампанелла, аббат Морелли и враг собственности Мабли. Томики, маленькие в четвертку и огромные в лист, переплетенные в порыжевшую от старости кожу или в желтый пергамен, взятый из древних книг. У бедного Неретина голова моментально закружилась, и он бросил книги так же, как бросил и газеты.

Уже собираясь вновь надолго залечь на камерное свое ложе с трубкою в зубах, он натолкнулся на книжечку маленькую и незаметненькую среди горделивых антиквариата-

тов. «Манифест Коммунистической партии». Ах, вот она! Неретин впервые услышал об этой книжке еще в Петербурге. Дядюшка-сенатор упоминал ее, уверяя, что в Европе это самая популярная брошюра среди рабочих, и при этом даже плевался от ненависти. Имени автора не обозначено, но кажется, ее написал Маркс.

Неретин прочел ее единым духом, но, как и во всех предыдущих фолиантах, в общем, не понял ничего. Какая-то смесь задорного бунтарства и шеголяния эрудицией — вот, мол, что мы знаем! Частности, изложенные простым языком, были логичны. Вот, например: буржуазия превратила личное достоинство человека в меновую стоимость. Действительно, разве для великих княгинь, сенатора, господина с височками, этого мерзкого Захара Кузьмича он, Неретин, с живым человеческим сердцем, не был только разменной монетой? Разве не вытаптывали его душу, как торную дорожку, для своих каких-то целей?

Далее: «Часть господствующего класса отрекается от него и примыкает к революционному классу, к тому, которому принадлежит будущее». Таков, хотя бы, лондонский Искандер, таков Лавров, Гурий Иванищев и его сестра, Мария, а ведь оба они генеральские дети.

Итак, «пусть господствующие классы содрогаются передкоммунистической революцией!» И он бы, Неретин, мог быть в числе тех, кто, как заклинание, повторяет эти слова.

Он снова усмехнулся, подумав: что же, господин Неретин, и вы уже исповедуете коммунизм?

Но в общем все остается смутным и неопределенным. Против чего восставать, если абсолютно каждый может с равным правом засучить рукава и заработать себе достаток и покой? Зачем свергать кого-то, чтобы с таким трудом нажитое разделить поровну между способным и тупицей, трудолюбивым и лодырем, честным и вором? Совершенно сбитый с толку, Неретин забросил всяческое чтение, попыхивал себе трубкой, замкнулся окончательно.

Однады, после обеда, когда сытно поевшие и изрядно выпившие преступники Коммуны прохладались во дворе под навесом, пришел гражданин Орас из прокуратуры с каким-то еще патриотом, сильно обросшим бородой. «Вон еще один Карл Маркс явился», — злобно аттестовал его толстый брат Филидор. Все, однако, повскакали, потому что знали: гражданин Орас любит знаки почтения.

Орас сделал миролюбивый жест, разрешая заключенным сесть, волосатому сказал:

— Ну вот, гражданин сотрудник «Папаши Дюшена», все это и есть враги народа, здесь им, как видите, не тюрьма, а санаторий. Мы бы с Риго держали их на хлебе и воде, но, как вы знаете, либеральная Коммуна...

Вслед за этим Орас заговорил с архиепископом, а предоставленный самому себе сотрудник «Папаши Дюшена» обошел несколько заключенных и затем приблизился к Неретину.

Он расспросил Неретина о том о сем и вдруг сказал по-русски, склоняясь к нему:

— Тихо. Не делайте движений. Я — Захар Кузьмич. Время дорого, я пришел вывести вас отсюда...

И так как Неретин отодвинулся, он положил властную руку ему на плечо:

— Мне известно все, в том числе ваш поход ради освобождения Бланки и смерть Давоса. Но неважно, я все равно пришел за вами.

От изумления Неретин только помотал головой.

— Что, разве вам не хочется свободы? — уже спокойнее продолжал Захар Кузьмич, усмотрев, что Орас удалился осматривать камеры. — Давайте честно: ведь за двурушничество приставили бы вас к стенке и мы, и они. Но лично я симпатизирую вам, в моих глазах вы порядочнее, чем все эти виконты и Фидюсы. Итак, уговоримся о побеге и будем работать по-прежнему.

Справляясь с волнением, Неретин проглотил жесткий комок в горле. Сердце толкалось, как поршень паровой машины.

— Нет, — сказал он осипшим, чужим голосом. — Уходите, я позову стражу... Уходите! — почти закричал он.

Захар Кузьмич, распушив санкюлотскую бороду, еще помедлил над Неретиным и отошел.

Потом он еще подходил близко к нему, хотя не сказал ни слова. Но Неретин даже не глядел на него, сидел ослабленный. «Что, кричать, созвать стражу? Но при порядках Франсуа и Ораса этот матерый волк вывернется все равно...»

Россель оказался прав: Фаншетте шла и серая жакетка с шевронами и красное кепи. К тому же ей просто нечего было одеть — платьице окончательно расплзлось.

Когда на первой переключке капитан Самсон выкрикнул: «Франсуаза Мишо!» — она так поспешно сделала шаг из строя, что споткнулась о приклад собственной винтовки.

По шеренге прошел смешок. Капитан же не улыбнулся, только подкрутил ус и взглянул так бешено, что батальон притих.

Он был всеобщий любимец, этот капитан Самсон, о его красной рубашке ходили легенды. В арсенале Лувра, где вооружались «дети папаши Дюшена», он отыскал отличную саблю, на которой старинным росчерком было выгравировано: «За короля!» Самсон уверял, что эта сабля принадлежала самому д'Артаньяну.

После команды «вольно» строй рассыпался. Тут же сосед Фаншетты по строю, Бурош, закричал ей:

— В строй юбку не надевают! Хочешь, я тебе штаны одолжу?

— Оставь их при себе, — отбрила Фаншетта. — Они тебе пригодятся, чтобы было что терять, когда побежишь от версальцев.

Все захохотали. Были еще попытки поддеть Фаншетту, но она так колко оборонялась, что насмешники отстали.

— Ну, хватит артачиться. Мир! — предложил Бурош.

— Хорошо, мир! А ты где работаешь?

— Я лицеист.

— Это что, на телеграфе, что ли?

— Господи, ты же наивна, как курица, которая воображает, что суп — это лечебная ванна. Я ученик лица святого Бенедикта.

— О, мсье петушок, а ты бы и объяснил по-человечески, вместо того чтобы кукарекать. У меня в вашем лицее даже есть один знакомый. И я, например, знаю, что у вас учитель... как его?.. цистернобанец, или, проще говоря, поп.

— Мы его терпеть не можем, — сказал Бурош. — Он зловредный, больно дерется.

— Ну, мы его скоро прижмем! — обещала Фаншетта.

Назавтра она, в полной форме, вошла в кабинет настоятеля, заявляя, что, в силу декрета Коммуны о всеобщем образовании, она хочет учиться в этом лицее.

— Но у нас же только мальчики... — Убеленный сединами отец настоятель опасливо косился на кинжальный штык, висевший на поясе юной гражданки.

Фаншетта не моргнула глазом:

— Теперь будут и девочки.

Настоятель хотел расспросить ее о родителях, внушить мысль поучиться сперва в начальной школе, но вдруг ему в голову пришла такая идея, что он не мог удержать змеиной улыбки. Распахнул перед Фаншеттой дверь — пожалуйста в класс. Но оружие придется оставить в гардеробе, а впредь лучше его совсем не приносить...

— Ребята, в классе девка! — зашептали с парты на парту, и все повернулись к двери, возле которой скромно уселась Фаншетта.

Шум продолжался, пока учитель, худой, изнуренный монах, не вызвал самых беспокойных и не отщелкал их по рукам линейкой.

На перемене ребята окружили Фаншетту. Был здесь и Виктор-Огюст-Наполеон Нурисье, страшно шокированный тем, что девчонка из подвала сидит рядом, в привилегированном лицее. Он все ходил позади и настраивал то одного, то другого.

Выдвинулся круглорожий, наглый, в небрежно распахнутом полуфрачке — Винуа. Он кичился тем, что дядя его — генерал, который скоро задаст мятежным парижанам хорошенького перцу.

— Ты бы, девка, убиралась в свою Ратушу или в какой-нибудь там распутный комитет...

— Замолчи, мерзавец! — крикнул ему Бурош, загорячая Фаншетту.

Круг любопытных сделался плотнее.

— погоди, я сама. — Фаншетта отодвинула Буроша. — Тебе что же, бульонная морда, паршивый цистернобанец, Коммуна не нравится, да?

Винуа хорохорился, наступая. И тогда Фаншетта, без какого-либо предупреждения, схватила Винуа за волосы, упала вместе с ним на пол, стала его бить затылком оземь. Сильный, откормленный малый никак не мог справиться с напористой девчонкой.

Звонок застал Фаншетту сидящей на генеральском

племяннике и предъявляющей ему ультиматум: признать Коммуну.

На выручку Винуа поспешил отец настоятель. Он уже без улыбки, с опаской поглядывал на Фаншетту.

— Ладно! — сказала она, поднимаясь. — На сегодня с племянника хватит. Скоро разделяемся и с дядушкой!

Нельзя сказать, что Фаншетту безоговорочно признали. Но ее побаивались. Установился, так сказать, вооруженный мир. Бурош подружился с ней и сидел вместе на парте.

— Пожалуй, правильно предсказал тебе Россель, когда-нибудь ты станешь и генералом, — говорил он.

— Подумаешь! — отвечала Фаншетта.

Вскоре новый инцидент потряс стены лица. К отцу настоятелю явилась делегатка из Комиссии по народному просвещению, Натали Лемель. «А эта с винтовкой ходит, — отметил про себя павший духом настоятель. — Все они бандитки».

Гражданка Лемель заявила: хоть лицей святого Бенедикта по декрету Коммуны возобновил занятия, но не выполнил другого декрета: не удалил попов и монахов, не очистил классы от предметов культа...

Настоятель повел делегатку наверх. Они попали как раз в класс, где были Фаншетта и Бурош.

— Гражданин поп, — обратилась Натали Лемель к тощему педагогу, — снимайте со стен все эти распятия и священные цитатки и выкатывайтесь с ними подалее!

Раздался возмущенный крик учеников, все повскакали с мест.

— Тише, тише! — призывала Натали Лемель. Она стояла, опираясь на винтовку, а за нею прикрыл глаза безучастный настоятель. — Теперь ваш лицей, — объявила Натали, — будет называться именем Жана-Поля Марата, друга народа. Всякие молитвы отменяются, вместо них вы займетесь более полезным предметом, например, изучением слесарного или столярного дела.

Хлопанье парт и вой усилились. Бунтовщики чувствовали молчаливую поддержку отца настоятеля. Бурош крикнул делегатке:

— Что вы с ними миндальничаете? Ведь это все дети буржуазии!

— Перед Коммуной все равны, — ответила Натали.

Сорванцы, однако, не унимались. Натали, выйдя из себя, хлопнула ладонью об стол, это подлило масла в огонь, класс стал походить на клокочущий суп.

И тут гражданка Лемель не выдержала. Вскинув винтовку, выстрелила в потолок. Посыпалась штукатурка, присел, крестясь, побледневший настоятель, а шум мгновенно смолк. Яростная Натали велела лицеистам хорошо продумать свое поведение и ушла.

7

— Надо нам пойти отыскать эту гражданку Лемель, — сказала после уроков Фаншетта. — Пусть она знает, что в лицее не все...

Но Бурош показал ей повестку — их обоих срочно вызывали в батальон.

Разобрав винтовки, «дети папаши Дюшена» двинулись в Ратушу. Там их усадили на паркете зала святого Иоанна. Всю ночь они просидели, не расставаясь с оружием. Всю ночь капитан Самсон, положив руку на эфес знаменитой сабли, мерял шагами прилегающие коридоры.

К утру стало зябко. Раншетта сказала:

— Ты, Бурош, поддержи мою винтовку, а я пойду поищу кипятку.

Спустившись в тускло освещенный вестибюль, она увидела группу офицеров, окруживших Росселя. Он слушал их, заложив руку за борт сюртука.

— Форт Исси, гражданин генерал, который мы с таким трудом отбили, держится еле-еле. Нет пушек, нет патронов. Люди переутомились, засыпают у амбразур, раненых не успеваем отвозить. А у вас один ответ: если нет патронов, то есть штыки.

Особенно горячился Ла-Сесилиа, корсиканец:

— А к чему ваша переписка с генералом Галифе? Этот палач режет наших пленных, а вы ему: «Мой дорогой товарищ...»

Россель вынул руку, выпрямился. Голос его был резок:

— Я пригласил вас сюда не для того, чтобы выслушивать ваши обвинения. Вы подчиненные, ваше дело — выполнять мои приказы. Вам велено на рассвете собрать у Ратуши двадцать тысяч бойцов. Где они?

— Собираются... Сейчас будут...

— Так слушайте. Вы видели в зале святого Иоанна батальон «Дети папаши Дюшена»? Он призван сюда, чтобы арестовать нарушающих дисциплину. Идите выполняйте приказ.

Хмурые офицеры разошлись. Фаншетта побежала в подвал, где был кипятильник. Он, однако, бездействовал, пришлось наливать холодной. Тут ее окликнули:

— Эй, дочка папаши Дюшена, дай нам напиться!

Это был горбоносый Ла-Сесилиа, густые брови его сошлись на переносице. Он возбужденно говорил товарищу:

— Россель оказался в положении синицы, обещавшей зажечь море. Ему нужна хоть какая-нибудь победа, хоть на ура...

— Ерунда,— ответил тот, передавая ему котелок.— Не соберутся двадцать тысяч. Предместья не верят Росселю. Хуже того—они перестают верить в военную мощь Коммуны...

— Ты слышал, что сказал Риго Росселю? Нужно было не грозить арестом, а сразу хватать и к стенке!

— Тсс! Здесь дочка папаши Дюшена!

— А пусть знает, какие темные дела прикрываются именем ее печника!

Они ушли, вернув котелок. Фаншетта была окончательно сбита с толку. Кто же такой Россель, на которого она смотрела с восторгом, как на посланного свыше спасителя Коммуны?..

Все утро из готических окон залы они глядели на шумный лагерь, на костры и повозки на мостовой. Жены и дети федератов бродили между пирамид винтовок. Тротуары были полны зевак.

Капитан Самсон подходил то к одному, то к другому из федератов, но те отворачивались от своего фронтowego товарища. Самсон вернулся к батальону, уселся среди бойцов и ворчал громко, будто оправдываясь:

— Они думают, я вроде жандарма... Как бы не так! Да и народ не даст арестовать ни одного из командиров, в ключья разнесет...

Появился Россель в сопровождении свиты. Долго из окна смотрел на площадь, потом вызвал Ла-Сесилиа.

— Это, по-вашему, двадцать тысяч? Тут от силы семь...

Прибыл гонец от Врублевского. Россель вскрыл пакет, и брови взлетели на его напряженном лице.

— Адъютант!— позвал он.— Стенографируйте: «Трехцветное версальское знамя вновь развеивается на форте Исси, самовольно оставленном нашим гарнизоном». Отпечатайте десять—нет, двадцать тысяч и расклейте на всех углах. Пусть знают, что Россель сделал все, но что невежество и распушенность командиров...

Офицеры в зале и даже адъютанты возмущенно протестовали. Россель поднял руку:

— Тихо! Я пока еще ваш начальник! Собравшиеся батальоны могут разойтись по домам. Я подаю в отставку. Пусть Коммуна сама расхлебывает свою заваруху.

И он театральным жестом отдал адъютанту свое оружие и еще помедлил, чтобы все осознали значимость решения, принятого им.

Батальоны ушли, площадь опустела, только дымился пепел на месте костров и гонимые ветром газеты носились по мостовой, как сумасшедшие в смиренных рубашках. Забытые «дети папаши Дюшена» без обеда томились в зале святого Иоанна.

После полудня собралась Коммуна. Прения по поводу Росселя и Комитета общественного спасения носили бурный характер.

— Вот видите!— торжествовали сторонники «меньшинства».— Все эти разговорчики о диктатуре— все это мыльный пузырь!

Взял слово Делеклюз, на глазах которого прошли все революции этого века. Его мучила астма, он задыхался, руки от старости тряслись.

— Сколько зла причинили нам эти проклятые дебаты! Долой разговоры о том; кого арестовывать и чей престиж удовлетворить. Поговорим о неотложных мерах. Конечно, о наступлении уже не может быть речи, но есть еще мощь революционного чувства, которая может спасти все!

Единогласно он был избран гражданским делегатом при военном ведомстве. Должность главнокомандующего упраздняясь вообще. Делеклюз получил самые широ-

кие полномочия. Это был, пожалуй, единственный, кому верило и «большинство» и «меньшинство».

Фаншетта брела по набережным, волоча за собой тяжелую винтовку. Солнце, как тусклая монета, просвечивало сквозь мутные облака. Чем больше Фаншетта думала о прошедших событиях, тем менее способна была что-нибудь понять...

8

Вернувшись в госпиталь Вырубова, Мария взялась за прежнюю работу: кипятила инструмент, заполняла «скорбные карты». Вырубов ворчал: «И вы туда же, в политику? Ну что, обожглись на своем Риго?» Мария отмалчивалась. Ей было худо, никакая работа не шла на ум.

Как же так? Как можно подобным образом с ней обойтись, с ней, у которой не было другой жизни, кроме революции? Работая в кабинете Вырубова, Мария посматривала на диван, на котором когда-то лежал раненый Неретин. Как он сказал однажды: «Едемте в Женеву, во Мценск, на Гавайские острова, наконец...»

Когда-то Нечаев читал ин катехизис Бакунина: «Нравственно для революционера все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему». Безнравственным было ее снисходительное отношение к Неретину. Нравственно то, что Риго и Орас стремятся очистить карательный орган революции от ненадежных лиц.

Но от сознания этого ей не легче ничуть!

Однажды, войдя в кабинет Вырубова, она увидела там одиноко сидящего Варлена. Он просиял, добрая улыбка раздвинула его бороду, пронизанную сединой. Встал, взял ее руку в ладони, будто хотел согреть.

Вошел Вырубов.

— Извините, мсье Варлен, нас прервали. Так вот, категорически вам объявляю, что никого прятать у себя не буду. Подумайте, — обратился он к Марии, — эти деятели заварили кашу и теперь подготавливают убежище. Версальцы ворвутся, а они уцелеют! Не-ет, батенька мой, извольте рассчитывать за свои глупости!

— Позвольте... — вмешалась Мария, понимая, о чем идет речь. — Как же не спасти людей, которым грозит казнь или мучения? Если бы речь шла о ворах или фальши-

вомонетчиках, но ведь это те, которые хотели народу добра...

— Ах, перестаньте! — поморщился Вырубов. — Эти французы — просто балованные дети человечества. Вечно они воюют друг с другом якобы ради гуманизма, цивилизации и так далее, а на самом деле ради своих корыстных страстишек. И все еще восхищаются ими!

— Доктор, — строго сказала Мария, — вы наплевали на русский народ, отказавшись даже говорить на его языке. Теперь вы плюете на нацию, которая вас приютила в нужде?

Варлен пытался ее остановить, но Мария чувствовала, что это тот самый момент, когда ей надо выговориться или умереть.

— И это ваше показное отвращение к политике... Вы утверждаете, что для вас все равны — версальцы, коммунары. Но как можно равнять нас с палачами, которые хуже диких зверей? Как можно призывать к примирению, к братству? Эти ваши заявления только расслабляют волю защитников Парижа. А версальцы ворвутся и будут убивать детей. Детей! Вы — пособник убийц, вы — лицемер, вы, вы...

Варлен тянул ее из кабинета, она задыхалась, не шла. Вырубов, совершенно обескураженный, махал на нее рукой.

Мария собрала свой баульчик и не попросившись ушла. Варлен ждал ее, чтобы посадить в омнибус.

— Отвезу-ка я тебя к Натали Лемель, — сказал он. — Завтра пойдешь учить детей.

— Куда угодно! — ответила Мария. И потом спросила тихо: — А что, разве дела уж так плохи, что приходится искать убежище?

— Лавров как-то сказал русскую поговорку: бог бережет того, кто бережет себя сам или что-то в этом роде. Конечно, надо кому-то и этим заняться. Но, уж конечно, не Риго и не Феликсу Пиа, им некогда, они все формируют различные комитеты. Значит, займемся этим мы, черно-рабочие революции.

Омнибус поворачивал на площадь Пантеон, где федераты дружно разбирали успевшую порости травой баррикаду.

Варлен указал: вот, мол, еще одно доказательство...

— С Марксом связь опять прервалась, — склонился он к уху Марии. — Но они там действуют. Лавров околь-

ным путем, через Швейцарию, сообщил: добыты надежные паспорта, подготовлены маршруты через границу...

Мария подняла голову, и ее поразила печаль, овладевшая усталым лицом Варлена. Каково ему, наверное, думать о возможной гибели всего дела! А он не произносит драматических фраз, трудится, как безмолвный муравей.

И собственные горести показались ей мелкими и пустыми.

Они разыскали Натали Лемель в какой-то рабочей столовке. Делегатка была отменно мрачна и наспех жевала сушеную рыбу, размачивая ее добрым глотком пива. Просьбе Варлена приютить Марию она ничуть не удивилась, дала ключ.

— Я тороплюсь в клуб. А ты, гражданка, иди, располагайся там сама. Я вернусь поздно. Как дела в Ратуше?—спросила она Варлена.

— Риго и компания все играют в никчемные игрушки 1793 года, вместо того чтобы усилить преобразование труда и быта. Ну, завтра мы дадим им решительный бой!

— Ох, Эжен, время ли? Снова, как в Интернационале, раздоры? Что может быть хуже?

— Чем хуже, тем лучше, Натали.

— Отделяешься поговорицами? Ах, са ира, са ира, са ира!—Она кинула монетку гарсону и, засвистав бодрый марш, ушла.

Квартал, где Натали снимала каморку, начинался от Триумфальной арки. Здесь фронт гремел над самым ухом. «Засну ли я в моем теперешнем состоянии?»—подумала Мария и вышла было прогуляться. Но на другую сторону Елисейских полей нельзя было даже и перейти. Версальские бомбы разметали там множество зданий. Виднелись распоротые внутренности комнат, разбитые буфеты, погнутые кровати. Жители покидали эти места, проклиная версальцев, которые оказались свирепее пруссаков. Мария, удрученная, вернулась в каморку. Там уже сидела Натали.

— Из клуба ушла я рано. Только и вопросов: что произошло с Росселем? Почему Коммуна терпит поражение? Что могу им ответить я?

И хотя говорила с Марией в первый раз, была очень приветлива и откровенна. Свертывая сигарку, огорчалась:

— В лицее святого Бенедикта я натворила дел! Ну, ерунда! Хотя они и буржуйчики, души у них светлые, ведь это дети. Завтра пойдешь, увидишь сама...

Назавтра, когда Мария вошла в класс, встали только Фаншетта и Бурош. «Баба, баба... — понеслось по рядам.— Учительница тоже баба...»

— Кто староста? — спросила Мария.

— Я! — нагло ответил Винуа, не вставая.

— И вы джентльмен? — спросила Мария.

— Да, я думаю... Конечно... — смешался Винуа, не зная, к чему она клонит.

— А если да, то как вы можете не встать перед вошедшей женщиной?

Класс поднялся, посмеиваясь. Начало было интересным. Откуда эта красавица? По акценту судя, иностранка. Классные франты спешно приглаживали вихры.

— А вы в нас стрелять будете? — спросил Винуа.

— У меня нет при себе оружия, — развела руками Мария.

Опять посмеялись. Учительница начинала нравиться.

— Так как вы теперь молитвы не читаете, — сказала Мария, — то приступим к уроку...

Тотчас же Винуа сорвался с места, скомандовал:

— Класс, встать! Дежурный, молитву!

Царица небес, кормилица, аллилуйя.
Моли за нас господа, аллилуйя...

Фаншетта в четыре пальца старалась пересвистеть, Бурош в подмогу ей колотил по крышке парты. Мария, остановив Буроша, пыталась уговорить и Фаншетту. Куда там! Та, наоборот, свистела еще пуще.

Когда наконец все прекратилось — и молитва и свист, — Мария сказала:

— Коммуна постановила: свобода совести. Но это не значит, что молиться запрещено. И никому не позволено (взгляд на Фаншетту) мешать верующим выражению их религиозных чувств. Однако решим так: завтра я и те ученики, кто не молится, придет на пять минут позже, чтобы дать возможность остальным без помехи исполнить свой обряд.

Класс молчал. Фаншетта враждебно насупилась. Мария продолжала:

— Ну, познакомимся. Задавайте мне вопросы.

Поднял руку аккуратненький, припомаженный Нури-сье.

— А почему портреты маршалов вынесли — Ланна, Нея, Мюрата, Даву, Бернадотта? Разве это тоже антирелигиозная мера?

Мария объяснила, что Коммуна ставит задачей воспитание не только без религии, но и без национальной и расовой ненависти. А эти маршалы, под командой Наполеона, залили кровью всю Европу...

— Но они же слава Франции! — воскликнул Нури-сье.

— Вместо них повесят портреты людей, которые снизили Франции истинную славу: Лавуазье, Вольтера, Кювье, Гюго...

— И откуда вы к нам приехали, такая?.. — игриво произнес Винуа, развалившись на парте. Впрочем, некоторые уже шикали на него.

— Я из России, — просто ответила Мария.

— Ого! А что же вас принесло к нам в Париж? Или хотите погреть руки на нашем, французском несчастье?

— Заткнись! — выкрикнул Бурош.

Мария остановила его.

Действительно, что принесло ее сюда, в далекий Париж? Она рассказала о себе, о своем детстве в захолустном Кадникове, о брате Гурии и его трагической судьбе...

Как-то само собой получилось, что рассказ перешел на Петропавловскую крепость, где в каменных мешках заживо гниют лучшие люди... О царском дворе, где роскошь сочетается с жестокостью и лицемерием... О варварстве помещиков и невежестве их слуг... О медвежьей охоте и езде на тройках... О скитах в непроходимом Керженце...

В напряженной тишине слышалось, как из соседнего класса учитель латыни диктовал: «Презенс номинативус — апро, генитивус — апри, дативус — апре...»

Озабоченные граждане читали расклеенный на улицах манифест: «Члены Коммуны, принадлежащие к «меньшинству», считают своим долгом объяснить политические недоразумения, существующие внутри нее. Дело

в том, что Коммуна, по существу, заменена диктатурой небольшого круга лиц».

Далее говорилось, что Коммуна не имеет права слогать с себя власть, которую вручил ей на выборах народ. Что члены «меньшинства», не согласные с политикой, проводимой Комитетом общественного спасения, больше не будут присутствовать на заседаниях Коммуны. Они возвращаются в свои округа, в батальоны, чтобы отдать силы неотложным мерам обороны на местах. Подписи: Журд, Варлен, Серрайе, Франкель и другие, всего 21.

— Это что же? — спрашивали граждане. — Раскол?

Мальчишки в красных колпаках бегали, разнося свежий номер «Папаши Дюшена».

«Трусливое стадо! — гремел знаменитый печник по поводу «меньшинства». — Коллекция негодяев! Вам нравилось, пока не было опасности, дремать в креслах Ратуши, а теперь вы бежите? Папаша Дюшен требует для вас одного — расстрела!»

27 флореаля открылось заседание Коммуны, которое должно было примирить противников. На самом же деле раскол только углубился. «Меньшинство» потребовало, чтобы в Комитет общественного спасения был введен Варлен. «Большинство» дружно проголосовало против.

Риго заявил:

— Подписавшие манифест объявили, что не будут присутствовать на заседаниях Коммуны. В таком случае, не понимаю, почему они еще здесь?

Его сторонники кричали:

— На фонарь отступников из «меньшинства»!

Риго вышел в секретариат и через некоторое время появился вновь, еще более бледный и решительный, в петлицу скюртука воткнул цветок бессмертника, как это любил делать Робеспьер. Склонившись к Феликсу Пиа, показал список:

— Вот ордер на арест «меньшинства». Как председатель Комитета общественного спасения подпишите его!

Феликс Пиа закивал буйноволосой головой трагика: «Да-да, пора покончить с раскольниками». Но, на всякий случай, посоветовал сначала поговорить с Делеклюзом. Сейчас весь авторитет у него.

Старый Делеклюз пил лимонад в буфете, стараясь за-

глушить в груди приступы астмы. Взял из рук Риго список, внимательно прочитал.

— Сколько осталось жить Коммуне? — задыхаясь, спросил он.

— Коммуна будет жить вечно!

— Я понимаю... Но вы, гражданин прокурор, должны обладать точнейшими сведениями. Через сколько дней версальцы начнут штурм? Перед решающей схваткой ослаблять силу народа арестом вождей, в которых он верит? Взгляните внимательнее, гражданин: Варлен, Серраи, Журд, Франкель — ведь это же лучшие командиры Национальной гвардии! Будет ли она сражаться, если вы ликвидируете их?

Снизу вверх он твердо взглянул в его лицо, возвращая список. И от этого светлого, старчески спокойного взгляда Риго почувствовал непонятное смущение. Он резко повернулся, так что сабля звякнула о ножку стола. Вышел и порвал список на мелкие клочки.

Глава одиннадцатая

ЯЗЫК ЦВЕТОВ

1

— Я спрашиваю, виконт, почему до сих пор не взорван патронный завод, как это предусмотрено планом освобождения столицы?

В чаду успехов господин Тьер совершенно невыносим. Указания так и сыплет, всем досаждают, нервничает. Всех распекает, невзирая на чины и заслуги.

С трибуны Национального собрания он обещал: «Моя армия, лучшая из армий, будет в Париже через неделю». Однако неделя за неделей проходит, а его «лучшая из армий», вооруженная до зубов и числом превосходящая поредевшие батальоны Домбровского и Врублевского, топчется у неприступных ворот великого города. Ну как тут не нервничать главе исполнительной власти!

— Отвечайте же, виконт.

— Передают так, будто брат Захария выжидает...

— А, брат Захария! Чего же выжидает брат Захария, наш великий мастер закулисных дел?

— Он выжидает, когда наконец на заводе будет объявлен выходной день.

— Выходной день? Зачем это?

— Вероятно, хочет, чтобы было меньше жертв...

Глава правительства всплеснул ручками:

— Он хочет, чтобы было меньше жертв!

— Зная его,—вкрадчиво доложил виконт,—могу предположить, что этот, как вы изволили аттестовать, великий мастер хочет, чтобы пролетарии и пролетарочки встречали букетами наши войска...

Тьер уже его не слушал, а только ахал сокрушенно:

— Хочет, чтобы было меньше жертв! И это в момент, когда все буквально висит на волоске!

— Вы правы, ваше превосходительство. Честно сказать, в последнее время достопочтенный брат нас несколько удивляет.

Глава правительства перестал ахать и посмотрел на виконта поверх очков. Покинул кресло с резной спинкой, которое по его приказу было перенесено к нему из королевских покоев, подбежал к огромной карте Парижа. Там, кроме красных значков, обозначающих баррикады, теперь были нанесены и синие — места предполагаемых диверсий.

— Вот что, дорогой виконт. Придется вам самому идти в Париж.

— Мне? Мне, вы говорите? Но, ваше превосходительство, меня теперь там каждая собака знает...

— Неважно, неважно... Зато и вы там теперь знаете каждую собаку.

— Но там же ваш пресловутый брат Захария...

— Вы сами только что популярно разъяснили, каково ему доверять, этому брату... Как и всем им, иезуитам, добавил бы я. Они склонны служить всем сразу разведкам мира, это доказано уж давно.

— Боже, боже!—не удержался виконт де Ноайль, представив себе драматизм предстоящего пути.

— Ничего, ничего,—утешал Тьер, коварно поблескивая очками.—Подгримируетесь, возьмете верный паспорт.

— Но в нашем распоряжении сколько угодно надежнейших агентов.

— Надежнейших! Уж не таких ли, как этот русский! Ну нет, это дело я не могу доверить никому другому. Опять же этот прямолинейный вояка генерал Винуа пола-

гает, что он под бой барабанов прорвется в Париж, и basta! Нет, нет и еще раз нет. Опыт Наполеона вы не изучали, что ли? За время прусской осады Париж битком набит боеприпасами, вы будете осаждать его сто лет. Надо взорвать заводы, уничтожить склады и цейхгаузы. Да что вы, голубчик,— вдруг сменил он гнев на милость.— У меня просто больше некого послать, кому бы я доверял. Де Ноайли, ваши предки, всегда отличались верностью долгу. Почитайте хроники!

Выпроводив виконта, Тьер ухмыльнулся. Небось предвкушал, как сегодня будет фигурять на балу, а тут придется идти во вражеский тыл. Все эти аристократишки, все денежные тузы и колониальные полковники смертельно его ненавидят, профессора Тьера, считают выскочкой, за глаза обзывают паяцем и даже хуже. Но им как воздух необходим если не вождь, то единый центр, связующее звено. И он, Тьер, с его непреклонностью и верой в победу, он для них сейчас всё — и он им себя покажет!

Секретарь доложил:

— По вашему приказанию господин Эврар.

— Пусть войдет.

— Господин Эврар, я должен сообщить вам, увы, нерадостную весть. Ваш патронный завод в Париже будет взорван.

И, откинувшись на спинку королевского кресла, Тьер наблюдал за выражением лица господина Эврара. Говорят, что он самый красивый мужчина в Париже. Хе-хе, и правда, что-то наполеоновское в нем есть.

— Но я, понятно, хотел бы знать,— сказал наконец господин Эврар,— даст ли мне правительство компенсацию за эту потерю?

Тьер развел руками, вздохнул, заговорил о финансовых затруднениях, о неустойчивости бумаг, даже зачем-то приплел министра Неккера с его денежной реформой в XVIII веке, а сам все наблюдал за медальным лицом господина Эврара.

— Но как же...— прервал его господин Эврар.— А священное право собственности? Ради чего же мы воюем?

Тьер, воздев очи к небу, стал говорить о каре божьей, о необходимости нести жертвы, упомянул вскользь и о том, что его собственный дом на площади Сен-Жорж разрушен коммунарами в отместку... И когда уже гово-

рил о жертвоприношении Авраама, как о плате искупительной, заметил, что господин Эврар заметно побледнел.

— Как же так? — пробормотал владелец завода. — Что же мне делать? Этого же не может быть...

«Ага! — злорадно отметил Тьер. — И ты, наполеончик, подвержен страстям житейским?»

И перешел на покровительственный тон. Конечно, ему по-человечески жаль господина Эвраара. Он ведь и сам в таком же положении. Он сейчас поставил перед Национальным собранием вопрос о компенсации за разоренное коммунарами его имущество. Покорнейше просит из внимания к его, Тьера, особым заслугам. Но шансов очень, очень мало: депутаты — такие скряги, а казна действительно пуста!

— Вы хотите купить мой завод? — вдруг спросил господин Эврар.

«А он догадлив!» — подумал Тьер, а вслух стал говорить о христианском долге помогать ближним своим...

— Во сколько оцениваете вы ваш завод?

— Миллиона два.

— Ну что вы, вот у меня биржевые данные... Красная цена — четыреста тысяч.

— Но, ваше превосходительство, утверждая перечень ваших убытков, Национальное собрание ведь не назначит комиссию для проверки?

«А он совсем не туп, совсем не туп!» — сказал себе Тьер.

Так, постепенно, они поладили. Тьер достал лист гербовой бумаги с водяным знаком «павлиний глаз» и сам, не вызывая секретарей, написал текст купчей. Господин Эврар расписался, получил вексель и, не переставая благодарить, ушел.

Оставшись один, Тьер потер ручки и вынул другой лист бумаги с водяным знаком «павлиний глаз». Хи-хи, на нем запечатлено постановление Национального собрания о компенсации владельцам имущества, разоренного коммунарами или того, что может быть разрушено в силу военной необходимости. В приложении значится и особняк на площади Сен-Жорж, и патронный завод (и цена обозначена — три миллиона!). И все печати и успокоительная надпись наверху: «Строго секретно».

Тьер удовлетворенно откинулся в кресле, рассматривая на просвет водяные знаки бумаг.

После визита Агнесы и Антуана барон де Мерифит окончательно пал духом. Глаза помутнели, щеки сделались дряблыми, как прошлогодняя тыква. Терзали всяческие страхи. Целые часы проводил он у окна, высматривая в сумерках, не идут ли его арестовать. Бежал к жене, которая сидела у свечи с романом в руках.

— Вы слышите? Что-то копают напротив наших окон!

— Это песок для баррикады достают.

— Нет, нет, это могилу для нас копают...

И вдруг однажды в свое окно он увидел, как кто-то неизвестный подошел к запасному входу, открыл его своим ключом и вошел.

Целую четверть часа барон сидел обмякший, оглушенный. «Конец, конец!» — стучало в висках.

Придя в себя, он сбросил туфли и двинулся по комнатам, словно призрак. Зачем? Он сам не имел представления. Бороться или даже звать на помощь он бы не смог. Была абсолютная тишина, только из комнаты баронессы слышались негромкие голоса.

Там перед Леонтиной стоял незнакомец в парусиновом балахоне, который носят крестьяне, привозящие овощи на рынок. Присмотревшись, барон узнал виконта де Ноайля. Эх, черт его принес!

— Добрый вечер, — сказал барон. — Не правда ли, отличная погода?

— Да, да... Такой, знаете ли, воздух. Вишни цветут...

Виконт закручивал ручку знаменитой тросточки Фидюса. Услышав шаги Мерифита, он было вывинтил стilet.

— В это время года, — продолжал барон, — совсем не бывает дождей. Очень полезно для сенокоса.

Он ощущал чрезвычайную неловкость, долго не мог понять почему, и наконец догадался — он же перед гостем стоял босиком! Извинившись, скрылся к себе в кабинет.

Барон сам видел в газетах Коммуны аршинные заголовки: «Де Ноайль, бывший помощник Люлье, — изменник!» А вдруг его обнаружат в доме барона?

Кажется, за его голову Коммуной даже обещана награда. Барон стал машинально рыться в старых газетах и вдруг наткнулся на статью: «Поступок истинного патриота! Банкир Ротшильд дал Коммуне в долг миллион!»

Вот и выход! Хоть Антуан и сказал: «Коммуна не примет», но ведь Антуан — это еще не Коммуна. Немедленно идти! Пусть сейчас ночь, барон знает, куда и к кому надо идти!

Услышав захлопнувшуюся за ним дверь, виконт сказал Леонтине:

— Куда это пошел мсье барон?

— А, пустяки! Он ходит смотреть яму, откуда берут песок. Не бойтесь, он теперь не менее, чем мышь.

— Я вынужден у вас переночевать.

— Ну что вы, конечно, милый кузен!

После полуночи виконта разбудил стук входной двери. «Барон вернулся», — подумал он, но чувство необъяснимой тревоги его не покидало. Встал, держа в руках сапоги, пошел к комнате Леонтины. Баронесса тоже не спала, тревожно вслушивалась. Наконец ухо различило — чуть звякнул металл. Так бывает, только когда случайно тронешь затвор, каждый военный это знает.

— Ваш муж предатель! — яростно зашептал виконт.

Леонтина толкала его прямо в топку большого камина. Виконт сначала не мог понять, в чем дело, противился, пока она не догадалась шепнуть:

— Там потайной ход, смелее!..

Виконт влез в самый раструб топки и нащупал скобы в боковой стене. По ним он поднялся в дымоход, отодвинул заслонку и через отверстие для чистки сажи выбрался наружу.

Отдышавшись и осмотревшись, виконт обнаружил, что он находится за одной из колонн галереи бельэтажа. Было невысоко, и он бесшумно спрыгнул прямо в кусты. За его спиной в доме осветились все окна, мелькали тени бородатых людей со штыками.

3

Вернувшись домой поздно, брат Захария обнаружил, что его квартирная хозяйка, его толстуха, его ангел-хранитель, ждет под аркой ворот.

— Ваше преподобие...

Брат Захария прошипел:

— Не преподобие, сколько можно говорить... Гражданин Гарг!

— Гражданин Гарг, у вас гость.

— Какой гость?

Это оказался виконт де Ноайль, в нелепом балахоне, измазанном сажей.

— Почему вы пришли сюда? Разве вам не известны правила явки?

— За мной гонятся.

— За вами гонятся — и вы сюда? О господи!

Брат Захария отклеил бороду, снял парик. Детально расспросив, зачем и как прибыл виконт, велел ему располагаться на ночлег. Снова превратил себя в гражданина Гарга и вышел на улицу. Долго бродил неслышными шагами, держась в лунной тени. Нет, кажется, этот аристократик хвоста за собой не привел.

В последнее время брат Захария стал ощущать, как клешни ведомства Рауля Риго смыкаются вокруг него. Этот юнец, вечный студент, после суматохи и хвастовства первых дней перешел к систематическому вылавливанию агентов брата Захарии. Опыт у него накапливается, а настойчивости и дерзости ему не занимать.

Не зря ведь господин Тьер, высокочтимый шеф, прислал из Версаля самого виконта. Недаром он все время твердит: взорвать завод, взорвать, взорвать! Только будучи на девяносто девять процентов уверенным, он сможет идти на штурм! Другие полагают, что обойдется, мол, и так, войск у Версаля теперь в десять раз больше, чем у Парижа. Но брат Захария знает: несмотря на кажущееся фиглярство, шеф хитер и прозорлив. Уж он-то видит, что Коммуна вовсе не разваливается, как полагают некоторые. Отпадают только чужеродные ей элементы — пьяница Люллье, фанфарон Ключере, честолюбец Россель. Под мишурой внешней неразберихи рождаются и крепнут зерна, из которых куется ее стальное ядро. Если Коммуна не будет разбита теперь, она уже не падет никогда!

Утром виконт сказал ему:

— Шеф торопит вас с бонбоньеркой. Вы знаете, о чем я говорю.

— Что же, милостивый государь, я, по-вашему, сплю? Динамит и все прочее готово. Но, может быть, вы предложите способ, как его пронести в эту самую бонбоньерку?

— А что же, разве наших там нет?

— Есть там мастер, лысый такой, весной он нам кое в чем помог. Теперь и он отказывается. «Был, говорит, господин Эврал, я верно служил ему; теперь хозяин — Коммуна, я служу ей».

— Ясно,— сказал виконт.— В черный список его.

— А больше пока никого нет.

— Ну, надо признаться, шеф лучшего мнения о здешних делах.

«Бессовестные твои глаза! — подумал брат Захария.— Тебе бы только черные списки составлять». И спросил, еле скрывая иронию:

— А что предложите вы?

Виконт ответил не сразу. Он развинчивал и ввинчивал ручку тросточки-стилета.

— Что я предложу? Я предложу одно. Вернее, одну. Это племянница барона де Мерифита, Агнеса.

Брата Захария будто обухом ударили: «Ах подлец, ах негодяй! И как только могло прийти это в твою узколобую черепушку!»

— А если, дорогой виконт, вам самому устроиться на завод? За рекомендацией от «Папаши Дюшена» дело не станет.

— Вы это серьезно?

— Почему же нет?

— Но ведь после Люлье...

— Можно как у меня — парик, бороду.

— Высокочтимый шеф приказал мне тотчас же возвращаться. Неотложнейшие дела!

Он ловко воткнул стилет в стол, лезвие запело, вибрируя. Брат Захария выдернул стилет и сказал, еле сдерживаясь:

— Раз так... Раз так, мой дорогой, вам и карты в руки. Встретьтесь с ней, обработайте... Я слышал, вы ей чуть ли не жених?

— Нет-нет... Я сообщу вам некоторые условные знаки. Я полагаю, вам будет легче, ведь вы ее бывший воспитатель?..

Виконт остался дожидаться ночи, а брат Захария ушел. «Ну и жук! — повторял он про себя.— Ну и жук!» Вертел в руках тросточку Фидюса, которую унес в великой задумчивости.

На Вандомской площади рабочие устанавливали лебёдки. Коммуна постановила низвергнуть колонну со статуей Наполеона I, которая была отлита из меди пушек, взятых французами при Аустерлице. Теперь было решено: колонну разрушить как символ вражды народов и кровавой бойни.

Чтобы падение этакой громадины не произвело земле-

трясения, на площадь стлали метровый слой навоза. Брат Захария подошел к одной из телег, которая только что опрокинула свой духовитый груз и повернула назад. Поравнявшись с возницей, брат Захария приподнял край его шляпы, пятнистой как мухомор.

— А, урод носатый, не легко тебя найти.

Это был Паделу. При виде начальства он изобразил на лице привычную тупость.

— Видал? — Брат Захария из-под полы показал стилет. — Это про тебя приготовлен.

И с удовольствием наблюдал, как под отвислыми полями шляпы длинноносое лицо от страха синееет, словно у покойника.

— Ну, на сегодня тебе амнистия, — засмеялся брат Захария. — Перестань дрожать и умерь шаг. Слушай меня внимательно...

Со стороны казалось: идут два патриота, беседуют. Один весь обросший гривой, как истинный якобинец, другой работяга, навозник, знай погоняет своих кляч.

4

Риго, распахнув окно, всматривался в ночь. Город засыпал с трудом, как ребенок, которого изводит болезнь. Где-то погромыхивали фуры, отвозившие с фронта убитых, а в саду Тюильри беспечно наигрывал оркестр варьете.

Что ж, ставка на Росселя оказалась неудачной. Надежда на то, что Коммуна сплотится, извергнув из себя «меньшинство», тоже очень мала. Кстати, рабочие клубы и профсоюзы встали на защиту раскольников, требуя их возвращения в Коммуну... Логика толпы, действия масс — это, пожалуй, непостижимей всего.

Риго изменился за эти недели. Сарказма поубавилось, знаменитую табакерку почти не достает. В Коммуне показываться перестал, занят прокуратурой — расследует, проверяет, сличает, допрашивает. Поклялся себе — очистить тыл Коммуны, может быть, перед последним сражением... Кто насмеялся, кто злорадствовал, прикусили языки.

Ему удалось напасть на след, дотянуться до самого центра паутины. В результате множества сопоставлений и рассуждений, перекрестных допросов и очных ставок нити привели прямо в редакцию газеты «Папаша Дюшен»!

Кто же он такой, этот гражданин Гарг? По внешним наблюдениям — преданный патриот, пылкий агитатор. Где он живет? Спросить прямо у Вермерша или Вильома — значит навлечь их возмущенный крик: «Под наших подкапываешься?» Риго осторожно выпросил у Ришардьё и узнал, что в том же дворе проживает семья Мишо, люди сорок восьмого года.

— Это у них дочка Фаншетта, неугомонная такая?

— Да-да, у них... — камарад Ришардьё торопился к своим гранкам и рукописям.

Но днем или даже вечером Риго не смог бы зайти к Мишо и остаться незамеченным — в Париже нет человека, который не знал бы грозного прокурора в лицо. А выполнить эту самую ювелирную часть дела Риго хотел только сам. Значит, только рано утром, когда улицы еще пусты.

Придя к этому решению, Риго хрустнул пальцами и посмотрел на часы. Часов пять удастся еще поспать. Хлопнула дверь — верный Орас принес стакан горячего грога.

— Там посетитель, — сказал Орас.

— Какой еще посетитель?

— Банкир. Говорит, по очень срочному делу.

— Ну, если банкир, да еще по срочному, так и быть,пусти.

Рассматривал вошедшего: лопухий, подделывается под простонародье, улыбка заискивающая. Видали таких.

Посетитель представился:

— Де Мерифит, член правления Французского банка, барон... Бывший барон, — поправился он.

— Что угодно?

— А ничего, собственно говоря, не угодно... Зная о денежных затруднениях Коммуны и как любящий сын народа...

— Коммуна не нуждается в подачках капиталистов.

— Как же, а Ротшильд, а его миллион?

Риго ответил, постукивая карандашом:

— Люди из «меньшинства» приняли этот миллион! Теперь, да будет вам известно, они ушли. Теперь Коммуна сразу возьмет весь банк, и делу конец!

Мерифит залепетал что-то в смертном ужасе. Риго встал и, надев пенсне, рассматривал банкира в упор, а тот чувствовал себя точно на раскаленной сковороде. Вдруг Риго бросил карандаш и указал пальцем на банкира:

— Вспомнил! Мерифит, Мерифит! Эту фамилию я встречал во вскрытых досье управления полиции! Утром я велю принести их из архива. А может быть, вы сами расскажете, милочка моя?

Но Мерифит трясся, бормоча нечто совсем несуразное.

— Тогда я расскажу.— сказал Риго.— Лет тридцать тому назад вы присвоили общественную казну ячейки последователей Сен-Симона. Бедные утописты вам доверяли! Вскоре же вы, однако, попались, но вас у полиции выкупили отцы иезуиты. Не так ли это, а?..

Он преподнес Мерифиту понюхать табачку, и тот в страхе увидел на крышке рельефное изображение отсеченной головы короля.

— Ах мой ягненочек! — издевался Риго.— Ах бедненький народолюбец, двуединый последователь Сен-Симона и Лойолы! Попался?..

Мерифит не выдержал, сполз с дивана, на котором сидел, и стукнулся коленями об пол:

— Не надо меня, не надо... Я верный гражданин Коммуны... Пожалуйте ко мне в особняк, там спрячется некий виконт де Ноайль. Но я ни при чем, клянусь! — закричал он, увидев, что Риго дернул шнур звонка.

Вошедшему Орасу Риго отдал необходимые распоряжения. «Придется, товарищ ты мой, сегодня не поспать».

— Что со мной будет? — спрашивал банкир, поднявшись с пола.— Вы меня арестуете?

— Нет, зачем же, — спокойно ответил Риго.— Поедете с этим гражданином и поможете ему все сделать.

5

Матушка Мишо встает чуть свет. Дел много: подмести, затопить очаг, принести воды. Потом уйдет Антуан, умчится Фаншетта, надо вести мальчишек в аббатство.

Только взялась за веник, стук в дверь. Кто это в такую рань? Не депеша ли с фронта, не дай бог?

За дверью стоял молодой суровый гражданин в отличном сшитом сюртуке.

— Вы ли гражданка Мишо?

— Я, входите, пожалуйста...

— А я — Риго, прокурор Коммуны, мне надо с вами поговорить. Однако не тревожьтесь, дело не касается вашей семьи.

Опустившись на скрипучий стул, который матушка Мишо гостеприимно вытерла тряпкой, Риго осмотрелся. Сырой, неуютный подвал, похожий на овощехранилище. Запах кислый, стоялый, они уже, вероятно, к нему привыкли. Вот они — те, ради которых и Коммуна, и он, Риго, и вся его жизнь! А он, как ни странно, впервые в жизни так запросто среди них и чувствует себя натянуто, неловко.

Прислушиваясь к сопению детей, матушка Мишо отвчала на вопросы Риго. Гражданин Гарг? Нет, это имя ей незнакомо. Толстуха папиросница? Обыкновенная торговка. Да, какой-то жилец у нее действительно есть. Волосатый, точно бог Саваоф.

— Это поп,— вдруг отчетливо произнес малыш Жако.

— Спи ты,— сказала матушка Мишо.— Какой тебе поп?

— Да, да, поп! — Жако перелез через Дени, Фаншетту, Антуана, будя их.

— Ну какой же поп, ушастик? — спросил Риго, ставя мальчугана между колен.— Расскажи-ка, милочка моя.

Жако обстоятельно поведал, как они на прошлой неделе забрались на крышу (матушка Мишо ахнула) и оттуда видели: в окне бабки-папиросницы ее жилец снял с себя волосы, под ними оказались другие. А тут (Жако обвел себя пальцем вокруг макушки) совсем пусто; он знает, что так бывает только у попов.

— Да что же ты сразу не сказал?

— Я его боюсь,— Жако потупился,— Дени говорит, что он злой колдун и ест детей.

— Сейчас мы его расколдуем! — вскричала матушка Мишо.— Антуан, бери топор! Фаншетта, сзывай соседей!

Но Риго остановил ее: так можно испортить все дело. Он послал Фаншетту за ворота, там, возле лавки Симона, должен находиться его человек. Пусть он спешно бежит в Ратушу, ведет сюда Ораса, дежурный взвод, агентов. Антуану велел выйти во двор, стоять там. Если появится подозрительный, проследить, куда он пойдет.

Риго продолжал спрашивать матушку Мишо. Взглянув на часы, нахмурился: Орас, однако, задерживается. Удалось ли ему схватить де Ноайля?..

Вдруг снаружи сильно постучал в дверь Антуан. Риго вышел во двор, но Антуана уже там не было. В арке ворот показался запыхавшийся Орас и с ним караульный взвод федератов. Пока выслушивал рапорт Ораса, пока отдавал

распоряжения об обыске у папиросницы, вышел на улицу — Антуана след простыл.

Подоспели дежурные агенты. Риго разослал их в разных направлениях, описав наружность Антуана и гражданина Гарга. Остановился, размышляя: не нагрянуть ли сразу к «Папаше Дюшену»?

Мимо бежали люди, торопились, возбужденно крича. «Ах да, — вспомнил Риго, — бегут смотреть, как упадет Вандомская колонна. Фло-ре-аль!»

И вдруг увидел Антуана. Он растерянно брел обратно к дому.

— Волосатый сначала долго шел с обозом ассенизаторов, — доложил Антуан. — Я следовал за ним. Потом он зачем-то вошел в магазин галантереи братьев Моле. Я остался у входа, боясь потерять его в суতোлке магазина. Волосатый так долго не выходил, что решил зайти внутрь и я. Его нигде не было.

— А кто-нибудь заметный выходил?

— Какой-то старикашка, но тощенький, лысенький. Затем господин — такой бритый, лобастый, в больших очках...

— Но ты же слышал, милочка моя, на нем был парик. Могла быть и приставная борода!

Антуан постучал себя в лоб согнутым пальцем.

— Спугнули, — резюмировал Риго. — Ну-ка, теперь расскажи поподробнее, зачем он шел с обозом ассенизаторов...

Тем временем шел обыск в комнате папиросницы. Там оказался некто в длинном, выпачканном сажей балахоне.

— Ты что, трубочист? — спросил Орас.

Некто радостно закивал головой.

— Вот что, гражданин трубочист, — сказал Орас, — забирай свой инструмент и шпарь отсюда. Привет и братство!

Один из федератов заметил, что следовало бы и трубочиста задержать для выяснения личности.

— Знаешь, братец, — ответил Орас, — я не люблю, когда вмешиваются в мои распоряжения. Дисциплина и еще раз дисциплина, как учит нас гражданин Риго.

Виконт, так вовремя удостоившийся звания трубочиста, забрался на чердак и там сидел, съжившись за трубой. Боже, каким-то чудом пронесло!.. Медленно ожидал, возвращалась способность воспринимать окружающее. Солнце стало светить в противоположные слуховые

окна — значит, время за полдень. А он тут сидит! Могут опомниться, обыскать чердак!.. Виконт заставил себя встать, снял балахон, засунул его под балку и умылся из пожарной бочки противной, затхлой водой. Осторожно спустился по черной лестнице, вышел во двор. Там играли ребятишки. Вдруг раздался страшный гул, от удара задрожала земля.

— Упала, упала!..— кричали мальчишки.

— Что «упала»? — не выдержав, спросил у них виконт.

— Вандомская колонна упала, разве ты не знаешь? — весело сообщил ему рыженький, в смешных очках.

6

Папаша Мишо спустился к себе в подвал, с удовольствием слушая знакомый скрип ступенек. Кулевриночку в тамбуре кинул в угол, распахнул дверь:

— Эй, мать, встречай-ка своего вояку! — И удивленно тряхнул головой, седые патлы так и разлетелись. — Варлен! Какими судьбами! Тебя, бывало, и не затащишь: все занят и занят.

Действительно, за столом сидели Варлен и Ришардье, а матушка Мишо собирала им трапезу.

— Гражданин Варлен ушел из Коммуны, — сказал камарад Ришардье, усиленно моргая. — Чего ему теперь не ходить по гостям? Вместе с другими такими же мудрецами он полагает, что Коммуна, расколовшись, станет крепче!

— Сколько тебе ни тверди... — начал Варлен, кладя свою большую ладонь на его сморщенную руку.

Видно было, что это отголоски крупного спора, только что гремевшего за этим столом.

— А сам мне учинил разнос! — воскликнул Ришардье, не дав ему договорить. — За Росселя, за гражданина Гарга и вообще. Обвинил, что мы оторвались от жизни, не общаемся с массами. Так что я, мой львишечка Мишо, пришел с тобой общаться.

— Вот сатана! — захохотал папаша Мишо. — Мать, слышишь? Со мной общаться!

— Уж ты-то мастер общаться, — отозвалась у печки матушка Мишо. — Бывало, граждане, как услышит, что где-нибудь стреляют, хватает свое ружье и бежит туда строить баррикаду, не разбирая, кто за кого...

Варлен тронул журналиста за рукав:

— Послушай, старина, споры спорами, а ведь у меня к тебе важнейшее дело. Предупреждаю, что это секретно.

Он оглядел всех присутствующих, и все кивнули головами.

— Помнишь, старина, ты рассказывал— тот чердак или еще какое-то место, в котором ты пересидел смутные дни пятьдесят первого года? Ты говорил, что это место и сейчас могло бы служить надежным убежищем.

— А! — воскликнула матушка Мишо.— Вот как? Ты, гражданин, уже ищешь убежище?

— Потихе, потихе,— пытался удержать жену старый Мишо.

— Нет, голубчики, я вас выведу на чистую воду! Вы, жожаки, всегда так. Заварите кашу, а потом шмыг в убежище или подальше, за границу, переделывать там свои расчеты. А наши Антуаны, Жаны, Пьеры за вас тут расплачивайся!

— Не совсем это так.— Варлен даже посерел лицом, как приговоренный на эшафоте.— Мы хотим укрыть тех, кто начнет все снова в случае поражения. Будь спокойна, Варлен в укрытие не пойдет.

— Ты-то не пойдешь,— заговорил папаша Мишо, перебивая распалившуюся супругу,— слава богу, мы тебя знаем с пеленок. А как раз тебя-то первого и следовало укрыть! Ты думаешь, мы не понимаем обстановки? Не в первый раз выходим на баррикады. А вот в чем она права. Как же вы все, как же ты лично, благодетель наш, допустил, что приходится думать о поражении?

Варлен и Ришардье старались не глядеть друг на друга.

— Изволь-ка, милейший,— продолжал папаша Мишо,— возвращаться в Коммуну, и хватит раздоров. А ты, чудовище Ришардье, укороти язык своему полоумному печнику.

Он поймал руку Ришардье, который никак не хотел мириться, и вложил ее в мягкую сильную руку Варлена.

— Что ж,— сказала матушка Мишо,— вы мужчины, вам видней. Помните одно: вернуться к той жизни, как жили до Коммуны,— нет, лучше смерть!

Варлен поднялся, поправляя красный шарф с серебряной бахромой.

— Всё правильно мне говорили здесь. Принимаю критику, учту ее. Но мы вовсе не собирались покидать Коммуну. Народ нас избрал, только народ может нам позво-

лить уйти. Мы просто не хотели принимать участие в бесконечной говорильне и, видимо, не были правы. Basta! Завтра мы возвращаемся в Ратушу.

— Вот это другое дело! — одобрил папаша Мишо.

— А теперь прошу меня извинить. Сегодня последний более или менее свободный день, а у меня есть одно дело, которое тяжким камнем висит на моей душе...

Заторопился и папаша Мишо. Он ведь не в отпуске, а за пакетом для генерала Домбровского. Матушка Мишо спешно собирала ему корзинку с едой.

— При убежище, — говорил Варлен Ришардьё, — кто-то должен быть связным. Пусть лучше будут женщины, так меньше подозрений. Фаншетта Мишо? Отлично, боевая особа, только строжайше внушить: пусть держит язык за зубами. Агнеса, дочь самого Ришардьё? Тоже подойдет.

Вечером того же дня камарад Ришардьё, а с ним Фаншетта и Агнеса поднялись на высоты Монмартра, где всегда шумит гуляка-ветер, вращая крылья декоративных мельниц. Прижавшись к склону холма, стоит здание с готической крышей — приют душевнобольных. За его оградой бродят несчастные, вздымают длинные рукава халатов.

На задворках, в густых зарослях орешника, Ришардьё отыскал заброшенную часовню. Вынул свечу, зажег, обмел паутину, сплошь завесившую вход. Стали спускаться вниз, в могильный холм склепа, стараясь не касаться скользких от сырости стен. Наконец из кромешной тьмы подземелья показалась заржавленная дверь.

— Здесь, — сказал Ришардьё. Напрягся, толкая дверь, она подавалась с визгом. — Теперь будет подъем вверх, ровно двести ступеней.

Так они оказались в светлом, но чрезвычайно пыльном помещении чердака под высокими скатами крыши. Ришардьё протер окно, и внизу открылась панорама Монмартра, с его откосами, переулками, цветниками, уступами крыш.

— Этот чердак, девочки, никак не сообщается с приютом. Для какой цели — никто не знает. В Париже, наверное, все средневековые здания имеют подобные штучки. Мне указал его один расстрига-монах, который потом погиб на баррикаде в Сент-Оноре.

Деятельная Фаншетта, разыскав веник, принялась за

уборку. А камарад Ришардье взял Агнесу под руку и говорил ей с умилением:

— Вот, душенька, здесь мы и жили с твоей матерью. Погляди, как чудненько! Даже ящик сохранился, который двадцать лет тому назад служил нам пиршественным столом!

Но Агнеса безучастно смотрела на все сквозь завесу ресниц.

7

Надвигался вечер. Неретин вернулся с тюремного двора и сидел в потемках — свеч еще не зажигали. Из коридора доносился неразборчивый голос начальника тюрьмы и чей-то удивительно знакомый бас.

— Разве тебе не известно, гражданин Франсуа, — говорил бас, — что члены Коммуны имеют право посещать заключенных?

— Но ведь Риго...

— Риго также подчиняется декретам Коммуны.

Вслед за этим заскрипела решетка камеры Неретина. Кто-то высокий шагнул, потребовав свечу. Стражник торопился, высекая огонь. Когда наконец осветились пегие стены каземата, Неретин увидел, что это — Варлен.

— Оставьте нас одних.

Он сел на табурет напротив Неретина, осматривал убогую утварь, книги, газеты, кучей наваленные на столе. Типичным для француза жестом поднял ладонь, показывая, что начинает говорить.

— Не пойми так, Неретин, что я явился с тем, чтобы тебя освободить или чтобы снимать допрос. Для этого есть прокуратура и суд Коммуны. Думаю, рано или поздно они установят истину. Я пришел к тебе как человек к человеку...

Это тоже была манера Варлена — начинать без излишних приветствий и вежливых фраз.

— После Бюзанваля весь наш батальон, и я, пожалуй, больше всех, — мы полюбили тебя как товарища и как бойца. Но потом столько всякого пришлось о тебе услышать! Скажи, Неретин, — я не спрашиваю, можешь ли, — хочешь ли ты мне рассказать о себе всё?

Неретин неподвижно сидел, странно уставившись в одну точку. Варлен помолчал, выжидая, и вдруг понял, куда направлен взгляд Неретина. К петлице полковничьего

сюртука Варлена был приколот пучок белых цветов вишни...

Когда Варлен шел к Сент-Пелажи, на набережной ему повстречались лицеисты в кургузых полуфрахках — видимо, была экскурсия. Учительница шла позади, о чем-то оживленно споря. Поравнявшись, Варлен узнал в учительнице Марию. Лицо ее показалось ему неожиданно непривычным. Он пригляделся, и причина этого стала ясна — Мария улыбалась!

Да, всегдашняя суровость и какая-то болезненная гордость покинули ее юное лицо. Эстет сказал бы — улыбка ее опростила. Пожалуй, это так. Но теперь разрозовевшиеся щеки, веселый блеск в глазах, совсем новая манера беспечно закидывать голову, смеясь, сделали ее в тысячу раз роднее, и ближе, и прекрасней, черт возьми!

— Смотрите, ребята! — вскричала она. — Вот это и есть тот самый Варлен, о котором я рассказывала вам.

Лицеисты поглядывали на него с заметной боязнью и любопытством. Разговор не завязывался. Чувствуя это, Мария сказала:

— Мы торопимся, будь здоров, Варлен. Приходи как-нибудь к нам в лицей!

Она приколотла ему на прощание этот букетик вишневого снежного цвета. А ей, вероятно, мальчишки сорвали — все они смотрят на нее влюбленными глазами...

И Варлену стало совестно, что он пришел, полный жизни и весны, к человеку, который изныл от неподвижности, пропах табаком и тюрьмой.

— Это подарила мне Мария Войницкая. Ты ведь знаешь ее.

Варлен отколол букетик и поставил его в тюремную кружку. Неретин, как во сне, протянул руку и коснулся шероховатых лепестков.

— Да, да, ты прав... — медленно начал он, — ты бесконечно прав. И не говори — могу я или хочу. Я должен, я обязан...

И он неторопливо рассказал Варлену всю свою жизнь, начиная от корпуса и Иванищева и кончая похождениями в Версале и кознями Захара Кузьмича. Ничего не пропустил. Никакой подробности, даже самой мучительной, не забыл.

В тюрьме было тихо и глухо, давили массивные стены. Сальная свечка шипела, слышались окрики часовых.

— О чеке Французского банка и о намерении взорвать

патронный завод я обязан доложить,— предупредил Варлен.— Что же ты не рассказал об этом Риго?

Раздался лязг ключа о решетку. Варлен повернулся и спросил:

— Эй, служивый, ты что?

Но стражник просто был обеспокоен долгой тишиной в камере.

— Представь себе, Неретин, я помню этого сыча еще по шестьдесят девятому году, когда я сидел при чертовом императоре здесь, в Пелаго... И как это тебя, братец, не вытурили с жандармами заодно?

— А не угодно ли вам,— скрипел стражник, напустив на себя вид простачка,— опять в прежний казематик?

От этой его ядовитой фамильярности стало не по себе. Неретин спросил Варлена:

— Как же вы... Ведь, будем говорить прямо, положение плохо?

Он указал на лежащие на столе газеты.

Варлен ответил просто, с выражением некоторой гордости и печали:

— Мы— саперы. Мы идем впереди и ищем фугасы, ловушки, мины. Мы первые гибнем, но зато армия, которая пройдет по нашим телам, скорее достигнет победы!

Он встал, поправил шарф, подтянул ремни.

— Жестоко это— тюрьма! Но ты не станешь отрицать, Неретин, она не прошла тебе даром. Ведь самое худшее зло в человеке— это неверие в себя, оцепенение сердца и воли, вечные колебания и отсрочки. Есть это в каждом человеке— у тебя, у меня, только, правда, в разном виде и в разных дозах. Честь тому, кто победит это зло, но горе тем, кто сделает это слишком поздно!

Варлен взял Неретина за пуговицу сюртука, заглянул ему в глаза:

— Помнишь, был у нас в батальоне боец такой, Клош? При Бюзанвале он погиб первым. Помнишь как? Струсил, побежал в страхе, увлекая других... Недавно присутствовал я на открытии детского клуба. Там девчушка, Элиза, дочь этого Клоша, спрашивает: «Ты был при Бюзанвале? Правда, мой отец умер как герой?» Послушай, Неретин!— с силой воскликнул он.— Я, никогда не лгавший даже по мелочам, я сказал ей: «Да, дитя, он умер как герой!»

Эхо его голоса затихло под потолком, утонувшим во тьме.

— Подумай о детях, Неретин, о тех, кто придет после нас!

«Какая вера!— В изумлении думал Неретин, оставшись один в ночной тишине.— И ведь лично-то ему ничего не нужно, ничего у него нет— ни экипажа хотя бы, ни особняка... Но какая непреклонная вера!»

Затянулся своей трубкой и подумал не без всегдашней усмешечки: «Оценит ли это благодарное человечество?»

8

Энергичная тетка Жужу предложила привести в порядок заводской двор. Все поворчали, но вышли на час после работы и вывезли вон прежний ржавый хлам.

— А ты, детка,— обратилась она к Агнесе,— приготовила бы рассады, мы бы сделали цветник. Говорят, ты любишь в оранжерее возиться.

И вот Агнеса, прежде чем идти на фабрику, копалась в грядках, прореживала сеянцы, что-то напевая. Рамы были распахнуты, и гулял теплый, ласковый сквознячок.

Когда солнце начало припекать, в дверях появилась тень. Это была разносчица из цветочного магазина, в кокетливой форменной шапочке. Агнеса подумала, что разносчица пришла покупать рассаду, но та подала ей букет. Скажите пожалуйста, в оранжерею, в царство цветов,— и букет!

— От кого же это?

— Не знаю, мы не спрашиваем...— Разносчица поторопилась уйти.

В букет была вставлена изящная карточка для надписи, на которой значилось: «На кладбище аббатства», и больше ничего.

Рассмотрела букет и еле уняла волнение: это был все тот же куртуазный язык. Пунцовая роза — «вы королева моего сердца», желтые крокусы — «никому ни слова», великолепный гладиолус с десятью цветками — «свидание в десять часов» и рядышком мак, что значит — «вечером сегодня».

Бросила рассаду, умылась, помчалась на фабрику. Сердце трепетало, как пойманная птица. Стихи, которые она любила в детстве, сами собой звучали в голове:

Возвратится милый рыцарь,
Утомленный бранной славой,
Перед башней, где принцесса,
Преклонит свое копьё....

Работницы в цехе сразу заметили ее состояние, но отнесли это на счет Антуана, который все бродил неподалеку. После достопамятного похода в дом Мерифитов Агнеса с ним не разговаривала. Но сегодня не могла удержаться, чтобы не улыбнуться и ему.

— Пошатаемся, что ли, сегодня вечерком?— предложил он, загораясь надеждой.

— Серьезно? Это вы от души?— ответила она, наслаждаясь своей властью над ним.

— Души нет,— резко ответил Антуан и ушел в директорскую, насвистывая: «Брабансонские ребята, ать-два, молодцы!»

Агнесу укололо, что он слишком уж просто повернулся и ушел. Ведь была уверена, что станет оправдываться и молить. Но время приближалось к десяти.

На монастырском кладбище ветер возился в кроне столетних вязов, шевелил некошенной травой на могилах. Агнесу терзал невольный страх, было жутко. Она ждала, думая: почему нельзя было назначить свидание в другом месте, хотя бы у веселых фонтанов в Люксембургском саду?

Прокричала ночная птица. Что-то заунывно гудело, словно из глубин земли. Даже стрекот машин патронного завода, который всегда слышался из-за кирпичной стены, умолк. Там начался выходной.

И тут она инстинктивно отступила в сторону. Ей почудилось, что кто-то стоит на коленях, еле различимый. «Он!— екнуло сердце.— Нет-нет, не он... Боже, да это брат Захария, наставник! Почему же это не он?»

— Подойди, сестра,— прошелестел из тьмы голос,— помолимся вместе у могил праведных...

Привычно повинувшись, Агнеса подошла, стала рядом на колени. Брат Захария заговорил патетически, иногда в его голосе звенела слеза:

— Тот, которого ты ждешь, сестра моя, не придет. В бою он попал в руки злодеев, и, может быть, в эту самую минуту они терзают его, готовясь, да сохранит его бог, отнять жизнь. Он отдал себя за Францию, за веру святую. Все мы — и ты, и я — должны подхватить выпавший из его рук светоч...

Он говорил еще о том, как внешне привлекательны и даже на вид справедливы идеи социалистов, а на самом



деле — тлен и прах, козни антихриста. Исподволь расспрашивал: а правда ли, что на территорию завода должны завезти удобрение для цветов? А кому это поручено? Затем снова рассуждал о милосердии, о помощи ближним, приводил в пример святую Урсулу, основательницу монастыря... Теперь он перешел на спокойный, убаюкивающий тон, и Агнесе казалось, что она снова на лекции, внимает с упоением, как бывало. Во имя святого дела она должна оказать одну самую небольшую услугу. Нужно, чтобы удобрение привез именно один, очень добрый, хотя и очень бедный человек...

— Завтра? — встрепенулась Агнеса.

— Нет, почему завтра? Сегодня, сейчас.

— Но сейчас завод пуст...

— Вот и хорошо, он никому там не помешает.

И брат Захария опять говорил — о том, что теперь уж скоро наступит мир, благорастворение, все встанет на свои места, все снова вернутся к христианской любви...

— Готова ли ты, сестра, исполнить то, что повелевает долг?

И Агнеса, будто в каком-то глубоком сне, прошептала:

— Готова...

9

Брат Захария проснулся в каморке Паделу, которую тот занимал при конюшне, и сначала не мог понять, где он. Потом различил тухлявый потолок и едкий запах навоза. Этот запах особенно донимал его. При всех превратностях своей беспокойной службы брат Захария всегда был чист кожей, всегда от него исходил чуть заметный запах старых духов, как от колоды карт, бывшей в употреблении в благородном доме.

Положение было критическим. В один день брат Захария лишился всего: и своей выпестованной сети, и своей явки, и своего гражданина Гарга, и даже виконта (сам, дурак, виноват, теперь воеет где-нибудь, схваченный, в подвале у Риго). И если бы не обостренная внимательность и профессиональная находчивость брата Захарии, сидеть бы и ему там же.

Теперь осталась один вариант — Агнеса. Снова гражданин Гарг или кто-то другой, такой же сентиментальный, пытался размягчить брата Захарию, подсовывал видения

золотоволосой головки и играющих детей... Однако, хочешь не хочешь, без нее на завод не проникнуть. А не проникнув — не взорвать. А не взорвав — не победить колебаний Тьера. Так пусть же она идет — бог хранит невинных.

Растолкал Паделу. Тот вскочил как очумелый. Ему снилось, что в его навозную телегу впряжен не кто иной, как сам брат Захария, и он будто бы, прежде чем ударить кнутом, горько извиняется, просит у духовного вождя прощения...

После чая брат Захария отправился в цветочный магазин и, вернувшись, больше уже никуда не уходил. Весь день прошел в лихорадочном напряжении.

Наконец смерклось. Паделу впряг лошаденку в заранее нагруженную телегу, нахлобучил шляпу-мухомор. Вдруг он что-то вспомнил и вернулся в каморку, сдернул шляпу, стал на колени.

— Тебя благословить? — засмеялся брат Захария. — Тебя благословить? Да ты что? Разве тебе воскреснуть в жизни иной? Вечно будешь, как могильный червь, в нечистотах...

И заметил, что в тусклых глазах Паделу на мгновение мелькнул злобный отблеск. Значит, надо кинуть подачку.

Торжественно встав, осенил «младшего брата» крестом, сам же про себя усмехнулся: благословляет на что? Револьвер и кастет у него отнял, а дал тросточку Фидюса, самое скрытное и надежное оружие.

Если бы ему, читавшему себя провидцем, было дано проникнуть под черепную коробку Паделу, он бы узрел в этом тусклом сознании образ себя самого, брата Захарии, запряженного в телегу с навозом, а его, возчика Паделу, безжалостно хлещущего кнутом по его, братовой, спине и голове. Но теперь сердце отстукивало только один условный сигнал: «Бонбоньерка, бонбоньерка...»

И они условились: брат Захария пойдет на свидание, а Паделу с телегой будет ждать его у въезда на Новый мост. В случае успеха брат Захария подаст сигнал, Паделу двинется, и на набережной его встретит девушка. Сегодня или никогда.

У моста Паделу, скорчившись на облучке, провел часы, показавшиеся ему вечностью. Мимо ходили федераты, но кто обратит внимание на согбенного навозника с его клячей? Близилось к полночи, когда брат Захария появился, подал сигнал. Паделу чмокнул, и лошадь, напрыгнувшись в оглоблях, тронулась.

Брат Захария издали следовал за скрипучей, ужасно медленной телегой. Вот она наконец переползла Новый мост. Вот к ней метнулась белая тень — Агнеса.

Поворот, еще поворот — и низкие, темные ворота завода. Что такое? Почему неожиданно так много охраны? Вместо обычного часового — четверо федератов. Вдоль кирпичной ограды взад и вперед прогуливаются патрули. Не предательство ли?

Брат Захария, задохнувшись, прислонился к фонарному столбу. Пусть Паделу погибнет, господи, слышишь? Пусть! Но Агнеса... Если ее схватят, он сам бросится, не смотря на риск...

У ворот произошла заминка. Агнеса чужим, каким-то деревянным голосом объясняла командиру постовых, что договорилась с начальством привезти удобрение на гряды. Как раз сегодня, когда выходной, чтобы не мешать работе...

— Ничего не знаю! — кричал командир и махал Паделу. — Поворачивай, ты, золотарь!

Из проходной вышел Антуан, прислушался к спору:

— Что тебе приспичило везти именно сегодня?

Агнеса молчала. Потом брат Захария заметил, что она, как лунатичка, протягивает руки к Антуану. «Господи помилуй, господи помилуй!» — твердил брат Захария, не спуская с нее глаз.

Но тут Паделу, с удивительным для него присутствием духа, пробурчал из-под полей мухомора:

— Что ж, господа хорошие, уезжать мне, что ли? Из-за вас целый день работы пропал, эхма!

— Действительно! — воскликнул Антуан. — Что за глупости? Раз привезли, надо хоть свалить. Эй, гражданин! — приказал он командиру федератов. — Пропусти!

Железные ворота, лязгая, отворились, телега вползла. Командир взял вилы, торчащие на телеге, и потыкал ими в перегной.

Брат Захария побрел назад. За углом, под стрельчатыми арками аббатства, безлюдье, полная тишина. Только в здании пансиона светится одно окно — ночная группа малышей. А через стену — завод, и там Агнеса, Паделу... Брат Захария отсчитывал секунды в такт бьющемуся сердцу.

Когда телега въехала на заводской двор, Паделу долго заворачивал, заставлял лошадь пятиться задом, чтобы объехать узкоколейку со стоящими на ней вагонетками:

к завтрашнему дню были приготовлены боеприпасы на вывоз в армию Домбровского.

— Вы не здесь сваливаете, — остановила его Агнеса. — Надо напротив главного корпуса, грядки там.

— Я знаю, где надо свалить! — огрызнулся Паделу.

Крякнув, он опрокинул телегу, лошадь забилась в накренившихся оглоблях.

Под кучей перегноя оказался железный ящик с ручками и какой-то сверток. Захватив сверток, Паделу понес его в подвал. Там он долго возился, чертыхаясь, наконец вернулся и подозвал Агнесу:

— Проклятый ящик, невподъем! Говорил я шефу... Помоги, может быть, вдвоем стащим...

Он беспокоился, поминутно озирался. Агнеса же действовала как манекен, — раз нужно брату Захарии, чтобы именно этот гражданин привез навоз, пусть везет. Раз надо какие-то ящики — пусть будут ящики.

Вдвоем, толкаясь, перенесли они в подвал тяжеленный ящик, ручки резали пальцы. Паделу зажег свечу, сунул Агнесе: «Держи!» Кирпичные своды с зелеными потеками осветились. Паделу напряг мышцы, что-то прикрепляя, отскочил, полюбовался делом рук своих, сказал: «Ну, храни нас, мать божья...» — и стал разматывать на полу какую-то не то бечевку, не то шнур.

Потом взял из рук Агнесы свечку, поджег и стоял, наблюдая, как огонек медленно двигается по шнуру.

— Зачем это? — спросила Агнеса, сама не узнав своего сдавленного голоса.

— Догорит до капсюля и взорвет.

— Взорвет! — ужаснулась Агнеса. Ее сонное состояние мигом исчезло. Воображение молниеносно представило: горят цеха, валится труба, разрушая дома... Погибает Антуан, который ждет ее у проходной. Боже! За стеной — корпус пансиона и там малыши! Ее обманули, ее обманули...

Она дернулась и стала затаптывать ползущий огонек. Паделу мигом понял состояние Агнесы. Не теряя времени на уговоры, больно ухватил ее шею в изгиб локтя, заткнул рот тряпкой, связал руки. Он рвал на ней тонкое кружевное бельецо, пальцы хватали ее за самые нежные и сокровенные места, девушка обреченно стонала, а он жалел только об одном — не успеет он воспользоваться этим чудесным трофеем, бикфордов шнур горит и время отсчитывает последние секунды...

Он нагнулся за тросточкой, а Агнеса вывернулась, побежала, спотыкаясь, наверх, пыталась выплюнуть тряпку. Паделу настиг ее и ударил по голове...

Она пришла в себя уже на открытом воздухе, различила в ночном небе зубцы монастырской стены. Паделу тащил ее куда-то, чертыхаясь и бурча:

— Шеф приказал и девку спасти... Вот здесь, в закоулке, переждем. Шеф указывал, сюда не достанет...

10

Адский грохот потряс Латинский квартал, а также Гренелль, и Вожирар, и правобережье на несколько лье в окружности. Сонные люди вскакивали, метались в одном белье. В окна светил разгорающийся столб пожара. Даже версальская канонада приутихла, как бы прислушиваясь к происходящей трагедии.

Перед распавшимися воротами завода метались оглушенные, контуженные федераты. Первым опомнился Антуан:

— За мной, спасти что можно!..

Мысль об Агнесе ударила его страшней, чем взрыв. Но он обуздал себя: сначала патроны.

Перепрыгнув через лежащую створу ворот, он вбежал в заводской двор. Огонь с такой скоростью штурмовал стены цехов, что почти все строения уже тонули в бушующем пламени.

— Ничего не спасти! — сказал он, стискивая руки.

Вдруг что-то огромное, с выпученными глазами толкнуло его и пронеслось мимо. Это была обезумевшая лошадь навозника с оборванными постромками.

«Агнеса погибла!» — подумал Антуан, и это удвоило его отчаяние.

Посреди двора стояли вагонетки, груженные для отправки на фронт. Взрыв, а потом пожар еще не тронули их.

— Братцы! — крикнул он. — Попробуем толкнем вагонетки!

Отцепили, толкнули первую. Но рельсы были завалены обломками, повреждены. Сбивая в кровь руки, Антуан пробовал расшатать болты ударами камня. Федераты, которые помогали ему, боязливо оглядывались на реву-

щее поблизости пламя и взрывы в цехах. Крыша упаковочной рухнула, подняв к розовым облакам сноп крутящихся искр.

Забился, зазвенел колокол, к воротам подлетели взмыленные кони, соскочили люди в блестящих касках.

— Молодцы, пожарные, браво! — кричал в иступлении Антуан.

Быстро сообразив, в чем дело, пожарные разбросали с узкоколейки обломки, перевинтили рельсы. Распрягли лошадей и с их помощью одну за другой стали вытягивать вагонетки. Последнюю выкатил, напрягшись до изнеможения, один Антуан.

У ворот Антуан оглянулся на kloкочущее царство стихии на месте, где были цеха. «Не найти теперь Агнесы, даже тела не найти...» — в смертной тоске думал он. Товарищи отвели его в толпу, безмолвно стоящую в отдалении. Оттуда он глядел на гибель завода, сам весь оборванный, обожженный.

Кто-то из-за угла крикнул:

— Горит пансион в аббатстве! Там дети!..

Толпа разом шарахнулась, увлекая Антуана за собой. Во дворе монастыря, топча клумбы с цветами, множество женщин ломало руки и выло. К зданию пансиона уже никто не решался подходить, он пылал, хотя еще держался черным силуэтом на фоне огня.

— Дура нянька! — причитали женщины. — Очумела от взрыва... Теперь уж и лестница в огне!..

Антуан почувствовал, что он перестал быть собой, что и его подхватил и взметнул чудовищный взрыв. Захватив в кулаки рукава блузы и отворачивая от жара лицо, он подбежал к пансиону и стал перепрыгивать по просвечивающим огнем ступеням лестницы. Наверху к нему кинулась нянька.

— Не цепляйся за меня!.. — крикнул он ей. — Сколько у тебя здесь детей? Говори быстрее, слышишь?

Люди внизу, затаив дыхание, следили за этим страшным диалогом.

Наконец Антуан появился в проеме окна, держа двоих малышей. Женщины тянули к нему руки, а он, задыхаясь, требовал:

— Ловите! Постарайтесь поймать!..

Подоспевшие пожарные оттеснили бестолковых помощниц и натянули на руках презент. Антуан как можно

осторожнее кинул одного малыша, затем другого. Дети даже не плакали.

Антуан исчез и вскоре вернулся, на этот раз ухитрившись принести троих. Блуза и рубашка его совсем истлели, остались черные клоки.

Наконец, бросив последнего малыша, он растопырил руки, как бы показывая — все...

— Прыгай, прыгай сам!.. — ревела толпа.

Но он, словно о чем-то вспомнив, вернулся в огонь. «За нянькой побежал», — догадались люди. Пожарные поливали дом слабыми струйками воды. Приставлять лестницу уже было нельзя: пансион из черной тени превратился в огненную решетку. «Антуан, Антуан!..» — стонал народ.

Вот он показался в соседнем окне; наклонившись, будто близоруко всматривался в крутящийся дым. Потом неожиданно вырос в полукруглом окне лестницы, разводя руками.

— Прыгай! — страшным голосом крикнул брандмейстер. — Прыгай, сынок!..

Антуан прыгнул, но в этот момент рухнуло перекрытие, увлекая его за собой. Через несколько минут пожарные вытащили его, положили поодаль, на побелевшей от жара травке, и люди скорбно стояли над ним, обнажив головы.

Когда пожар начал затихать, из пролома в монастырской стене вышло, пошатываясь, странное существо. Опаленные, скрутившиеся пряди волос безобразно свисали, набухшие веки мигали бессмысленно, развевались клочья побуревшего от жара платья и некогда тонкого кружевного белья.

— Ой, кто это, кто это? — кричали женщины, указывая на нее.

Она подошла к Антуану, наклонилась, разглядывая его обуглившиеся черты, и вдруг, словно испугавшись, выбежала из ворот.

Глава двенадцатая

БОГ ХРАНИТ НЕВИННЫХ

1

В воскресенье, чуть свет, Неретина вывели в канцелярию тюрьмы и объявили, что он свободен. Пока Неретин расписывался, пока писарь искал его российский паспорт с оттиснутыми орлами, федерат из охраны оторвал листок календаря. На новом листке было число — 21 мая 1871 года. Федерат помусолил карандаш и надписал: «1 прериаля». Кончился флореаль, месяц цветов, в права вступал следующий революционный месяц.

Было непривычно идти по улицам, в толпе прохожих, которым до тебя нет никакого дела, и, оглядываясь, не видеть за собой конвоя. «Какой большой мир! — непроизвольно поражался Неретин. — Сколько неба! Сколько листьев!»

Над невысокими оградами предместья разлилась утренняя дрема. Вился плющ и дикий виноград. Сквознячок выдувал из окон кисейные занавеси. Донесся наигрыш мандолины, и слабый голос, женский или мальчишечий, пропел:

Ах, коротки дни созреванья вишен,
Когда влюбленные идут вдвоем
Срывать вишневые сережки...

Повернув на бульвар Сен-Мишель, Неретин попал в людской поток. Шли целыми семьями, несли еду, коврики, чтобы постелить где-нибудь на траве.

Вот и отель «Обюссон». Консьержка, мадам Тиссо, — вся взъерошенная, в папильотках. Увидев Неретина, даже не спросила, где он пропал так долго. Набросилась, зашептала:

— Негодяи, бездельники, Вандомскую колонну разрушили, памятник наших великих побед! Какой ужас, какой ужас!

«Да что она вам-то, эта колонна? — хотел спросить Неретин, а она, понизив голос, указывала наверх:

— Это все Варлен, у, проклятый переплетчик!..

Взял ключ, поднялся к себе. Распахнул окно, ветер вошел в номер. Скорей, скорей за уборку. Никого не принимая, никого не ожидая, скорей все обновить, очистить.

Пока возился с уборкой, день прошел. Город, уходящий в акварельные дали, стал принимать вечерние, оранжевые тона. Где-то в безбрежной выси пел жаворонок, а ведь раньше его не было слышно из-за раскатов пушечного грома.

Кстати, почему с утра вдруг прекратилась канонада? Уж очень тихо и как-то тревожно. Даже воздух за окном будто похолодел, стал чувствительным на ощупь, как лакированная бумага.

Когда же солнце приготовилось упасть за горизонт, внизу, в глубокой тени у подъезда, послышались возбужденные голоса.

— Ну, что там в Ратуше, что в Ратуше?

— Сегодня первый день, как «меньшинство» вернулось и заседает вместе с «большинством».

— Ну и что же? Ты прости, гражданин Журд, по городу пронесся слух, не знаешь, как и верить...

Неретин выглянул в окно. Там действительно был чернороботый Журд, его окружали какие-то блузники и федераты.

— Гражданин Журд, правда ли, что версальцы сегодня утром прорвали фронт?

— Я все газеты утренние пролистал, там ни словечка...

— Гражданин Журд, да как же это?

— Не перебивайте его, пусть расскажет все по порядку!

— Ну, пожалуйста, расскажу. Заседание сегодня было обычное. Решали вопрос об организации государственных театров, продолжали суд над генералом Ключере...

— Боже! — вздохнула какая-то женщина. — Неужели никого не нашлось, кто бы сказал: мужики, время ли сейчас об этом?

— Нашелся, — ответил Журд. — Это был Варлен. Он вскочил, да как ударит кулаком — хватит болтовни! И тут как раз депеша от Домбровского: «Версальцы ночью вошли через ворота Сен-Клу. Если будет подкрепление, отвечаю за все».

— Ох! — закричала женщина.

— Ну и что же? — торопили другие. — Не молчи, Журд, говори!

— Депешу отослали Делеклюзу, вы знаете, этот старый санкюлот, он теперь командует всеми военными делами, генералы себя не оправдали...

— Знаем, знаем! — кричали нетерпеливые слушатели.

— Делеклюз ответил так: наблюдательные, мол, посты не подтвердили появление неприятеля в городе.

— Слава богу! — облегченно вздохнула женщина.

— А правда, какой-то изменник ночью указал врагу ворота, брошенные федератами на произвол судьбы?

— Лоботрясы, преступники, — негодовал народ. — Как же смели бросить ворота?

— А что же Комитет общественного спасения?

Этот вопрос остался без ответа.

Неретин даже стал тереть глаза. Что же это такое? Уж очень неправдоподобен услышанный им разговор. Действительно, тишайший закат, в Тюильри музыка, можно представить себе, как кружатся в вальсе нарядные дамы, нигде ни единого выстрела, и вдруг — неприятель, ворвавшийся через тройную линию укреплений! Не хотелось бы даже и думать о чем-либо подобном.

Выпив кофе, лег на чистую перестеленную постель, блаженно вытянул ноги.

И приснился Неретину сон.

Опять все тот же его Мценск. Пока он за границей, ему только Мценск и снится. На сей раз ему привиделся вочеловеченный, олицетворенный рассказ сестрицы Ольги Африкановны, которая, с одной стороны, была памятной хранительницей всевозможных местных и фамильных преданий, с другой — обожала рассказывать назидательные байки, новеллы в духе черноземной Руси.

Рассказывала сестрица, как у них по соседству, где-то в Амбарной слободке, где селятся не очень знатные, но очень зажиточные люди, у отца с матерью осталась круглая сирота, девочка. Как водится, опекунов ей выделили почтенных, надежных, опекуны довели дело и до замужества — честным браком да за свадебку. Но женихи к сиротке не шли, хотя Мценск в своих краях славился как биржа невест, а приданого за ней давали чуть ли не миллион.

Дело в том, что бедная та невеста была излишне толстовата. Да не то что излишне, а все двери в отчем доме пришлось расшивать на две створки, когда в возраст она стала приходиться. Бедная, бедная — уж и врачей к ней возили из Орла да из Варшавы, и самую куда-то катали на марциальные воды. Уж кого природа отметит — того она отметит.

Наконец нашелся кавказский князек — Кутыев. На

Кавказе у кого пять овец, тот уже князь, а этот вдобавок в Парижах и Петербургах изрядно попромotalся — диплом все-таки княжеский был, хоть и в возрасте, а жених.

Что же касается комплекции невесты, князь заявил, что это ему нипочто. Даже более того, такую комплекцию в женщинах он любит и, по словам Ольги Африкановны, понес такую тубыль, что у бедной свахи после этого было несварение мозгов.

Короче говоря, назначили первые смотрины — сговор. День был летний, жаркий, стол накрыли на веранде, во Мценске какой же дом приличный без веранды с лестницею в сад! А бедной невесте уж очень хотелось послушать, что будет говорить будущий супруг, суженый, нареченный — о ней, о ней! А не было такого обычая, чтобы невеста из приличной семьи и с первого же раза за стол рядом с женихом трахалась.

Так она, бедняжка, вместе с горничной на верхний балкончик вышла, который был над верандою пристроен, чтобы хоть словечко услышать, хоть намек!

И ветхие мценские доски не выдержали ее комплекции, с треском проломилась, полетела щепка, мусор, а изумленный князь Кутыев узрел над своею головой две голые беспомощные ножки. Платье-турнюр, корсет на китовом усе не позволили ей провалиться выше пояса, а дурацкий провинциальный обычай девушкам не надевать в жаркий день ни трусиков, ни панталонец усиливал пикантность обозрения.

Князь будто бы обезумел окончательно и только кричал: согласен, согласен, хоть завтра. С такими ножками можно и без приданого.

Затем княгиня молодая, известная всему городу как Марь Егоровна, важно ездила на одноместных дрожках, сама правила лошадьё, а князек бежал следом по тротуару. Шли годы, князь Кутыев с присущим ему мастерством свел состояние жены к нулю, дом в Амбарной слободке с романтической верандой был продан. Потом и князь исчез, словно демон в какой-нибудь терской долине. Княгиня Марь Егоровна, страдая одышкой, ходила по урокам. На счастье, почтенные опекуны сумели хорошо обучить ее иностранным языкам. Поближе к двенадцати, бывало, в распахнутые окна слышен ее надсадный кашель и тяжелая поступь — вон, мол, Марь Егоровна на урок пошла, значит, дело к полудню.

И снится Неретину сон. Будто толпы революционного народа и пение гимнов вокруг. Но это будто не площадь Ратуши и не Тюильри, это Гостиный ряд во Мценске и спуск к реке, в просторечии называемый Обжоркой. Обжорка покрыта колыханием красных флагов и полотнищ, которые не по-французски, а по-русски провозглашают мир хижинам, войну дворцам. А на трибуну будто бы после множества сменившихся ораторов вылезает старая, неряшливо одетая, очень толстая женщина, о которой уже никто не помнит, что она княгиня.

А она достает княжеский диплом с выцветшими орлами и порывает его и кидает в костер. И он улетучивается синим дымком.

— А дворцы твои, а дворцы? — кричит ей Обжорка. — А имения княжеские? Отдаешь ли ты их народу?

А нет уж их, ни дворцов, ни имений, все проедено и пропито еще предыдущими поколениями. Ютится бедная Марь Егоровна, учительница, в наемной каморочке, а сейчас дрожит от ненастья и холода, знаменитая комплекция ни от чего не спасает ее.

Неретин проснулся, улыбнулся диковинному сновидению, разжег трубочку, выкурил, прислушиваясь к возобновившейся далекой стрельбе. Затем выколотил пепел и погрузился в еще более крепкий сон.

2

Открыл глаза, будто от какого-то внутреннего толчка. Чуть брезжил рассвет. За окном в облачном хмуре утра бился, захлебывался набат. Со всех концов Парижа звучали языки колоколен. Тысячи торопливо бегущих ног шуршали в пелене тумана. Глухо отдавались крики:

— Версальцы уже у Трокадеро! Прорваны все линии! Делеклюз созывает батальоны!

Неретин вышел на улицу. Туман рассеивался, уступая поднимаемому солнцу. В разных направлениях торопились люди, большинство с оружием. Читали только что расклеенные афиши:

ДОВОЛЬНОМИЛИТАРИЗМА, ДОЛОЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАБЫ В РАСШИТЫХ ЗОЛОТОМ МУНДИРАХ!

МЕСТО НАРОДУ, БОЙЦАМ С ОБНАЖЕННЫМИ

РУКАМИ! ЧАС РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВОЙНЫ ПРОБИЛ!

МОЖНО ПРЕДАТЬ ПАРИЖ, НО НЕЛЬЗЯ ЕГО ПОБЕДИТЬ! НА БАРРИКАДЫ! КОММУНА РАССЧИТЫВАЕТ НА ВАС, РАССЧИТЫВАЙТЕ И ВЫ НА КОММУНУ!

Подпись: «Шарль Делеклюз, гражданский делегат по военным делам».

— Это что же? — размышлял Неретин. — Значит, Коммуна распускает свою армию и переходит к партизанской войне? Таков, что ли, скрытый смысл приказа?

— Гражданин, ваш булыжник! — вдруг услышал он у себя над ухом. С поваленного omnibus боевая девица в очках кричала ему: — Ваш булыжник, гражданин!

И поскольку Неретин медлил, она угадала в нем иностранца и показала жестом — из мостовой нужно взять и положить на баррикаду.

Подняв валяющийся ломик, Неретин принялся разворачивать торцовую мостовую. Баррикады строились повсюду, чувствовалась нервозность, спешка и вместе с тем всеобщее нетерпеливое возбуждение, как будто каждому хотелось скорей добраться до врага.

Неретин работал до полудня так усердно, что боевая девица его похвалила. Воспользовавшись этим, он спросил: нельзя ли взять ружье и встать в строй? Но начальник баррикады отказал: «Есть указание незнакомых не принимать».

Он оставил лом и пошел дальше. Близость фронта ощущалась за линиями параллельных улиц. Иногда, визжа, залетала картечь, ружейная трескотня то затихала, то разгоралась. Прохожие ускоряли шаги, матери загоняли детей по домам.

Внезапно стрельбу перекрыл нарастающий гром барабанов. Из-за угла поворачивала, выравниваясь, колонна «детей папаши Дюшена», с красным флагом впереди. В строю Неретин узнал Фаншетту; она шла насупившись, будто на ответственный экзамен. Рядом шагал Бурош, который когда-то вместе с Неретиным ехал от Дюваля и по дороге сбежал.

Молодцеватый капитан Самсон скомандовал:

— За-пе-вай!

— Фаншетта Мишо! — закричали бойцы. — Спой «Мамашу Дюшен»!

И Фаншетта все с тем же сосредоточенным видом стала выкрикивать нараспев:

Послушайте, ребята,
Племянники, внучата,
Старик мой врал вам каждый день,
На все мозги навел он тень,
И всяк читал, кому не лень,
Болтливую газетку «Папаша...

Капитан Самсон поднял сверкающую саблю, отмерил ею такт, и батальон грянул:

...Дюшен!

— Какие сорванцы! — восхищались прохожие. — А как идут! Танцуют!

— А девка-то, девка!..

Люди выбегали из лавок, контор, чтобы помахать лихим защитникам Коммуны. А песня гремела:

Он вам болтал, ребята,
Племянники, внучата,
Что Тьер, спесивый живоглот,
Скорее лопнет, чем пройдет
Сквозь укрепления ворот,
Ах, что за враль безбожный...

И батальон подхватывал:

Папаша (ать-два, ать-два!) Дюшен!

— А почему вон на тех не форма детей Дюшена, а какие-то кургузые полуфрачки?

— Это лицеисты святого Бенедикта. Сегодня, узнав о вторжении врага, они присоединились к батальону.

— Браво, лицеисты!

— Господи! — прослезилась старуха. — Неужели в Париже не хватает защитников? Ведь это же совсем дети?

— Не хнычь, мамаша, — прервал ее инвалид в мундире времен Ватерлоо, — это как раз настоящие дети Парижа!

Ну что ж, мои цыплята,
Орлята, соколята,
В одном вам не солгал старик,
Что Тьера все-таки Париж
Турнет, наставив фонари,
Победу предсказал нам
Папаша (ать-два, ать-два!) Дюшен!

И тут Неретин услышал разговор о том, что центр

обороны находится на площади Круа Руж — Красный перекресток — и командует там Варлен.

Он устремился туда. Красный перекресток — это сквер, где сошлись пять узеньких, старинных улиц. Там дома с остроконечными крышами, с балкончиками, башенками, флюгерами. Громадные баррикады, достигающие четвертых, пятых этажей, настоящие броненосцы, возвышались теперь там. Наверх втаскивались пушки и митральезы. Неретин знал, что автор проекта этих баррикад — сам Варлен.

Надо признать, что проект был удачен. Баррикады держали под обстрелом все основные артерии района. Красный перекресток, подобно плотине, должен был остановить катящийся вал.

Неретин заикнулся о Варлене, на него посмотрели с большой подозрительностью. «Опять шпион? Это уже третий сегодня!» — крикнул кто-то сверху баррикады и стал спускаться, расстегивая кобуру. Неретин поспешил удалиться.

3

— Простимся, гражданин Ферре.

— Простимся, гражданин Риго.

Они взяли друг друга за локти — единственная форма ласки, которая возможна у этих людей. Риго извлек из кармана номер газеты:

— Наш славный печник напоследок выдал нам пилюлю. Вот, пожалуйста: «Великий гнев папаши Дюшена на прокурора Риго и делегата общественной безопасности Ферре! Эти козопасы только и думали о горшке со жратвой, вместо того чтобы пришпарить Тьеру одно место горчицей. Диверсанты и шпионы всюду! Нам стреляют в спину!»

Риго поправил пенсне и с усмешкой взглянул на Ферре.

— Чтож, — ответил тот, — действительно, народу трудно понять, как это так. Коммуна, столь могучая сначала, стала слабее тени, а Версаль, еле шатавшийся на ножках-поганках, теперь словно чудовищный монстр?

— Где-то что-то упущено... — мрачно сказал Риго.

— Помнишь, Бланки некогда учил: что нам необходимо для полной победы? Оружие, горсть храбрецов, революционная власть! Теперь, кажется, все было: храбрецов

хоть отбавляй, и оружие, и власть. В чем же мы ошиблись?

— Не знаю, дружище Ферре. Мы двигали историю в одну сторону, а она каким-то образом пошла в другую. Видимо, надо было как следует изучить ее законы... Ну, что теперь ныть! Теперь остается поставить последнюю точку, и так, чтобы не было стыдно перед внуками внуков!

— Что ж ты намерен делать, друг Риго?

Прокурор вместо ответа хлопнул по газете, где было также напечатано: «Хватит мямлить! Заложников к стенке! Пусть хоть сегодня эхо расстрелов подбодрит слух старого печника!»

— Так не угодно ли напоследок табачку, Теофиль?

— Угодно, Рауль.

Насытившись понюшками, они разошлись. Орас последовал за прокурором.

Войдя в канцелярию тюрьмы Сент-Пелажи, Риго потребовал, чтобы вывели Шоде, бывшего помощника мэра Парижа. Полковник Франсуа, побледнев, умолял Риго не делать глупостей.

— Вот еще один ребенок, — усмехнулся Риго и велел Орасу выставить начальника тюрьмы из канцелярии.

— Шоде! — обратился к заключенному Риго. — У Коммуны есть отличнейший декрет о расстреле заложников в ответ на зверства версальцев. К сожалению, осуществление этого декрета начинается только сегодня, именно с вас.

Шоде в отчаянии завертел глазами, борода его встала дыбом.

— Постойте! — не позволил ему оправдываться Риго. — Желаете знать, почему с вас? Вы бывший прудонист и член Интернационала, а ренегат — это самый злейший враг! Кроме того, разве не вы виновник расстрела женщин и детей у Ратуши, в январе?

Взвод федератов выстроился в тюремном дворе. Залп — и Шоде отправился на тот свет жаловаться своему другу Прудону, как несправедливо обошлись с ним коммунисты.

— Теперь архиепископа, — потребовал Риго.

На следующее утро прокурор Коммуны явился на Красный перекресток.

— Прибыл в твое распоряжение, — сказал он Варлену.

Тот некоторое время размышлял, критически оглядывая его тщательный сюртук и аккуратно выглаженный

красный шарф. Затем поручил ему аванпосты, которые были выдвинуты впереди баррикад, чтобы прощупывать движение неприятеля.

— Вот это занятие по мне!

Довольный Риго в сопровождении Ораса отправился на позиции.

С вершины баррикады его приветствовали «дети папаши Дюшена». Фаншетта насмешливо пропела:

У меня табак есть в моей табакерке,
У меня табак,
Да не про твой нос!

Риго не рассердился, показал ей язык и пошел дальше, к северному флангу.

Он решил, что одну из крайних улиц надо было тоже перекрыть баррикадой. По его приказу федераты разворотили мостовую, потащили мешки с песком. Жители окрестных домов выбрасывали из окон буфеты, матрацы, стулья: «Нате, ребята, ничего не жалко, только версальцев сюда не пускайте!»

Среди федератов Риго заметил художника Мареля, с неизменной трубкой в зубах и меланхоличной бородкой.

— Милочка моя! — обрадовался Риго. — И ты наконец покинул свой фонарь?

Марель вынул трубку изо рта, вздохнул:

— Что мне там делать в одиночестве? Да и разве я не коммунары?

Он вновь принялся за лопату, а Риго пошел дальше.

— Туда стоит ли... — тревожился Орас. — Это уже ничейная зона. Видишь, ставни везде закрыты? Может быть, вернемся?

Риго ответил, не оборачиваясь:

— Ты думаешь, милочка моя, теперь есть какой-нибудь смысл себя беречь?

Выйдя на какую-то улочку, сдавленную пузатыми домами, он указал:

— Видишь дом со стеклянным фонарем наверху? Здесь мы и жили, дружно и просто...

Он велел Орасу осмотреть улицу за углом, а сам захотел подняться и из фонаря поглядеть, где же все-таки неприятель?

Орас завернул за угол, постоял, распластавшись у стены. Улица была безлюдна. Он поспешил назад и поднялся в фонарь, где Риго смотрел в бинокль.

— Ну что? — спросил Риго. — Неприятеля не видать?

Орас опять стал упрашивать вернуться. Риго засмеялся и протянул ему бинокль.

— А я вот вижу. Взгляни, они скапливаются у моста. Вернемся, скажем, чтобы ударили туда из пушек.

Но как раз в то время, когда Орас, постояв за углом, вернулся, в конце улицы показался версальский отряд. Завидев входящего в дом федерата, версальцы пустились за ним. Вошли и в нижнем этаже обнаружили перепуганного хозяина дома. Лейтенант приставил ему к горлу штык:

— Кто к тебе вошел? Он вооружен? Если не согласишься его сдать — убьем тебя и твою семью.

Хозяин, с лицом, синим от ужаса, взбежал на мансарду.

— Ваше превосходительство! — бухнулся он на колени перед Риго. — Не губите невинных, сдайтесь им, будь они неладны!

Риго задумчиво на него посмотрел, потом брови его поднялись, он щелкнул языком.

— Сдаться, говоришь?

Быть может, в эту минуту ему припомнился его друг, покойный Дюваль, потому что лицо его осветилось и померкло.

— Ладно, — сказал он. — Я не подлец и не свинья. Ступай вниз, скажи им — сейчас выйду. — Он пожал руку бледному как полотно Орасу: — А ты оставайся здесь. Достаточно с них одного.

И стал спокойно спускаться вниз.

Орас слышал, как под лестницей раздался крик торжества, когда вошел Риго. Сапоги внизу топали в безумном темпе, наверное, с Риго срывали красный шарф, портупею, саблю. Сыпались удары пощечин. Затем голоса переместились на улицу.

— Ты кто такой? — бешено кричал лейтенант.

В домах поскрипывали ставни, любопытные прислушивались.

— Я прокурор Коммуны Риго, — послышался гордый ответ.

Солдаты рычали от злобы.

— А ну, если так, — приказал лейтенант, — тогда кричи: «Долой Коммуну!»

— Не угодно ли понюхать?

Должно быть, Риго поднес ему табакерку. Хлопнул револьверный выстрел, и все стихло. Через десять минут

Орас осмелился выглянуть из фонаря и увидел внизу, поперек тротуара, еще подрагивающее тело своего начальника. Двое версальцев стаскивали с него сапоги.

4

Неретин вернулся в отель «Обюссон» и спокойно провел ночь. Где-то на окраинах полыхали бои, но обстановка стала менее тревожной. Народ от мала до велика вышел на баррикады. Сломит ли Версаль такую силу?

Ему вспомнились вчерашние разговоры о том, что на Монмартре стоят целых два батальона, составленные из женщин. «Мария там,— подумал он.— Если только она в Париже...»

Путь на Монмартр оказался не прост. Со вчерашнего дня версальцы подвезли много артиллерии, бомбы так и вспахивали мостовую. Оттуда бежали люди с носилками — женщину убило с грудным ребенком, старухе вывернуло ногу. Осколки, как дождь, шелестели в листве.

Лишь к обеду Неретин добрался к подножию Монмартра и от прятавшихся в подъезде узнал страшную весть. По преступной небрежности Монмартр ночью был оставлен даже без выстрела. Один Домбровский с горстью федератов защищал сходы с холма. Но он смертельно ранен; должно быть, уже умер. Оборона лежит теперь на линии Больших бульваров. Там, на площадях Бланш и Пигалль, укрепились женские батальоны.

— Сущие ведьмы! — мотал головой очевидец. — Версальцев побили тьму!

Услышав это, Неретин покинул подъезд и, не обращая внимания на свист пуль, пошел к виднеющимся издали баррикадам площади Бланш.

— Прячься! — прокричала ему женщина из-под арки ворот, где был, по-видимому, устроен штаб. — Пуля и храбрых не щадит!

Это оказалась Натали Лемель, вся уже в бинтах и кровоподтеках, но веселая, как именинница. Она тут командовала, у нее был даже свой адъютант — весьма подвижная старушка в аксельбантах и с кобурой на поясе.

Неретин стал объяснять, что ищет Марию Войницкую, свою соотечественницу, хочет проститься, мало ли что... И сам понимал, как неуместны его слова, какой нелепой в их глазах выглядит эта прогулка. Федератки, окружавшие его, смотрели с явной ненавистью. Даже благодуш-

ное, курносое лицо Натали Лемель сделалось отчужденным и злым.

— Постой-постой! — сказала она, припоминая. — Ведь ты, кажется, был арестован? Как это тебе удалось увильнуть?

Неретин оторопел, поняв, что сейчас будет схвачен и... Но его выручила старушка-адъютант, которая, спросив, какого числа он был освобожден, достала из полевой сумки «Журналь Офисьель» и, надев очки, отыскала:

— Да-да, вот Неретин, тут есть приказ об освобождении.

В этот момент Натали позвали с наблюдательного пункта.

— Иду! — отозвалась она, вставая. — Вот что, гражданин, предупреждаю: если не покинешь немедленно расположение батальона, пеняй на себя.

Неретин побрел назад, как побитая собака. Какой-то санитар попросил его подсобить — у него только что убило напарника. На носилках лежала тяжелораненая — хорошенькая, кудрявая федератка. Всю дорогу до вокзала Сен-Лазар приходилось то пригибаться, то бежать под разрывами шрапнели. Раненая молчала, прикусив побелевшие губы. Наконец последняя перебежка под защиту вокзала. Санитар сказал «уф!» и разогнулся, опустив носилки. Неретин поглядел на раненую — она была мертва! Ему стало больно, будто он потерял кого-то из близких себе людей.

Опять он направился к Красному перекрестку: теплилась надежда все-таки встретить Варлена. Там было еще сравнительно тихо. Впрочем, захватив Монмартр, самую высокую точку города, версальцы установили там батареи и начали обстреливать левый берег. Гранаты рвались уже в переулках Латинского квартала.

На высоте баррикады, направленной, чтобы простреливать улицу Гренелль, красовалось орудие «Анжольра». Коренастый морячок-канонир похаживал, пошлепывая по его металлическому, отменно начищенному боку.

Накануне он затребовал у Варлена толкового помощника. Пришла барышня и с иностранным акцентом сказала:

— Здравствуй, я к тебе. Меня направил Варлен.

Канонир выругался в сердцах. Прислал бы в крайнем случае мальчика, а то девица! Велел ей наносить снизу из колонки воды для охлаждения ствола. Она безропотно

подоткнула юбку, как это делают простолюдинки, и, бледнея от тяжести, таскала ведра, пока канонир не сказал: «Хватит». Потом он поручил ей обтереть паклей казенную часть орудия, и ее тонкие, быстрые руки отлично справились с этим, хотя она и испачкала все свое аккуратное платье.

— Ну, гражданка Мари, теперь закурим, что ли? — предложил ей моряк.

Она отказалась, улыбнувшись, но союз был заключен.

— Пока затишье, надо замаскировать орудие, — сказал канонир. — Рядом кладбище Монпарнас, сходи на ломай ветвей.

Варлен разрешил ей взять с собой нескольких «детей папаши Дюшена», пусть заодно проветрят головы. Шумливые лицеисты были крайне возбуждены предстоящим сражением.

— А как родители? — спрашивала Мария своих бывших учеников. — Отпустили они вас в батальон?

— У меня их нет, — ответил Бурош. — А другие не спрашивались. Только Винуа и этот крысенок Нурисье остались при своих папочках-мамочках. Черт с ними, пусть зады прячут!

— Бурош! — укоризненно сказала Мария.

Но ребята шли. озорничая, и трудно было подумать, что это уже не дети, а бойцы, которые будут убивать и которые сами могут быть убиты в любой момент.

Возвращаясь и неся зонтики густых зеленых веток, они встретили бледного, какого-то скучного человека, который рассматривал их, прислонившись к столбу. «Неретин!» — сжалось сердце у Фаншетты, которая шла впереди всех. Но она тут же вспомнила, что позади идет Мария, и мгновенный холодок заставил ее пройти мимо, отворотясь.

А Мария сама остановилась против Неретина, велев «детям папаши Дюшена» следовать дальше.

— Уже на свободе? — спросила она. — Что так быстро?

Неретин впервые увидел, что и Мария может улыбаться, показывая ровные зубки.

— Зачем эти колкости? — горестно спросил он.

— А затем, что опять небось станете ныть и предлагать спасаться во Мценск?

Он безнадежно повел плечами:

— Да нет, хотел только проститься. Разве и это нельзя?

К его удивлению, Мария первой подала ему руку:

— Это пока мы стоим по одну сторону баррикады. Ну, куда вы теперь?

У Неретина кровь отхлынула и в висках застучало.

— Мария Васильевна! Молю, как о последней милости... Нет, не прерывайте, я совсем о другом! Возьмите меня с собой на баррикаду, позвольте хоть умереть возле вас!

Он стал рассказывать о своих хождениях по баррикадам. Мария ладонью счищала пороховые пятна на платье, а когда он умолк, вскинула холодные, чужие глаза:

— Умереть на баррикаде — это очень большая честь. Вот так-то, милостивый государь!

Она оглянулась. Последние «дети папаши Дюшена» уже поворачивали за угол.

— Ну, бог с вами. Мне пора.

Поправила прическу и пошла. «Неужели не обернется? — думал Неретин. — Неужели не помахает рукой?» Нет, не обернулась. Ушла.

На наблюдательном пункте главной баррикады Фаншетта и Бурош осаждали Варлена:

— Видишь, у поворота улицы, дом с выступом? Гляди в свой бинокль — кто-то изнутри толкает дверь, запертую на висячий замок. Честное слово, это наши! Вчера вечером эти гуси, надеясь на спокойную погоду, отправились туда ночевать, а их заперли впопыхах. Разреши добежать, сбить замок!

Варлен разрешил только Бурошу, хотя Фаншетта изнывала от обиды. Бурош, не обращая внимания на всплески пуль, проворно добрался до поворота и ударом приклада сбил замок. Из двери действительно выбежали заспанные федераты, которых опрометчиво запер хозяин дома.

Однако версальцы с другого конца улицы тоже следили за дверью. Лейтенант Сикр с солдатами прокрался через двор и, разломав забор, появился как раз в тот момент, когда Бурош распахнул двери. Версальцы набросились на обескураженных федератов и вмиг разоружили. Бурош катался по земле под тяжестью насевших на него четырех солдат.

— Товарищи! — исступленно кричала Фаншетта с гребня баррикады. — Что же вы смотрите? На помощь им,

на помощь! Эй, цистернобанцы, мокрые курицы! Буроша убивают!..

Версальцы отвели пленных за выступ, куда не доставали пули федератов, и приготовились расстрелять. Лейтенант Сикр приказал:

— Пусть этот кретин, Селестен Мишо, начинает.

И, поскольку руки у Селестена тряслись, а дуло винтовки никак не поднималось, Сикр выругался:

— Капрал Жан-Жак, наподдай ему как следует! Небось только и думает, как улизнуть к своей парижской сестрице!

Показывая пример, капрал разрядил пистолет в связанного Буроша. Солдаты застрелили остальных и стали шарить по их карманам.

— Берегись! — вдруг закричал Сикр.

Но было уже поздно. Во главе с Варленом налетели в штыки федераты. Сикр пустился наутек, за ним остальные. Художник Марель, в отчаянии за Буроша, из тихого человека превратился в настоящего тигра, бешено мигавшего глазками без ресниц. Под его штык подвернулся замешкавшийся Селестен Мишо, и Марель вогнал острие в его толстую спину. Бежавшая за ним Фаншетта узнала капрала Жан-Жака и прицелилась в него, но тот успел скрыться, и она промахнулась. В досаде она пнула какого-то валяющегося версальца, не разглядев, что это и есть ее овернский братец.

В азарте федераты гнали и кололи версальцев до конца улицы. Варлену с большим трудом удалось умерить их пыл и заставить вернуться на баррикаду.

Вал нашествия подкатился к укреплениям Красного перекрестка. Версальская артиллерия выплюнула первые заряды в лоб баррикадам Варлена. Зуавы армии Винуа, поднявшись в рост, пошли в атаку. Не встречая до сих пор сильного сопротивления, они надеялись и тут пройти на ура. Но перекрестный огонь баррикад заставил их лечь и отползти. Винуа вызвал в подкрепление корпус генерала Кленшана.

Это были солдаты, вернувшиеся из прусского плена. В Версале им объявили, что только смутьяны из Коммуны оттягивают момент их демобилизации, встречи с семьей. Поэтому солдаты Кленшана лезли как осатанелые на приступ.

Огонь усилился, стал невыносим. Голова одеревенела от пальбы и взрывов. Мария еле успевала подтаскивать

снаряды, чувствуя, что выбивается из сил, вот-вот упадет и будет ее мучить стыд перед неторопливым, деловитым канониром, который в этом чудовищном содоме был словно повар на кухне.

— Еще, еще снарядов! — покрикивал он. — Подсоби-ка пушку повернуть. Видишь, дьяволы, хотят обойти нас слева, сейчас мы их взгреем!

Каждые пять минут «Анжольра» выплевывала пук дыма и струю огня.

Варлен стоял рядом с хлопающим на ветру красным знаменем, смотрел в бинокль. Отдавал распоряжения адъютантам; они один за другим сбегали, разнося его приказы. Мария разогнулась на минуту и засмотрелась на него. «Настоящий полководец! — думалось ей. — С самого бы начала, вместо разных Ключере и Росселей, дать высшую власть этому рабочему вожаку!»

В этот момент бомба взметнула фонтан песка. Когда пыль рассеялась, Мария увидела, что ее канонир сидит на корточках, держась за правый бок.

— Кончен! — сказал он о себе.

Мария побежала за носилками, и когда укладывала его, канонир разлепил веки запавших глаз и улыбнулся:

— Тебе не страшно, Мари?

Она не могла бы даже сказать, страшно ей или нет, так она была поглощена своим делом. Когда же канонира унесли, она растерялась. Замены ему не было, а нужно, чтобы «Анжольра» не молчала. Мария, изо всех сил поднатужившись, поправила упоры лафета, вложила снаряд, захлопнула замок, подкрутила винт и, смотря в прицельную рамку, дернула шнур. Но, кажется, поторопилась, и бомба пошла вверх.

Эх, если бы канонир раньше догадался подучить ее своему искусству!

Кто-то склонился над ней, взяв за плечи. Это Варлен; глаза его прищурены, на бороде сгустки крови.

— Ты ранен?

— Нет, рядом со мной убило адъютанта. Что же, у пушки ты одна?

— Варлен, пришли срочно нового канонира!

— Поздно, мы отходим.

— Как? Оставляем баррикады?

— Участок на улице Вавен прорван. Резервов заткнуть дыры нет. Вернее, они где-то есть по кварталам, да поди их собери!

Привстав на цыпочки, Мария обтерла Варлену бороду и усталое лицо. От глаз его побежали добрые морщинки.

— Спасибо, милая Мари. Готовь веревки— спускать пушку. Отойдем к Ратуше, там мы себя еще покажем!

Не в силах прорвать Красный перекресток, Винуа приказал перенести туда огонь всей артиллерии. Скверик на Круа Руж стал похож на кратер kloкочущего вулкана. Пятиэтажные дома пылали и рушились, словно клетки дров в огромной топке. Гранаты лопались с невыносимым визгом. Каждую минуту выбывали из строя десятки бойцов. Солнце заходило, фиолетовое от дыма пожарищ.

5

Мишо воскликнул:

— Ришардье, вот сатана! Это, оказывается, ты ковыляешь вокруг баррикады? Я в тебя чуть пулю не всадил!

Старики обнялись, помолчали. Потом Мишо встрепетнулся и вынул номер «Папаши Дюшена»:

— Это что же? Последний пинок, что ли? Эх, вы...

— Но ведь Риго, Риго во всем виноват... Ты же сам рассказывал: если бы в то утро он сразу нагрнулся к папироснице... были бы наши деточки живы!

Камарад Ришардье прослезился. Более стойкий Мишо утешал друга, хотя на душе у самого кошки скребли. Затем они вновь принялись перекоряться, и эта воркотня, развлекавшая их товарищей, давала облегчение им самим.

Матушка Мишо принесла поесть, наблюдала, как старики хлебают из одного котелка. Прощаясь, стала обоих крестить; оба, неверующие, терпели.

— Ты, мать, — наказывал папаша Мишо, — запри-ка мальчишек. Они между баррикадами шныряют, а стрельба, слышишь, приблизилась!

Она схватила мужа за лацканы сюртука, прижалась что было сил.

— Что ты, что ты... — смущенно заговорил папаша Мишо, обнимая ее. — Ну, что уж это ты?

Громыхало со всех сторон. Где-то близко шли бои, из улиц несло кисловатым запахом пороха. После полудня поднялся огненный столб в стороне улицы Вавен, а час спустя такой же смерч, доходящий до небес, над Красным перекрестком.

— Ох и солоно сейчас там! — вздохнул папаша Мишо.

Когда же солнце село и наступил серенький час сумерек, мимо потянулись усталые, опаленные бойцы, несли раненых, катили пушки. Это отходили федераты Варлена, оставляя Латинский квартал.

Командир проходившей мимо части пытался увлечь за собой и защитников этой баррикады.

— Мы никуда не пойдем! — ответил папаша Мишо. — Мы здесь родились — и баста. Хватит, мы отступали в сорок восьмом, в пятьдесят первом...

— Да-да... — закивал Ришардьё. — Стычка в Сент-Оноре, баррикада у лавки Мармона...

С ними осталось еще несколько человек — студенты, рабочие, один какой-то совсем нищий оборванец — должно быть, старьевщик. Они лихорадочно укрепляли свою баррикаду за счет соседних, которые уже были пусты и безмолвны.

Старики сидели на верху баррикады в сгущавшейся тьме. Около полуночи по улице осторожно прошла группа версальских разведчиков. Их офицер, угадав шевеление за баррикадой, громко спросил: «Кто там?» Ему в ответ блеснули огоньки выстрелов, от грома в домах задрожали стекла.

— Шалишь, — сказал папаша Мишо, — хотел ватрушку, а получил колотушку.

Разведка отпрянула назад. Через некоторое время подошли основные части. Офицер вновь расхрабрился. Он приказал поджечь два крайних дома, и, когда гигантские костры разгорелись, версальцы поняли, что сопротивляющаяся баррикада не так уж высока, а защитников на ней не более дюжины.

— Теперь бы надо произнести речь... — сказал Ришардьё. — Помнишь, как в пятьдесят первом?

— Теперь речам пришел конец, — ответил ему приятель, прикладываясь и стреляя. — Теперь пусть говорит свинец!

Версальцы подвезли митральезу, закрутился ее чудовищный барабан, и пули понеслись вихрем. Щепки и осколки так и взлетали над баррикадой. Однако в течение всей ночи она отбивалась так успешно, что офицер требовал подкреплений. На всю окрестность слышался грохот и гудела земля.

Наконец уже под утро версальская граната попала

в ящик с запасом патронов, и он взлетел на воздух. Папаша Мишо, встряхнув с головы насыпавшийся мусор, привел в чувство оглушенного Ришардье и сказал:

— Пропал наш арсенал! Значит, теперь — сдаваться?

«Лев баррикад» оглянулся на своих уцелевших бойцов. Два студента, старьевщик и рабочий в коричневых от крови бинтах, оглохшие, угрюмые, потупившись, молчали.

— Тогда остается одно, — ободряюще улыбнулся папаша Мишо.

Он помог совсем обессилевшему Ришардье подняться, взял его винтовку наперевес и, поддерживая его под локоть, выбрался с ним на гребень полуразрушенной баррикады. Освещенные пламенем пожара, они, а за ними их товарищи были отлично видны. Версальцы, удивленные их появлением, даже перестали стрелять.

— Умрем за Коммуну! — предложил «Лев баррикад».

Его товарищи вместо ответа приложились и выстрелили еще каждый по разу. Затем сошли навстречу обомлевшим классовым врагам.

Еще пара залпов, и на этой улице все стихло.

Версальцы, однако, еще долго не решались подойти к умолкшей баррикаде. Когда совсем уж рассвело, они увидели, что воробей, серый монашек, заскакал по брустверу, находя себе и там какие-то крошки. Всюду жизнь!

6

— Они фанатики, мадам, эти проклятые коммунисты! Вы посмотрели бы, как они умирают — женщины, дети!

Виконт де Ноайль верхом на великолепном скакуне гарцевал подле коляски, где из-под ажурного зонтика ему улыбалась госпожа Эврар и где пыхтел, страдая от тряски, благоутробный господин Ферфильдер, банкир.

По другую сторону экипажа, также верхом, ехал господин Эврар. Впрочем, он не разделял радужного настроения жены. Ревниво сравнивал свою лошадь с конем виконта: «Куда с ним тягаться. Его жеребец небось куплен на деньги Мерифита, этого Креза! Есть же на свете везучие люди!.. Интересно, — мысли перескочили на другое, — сколько заработал глава правительства на покупке и затем взрыве моего завода?»

Он сердился на супругу, которая затеяла эту поездку в неусмирный Париж, где стрельба шла еще во всех предместьях. Ну понятно, господин Ферфильдер торопит-

ся узнать, цел ли банк, а им что? Созерцать пепелище завода, который, кстати, им уже и не принадлежит?

Виконт, красуясь, помахивал хлыстиком. Когда на встречу попадалась колонна пленных, гонимых в Версаль, он приказывал остановить ее, требовал: «А ну, кто старше сорока лет, выходи!» И вышедших приказывал тут же расстрелять, объясняя, что это те, кто восставал уже в сорок восьмом и пятьдесят первом. Или, тыкая хлыстиком в лица, говорил: «Выходи, выходи, выходи!» И после расстрела объявлял: «Терпеть не могу, когда у пролетариев интеллигентные лица».

— А как вы узнаете у схваченного, сражался он или нет?—спрашивала госпожа Эввар. Она со смешанным чувством страха и восхищения поглядывала на виконта, а тот рисовался еще пуще.

— Очень просто,—ответил за виконта господин Эввар, чтобы показать, что и он кое-что смыслит в военном деле.—У того, кто хоть раз выстрелил из ружья, на ладонях и на щеке копоть. Кто стоял близ пушки, тот весь в пороховой саже.

По правде сказать, ему бы очень хотелось осадить этого кичливого барона—«Оставьте же наконец свои людоедства!» Да нельзя, все же он победитель! И жена, жена, смотрит на виконта, как на некоего Львиное Сердце, а тот гарцует себе вовсю.

— Наука нехитрая, мадам,—смеялся виконт.—Да мне и этого не надо, я узнаю по роже, бунтовщик или нет!

Путь к центру был закрыт—шли бои. Виконт командовал держать курс на замиренный уже Монмартр. Там охота на людей шла вовсю. Подозрительных, большей частью ни в чем не повинных, хватали направо и налево. Жандармы прочесывали все дома.

— Ах, ах!—вскричала госпожа Эввар, указывая вдоль улицы.—Смотрите, кто это?

Какое-то существо, низко пригнувшись, перебегало дорогу. Опаленные космы безобразно свисали, сквозь почерневшие лохмотья просвечивало тело. Пока госпожа Эввар и ее спутники удивлялись, оно скрылось за углом старинного здания с готической крышей—приюта для душевнобольных. Жандармы погнались вслед.

Вниз по улице спускалась колонна арестованных, которую сопровождал конвой из солдат линейного полка. Завидев виконта, солдаты подтянулись, а многие из арестованных крестились. Недобрая слава его была известна.

Виконт, подбоченясь, повернулся в седле. Рассматривал шествие, как бы ища, к чему придраться.

— Куда гоните? В Сатори? Один, два, три... шестнадцать, семнадцать... тридцать два конвоира! И это в то время, когда у Винуа каждый человек на счету? Немедленно всем в часть!

На вопрос старшины конвоя: «А как же с этими?..» — виконт показал жестом — ликвидировать.

Солдаты распахнули ворота приютского сада и стали загонять туда арестованных. Стреляли в них через решетку, гогоча и издеваясь. Бедняги тщетно пытались скрыться в реденьких кустах.

— Смотрите, опять она!

Жандармы вели пойманную оборвашку, надев ей на голову мешок, чтобы не кусалась. Виконт приказал подвести ее к коляске.

— Мы за ней, — рассказывал унтер-офицер, — она шмыг в подземелье... Там длинная лестница на чердак. И схватили, еле далась!

Сняли мешок. Виконт вздрогнул и натянул поводья, его великолепный конь захрапел. Госпожа Эврар, наведя лорнет, ужасалась:

— Подумайте только, ведь это женщина! Как страшна!..

А она, казалось, не замечала никого, кроме блистательного виконта. И он не в силах был уклониться от ее упорного взгляда, что не без ехидства отметил господин Эврар.

— Судя по копоту на физиономии, — усмехнулся он, — эта — как вы выразились, моя дорогая, — женщина должна была стрелять сразу из всех ружей и пушек Коммуны. Однако чего же мы медлим? Господа, едьте дальше!

— Непоправимо, непоправимо... — пробормотал виконт, не сводя глаз с несчастной.

— Что вы сказали, мсье? — переспросил господин Эврар, но ответа не дождался.

Унтер-офицер понял молчание господ за знак оканчивать представление и потянул пойманную за рукав:

— Пойдем, милашечка, пиф-паф!

Она сопротивлялась, солдаты погнали ее прикладами.

— Остановитесь! — вдруг раздался властный голос. — Что вы творите?

Человек в сутане священника, со взмокшим от поспеш-

ности лбом, приблизился и взял обреченную за руку. Солдаты опустили ружья, некоторые, набожные, сняли кепи.

— Стыдитесь, виконт! — сказал он. — И вы, господа!

Виконт де Ноайль словно очнулся.

— А вы бы, досточтимый брат Захария, — сказал он с досадой, — не вмешивались не в свои дела.

Брат Захария взглянул на него, как смотрят на неизлечимых больных, и удалился, ведя спасенную за собой. Виконт горячил хлыстиком коня, розовая пена падала на мостовую.

— Как вы ни вертите, милый виконт, а вам знакома эта оборвашка, — заметил господин Эврар.

— Я же говорю... — неожиданно произнес господин Ферфильдер, он действительно все порывался что-то сказать, но его не слушали. — Я же говорю... Барон де Мерифит... Племянница...

Госпожа Эврар всплеснула руками, а ее супруг оживился:

— О, наследница миллионного состояния!

— Ну какая там наследница! — возразил виконт, давая понять, что эта тема ему неприятна.

Но господин Эврар не отступал:

— Да-да, это так! Спросите хоть мсье Ферфильдера, он был свидетелем при составлении завещания... Ах, я теперь припоминаю: вы же сватались однажды?

Мог ли он отказать себе в удовольствии уязвить этого аристократа, этого удачливого молодца, раз уж он попал на его ахиллесову пята?

— Так что, дорогой виконт, Мерифит теперь не посмеет вам отказать. Черт с ним, что морда у нее обгорела!..

— Мой друг! — воскликнула шокированная госпожа Эврар, но мужа ее уже невозможно было удержать:

— А вы, мой милый, все вокруг Тьера? Э, голубчик, пора бы знать, что песенка его спета. Мазурик сделал свое дело, мазурик может уходить. Мсье Ферфильдер, мсье Мерифит — вот настоящие хозяева жизни!

Поздно вечером брат Захария и Агнеса достигли особняка в парке Монсо. Стучать и звонить было бесполезно, дом словно вымер — ни звука, ни огня. Только жуткий стон, похожий на мольбу, донесся из глубины парка. Даже бесчувственная Агнеса вздрогнула в руках брата Захарии.

— Это из братской могилы, — сообразил брат Захария, — «войска порядка» валят туда живых и мертвых, не разбирая. Бездарные мясники!

Засучив, будто плотник, рукава сутаны, он ухватился за медную ручку массивной двери и так рванул ее, что петли заныли, выходя из гнезд.

Тогда слабо осветилась внутренность вестибюля. Сам барон со свечой, прикрывая ладонью свет, всматривался через стекло в лица пришедших.

7

Брат Захария ожидал в приемной Версальского дворца. Хорошо натренированное лицо его казалось безмятежным, только белые, холеные пальцы, сложенные на коленях, подрагивали, выдавая нетерпение.

Впервые так он сидел среди посетителей. Прежде, бывало, г-н Тьер при первом его появлении откладывал визиты к себе даже вице-королей, теперь секретари проводили к нему в кабинет каких-то с виду маклеров и биржевых спекулянтов, а он — Професс Особого Повиновения, он — ждал!

Продефилировал виконт де Ноайль — высокие сапоги забрызганы человеческой кровью — у, зверюга, как и его высокий покровитель, генерал-алкоголик Галифе. Только что из Парижа, доставил важный пакет. Вызывающе щурит глаза, еле шевельнув головой; поклонился, не поклонился — не поймешь.

Наконец секретарь произнес долгожданное:

— Пожалуйте, просят.

Вступив в кабинет, брат Захария начал дипломатично:

— Поздравляю, господин президент! Это самая блестящая победа, одержанная когда-либо французской армией.

Тьер, видимо, принял это за насмешку, отклонился от брата Захарии, рассматривал его совиными глазами. Тот решил в комплиментах не растекаться, сразу хватать быка за рога.

— Я пришел к вам для серьезной беседы. Знаю, она будет вам неприятна, но мой долг... Дело вот в чем: надо употребить все ваше влияние, чтобы остановить излишнее кровопролитие.

И, увидев иронический взгляд Тьера из-за знаменитых пенсне, подумал: вот, он теперь обо мне то же думает, что я минуту назад о Галифе, — у, кровопивец!

Господина же президента с утра мучило неопределенное недовольство. Казалось бы, все как надо: триумфы,

трофеи, парады, банкеты, но шестое чувство ветерана интриг показывало — выскользнули какие-то нити. А тут еще долгополый со своими увещаниями.

— Я вполне разделяю христианские чувства, которые движут вами, монсеньер,— сказал Тьер, перебирая бумажки, чтобы показать свою занятость.— Но так необходимо! Обилием крови нужно раз и навсегда отбить охоту братья за оружие. Иначе мы в масштабе всемирной истории не отвяжемся от этих коммунистов, социалистов, утопистов, они нам еще натворят... Что же касается ваших личных заслуг, монсеньер, благодарное отечество о них не забудет. Теперь же вам было бы благопристойно заняться ну хотя бы приведением в порядок аббатства святой Урсулы, весьма пострадавшего, как говорят.

Но брат Захария не отступал. Начал с исторических экскурсов. Напомнил, что как ни лилась кровь первых христиан, однако это их не укротило! Наоборот, ореол мученичества придал движению особую моральную силу. Приходится опасаться, что, если дело пойдет таким образом и дальше, как бы люди, перестав молиться блаженной Урсуле или угоднику Варфоломею, не стали бы чтить святую Луизу Мишель или святого Варлена.

Тьер заерзал в кресле от раздражения и скуки.

А брат Захария продолжал:

— Прикиньте-ка, мсье Тьер, ведь вы историк. В 1830 году на баррикады взойшло 30 тысяч человек, добрая половина их убита. В 1848 году восставших было уже 100 тысяч! Кавеньяк учинил поголовную резню, и, несмотря на это, в нынешнем, 1871 году инсургентов был целый миллион! Есть легенда о волшебном драконе, которого нельзя одолеть, потому что из каждой капли его крови вырастает воин в латах... Я понимаю, необходимо казнить самых виновных, это так. Но ваши башибузуки режут направо и налево!

— Преподобный отец,— Тьер указал на него пальцем.— Прошу простить меня великодушно, у меня неотложнейшие дела! Приходите через неделку-другую, поговорим об истории всласть. Кроме того, вы не видите, что ли, у меня басборк, бидите, платок носовой?

Брату Захарии хотелось еще сказать, что дело-то не в коммунистах, как полагают некоторые великие историки. Дело в богатых, которые щеголяют своим капиталом, дело в бездельниках, которые мозолят глаза своим времяпровождением, дело, черт побери, в благотворителях,

которые оскорбляют своею милостыней... Но вспомнилась ему евангельская притча о бисере, и он отошел, распрощавшись.

Оставшись один, Тьер переместился к окну и наблюдал, как брат Захария выходит из подъезда, основательно ставя ноги, будто он старая учительница. Тьер хмыкнул в свой платочек и приказал вызвать виконта де Ноайля.

— Есть одно деликатное мероприятие,— взял он красавца виконта под локоть. Подвел к окну, где еще удалялся в перспективу роскошных дворцов его добродетельный помощник.

Вернувшись в Париж, брат Захария долго бродил по кварталам, где затихло сражение, но разгоралась расправа. Из колонны гонимых в Версаль он вывел девочку с глазами удивленными, как когда-то у Агнесы. Отпустил ее домой, ткнув мысленно Тьеру: «А, вот тебе, гнусный замухрышка!» Увел из-под расстрела старуху в мешковатой форме федерата. Благообразный вид, шелковая сутана, безапелляционный тон обеспечивали ему повиновение. Какой-то плачущий старик, которого он спас от шомполов, пытался целовать ему ноги. Однако вскоре он устал от милосердия и думал: «А что это изменит?»

Не колеблясь, он уничтожал кого угодно, если так диктовал интерес дела. Как он зимою того бедного мальчонку, который полез за почтовым голубем, а? Но кровь без смысла!

А главное, всякая пролитая кровь влечет за собою уж океан пролитой крови, каждая революция порождает еще большие злодеяния. Где уж тут говорить о высшей гармонии, когда видишь гибель всего, ради чего прожил свою скучную жизнь!

И грустил про себя, блуждая среди неприбранных трупов и дымящихся головешек, жалел сам себя: «Я последний идеалист!»

К вечеру он ощутил, будто кто-то неотступно следует за ним. Даже чувствовал затылком его дыхание, отвратительное, как маразм. Но кругом были прохожие, и тот, неведомый, отступил.

Потом, по мере того как сгущалась тьма и становились все безлюднее глухие переулки, неведомый придвигался все теснее. Казалось, его пустые глазницы заглядывают на бегу в лицо брата Захарии, а тот, в ужасе, ускоряя шаги, неся, пересекал площади, лавировал между дере-

вьев бульвара. Близость его холодила спину бегущего, из подмышек стекал омерзительный пот.

Под конец этой дьявольской гонки брат Захария взмолился. Сел на тротуар, обнял тумбу. «Оставь меня, кто ты есть, оставь...»

Но никого не было вокруг. Только в тусклом фонарном свете бродячая собака трепала кусок — не то лохмотья, не то человеческая плоть.

А еще чуть позже брат Захария увидел, наконец, того, кто был его гонитель. Он был в обличье самого обыкновенного сыщика Паделу с тросточкой Фидюса в руке. Завидев, что гонимый брат Захария неожиданно обернулся, длинноносый пытался отползти, укрыться. Не тут-то было. Умелый брат Захария подхватил его за шиворот и выволок на свет. Отнял тросточку, кинул ее во тьму и оттолкнул длинноносого: «Пошел прочь, мозгляк!»

Встать, расправиться не было сил. Тело ныло, и голова мутилась. Начинаясь озноб. И некому уложить в сухую постель, напоить чаем с малиной, сказать какие-то домашние, уютные слова... «Не хотите ли вы знать, как сажают, как сажают у нас капусту?»

Брат Захария обнял тумбу и забылся в полусне.

Метнулась длинноносовая тень в свете фонаря, раскачиваемого ветром, промелькнула короткая борьба. Раздался протяжный стон будто какого-то мучительного облегчения. Возле тумбы грузно растянулось тело в долгополой одежде. Из-под него стекала лужа, черная как деготь.

8

День проходил за днем, а баррикадные бои не утихали. Винуа бесновался, вводя в бой дивизии, приказывая доставить на платформе новые пушки, митральезы, пригнать морскую пехоту. На парижских перекрестках разыгрывались сражения, перед каждым из которых меркли древние Канны и Гавгамелы. Коммуна отступала медленно, огрызаясь. Версальские госпитали были переполнены. Читая цифры о потерях, Тьер ужасался: продержись Коммуна еще пару недель...

Но Коммуна сама истекала кровью. Ее батальоны, поредевшие и обескровленные, переведенные на правый берег, закрепились здесь у холмов Бельвилля и Менильмонта, традиционно бунтарских предместий Парижа.

Поздно вечером 25 мая группа высших командиров Национальной гвардии вошла в кабинет Делеклюза в Ратуше. Маленький, сгорбленный, он сидел за огромным столом, составляя вдохновенные прокламации.

— Остров Сите оставлен,— доложил один из командиров.— Не было снарядов, не хватало людей.

— Сент-Оноре тоже сдан,— сумрачно добавил другой.

— Вот у меня приказ Коммуны: сжечь Ратушу, как только приблизится неприятель,— сказал Теофиль Ферре.— Что будем делать?

Багровые отсветы пожара танцевали за оконным стеклом. Сена, освещенная пламенем, была похожа на медленный поток дымящейся крови.

— Какая война! — прохрипел Делеклюз астматическим голосом и стал собирать бумаги в портфель.

Все поняли, что вопрос об эвакуации Ратуши решен.

Но в этот момент, растолкав озабоченных командиров, в кабинет вбежала запыхавшаяся девушка.

— Где тут главный генерал? Самый главный!

Улыбаясь, ей показали на Делеклюза. Она недоуменно притихла: этот старикашка? Разве он самый главный?

— Ну, все равно! — махнула она.— Скажи, генерал, почему оставляем Ратушу? Это что же — конец?

Делеклюз сунул адъютанту собранный кое-как портфель и тронул девушку за плечо:

— Как тебя зовут? Фаншетта Мишо? Слушай, Фаншетта, сорок лет я участвую во всех революциях и сорок лет вижу поражения их. Но, клянусь тебе, этого поражения я не переживу! Мы все, конечно, умрем! Однако здесь, окруженные со всех сторон, мы погибнем, как в мышеловке, а в Бельвилле и Менильмонтане мы еще сможем нанести страшные раны врагу! Иди выполняй приказ.

В полночь вспыхнуло здание Ратуши. Трещали и рушились балки, коробились картины с изображением битв и коронаций, испарялась позолота и лепной алебастр.

— Фаншетта, слезай! — звали «дети папаши Дюшенна», собираясь покинуть баррикаду у подножия Ратуши.

Но Фаншетта упрямо не уходила, держась за древко огромного знамени, которое на фоне пожара и летящих искр казалось черным, как ночное небо. Только когда версальцы, опасливо обходя пожарище, плюющиеся огнем, приблизились к баррикаде, капитан Самсон за руку свел ее, свернул и унес с собою знамя.

Коммуна отступила, но не сдалась. Продолжали выходить в типографии ее афиши. Делегаты, оставшиеся в живых, сходились в мэрии Менильмонта. Громадная баррикада на площади Шато д'О, отстреливаясь сразу на три стороны, была объектом ожесточенных атак неприятеля. Ее защищал батальон «детей папаши Дюшена», или, вернее, то, что осталось от него.

— Кто плачет, кто боится,—говорил капитан Самсон,— пусть возвращается к маме.

И хотя говорил он это совершенно серьезно, без желания обидеть, никто из «детей папаши Дюшена» не ушел. Капитан Самсон, сверкая саблей д'Артаньяна, водил их в контратаки, подбадривал:

— Кто пятится назад, попадет в рачью похлебку! А ну, вперед, дети революции, только вперед!

Он несколько раз был ранен и под конец так ослабел, что командовал, лежа на носилках. После полудня 26 мая со страшным грохотом взорвалась «Анжольра», единственное орудие, которое еще оставалось неповрежденным. Убило нового канонира, смертельно ранило заряжающего, а их помощницу Марию Войницкую контузило так, что она на время лишилась слуха. Голова у нее тряслась, как у старушки.

Поскольку ее платье было изодрано в клочья, сняли с убитого подходящего роста штаны и матросскую куртку. Фаншетта передела беспомощную Марию, умыла, повела в тыл, оглядываясь на дымящуюся баррикаду, откуда бывшие цистерцианцы махали ей.

Во всю ширину площади Вольтера колесо к колесу стояли повозки — последний обоз Коммуны. Кричали раненые, бранились женщины, плакали дети. Заглушаемый адским грохотом окрестных баррикад, шум этот производил впечатление конца света. Казалось, не хватает только труб архангела, чтобы распались камни мостовых и поднялись ожившие мертвецы.

Проводив Марию и уложив ее на нары в каком-то пункте первой помощи, Фаншетта вышла на улицу. Только теперь она почувствовала, как смертельно устала сама. Глаза болели так, будто ресницы вдруг начали расти внутрь.

Она присела на какой-то порожек, забылась. Ощущение времени исчезло. И вдруг очулась от ржавого скрипа колес.

— Позволь!— кричали санитары, сгружая носилки с только что прибывших фур.

Пресвятая дева, что это? Серая форма «детей отца Дюшена»! Длинный-длинный ряд носилок! Последние носилки почему-то несут пустыми, и на них одна лишь сабля с затейливым эфесом и четкой надписью: «За короля».

— Кончились «дети папаши Дюшена»,— сказал седоусый санитар.— Ихнего капитана мы по дороге положили в братскую могилу...

И это было так непереносимо, что Фаншетта закричала изо всей силы, даже не закричала, а завывала в голос, закинув подбородок. В этом крике было все: ужас смерти, горечь поражения. Люди выбегали из дверей, соскакивали с повозок, только чтобы ее унять, прекратить этот страшный крик.

Сквозь толпу к Фаншетте пробрался Варлен, без шапки, седеющие волосы развевались на ветру. Он вывел ее, погладил по голове, успокоил. Фаншетта больше не кричала, только острые плечи вздрагивали от безмолвного плача. Варлен увел ее в помещение штаба, который располагался в здании школы.

В этот момент, сопровождаемый несколькими друзьями, на площади появился Шарль Делеклюз. Он пересек ее и направился по улице, ведущей к Шато д'О. Опираясь на тросточку, в старомодном фраке, перечеркнутом наискось ярко-алой полосой шарфа, он неторопливо двигался вниз, к площади. Люди умолкали, видя его. Понимали, что старик идет искать себе смерти, что с ним вместе кончается Коммуна, кончается целая эпопея революций.

Встретившись и поговорив с несколькими ранеными, Делеклюз уточнил, где линия фронта. Он велел друзьям оставаться, а сам спокойно пошел вперед. Подойдя к умолкшей, полуразрушенной громаде баррикады «детей папаши Дюшена», он, помогая себе палочкой, стал по камням подниматься наверх.

Версальцы знали: баррикада молчит потому, что защитников не осталось в живых. Они прекратили стрельбу, дожидаясь утра. Вдруг на гребне баррикады, в слоях стелющегося дыма, они увидели старческий силуэт. Выстрелы загрели вновь, и фигура вскоре исчезла, будто расплылась в тумане...

А в штабе, в бывшей классной комнате, Варлен отпаивал Фаншетту стаканом горячего грога.

— Нет, нет!— Фаншетта топала ногой и расплескива-



ла грог.— Я не сделаю того, что ты велишь! Бурош... Самсон... все товарищи... А мне прятаться?

— Да пойми, это нужно...— вооружившись терпением, убеждал ее Варлен. У него самого лицо было серо от бессонных ночей, усталые глаза набрякли, покраснели.

— Нет, нет! — повторяла Фаншетта, дрожа от отвращения к самой себе.

— Вспомни: а матушка Мишо? У нее дети, и ни одного взрослого рядом! А сколько еще тех, кому надо помочь!..

В каптерке подыскали Фаншетте платьице, как можно более чистенькое, не вызывающее подозрений. «Прощай серая куртка, кеги с поперечным галуном!» — подумала Фаншетта. Возбуждение ее спадало.

Варлен привел ее в тихий переулок, куда еще не достигали скрежет и вой битвы. Позвонил у двери под вывеской: «Нотариус, г-н Филипп Демаре». Открыл приятный молодой человек, с головой, приглаженной бриллиантом, в черном модном пальто. Фаншетта всегда презирала таких напомаженных крыс.

Но Варлен, войдя, крепко пожал ему руку. В конторе оказался еще один человек. Фаншетта сразу узнала его — Потье, певец, их старый По-По, любимец фабричных харчевен и народных праздников. С плеча у него свисала гитара в чехле, а сам он близоруко потирал ручки, весь взбудораженный тем, что происходит.

— Нет, нет, нет,— говорил ему Варлен.— Еще раз требую, старина, чтобы ты ушел из батальона.

Он прислушался к глухим ударам артиллерии из-за стен.

— Она хочет примерно того же (кивок в сторону Фаншетты), и он (в сторону нотариуса). Честь Коммуне, если каждый защитник рвется умереть за нее! Но это же значит, что с ними вместе умрет и Коммуна! Нет, друзья, кто-то должен уцелеть. Среди других выбор пал на тебя, отец По-По. Душа Коммуны должна жить в твоих песнях! Эта девушка проведет тебя в убежище, которое известно ей. Оттуда держите связь с гражданином Демаре.

И так как все — Потье, Фаншетта, нотариус — молчали, Варлен повысил голос:

— Таков приказ, выполняйте его! Я назначен после гибели Делеклюза гражданским делегатом по военным делам. Ясно? — И засмеялся, обняв их за плечи: — Давайте лучше простимся, друзья.

В ту последнюю ночь Коммуны шел проливной дождь. Струи небесной воды смывали кровь с гранитных торцов, утоляли, раненых, забытых под открытым небом, охлаждали пыл обезумевших от резни. Стрельба почти прекратилась.

Варлен пытался заснуть, накрывшись шинелью, но так и не смог. Мерещились сцены расправ, истязаний... Текла и текла кровь.

За себя было как-то не больно. За храбрых бойцов, которых умертвят, выбив из рук оружие! За тысячи невинных, которые падут жертвой разгула. Представилось, как мать, после окончания боев, приедет в Париж искать тело сына, как будет расспрашивать униженно, и при этой мысли ржавая пила раздирала сердце.

Когда небо посветлело, обещаая близкий рассвет, Варлен поднялся и, стараясь не будить спящих товарищей, подошел к раскрытому окну. Дождь перестал, слышался гомон множества ручьев. Запах травы освежал легкие. Флореаль кончился, наступал прериаль — месяц трав. Так пахнут луга в родном Вуазене. Бывало, приезжая, он брал косу. Соседи смеялись: «Смотри ногу не обрежь, городской ведь парень!» Другая, далекая жизнь...

Вот ветерок переменялся, и сразу запахло морской солью. Это запах прибрежий Пикардии. Еще бы! Ведь Париж не так далек от моря.

А там, за проливом, сумрачный Лондон, старый дом в Модена-вилла. Маркс ночью не спит, обложенный атласными подушками от простуды. Переживает трагедию друзей, не знает, за что схватиться. Отодвигает ворох рукописей, отставляет и заветную бутылку с яркой карибской этикеткой.

Варлен живо представил себе подвижного Мавра, жгучий вопрос в его острых глазах: «Как же это, товарищ, а?» Э, да что говорить!..

Как только рассвело, началась кутерьма. Разом ахнули орудия за площадью, взвыла шрапнель, закричал, загалдел народ, заскрипели оси телег; поредевшая армия тронулась дальше — в Бютт-Шомон, к кладбищу Пер-Лашез.

К Варлену, укладывавшему в подсумок хлеб и патро-

ны, подошел какой-то чумазый парнишка с туго перебинтованной головой.

— Что тебе?— спросил Варлен.— Я спешу...

— Это я, Мария...— глуховатым голосом сказал парнишка.

Действительно, это была Мария Войницкая, покинувшая медицинский пункт, где она провела ночь. Мария показала себе на уши, желая сказать: «Говори громче, плохо слышу».

— Где бы тебя спрятать?— размышлял Варлен.— Фаншетта уже ушла, а я и сам не знаю, где тот приют...

Но Мария категорически отказывалась.

— Где будешь ты, там и я,— настаивала она.

Варлен подошел к висящей на доске школьной карте Европы. Посмотрел сначала на малиновый кусок— Франция. Потом на огромное зеленое поле на востоке— Россия.

— Тебе надо вернуться туда,— внятно говорил он, стараясь, чтобы она поняла его по движению губ.— Маркс как-то нам сказал: «Я многого жду от этой страны...»

Она продолжала отрицательно мотать головой. Варлен подошел к карте поближе, вгляделся в зеленое поле.

— Какой город твоя родина? Кадников, говоришь? Здесь что-то такого нет... Очень маленький? А город этого, Неретина? Мценск? Тоже маленький?.. Какие просторы, какие просторы!..

С улицы настойчиво звали Варлена. Он отошел от карты, надел торжественно, будто возложил на себя, красный шарф члена Коммуны, перекинул через плечо винтовку. Мария пошла за ним.

Последние члены Коммуны— Варлен, Ферре, Гамбон— вышли на улицу Менильмонтан в полной форме, при знамени, которое нес впереди гарибальдиец огромного роста, сам как знамя в кумачовой рубахе. Барабанщик глухо бил в барабан. С готовых к бою баррикад напряженно смотрели на них.

Так они спустились до подножия холма, где закипала новая схватка. Но исход сражения был уже предрешен: умирали последние защитники кладбища Пер-Лашез. Пруссаки пропустили через свою территорию войска версальцев, и те напали с тыла на последний островок Коммуны.

Солнце в этот трагический день было особенно ярким,

словно омытым слезами. На бульварах уже шло гулянье, а со стороны Менильмонтана всё доносились залпы, и обыватели поражались:

— Вот отчаянные, и что им нужно?

Когда запылала домишка, окружавшие последнюю баррикаду, Варлен увидел, что в подсумке больше нет патронов. Обыскали убитых, но их уже не раз осматривали с этой целью. Рука, привыкшая к автоматическому действию: прицелился — спуск, прицелился — спуск, вдруг оказалась в мучительном покое.

Варлен в отчаянии треснул винтовкой о булыжник так, что приклад разбился в щепы. Потеряв самообладание, он выскочил на верх баррикады, грозя версальцам кулаком. Нервы не выдержали даже у этого железного человека.

Теофиль Ферре и Мария свели его за руки с баррикады. Все постепенно приходили в себя в наступившей тишине. Но медлить было нельзя, версальцы каждую минуту могли опомниться и нагрянуть.

Ферре оглядел оставшихся — девять человек.

— Здесь есть проходной двор, — сказал он. — Оттуда можно сразу к парку Бютт-Шомон, дальше на пригородный вокзал.

— Ну что ж, — сказал немножко отошедший Варлен. — Теперь каждый поодиночке... Прощайте, товарищи...

Свой дальнейший путь Мария проделала будто во сне. Как удалось ей пересечь весь город, среди гуляющих, по шумным улицам, да еще одетой в замазанный глиной костюм подростка и несущей на голове тюрбан из бинтов?

Но все-таки она прошла через все заставы и дозоры и к вечеру достигла особняка с медной табличкой «D-r Grégoire Ygrouboff». Она несколько минут медлила, вглядываясь в тихий двор и немые окна, но потом решительно пошла дальше.

Бульварный мир ликовал. Все, что в дни Коммуны пряталось за плотными жалюзи, — аристократы и проходимцы, сенаторы и шулера, коммерсанты и кокотки, всевозможные светлые личности с темным прошлым — словом, вся накипь Парижа вышла фланировать на панель. А торговля-то, торговля! Пузатые ликеры, подозри-

тельный шоколад, остроносые тувельки за тусклыми стеклами киосков!

Неретин вступил под сень летнего кафе у подножия Монмартра и выбрал себе местечко под магнолией, цветущей в кадке. На нем был легкий, свежий костюм песочного цвета, он был отлично выбрит, но ощущение физической нечистоты его не покидало.

Расставшись тогда с Марией у кладбища Монпарнас, он вернулся в номер, думая: «Бои придвинутся к нашей улице, я спущусь. В суматохе боя кто меня прогонит с баррикады?»

Однако грохот, доносившийся с Красного перекрестка, не помешал ему заснуть. Под утро он вскочил от сильнейшего взрыва где-то рядом. Одевшись, Неретин выбежал и увидел в туманном рассвете версальцев в красных эполетах, которые цепью крались вдоль домов. Он оказался на территории, занятой врагом!

Растряченный и окончательно сбитый с толку, он бродил среди кровавого шабаша. Вчерашние мирные, благодушные обыватели сегодня выдавали своих соседей и с хохотом смотрели, как их тащат на расправу. Все, что было им когда-то прочитано и усвоено гуманного, разумного, все благородное, к чему пришел он сам, — все в его голове обратилось в бессмысленный кошмар. Душа отказывалась верить тому, что видят глаза.

Проходя мимо дома, где жили Мишо, он увидел старуху, мать этой семьи. Она сидела на пороге, безнадежно протянув исхудалые руки. За ее спиной за дверью гомонили мальчишки, требуя еды, а она, оцепенелая, ожидала старших.

Неретин не решился нарушить ее скорбный покой, но его пронзила мысль о Варлене, о Фаншетте, о Марии... Он жив, а они?..

Он обошел морги, посетил бесконечные выставки трупов на набережных, видел такие картины, после которых можно было окаменеть навсегда. Однажды ему показалось, что он узнал Марию в партии пленниц, гонимых в Версаль. Он долго шел за ней в толпе улюлюкающих бульварных хлыщей. Конвойные даже его задержали, но, увидев двуглавых орлов на паспорте, отпустили. Неретин сунул начальнику конвоя взятку, и тот освободил пленницу. Но это была не Мария!..

И вот он сидел, овеваемый летним ветерком, и требо-

вал у гарсона чего-нибудь прохладительного. И сам себе казался гадостен до предела.

Рядом веселилась компания, душой которой был потный, отдувающийся толстяк, брат Филидор. Неретин помнил его по тюрьме.

— Взгляните! — вопил брат Филидор, указывая на версальского лейтенанта, который за соседним столиком потягивал абсент. — Скромнейший из скромных, наш освободитель, поразивший красную чуму! Как ваше имя, наш герой? Сикр? Ваше здоровье, мсье Сикр, ваше здоровье!

Лейтенант, принимая тост, раскланивался.

И тут брат Филидор замолк, стоя с бокалом в руке. Неретин посмотрел на улицу, куда был направлен осовелый взгляд монаха, и вздрогнул. Прямо напротив кафе на скамейке, в изменении привалившись к стене, сидел не кто иной, как Эжен Варлен!

Прежде чем Неретин сообразил, что делать, как помочь, брат Филидор выбрался из-за стола и взял за руку Сикра:

— Мой лейтенант, вон на той скамейке сидит некто Варлен, министр Коммуны. Лопни мои глаза, если это не он! Он же меня упек в тюрьму, он истязал, мучил, я из-за него похудел на целых пять кило! Хватайте его, да побыстрее! Смотрите, он, видно, почуял что-то неладное, поднялся и уходит прочь!

Лейтенант Сикр окликнул проходивших мимо солдат и вместе с ними догнал Варлена, который брел неспешным шагом, погруженный в какую-то свою думу.

Сикр начал с того, что, ударив Варлена, грубо обругал его. Мгновенно набежала толпа зевак, предвкушая очередное зрелище. В сопровождении беснующейся толпы Сикр повел Варлена на вершину Монмартра. Там в зале для танцев заседал версальский трибунал.

Варлен назвал имя, фамилию, должность при Коммуне, но на дальнейшие вопросы отвечать отказался. Председатель трибунала сделал знак, и Варлена увели. «На улице Розье!» — крикнул председатель вдогонку.

Неретин шел по тротуару, не отставая от орущей толпы, посреди которой Варлен возвышался словно великан, ведомый пигмеями. Неретину было хорошо видно, как ветерок шевелит пряди волос на его голове. Варлен даже не смотрел на своих истязателей, его взгляд был направлен вниз с откоса, на неоглядное море спиелей, крыш, баше-

нок, труб, чердаков, колоколен, на город, израненный, распятый, дымящий шлейфами пожаров.

На улице Розье, на том самом пустыре, где весной 18 марта восставший народ казнил генералов Леконта и Клемана Тома, версальцы положили к облупленной кирпичной стене венок утренних роз с каплями росы. Туда приводили колонны захваченных в плен. Их заставляли, стоя на коленях перед венком, молить о прощении, потом отводили к соседней стене на расстрел, а вместо них толкали в пыль новую шеренгу.

Приведя Варлена, солдаты тщетно пытались и его заставить встать на колени. Рассерженный Сикр повертел барабан револьвера и приставил дуло к его виску.

— Так рано? — закричала сопровождающая толпа. — Он еще не получил и оплеухи! Поводите его еще!..

И Варлена опять повели, сворачивая в проулки, спускаясь и поднимаясь по террасам монмартрских улиц. На сей раз бульварные львы не теряли времени даром. Какой-то господин в цилиндре, вскричав: «Из-за него я в Версале жил в шалаше!» — размахнулся и ударил его тростью по щеке. Выступила кровь, толпа завывала. Град ударов посыпался, конвоиры сами еле успевали отстраняться. А Варлен шел, по-прежнему не склоняя головы.

Неретин увидел доблестную консьержку из своего отеля, мадам Тиссо. Еще более растрепанная, чем накануне, она так и подпрыгивала вокруг Варлена:

— Это самый первый бандит! Он хотел занять герцогскую квартиру, бейте его, бейте!..

Она умоляла шедших рядом с избиваемым уступить ей место, чтобы и она могла нанести хорошенький удар.

«Боже! — думал Неретин. — И это люди?»

Он сам ослабел, еле передвигал ноги, как будто удары сыпались на него, как будто это ему выбили глаз и превратили голову в сплошную рану.

Конвойные, чувствуя, что Варлен оседает и что тащить его все тяжелее, решили кончать. Они приволокли Варлена опять на улицу Розье, прислонили к стене. Но он стоял уже не мог, кто-то подставил ему сломанный стул.

— Ну-ка обыщите его карманы, — приказал Сикр. — Посмотрим, сколько успел награть этот министр.

Обнаружилось несколько франков и серебряные часы. Деньги Сикр милостиво отдал солдатам, а часы взял себе. Он щелкнул крышкой и прочел вслух:

— «За первую победу в первой стачке от благодарных товарищей». Ха-ха! Ну, кончайте с этим товарищем!

Он отошел, и солдаты застрелили и без того умиравшего Варлена. Люди молчали, слышались только предсмертные хрипы расстрелянных у стены пустыря. И тогда из задних рядов кто-то громко произнес:

— Мученик!

Разъяренный Сикр кинулся искать агитатора. Народ, зная неразборчивость версальских победителей, поспешно разбежался. В руках у Сикра оказался тщедушный господин в черном, поношенном сюртуке. На грозный вопрос: «Это ты кричал, сволочь?» — он ответил отрицательно и показал удостоверение на имя Цезаря Нурисье, чиновника министерства финансов.

Ему было велено, чтобы доказать свою лояльность, подойти и плюнуть на тело Варлена. Он молчал, хотя Сикр дергал его, требуя: «Ну! Да ну же, плюй, собака!» Его били, пинали, рвали на нем сюртук, но он был неподвижен.

11

Седенький человек с ясными старческими глазами горестно смотрел вниз из чердачного окна старинного приюта.

Он видел, как протащили, истязая, Варлена, слышал выстрелы и вопли на кровавом пустыре, и руки сводила судорога бессилия. Но что мог он сделать? Плакать? Молиться? За всю свою многотрудную жизнь Эжен Потье, упаковщик, столяр, разрисовщик тканей, член Интернационала, делегат Коммуны, не плакал и не молился.

Он метался из угла в угол, забывая подчас, что привлеченные шумом люди могут обнаружить его убежище, и тогда — конец! Ему казалось более справедливым стоять там, на улице Розье или на кладбище Пер-Лашез, у стены, плечом к плечу с товарищами...

Ему вспоминалась вся история их революции, может быть и полная ошибок, но без единого упрека. Если бы только хоть одна, хоть одна еще Коммуна... О! Пусть знают потомки, ведь он поэт и он расскажет об этом так:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.

Оторвав клочок обоев, Потье лихорадочно черкал на нем огрызком карандаша. Даже отточить нечем, экая досада! Но об этом он уже и не думает. Рифмы, созвучия владеют им, а ритм отбивается в голове, как гром походных маршей.

И вот уже в его глазах не пыльный чердак, заросший паутиной, временное убежище от неминуемой напасти. И сам он не старый По-По, которого мучат ревматизмы и у которого за душою ничего, кроме мундира федерата и тетрадки стихов. У него нет и своей крови — это капля от капли крови казненных и замученных. У него нет и своей воли — это частица воли восставших и тех, кто не осознал еще своего рабства.

Пафос растет, заставляя забыть об опасности, вытесняя даже мучительное чувство голода. И он все постукивает карандашом и черкает на обоях:

Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право,
Но паразиты — никогда!

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей.

С лестничной площадки послышались быстрые шаги. Потье, однако, даже не прислушался — весь поглощен был своим стихотворчеством. Приоткрылась дверь и показалась черномазая мордашка Фаншетты. Оглядела чердак — всё ли в порядке?

— Никто вас не беспокоил? Везде обыски, облавы... Вот удалось раздобыть — хлеб, ветчина, кушайте!

Потье благодарно кивнул, стал жевать хлеб, а сам все в такт размахивал карандашом.

— Ну, а у тебя как? — спросил, записав тираду и полюбовавшись ею, словно каким-нибудь рисунком. — Нашла кого-нибудь из своих?

— Чего? — отвечала, в свою очередь, рассеянно девушка, потому что смотрела в окно вниз.

Она прислушивалась к разговору внизу, на улице. Из ворот приюта вышли солдаты, закуривали, обняв винтовки.

— А чердак здесь уже обыскали? — спросил подошедший жандарм.

— Что там может быть? — возразил солдат, которому осточертело таскаться по этажам и будоражить перепуганных жильцов. — Окна вон паутиной заросли.

— Нет, все-таки следует обыскать.

— Этот чердак уже осмотрен, — вмешался другой солдат. — Спросите унтер-офицера. Они туда лазили, когда проезжал виконт де Ноайль.

— Де Ноайль? Так это было три дня тому назад. А теперь виконт и не показывается в команде, он женится, что ли, или сватается там...

Тем не менее громкое имя виконта возымело действие. Службист жандарм отошел. Тронулись и солдаты, вскинув винтовки на плечо.

Фаншетта чувствовала, что не в силах сидеть в этой западне, ноги требуют движения, голова кругом идет.

— Ну, вы, дедушка По-По, знаете? В русском госпитале у одной дамочки есть заграничный паспорт на два лица. Я побегу, попробую насчет вас договориться. А вы сидите здесь тихонечко, я через часок вернусь.

— Будь осторожней, милая!

12

Теперь Неретин возвратился в то гнусное состояние, которое владело им до похода на Бюзанваль. Снова не раздеваясь валялся на койке, дымил, как локомотив.

Опять в душе зиял страшный провал, ничего не хотелось, ни к чему не влекло. Да и чего желать? Все погибло с Марией, с Варленом.

Стоило закрыть глаза, и опять среди свиста и воя шел гордый Варлен, улыбаясь грустно, как будто ему было жаль своих палачей и даже немного стыдно за них. А этот чиновник, чиновник, который отказался плюнуть!.. Какая тоска, ах, какая тоска...

Он получил приглашение прийти в русское посольство. Следовало опасаться неприятностей, но Неретину было все равно.

По пути в посольство он миновал особняк Вырубова с медной табличкой на воротах. Вспомнился далекий зимний вечер, концерт Потье, когда и он, Неретин, рискнул спеть, играя на гитаре:

Но кто любви огонь священный
Смог погасить,
Смог погасить...

Опалил его этот огонь, измучил, но не воспламенил.
Смерть не сожгла его, хотя он и не прятался от нее. Значит, теперь тлеть до конца отпущенных ему дней...

Тому уж жизни незабвенной
Не возратить,
Не возратить!

А может быть, все-таки есть надежда? Есть ведь еще люди, которые нуждаются в нем, ждут его. Вдруг поднялась другая, совсем далекая песня: «Не велят Маше на реченьку ходить, не велят ей белы ноженьки мочить...» Но и это казалось ему убийственно чужим.

Против ожидания в посольстве не устраивали ему ни допросов, ни выговоров. Предъявили бумагу: ваше прошение об отставке удовлетворено, без пенсии и чина...

Господи! Секретарь так соболезнующе смотрел на Неретина, будто тот в совершенном отчаянии, что не дали чина. Неретин тотчас отправился на вокзал и купил билет до самого Мценска, с пересадками в Женеве, Лейпциге, Вержболове, Москве.

Вот удивятся-то дома! Неретин отчетливо представил себе твердые и быстрые шаги сестрицы Ольги Африкановны, спешащей к нему из комнат. А вот тронутый летней дремой сад, и в траве детская головка, маленький, смешной одуванчик...

Он с утра рассчитался в отеле. До отхода поезда оставалось добрых полдня, он бродил по городу без цели, прощаясь со знакомыми местами.

Купил газеты, но в них была сплошная добродетель и скука, то ли реклама, то ли великосветские новости. Стал наткаться на знакомые имена: «Помолвка виконта де Ноайль и мадемуазель Агнесы Ришардьё, племянницы барона де Мерифита». А кто-то сказал, что эта Ришардьё сгорела в пожаре патронного завода! А вот это что? Боже! — «Поминки по брату Захарии, общнику аббатства святой Урсулы, на девятый день кончины...» Неужели это он?

Затем еще более странное — граф Войницкий, русский, из госпиталя г-на Вырубова с супругою вчера выехал из Парижа на родину... Жизнь шла своим чередом.

Но напрягать мозги, рассуждать было совсем невмоготу. Газеты скомкал и запихнул в мусорный ящик, а сам все брел и брел по кольцу бульваров, пока не оказался возле самого Монмартра. Там все выкуривали каких-то людей с чердаков и из подвалов. У Неретина потребовали паспорт. Он уже хотел податься к вокзалу, как увидел Фаншетту.

Девушка бежала зигзагами вдоль длинной улицы, ее преследовали солдаты, прицеливаясь с колена, но никак не могли попасть. Она же пыталась толкнуться в калитки, в парадные, но все было перекрыто изнутри.

— Что же это она? — содрогнулся Неретин.

Солдаты, подвыпившие, конечно, с хохотом держали пари, попадут, не попадут.

— Ого-го! — заорали они, и Неретин (сердце упало!) увидел, что Фаншетта лежит на мостовой. Но девушка только споткнулась или схитрила, потому что, поднявшись, помчалась еще резвей. Обозленные же солдаты стали стрелять залпами, и сквозь эту завесу ей уже не проскочить.

Как же помочь ей, как помочь?

Озарение пришло внезапно. Он закричал как можно громче:

— Да здравствует Коммуна!

Солдаты, увлеченные охотой, недовольно обернулись.

— Шагай, шагай отсюда, парень, — сказал один беззлобно. — Ты с ума сошел!

— Да здравствует Коммуна! — яростно повторил Неретин, так что окна стали приоткрываться и лица высовываться на его крик. — Да здравствует Коммуна!

Пока внимание солдат было отвлечено Неретиним, девушка прибавила прыти и скрылась за углом. Раздосадованные версальцы поднялись и подошли к нему. Он же, довольный результатом своей хитрости, смеялся им в лицо. Тогда капрал наотмашь ударил Неретина кулаком так, что тот упал, и солдаты разрядили ружья в лежащее тело.

Потом, обшарив Неретина и обнаружив иностранный паспорт, солдат сказал капралу:

— Попадет теперь нам. Ведь сказано было: русских не убивать.

Капрал ответил лениво:

— А ты стащи его в сточный колодец, и дело с концом.

И они побрели, насвистывая, в знак того, что смертельно надоела им эта война, они даже ружья несливерху прикладом. А капрал напевал самое модное, что было на танцах в том году: «Ах, коротки дни созреванья вишен, ах, коротки!..»

КОНЕЦ

ЭПИЛОГ ИСТОРИКА

Считаю своей обязанностью заверить читателя, что все в этом романе соответствует подлинной реальности — основные события, лица, речи, песни, газеты, афиши... Как бы это ни показалось странным, особенно для сегодняшних дней,— это факт.

Если же хотите моей авторской оценки, то я расскажу вам следующую историю.

Был у меня когда-то старший мой товарищ, даже начальник по работе, журналист, ныне покойный М. Ф. Арбузов. Он рассказывал множество любопытнейших историй из своей жизни, к сожалению, он ничего не записывал и не публиковал.

И вот он рассказал, как в маленьком российском городке он вступал в партию. В гимназии в последнем классе постановили: всем куда-нибудь вступить. Долго гадали, думали, куда да к кому. Потом прибегает один гимназист, зовет — пойдёмте в большевики, там полушубки овчинные выдают, они склад военный захватили! Так это или иначе, но был потом Арбузов всю свою долгую жизнь преданным коммунистом.

И рассказывал он еще, как в 1921 году получил партийное задание провести митинг по поводу пятидесятилетия Парижской Коммуны. Дал ему комиссар брошюрку Arthur Arnou «Aux morts de la Commune» («Мертвецам Коммуны»), а из его револьвера вынул все патроны, кроме одного,— а то ты, мол, парень шибко горячий!

Собрались в народном доме большого торгового села. Все сидят в шинелях, в армяках, бабы в сибирских платках. Дым сизый от курева, галдеж несусветный, дух самогонный, некоторые осовевшие кавалеры руку под юбкой у своей дамы держат. Арбузов говорит, я им с того боку заходил и с этого, и пытался даже песни петь Коммуны,

они на меня нуль внимания. Микрофонов же тогда или каких-нибудь электронных матюгальников не было.

«Тогда я сам остервенел,—говорит Арбузов.— Выхватил револьвер и единственный мой патрон выстрелил в потолок, аж лампы закачались. Все смолкли, глядят, что дальше будет, а я как заору — встать! Шапки долой перед мертвецами Коммуны! И митинг прошел успешно».

Вот и я хотел бы, вослед тому далекому Арбузову, призвать всех моих современников — большевиков и демократов, националов и религиозных, маразматиков и ученых — перед мертвецами Коммуны шапки долой!

*Доктор исторических наук
профессор ГОВОРОВ*

1968—1992

СОДЕРЖАНИЕ

СМИРДИН И СЫН

Исторический роман

Глава первая. ДИТЯ НИКОЛЬСКИХ ТУПИЧКОВ . . .	7
Глава вторая. НАШЕСТВИЕ ДВУНАДЕСЯТИ ЯЗЫКОВ	50
Глава третья. ГРЯДУЩИЕ ГОДЫ ТАЯТСЯ ВО МГЛЕ . . .	98
Глава четвертая. НОВОСЕЛЬЕ	144
Глава пятая. НО МОЖНО РУКОПИСЬ ПРОДАТЬ... . . .	199
Глава шестая. ВЕК КНИГОНЕНАВИДЕНЬЯ	252
Глава седьмая. ТАЛАНТ И ЗНАНИЯ ОТНЯТЫ БЫТЬ НЕ МОГУТ	305
Глава восьмая. ЖИЗНЬ ПРЕДАТЕЛЬСКИ КОРОТКА . . .	347

ФЛОРЕАЛЬ

Исторический роман

Глава первая. ВЫСТРЕЛ В КАФЕ «ВАВИЛОН»	383
Глава вторая. НАШИ СЛАВНЫЕ ГЕНЕРАЛЫ	406
Глава третья. ФАНШЕТТА-ТОНКОНОЖКА	428
Глава четвертая. АББАТСТВО СВЯТОЙ УРСУЛЫ	453
Глава пятая. НОЧЬ ПЕРЕД СВОБОДОЙ	479
Глава шестая. ВОСЕМНАДЦАТОЕ МАРТА	508
Глава седьмая. УЛИЦА МИРА	526
Глава восьмая. ЧЕСТНЫЙ ДЮВАЛЬ	556
Глава девятая. ТЕНЬ ГИЛЬОТИНЫ	594
Глава десятая. СОБСТВЕННОСТЬ ЕСТЬ КРАЖА	622
Глава одиннадцатая. ЯЗЫК ЦВЕТОВ	657
Глава двенадцатая. БОГ ХРАНИТ НЕВИННЫХ	686
ЭПИЛОГ ИСТОРИКА	730

АЛЕКСАНДР ГОВОРОВ

Собрание сочинений
в четырех томах

Том 3

Редактор

С. Кондратов

Художественный редактор

И. Сайко

Технический редактор

Г. Шитоева

Корректоры

И. Сахарук, Л. Чуланова

Сдано в набор 12.03.93. Подписано
к печати 26.10.93. Формат $84 \times 108^{1/32}$.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 38,64. Уч.-изд. л. 43,4. Ти-
раж 50000 экз. Заказ 223.

Издательский центр «ТЕРРА».
109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я
73.

Отпечатано на Можайском полиграф-
комбинате Министерства печати и ин-
формации Российской Федерации.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

Г57 **Говоров А.**
Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3: Смирдин
и сын: Исторический роман; Флореаль: Истори-
ческий роман. — М.: ТЕРРА, 1993.— 732с.
ISBN 5-85255-422-7 (т.3)
ISBN 5-85255-245-3

Г 4702010201-176 Подписное
А30(03)-93

ББК 84Р7

